8

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

А. Писемский

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1959

Издание выходит
под наблюдением

А. П. Могилянского.

Подготовка текста

П. Л. Вячеславова.

Примечания

М. П. Еремина,
А. П. Могилянского.

МАСОНЫ



Роман в пяти частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Зима 1835 года была очень холодная; на небе каждый вечер видели большую комету с длинным хвостом; в обществе ходили разные тревожные слухи о том, что с Польшей будет снова война, что появилась повальная болезнь — грипп, от которой много умирало, и что, наконец, было поймано и посажено в острог несколько пророков, предвещавших скорое преставление света. В крещенье холод дошел до 25 градусов. Луна, несмотря, что подернута была морозным туманом, освещала довольно ясно пустынные улицы одного из губернских городов. По главной улице этого города быстро ехала щегольская тройка в пошевнях. Коренная, кровный рысак, шла крупной рысью, а пристяжные скакали, держа голову около самой земли. Кучер стоял в передке на ногах и едва удерживал натянутыми, как струны, вожжами разгорячившихся лошадей. На барском месте в пошевнях сидел очень маленького роста мужчина, закутанный в медвежью шубу, с лицом, гордо приподнятым вверх, с голубыми глазами, тоже закинутыми к небесам, и с небольшими, торчащими, как у таракана, усиками,— точно он весь стремился упорхнуть куда-то ввысь. Лет маленькому господину было около пятидесяти. У подъезда большого каменного дома, ярко освещенного во всех окнах, кучер остановил лошадей. Маленький господин, выскочив из пошевней и почти пробежав наружное с двумя гипсовыми львами крыльцо, стал затем проворно взбираться по широкой лестнице, устланной красным ковром и убранной цветами, пройдя кото-

рую он гордо вошел в битком набитую ливрейными лакеями переднюю. Здесь он сбросил с себя свою медвежью шубу и очутился во фраке, украшенном на одном из бортов тоненькой цепочкой, унизанной медальками и крестиками. Из передней маленький господин, с прежней гордой осанкой, направился в очень большую залу с хорами, с колоннами, освещенную люстрами, кенкетами, канделябрами,— залу с многочисленной публикой, из числа которой пар двадцать, под звуки полковых музыкантов, помещенных на хорах, танцевали французскую кадриль. Около стен залы сидели нетанцующие дамы с открытыми шеями и разряженные, насколько только хватило у каждой денег и вкусу, а также стояло множество мужчин, между коими виднелись чиновники в вицмундирах, дворяне в своих отставных военных мундирах, а другие просто в черных фраках и белых галстуках и, наконец, купцы в длиннополых, чуть не до земли, сюртуках и все почти с огромными, неуклюжими медалями на кавалерских лентах. Словом, это был не более не менее, как официальный бал, который давал губернский предводитель дворянства, действительный статский советник Петр Григорьевич Крапчик, в честь ревизующего губернию сенатора графа Эдлерса. Наш маленький господин, пробираясь посреди танцующих и немножко небрежно кланяясь на все стороны, стремился к хозяину дома, который стоял на небольшом возвышении под хорами и являл из себя, по своему высокому росту, худощавому стану, огромным рукам, гладко остриженным волосам и грубой, как бы солдатской физиономии, скорее старого, отставного тамбурмажора, чем представителя жантильомов. Как лицо служащее, Крапчик тоже был в вицмундирном фраке и с анненской лентой на белом жилете. Увидав приближающегося к нему маленького господина, он воскликнул:

— Наконец-то вы, Егор Егорыч, приехали!

— Дела, все дела! — отвечал тот скороговоркой.

И при этом они пожали друг другу руки и не так, как обыкновенно пожимаются руки между мужчинами, а как-то очень уж отделив большой палец от других пальцев, причем хозяин чуть-чуть произнес: «А... Е...», на что Марфин слегка как бы шикнул: «Ши!». На указательных пальцах у того и у другого тоже были довольно оригинальные и совершенно одинакие чугунные перстни, на печатках которых была вырезана Адамова голова с ле-

жащими под ней берцовыми костями и надписью наверху: «Sic eris» [1].

— Катрин, разве ты не видишь: Егор Егорыч Марфин! — сказал с ударением губернский предводитель проходившей в это время мимо них довольно еще молодой девице в розовом креповом, отделанном валянсье-кружевами платье, в брильянтовом ожерелье на груди и с брильянтовой диадемой на голове; но при всем этом богатстве и изяществе туалета девица сия была как-то очень аляповата; черты лица имела грубые, с весьма заметными следами пробивающихся усов на верхней губе, и при этом еще белилась и румянилась: природный цвет лица ее, вероятно, был очень черен! Впрочем, все эти недостатки ее скрашивались несколько выразительными и почти жгучими глазами и роскошными черными волосами. Особа эта была единственная дочь хозяина и отчасти представляла фамильное сходство с ним. Сам господин Крапчик, по слухам, был восточного происхождения: не то грузин, не то армянин, не то грек.

— Как я рада вас видеть, monsieur Марфин! — произнесла Катрин, слегка приседая.

Марфин, с своей стороны, вежливо, но сухо ей поклонился. Катрин после того пошла далее — занимать других гостей.

— А граф приехал? — спросил Марфин хозяина.

— Давно приехал!.. Вон он разговаривает с Клавской!.. — отвечал тот, показывая глазами на плешивого старика с синей лентой белого орла, стоявшего около танцующих, вблизи одной, если хотите, красивой из себя дамы, но в то же время с каким-то наглым и бесстыжим выражением в лице. Марфин несколько мгновений смотрел в показанную ему сторону чрез свой двойной лорнет. Во все это время Клавская решительно не обращала никакого внимания на танцующего с нею кавалера — какого-то доморощенного юношу — и беспрестанно обертывалась к графу, громко с ним разговаривала, рассуждала и явно старалась представить из себя царицу бала. Сенатор, в свою очередь, тоже рассыпался перед ней в любезностях, и при этом своими мягкими манерами он обнаруживал в себе не столько сурового жреца Фемиды, сколько ловкого придворного, что подтверждали и две камергерские пуговицы на его форменном фраке.

[1] «Таким будешь». *(лат.)*

— Стало быть, мне правду говорили, что он пленился этой госпожой? — спросил Марфин губернского предводителя.

— Через неделю же, как приехал!.. Заранее это у них было придумано и подготовлено, — произнес тот несколько язвительным голосом.

— Но кем?

— Нашим общим с вами другом.

— Губернатором?

— Конечно!.. Двоюродная племянница ему... Обойдут старика совершенно, так что все будет шито и крыто.

— Нет-с, нет!.. Я не допущу этого!.. — проговорил хоть и шепотом, но запальчиво Марфин.

— Пожалуйста, пожалуйста! — упрашивал его губернский предводитель.— А то ведь это, ей-богу, ни на что не похоже!.. Но сами вы лично знакомы с графом?

— В глаза его никогда не видал! — отвечал Марфин.

— Угодно вам, чтобы я вас представил?

— Хорошо.

Между тем кадриль кончилась. Сенатор пошел по зале. Общество перед ним, как море перед большим кораблем, стало раздаваться направо и налево. Трудно описать все мелкие оттенки страха, уважения, внимания, которые начали отражаться на лицах чиновников, купцов и даже дворян. На средине залы к сенатору подошел хозяин с Марфиным и проговорил:

— Ваше сиятельство, позвольте вам представить: полковник Марфин!

Последний заметно старался более обыкновенного топорщиться.

Сенатор весьма благосклонно протянул ему руку.

— Мне об вас очень много говорили министр внутренних дел и министр юстиции! — прибавил он к тому.

— Да, они меня знают! — отвечал почти небрежно Марфин.

Сенатору, кажется, не понравился тон его ответа. Не сказав ему более ни слова, он пошел далее и в первой же небольшой гостиной, где на нескольких столиках играли в карты, остановился у одного из них. За столиком этим, увы! — играл — обреченная жертва ревизии — местный губернатор, тоже уже старик, с лошадиною профилью, тупыми, телячьими глазами и в анненской ленте. Когда к нему приблизился сенатор, на лице губернатора, подобно

тому, как и на лицах других чиновников, отразились некоторое смущение и затаенная злоба. Сенатор стал смотреть на игру.

— Вы очень рассеянно играете: вам следовало ходить с бубен! — заметил он губернатору.

— Я вообще дурно играю! — отозвался тот, силясь улыбнуться.

— В таком случае, остерегитесь: Михайло Сергеич отличный игрок! — продолжал сенатор, разумея под этим именем своего правителя дел, с которым губернатор играл в пикет.

— Какой я нынче, ваше сиятельство, игрок, особенно в пикет! Со службой совсем разучился! — отвечал правитель дел, сухопарый, или, точнее сказать, какой-то даже оглоданный петербургский чиновник, с расчесанными бакенбардами, с старательно вычищенными ногтями, в нескольких фуфайках и сверх их в щегольском белье.

Фамилия его была Звездкин, а чин — действительный статский советник. В петербургском чиновничьем мире он слыл за великого дельца, но вместе с тем и за великого плута. Его нарочно подсунули из министерства графу Эдлерсу, так как всем почти было известно, что почтенный сенатор гораздо более любит увлекаться вихрем светских удовольствий, чем скучными обязанностями службы; вследствие всего этого можно было подозревать, что губернатор вряд ли не нарочно старался играть рассеянно: в его прямых расчетах было проигрывать правителю дел!

Посмотрев еще несколько времени на игру, граф пошел далее в следующую большую гостиную. Хозяин дома, бывший, должно быть, несмотря на свою грубоватую наружность, человеком весьма хитрым и наблюдательным и, по-видимому, старавшийся не терять графа из виду, поспешил, будто бы совершенно случайно, в сопровождении даже ничего этого не подозревавшего Марфина, перейти из залы в маленькую гостиную, из которой очень хорошо можно было усмотреть, что граф не остановился в большой гостиной, исключительно наполненной самыми почтенными и пожилыми дамами, а направился в боскетную, где и уселся в совершенно уединенном уголку возле m-me Клавской, точно из-под земли тут выросшей.

— Опять уж парочкой! — шепнул предводитель Марфину.

— О, дурак, старый развратник! — пробормотал тот с досадой и с презрением.

— Да! — протянул предводитель.— Не такого бы по нашим делам нам надобно прислать сенатора.

В ответ на это Марфин пожал плечами и сделал из лица мину, как бы говорившую: «Но где ж их взять, когда других и нет?»

— Но скажите, по крайней мере,— не отставал от него предводитель,— не привезли ли вы каких-нибудь известий о нашем главном деле?

— Никаких и много! — отвечал своим обычным отрывистым тоном Марфин.

По лицу губернского предводителя пробежало любопытство, смешанное как бы с некоторым страхом.

— Мое нетерпение, ей-богу, так велико,— начал он полушепотом и заискивающим голосом,— что я умолял бы вас теперь же сообщить мне эти известия.

— Но здесь нельзя говорить об этом!.. Надобно уйти куда-нибудь! — возразил ему Марфин.

— Это очень легко сделать: прошу вас пожаловать за мной,— подхватил предводитель и, еще раз взглянув мельком, но пристально на сидевшего в боскетной сенатора, провел Марфина через кабинет и длинный коридор в свою спальню, освещенную двумя восковыми свечами, стоявшими на мозаиковом с бронзовыми ободочками столике, помещенном перед небольшим диванчиком.

Пол спальни был покрыт черным ковром с нашитыми на нем золотыми как бы каплями или слезами. По одной из стен ее в алькове виднелась большая кровать под штофным пологом, собранным вверху в большое золотое кольцо, и кольцо это держал не амур, не гений какой-нибудь, а летящий ангел с смертоносным мечом в руке, как бы затем, чтобы почиющему на этом ложе каждоминутно напоминать о смерти. Передний угол комнаты занимала большая божница, завершавшаяся вверху полукуполом, в котором был нарисован в багрянице благословляющий бог с тремя лицами, но с единым лбом и с еврейскою надписью: «Иегова». Под ним висели иконы, или, точнее сказать, картины религиозного содержания: Христос в терновом венке, несущий крест с подписью: «nostra salus» (наше спасение); *Иоанн Креститель с агнцем* и подписью: «delet peccata» (вземляй грехи мира) и *Магдалина в пустыне* с подписью: «poenitentia» (покаяние). По боковым стенкам

божницы представлялись чисто какие-то символы: на правой из них *столб, а около него якорь* с пояснением: «spe et fortitudine» (надеждою и твердостью); а на левой—святая чаша с обозначением: «redemptio mundi» (искупление мира). Но, собственно, икон православного пошиба не было ни одной. Перед божницею светилась и опять тоже не столько лампадка, а скорее лампа с зеленым зонтиком спереди. Таким образом, вся эта святыня как будто бы навеяна была из-чужа, из католицизма, а между тем Крапчик только по-русски и умел говорить, никаких иностранных книг не читал и даже за границей никогда не бывал. Далее на стене, противуположной альков, над огромной рабочей конторкой, заваленной приходо-расходными книгами, счетами, мешочками с образцами семян ржи, ячменя, овса, планами на земли, фасадами на постройки, висел отлично гравированный портрет как бы рыцаря в шапочке и в мантии, из-под которой виднелись стальные латы, а внизу под портретом подпись: «Eques a victoria»[1], под которою, вероятно, рукою уж самого хозяина было прибавлено: *«Фердинанд герцог Брауншвейг-Люнебургский, великий мастер всех соединенных лож».*

Введя гостя своего в спальню, губернский предводитель предложил ему сесть на диванчик. Марфин, под влиянием своих собственных мыслей, ничего, кажется, не видевший, где он, опустился на этот диванчик. Хозяин все с более и более возрастающим нетерпением в лице поместился рядом с ним.

— Значит, нет никакой надежды на наше возрождение? — заговорил он.

— Никакой, ни малейшей! — отвечал Марфин, постукивая своей маленькой ножкой.— Я говорю это утвердительно, потому что по сему поводу мне переданы были слова самого государя.

— Государя?.. — переспросил предводитель с удивлением и недоверием.

Марфин в ответ утвердительно кивнул головой.

Сомнение все еще не сходило с лица предводителя.

— Мне повелено было объяснить,— продолжал Марфин, кладя свою миниатюрную руку на могучую ногу Крапчика,— кто я, к какой принадлежу ложе, какую занимаю степень и должность в ней и какая разница между масонами и энциклопедистами, или, как там выражено,

[1] «Всадник-победитель», *(лат.)*

золтерианцами, и почему в обществе между ими и нами существует такая вражда. Я на это написал все, не утаив ничего!

Предводитель был озадачен.

— Но, почтенный брат, не нарушили ли вы тем наш обет молчания? — глухо проговорил он.

Марфин совершенно вспетушился.

— Это вздор-с вы говорите! — забормотал он.— Я знаю и исполняю правила масонов не хуже вашего! Я не болтун, но перед государем моим я счел бы себя за подлеца говорить неправду или даже скрывать что-нибудь от него.

Все это Егор Егорыч произнес с сильным ударением.

— Это, конечно, на вашем месте сделал бы то же самое каждый,— поспешил вывернуться губернский предводитель,— и я изъявляю только мое опасение касательно того, чтобы враги наши не воспользовались вашей откровенностью.

— Это уж их дело, а не мое! — резко перебил его Марфин.— Но я написал, что я христианин и масон, принадлежу к такой-то ложе... Более двадцати лет исполняю в ней обязанности гроссмейстера... Между господами энциклопедистами и нами вражды мелкой и меркантильной не существует, но есть вражда и несогласие понятий: у нас, масонов,— бог, у них — разум; у нас — вера, у них — сомнение и отрицание; цель наша — устройство и очищение внутреннего человека, их цель — дать ему благосостояние земное...

— Хорошо, хорошо! — начал уж похваливать предводитель.

— Знания их,— продолжал Марфин,— более внешние. Наши — высшие и беспредельные. Учение наше — средняя линия между религией и законами... Мы не подкапыватели общественных порядков... для нас одинаковы все народы, все образы правления, все сословия и всех степеней образования умы... Как добрые сеятели, мы в бурю и при солнце на почву добрую и каменистую стараемся сеять...

— Превосходно, превосходно! — воскликнул предводитель и, кажется, с совершенно искренним увлечением.

В свою очередь, и Марфин, говоря последние слова, исполнился какого-то даже величия: про него вся губер-

ния знала, что он до смешного идеалист, заклятой масон и честнейший человек.

— А имеете ли вы сведения, как принято было ваше письмо? — допытывался у него предводитель, явно стремившийся более к земным и конечным целям, чем к небесным.

— Имею, и самые верные, потому что мне официально написано, что государю благоугодно благодарить меня за откровенность и что нас, масонов, он никогда иначе и не разумел.

— Мы такие и есть и такими всегда останемся! — не удержался и воскликнул с просветлевшим лицом предводитель.

Марфина рассердило, что его перебивают.

— Дослушайте, пожалуйста, и дайте договорить, а там уж и делайте ваши замечания,— произнес он досадливым голосом и продолжал прежнюю свою речь: — иначе и не разумел, но... (и Марфин при этом поднял свой указательный палец) все-таки желательно, чтоб в России не было ни масонов, ни энциклопедистов, а были бы только истинно-русские люди, истинно-православные, любили бы свое отечество и оставались бы верноподданными.

— Мы и православные и верноподданные! — подхватил губернский предводитель.

— Нет, это еще не все, мы еще и другое! — перебил его снова с несколько ядовитой усмешкой Марфин.— Мы — вы, видно, забываете, что я вам говорю: мы — люди, для которых душа человеческая и ее спасение дороже всего в мире, и для нас не суть важны ни правительства, ни границы стран, ни даже религии.

— Религии, положим, важны: братья масоны могут быть лишь христиане.

— Нет-с, нет и нет! — закричал на него Марфин.— Вы это говорите со слов Лопухина [1], и я, пожалуй, скажу: да, христианином; но каким? Христианином по духу!.. Истинный масон, крещен он или нет, всегда духом христианин, потому что догмы наши в самом чистом виде находятся в евангелии, предполагая, что оно не истолковывается с вероисповедными особенностями; а то хороша будет наша всех обретающая и всех призывающая лю-

---

[1] Масон времен Новикова, написавший несколько масонских сочинений. *(Прим. автора.)*

бовь, когда мы только будем брать из католиков, лютеран, православных, а люди других исповеданий — плевать на них, гяуры они, козлища!

— Если так понимать, то конечно! — произнес уклончиво предводитель и далее как бы затруднялся высказать то, что он хотел.— А с вас, скажите, взята подписка о непринадлежности к масонству? — выговорил он, наконец.

— Никакой!.. Да я бы и не дал ее: я как был, есмь, так и останусь масоном! — отвечал Марфин.

Губернский предводитель грустно усмехнулся и начал было:

— Опять-таки в наших правилах сказано, что если монаршая воля запретит наши собрания, то мы должны повиноваться тому безропотно и без малейшего нарушения.

— И опять-таки вы слышали звон, да не уразумели, где он! — перебил его с обычною своей резкостью Марфин.— Сказано: *«запретить собрания наши»,*— тому мы должны повиноваться, а уж никак это не касается нашего внутреннего устройства: на религию и на совесть узды класть нельзя! В противном случае, такое правило заставит человека или лгать, или изломать всю свою духовную натуру.

— Прекрасно-с, я согласен и с этим! — снова уступил предводитель.— Но как же тут быть?.. Вы вот можете оставаться масоном и даже открыто говорить, что вы масон,— вы не служите!.. Но как же мне в этом случае поступить? — заключил он, как бы в форме вопроса.

— А вам кто велит служить? Какая необходимость в том? — произнес почти с презрением Марфин.

— Привычка, пятидесятилетняя привычка служить, больше ничего! — объяснил предводитель.

— Не говорите этого! Не говорите!.. Это или неправда, или какое-то непонятное заблуждение ваше! — прикрикнул на него Марфин.— Я, впрочем, рад этим невзгодам на нас, очень рад!.. Пусть в них все, как металлы в горниле, пообчистятся, и увидится, в ком есть золото и сколько его!

Губернский предводитель немного сконфузился при этом: он никак не желал подобного очищения, опасаясь, что в нем, пожалуй, крупинки золота не обретется, так как он был *ищущим* масонства и, наконец, удостоился оного вовсе не ради нравственного усовершенствования себя и других, а чтобы только окраситься цветом образованного человека, каковыми тогда считались все масоны,

и чтобы увеличить свои связи, посредством которых ему уже и удалось достигнуть почетного звания губернского предводителя. В настоящее же время его мечтой была надежда сломить губернатора и самому сесть на его место.

— Меня больше всего тут удивляет,— заговорил он после короткого молчания и с недоумевающим выражением в лице,— нам не доверяют, нас опасаются, а между тем вы, например, словами вашими успели вызвать — безделица! — ревизию над всей губернией.

— Я не словами вызвал, а криком, криком! — повторил двукратно Марфин.— Я кричал всюду: в гостиных, в клубах, на балах, на улицах, в церквах.

— Другой, пожалуй, кричи: его заставили бы только замолчать, а вас — нет.

— Они хорошо и сделали, что не заставляли меня! — произнес, гордо подняв свое лицо, Марфин.— Я действую не из собственных неудовольствий и выгод! Меня на волос чиновники не затрогивали, а когда бы затронули, так я и не стал бы так поступать, памятуя слова великой молитвы: «Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», но я всюду видел, слышал, как они поступают с другими, а потому пусть уж не посетуют!

— Вы далеко не все слышали, далеко, что я, например, знаю про этих господ, сталкиваясь с ними, по моему положению, на каждом шагу,— подзадоривал его еще более губернский предводитель.

В это время, однако, вошедший в спальню лакей возвестил:

— Ваше превосходительство, его сиятельство граф Эдлерс уезжает!

— Как уезжает?! — воскликнул с испугом Крапчик и почти бегом побежал к своему именитому гостю.

II

Марфину очень не понравилась такая торопливость и суетливость хозяина. «Что это такое? Зачем все это и для чего?» — спрашивал он себя, пожимая плечами и тоже выходя чрез коридор и кабинет в залу, где увидал окончательно возмутившую его сцену: хозяин униженно упрашивал графа остаться на бале хоть несколько еще времени, но тот упорно отказывался и отвечал, что это невозможно, потому что у него дела, и рядом же с ним стояла мадам

Клавская, тоже, как видно, уезжавшая и объяснявшая свой отъезд тем, что она очень устала и что ей не совсем здоровится. Собственно, Клавскую упрашивала остаться дочь хозяина, мадмуазель Катрин; но все их мольбы остались тщетными. Гости уехали. Хозяева пошли их провожать чуть не до сеней. Марфин сейчас же начал протестовать и собрал около себя целый кружок.

— Это черт знает что такое! — почти кричал он.— Наши балы устраиваются не для их кошачьих свиданий!.. Это пощечина всему обществу.

— Конечно, конечно! — соглашались вполголоса некоторые из мужчин.

Дамы тоже были немало поражены: одни пожимали плечами, другие тупились, третьи переглядывались значительными взглядами, хотя в то же время — нельзя этого утаить — многие из них сделали бы с величайшим удовольствием то, что сделала теперь Клавская.

Хозяин наконец возвратился в залу и, услыхав все еще продолжавшиеся возгласы Марфина, подошел к нему.

— Что такое, Егор Егорыч, вы шумите? Что вас разгневало? — спросил он его с улыбкою.

— Если вы этого не понимаете, тем хуже для вас!.. Для вас хуже! — отвечал с некоторым даже оттенком презрения маленький господин.

— Понимать тут нечего; вы, по вашему поэтическому настроению, так способны преувеличивать, что готовы из всякой мухи сделать слона!

— Это — муха, ничтожная муха, по его!.. А не слон самоунижения и самооплевания!..

— Егор Егорыч, пощадите от таких выражений! — произнес уже обиженным голосом предводитель.

Марфин, впрочем, вряд ли бы его пощадил и даже, пожалуй, сказал бы еще что-нибудь посильней, но только вдруг, как бы от прикосновения волшебного жезла, он смолк, стих и даже побледнел, увидав входившее в это время в залу целое семейство вновь приехавших гостей, которое состояло из трех молодых девушек с какими-то ангелоподобными лицами и довольно пожилой матери, сохранившей еще заметные следы красоты. Дама эта была некая вдова-адмиральша Юлия Матвеевна Рыжова. Она наследовала после мужа очень большое состояние, но, по доброте своей и непрактичности, совершенно почти расстроила его. Ее сентиментальный характер отчасти выра-

зился и в именах, которые она дала дочерям своим,— и — странная случайность! — инстинкт матери как бы заранее подсказал ей главные свойства каждой девушки: старшую звали Людмилою, и действительно она была мечтательное существо; вторая — Сусанна — отличалась необыкновенною стыдливостью; а младшая — Муза — обнаруживала большую наклонность и способность к музыке.

Все эти три девицы воспитывались в институте, и лучше всех из них училась Сусанна, а хуже всех Людмила, но зато она танцевала божественно, как фея. Рядом с этим семейством шел высокий и стройный мужчина. Как лев величественный, он слегка поматывал своей красивой головой на широкую грудь. Его лицо имело отчасти насмешливое выражение, а проходившие вместе с тем по этому лицу глубокие борозды ясно говорили, что этот господин (ему было никак не больше тридцати пяти лет) достаточно пожил и насладился жизнью. Он был дальний родственник Рыжовой и в семье ее просто именовался Валерьяном, а в обществе Валерьяном Ченцовым и слыл там за неотразимого покорителя женских сердец и за сильно азартного игрока. Марфину Ченцов тоже приходился племянником. Между им и дядей существовали какие-то странные отношения: Марфин в глаза и за глаза называл Ченцова беспутным и погибшим, но, несмотря на то, нередко помогал ему деньгами, и деньгами не маленькими. Ченцов же, по большей части сердя дядю без всякой надобности разными циническими выходками, вдруг иногда обращался к нему как бы к родной матери своей, с полной откровенностью и даже любовью.

Мадмуазель Катрин поспешила подойти к приехавшим дамам.

— Как поздно, как поздно!.. Мы с папа́ были в отчаянии и думали, что вы не приедете,— говорила она, обмениваясь книксенами с девушками и их матерью.

— Ах, это я виновата, я,— отвечала последняя,— ко мне сегодня приехал мой управляющий и привез мне такие тяжелые и неприятные известия, что я чуть не умерла.

Все это обе дамы говорили на французском языке: Катрин несколько грубовато и не без ошибочек, а адмиральша — как парижанка.

Ченцов между тем, тоже поклонившийся мадмуазель Крапчик, тут же пригласил ее на кадриль.

Как ни была набелена Катрин, но можно было заметить, что она вспыхнула от удовольствия.

— Вы желаете со мной танцевать? — переспросила она.

Ченцов повторил свое приглашение.

— Извольте,— отвечала Катрин.

Марфин, тоже более бормоча, чем выговаривая свои слова, пригласил старшую дочь адмиральши, Людмилу, на кадриль. Та, переглянувшись с Валерьяном, дала ему слово.

Подошел Крапчик и, не преминув оприветствовать этих новых гостей, спросил Ченцова:

— Вы будете играть сегодня?

— Нет,— отвечал Ченцов: в переводе это значило, что у него нет ни копейки денег.

Губернский предводитель удалился в маленькую гостиную и там сел около все еще продолжавшего играть с губернатором правителя дел Звездкина, чтобы, по крайней мере, хоть к нему вместо сенатора приласкаться.

Пары стали устанавливаться в кадриль, и пока музыканты усаживались на свои места, в углу залы между двумя очень уж пожилыми чиновниками, бывшими за несколько минут перед тем в кружке около Марфина, начался вполголоса разговор, который считаю нужным передать.

— Марфину спасибо, ей-богу, спасибо, что он так отделал этого нашего губернского маршала,— сказал один из них, одетый в серый ополченский чапан, в штаны с красными лампасами, и вообще с довольно, кажется, честною наружностью. Ополченец этот был заседатель земского суда, уже отчисленный по сенаторской ревизии от службы и с перспективою попасть под следствие. Беседовавший с ним другой чиновник, толстый, как сороковая бочка, с злыми, воспаленными зеленоватыми глазами, состоял старшим советником губернского правления и разумелся правой рукой губернатора по вымоганию взяток.

— И Марфин-то ваш хорош,— превредный болтун и взбрех! — отозвался советник на слова заседателя.— По милости его, может быть, мы и испиваем теперь наши горькие чаши.

— Это так!..— согласился тот.— Но кто поддул Марфина, как не губернский предводитель?

— Что ж поддул! — возразил гневно советник.— Ес-

ли бы у господина Марфина хоть на копейку было в голове мозгу, так он должен был бы понимать, какого сорта птица Крапчик: во-первых-с (это уж советник начал перечислять по пальцам) — еще бывши гатчинским офицером, он наушничал Павлу на товарищей и за то, когда Екатерина умерла, получил в награду двести душ. Второе: женился на чучеле, на уроде, потому только, что у той было полторы тысячи душ, и, как рассказывают, когда они еще были молодыми, с этакого вот тоже, положим, балу, он, возвратясь с женой домой, сейчас принялся ее бить. «Злодей,— спрашивает она,— за что?..» — «А за то, говорит, что я вот теперь тысячу женщин видел, и ты всех их хуже и гаже!» Мила она ему была?

Заседатель усмехнулся и покачал головой.

— Третие-с,— продолжал советник все более и более с озлобленными глазами,— это уж вы сами должны хорошо знать, и скажите, как он собирает оброк с своих мужиков? По слухам, дȍ смерти некоторых засекал, а вы, земская полиция, все покрывали у него.

— Что ж тут земской полиции делать! — подхватил, разводя руками, заседатель.— Господин Крапчик не простой дворянин, а губернский предводитель.

— Ну, да, конечно!.. Вот он и показал вам себя, поблагодарил вас!..— отозвался советник.— Вы мало что в будущей, но и в здешней жизни наказание за него получите.

— А правда ли, что он дочь свою выдает за Марфина? — спросил заседатель.

— И выдаст, по пословице: деньги к деньгам!..— сказал советник.

— Именно деньги к деньгам! — подхватил печальным голосом заседатель.

Раздавшаяся музыка заглушила, а наконец, и совсем прекратила их беседу.

Катрин, став с Ченцовым в кадриль, сейчас же начала многознаменательный и оживленный разговор.

— Скажите, правда ли, что у madame Рыжовой очень расстроены дела по имению? — спросила она, кажется, не без умысла.

— Наши с ma tante[1] дела — как сажа бела! — отвечал, захохотав, Ченцов.— Она вчера ждала, что управ-

[1] тетушка *(франц.)*

ляющий ее прибудет к ней с тремя тысячами денег, а он ей привез только сорок куриц и двадцать поросенков, но и то больше померших волею божией, а не поваром приколотых.

— Ну что это?.. Бедная!..— произнесла как бы и с чувством сожаления Катрин.— И как вам не грех над такими вещами смеяться?.. Вы ужасный человек!.. Ужасный!

— Чем?.. Чем?..— спрашивал Ченцов.

— Я знаю чем!.. Для вас ничего нет святого!

— Напротив!.. Напротив!..— возражал ей под такт музыки Ченцов.

— Но что же для вас есть святое?.. Говорите...— поставила уже прямо свой вопрос Катрин, вскидывая на Ченцова свои жгучие глаза.

— Восток и восточные женщины! — отвечал он.

Катрин сильно покраснела под белилами.

— Восток? — протянула она.

— Да, и доказательство тому — я ужасно, например, люблю поэму Баратынского *«Цыганка»*. Читали вы ее? — спросил Ченцов.

— Нет! — проговорила Катрин, сначала не понявшая, к чему вел этот вопрос.

— Прочтите!.. Это отличнейшая вещь!.. Сюжет ее в том, что некто Елецкий любит цыганку Сару... Она живет у него в доме, и вот описывается одно из их утр:

В покое том же, занимая
Диван, цыганка молодая
Сидела, бледная лицом...
. . . .
Рукой сердитою чесала
Цыганка черные власы
И их на темные красы
Нагих плечей своих метала!

Декламируя это, Ченцов прямо смотрел на черные волосы Катрин: между тогдашними ловеласами было в сильном ходу читать дамам стихотворения, какое к какой подходило.

— Отчего сердитой рукой? — полюбопытствовала Катрин.

— Оттого, что она подозревает, что у нее есть соперница — одна девушка нашего круга, mademoiselle Волховская, на которой Елецкий хочет жениться и про которую цыганка говорит:

Да и по ком твоя душа
Уж так смертельно заболела,
Ее вчера я рассмотрела —
Совсем, совсем нехороша!

— Она так говорит, конечно, из ревности! — заметила Катрин.

— Вероятно! — согласился Ченцов.

— Ревность, я думаю, ужасное чувство!

Произнося последние слова, Катрин как бы невольно взглянула на Людмилу.

— Еще бы! — подхватил Ченцов и переменил разговор.— Вы вот поете хорошо,— начал он.

— А вы находите это? — спросила с вспыхнувшим от удовольствия взором Катрин.

— Нахожу, и главное: с чувством, с душой, как говорится...

Катрин несколько стыдливо потупила глаза.

— А знаете ли вы этот романс,— продолжал Ченцов, видимо, решившийся окончательно отуманить свою даму,— как его?..

Она безгрешных сновидений
Тебе на ложе не пошлет
И для небес, как добрый гений,
Твоей души не сбережет!
Вглядись в пронзительные очи —
Не небом светятся они!..
В них есть неправедные ночи,
В них есть мучительные сны!

Цель была достигнута: Катрин все это стихотворение от первого до последнего слова приняла на свой счет и даже выражения: *«неправедные ночи»* и *«мучительные сны»*. Радость ее при этом была так велика, что она не в состоянии была даже скрыть того и, обернувшись к Ченцову, проговорила:

— Отчего вы никогда не приедете к нам обедать?.. На целый бы день?.. Я бы вам, если хотите, спела.

— Но я боюсь, что ваш батюшка обыграет меня в карты! — объяснил Ченцов.

— О, я не позволю даже ему сесть за карты!..— воскликнула Катрин.— Приедете?

— Приеду! — отвечал Ченцов.

Марфин и Людмила тоже начали свой разговор с Юлии Матвеевны, но только совершенно в ином роде.

— Мать ваша,— заговорил он,— меня серьезно начи-

нает беспокоить: она стареется и разрушается с каждым часом.

— Ах, да! — подхватила Людмила.— С ней все истерики... Сегодня два раза за доктором посылали... Так это скучно, ей-богу!

Марфин нахмурился.

— Не ропщите!.. Всякая хорошая женщина прежде всего не должна быть дурной дочерью! — проговорил он своей скороговоркой.

— Но неужели же я дурная дочь? — произнесла чувствительным голосом Людмила.

— Нет! — успокоил ее Марфин.— И я сказал это к тому, что если хоть малейшее зернышко есть чего-нибудь подобного в вашей душе, то надобно поспешить его выкинуть, а то оно произрастет и, пожалуй, даст плоды.

Людмила, кажется, и не расслушала Марфина, потому что в это время как бы с некоторым недоумением глядела на Ченцова и на Катрин, и чем оживленнее промеж них шла беседа, тем недоумение это увеличивалось в ней. Марфин, между тем, будучи весь охвачен и ослеплен сияющей, как всегда ему это казалось, красотой Людмилы, продолжал свое:

— Ваше сердце так еще чисто, как tabula rasa [1], и вы можете писать на нем вашей волей все, что захотите!.. У каждого человека три предмета, достойные любви: бог, ближний и он сам! Для бога он должен иметь сердце благоговейное; для ближнего — сердце нежной матери; для самого себя — сердце строгого судьи!

Людмила при словах Егора Егорыча касательно совершенной чистоты ее сердца потупилась, как будто бы втайне она сознавала, что там не совсем было без пятнышка...

— В молодом возрасте,— толковал Марфин далее,— когда еще не налегли на нашу душу слои предрассудочных понятий, порочных привычек, ожесточения или упадка духа от неудач в жизни,— каждому легко наблюдать свой темперамент!

— А я вот до сих пор не знаю моего темперамента,— перебила его Людмила.

— Зато другие, кто внимательно за вами наблюдал, знают его и почти безошибочно могут сказать, в чем состоят его главные наклонности! — возразил ей Марфин.

---

[1] чистая доска, *(лат.)*

— В чем же они состоят? Скажите!.. Я знаю, что вы наблюдали за мной!..— произнесла не без некоторого кокетства Людмила.

Марфин потер себе лоб.

— У вас,— начал он после короткого молчания,— наипаче всего развита фантазия; вы гораздо более способны прозревать и творить в области духа, чем в области видимого мира; вы не склонны ни к домовитости, ни к хозяйству, ни к рукодельям.

— Ах, я ничего этого не умею, ничего! — призналась Людмила.

Марфин самодовольно улыбнулся и, гордо приосанившись, проговорил:

— Угадал поэтому я, но не печальтесь о том... Припомните слова спасителя: «Мария же благую часть избра, яже не отымется от нея».

То, что он был хоть и совершенно идеально, но при всем том почти безумно влюблен в Людмилу, догадывались все, не выключая и старухи-адмиральши. Людмила тоже ведала о страсти к ней Марфина, хотя он никогда ни одним звуком не намекнул ей об этом. Но зато Ченцов по этому поводу беспрестанно подтрунивал над ней и доводил ее иногда чуть не до слез. Видя в настоящую минуту, что он уж чересчур любезничает с Катрин Крапчик, Людмила, кажется, назло ему, решилась сама быть более обыкновенного любезною с Марфиным.

— А скажите, что вот это такое? — заговорила она с ним ласковым голосом.— Я иногда, когда смотрюсь в зеркало, вдруг точно не узнаю себя и спрашиваю: кто же это там,— я или не я? И так мне сделается страшно, что я убегу от зеркала и целый день уж больше не загляну в него.

Марфин приподнял кверху свои голубые глаза.

— Это означает,— начал он докторальным тоном,— что в эти минуты душа ваша отделяется от вашего тела и, если можно так выразиться, наблюдает его издали и спрашивает самое себя: что это такое?

— Но как же я не умираю, когда меня душа оставляет? — сделала весьма разумный вопрос Людмила.

Марфин, однако, имел уже готовый ответ на него.

— В человеке, кроме души,— объяснил он,— существует еще агент, называемый *«Архей»* — сила жизни, и вот вы этой жизненной силой и продолжаете жить, пока

к вам не возвратится душа... На это есть очень прямое указание в нашей русской поговорке: «*души она* — положим, мать, сестра, жена, невеста — *не слышит по нем*»... Значит, вся ее душа с ним, а между тем эта мать или жена живет физическою жизнию,— то есть этим Археем.

— Вот что,— понимаю! — произнесла Людмила и затем мельком взглянула на Ченцова, словно бы душа ее была с ним, а не с Марфиным, который ничего этого не подметил и хотел было снова заговорить: он никому так много не высказывал своих мистических взглядов и мыслей, как сей прелестной, но далеко не глубоко-мыслящей девушке, и явно, что более, чем кого-либо, желал посвятить ее в таинства герметической философии.

Кадриль, однако, кончилась, и за ней скоро последовала мазурка, которую Ченцов танцевал с Людмилой и, как лучший мазурист, стоял с ней в первой паре. Остроумно придумывая разные фигуры, он вместе с тем сейчас же принялся зубоскалить над Марфиным и его восторженным обожанием Людмилы, на что она не без досады возражала: «Ну, да, влюблена, умираю от любви к нему!» — и в то же время взглядывала и на стоявшего у дверей Марфина, который, опершись на косяк, со сложенными, как Наполеон, накрест руками, и подняв, по своей манере, глаза вверх, весь был погружен в какое-то созерцательное состояние; вылетавшие по временам из груди его вздохи говорили, что у него невесело на душе; по-видимому, его более всего возмущал часто раздававшийся громкий смех Ченцова, так как каждый раз Марфина при этом даже подергивало. Наконец Ченцов вдруг перестал зубоскалить и прошептал Людмиле серьезным тоном:

— Завтра maman ваша уедет в монастырь на панихиду?

— Да,— отвечала она.

— А сестры ваши тоже?

— Да.

— Но вы?

— Я дома останусь!

— Можно приехать к вам?

— Можно! — Это слово Людмила чуть-чуть уж проговорила.

С самого начала мазурки все почти маменьки, за исключением разве отъявленных картежниц, высыпали в залу наблюдать за своими дочками. Все они, по собствен-

ному опыту, знали, что мазурка — самый опасный танец, потому что во время ее чувства молодежи по преимуществу разгораются и высказываются. Наша адмиральша, сидевшая до этого в большой гостиной и слегка там, на основании своего чина, тонировавшая, тоже выплыла вместе с другими матерями и начала внимательно всматриваться своими близорукими глазами в танцующих, чтобы отыскать посреди их своих *красоточек,* но тщетно; ее *досадные глаза,* сколько она их ни щурила, кроме каких-то неопределенных движущихся фигур, ничего ей не представляли: физическая близорукость Юлии Матвеевны почти превосходила ее умственную непредусмотрительность.

— Где Людмила танцует? — спросила она, не надеясь на собственные усилия, усевшуюся рядом с ней даму, вся и все, должно быть, хорошо видевшую.

— Вон она!.. Вон с Ченцовым танцует! — объяснила ей та.

— Вижу, вижу!..— солгала ничего не рассмотревшая адмиральша.— А Сусанна?..— расспрашивала она соседку.

— Да я, мамаша, здесь, около вас!..— отозвалась неожиданно Сусанна, на всех, впрочем, балах старавшаяся стать поближе к матери, чтобы не заставлять ту беспокоиться.

— Ну, вот где ты!..— говорила адмиральша, совершенно не понимавшая, почему так случалось, что Сусанна всегда была вблизи ее.— А Муза где?

— Муза с Лябьевым танцует,— ответила Сусанна.

Старуха с удовольствием мотнула головой. Лябьев был молодой человек, часто игравший с Музою на фортепьянах в четыре руки.

Мазурка затянулась часов до четырех, так что хозяин, севший после губернатора играть в пикет с сенаторским правителем дел и сыгравший с ним несколько королей, нашел наконец нужным выйти в залу и, махнув музыкантам, чтобы они перестали играть, пригласил гостей к давно уже накрытому ужину в столовой, гостиной и кабинете. Все потянулись на его зов, и Катрин почти насильно посадила рядом с собой Ченцова; но он с ней больше не любезничал и вместо того весьма часто переглядывался с Людмилой, сидевшей тоже рядом со своим обожателем — Марфиным, который в продолжение всего ужина топор-

щился, надувался и собирался что-то такое говорить, но, кроме самых пустых и малозначащих фраз, ничего не сказал.

После ужина все стали разъезжаться. Ченцов пошел было за Марфиным.

— Дядя, вы у Архипова в гостинице остановились? — крикнул он ему.

— У Архипова,— отвечал тот неохотно.

— Довезите меня!.. Я там же стою,— у меня нет извозчика,— продолжал Ченцов.

— Негде мне!.. Я на одиночке!.. Сани у меня узкие! — пробормотал Марфин и поспешил уйти: он очень сердит был на племянника за бесцеремонный и тривиальный тон, который позволял себе тот в обращении с Людмилой.

Ченцов стал оглядывать переднюю, чтобы увидеть кого-либо из молодых людей, с которым он мог бы доехать до гостиницы; но таковых не оказалось. Положение его начинало становиться не совсем приятным, потому что семейство Юлии Матвеевны, привезшее его, уже уехало домой, а он приостался на несколько минут, чтобы допить свое шампанское. Идти же с бала пешком совершенно было не принято по губернским приличиям. Из этой беды его выручила одна дама,— косая, не первой уже молодости и, как говорила молва, давнишний,— когда Ченцов был еще студентом,— предмет его страсти.

— Валерьян Николаич, поедемте со мной, я вас довезу,— сказала она, услыхав, что дядя отказал ему в том.

Ченцов сначала было сделал гримасу, но, подумав, последовал за косой дамой и, посадив ее в возок, мгновенно захлопнул за ней дверцы, а сам поместился на облучке рядом с кучером.

— Валерьян Николаич, куда вы это сели?.. Сядьте со мной в возок!..— кричала ему дама.

— Не могу, я вас боюсь,— отвечал он.

— Чего вы боитесь?.. Что за глупости вы говорите!..

— Вы меня станете там целовать,— объяснил ей Ченцов прямо, невзирая на присутствие кучера.

Дама обиделась, тем более, что у нее вряд ли не было такого намерения, в котором он ее заподозрил.

Когда они ехали таким образом, Ченцов случайно взглянул в левую сторону и увидал комету. Хвост ее был совершенно красный, как бы кровавый. У Ченцова почему-то замерло сердце, затосковало, и перед ним, как бы

в быстро сменяющейся камер-обскуре, вдруг промелькнула его прошлая жизнь со всеми ее безобразиями. На несколько мгновений ему сделалось неловко и почти страшно. Но он, разумеется, не замедлил отогнать от себя это ощущение и у гостиницы Архипова, самой лучшей и самой дорогой в городе, проворно соскочив с облучка и небрежно проговорив косой даме «merci», пошел, молодцевато поматывая головой, к парадным дверям своего логовища, и думая в то же время про себя: «Вот дур-то на святой Руси!.. Не орут их, кажется, и не сеют, а они все-таки родятся!»

Иметь такое циническое понятие о женщинах Ченцов, ей-богу, был до некоторой степени вправе: очень уж они его баловали и все ему прощали!

III

В противуположность племяннику, занимавшему в гостинице целое отделение, хоть и глупо, но роскошно убранное,— за которое, впрочем, Ченцов, в ожидании будущих благ, не платил еще ни копейки,— у Егора Егорыча был довольно темный и небольшой нумер, состоящий из двух комнат, из которых в одной помещался его камердинер, а в другой жил сам Егор Егорыч. Комнату свою он, вставая каждый день в шесть часов утра, прибирал собственными руками, то есть мел в ней пол, приносил дров и затапливал печь, ходил лично на колодезь за водой и, наконец, сам чистил свое платье. Старый камердинер его при этом случае только надзирал за ним, чтобы как-нибудь барин, по слабосильности своей, не уронил чего и не зашиб себя. Вообще Марфин вел аскетическую и почти скупую жизнь; единственными предметами, требующими больших расходов, у него были: превосходный конский завод с скаковыми и рысистыми лошадьми, который он держал при усадьбе своей, и тут же несколько уже лет существующая больница для простого народа, устроенная с полным комплектом сиделок, фельдшеров, с двумя лекарскими учениками, и в которой, наконец, сам Егор Егорыч практиковал и лечил: перевязывать раны, вскрывать пузыри после мушек, разрезывать нарывы, закатить сильнейшего слабительного больному — было весьма любезным для него делом. Приведя в порядок свою комнату, Егор Егорыч с час обыкновенно стоял на молитве, а потом

пил чай. В настоящее утро он, несмотря на то, что лег очень поздно, поступил точно так же и часов в девять утра сидел совсем одетый у письменного стола своего. Перед ним лежал лист чистой почтовой бумаги, а в стороне стоял недопитый стакан чаю. Кроме того, на столе виднелись длинные женские перчатки, толстая книга в бархатном переплете, с золотыми ободочками, таковыми же ангелами и надписью на средине доски: *«Иегова»*. Далее на столе лежал ключик костяной, с привязанною к нему медною лопаточкой; потом звезда какая-то, на которой три рога изобилия составляли букву А, и наконец еще звезда более красивой формы, на красной с белыми каймами ленте, представляющая кольцеобразную змею, внутри которой было сияние, а в сиянии — всевидящее око. Ключик и лопаточка были общим знаком масонства; звезда с буквою А — знаком ложи, вторая же чуть ли не была знаком великого мастера.

Приложив руку к нахмуренному лбу, Марфин что-то такое соображал или сочинял и потом принялся писать на почтовом листе крупным и тщательным почерком:

«Высокочтимая сестра!

Вчерашний разговор наш навел меня на размышления о необходимости каждому наблюдать свой темперамент. Я Вам говорил, что всего удобнее человеку делать эти наблюдения в эпоху юности своей; но это не воспрещается и еще паче того следует делать и в лета позднейшие, ибо о прежних наших действиях мы можем судить правильнее, чем о настоящих: за сегодняшний поступок наш часто заступается в нас та страсть, которая заставила нас проступиться, и наш разум, который согласился на то!.. Следуя сему правилу и углубляясь ежедневно в самые затаенные изгибы моего сердца, я усматриваю ясно, что, по воле провидения, получил вместе с греховной природой человека — страсть Аббадоны — гордость! Во всех действиях моих я мню, что буду иметь в них успех, что все они будут на благо мне и ближним, и токмо милосердный бог, не хотящий меня покинуть, нередко ниспосылает мне уроки смирения и сим лишь хоть на время исцеляет мою бедствующую и худую душу от злейшего недуга ее...»

Марфин так расписался, что, вероятно, скоро бы кончил и все письмо; но к нему в нумер вошел Ченцов. Егор Егорыч едва успел повернуть почтовый лист вверх ненаписанной стороной. Лицо Ченцова имело насмешливое вы-

ражение. Вначале, впрочем, он довольно ласково поздоровался с дядей и сел.

— Хочешь чаю? — спросил его тот.

— А вам не жаль его будет? — спросил Ченцов.

Марфин с удивлением взглянул на него.

— Вы вчера пожалели же вашей лошади больше, чем меня,— проговорил Ченцов.

Марфин покраснел.

— У меня сани узки,— пробормотал он.

— Ну, полноте на сани сворачивать,— пожалели каурого!..— подхватил Ченцов.— А это что такое? — воскликнул он потом, увидав на столе белые перчатки.— Это с дамской ручки?.. Вы, должно быть, даму какую-нибудь с бала увезли!.. Я бы подумал, что Клавскую, да ту сенатор еще раньше вашего похитил.

Марфин поспешно взял белые перчатки, а также и масонские знаки и все это положил в ящик стола.

— Да уж не скроете!.. Теперь я видел, и если не расскажу об этом всему городу, не я буду! — продолжал Ченцов.

— Всему миру можешь рассказывать, всему! — сказал ему с сердцем Марфин.

В это время камердинер Егора Егорыча — Антип Ильич, старичок весьма благообразный, румяненький, чисто выбритый, в белом жабо и в сюртуке хоть поношенном, но без малейшего пятнышка, вынес гостю чаю. Про Антипа Ильича все знали, что аккуратности, кротости и богомолья он был примерного и, состоя тоже вместе с барином в масонстве, носил в оном звание *титулярного члена*[1]. Злившись на дядю, Ченцов не оставил в покое и камердинера его.

— Отче Антипий! — отнесся он к нему.— Правда ли, что вы каждый день вечером ходите в собор молиться тихвинской божией матери?

— Правда!..— отвечал на это старик совершенно спокойно.

— И правда ли, что вы ей так молитесь: «Матушка!.. Матушка!.. Богородица!.. Богородица!..» — подтрунивал Ченцов.

— Правда! — отвечал и на это спокойно старик.

---

[1] То есть члена, который не в состоянии был платить денежных повинностей. (*Прим. автора.*)

— И что будто бы однажды пьяный сторож, который за печкой лежал, крикнул вам: «Что ты, старый хрыч, тут бормочешь?», а вы, не расслышав и думая, что это богородица с вами заговорила, откликнулись ей: «А-сь, мать-пресвятая богородица, а-сь?..» Правда?

— Правда! — подтвердил, нисколько не смутившись, Антип Ильич.

Марфин также на этот разговор не рассердился и не улыбнулся.

Ченцова это еще более взорвало, и он кинулся на неповинную уж ни в чем толстую книгу.

— Что это за книжища?.. Очень она меня интересует! — сказал он, пододвигая к себе книгу и хорошо зная, какая это книга.

Марфин строго посмотрел на него, но Ченцов сделал вид, что как будто бы не заметил того.

— Библия! — произнес он, открыв первую страницу и явно насмешливым голосом, а затем, перелистовав около трети книги, остановился на картинке, изображающей царя Давида с небольшой курчавой бородой, в короне, и держащим в руках что-то вроде лиры.— А богоотец ѝубо Давид пред сенным ковчегом скакаше, играя!

Все это Ченцов делал и говорил, разумеется, чтобы раздосадовать Марфина, но тот оставался невозмутим.

— А что, дядя, царь Давид был выше или ниже вас ростом? — заключил Ченцов.

— Вероятно, выше,— отвечал кротко и серьезно Марфин: он с твердостию выдерживал урок смирения, частию чтобы загладить свою вчерашнюю раздражительность, под влиянием которой он был на бале, а частью и вследствие наглядного примера, сейчас только данного ему его старым камердинером; Марфин, по его словам, имел привычку часто всматриваться в поступки Антипа Ильича, как в правдивое и непогрешимое нравственное зеркало.

— Напротив, мне кажется!..— не унимался Ченцов.— Я вот видал, как рисуют — Давид всегда маленький, а Голиаф страшный сравнительно с ним верзило... Удивляюсь, как не он Давида, а тот его ухлопал!

Тут уж Марфин слегка усмехнулся.

— Велика, видно, Федора, да дура! — проговорил он.

Что слова *Федора дура* относились к Ченцову, он это понял хорошо, но не высказал того и решился доехать

дядю на другом, более еще действительном для того предмете.

— Я давно вас, дядя, хотел спросить, действительно ли великий плут и шарлатан Калиостро был из масонов?

Марфин сначала вспыхнул, а потом сильно нахмурился; Ченцов не ошибся в расчете: Егору Егорычу более всего был тяжел разговор с племянником о масонстве, ибо он в этом отношении считал себя много и много виноватым; в дни своих радужных чаяний и надежд на племянника Егор Егорыч предполагал образовать из него искреннейшего, душевного и глубоко-мысленного масона; но, кроме того духовного восприемства, думал сделать его наследником и всего своего материального богатства, исходатайствовав вместе с тем, чтобы к фамилии *Ченцов* была присоединена фамилия *Марфин* по тому поводу, что Валерьян был у него единственный родственник мужского пола. Охваченный всеми этими мечтаниями, начинающий уже стареться холостяк принялся — когда Ченцов едва только произведен был в гусарские офицеры — раскрывать перед ним свои мистические и масонские учения. Что касается до самого гусара, то он вряд ли из жажды просвещения, а не из простого любопытства, притворился, что будто бы с готовностью выслушивает преподаваемые ему наставления, и в конце концов просил дядю поскорее ввести его в ложу. Марфин был так неосторожен, что согласился. Валерьян был принят в число братьев, но этим и ограничились все его масонские подвиги: обряд посвящения до того показался ему глуп и смешон, что он на другой же день стал рассказывать в разных обществах, как с него снимали не один, а оба сапога, как распарывали брюки, надевали ему на глаза совершенно темные очки, водили его через камни и ямины, пугая, что это горы и пропасти, приставляли к груди его циркуль и шпагу, как потом ввели в самую ложу, где будто бы ему (тут уж Ченцов начинал от себя прибавлять), для испытания его покорности, посыпали голову пеплом, плевали даже на голову, заставляли его кланяться в ноги великому мастеру, который при этом, в доказательство своего сверхъестественного могущества, глотал зажженную бумагу. Вся эта болтовня вновь принятого брата дошла до некоторых членов ложи. Назначено было экстренное собрание, а там бедного Марфина осыпали целым градом обвинений за то, что он был *поручителем* подобного негодяя. Егор Егорыч, не меньше

своих собратий сознавая свой проступок, до того вознегодовал на племянника, что, вычеркнув его собственноручно из списка учеников ложи, лет пять после того не пускал к себе на глаза; но когда Ченцов увез из монастыря молодую монахиню, на которой он обвенчался было и которая, однако, вскоре его бросила и убежала с другим офицером, вызвал сего последнего на дуэль и, быв за то исключен из службы, прислал обо всех этих своих несчастиях дяде письмо, полное отчаяния и раскаяния, в котором просил позволения приехать,— Марфин не выдержал характера и разрешил ему это. Ченцов явился совершенно убитый и растерянный, так что Егор Егорыч прослезился, увидав его, и сейчас же поспешил заставить себя простить все несчастному, хотя, конечно, прежней любви и доверия не возвратил ему.

— Это несомненно, что великий маг и волшебник Калиостро масон был,— продолжал между тем настоящую беседу Ченцов,— нам это сказывал наш полковой командир, бывший прежде тоже ярым масоном; и он говорил, что Калиостро принадлежал к секте иллюминатов. Есть такая секта?

— Не секта, а союз, который, однако, никогда никто не считал за масонов,— объяснил неохотно Марфин.

— Отчего же их не считают? —допытывался Ченцов.

— Потому что их учение имело всегда революционное, а не примирительное стремление, что прямо противоречит духу масонства,— проговорил с той же неохотой Марфин.

— Это черт их дери!.. Революционное или примирительное стремление они имели! —воскликнул Ченцов.— Но главное, как рассказывал нам полковой командир, они, канальи, золото умели делать: из неблагородных металлов превращать в благородные... Вы знавали, дядя, таких?

— Нет, не знавал,— отвечал с грустной полунасмешкой Марфин.

— Эх, какой вы, право!..— снова воскликнул Ченцов.— Самого настоящего и хорошего вы и не узнали!.. Если бы меня масоны научили делать золото, я бы какие угодно им готов был совершить подвиги и произвести в себе внутреннее обновление.

— А когда бы ты хоть раз искренно произвел в себе это обновление, которое тебе теперь, как я вижу, кажет-

ся таким смешным, так, может быть, и не пожелал бы учиться добывать золото, ибо понял бы, что для человека существуют другие сокровища.

Всю эту тираду Егор Егорыч произнес, поматывая головой и с такою, видимо, верою в правду им говоримого, что это смутило даже несколько Ченцова.

— Ну, это, дядя, вы ошибаетесь! — начал тот не таким уж уверенным тоном.— Золота я и в царстве небесном пожелаю, а то сидеть там все под деревцами и кушать яблочки — скучно!.. Женщины там тоже, должно быть, все из старых монахинь...

— Перестань болтать! — остановил его с чувством тоски и досады Марфин.— Кроме уж кощунства, это очень неумно, неостроумно и несмешно!

— Вам, дядя, хорошо так рассуждать! У вас нет никаких желаний и денег много, а у меня наоборот!.. Заневолю о том говоришь, чем болишь!.. Вчера, черт возьми, без денег, сегодня без денег, завтра тоже, и так бесконечная перспектива idem per idem!.. [1] — проговорил Ченцов и, вытянувшись во весь свой длинный рост на стуле, склонил голову на грудь. Насмешливое выражение лица его переменилось на какое-то даже страдальческое.

— И что ж в результате будет?..— продолжал он рассуждать. — По необходимости продашь себя какой-нибудь корове с золотыми сосками.

Все эти слова племянника Егор Егорыч выслушал сначала молча: видимо, что в нем еще боролось чувство досады на того с чувством сожаления, и последнее, конечно, как всегда это случалось, восторжествовало.

— Разве у тебя нет денег? — спросил он с живостью и заметно довольный тем, что победил себя.

— Ни копейки!..— отвечал Ченцов.

— Так ты бы давно это сказал,— забормотал, по обыкновению, Марфин,— с того бы и начал, чем городить околесную; на, возьми! — закончил он и, вытащив из бокового кармана своего толстую пачку ассигнаций, швырнул ее Ченцову.

Тот, однако, не брал денег.

— Нет, дядя, я не в состоянии их взять! — отказался он.— Ты слишком великодушен ко мне. Я пришел с гадким намерением сердить тебя, а ты мне платишь добром.

---

[1] одно и то же!.. *(лат.)*

От полноты чувств Ченцов стал даже говорить дяде «ты» вместо «вы».

— Никакого нет тут добра, никакого! — все несвязней и несвязней бормотал Марфин.— Денежные раны не смертельны... нисколько... никому!..

— Как не смертельны!.. Это ты такой бессребреник, а разве много таких людей!..— говорил Ченцов.

— Много, много! — перебил его Марфин.— Деньги давать легче, чем брать их,— это я понимаю!..

— Ты-то, я знаю, что понимаешь!

Разговор затем на несколько минут приостановился; в Ченцове тоже происходила борьба: взять деньги ему казалось на этот раз подло, а не взять — значило лишить себя возможности существовать так, как он привык существовать. С ним, впрочем, постоянно встречалось в жизни нечто подобное. Всякий раз, делая что-нибудь, по его мнению, *неладное,* Ченцов чувствовал к себе отвращение и в то же время всегда выбирал это *неладное.*

— Эх,— вздохнул он,— делать, видно, нечего, надо брать; но только вот что, дядя!.. Вот тебе моя клятва, что я никогда не позволю себе шутить над тобою.

— И не позволяй, не позволяй! — сказал ему на это Марфин, погрозив пальцем.

— Не позволю, дядя,— успокоил его Ченцов, небрежно скомкав денежную пачку и суя ее в карман.— А если бы такое желание и явилось у меня, так я скрою его и задушу в себе,— присовокупил он.

— Ни-ни-ни! — возбранил ему Марфин.— Душевные недуги, как и физические, лечатся легче, когда они явны, и я прошу и требую от тебя быть со мною откровенным.

— Не могу, дядя, очень уж я скверен и развратен!.. Передо мной давно и очень ясно зияет пропасть, в которую я — и, вероятно, невдолге — кувырнусь со всей головой, как Дон-Жуан с статуей командора.

— Вздор, вздор! — бормотал Марфин.— Отчаяние для каждого человека унизительно.

— Что делать, дядя, если впереди у меня ничего другого нет! Прощай!

— Опять тебе повторяю: отчаяние недостойно христианина! — объяснил ему еще раз Марфин.

Но Ченцов ему на это ничего не ответил и быстро ушел, хлопнув сильно дверью.

Оставшись один, Марфин впал в смущенное и глубокое раздумье: голос его сердца говорил ему, что в племяннике не совсем погасли *искры добродетели и изящных душевных качеств;* но как их раздуть в очищающее пламя,— Егор Егорыч не мог придумать. Он хорошо понимал, что в Ченцове сильно бушевали грубые, плотские страсти, а кроме того, и разум его был омрачен мелкими житейскими софизмами. Придумав и отменив множество способов к исцелению во тьме ходящего родственника, Егор Егорыч пришел наконец к заключению, что веревки его разума коротки для такого дела, и что это надобно возложить на бесконечное милосердие провидения, *еже вся содевает и еже вся весть.* Успокоившись на сем решении, он мыслями своими обратился на более приятный и отрадный предмет: в далеко еще не остывшем сердце его, как мы знаем, жила любовь к Людмиле, старшей дочери адмиральши. Надежды влюбленного полустарика в этом случае, подобно некогда питаемым чаяниям касательно Валериана, заходили далеко. Егор Егорыч мечтал устроить душу Людмилы по строгим правилам масонской морали, чего, казалось ему, он и достигнул в некоторой степени; но, говоря по правде, им ничего тут, ни на йоту не было достигнуто. Не ограничиваясь этими бескорыстными планами, Егор Егорыч надеялся, что Людмила согласится сделаться его женою и пойдет с ним рука об руку в земной юдоли. С последнею целью им и начато было вышесказанное письмо, которое он окончил так:

«До каких высоких градусов достигает во мне самомнение, являет пример сему то, что я решаюсь послать к Вам прилагаемые в сем пакете белые женские перчатки. По статутам нашего ордена, мы можем передать их лишь той женщине, которую больше всех почитаем. Вас я паче всех женщин почитаю и *прошу Вашей руки и сердца.* Письмо мое Вы немедля покажите вашей матери, и чтобы оно ни минуты не было для нее тайно. Мать есть второе наше *я.* В случае, если ответ Ваш будет мне неблагоприятен, не передавайте оного сами, ибо Вы, может быть, постараетесь смягчить его и поумалить мое безумие, но пусть мне скажет его Ваша мать со всей строгостью и суровостью, к какой только способна ее кроткая душа, и да будет мне сие — говорю

это, как говорил бы на исповеди — в поучение и назидание.

Покорный Вам и радеющий об Вас Firma rupes [1]».

Подписанное Егором Егорычем имя было его масонский псевдоним, который он еще прежде открыл Людмиле. Положив свое послание вместе с белыми женскими перчатками в большой непроницаемый конверт, он кликнул своего камердинера. Тот вошел.

— Поди, отвези это письмо... к Людмиле Николаевне... и отдай его ей в руки,— проговорил Егор Егорыч с расстановкой и покраснев в лице до ушей.

— Слушаю-с! — отвечал покорно Антип Ильич; но Марфину почуялись в этом ответе какие-то неодобряющие звуки, тем более, что старик, произнеся слово: *слушаю-с,* о чем-то тотчас же вздохнул.

«Если не он сам сознательно, то душа его, верно, печалится обо мне»,— подумал Марфин и ждал, не скажет ли ему еще чего-нибудь Антип Ильич, и тот действительно сказал:

— Ей самой — вы говорите — надо в руки передать?

— Ей! — ответил ему с усилием над собой Марфин.

Но Антип Ильич этим не удовольствовался и снова спросил:

— А если я их не увижу и горничная ихняя выйдет ко мне, то отдавать ли ей?

На лбу Марфина выступал уже холодный пот.

— Отдай и горничной! — разрешил он, махнув мысленно рукой на все, что из того бы ни вышло.

Антип Ильич, опять о чем-то вздохнув, неторопливо повернулся и пошел.

«Сами ангелы божии внушают этому старику скорбеть о моем безумии!..» — подумал Марфин и вслух проговорил:

— Ты вели себе заложить лошадь.

— Зачем? И пешком дойду,— возразил было Антип Ильич, зная, что барин очень скуп на лошадей; но на этот раз вышло не то.

— Пожалуйста, поезжай, а не пешком иди! — почти умоляющим голосом воскликнул тот.

Егору Егорычу очень хотелось поскорее узнать, что

---

[1] Твердая скала. *(лат.)*

велит ему сказать Людмила, и у него даже была маленькая надежда, не напишет ли она ему письмо.

— Хорошо, лошадь заложат, коли вы приказываете! — отвечал, по-видимому, совершенно флегматически Антип Ильич; но Марфину снова послышалось в ответе старика неудовольствие.

IV

Дом Рыжовых отстоял недалеко от гостиницы Архипова. Ченцов, имевший обыкновение ничего и никого не щадить для красного словца, давно прозвал этот дом за его наружность и за образ жизни, который вели в нем его владельцы, *хаотическим домом.* Он уверял, что Марфин потому так и любит бывать у Рыжовых, что ему у них все напоминает первобытный хаос, когда земля была еще неустроена, и когда только что сотворенные люди были совершенно чисты, хоть уже и обнаруживали некоторое поползновение к грешку. Во всей этой иронии его была некоторая доля правды: самый дом представлял почти развалину; на его крыше и стенах краска слупилась и слезла; во многих окнах виднелись разбитые и лопнувшие стекла; паркет внутри дома покосился и растрескался; в некоторых комнатах существовала жара невыносимая, а в других — холод непомерный. По большей части часов еще с четырех утра в нем появлялся огонек: это значило, что адмиральша собиралась к заутрени, и ее в этом случае всегда сопровождала Сусанна. Часов с семи начиналось ставление самоваров и нагревание утюгов для разглаживания барышниных юбок, кофточек, воротничков. Завтрак тянулся часов до двух, потому что адмиральша и Сусанна пили чай часу в девятом; Муза — в десять часов и затем сейчас же садилась играть на фортепьяно; а Людмила хоть и не спала, но нежилась в постели почти до полудня, строя в своем воображении всевозможные воздушные замки. Между тем горничные — и все, надобно сказать, молоденькие и хорошенькие — беспрестанно перебегали из людской в дом и из дому в людскую, хихикая и перебраниваясь с чужими лакеями и форейторами, производившими еще спозаранку набег к Рыжовым. Благодаря такой свободе нравов некоторые из горничных, более неосторожные, делались в *известном положении,* что всег-

да причиняло большое беспокойство старой адмиральше. Тщательно скрывая от дочерей положение несчастной горничной, она спешила ее отправить в деревню, и при этом не только что не бранила *бедняжку,* а, напротив, утешала, просила не падать духом и беречь себя и своего будущего ребенка, а сама между тем приходила в крайнее удивление и восклицала: «Этого я от Аннушки (или Паши какой-нибудь) никак не ожидала, никак!» Вообще Юлия Матвеевна все житейские неприятности — а у нее их было немало — встречала с совершенно искренним недоумением. «Что хотите, я этого не думала!.. В голову даже не приходило!» — повторяла она многократно, словно будто бы была молоденькая смольнянка, только что впервые открывшая глаза на божий мир и на то, что в нем творится. Молодые люди ездили к Рыжовым всегда гурьбой и во всякий час дня — поутру, после обеда, вечером. Старуха-адмиральша и все ее дочери встречали обыкновенно этих, иногда очень запоздавших, посетителей, радушно, и барышни сейчас же затевали с ними или танцы, или разные petits jeux [1], а на святках так и жмурки, причем Сусанна краснела донельзя и больше всего остерегалась, чтобы как-нибудь до нее не дотронулся неосторожно кто-либо из молодых людей; а тем временем повар Рыжовых, бывший постоянно к вечеру пьян, бежал в погребок и мясные лавки, выпрашивал там, по большей части в долг, вина и провизии и принимался стряпать ужин. Озлоблению его при этом пределов не было: проклиная бар своих и гостей ихних, он подливал, иногда по неимению, а иногда и из досады, в котлеты, вместо масла, воды; жареное или не дожаривал или совсем пережаривал; в сбитые сливки — вероятно, для скорости изготовления — подбавлял немного мыла; но, несмотря на то, ужин и подаваемое к нему отвратительное вино уничтожались дочиста.

В то утро, которое я буду теперь описывать, в хаотическом доме было несколько потише, потому что старуха, как и заранее предполагала, уехала с двумя младшими дочерьми на панихиду по муже, а Людмила, сказавшись больной, сидела в своей комнате с Ченцовым: он прямо от дяди проехал к Рыжовым. Дверь в комнату была несколько притворена. Но прибыл Антип Ильич и

[1] светские игры, *(франц.)*

вошел в совершенно пустую переднюю. Он кашлянул раз, два; наконец к нему выглянула одна из горничных.

— Мне Людмилу Николаевну нужно видеть... У меня письмо к ним,— проговорил ей Антип Ильич.

— Она не одета еще!.. Дайте, я ей отдам письмо!.. От кого оно?

— От господина моего,— отвечал Антип Ильич, по аккуратности своей не совсем охотно выпуская из рук письмо.

— Сейчас снесу его! — подхватила горничная и юркнула в коридор.

Антип Ильич, увидав в передней залавок, опустился на него и погрузился в размышления. Марфин хоть и подозревал в своем камердинере наклонность к глубоким размышлениям, но вряд ли это было так: старик, впадая в задумчивость, вовсе, кажется, ничего не думал, а только прислушивался к разным болестям своим — то в спине, то в руках, то в ногах. Людмила тем временем стояла около Ченцова, помещавшегося на диване в очень нецеремонной позе и курившего трубку с длинным-длинным чубуком. Запах Жукова табаку сильно наполнял комнату. Ченцов заставлял и Людмилу курить.

— Ну, попробуйте! — говорил он.

Людмила брала из его рук трубку и начинала курить.

— Затягивайтесь!.. Так вот!.. В себя тяните! — приказывал ей Ченцов.

Людмила и это делала, но тут же, закашлявшись, отдавала Ченцову трубку назад.

— Не могу, не могу и никогда не стану больше! — говорила она.

— Что за вздор такой: не можете!.. Я вас непременно приучу,— стоял на своем Ченцов.

Комната Людмилы представляла несколько лучшее убранство, чем остальной хаотический дом: у нее на окнах были цветы; на туалетном красного дерева столике помещалось круглое в резной раме зеркало, которое было обставлено разными красивыми безделушками; на выступе изразцовой печи стояло несколько фарфоровых куколок; пол комнаты был сплошь покрыт ковром. Здесь нельзя умолчать о том, что Юлия Матвеевна хоть и тщательно скрывала это, но Людмилу, как

первеницу, любила больше двух младших дочерей своих и для нее обыкновенно тратила последние деньжонки. Между тем в Людмиле была страсть к щеголеватости во всем: в туалете, в белье, в убранстве комнаты; тогда как Сусанна почти презирала это, и в ее спальне был только большой образ с лампадкой и довольно жесткий диван, на котором она спала; Муза тоже мало занималась своей комнатой, потому что никогда почти не оставалась в ней, но, одевшись, сейчас же сходила вниз, к своему фортепьяно.

Одета Людмила на этот раз была в кокетливый утренний капот, с волосами как будто бы даже не причесанными, а только приколотыми шпильками, и — надобно отдать ей честь — поражала своей красотой и миловидностью; особенно у нее хороши были глаза — большие, черные, бархатистые и с поволокой, вследствие которой они все словно бы где-то блуждали... В сущности, все три сестры имели одно общее семейное сходство; все они, если можно так выразиться, были как бы не от мира сего: Муза воздыхала о звуках, и не о тех, которые раздавались в ее игре и игре других, а о каких-то неведомых, далеких и когда-то ею слышанных. Сусанну увлекала религиозная сторона жизни: церковь, ее обряды и больше всего похороны. Стих: «Приидите ко мне, братие и друзие, с последним лобызанием!», или ирмос: «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе!» — почти немолчно раздавались в ее ушах. Сусанна, думая, что эти галлюцинации предвещали ей скорую смерть, и боясь тем испугать мать, упорно о том молчала; Людмила же вся жила в образах: еще в детстве она, по преимуществу, любила слушать страшные сказки, сидеть по целым часам у окна и смотреть на луну, следить летним днем за облаками, воображая в них фигуры гор, зверей, птиц. Начитавшись потом, по выходе из института, романов, и по большей части рыцарских, которых Людмила нашла огромное количество в библиотеке покойного отца, она не преминула составить себе идеал мужчины, который, по ее фантазии, непременно долженствовал быть или рыцарь, или сарацин какой-нибудь, вроде Малек-Аделя, или, по крайней мере, красивый кавалерийский офицер. Весьма естественно, что, при таком воззрении Людмилы, Ченцов, ловкий, отважный, бывший гусарский офицер, превосходный верховой ездок на самых рьяных и злых лошадях, почти вполне подошел

к ее идеалу; а за этими качествами, какой он собственно был человек, Людмила нисколько не думала; да если бы и думать стала, так не много бы поняла.

Когда горничная, неторопливо и не вдруг отворив дверь, вошла в комнату барышни, то Людмила сейчас же поспешила отойти от Ченцова и немного покраснела при этом.

— Что тебе надобно? — спросила она горничную несвойственным ей строгим тоном.

— Письмо к вам от Егора Егорыча Марфина! — проговорила та, подавая письмо Людмиле, которая ей торопливо проговорила:

— Хорошо, можешь уйти!.. Пусть — кто принес — подождет!

Горничная ушла.

Людмила начала читать письмо, и на лице ее попеременно являлись усмешка, потом удивление и наконец как бы испуг.

Ченцов внимательно следил за нею.

— Что такое может писать к вам мой дядюшка? — спросил он с некоторым нетерпением.

— Ну, уж это не ваше дело, извините! — сказала Людмила.

— Почему ж не мое?..— воскликнул Ченцов и, вскочив с дивана, стал отнимать у Людмилы письмо, которое, впрочем, она скоро отдала ему.

С первых строк дядиного послания Ченцов начал восклицать:

— Прелесть!.. Прелесть что такое!.. Но к чему однако все это сводится?.. Ба!.. Вот что!.. Поздравляю, поздравляю вас!..— говорил он, делая Людмиле ручкой.

Та несколько рассердилась на него.

— Но что же вы намерены отвечать на сие письмо? — заключил Ченцов.

— Вы, я думаю, должны это знать!..— произнесла Людмила, гордо подняв свою хорошенькую головку.

Ченцов самодовольно усмехнулся.

— Но вы, однако, обратите внимание на бесценные выражения вашего обожателя! — продолжал он.— Выражение такого рода, что ему дана, по воле провидения, страсть Аббадоны!.. Ах, черт возьми, этакий плюгавец — со страстью Аббадоны!.. Что он чает и жаждет получить урок смирения!.. Прекрасно!.. Отказывать ему в этом

грешно!.. Дайте ему этот урок, и хорошенький!.. Терпите, мол, дедушка; терпели же вы до пятидесяти лет, что всем женщинам были противны,— потерпите же и до смерти: тем угоднее вы господу богу будете... Но постойте: где же его перчатки?.. Покажите мне их!

— Не покажу!.. Над этим нельзя так смеяться!..— проговорила Людмила и начала довольно сердитой походкой ходить по комнате: красивый лоб ее сделался нахмурен.

— Все равно, я сегодня видел эти перчатки, да мне и самому когда-то даны были такие, и я их тоже преподнес, только не одной женщине, а нескольким, которых уважал.

Тактика Ченцова была не скрывать перед женщинами своих любовных похождений, а, напротив, еще выдумывать их на себя,— и удивительное дело: он не только что не падал тем в их глазах, но скорей возвышался и поселял в некоторых желание отбить его у других. Людмила, впрочем, была, по-видимому, недовольна его шутками и все продолжала взад и вперед ходить по комнате.

— Подойдите ко мне, птичка моя! — заговорил Ченцов вдруг совершенно иным тоном, поняв, что Людмила была не в духе.

Она не подходила.

— Подойдите!..— прошептал он уже страстно, изменившись в одно мгновение, как хамелеон, из бессердечного, холодного насмешника в пылкого и нежного итальянца; глаза у него загорелись, в лицо бросилась кровь.

— Не подойду! — объявила наконец Людмила.

— Почему?

— Потому что у вас нет белых перчаток!.. Вы их раньше меня другим роздали! — ответила Людмила и грациозно присела перед Ченцовым.

— О, прелесть моя!..— воскликнул он, простирая к ней руки.— У меня есть белые перчатки!.. Есть!.. И для тебя одной я хранил их!..

— Не верю!..

— Верь, верь и подойди! — повторял Ченцов тихим и вместе с тем исполненным какой-то демонической власти голосом.

Людмила, однако, не слушалась его.

— А что значит для вас mademoiselle Крапчик? — спросила она, подняв опять гордо головку свою.

Ченцов никак не ожидал подобного вопроса.

— Ничего не значит! — отвечал он, не заикнувшись.

— Однако зачем же вы вчера на бале были так любезны с ней?.. И я, Валерьян, скажу тебе прямо... я всю ночь проплакала... всю.

Ченцов всплеснул руками.

— Господи, что же это такое? — произнес он.— Разве такие ангелы, как ты, могут беспокоиться и думать о других женщинах? Что ты такое говоришь, Людмила?!

— А я вот думаю и беспокоюсь,— отозвалась Людмила, улыбаясь и стараясь не смотреть на Ченцова.

— Безумие,— больше ничего!.. Извольте подойти ко мне.

У Людмилы все еще доставало силы не повиноваться ему.

— Людмила, я рассержусь, видит бог, рассержусь! — почти крикнул на нее Ченцов, ударив кулаком по ручке дивана.

Этого Людмила уже не выдержала.

— Ну, вот я и подошла! — сказала она, действительно подходя и став раболепно перед своим повелителем.

Ченцов встрепенулся, привлек к себе Людмилу, и она, как кроткая овечка, упала к нему на грудь. Ченцов начал сжимать ее в своих объятиях, целовать в голову, в шею: чувственный и любострастный зверь в нем проснулся окончательно, так что Людмила с большим усилием успела наконец вырваться из его объятий и убежала из своей комнаты. Ченцов остался в раздраженном, но довольном состоянии. Сбежав сверху, Людмила, взволнованная и пылающая, спросила горничных, где посланный от Марфина, и когда те сказали, что в передней, она вышла к Антипу Ильичу.

Старик, при входе ее, немедля встал и приветствовал барышню почтительным поклоном.

— Ах, это вы! — начала с уважением Людмила и затем несвязно присовокупила: — Кланяйтесь, пожалуйста, Егору Егорычу, попросите у него извинения за меня и скажите, что мамаши теперь дома нет и что она будет ему отвечать!

Антип Ильич хоть и не понял хорошенько ее слов, но тем не менее снова ей почтительно поклонился и ушел, а Людмила опять убежала наверх.

V

Егор Егорыч, ожидая возвращения своего камердинера, был как на иголках; он то усаживался плотно на своем кресле, то вскакивал и подбегал к окну, из которого можно было видеть, когда подъедет Антип Ильич. Прошло таким образом около часу. Но вот входная дверь нумера скрипнула. Понятно, что это прибыл Антип Ильич; но он еще довольно долго снимал с себя шубу, обтирал свои намерзшие бакенбарды и сморкался. Егора Егорыча даже подергивало от нетерпения. Наконец камердинер предстал перед ним.

— Что, какой ответ? — забормотал Егор Егорыч.

— Ответ-с такой...— И Антип Ильич несколько затруднялся, как ему, с его обычною точностью, передать ответ, который он не совсем понял.— Барышня мне сами сказали, что они извиняются, а что маменьки ихней дома нет.

— Но где же маменька ее? — перебил его Егор Егорыч, побледнев в лице: он предчувствовал, что вести нехорошие будут.

— Этого я не знаю-с! — доложил Антип Ильич.

Егор Егорыч вскочил с кресел.

— Как же ты не знаешь?.. Как тебе не стыдно это?!.— заговорил он гневным и плачевным голосом.— Добро бы ты был какой-нибудь мальчик ветреный, но ты человек умный, аккуратный, а главного не узнал!

— Это, виноват, не догадался! — отвечал Антип Ильич, видимо, смущенный.— Если прикажете, я опять сейчас съезжу и узнаю.

— Нельзя этого, нельзя, Антип Ильич! — воскликнул тем же досадливо-плачевным тоном Егор Егорыч.— Из этого выйдет скандал!.. Это бог знает что могут подумать!

Антип Ильич решительно недоумевал, почему барин так разгневался и отчего тут бог знает что могут подумать. Егор Егорыч с своей стороны также не знал, что ему предпринять. К счастию, вошел кучер.

— Лошадь откладывать или нет? — отнесся он негромко к Антипу Ильичу.

— Конечно, откладывать!.. Конечно!..— подхватил за него Егор Егорыч.— Что, я поеду гулять, что ли, кататься, веселиться!..

Кучера несколько удивили такие странные слова и тон голоса барина.

— Ты не знаешь ли, куда уехала старая адмиральша? — попытался его спросить Антип Ильич.

— Она уехала в Новоспасский монастырь! — объяснил ему кучер.

— Зачем? — вскрикнул, обернувшись к нему лицом, Егор Егорыч.

— Люди сказывали, что панихиду служить по покойном адмирале! — ответил и на это кучер.

— Это тридцать верст отсюда?.. Тридцать верст!..— кричал Марфин.

— Больше-с,— верст сорок будет! — заметил кучер.

— Будет сорок! — подтвердил и Антип Ильич.

Этим они еще больше рассердили Егора Егорыча.

— Когда ж она возвратится? Через неделю, через две, через месяц? — вскрикивал он, подпрыгивая даже на кресле.

— Нет-с, где же через месяц? — сказал кучер, начинавший уже немного и трусить барина.— А что точно что: они взяли овса и провизии для себя... горничную и всех барышень.

— Как всех барышень? — произнес окончательно опешенный Марфин.— А ты говоришь, что видел барышню? — обратился он с укором к Антипу Ильичу.

— Старшая, Людмила Николаевна, дома! — проговорил тот утвердительно.— Госпожа адмиральша, может, с двумя младшими уехала.

— Надо быть, что с двумя! — сообразил сметливый кучер.— Всего в одном возке четвероместном поехала; значит, если бы еще барышню взяла,— пятеро бы с горничной было, и не уселись бы все!

Егор Егорыч почти не слыхал его слов и в изнеможении закинул голову на спинку кресла: для него не оставалось уже никакого сомнения, что ответ от Рыжовых будет неблагоприятный ему.

— Но не сказала ли тебе еще чего-нибудь Людмила Николаевна? — спросил он снова умоляющим голосом Антипа Ильича.

— Сказали всего только, что сама адмиральша будет вам отвечать! — дополнил Антип Ильич, постаравшийся припомнить до последнего звука все, что говорила ему Людмила.

— Хорошо, будет, ступайте! — сказал Егор Егорыч.

Он спешил поскорее услать от себя прислугу, чтобы скрыть от них невыносимую горечь волновавших его чувствований.

Антип Ильич и кучер ушли.

Чтобы хоть сколько-нибудь себя успокоить, Егор Егорыч развернул библию, которая, как нарочно, открылась на *Песне песней Соломона.* Напрасно Егор Егорыч, пробегая поэтические и страстные строки этой песни, усиливался воображать, как прежде всегда он и воображал, что упоминаемый там жених — Христос, а невеста — церковь. Но тут (Егор Егорыч был уверен в том) дьявол мутил его воображение, и ему представлялось, что жених — это он сам, а невеста — Людмила. Егор Егорыч рассердился на себя, закрыл библию и крикнул:

— Заложить мне лошадей, тройку, в пошевни!

Его намерение было ехать к сенатору, чтобы на том сорвать вспыхнувшую в нем досаду, доходящую почти до озлобления, и вместе с тем, под влиянием своих масонских воззрений, он мысленно говорил себе: «Нетерпелив я и строптив, очень строптив!»

Лошади скоро были готовы. Егор Егорыч, надев свой фрак с крестиками, поехал. Гордое лицо его имело на этот раз очень мрачный оттенок. На дворе сенатора он увидал двух будочников, двух жандармов и даже квартального. Все они до мозгу костей иззябли на морозе.

— Стерегут его, точно сокровище какое!..— сердито пробурчал про себя Марфин.

Сенатор в это время, по случаю беспрерывных к нему визитов и представлений, сидел в кабинете за рабочим столом, раздушенный и напомаженный, в форменном с камергерскими пуговицами фраке и в звезде. Ему делал доклад его оглоданный правитель дел, стоя на ногах, что, впрочем, всегда несколько стесняло сенатора, вежливого до нежности с подчиненными, так что он каждый раз просил Звездкина садиться, но тот, в силу, вероятно, своих лакейских наклонностей, отнекивался под разными предлогами.

Марфин, как обыкновенно он это делал при свиданиях с сильными мира сего, вошел в кабинет топорщась. Сенатор, несмотря что остался им не совсем доволен при первом их знакомстве, принял его очень вежливо и даже

с почтением. Он сам пододвинул ему поближе к себе кресло, на которое Егор Егорыч сейчас же и сел.

Правитель дел, кажется, ожидал, что сей, впервые еще являвшийся посетитель поклонится и ему, но, когда Егор Егорыч не удостоил даже его взглядом, он был этим заметно удивлен и, отойдя от стола, занял довольно отдаленно стоявший стул.

— Не были ли мы вместе с вами под Бородиным? — начал сенатор, обращаясь к Марфину.— Фамилия ваша мне чрезвычайно знакома.

— Я был под Бородиным! — отвечал лаконически Егор Егорыч.

— И не были ли вы там ранены?.. Я припоминаю это по своей службе в штабе! — продолжал сенатор, желая тем, конечно, сказать любезность гостю.

— Я был не ранен, а переломил себе только ногу, упав с убитой подо мною лошади! — отчеканил резко Марфин.

— О, это все равно!..— слегка воскликнул сенатор.— Это такая же рана, как и другие; но скоро однако вы излечились?

— Очень не скоро!.. Сначала я был совершенно хром, и уж потом, когда мы гнали назад Наполеона и я следовал в арьергарде за армией, мне в Германии сказали, что для того, чтобы воротить себе ногу, необходимо снова ее сломать... Я согласился на это... Мне ее врачи сломали, и я опять стал с прямой ногой.

— Вы, видно, владеете большим присутствием духа!— заметил сенатор, опять-таки с целью польстить этому на вид столь миниатюрному господину, но крепкому, должно быть, по характеру.

— Иначе что ж! — возразил Марфин.— Я должен был бы оставить кавалерийскую службу, которую я очень любил.

— Да, мы все тогда любили нашу службу! — присовокупил как бы с чувством сенатор.

Марфин поморщился; его покоробила фраза графа: *мы все.*

«Кто же эти все? Значит, и сам граф тоже, а это не так!» — сердито подумал он.

— Вы вчера долго оставались на бале? — направил тот будто бы случайно разговор на другой предмет.

— Долго! — отвечал отрывисто Марфин.

— А я, к сожалению, никак не мог остаться... Мне так

совестно перед Петром Григорьичем, но у меня столько дел и такие все запутанные, противоречивые!

— В чем вы, собственно, встречаете противоречия? — спросил Марфин.

— Во многом! — ответил сначала неопределенно сенатор.— Михайло Сергеич, я слышу, в зале набралось много просителей; потрудитесь к ним выйти, примите от них прошения и рассмотрите их там! — сказал он правителю дел, который немедля же встал и вышел из кабинета.

Оставшись с глазу на глаз с Марфиным, сенатор приосанился немного и, видимо, готовился приступить к беседе о чем-то весьма важном.

— Главные противоречия,— начал он неторопливо и потирая свои руки,— это в отношении губернатора... Одни утверждают, что он чистый вампир, вытянувший из губернии всю кровь, чего я, к удивлению моему, по делам совершенно не вижу... Кроме того, другие лица, не принадлежащие к партии губернского предводителя, мне говорят совершенно противное...

— Я, граф, сам принадлежу к партии губернского предводителя! — хотел сразу остановить и срезать сенатора Марфин.

— Это я знаю,— подхватил тот уклончиво,— но при этом я наслышан и о вашей полной независимости от чужих мнений: вы никогда и никому не бываете вполне подчинены!.. Такова, pardon, об вас общая молва.

— Молва очень лестная для меня! — проговорил Марфин, насупившись и твердо уверенный, что сенатор нарочно льстит ему, чтобы пообрезать у него когти.

— О, без сомнения! — продолжал сенатор.— А потому мне чрезвычайно было бы важно слышать ваше личное мнение по этому предмету.

— Я уже высказывал и здесь и в Петербурге мое мнение по этому предмету и до сих пор не переменил его,— рубил напрямик Марфин.

— И оно состояло?..— спросил сенатор.

— Состояло в том, что я считаю губернатора явным и открытым взяточником!

Сенатора заметно покоробило такое резкое выражение Егора Егорыча.

— Есть господа, которые оправдывают его тем,— продолжал тот,— что своего состояния у него нет, жена боль-

на, семейство большое, сыновья служат в кавалергардах; но почему же не в армии?.. Почему?

— О, боже мой!..— произнес, несколько возвысив голос, сенатор.— Вы даже то, что сыновья губернатора служат в гвардии, и то ставите ему в вину.

— Ставлю, потому что он ради этого нами властвует, как воевода, приехавший к нам на кормление.

— Но чем же можно доказать, что он похож на воеводу?

— Можно-с, но мне гадко повторять, что об нем рассказывают: ни один воз с сеном, ни одна барка с хлебом не смеют появиться в городе, не давши ему через полицмейстера взятки.

— И вы сами бывали свидетелем чего-нибудь подобного?

— Фи!..— произнес с гримасой Марфин.— Буду я свидетелем этого!.. Если бы и увидал даже, так отвернулся бы.

— Но на слова других нельзя безусловно полагаться.

— Отчего нельзя?.. Отчего? — почти уже закричал Марфин.— Это говорят все, а глас народа — глас божий.

— Не всегда, не говорите этого, не всегда! — возразил сенатор, все более и более принимая величавую позу.— Допуская, наконец, что во всех этих рассказах, как во всякой сплетне, есть малая доля правды, то и тогда раскапывать и раскрывать, как вот сами вы говорите, такую грязь тяжело и, главное, трудно... По нашим законам человек, дающий взятку, так же отвечает, как и берущий.

— Ну, трудность бывает двух сортов! — снова воскликнул Марфин, хлопнув своими ручками и начав их нервно потирать.— Одна трудность простая, когда в самом деле трудно открыть, а другая сугубая!..

Фразы этой, впрочем, не договорил Егор Егорыч, да и сенатор, кажется, не желал слышать ее окончания, потому что, понюхав в это время табаку из своей золотой, осыпанной брильянтами, табакерки, поспешил очень ловко преподнести ее Егору Егорычу, проговорив:

— Не угодно ли?

— Не нюхаю! — отвечал тот отрывисто, но на табакерку взглянул и, смекнув, что она была подарок из дворцового кабинета, заподозрил, что сенатор сделал это с умыс-

лом, для внушения вящего уважения к себе: «Вот кто я, смотри!» — и Марфин, как водится, рассердился при этой мысли своей.

— Я-с человек частный... ничтожество!..— заговорил он прерывчатым голосом.— Не мое, может быть, дело судить действия правительственных лиц; но я раз стал обвинителем и докончу это... Если справедливы неприятные слухи, которые дошли до меня при приезде моем сюда, я опять поеду в Петербург и опять буду кричать.

Сенатор величаво улыбнулся.

— Крикун же вы! — заметил он.— И чего же вы будете еще требовать от Петербурга,— я не понимаю!.. Из Петербурга меня прислали ревизовать вашу губернию и будут, конечно, ожидать результатов моей ревизии, которых пока никто и не знает, ни даже я сам.

У Марфина вертелось на языке сказать: «Не хитрите, граф, вы знаете хорошо, каковы бы должны быть результаты вашей ревизии; но вы опутаны грехом; вы, к стыду вашему, сблизились с племянницей губернатора, и вам уже нельзя быть между им и губернией судьей беспристрастным и справедливым!..» Однако привычка сдерживать и умерять в себе гневливость, присутствия которой в душе Егор Егорыч не любил и боялся больше всего, хотя и подпадал ей беспрестанно, восторжествовала на этот раз, и он ограничился тем, что, не надеясь долго совладеть с собою, счел за лучшее прекратить свой визит и начал сухо раскланиваться.

Сенатор, по своей придворной тактике, распростился с ним в высшей степени любезно, и только, когда Егор Егорыч совсем уже уехал, он немедля же позвал к себе правителя дел и стал ему пересказывать с видимым чувством досады:

— Вообразите, этот пимперле[1] приезжал пугать меня!

Правитель дел, считавший своего начальника, равно как и самого себя, превыше всяких губернских авторитетов, взглянул с некоторым удивлением на графа.

— Чем же он вас пугал? — спросил он.

— Да определительно и сказать нельзя — чем, но пугал, что вот он получил здесь какие-то слухи неприятные и что поедет кричать об этом в Петербурге.

---

[1] Очень маленькая и самая резвая куколка в немецком кукольном театре, объезжавшем тогда всю Россию. (*Прим. автора.*)

Сенатор, в сущности, очень хорошо понял, о каких слухах намекал ему Марфин.

— О ком и о чем слухи? — поинтересовался правитель дел, вероятно, несколько опасавшийся, что нет ли и об его личных действиях каких-нибудь толков.

— Не сказал!.. Все это, конечно, вздор, и тут одно важно, что хотя Марфина в Петербурге и разумеют все почти за сумасшедшего, но у него есть связи при дворе... Ему племянницей, кажется, приходится одна фрейлина там... поет очень хорошо русские песни... Я слыхал и видал ее — недурна! — объяснил сенатор и затем пустился посвящать своего наперсника в разные тонкие комбинации о том, что такая-то часто бывает у таких-то, а эти, такие, у такого-то, который имеет влияние на такого-то.

Тема на этот разговор была у графа неистощимая и весьма любимая им. Что касается до правителя дел, то хотя он и был по своему происхождению и положению очень далек от придворного круга, но тем не менее понимал хорошо, что все это имеет большое значение, и вследствие этого призадумался несколько. Его главным образом беспокоило то, что Марфин даже не взглянул на него, войдя к сенатору, как будто бы презирал, что ли, его или был за что-то недоволен им.

— Могу я докладывать? — спросил он, видя, что сенатор больше уже не желает говорить.

— О, пожалуйста! — ответил тот и для освежения мозга понюхал табаку из своей золотой табакерки.

Правитель дел начал доклад, по обыкновению, стоя.

— Дело по жалобе на устройство городничим Надеждиным рыбных садков в свою пользу! — заговорил он ровным и бесстрастным голосом.

— Проделки этого господина вопиющие! — перебил его сенатор.— Мне говорили об них еще в Петербурге!.. Заставлять обывателей устраивать ему садки,— это уж и не взятка, а какая-то натуральная повинность!

— В Петербурге, мне кажется, ваше сиятельство, ошибочно взглянули на это дело! — возразил с некоторым одушевлением правитель дел.— Городничий вызван нами.

— Знаю я! — подхватил сенатор, очень довольный тем, что знал это.

— Он был у меня!..— доложил правитель дел, хотя собственно он должен был бы сказать, что городничий *представлялся к нему,* как стали это делать, чрез две же

недели после начала ревизии, почти все вызываемые для служебных объяснений чиновники, являясь к правителю дел даже ранее, чем к сенатору, причем, как говорили злые языки, выпадала немалая доля благостыни в руки Звездкина.

— Городничий мне доставил,— продолжал он,– собранные им удостоверения от местных обывателей,— вот они!

И правитель дел показал целую кипу бумаг, при одном виде которых сенатор обмер.

— Но что такое в них говорится? — поспешил он спросить.

— Говорится во всех одно и то же! — отвечал правитель дел и, взяв будто бы на выдержку одну из бумаг, начал ее читать буквально:

— «Я, нижеподписавшийся, второй гильдии купец и рыбопромышленник, сим удостоверяю, что по здешним ценам устройство рыбного садка, с посадкою в оный рыбы, стоит пять рублей на ассигнации».

— Как пять рублей?! — воскликнул сенатор.— А в Петербурге что́ он стоит?

— В Петербурге дороже, да там и велики они очень, а садок городничего всего сажень в длину и в ширину.

— Фу ты, боже мой! — произнес сенатор, пожимая плечами.— Вот и суди тут!.. Как же все это не противно и не скучно?..

Правитель дел молчал, вовсе не находя с своей стороны в службе ничего ни противного, ни скучного.

— Бросить это дело; оно выеденного яйца не стоит!..— приказал сенатор.

Правитель дел поспешно написал на первоначальной бумаге резолюцию: *оставить без последствий,* и предложил ее к подписи сенатору, который, не взглянув даже на написанное, подмахнул: «Ревизующий сенатор граф Эдлерс».

— Далее какие дела?..— сказал он.

— Далее дело об кадке капусты и об заседателе земского суда Дрыгине.

При этом ответе правитель дел не удержался и усмехнулся.

— Как об капусте и об Дрыгине?.. Что такое это? — проговорил сенатор с недоумением: он этого дела уже не помнил.

— Господин Дрыгин сам здесь!.. Угодно вам его видеть? — доложил правитель дел.

— Но, может быть, он какой-нибудь грубый, пьяный? — заметил с брезгливостью сенатор.

— Напротив, он из отставных военных! — сказал правитель дел.

Сенатор поуспокоился.

— А в чем Дрыгин обвиняется? — нашел он нужным узнать.

— В том, что при проезде через деревню Ветриху он съел там целый ушат кислой капусты.

Сенатор окончательно был озадачен.

— Mon Dieu, mon Dieu! [1] — произнес он, вскидывая глаза к небу.

Правитель дел поспешил позвать заседателя из залы, и когда тот вошел, то оказался тем отчисленным от службы заседателем, которого мы видели на балу у предводителя и который был по-прежнему в ополченском мундире. Наружный вид заседателя произвел довольно приятное впечатление на графа.

— Вы обвиняетесь в том, что при проезде через деревню Ветриху *съели целый ушат капусты,* — следовало бы договорить сенатору, но он не в состоянии был того сделать и выразился так: — *Издержали ушат капусты.*

— Ваше высокопревосходительство! — начал Дрыгин тоном благородного негодования.— Если бы я был не человек, а свинья, и уничтожил бы в продолжение нескольких часов целый ушат капусты, то умер бы, а я еще жив!

Сенатор покраснел.

— Почему же на вас такой извет? — сказал он, стараясь не утратить некоторой строгости.

— Деревня Ветриха, как, может быть, небезызвестно вашему высокопревосходительству, принадлежит губернскому предводителю, который давно мой гонитель...

Проговорив это, Дрыгин почтительно склонил перед сенатором голову.

Здесь я, впрочем, по беспристрастию историка, должен объяснить, что, конечно, заседатель не съел в один обед целого ушата капусты, но, попробовав ее и найдя очень вкусною, велел поставить себе в сани весь ушат и свез его своей жене — большой хозяйке.

---

[1] Боже, боже! *(франц.)*

— А между тем, ваше высокопревосходительство,— продолжал Дрыгин с тем же оттенком благородного негодования,— за эту клевету на меня я отозван от службы и, будучи отцом семейства, оставлен без куска хлеба.

Сенатор взглянул на своего правителя.

— Отозван-с! — подтвердил тот, угадав взгляд начальника.

— Вы можете отправляться к вашей должности! — отнесся сенатор к Дрыгину, который вспыхнул даже от радости.

— Ваше высокопревосходительство! — начал он, прижимая руку к сердцу, но более того ничего не мог высказать, а только, сморгнув навернувшиеся на глазах его слезы, поклонился и вышел.

Сенатор остался совсем взбудораженный.

— Я теперь припоминаю, что я отозвал этого несчастного по просьбе губернского предводителя! — признался он своему правителю.

— Может быть-с! — отозвался тот уклончиво.

— Непременно со слов Крапчика! — подхватил сенатор.— Он, я вам говорю, какой-то злой дух для меня!.. Все, что он мне ни посоветовал, во всем я оказываюсь глупцом!.. Я велю, наконец, не пускать его к себе.

Правитель дел потупился, заранее уверенный, что если бы Крапчик сию же минуту к графу приехал, то тот принял бы его только что не с распростертыми объятиями: очень опытный во всех мелких чиновничьих интригах, Звездкин не вполне понимал гладко стелющую манеру обхождения, которой держался его начальник.

Покончив с заседателем, сенатор хотел было опять приступить к слушанию дела, но в это время вошел в кабинет молодой человек, очень благообразный из себя, франтоватый и привезенный сенатором из Петербурга в числе своих канцелярских чиновников. Молодой человек этот был в тот день дежурным.

— Excellence, madame Klavsky est venue vous chercher et vous engage de faire une promenade! [1] — доложил он, грассируя несколько голосом.

— Tout de suite, mon cher!.. Dites á madame que je suis

---

[1] Ваше высокопревосходительство, мадам Клавская заехала за вами и предлагает вам прогуляться! *(франц.)*

à elle dans un instant!..[1] — воскликнул радостно сенатор и с несвойственною старикам поспешностью побежал в гардеробную изменить несколько свой туалет.

VI

M-me Клавская в это время, вся в соболях и во всем величии своей полноватой красоты, сидела очень спокойно в парных санях, которые стояли у сенаторского подъезда. Ченцов давно еще сочинил про нее такого рода стихотворение:

Madame Клавская бабица
Вальсирует на заказ
И, как юная вдовица,
Ищет мужа среди нас;
Но мы знаем себе цену
И боимся ее плену.

Клавская действительно прежде ужасно кокетничала с молодыми людьми, но последнее время вдруг перестала совершенно обращать на них внимание; кроме того, и во внешней ее обстановке произошла большая перемена: прежде она обыкновенно выезжала в общество с кем-нибудь из своих родных или знакомых, в туалете, хоть и кокетливом, но очень небогатом, а теперь, напротив, что ни бал, то на ней было новое и дорогое платье; каждое утро она каталась в своем собственном экипаже на паре серых с яблоками жеребцов, с кучером, кафтан которого кругом был опушен котиком. Все это некоторые объясняли прямым источником из кармана сенатора, а другие — тем, что к m-me Клавской одновременно со Звездкиным стали забегать разные чиновники, которым угрожала опасность по ревизии; но, как бы то ни было, в одном только никто не сомневался: что граф был от нее без ума.

— Madame, me parmettrez vous de prendre place auprès de vous?[2] — говорил он почти раболепным голосом, выбежав к ней в настоящее утро на рундучок своего крыльца.

— Pourquoi pas[3],— отвечала ему ужаснейшим прононсом Клавская и пододвинулась к одной стороне саней.

---

[1] Сейчас, мой милый!.. Скажите мадам, что через минуту я в ее распоряжении! *(франц.)*
[2] Мадам, вы позволите мне занять место возле вас? *(франц.)*
[3] Почему же нет, *(франц.)*

Сенатор сел с ней рядом, и лошади понесли их по гладким улицам губернского города. Когда они проезжали невдалеке от губернаторского дома, то Клавская, все время закрывавшая себе муфтой лицо от холода, проговорила негромко:

— Заедемте, пожалуйста, к дяде позавтракать!.. Он очень, бедный, расстроен и будет утешен вашим визитом... Повар у него отличный!

Сенатор на первых порах поморщился немного.

— Я очень уважаю вашего дядю, и мне от души его жаль, но заезжать к нему, comprenez vous[1]... Он губернатор здешний, я — ревизующий сенатор.

Говоря это, он, кажется, трепетал от страха, чтобы не рассердить очень своим отказом Клавскую.

— Полноте, что за мелочи! — возразила она ему убеждающим и нежным тоном.— Кого и чего вы опасаетесь? Если не для дяди, так для меня заедемте к нему,— я есть хочу!

— Извольте, извольте!..— не выдержал долее граф.— Я для вас готов быть у старика... Он, я знаю, не так виноват, как говорят про него враги его.

— Ах, он ангел! — воскликнула Клавская.— И если за что страдает, так за доброту свою!..— присовокупила она и остановила муфтой кучера у губернаторского подъезда.

Сенатор выскочил из саней первый, и в то время, как он подавал руку Клавской, чтобы высадить ее, мимо них пронесся на своей тройке Марфин и сделал вид, что он не видал ни сенатора, ни Клавской. Те тоже как будто бы не заметили его.

Егор Егорыч, чтобы размыкать гложущую его тоску, обскакал почти весь город и теперь ехал домой; но тут вдруг переменил намерение и велел кучеру везти себя к губернскому предводителю, с которым ему главным образом желалось поделиться снова вспыхнувшим в его сердце гневом. Услыхав от лакея, что Крапчик был еще в спальне, Егор Егорыч не стеснился этим и направился туда. Губернский предводитель в это время, сидя перед своей конторкой, сводил итоги расходам по вчерашнему балу и был, видимо, не в духе: расходов насчитывалось более чем на три тысячи. Марфин влетел к нему, по обыкно-

---

[1] видите ли... (*франц.*)

вению, вихрем, так что губернский предводитель немножко даже вздрогнул.

— Какими судьбами? — произнес он.

Марфин бросил небрежно свою шапку на диванчик и принялся ходить по комнате.

— Сейчас я был у сенатора и убедился, что он старая остзейская лиса и больше ничего! — сказал он.

— Стало быть, вы объяснялись с ним о чем-нибудь? — спросил губернский предводитель со свойственным ему в известных случаях любопытством.

— Объяснялся... Граф сам первый начал и спросил, что за человек губернатор? Я говорю: он дрянь и взяточник!

Губернский предводитель с удовольствием усмехнулся.

— Что же граф на это?

— Граф говорит, что нет и что он об губернаторе слышал много хорошего от людей, не принадлежащих к вашей партии!

— Моей партии? — переспросил губернский предводитель с недоумением и отчасти с неудовольствием.

— Ну, вашей, моей, как хотите назовите! — кипятился Марфин.— Но это все еще цветочки!.. Цветочки! Ягодки будут впереди, потому что за пять минут перед сим, при проезде моем мимо палат начальника губернии, я вижу, что monsieur le comte et madame Klavsky[1] вдвоем на парных санях подкатили к дверям его превосходительства и юркнули в оные.

Губернский предводитель развел руками.

— Странно!..— сказал он.— Граф до сегодня был у губернатора всего один раз, отплачивая ему визит.

— Но я не лгу же это и не выдумываю!.. Я собственными глазами видел и monsieur comt'а и Клавскую, и это им даром не пройдет!.. Нет!.. Я завтра же скачу в Петербург и все там разблаговещу, все!..

Губернский предводитель соображал некоторое время.

— Не советую,— проговорил он,— это будет слишком поспешно с вашей стороны и бесполезно для самого дела!

— Но вы в этом случае — поймите вы — совершенно сходитесь в мнениях с сенатором, который тоже говорит, что я слишком спешу, и все убеждал меня, что Петербург достаточно уже облагодетельствовал нашу губернию тем,

---

[1] господин граф и мадам Клавская *(франц.)*.

что прислал его к нам на ревизию; а я буду там доказывать, что господин граф не годится для этого, потому что он плотоугодник и развратник, и что его, прежде чем к нам, следовало послать в Соловки к какому-нибудь монаху для напутствования и назидания.

— Всему этому только улыбнутся в Петербурге,— начал было губернский предводитель, но, заметив, что Марфин готов был вспетушиться, поторопился присовокупить: — Вы только, пожалуйста, не сердитесь и выслушайте меня, что я вам доложу. По-моему, напротив, надобно дать полное спокойствие и возможность графу дурачиться; но когда он начнет уже делать незаконные распоряжения, к которым его, вероятно, только еще подготовляют, тогда и собрать не слухи, а самые дела, да с этим и ехать в Петербург. И я, если вы позволите, поеду с вами: вы — как человек известный там, а я — в качестве губернского предводителя здешнего дворянства.

Марфин начинал понимать практическую справедливость Крапчика, но все-таки не мог с ним вдруг согласиться.

— Но где ж мы узнаем эти дела? Не таскаться же по всем канцеляриям!.. Мы, слава богу, не французские стряпчие.

— Вы об этом не беспокойтесь! Все узнается по городским слухам подробно и с полною достоверностью,— за это я вам ручаюсь,— и смотрите, что может произойти!.. Вы вашим влиянием вызвали ревизию над губернатором, а потом мы сообща, может быть, накличем острастку и на сенатора.

От последней мысли своей губернский предводитель даже в лице расцвел, но Марфин продолжал хмуриться и сердиться. Дело в том, что вся эта предлагаемая Крапчиком система выжидания и подглядывания за сенатором претила Марфину, и не столько по исповедуемой им религии масонства, в которой он знал, что подобные приемы допускались, сколько по врожденным ему нравственным инстинктам: Егор Егорыч любил действовать лишь прямо и открыто.

— Не лучше ли,— начал он с глубокомысленным выражением в лице, и видимо, придумав совершенно другой способ,— не лучше ли, чем строить козни, написать этому старому дураку строго-моральное письмо, в котором

напомнить ему об его обязанностях христианина и гражданина?

Крапчик втайне готов был фыркнуть, услыхав такое измышление Егора Егорыча, но, разумеется, воздержался и только с легкою полуулыбкою возразил:

— Разве подобное письмо подействует на столь зачерствелого человека и испугает его?

— Это так!.. Так! — согласился и Марфин, воображению которого точно нарочно почти въявь представилась котообразная фигура сенатора, да еще высаживающего из саней под ручку m-me Клавскую.

— Прощайте! — сказал он затем, торопливо хватая свою шапку.

— Куда же вы?.. Оставайтесь у нас обедать! — стал было удерживать его хозяин.

— Не могу, и есть ничего не хочу! — отговаривался Марфин.

— Но позвольте, по крайней мере, мне послать сказать Катрин, что вы здесь, а то она мне будет выговаривать, что я не оповестил ее об вас.

— Нет, некогда, некогда! — бормотал Марфин, и, проговорив еще раз «прощайте!», уехал.

— Сумасшедший торопыга! — произнес Крапчик, оставшись один и снова принимаясь просматривать счет, но вошел лакей и доложил, что приехал новый гость — Ченцов.

— Зачем и кто его принял? — крикнул Крапчик.

— Я-с,— ответил, сробев, лакей.

— Дурак! Ну, пойди и скажи, что выйду в кабинет...

Лакей ушел. Крапчик, поприбрав несколько на конторке свои бумаги, пошел неохотно в кабинет, куда вместе с ним торопливо входила и Катрин с лицом еще более грубоватым, чем при вечернем освещении, но вместе с тем сияющим от удовольствия.

— Вы, надеюсь, обедаете у нас? — было первое слово ее гостю.

— Обедаю,— отвечал Ченцов.

Крапчик же едва удостоил сказать ему:

— Здравствуйте!

Катрин была уверена, что божественный Ченцов (она иначе не воображала его в своих мечтах) явился собственно для нее, чтобы исполнить ее приказание приехать

к ним с утра, но расчет m-lle Катрин оказался при самом начале обеда неверен.

— Мы сыграем сегодня с вами? — спросил Ченцов хозяина.

Выражение глаз того стало не столь сердито.

— Сыграем, если хотите,— отвечал он, впрочем, совершенно бесстрастно.

M-lle Катрин побледнела.

— Но как же вы мне еще вчера сказали, что не будете играть? — проговорила она Ченцову.

— Язык на то и дан человеку, чтобы лгать! — отшутился он.

— Правило прекрасное! — заметила Катрин и надулась; Крапчик же заметно сделался любезнее с своим гостем и стал даже подливать ему вина. Ченцов, с своей стороны, хоть и чувствовал, что Катрин сильно им недовольна, но что ж делать? Поступить иначе он не мог: ощутив в кармане своем подаренные дядею деньги, он не в силах был удержаться, чтобы не попробовать на них счастия слепой фортуны, особенно с таким золотым мешком, каков был губернский предводитель.

После обеда гость и хозяин немедля уселись в кабинете за карточный стол, совершенно уже не обращая внимания на Катрин, которая не пошла за ними, а села в маленькой гостиной, находящейся рядом с кабинетом, и велела подать себе работу — вязание бисерного шнурка, который она думала при каком-нибудь мало-мальски удобном предлоге подарить Ченцову.

Между играющими начался, как водится, банк. Если бы кто спросил, в чем собственно состоял гений Крапчика, то можно безошибочно отвечать, что, будучи, как бо́льшая часть полувосточных человеков, от природы зол, честолюбив, умен внешним образом, без всяких о чем бы то ни было твердых личных убеждений, он главным своим призванием на земле имел — быть банкометом какого-нибудь огромного общеевропейского банка. Несмотря на то, что Петр Григорьич почти каждодневно играл в банк или другие азартные игры, но никто еще и никогда не заметил на черномазом лице его, выигрывает он или проигрывает. Карты обыкновенно Крапчик клал медленно, аккуратно, одна на другую, как бы о том только и помышляя, но в то же время все видел и все подмечал, что делал его партнер, и беспощаднейшим образом пользовался малейшей оплош-

ностью того. В настоящем случае повторилось то же самое. Крапчик прежде всего выложил на стол три тысячи рублей серебром и стал метать. Ченцов, севший играть с восемьюстами рублей (хорошо еще, что он предварительно заплатил хозяину гостиницы двести рублей), начал горячиться; видимые им около предводителя три тысячи рублей ужасно его раздражали. Счастие на первых порах ему повезло: он сразу взял карту, загнул ее и взял вторую; загнув на весь выигрыш, не отписав из него ничего, снова взял, и когда поставил на червонную даму, чуть ли не имея при этом в виду миловидный и выразительный облик Людмилы, то Крапчик заметил ему:

— Вы ничего не оставляете себе?

— Ничего! — отвечал небрежно Ченцов и выиграл карту; тут уж он потянул из денег предводителя значительную пачку. Крапчик только молча наблюдал, правильно ли Ченцов отсчитывает себе деньги, на которые тот положил прежнюю червонную даму.

— Вся сумма идет? — сказал Крапчик.

— Вся!.. Гну-с!..— воскликнул Ченцов, и голос его при этом слегка дрогнул, а по лицу пробежало какое-то страдальческое ощущение.

Крапчик убил эту карту и тотчас же придвинул к себе всю выигранную у него Ченцовым сумму и метать не продолжал.

— Угодно вам заплатить мне проигрыш? — спросил он после короткого молчания.

— Затруднительно мне это! — произнес протяжно и комическим тоном Ченцов.

Крапчика поразил несколько такой ответ.

— Но на что же вы играли, если не имели денег? — проговорил он глухим голосом.

— Я-то видел, на что играл!

И Ченцов указал пальцем на лежавшие перед хозяином деньги.

— А вот вы на что играли, я не знаю! — присовокупил он.

Крапчик на это ничего не сказал и принялся молча собирать раскиданные карты в колоду.

Ченцов наконец захохотал.

— Я пошутил,— вот вам! — воскликнул он и выкинул из кармана все дядины деньги, которые Крапчик аккуратно пересчитал и заявил:

— Здесь недостает более двухсот рублей!

— Заплачу их вам завтра же! — подхватил, слегка покраснев, Ченцов и попросил дать ему вина.

Хозяин позвал лакея и велел ему принести бутылку шампанского. Ченцов сейчас же принялся пить из нее и выпил почти всю залпом.

— А не хотите ли вы сыграть со мной в долг? — сказал он, видимо, сжигаемый неудержимою страстью к игре.

Крапчик подумал немного.

— Но кто же мне за вас заплатит в случае проигрыша? — спросил он.

— Дядя!.. Полагаю, что он не захочет, чтобы меня посадили в тюрьму, или чтобы я пустил себе пулю в лоб? — отвечал Ченцов.

Крапчик еще некоторое время подумал.

— Извольте!..— сказал он и, кликнув лакея, приказал ему принести новую бутылку шампанского.

Катрин, не проронившая ни одного звука из того, что говорилось в кабинете, негромко велела возвращавшемуся оттуда лакею налить и ей стакан шампанского. Тот исполнил ее приказание и, когда поставил начатую бутылку на стол к играющим, то у Крапчика не прошло это мимо́ глаз.

— Отчего она не полна? — сказал он лакею, показывая на бутылку.

— Катерине Петровне я налил стакан,— объяснил тот почтительно.

Крапчик поморщился, а Ченцов вскрикнул:

— Браво, mademoiselle Катрин! Пожалуйте сюда и чокнемтесь.

— Не хочу я с вами чокаться! — отказалась Катрин: голос ее был печален.

Игра между партнерами началась и продолжалась в том же духе. Ченцов пил вино и ставил без всякого расчета карты; а Крапчик играл с еще более усиленным вниманием и в результате выиграл тысяч десять.

— Ну, будет! — забастовал он наконец.

— Мне поэтому надобно дать вам заемное письмо? — проговорил, почти смеясь, Ченцов: выпитое вино немало способствовало его веселому настроению духа.

— Да, уж потрудитесь,— отвечал Крапчик и, вынув из письменного стола нужный для писем этого рода гербовый лист, подал его вместе с пером и чернильницей

Ченцову, который, в свою очередь, тоже совершенно спокойно и самым правильным образом написал это заемное письмо: он привык и умел это делать. Получив обязательство и положив его в карман, Крапчик ожидал и желал, чтобы гость убирался; но Ченцов и не думал этого делать; напротив, оставив хозяина в кабинете, он перешел в маленькую гостиную к Катрин и сел с нею рядом на диване. Крапчику это очень не понравилось. Как бы не зная, что ему предпринять, он тоже вышел в маленькую гостиную и отнесся к дочери:

— Ты разве еще не хочешь спать?

— Нет,— произнесла та грубо и отрывисто.

— Мы еще будем ужинать с mademoiselle Катрин! — поддержал ее Ченцов.— Vous voulez, que je soupe avec vous? [1] — обратился он к ней.

— Хочу! — ответила и ему лаконически Катрин.

Крапчик, понурив, как бык, головою, ушел к себе в спальню.

Катрин распорядилась, чтобы дали им тут же на маленький стол ужин, и когда принесший вино и кушанье лакей хотел было, по обыкновению, остаться служить у стола и встать за стулом с тарелкой в руке и салфеткой, завязанной одним кончиком за петлю фрака, так она ему сказала:

— Можешь уйти!.. Я позову, когда нужно будет.

Лакей исполнил это приказание. Ченцов слушал с какой-то полуулыбкой все эти распоряжения Катрин.

— Вы проигрались? — заговорила она.

— И очень даже сильно! — не потаил Ченцов.

— Но зачем же вы играли с отцом? Вы знаете, какой он опытный и спокойный игрок, а вы ребенок какой-то сравнительно с ним.

— О, черт бы его драл! — отозвался без церемонии Ченцов.— Я игрывал и не с такими еще господами... почище его будут!.. Стоит ли об этом говорить! Чокнемтесь лучше, по крайней мере, хоть теперь!..— присовокупил он, наливая по стакану шампанского себе и Катрин.

Она покорно чокнулась с ним, выпила вино и проговорила, беря себя за голову:

— Ах, я не знаю, что вы способны со мною сделать!..

— Я с женщинами обыкновенно делаю то, что они сами желают! — возразил Ченцов.

---

[1] Вы хотите, чтобы я с вами поужинал? *(франц.)*

— Да, но вы их завлекаете, а это еще хуже! — заметила Катрин.

— Вы полагаете? — спросил не без самодовольства Ченцов.

— Полагаю! — произнесла с ударением Катрин.

Ченцов очень хорошо видел, что в настоящие минуты она была воск мягкий, из которого он мог вылепить все, что ему хотелось, и у него на мгновение промелькнула было в голове блажная мысль отплатить этому подлецу Крапчику за его обыгрыванье кое-чем почувствительнее денег; но, взглянув на Катрин, он сейчас же отказался от того, смутно предчувствуя, что смирение ее перед ним было не совсем искреннее и только на время надетая маска.

— А вы знаете, я вас боюсь! — высказал он ей тут же прямо.

— Отчего? — полувоскликнула Катрин.

— Оттого, что вы похожи на меня!..

— Я знаю, что похожа, но не боюсь вас!..

— А я, видит аллах, боюсь точно так же, как боюсь и вашего отца в картах.

— Нет, вы меня не бойтесь!.. Отца, пожалуй, вы должны опасаться, потому что он не любит вас, а я нет.

— И вы что же в отношении меня? — допытывался Ченцов.

— Угадайте! — сказала Катрин, взмахнув на него своими черными глазами.

Ченцов пожал плечами.

— Угадывать я не мастер! — отвечал он.

Ему, кажется, хотелось, чтобы Катрин сама ему призналась в любви, но она удержалась.

— А вот это мне иногда представляется,— продолжал Ченцов, уже вставая и отыскивая свою шляпу,— что со временем мы с вами будем злейшие враги на смерть... на ножи...

Такое предположение удивило и оскорбило Катрин.

— Может быть, вы мне будете враг, а я вам никогда! — произнесла она с уверенностью.

— Будете! — повторил Ченцов.— И еще более горший враг, чем я; а затем вашу ручку!

Катрин с удовольствием подала ему руку, которую он поцеловал как бы с чувством и пошел нетвердой походкой.

Катрин проводила его до дверей передней, где справи-

лась, есть ли у него лошадь, и когда узнала, что есть, то прошла в свою светлицу наверх, но заснуть долго не могла: очень уж ее сначала рассердил и огорчил Ченцов, а потом как будто бы и порадовал!..

VII

Ченцов приехал в свою гостиницу очень пьяный и, проходя по коридору, опять-таки совершенно случайно взглянул в окно и увидал комету с ее хвостом. При этом он уже не страх почувствовал, а какую-то злую радость, похожую на ту, которую он испытывал на дуэли, глядя в дуло направленного на него противником пистолета. Ченцов и на комету постарался так же смотреть, но вдруг послышались чьи-то шаги. Он обернулся и увидал Антипа Ильича.

— Отче Антипий! — крикнул он ему.— Ты видишь ли эту комету?

— Вижу! — отвечал старик.

— Что она так глазеет, и отчего у нее такой красный хвост?

Антип Ильич посмотрел своими кроткими глазами на светило небесное и проговорил медленно:

— Видно, погибла чья-то душа неповинная.

— Черт знает что такое: душа неповинная!..— воскликнул Ченцов.— А у меня так вот душа не невинная, а *винная!*

— Ваше дело! — ответил старик и пошел было.

— Но куда же ты бежишь? — остановил его Ченцов.

— Егор Егорыч нездоровы,— бегу в аптеку! — доложил Антип Ильич и проворно ушел.

Что-то вроде угрызения совести отозвалось в душе Ченцова: он, почти угадывая причину болезни дяди, в которой и себя отчасти считал виноватым, подумал было зайти к Егору Егорычу, но не сделал этого,— ему стыдно показалось явиться к тому в пьяном виде.

Предчувствие Антипа Ильича, как оказалось это спустя уже десятки лет, почти что было верно. В то самое крещение, с которого я начал мой рассказ, далеко-далеко, более чем на тысячеверстном расстоянии от описываемой мною местности, в маленьком уездном городишке, случилось такого рода происшествие: поутру перед волоковым окном мещанского домика стояло двое нищих,— один ста-

рик и, по-видимому, слепой, а другой — его вожак—молодой, с лицом, залепленным в нескольких местах пластырями. Оба нищие в один голос вопили: «Подайте, Христа ради, слепому, убогому!» В это время на крыльце присутственных мест, бывших как раз против мещанского домика, появился чей-то молодой, должно быть, приказчик в мерлушечьем тулупчике и валяных сапогах. Другой молодец и тоже, должно быть, приказчик, проходивший по тротуару, окликнул его:

— Зачем ты это, Вася, там был?

— Плакатный выправлял!.. Вечером в Нижний еду!.. Расчет делать хозяин посылает! — сказал Вася, сходя с лестницы и пойдя с товарищем вместе по улице.

— И много, Вася, денег везешь? — расспрашивал тот.

— Уйму, братец... уйму!.. Ажно страшно!..— отвечал Вася.

— Ничего!.. Важивал ведь прежде! — успокоивал его товарищ.

Нищие, и особенно молодой из них, заметно прислушивались к этому разговору. Из волокового окна между тем выглянуло заплывшее жиром, сизо-багровое лицо какой-то женщины, которая толстой и до плеча голой рукой подала им огромный кусище пирога и проговорила при этом:

— Не посетуйте, родимые!.. Чем богаты...

Пробурчав что-то такое на это, молитву или благодарность, старик засунул пирог в свою и без того уж битком набитую суму и вместе с вожаком пошел далее христарадничать по улице, а затем они совсем вышли из города и скрылись за ближайшим леском.

На другой день крещения, поздно вечером и именно в тот самый час, когда Ченцов разговаривал с Антипом Ильичом об комете, в крошечную спальню доктора Сверстова, служившего в сказанном городишке уездным врачом, вошла его пожилая, сухопарая супруга с серыми, но не лишенными блеска глазами и с совершенно плоскою грудью.

— Сергей Николаич, Сергей Николаич! — проговорила она, осторожно будя мужа.— От исправника к тебе рассыльный: тело надобно завтра поднимать какого-то убитого!..

Доктор сейчас же поднялся на своей постели. Всякий живописец, всякий скульптор пожелал бы рисовать или

лепить его фигуру, какою она явилась в настоящую минуту: курчавая голова доктора, слегка седоватая, была всклочена до последней степени; рубашка расстегнута; сухие ноги его живописно спускались с кровати. Всей этой наружностью своей он более напоминал какого-нибудь художника, чем врача.

— Тело?.. А когда же все выезжают? — переспросил доктор жену.

— Завтра утром,— отвечала она.

— Хорошо, скажи только фельдшеру, чтобы он заблаговременно приготовил мне инструменты,— проговорил доктор.

— Приготовим! — сказала докторша и, несколько величественной походкой выйдя из спальни мужа, прошла к себе тоже в спальню, где, впрочем, она стала еще вязать шерстяные носки. Доктор же улегся снова в постель; но, тревожимый разными соображениями по предстоящему для него делу, не заснул и проворочался до ранних обеден, пока за ним не заехал исправник, с которым он и отправился на место происшествия.

Госпожа Сверстова, или, как издавна и странно называл ее муж, gnädige Frau [1], желая тем выразить глубокое уважение к ней, оставшись дома одна, забыла даже пообедать и напилась только ячменного кофею. Она, как немка по рождению и воспитанию, конечно, с гораздо большим бы удовольствием вкушала мокко, но тот был слишком дорог, а потому она приучила себя к нашему русскому хлебному кофею, который, кроме своей дешевизны, был, как она полагала, полезен для ее слабой груди. Почтенную даму сию, как и самого доктора, беспокоила мысль, чтобы не произошло пререканий между супругом ее и членами полиции, что случалось почти при поднятии каждого трупа скоропостижно умершего или убитого. Члены полиции имели постоянным правилом своим по делам этого рода делать срывы с кого только возможно; но Сверстов, никогда ни по какому делу не бравший ни копейки, страшно восставал против таких поборов и не доносил о том по начальству единственно из чувства товарищества, так как и сам был все-таки чиновник. Домой он в этот раз не возвращался до поздней ночи. Gnädige Frau начала все более и более волноваться;

[1] милостивая государыня, *(нем.)*

наконец раздавшиеся исправнические колокольцы возвестили о прибытии Сверстова. Он прямо прошел в свою спаленку и сел там за ужин, еще заранее накрытый ему предупредительною супругою и который обыкновенно у него состоял из щей с бараниной, гречневой каши с свиным салом и графинчика водки. Все это gnädige Frau подала мужу собственноручно, и из того, что он прежде всего выпил сряду три рюмки водки, она заключила, что Сверстов был сильно не в духе.

— Кого это убили? — спросила она, садясь сбоку стола.

— Ивана Селиверстова сына,— милейший, прелестный мальчик! — воскликнул доктор и принялся жадно хлебать щи: бывая на следствиях, он никогда почти там ничего не ел, чтобы избежать поклепов в опивании и объедании обывателей.

— За что же и кто его убил? — продолжала расспрашивать gnädige Frau.

— Вероятно, из-за денег! Говорят, он ехал с уплатой от хозяина,— этого сквалыги Турбина... Тысяч пятьдесят вез!

— Ах, эти купцы русские, mein gott, mein gott!..[1] — перебила мужа gnädige Frau.— И отчего они посылают деньги не по почте, а с приказчиками — понять этого я не могу.

— Думают, что на почте пропадут их деньги,— дичь! — подхватил Сверстов и выпил еще рюмку водки. В глазах gnädige Frau промелькнуло неудовольствие. Для нее было большим горем, что доктор так любил эту гадкую русскую водку. Дело в том, что она вступила в брак со Сверстовым уже вдовою; в первом же замужестве была за лютеранским пастором в Ревеле, который тоже пил и довольно много, но только благородное баварское пиво, выписываемое им бочками из-за границы. Тщетно gnädige Frau убеждала своего второго супруга пить тоже пиво, но он в одном только этом случае не слушался ее и предпочитал наше простое пенное всем другим напиткам.

— Но где же найден убитый? — снова принялась она расспрашивать.

— Верстах в пятнадцати отсюда, знаешь, как спуститься с горы от Афанасьева к речке, на мосту он и ле-

---

[1] господи, господи!.. *(нем.)*

жит с необыкновенно кротким и добрым выражением в лице,— эх!..

И при этом восклицании Сверстов закинул свою курчавую голову назад и потряс ею.

— Его непременно зарезали бритвой,— рассказывал он далее,— вообрази, артерия carotis [1] на шее перехвачена пополам, хоть бы мне так отпрепарировать моим анатомическим ножом... Говорю это моим сотоварищам по делу... говорю: если бритвой, так его непременно убил человек, который бреется и который еще будет бриться, потому что он бритву не бросил, а унес с собой!.. В толк ничего взять не могут; по их, это начудили мужики из села Волжина, и, понимаешь, какая тут подлая подкладка? В Волжине мужики все богатые, и нельзя ли когонибудь из них притянуть к делу! Они хуже этих подорожных разбойников... Хуже!.. Тех, хоть недалеко вот тут, по соседству, на каторгу ссылают, а этим что?.. Живут себе и благоденствуют!

— Но кто вез этого молодого приказчика? — любопытствовала gnädige Frau.

— Один он ехал на хозяйской лошади, чтобы оставить ее в селе Волжине и взять оттуда сдаточных...

— А лошадь где же?.. С ним на мосту?

— Никакой нет лошади!.. Убийцы, вероятно, на ней и ускакали!..

— Но за ними следовало бы сейчас же погнаться.

— Погнались теперь становой и сам Турбин!..

— Не теперь бы, а еще вчера это следовало! — говорила все с большим и большим одушевлением gnädige Frau: о, она была дама энергическая и прозорливая, сумела бы найтись во всяких обстоятельствах жизни.

— Следовало бы,— согласился с ней и муж,— но поди ты,— разве им до того? Полиция наша только и ладит, как бы взятку сорвать, а Турбин этот с ума совсем спятил: врет что-то и болтает о своих деньгах, а что человека из-за него убили,— это ему ничего!

— Купец русский,— заметила с презрением gnädige Frau: она давно и очень сильно не любила торговых русских людей за то, что они действительно многократно обманывали ее и особенно при продаже дамских материй, которые через неделю же у ней, при всей бережливости в носке, делались тряпки тряпками; тогда как —

[1] сонная артерия (*лат.*).

gnädige Frau без чувства не могла говорить об этом,— тогда как платье, которое она сшила себе в Ревеле из голубого камлота еще перед свадьбой, было до сих пор новешенько.

— У меня одно екнуло в сердце,— воскликнул вдруг Сверстов,— что я, и не кто другой, как я, рано ли, поздно ли, но отыщу убийцу этого мальчика!

— Помоги тебе бог! — сказала gnädige Frau и, взяв со стола прежде всего водку, а потом и тарелки, унесла всю эту утварь в кухню.

— Ты ляжешь спать? — сказала она, возвратясь к мужу и видя, что он сидит, облокотясь на стол, мрачный и вместе с тем какой-то восторженный.

— Нет, я писать еще буду! — проговорил он.

— Что?..— спросила gnädige Frau, имевшая привычку знать все, что предпринимал муж.

— Письмо!..

— К кому?

— После скажу!.. Завтра потолкуем об этом; а то я растеряю нить моих мыслей.

Gnädige Frau поняла справедливость слов мужа и окончательно ушла в свою комнату, а Сверстов тотчас принялся писать предполагаемое им письмо, окончив которое он немедля же загасил свечку, хлобыснулся на свою постель и заснул крепчайшим сном.

Утром же следующего дня, когда gnädige Frau, успевшая еще в Ревеле отучить мужа от чаю и приучить пить кофе, принесла к нему в спальню кофейник, чашку и баранки, он пригласил ее сесть на обычное место около стола и с некоторою торжественностью объявил:

— Я написал нашему высокопочтенному Егору Егорычу Марфину письмецо!

— О чем? — спросила gnädige Frau кратко, но довольно благосклонно.

— Слушай! — ответил ей доктор и начал читать самое письмо:

«Солнце мое, свет очей моих, Егор Егорыч! Вы первый и больше всех учили меня покорности провидению, и я тщился быть таким; но призываю бога во свидетели: чаша терпения моего переполнилась. Что я наг и бос,— я никогда не роптал на то, как не роптала и моя gnädige Frau: людям, которым лишь нужно пропитать себя и прикрыть свое тело, немного надо. Но есть, великий учитель мой, ве-

щи не по силам нашей душе и нашему самоуважению. Помня, что мы образ бога на земле,— жить посреди повального взяточничества, которое совершается непотаенно и перед трупом убитого, и перед одром умирающего, и голодающего в больнице, и перед живым телом бедного рекрута — непереносимо. Предчувствую, что Вы, по Вашей высокой мудрости, подумаете, что с грехопадением человека везде тако; и где же ты, куда спасешься?.. Знаю, великий учитель, что везде; но только не близ Вас, не в Вашем Вифлееме, не в Вашей больнице, в которую я просил бы Вас взять меня в качестве доктора. Насколько я врач искусный, не мое дело судить; но скажу, не смиренствуя лукаво, что я врач милосердный и болеющий о своих больных; а любовь и боленье о ближнем, Вы сами неоднократно преподавали, подсказывают многое человеку. Не дальше как сегодня я был свидетель... Но нет, язык мой немеет передавать Вам и возмущать Вашу чистую душу рассказами о непотребствах людей. Вы мне и без этого поверите и, как милостивый самарянин, поспешите перевязать мои служебные раны и доставить мне блаженство лично узреть Вас и жить около Вас.

Глубоко преданный вам Lupus»[1].

Gnädige Frau выслушала все письмо с полнейшим вниманием, и ясно было, что ее в нем нечто смущало.

— По-моему,— начала она своим суховатым голосом,— твоя просьба может стеснить Егора Егорыча.

— Каким образом? — произнес с удивлением Сверстов, которому и в голову не приходила подобная мысль.

— Таким образом, что Егор Егорыч должен будет назначить тебе жалованье, а это увеличит расходы его на больницу, которая и без того ему дорого стоит!

Замечание жены на мгновение смутило доктора, но потом лицо его снова просияло.

— А зачем мне жалованье? — возразил он.— Пусть Егор Егорыч даст нам только комнатку,— а у него их сорок в деревенском доме,— и тот обедец, которым он дворню свою кормит, и кормит, я знаю, отлично!

— Но как же нам быть совсем без копейки денег своих? Что ты за глупости говоришь? — произнесла уж с неудовольствием gnädige Frau.

— Деньги я заработаю на практике, которая, вероятно, будет у меня там! — фантазировал доктор.

[1] Волк (*лат.*).

Gnädige Frau сомнительно покачала головой: она очень хорошо знала, что если бы Сверстов и нашел там практику, так и то, любя больше лечить или бедных, или в дружественных ему домах, немного бы приобрел; но, с другой стороны, для нее было несомненно, что Егор Егорыч согласится взять в больничные врачи ее мужа не иначе, как с жалованьем, а потому gnädige Frau, деликатная и честная до щепетильности, сочла для себя нравственным долгом посоветовать Сверстову прибавить в письме своем, что буде Егор Егорыч хоть сколько-нибудь найдет неудобным учреждать должность врача при своей больнице, то, бога ради, и не делал бы того.

— Это вот хорошо, отлично!.. Умница ты у меня!..— воскликнул Сверстов и, в постскриптуме написав слово в слово, что ему приказывала жена, спросил ее:

— В таком виде, значит, отправлять письмо можно?

— Можно,— разрешила ему gnädige Frau.

В благодарность за такое позволение Сверстов поцеловал жену. Она, в свою очередь, тоже довольно нежно чмокнула его.

Из всей этой сцены читатель, конечно, убедился, что между обоими супругами существовали полное согласие и любовь, но я должен сказать еще несколько слов и об их прошедшем, которое было не без поэзии. Сверстов, начиная с самой первой школьной скамьи,— бедный русак, по натуре своей совершенно непрактический, но бойкий на слова, очень способный к ученью,— по выходе из медицинской академии, как один из лучших казеннокоштных студентов, был назначен флотским врачом в Ревель, куда приехав, нанял себе маленькую комнату со столом у моложавой вдовы-пасторши Эмилии Клейнберг и предпочел эту квартиру другим с лукавою целью усовершенствоваться при разговорах с хозяйкою в немецком языке, в котором он был отчасти слаб. Об этом намерении он сказал с первых же слов молодой хозяйке, которая ничего не возразила на его желания, а, напротив, изъявила полную готовность. Ученье началось быстро и успешно; сначала наставница и ученик говорили по-немецки, разумеется, об обыденных предметах, а потом разговор их стал переходить и на нравственные, сердечные вопросы. Все это разрешилось тем, что Сверстов и пасторша воспылали друг к другу пламенною страстью, которую они не замедлили скрепить брачными узами. Тут молодой врач с искренним

удовольствием увидал, что его жена не только gnädige Frau, но и многосведущая масонка, благодаря покойному пастору, бывшему сильным деятелем ложи *строгого наблюдения,* который старался передать молодой жене главные догмы масонства и вместе с тем познакомил ее с разными немецкими и русскими масонами. Достаточно было двух — трех задушевных бесед между супругами, чтобы Сверстов, слышавший еще прежде таинственные рассказы о масонстве и всегда его представлявший себе чем-то вроде высоконравственным, потребовал от жены сделать его масоном. Gnädige Frau было отрадно и очень легко, по ее связям, исполнить это. Сверстов оказался рьяным *ищущим,* так что весьма скоро его приняли *учеником* в одну из московских масонских лож, где потом возвели в степень *товарища,* а наконец и *мастера.* За это же время, приезжая раза два в год в нежно-любимую им Москву для присутствования в собраниях своей ложи, он познакомился с Егором Егорычем Марфиным, который сразу стал ему близким другом и наставником. Между тем для масонства наступала крутая пора, и Сверстов вдруг, по распоряжению высшего начальства, переведен был на службу из многолюдного и цивилизованного Ревеля совсем на восток России, в маленький, полудикий уездный городишко, в видах аки бы наказания за строптивый и непокорный характер перед старшими. Gnädige Frau, не желая еще более расстраивать мужа, и без того рвавшего на себе волосы от учиненной с ним несправедливости, делала вид, что такая перемена для нее ничего не значит, хотя в душе она глубоко страдала. Как бы то ни было, оба супруга покорились своей участи и переехали в свою ссылку, в которой прожили теперь около десяти уже лет, находя себе единственное развлечение в чтении и толковании библии, а также и внимательном изучении французской книги Сен-Мартена: «Des erreurs et de la vérité» [1]. Но всему же, наконец, бывает предел на свете: Сверстову, более чем когда-либо рассорившемуся на последнем следствии с исправником и становым, точно свыше ниспосланная, пришла в голову мысль написать своему другу Марфину письмо с просьбой спасти его от казенной службы, что он, как мы видели, и исполнил, и пока его послание до-

[1] «О заблуждениях и истине» *(франц.).*

вольно медленно проходило тысячеверстное пространство, Егор Егорыч, пожалуй, еще более страдал, чем ученик его. Главною причиною его мучений, конечно, было то, что он на свой запрос Людмиле получил от адмиральши ответ почти через неделю. Старуха нетвердым и неразборчивым почерком писала ему:

«Cher ami!

Je vous prie de venir chez moi à sept heures; je me sens si malheureuse, que je ne puis rien vous dire de plus. Je vous attends donc.

Votre devouée» [1].

Марфин понял, в чем состояло несчастие адмиральши, будучи убежден, что она собственно желала выдать Людмилу за него, но та, вероятно, не согласилась на этот брак. Как ни тяжело было для Егора Егорыча такое предположение, но, помня слова свои из письма к Людмиле, что отказ ее он примет как спасительный для него урок, он не позволил себе волноваться и кипятиться, а, тихо и молча дождавшись назначенного ему часа, поехал к Рыжовым. В хаотическом доме Егор Егорыч застал полнейшую тишину, и, встреченный оборванным лакеем, он, по указанию того, прошел к Юлии Матвеевне в холодную и слабо освещенную двумя сальными свечами гостиную. Постукивая своими небольшими каблучками и стараясь по-прежнему сохранить присутствие духа, Егор Егорыч раскланялся с адмиральшей, которая сидела на среднем диване и, при появлении гостя, поспешила понюхать из держимой ею в руках стклянки с одеколоном.

Разговор начался между ними не скоро. Марфин, поместившийся невдалеке от хозяйки, держал голову потупленною вниз, а адмиральша робко взглядывала на него, как будто бы она что-то такое очень дурное совершила и намерена еще совершить против Егора Егорыча. Пересилив себя, впрочем, адмиральша заговорила первая, запинаясь несколько на словах:

— Я вам не писала долго... потому это... что ничего и не знала... Людмила такая... сделалась последнее время... нелюдимка и странная!

И при этом она, по своему обыкновению, развела с удивлением руками.

[1] «Дорогой друг! Прошу вас прийти ко мне в семь часов; я чувствую себя настолько несчастной, что не могу вам сказать ничего больше. Итак, я вас жду. Преданная вам». *(франц.)*

Марфин молчал и не поднимал головы.

— Но сегодня,— продолжала адмиральша,— Людмила мне сказала, что получила от вас... в письме... предложение на брак, но что пока... она... не может принять его.

Адмиральша тут солгала: Людмила прямо ей сказала, что она никогда не согласится на брак с Марфиным, точно так же, как и ни с кем другим.

Марфин продолжал упорно молчать.

— Но вы поймите, какой это удар для меня!.. Я только об этом и мечтала! — объяснила далее адмиральша, и слезы текли уже по ее щекам.

— Успокойтесь, успокойтесь! — забормотал, наконец, Марфин, хоть и сам тоже заметно неспокойный.— Мы с вами, может быть, виноватее других!.. Старость неспособна понимать молодость.

— Ах, конечно, конечно!.. —воскликнула обрадованным голосом адмиральша, видевшая, что ее дорогой друг не очень на нее рассердился.

— Мы с вами виноваты, а не Людмила,— повторил Марфин и, встав, мотнул в знак прощания головой адмиральше.

Она была до крайности поражена такой поспешностью ее друга, но останавливать его не посмела, и Егор Егорыч, проворно уйдя от нее и порывисто накинув себе на плечи свою медвежью шубу, уехал прямо домой и снова заперся почти на замок от всех. Напрасно к нему приезжали сенатор, губернатор, губернский предводитель, написавший сверх того Егору Егорычу письмо, спрашивая, что такое с ним,— на все это Антип Ильич, по приказанию барина, кротко отвечал, что господин его болен, не может никого принимать и ни с кем письменно сноситься; но когда пришло к Егору Егорычу письмо от Сверстова, он как бы ожил и велел себе подать обед, питаясь до этого одним только чаем с просфорой, которую ему, с вынутием за здравие, каждое утро Антип Ильич приносил от обедни.

Ответ своему другу Егор Егорыч написал в тот же день, и он был следующего содержания:

«Сердечно-любимый брат!

Вы не ошиблись, что я поспешу к Вам на помощь и приму Вас к себе с распростертыми объятиями, о чем мне, сознаюсь теперь с великим стыдом, приходило неоднократно на мысль; но недостаточно еще, видно, воспитан-

ное во мне соболезнование о ближнем, тем паче о таком ближнем, как Вы, рассеивало мое духовное представление о Вашем житье-бытье и не делало удара на мою волю нашим братским молотком. Дивлюсь тому и укоряю себя еще более, что я самолично, хотя и не служу, но зрю всюду вокруг себя и ведаю Ваши служебные раны. Мой дом, место доктора при больнице, с полным содержанием от меня Вам и Вашей супруге, с платою Вам тысячи рублей жалованья в год с того момента, как я сел за сие письмо, готовы к Вашим услугам, и ежели Вы называете меня *Вашим солнцем,* так и я Вас именую взаимно тем же *оживляющим светилом,* на подвиге которого будет стоять, при личном моем свидении с Вами, осветить и умиротворить мою бедствующую и грешную душу. Я завтра же уезжаю в Кузьмищево.

Firma rupes»

Как сказал Егор Егорыч в своем письме, так и сделал, и на другой день действительно ускакал в свое Кузьмищево.

VIII

На масленице губернское общество было взволновано известием о новом официальном бале, который намерен был дать сенатор обществу за оказанное ему гостеприимство. Дамы, разумеется, прежде всего обеспокоились о нарядах своих, ради которых, не без мелодраматических сцен, конечно, принялись опустошать карманы своих супругов или родителей, а мужчины больше толковали о том, кто был именно приглашен сенатором и кто нет, и по точному счету оказалось, что приглашенные были по преимуществу лица, не враждовавшие против губернатора, а враги его, напротив, почти все были не позваны. Губернский предводитель, впрочем, был одним из первых, получивших приглашение. Съезд назначен был к девяти часам. Раньше других на бал приехал губернатор и не с семейством своим, а с племянницей — m-me Клавской, разодетой, по тогдашнему времени, шикознейшим образом. Сенатор встречал гостей своих у входных дверей в танцевальную залу, приветствуя с большим тактом и тонким отличием каждого. Губернатору, например, он изъявил сожаление, что супруга того не приехала, вероятно, по нездоровью. В ответ на это губернатор что-то такое про-

мычал. Перед Клавской граф склонил голову и проговорил:

— Вы сегодня прелестнее, чем когда-либо!

M-me Клавская ответила ему нежной улыбкой и величественно пошла по зале, помахивая опахалом на свою немножко чересчур раскрытую грудь, и для чего она это делала — неизвестно, потому что в зале даже было холодновато. Ченцов появился на бале одновременно с молодыми сенаторскими чиновниками, разодетыми как лондонские денди. Он сам, не менее франтовато одетый и более всех молодцеватый и видный, был с ними со всеми на «ты», называя их несколько покровительственным тоном «архивными юношами», причем те, будучи чистокровными петербуржцами, спрашивали его:

— А что это за чучелы такие, эти архивные юноши?

— А такие же, как и вы, ухаживатели за разными скучающими Татьянами!..— не полез в карман за словом Ченцов.

— Здравствуйте, лев наш! — вздумал было слегка подтрунить над ним сенатор, до которого уж доходили слухи, что Ченцов черт знает что такое рассказывает про него и про m-me Клавскую.

— У вас дамой-хозяйкой будет Лукерья Семеновна (имя Клавской)? — спросил ему в ответ Ченцов, будто бы бывший ужасно этим беспокоим.

— Она,— ответил сенатор и, обратив все свое внимание на вошедшего с дочерью губернского предводителя, рассыпался перед ним в любезностях, на которые Крапчик отвечал довольно сухо; мало того: он, взяв с несколько армейскою грубостью графа под руку, отвел его в сторону и проговорил:

— Я, ваше сиятельство, получил сегодня поутру от вас бумагу с жалобой на меня раскольника Ермолаева.

— Да, да! — подтвердил, смеясь, сенатор.

— Что же это, вопросные пункты, что ли, для меня? — продолжал явно озлобленным тоном Крапчик.

— О нет, mon cher!.. Comment vous pouvez croire cela!..[1] — воскликнул сенатор, вовсе не подозревая, что Крапчик ни одного звука не понимал по-французски.

Звездкин, стоявший невдалеке от сенатора, поспешил подойти к нему и вмешался в разговор.

---

[1] Как вы можете так думать!.. *(франц.)*

— Графу нужно знать ваше мнение по поводу этого прошения,— сказал он.

— Но в прошении упомянуто этим — извините вы меня — мерзавцем хлыстом и об архиерее здешнем!.. И у того, может быть, вы будете спрашивать мнения? — проговорил не без насмешки Крапчик и вместе с тем кидая сердитые взгляды на правителя дел.

— И преосвященного спросим,— отвечал тот совершенно спокойно и с явным сознанием своего достоинства.

Сенатору наскучило слушать их служебные препирания, и он с ласковой улыбкой стал оглядывать прочее общество.

Катрин между тем, заметив Ченцова, поспешно и с радостным лицом устремилась к нему.

— Вы, надеюсь, танцуете со мной? — сказала она.

— Танцую!..— произнес протяжно и как бы нехотя Ченцов.

В числе вновь прибывавших гостей приехала, наконец, и адмиральша с своими красоточками. О, сколько беспокойств и хлопот причинил старушке этот вывоз дочерей: свежего, нового бального туалета у барышень не было, да и денег, чтобы сделать его, не обреталось; но привезти на такой блестящий бал, каковой предстоял у сенатора, молодых девушек в тех же платьях, в которых они являлись на нескольких балах, было бы решительно невозможно, и бедная Юлия Матвеевна, совсем почти в истерике, объездила всех местных модисток, умоляя их сшить дочерям ее наряды в долг; при этом сопровождала ее одна лишь Сусанна, и не ради туалета для себя, а ради того, чтобы Юлия Матвеевна как-нибудь не умерла дорогой.

Первую кадриль сенатор лично своей особой танцевал с m-me Клавской. Катрин, рассчитывавшая на Ченцова, попыталась повторить ему:

— Я с вами танцую!

— Вторую кадриль,— ответил он ей небрежно.

Оказалось, что первую кадриль Ченцов танцевал с Людмилой, которая была на себя непохожа: она похудела, подурнела, имела какой-то странный цвет лица.

— Вы больны? — спросил ее Ченцов с заметным беспокойством.

— Ужасно больна! — сказала Людмила.— Я не знаю, что такое со мною: у меня головокружение... я ничего есть не могу...

Ченцов закусил себе губы и, отвернувшись от Людмилы, начал смотреть на Катрин, которая, видимо, уничтоженная и опечаленная, танцевала с одним из самых щеголеватых сенаторских чиновников, но говорить с своим кавалером не могла и только отчасти вознаграждена была, танцуя вторую кадриль с Ченцовым, с которым она тоже мало говорила, но зато крепко пожимала ему руку, чувствуя при этом, что он хоть продолжал кусать себе усы, но отвечал ей тоже пожатием.

Рыжовы, так как Людмиле сделалось очень уж нехорошо, оставались недолго на балу, а вместе с ними исчез и Ченцов. Что касается до губернского предводителя, то он, сохраняя мрачный вид, пробыл до конца бала. Катрин, с исчезновением Ченцова, несколько раз подходила к отцу и умоляла его уехать. Крапчик не внимал ей и все некоторым преданным ему лицам что-то такое негромко говорил или почти даже шептал. Преданные лица, в свою очередь, выслушивали его: одни с удивлением, другие с невеселыми лицами, а третьи даже как бы и со страхом.

На другой день Крапчик, как только заблаговестили к вечерне, ехал уже в карете шестериком с форейтором и с саженным почти гайдуком на запятках в загородный Крестовоздвиженский монастырь, где имел свое пребывание местный архиерей Евгений, аки бы слушать ефимоны; но, увидав, что самого архиерея не было в церкви, он, не достояв службы, послал своего гайдука в покой ко владыке спросить у того, может ли он его принять, и получил ответ, что владыко очень рад его видеть. Евгений был архиерей, любимый дворянством и сам очень любивший дворян. Он не прямо из лавры поступил в монашество, но лет десять профессорствовал и, только уж овдовев, постригся, а потому жизнь светскую ведал хорошо; кроме того, по характеру, был человек общительный, умный, довольно свободомыслящий для монаха и при этом еще весьма ученый, особенно по части церковной истории. Наружность владыко имел приятную: полноватый, не совершенно еще седой, с расчесанными бородой и волосами, в шелковой темно-гранатного цвета рясе, с кокетливо-навитыми на руке янтарными четками, с одним лишь докторским крестом на груди, который тогда имели не более как пять — шесть архиереев, он вышел в гостиную навстречу к Крапчику, который был во фраке и звезде, и, склонив

несколько голову, подошел к благословению владыки. Тот его правой рукой благословил, а левой пожал ему руку, проговорив с улыбочкой:

— А уж чугунного перстенька больше не носите?

— Давно не ношу! — отвечал Крапчик, заметно сконфуженный этим вопросом.

Евгений движением руки пригласил гостя садиться на кресло, а сам сел на диван. Убранство гостиной владыки, за исключением нескольких уродливо нарисованных масляными красками портретов бывших архиереев в золотых потемневших рамах, все выглядывало весело и чисто. На красного дерева переддиванном столе горели две восковые свечи в серебряных подсвечниках, под которыми были подложены с стеклярусными краями бумажные коврики. На всех трех диванах, стоявших в гостиной, лежали красивые подушки. Все это, вероятно, было вышито чьей-нибудь благочестивой женской рукой.

— Что у вас в мире происходит?.. Трус, плач и смятение?..— начал владыко не без усмешки.

— Плач и смятение! — отвечал Крапчик.

Владыко позвонил стоявшим на столе колокольчиком. Вошел служка в длиннополом сюртуке. Владыко ничего ему не проговорил, а только указал на гостя. Служка понял этот знак и вынес губернскому предводителю чай, ароматический запах которого распространился по всей комнате. Архиерей славился тем, что у него всегда подавался дорогой и душистый чай, до которого он сам был большой охотник. Крапчик, однако, отказался от чаю, будучи, видимо, чем-то озабочен.

— Я приехал к вашему преосвященству за советом! — сказал он несколько подобострастным тоном.

— Рад служить, насколько имею ума на то!..— отвечал архиерей.

— Вашему преосвященству, конечно, известно,— продолжал Крапчик,— что последнее время в нашей губернии возникло несколько дел о скопцах.

— К сожалению, да, известно!..— отвечал Евгений.

— Причиной тому был отчасти и я по тому случаю, что в этом именно уезде, где скопцы начали открываться, есть у меня небольшая усадьба, подаренная мне еще покойным благодетелем, императором Павлом... Не бывая в ней долгое время, я решился, наконец, года три тому назад вместе с дочерью провести там лето; соседние дворяне,

разумеется, стали посещать меня и рассказывают мне, что в околотке — то тут, то там — начали появляться скопцы и, между прочим, один небогатый помещик со слезами на глазах объявил, что у него в именьице найдено десять молодых девушек, у которых тут не оказалось ничего — гладко!..

При этом губернский предводитель показал себе на грудь.

Архиерей передвинул три — четыре бусинки на четках и проговорил тоном печали:

— Во второй уже, значит, чистоте они были?

— Так, так! — подхватил Крапчик.— Так они и при следствии показали, что были в первой и во второй чистоте; но согласитесь, что нельзя же мне было, как губернскому предводителю, остаться тут бездейственным... Думаю, если так будет продолжаться, то, чего доброго, у нас заберут всех наших крестьян, передерут их плетьми и сошлют в Сибирь... Я вызываю исправника к себе и говорю ему, что буду зорко следить по этого рода делам за действиями земской полиции, а потому заранее прошу его не ссориться со мной. Припугнул, знаете, его немножко, а то корова-то уж очень дойная: пожалуй, все бы закуплены были, не выключая даже самого губернатора!..

На это владыко выразил наклонением головы согласие: по своему направлению он тоже принадлежал к партии недовольных начальником губернии.

— И того не выключаю! — повторил Крапчик.— Но так как господин губернатор тогда был еще со мной хорош и ему прямо на моих глазах совестно было обнаружить себя, то он и принял мою сторону,— розыски действительно прошли очень сильные; но я этим не удовольствовался, и меня больше всего интересовало, кто ж над этими несчастными дураками совершает это?.. Оказывается, что все они говорят, что их изуродовал какой-то неизвестный странник, который проходил мимо и всем им обещал царство небесное за то!.. Явно, что это выдумка и ложь; и мне пришло в голову поехать посоветоваться с тамошним почтмейстером, умнейшим и честнейшим человеком, известным самому даже князю Александру Николаичу Голицыну... Он обо всех этих ужасных случаях слышал и на мой вопрос отвечал, что это, вероятно, дело рук одного раскольника-хлыста, Федота Ермолаева, богатого маляра из деревни Свистова, который,— как известно это было почт-

мейстеру по службе,— имеет на крестьян сильное влияние, потому что, производя в Петербурге по летам стотысячные подряды, он зимой обыкновенно съезжает сюда, в деревню, и закабаливает здесь всякого рода рабочих, выдавая им на их нужды задатки, а с весной уводит их с собой в Питер; сверх того, в продолжение лета, высылает через почту домашним этих крестьян десятки тысяч,— воротило и кормилец, понимаете, всей округи... Мне это предположение почтмейстера показалось правдоподобным... Я передаю о том исправнику и советую ему, чтобы он к делу о скопцах привлек и этого хлыста... Исправник сначала было поершился, но, видя мою настойчивость, вызвал Ермолаева, опросил его и посадил в острог... Тогда является ко мне священник из того прихода, где жил этот хлыстовщик, и стал мне объяснять, что Ермолаев вовсе даже не раскольник, и что хотя судился по хлыстовщине, но отрекся от нее и ныне усердный православный, что доказывается тем, что каждогодно из Петербурга он привозит удостоверение о своем бытии на исповеди и у святого причастия; мало того-с: усердствуя к их приходской церкви, устроил в оной на свой счет новый иконостас, выкрасил, позолотил его и украсил даже новыми иконами, и что будто бы секта хлыстов с скопческою сектою не имеет никакого сходства, и что даже они враждуют между собою.

Евгений при этом усмехнулся и самодовольно погладил свою бороду: заметно было, что он давно и хорошо знал то, о чем предполагал говорить.

— Две эти секты и во вражде и в согласии,— сказал он,— как часто это бывает между родителями и детьми; все-таки хлыстовщина — праматерь скопчества.

— Но каким же образом, ваше преосвященство,— возразил Крапчик,— мне наш общий с вами знакомый, Егор Егорыч Марфин, как-то раз говорил, что скопцы у нас были еще в древности, а хлысты, рассказывают, не очень давно появились?

— Скопцы, действительно, у нас были в древности,— отвечал Евгений,— и в начале нынешнего тысячелетия занимали даже высшие степени нашей церковной иерархии: Иоанн, митрополит киевский, родом грек, и Ефим, тоже киевский митрополит, бывший до иночества старшим боярином при князе Изяславе; но это были лица единичные, случайные!.. Собственно же как секта, скопчест-

во явилось из христовщины, или из хлыстовщины, как называют эту секту наши православные мужички!..

— Но я, ваше преосвященство, говоря откровенно, даже не знаю хорошенько, в чем и сама-то христовщина состоит, а между тем бы интересно было это для меня,— извините моей глупой любознательности.

Крапчик, действительно, был любознателен и любил всякое дело, как ищейка-собака, вынюхать до малейших подробностей и все потом внешним образом запомнить.

— Напротив,— возразил ему владыко,— я очень рад с вами беседовать. Хлыстовщина, по моему мнению, есть одна из самых невежественных сект. В догматике ее рассказывается, что бог Саваоф, видя, что христианство пало на земле от пришествия некоего антихриста из монашеского чина, разумея, без сомнения, под этим антихристом патриарха Никона, сошел сам на землю в лице крестьянина Костромской губернии, Юрьевецкого уезда, Данилы, или, как другие говорят, Капитона Филипповича; а между тем в Нижегородской губернии, сколько мне помнится, у двух столетних крестьянских супругов Сусловых родился ребенок-мальчик, которого ни поп и никто из крестьян крестить и воспринять от купели не пожелали... Тогда старики Сусловы пошли бродить по разным селам и деревням, чтобы найти для сына своего духовного и крестного отца, и встретился им на дороге старец велий, боголепный, и это был именно Капитон Филиппович, который Сусловым окрестил их сына, принял его от купели и нарек Иисусом Христом... Вслед за такого рода легендой молодой Суслов уже в действительности является большим распространителем хлыстовщины в Москве.

Губернский предводитель разводил только в удивлении руками.

— Нравственное же их учение, кроме невежества, вредное,— продолжал разговорившийся владыко,— оно учит: вина не пить, на мирские сходбища не ходить, посты постить, раденья, то есть их службы, совершать, а главное — холостым не жениться, а женатым разжениться...

— Но последнее, я полагаю,— заметил губернский предводитель, несколько потупляя глаза,— многих от их толку должно было отклонять, потому что подобный подвиг не всякому под силу.

— А кому не под силу,— объяснил владыко,— тому

дозволялось, по взаимной склонности, жить с согласницей, ибо, по их учению, скверна токмо есть в браке, как в союзе, скрепляемом антихристовою церковию.

— Но как же они поступали с детьми, которые у них, вероятно, все-таки рождались? — спросил Крапчик.

Евгений нахмурился.

— Тяжело и рассказывать,— начал он,— это что-то мрачное и изуверское. Детей они весьма часто убивали, сопровождая это разными, придуманными для того, обрядами: ребенка, например, рожденного от учителя и хлыстовки, они наименовывали *агнцем непорочным,* и отец этого ребенка сам закалывал его, тело же младенца сжигали, а кровь и сердце из него высушивали в порошок, который клали потом в их причастный хлеб, и ересиарх, раздавая этот хлеб на радениях согласникам, говорил, что в хлебе сем есть частица закланного агнца непорочного.

— Но неужели же эти преступления продолжаются и до сих пор? — воскликнул губернский предводитель.

— Говорят, что нет, и что ныне они детей своих или подкидывают кому-либо, или увозят в города и отдают в воспитательные дома,— объяснил владыко.

— То-то-с, нынче, кажется, это невозможно,— проговорил губернский предводитель,— я вот даже слышал, что у этого именно хлыста Ермолаева в доме бывали радения, на которые собиралось народу человек по сту; но чтобы происходили там подобные зверства — никто не рассказывает, хотя, конечно, и то надобно сказать, что ворота и ставни в его большущем доме, когда к нему набирался народ, запирались, и что́ там творилось, никто из православных не мог знать.

Евгений при этом улыбнулся.

— А мне так удалось случайно быть свидетелем их радения,— сказал он.

— Вам? — переспросил Крапчик с любопытством.

— Мне, во времена моей еще ранней юности,— продолжал владыко,— мы ведь, поповичи, ближе живем к народу, чем вы, дворяне; я же был бедненький сельский семинарист, и нас, по обычаю, целой ватагой возили с нашей вакации в училище в город на лодке, и раз наш кормчий вечером пристал к одной деревне и всех нас свел в эту деревню ночевать к его знакомому крестьянину, и когда мы поели наших дорожных колобков, то были уложены спать в небольшой избенке вповалку на полу. Я был

мальчуган живой и подвижный; мне что-то не заспалось, и прежде всего я догадался, что нас из сеней снаружи, должно быть, заперли, а потом начинаю слышать в соседней избе шум, гам, пение и топанье великое, и в то же время вижу сквозь щель в перегородке свет из той избы... Я встал потихоньку и принялся смотреть в эту щель: передо мной мало-помалу стала открываться пространная изба; на стенах ее висели фонари... В избе было народу человек сорок — женщин и мужчин — и в числе их наш лодочник... Все они были в белых рубахах и босиком... Посреди избы стоял чан... Впоследствии я узнал: чан сей хлысты должны были наполнить своими слезами, молясь о возвращении к ним их Иисуса Христа — этого именно Суслова.

— Но неужели же они и наплакивали целый чан? — спросил предводитель.

— Не думаю! Вероятно, их вожаки подливали в него воды, чтобы уверить простаков; но что обряд наплакиванья у них существовал, это мне, еще ребенку, кинулось тогда в глаза, и, как теперь, я вижу перед собой: все это сборище бегало, кружилось и скакало вокруг чана, и при этом одна нестарая еще женщина с распущенными, вскосмаченными волосами больше всех радела и неистовствовала, причем все они хлестали друг друга прутьями и восклицали: «Ой, бог!.. Ой, дух!.. Ой, бог!.. Ой, дух!..» В других местностях, говорят, они вместе с этим восклицают: «Хлыщу, хлыщу, Христа ищу!»... но я того не слыхал. Наконец все они, по знаку неистовствующей женщины, остановились, наклонились над чаном и, как думаю, плакали.

— Но что же собственно они изображали этим своим беснованием и для чего они его делали? — произнес с удивлением Крапчик.

— Для того же, полагаю, зачем вертятся факиры, шаманы наши сибирские,— чтобы привести себя в возбужденное состояние; и после радений их обыкновенно тотчас же некоторые из согласников начинают пророчествовать, потому, как объяснил мне уже здесь один хлыст на увещании в консистории, что, умерев посредством бичеваний об Адаме, они воскресали о Христе и чувствовали в себе наитие святого духа. И вообще,— продолжал Евгений с несколько уже суровым взором,— для каждого хлыста главною заповедью служит: отречься от всего, что

требуют от него церковь, начальство, общежитие, и слушаться только того, что ему говорит его внутренний голос, который он считает после его радений вселившимся в него от духа святого, или что повелевает ему его наставник из согласников, в коем он предполагает еще большее присутствие святого духа, чем в самом себе.

— Но, кроме того, ваше преосвященство, как я вот слышал (это Крапчик начал говорить тихо), слышал, что после радений между хлыстами начинается этот, так называемый, их ужасный свальный грех!

Владыко закрыл глаза и, кивком головы подтвердив то, что сказал Крапчик, заговорил, видимо одушевившись:

— Из этого собственно и получило начало свое скопчество: люди, вероятно, более суровые, строгие, возмутившись этими обычаями, начали учить, применяя невежественно слова священного писания, что «аще око твое соблажняет тя, изми е и верзи от себе, и аще десная твоя соблажняет тя, усеци ю и верзи от себе».

— Но согласитесь, ваше преосвященство, после всего того, что я имел счастие слышать от вас,— не прав ли я был, требуя от земской полиции и от духовенства, чтобы они преследовали обе эти секты? Что это такое? Что-то сверхъестественное, нечеловеческое? — вопрошал уже авторитетным тоном Крапчик.

— Напротив, очень человеческое! — возразил Евгений с усмешкою.— Испокон веков у людей было стремление поиграть в попы... в наставники... устроить себе церковь по собственному вкусу.

Крапчик не совсем понимал и не догадывался, что хочет сказать Евгений, и потому молчал.

— А разве ваше масонство не то же самое? — спросил тот уже прямо.

Губернского предводителя даже подало при этом несколько назад.

— Ваше преосвященство, что же общего между нами и хлыстами? — сказал он почти обиженным голосом.

— Общее — устроить себе свою религию и мораль... В сознании людей существует известное число великих истин, которые и уподобьте вы в вашем воображении цветным, прозрачным камешкам калейдоскопа. Вам известен этот инструмент?

Крапчик, думая, что калейдоскоп что-нибудь очень ученое, отвечал откровенно:

— Нет!

— Я вам покажу его!

И Евгений с живостью встал и вынес из кабинета своего довольно большой калейдоскоп.

— Глядите в это стеклышко трубки!

Губернский предводитель стал глядеть в показанное ему стекло калейдоскопа.

— Что вы видите? — спросил его Евгений.

— Звезду какую-то! — сказал Крапчик.

— Поверните трубку!

Крапчик повернул.

— Что перед вами?

— Какой-то четвероугольник!

— Мрачный или светлый?

— Мрачный!

— Поверните еще!..

Крапчик повернул и уж сам воскликнул:

— А это уж крест какой-то и очень красивый... Похож несколько на наш георгиевский крест!

— Так и с великими истинами! — продолжал Евгений, уже снова усаживаясь на диван.— Если вы знакомы с историей религий, сект, философских систем, политических и государственных устройств, то можете заметить, что эти прирожденные человечеству великие идеи только изменяются в своих сочетаниях, но число их остается одинаким, и ни единого нового камешка не прибавляется, и эти камешки являются то в фигурах мрачных и таинственных,— какова религия индийская,— то в ясных и красивых,— как вера греков,— то в нескладных и исковерканных представлениях разных наших иноверцев.

Крапчик, совершенно неспособный понимать отвлеченные сравнения, но не желая обнаружить этого перед архиереем, измыслил спросить того:

— Но отчего, ваше преосвященство, происходил этот маленький шум и треск, когда я повертывал трубку?

Евгений слегка улыбнулся и ответил:

— От движения камешков, от перемены их сочетаний... В истории, при изменении этих сочетаний, происходит еще больший шум, грохот, разгром... Кажется, как будто бы весь мир должен рухнуть!

Крапчик опять-таки ничего не понял из слов владыки и прибегнул к обычной своей фразе: «Если так, то конечно!», а потом, подумав немного, присовокупил:

— А я вот в приятной беседе с вами и забыл о главной своей просьбе: я-с на днях получил от сенатора бумагу с жалобой на меня вот этого самого хлыста Ермолаева, о котором я докладывал вашему преосвященству, и в жалобе этой упомянуты и вы.

Проговорив это, Крапчик проворно вынул из кармана жалобу Ермолаева и подал ее владыке, которую тот, не прибегая к очкам, стал читать вслух:

— «Три года я, ваше высокосиятельство, нахожусь в заключении токмо по питаемой злобе на меня франмасонов, губернского предводителя Крапчика и нашего уездного почтмейстера, а равно как и архиерея здешней епархии, преосвященного владыки Евгения. Еще с 1825 году, когда я работал по моему малярному мастерству в казармах гвардейского экипажа и донес тогдашнему санкт-петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу о бунте, замышляемом там между солдатами против ныне благополучно царствующего государя императора Николая Павловича, и когда господин петербургский генерал-губернатор, не вняв моему доносу, приказал меня наказать при полиции розгами, то злоба сих фармазонов продолжается и до днесь, и сотворили они, аки бы я скопец и распространитель сей веры. Но я не токмо что и в расколе ныне не пребываю, а был я допреж того христовщик, по капитоновскому согласию, а скопцы же веры иной — селивановской, и я никогда не скопчествовал и прибегаю ныне к стопам вашего сиятельства, слезно прося приказать меня освидетельствовать и из заключения моего меня освободить».

— Зачем же собственно к вам сенатор прислал это прошение? — спросил Евгений, кончив читать.

— Чтобы я дал свое мнение, или заключение,— я уж не знаю, как это назвать; и к вам точно такой же запрос будет,— отвечал, усмехаясь, Крапчик.

— Нет, я на его запрос ничего не отвечу,— проговорил, с неудовольствием мотнув головой, архиерей,— я не подвластен господину сенатору; надо мной и всем моим ведомством может назначить ревизию только святейший правительствующий синод, но никак не правительствующий сенат.

— Стало быть, и я могу не отвечать! — воскликнул Крапчик.

— Нет, я не думаю, чтобы вы могли... Вы все-таки стоите в числе лиц, над которыми он производит ревизию.

— Но что ж я ему напишу,— вот это для меня всего затруднительней! — продолжал восклицать Крапчик.

— Напишите, что вы действительно содействовали преследованию секты хлыстов, так как она есть невежественная и вредная для народной нравственности, и что хлысты и скопцы едино суть, и скопчество только есть дальнейшее развитие хлыстовщины!— научил его владыко.

— Так я и напишу! — произнес Крапчик, уже вставая.

— Так и напишите! — повторил Евгений, тоже вставая.

Крапчик подал ему руку под благословение, а получив оное и поцеловав благословившую его десницу владыки, почтительно раскланялся и удалился.

IX

Деревня Сосунцы была последняя по почтовому тракту перед поворотом на проселок, ведущий к усадьбе Егора Егорыча — Кузьмищеву. В Сосунцах из числа двенадцати крестьянских дворов всего одна изба была побольше и поприглядней. Она принадлежала крестьянину Ивану Дорофееву, который во всем ближайшем околотке торговал мясом и рыбой, а поэтому жил довольно зажиточно. Раз, это уж было в конце поста, часу в седьмом вечера, в избе Ивана Дорофеева, как и в прочих избах, сумерничали. Сам Иван Дорофеев, мужик лет около сорока, курчавый и с умными глазами, в красной рубахе и в сильно смазанных дегтем сапогах, спал на лавке и первый услыхал своим привычным ухом, что кто-то подъехал к его дому и постучал в окно, должно быть, кнутовищем.

— Сейчас! Мигом! — отозвался Иван Дорофеев и в одной рубахе выскочил на улицу.

У ворот его стояла рогожная кибитка, заложенная парой — гусем.

— Иван Дорофеич, пусти, брат, погреться!.. — послышалось из кибитки.

— Батюшка, Сергей Николаич!.. Вот кого бог принес!.. — воскликнул Иван Дорофеев, узнав по голосу доктора Сверстова, который затем стал вылезать из кибит-

ки и оказался в мерлушечьей шапке, бараньем тулупе и в валяных сапогах.

— Давненько, сударь, не жаловали в наши места,— говорил Иван Дорофеев, с удовольствием осматривая крупную фигуру доктора, всегда и прежде того, при проездах своих к Егору Егорычу, кормившего у него лошадей.

— Зато теперь, брат, я уж приехал с женой,— объявил ему Сверстов.

— Как и подобает кажинному человеку,— подхватил Иван Дорофеев, подсобляя в то же время доктору извлечь из кибитки gnädige Frau, с ног до головы закутанную в капор, шерстяной платок и меховой салоп.— На лесенку эту извольте идти!..— продолжал он, указывая приезжим на свое крыльцо.

Те начали взбираться по грязным и обмерзшим ступенькам лестницы. На верхней площадке Иван Дорофеев просил их пообождать маненько и затем крикнул:

— Парасковья, свети!.. Ну, скорей, толстобокая!.. Нечего тут проклажаться!

На этот крик Парасковья показалась в дверях избы с огромной горящей лучиной в руке, и она была вовсе не толстобокая, а, напротив, стройная и красивая баба в ситцевом сарафане и в красном платке на голове. Gnädige Frau и доктор вошли в избу. Парасковья поспешила горящую лучину воткнуть в светец. Сверстов прежде всего начал разоблачать свою супругу, которая была заметно утомлена длинной дорогой, и когда она осталась в одном только ваточном капоте, то сейчас же опустилась на лавку.

— Самоварчик прикажете? — спросил вошедший за ними Иван Дорофеев: у него одного во всей деревне только и был самовар.

— Нет, брат, мы кофей пьем! Спроси там у извозчика погребец наш и принеси его сюда! — сказал ему доктор.

— И забыл совсем, дурак, что вы чаю не кушаете! — произнес Иван Дорофеев и убежал за погребцом.

В избе между тем при появлении проезжих в малом и старом населении ее произошло некоторое смятение: из-за перегородки, ведущей от печки к стене, появилась лет десяти девочка, очень миловидная и тоже в ситцевом сарафане; усевшись около светца, она как будто бы даже

немного и кокетничала; курчавый сынишка Ивана Дорофеева, года на два, вероятно, младший против девочки и очень похожий на отца, свесил с полатей голову и чему-то усмехался: его, кажется, более всего поразила раздеваемая мужем gnädige Frau, делавшаяся все худей и худей; наконец даже грудной еще ребенок, лежавший в зыбке, открыл свои большие голубые глаза и стал ими глядеть, но не на людей, а на огонь; на голбце же в это время ворочалась и слегка простанывала столетняя прабабка ребятишек.

Иван Дорофеев воротился в избу.

— Ваш вислоухий извозчик и погребец-то не знает что такое!.. Рылся-рылся я в санях-то...— проговорил он, ставя на стол погребец, обитый оленьей шкуркой и жестяными полосами.

— И мне этот извозчик показался глуповат,— заметил Сверстов.

— Чего уж тут взять?.. Тятю с мамой еле выговаривает, а его посылают господ возить!.. Хозяева у нас тоже по этой части: набирают народу зря! — проговорил Иван Дорофеев.

— Чтобы лошадей-то он выкормил хорошенько! — обеспокоился Сверстов.

— Все это я устроил и самому ему даже велел в черной избе полопать!..— отвечал бойко Иван Дорофеев и потом, взглянув, прищурившись, на ларец, он присовокупил: — А ведь эта вещь не из наших мест?

— Из Сибири, прямо оттуда! — объяснил Сверстов и отнесся к жене: — Ну, супруга, если не устала очень, изготовь кофейку!

Gnädige Frau, конечно, очень устала, но со свойственной ей твердостью духа принялась вынимать всевозможные кофейные принадлежности и систематически расставлять их.

— Не прикажете ли на шестке огоньку разложить? — спросил Иван Дорофеев, хорошенько не знавший, что далее нужно докторше.

— Спирт есть у меня! — произнесла не без важности gnädige Frau и зажгла спиртовую лампу под кофейником тоненькой лучинкой, зажженной у светца.

Вода, заранее уже налитая в кофейник, начала невдолге закипать вместе с насыпанным в нее кофеем. Девочка и мальчик с полатей смотрели на всю эту опера-

цию с большим любопытством, да не меньше их и сама Парасковья: кофею у них никогда никто из проезжающих не варил.

— Спирт-то, божий-то дар, жгут! — произнес укоризненно-комическим голосом Иван Дорофеич.

— Да, брат, это, пожалуй, и грех! — повторил за ним Сверстов.

— Да как же не грех, помилуйте! Мы бы его лучше выпили,— продолжал Иван Дорофеев.

— Действительно, лучше бы выпили,— согласился с ним Сверстов,— впрочем, мы все-таки выпьем!.. У нас есть другой шнапс! — заключил он; затем, не глядя на жену, чтобы не встретить ее недовольного взгляда, и проворно вытащив из погребца небольшой графинчик с ерофеичем, доктор налил две рюмочки, из которых одну пододвинул к Ивану Дорофееву, и воскликнул:

— Кушай!

— Благодарим за то! — ответил тот, проглотив залпом наперсткоподобную рюмочку; но Сверстов тянул шнапс медленно, как бы желая продлить свое наслаждение: он знал, что gnädige Frau не даст ему много этого блага.

Кофе, наконец, был готов. Gnädige Frau налила себе и мужу по чашке.

— Ну, уж это извини, я выпью медведку! — воскликнул Сверстов и, опять проворно вынув из погребца еще графинчик уже с ромом, налил из него к себе в чашку немалую толику.

Gnädige Frau, бывшая к рому все-таки более снисходительна, чем к гадким русским водкам, старалась не замечать, что творит ее супруг.

— Не хотите ли чашечку? — сказала она Парасковье, желая с ней быть такою же любезною, каким был доктор с Иваном Дорофеевым.

— О, сударыня, что вы беспокоитесь! — произнесла та, застыдившись.

— Выпейте!..— сказала ей тихо, но повелительно gnädige Frau и налила чашку, которую Парасковья неумело взяла в руки, но кофей только попробовала.

— Нет, барыня, мы не пьем этого! — отказалась она и поставила чашку обратно на стол.

— Наши дуры-бабы этого не разумеют...— объяснил Иван Дорофеев.

Gnädige Frau было немножко досадно, что добро ее должно пропадать даром.

— А вот погоди-ка, я этому курчашке дам! — подхватил доктор.— Пожалуйте сюда!..— крикнул он мальчику, все еще остававшемуся на полатях.

Тот, одним кувырком спустившись на пол, предстал пред доктором.

— На, пей!.. Это сладкое! — скомандовал ему доктор.

Мальчик, смело глядя на него и не расчухав, конечно, что̀ он пьет, покончил чашку.

— Молодец!..— похвалил его Сверстов и хотел было погладить по голове, но рука доктора остановилась в волосах мальчика,— до того они были курчавы и густы.

— Хороший будет человек, хороший! — повторял доктор, припоминая, как он сам в детстве был густоволос и курчав.

Иван Дорофеев на все это улыбался.

— Мальчик шустрый! — проговорил он.

— Вижу это я, вижу!.. — воскликнул Сверстов.

— А девочка не выпьет ли кофею? — спросила gnädige Frau, желавшая обласкать более женскую половину и видевшая, что в кофейнике оставалось еще жидкости.

— Нету-тка, родимая, нет! — отвечала за дочь Парасковья.

— Да девочке-то вы сахарцу дайте,— это оне у нас любят!..— подхватил Иван Дорофеев.

Gnädige Frau подала из своей сахарницы самый большой кусок девочке, которая сначала тоже застыдилась, но потом ничего: принялась бережно сосать кусок.

— Поужинать чего не прикажете ли приготовить вам? — обратился Иван Дорофеев к Сверстову.

— Нет,— отказался тот,— мы к ужину еще в Кузьмищево, к Егору Егорычу, поспеем.

— Туда поспеем!..— подтвердила и gnädige Frau, все как-то боязливо осматриваясь кругом.

Родившись и воспитавшись в чистоплотной немецкой семье и сама затем в высшей степени чистоплотно жившая в обоих замужествах, gnädige Frau чувствовала невыносимое отвращение и страх к тараканам, которых, к ужасу своему, увидала в избе Ивана Дорофеева многое множество, а потому нетерпеливо желала поскорее

уехать; но доктор, в силу изречения, что блажен человек, иже и скоты милует, не торопился, жалея лошадей, и стал беседовать с Иваном Дорофеевым, от которого непременно потребовал, чтобы тот сел.

— Скажи ты мне, друг любезный, повернее!.. Что, в Кузьмищеве Егор Егорыч, или нет? — спросил он.

— Надо быть, что в Кузьмищеве,— отвечал тот,— не столь тоже давно приезжали ко мне от него за рыбой!

— Да и теперь еще он там! Вчерася-тка, как тебя не было дома, останавливался и кормил у нас ихний Антип Ильич,— вмешалась в разговор Парасковья, обращаясь более к мужу.

— А зачем и куда старик проезжал? — полюбопытствовал Сверстов.

— Известно, сударь, старец набожный: говеть едет в губернский город,— служба там, сказывал он, идет по церквам лучше супротив здешнего.

— Ай!..— взвизгнула на всю избу gnädige Frau, вскакивая с лавки и начиная встряхивать свой капот.

— Что такое? — вскрикнул и доктор, не менее ее испугавшийся.

— Таракан... Таракан! — имела только силы сказать gnädige Frau.

— Фу, ты, боже мой!..— произнес доктор и принялся на жене встряхивать капот.— Порасшугайте их, проклятых! — прибавил он хозяевам, показывая на стену.

Парасковья сейчас же начала разгонять тараканов, а за ней и девочка, наконец и курчавый мальчуган, который, впрочем, больше прихлопывал их к стене своей здоровой ручонкой, так что только мокренько оставалось после каждого таракана. Бедные насекомые, сроду не видавшие такой острастки на себя, мгновенно все куда-то попрятались. Не видя более врагов своих, gnädige Frau поуспокоилась и села опять на лавку: ей было совестно такого малодушия своего, тем более, что она обнаружила его перед посторонними.

Сверстов, тоже опять усевшийся, снова принялся толковать с Иваном Дорофеевым.

— Вы все из тех же мест, где и прежде жили? — начал тот первый.

— Все из тех же!..— протянул Сверстов.

— А как там, что за народ такой живет? — интересовался Иван Дорофеев.

— Разный: русские, армяне, татары!..— перечислял Сверстов.

— Поди ты, господи, сколько у нас разных народов есть, и все, значит, они живут и питаются у нас! — подивился Иван Дорофеев и взглянул при этом на жену, которая тоже, хоть и молча, но дивилась тому, что слышала...

Беседу эту прервал и направил в совершенно другую сторону мальчуган в зыбке, который вдруг заревел. Первая подбежала к нему главная его нянька — старшая сестренка и, сунув ребенку в рот соску, стала ему, грозя пальчиком, приговаривать: «Нишкни, Миша, нишкни!»... И Миша затих.

Доктор, любивший маленьких детей до страсти, не удержался и вскричал:

— Это что еще за существо новое?— И сейчас же подошел к зыбке.

— Да ведь какая прелесть,— посмотри, gnädige Frau! — продолжал он.

Gnädige Frau встала и подошла: она также любила детей и думала, что малютке не заполз ли в ухо какой-нибудь маленький таракашик.

— Прелесть что такое!.. Прелесть! — не унимался восклицать Сверстов.

Ребенок, в самом деле, был прелесть: с голенькими ручонками, ножонками и даже голым животишком, белый, как крупичатое тесто, он то корчился, то разгибался в своей зыбке.

— И здоровенький, как видно! — продолжал им любоваться Сверстов.

— Здоров, слава те, господи! — отозвалась уже мать.— Такой гулена,— все на улицу теперь просится.

— Нет, на улицу рано!.. Холодно еще! — запретил доктор и обратился к стоявшему тут же Ивану Дорофееву: — А что, твоя старая бабка давно уж умерла?

Он еще прежде, в последний свой приезд к Егору Егорычу, лечил бабку Ивана Дорофеева, и тогда уж она показалась ему старою-престарою.

При этом вопросе Парасковья слегка усмехнулась.

— Какое умерла? — произнес тихо Иван Дорофеев.— На голбце еще лежит до сей поры!.. Как человек-то упрется по этой части, так его и не сковырнешь.

— Я, впрочем, посмотрю ее! — сказал Сверстов.

— Сделайте божескую милость! — проговорил с удовольствием Иван Дорофеев, который хотя и посмеивался над старухой, но был очень печен об ней.

Сверстов немедля же полез на голбец, и Иван Дорофеев, влезши за ним, стал ему светить лучиной. Бабушка была совсем засохший, сморщенный гриб. Сверстов повернул ее к себе лицом. Она только простонала, не ведая, кто это и зачем к ней влезли на печь. Сверстов сначала приложил руку к ее лбу, потом к рукам, к ногам и, слезая затем с печи, сказал:

— Плоха, очень плоха!.. Однако все-таки дня через два, через три ты приезжай ко мне в больницу к Егору Егорычу!.. Я дам ей кой-какого снадобья.

— Слушаю-с,— произнес Иван Дорофеев.— А вы надолго едете к Егору Егорычу?

— Надолго, навсегда — лечить вас буду! — воскликнул Сверстов.

Gnädige Frau не ошиблась, предполагая, что муж ее будет устраивать себе практику больше у мужиков, чем у бар.

В избу вошел извозчик.

— Я выкормил лошадей-то,— объявил он каким-то почти диким голосом.

Сверстов принялся расплачиваться торопливо и щедро; он все уже почти деньжонки, которые выручил за проданное им имущество в уездном городке, просадил дорогой. Иван Дорофеев проводил своих гостей до повозки и усадил в нее gnädige Frau и Сверстова с пожеланием благополучного пути.

Кибитка тронулась. Иван Дорофеев долго еще глядел им вслед.

— Эк у него, дурака, лошади-то болтаются, словно мотовилы! — дивовал он, видя, как у глуповатого извозчика передняя лошадь сбивалась с дороги и тыкалась рылом то к одному двору, то к другому.

X

За сосунцовским полем сейчас же начинался густой лес с очень узкою через него дорогою, и чем дальше наши путники ехали по этому лесу, тем все выше показывались сосны по сторонам, которые своими растопыренными ветвями, покрытыми снегом, как бы напоминали собой привидения в саванах. В воздухе веяло свежей сыро-

ватостью. Сквозь тонкие облака на небе чуть-чуть местами мерцали звезды и ядро кометы, а хвоста ее было не видать за туманом. Неуклюжий извозчик, точно комок чего-то, чернелся на облучке. За лесом пошло как бы нескончаемое поле, и по окраинам его, то тут, то там, смутно виднелись деревни с кое-где мелькающими огоньками в избах. Встретился длинный мост, на котором, при проезде кибитки, под ногами коренной провалилась целая накатина; лошадь, вероятно, привыкнувшая к подобным случаям, не обратила никакого внимания на это, но зато она вместе с передней лошадью шарахнулась с дороги прямо в сумет, увидав ветряную мельницу, которая молола и махала своими крыльями. Из людей и вообще из каких-либо живых существ не попадалось никого, и только вдали как будто бы что-то такое пробежало, и вряд ли не стая волков.

От всех этих картин на душе у Сверстова становилось необыкновенно светло и весело: он был истый великорусс; но gnädige Frau, конечно, ничем этим не интересовалась, тем более, что ее занимала и отчасти тревожила мысль о том, как их встретит Марфин, которого она так мало знала... Прошел таким образом еще час езды с повторяющимися видами перелесков, полей, с деревнями в стороне, когда наконец показалось на высокой горе вожделенное Кузьмищево. Сверстов окончательно исполнился восторгом. Он с биением сердца помышлял, что через какие-нибудь минуты он встретится, обнимется и побеседует с своим другом и учителем. Кузьмищево между тем все определеннее и определеннее обрисовывалось: уже можно было хорошо различить церковь и длинное больничное здание, стоявшее в некотором отдалении от усадьбы; затем конский двор с торчащим на вышке его деревянным конем, а потом и прочие, более мелкие постройки, окружающие каменный двухэтажный господский дом. В окнах всех этих зданий виднелся свет, кроме господского дома, в котором не видать было ни малейшего огонька. Сверстовым овладело опасение, не болен ли Егор Егорыч или не уехал ли куда, и только уж с подъездом кибитки к крыльцу дома огонек показался в одной задней комнате. Сверстов мгновенно сообразил, что это именно была спальня Егора Егорыча, и мысль, что тот болен, еще более утвердилась в его голове. Не помня себя, он выскочил из кибитки и начал взбираться по

знакомой ему лестнице, прошел потом залу, гостиную, диванную посреди совершенного мрака и, никого не встречая, прямо направился к спальне, в которой Егор Егорыч сидел один-одинехонек; при появлении Сверстова он тотчас узнал его и, вскочив с своего кресла, воскликнул. Сверстов тоже воскликнул, и оба бросились друг другу в объятия, и у обоих текли слезы по морщинистым щекам.

— Я приехал с женой!..— было первое слово Сверстова.

— Знаю, проси!.. Сюда проси! — произнес Егор Егорыч, весь как бы трепетавший от волнения.

Сверстов побежал за женой и только что не на руках внес свою gnädige Frau на лестницу. В дворне тем временем узналось о приезде гостей, и вся горничная прислуга разом набежала в дом. Огонь засветился во всех почти комнатах. Сверстов, представляя жену Егору Егорычу, ничего не сказал, а только указал на нее рукою. Марфин, в свою очередь, поспешил пододвинуть gnädige Frau кресло, на которое она села, будучи весьма довольна такою любезностью хозяина.

— Чаю! — закричал было Егор Егорыч.

— Чаю не надо, а поужинать дайте! — перебил его Сверстов.

— Ужин подавайте! — переменил, вследствие этого, свое приказание Егор Егорыч.

— Ну, что вы, здоровы? — спрашивал Сверстов, смотря с какой-то радостной нежностью на своего учителя.

— Здоров,— отвечал Егор Егорыч не вдруг.

— Духом бодры?

— Нет, не бодр, напротив: уныл!

— Вот это скверно! — заключил Сверстов.

Тут gnädige Frau сочла нужным сказать несколько слов от себя Егору Егорычу, в которых не совсем складно выразила, что хотя она ему очень мало знакома, но приехала с мужем, потому что не расставаться же ей было с ним, и что теперь все ее старания будут направлены на то, чтобы нисколько и ничем не обременить великодушного хозяина и быть для него хоть чем-нибудь полезною.

— Oh, madame, de grâce!.. Soyez tranquille; quant à moi, je suis bien heureux de vous posséder chez moi! [1] —

---

[1] О, мадам, помилуйте!.. Будьте спокойны; что касается меня, я весьма счастлив видеть вас у себя! *(франц.)*

забормотал уж по-французски Марфин, сконфуженный донельзя щепетильностью gnädige Frau.

— Не ври, жена, не ври! — прикрикнул на ту Сверстов.

Но gnädige Frau, конечно, этого не испугалась и в душе одобряла себя, что на первых же порах она высказала мучившую ее мысль.

— Подано кушанье! — проговорила в дверях старая и толстая женщина, Марья Фаддеевна, бывшая ключницей в доме.

— Ну-с,— сказал Егор Егорыч, вставая и предлагая gnädige Frau руку, чтобы вести ее к столу, чем та окончательно осталась довольною.

За ужином Егор Егорыч по своему обыкновению, а gnädige Frau от усталости — ничего почти не ели, но зато Сверстов все ел и все выпил, что было на столе, и, одушевляемый радостью свидания с другом, был совершенно не утомлен и нисколько не опьянел. Gnädige Frau скоро поняла, что мужу ее и Егору Егорычу желалось остаться вдвоем, чтобы побеседовать пооткровеннее, а потому, ссылаясь на то, что ей спать очень хочется, она попросила у хозяина позволения удалиться в свою комнату.

— Oh, madame, je vous prie! [1] — забормотал тот снова по-французски: с дамами Егор Егорыч мог говорить только или на светском языке галлов, или в масонском духе.

Gnädige Frau пошла не без величия, и когда в коридоре ее встретили и пошли провожать четыре горничные, она посмотрела на них с некоторым удивлением: все они были расфранченные, молодые и красивые. Это gnädige Frau не понравилось, и она даже заподозрила тут Егора Егорыча кое в чем, так как знала множество примеров, что русские помещики, сколько на вид ни казались они добрыми и благородными, но с своими крепостными горничными часто бывают в неприличных и гадких отношениях. С удалением gnädige Frau друзья тоже удалились в спальню Егора Егорыча. Здесь мне кажется возможным сказать несколько слов об этой комнате; она была хоть и довольно большая, но совершенно не походила на масонскую спальню Крапчика; единственными украшениями этой комнаты служили: прекрасный портрет английского поэта Эдуарда Юнга, написанный с него в его молодости и представлявший мистического поэта с длин-

[1] О, мадам, прошу вас! *(франц.)*

ными волосами, со склоненною несколько набок печальною головою, с простертыми на колена руками, персты коих были вложены один между другого.

— Отчего вы не бодры духом? — заговорил Сверстов.

Егор Егорыч несколько времени думал, как и с чего ему начать.

— Оттого, что, перед тем как получить мне твое письмо, я совершил неблагоразумнейший проступок.

Сверстов вопросительно взглянул на друга.

— Я вознамерился было жениться! — добавил Егор Егорыч.

— На ком? — спросил тот.

— На одной молодой и прелестной девице

— И прекрасно!.. Честным пирком, значит, да и за свадебку! — воскликнул Сверстов, имевший привычку каждый шаг своего друга оправдывать и одобрять.

— Д-да, но, к сожалению, эта девица не приняла моего предложения! — произнес протяжно и с горькой усмешкой Марфин.

— Это, по-моему, дурно и странно со стороны девицы! — подхватил Сверстов: ему действительно почти не верилось, чтобы какая бы там ни была девица могла отказать его другу в руке.

— Дурно тут поступила не девица, а я!..— возразил Марфин.— Я должен был знать,— продолжал он с ударением на каждом слове,— что брак мне не приличествует ни по моим летам, ни по моим склонностям, и в слабое оправдание могу сказать лишь то, что меня не чувственные потребности влекли к браку, а более высшие: я хотел иметь жену-масонку.

— А разве девица эта масонка?

— Нет, но она могла бы и достойна была бы сделаться масонкой, если бы пожелала того! — отвечал Егор Егорыч: в этой мысли главным образом убеждали его необыкновенно поэтические глаза Людмилы.

— Поверьте, все к лучшему, все! — принялся уж утешать своего друга Сверстов.

— Иначе я никогда и не думал и даже предчувствовал отказ себе! — проговорил с покорностью Марфин.

— Ergo [1],— зачем же падать духом?..

— Тяжело уж очень было перенести это! — продол-

[1] Следовательно, (*лат.*).

жал Егор Егорыч тем же покорным тоном.— Вначале я исполнился гневом...

— Против девицы этой? — перебил его Сверстов.

— Нет, я исполнился гневом против всех и всего; но еще божья милость велика, что он скоро затих во мне; зато мною овладели два еще горшие врага: печаль и уныние, которых я до сих пор не победил, и как я ни борюсь, но мне непрестанно набегают на душу смрадом отчаяния преисполненные волны и как бы ропотом своим шепчут мне: «Тебе теперь тяжело, а дальше еще тягчее будет...»

Сверстову до невероятности понравилось такое поэтическое описание Егором Егорычем своих чувств, но он, не желая еще более возбуждать своего друга к печали, скрыл это и сказал даже укоризненным тоном:

— Э, полноте, пожалуйста, так говорить... Я, наконец, не узнаю в вас нашего спокойного и мудрого наставника!..

Егор Егорыч промолчал на это. Увы, он никак уж не мог быть тем, хоть и кипятящимся, но все-таки смелым и отважным руководителем, каким являлся перед Сверстовым прежде, проповедуя обязанности христианина, гражданина, масона. Дело в том, что в душе его ныне горела иная, более активная и, так сказать, эстетико-органическая страсть, ибо хоть он говорил и сам верил в то, что желает жениться на Людмиле, чтобы сотворить из нее масонку, но красота ее была в этом случае все-таки самым могущественным стимулом.

— Однако надобно же вам что-нибудь предпринять с собой?.. Нельзя так оставаться!..— продолжал Сверстов, окончательно видевший, до какой степени Егор Егорыч был удручен и придавлен своим горем.

— Научи!..— отвечал тот ему кротко.

Сверстов стал себе чесать и ерошить голову, как бы для того, чтобы к мозгу побольше прилило крови.

— Ну, устройте ложу,— придумал он,— у себя вот тут, в усадьбе!.. Набирайте ищущих между мужиками!.. Эти люди готовее, чем кто-либо... особенно раскольники!

Егор Егорыч слушал друга, нахмурившись.

— Этого нынче нельзя,— не позволят!..— возразил он.

— Что ж, вы боитесь, что ли, за себя?.. Я опять вас не узнаю!

— Я не за себя боюсь, а за других; да никто и не пойдет, я думаю,— сказал Егор Егорыч.

— Это мы посмотрим, посмотрим; я вот попригляжусь к здешним мужикам, когда их лечить буду!..— говорил доктор, мотая головой: он втайне давно имел намерение попытаться распространять масонство между мужиками, чтобы сделать его таким образом более народным, чем оно до сих пор было.

Марфин между тем глубоко вздохнул. Видимо, что мысли его были обращены совершенно на другое.

— Это все то, да не то! — начал он, поднимая свою голову.— Мне прежде всего следует сделаться аскетом, человеком не от мира сего, и разобраться в своем душевном сундуке, чтобы устроить там хоть мало-мальский порядок.

— Что вы за безумие говорите? — воскликнул доктор.— Вам, слава богу, еще не выжившему из ума, сделаться аскетом!.. Этой полумертвечиной!.. Этим олицетворенным эгоизмом и почти идиотизмом!

— Ты не заговаривайся так! — остановил его вдруг Марфин.— Я знаю, ты не читал ни одного из наших аскетов: ни Иоанна Лествичника, ни Нила Сорского...

— Не читал, не читал!..— сознался доктор.

— Так вот прочти и увидишь, что это не мертвечина, а жизнь настоящая и полная радостей.

— Прочту, непременно прочту,— говорил Сверстов, пристыженный несколько словами Егора Егорыча.

— Да, а пока удержи твой язык хулить то, чего ты не знаешь!..— поучал его тот.

— Но форму их жизни я знаю, и она меня возмущает! — отстаивал себя доктор.— Вы вообразите, что̀ бы было, если б все люди обратились в аскетов?.. Род человеческий должен был бы прекратиться!.. Никто б ничего не делал, потому что все бы занимались богомыслием.

— Нет, в подвиги аскетов входит не одно богомыслие, а полное и всестороннее *умное делание,* потребность которого ты, как масон, должен признавать.

— Это я признаю!

— Так чем же, после этого, тебя смущает жизнь аскетов? Весь их труд и состоит в этом *умном делании,* а отсюда и выводи, какая гармония и радость должны обитать в их душах.

— Тогда это неравенство! Это, значит, деление людей на касты. Одни, как калмыцкие попы, прямо погружаются

в блаженную страну — Нирвану — и сливаются с Буддой, а другие — чернь, долженствующие работать, размножаться и провалиться потом в страну Ерик — к дьяволу.

— Каст тут не существует никаких!..— отвергнул Марфин.— Всякий может быть сим *избранным,* и великий архитектор мира устроил только так, что ина слава солнцу, ина луне, ина звездам, да и звезда от звезды различествует. Я, конечно, по гордости моей, сказал, что буду аскетом, но вряд ли достигну того: лествица для меня на этом пути еще нескончаемая...

В это время в спальне нежданно-негаданно появился Антип Ильич, так что Егор Егорыч вздрогнул даже, увидав его.

— Ты разве вернулся? — спросил он.

— Сейчас только приехал,— отвечал Антип Ильич с лицом, сияющим кротостью, и кладя на стол перед барином заздравную просфору и большой пакет,— от господина Крапчика! — объяснил он о пакете.

Сверстов между тем, воскликнув: «Узнаешь ли ты меня, Антип Ильич?» — подошел к старику с распростертыми объятиями.

— Как, сударь, не узнать,— отвечал тот добрым голосом, и оба они обнялись и поцеловались, но не в губы, а по-масонски, прикладывая щеку к щеке, после чего Антип Ильич, поклонившись истово барину своему и гостю, ушел.

— Вот он скорей меня удостоится сделаться аскетом,— сказал, указав на него глазами, Егор Егорыч, и распечатывая неторопливо письмо Крапчика.

— Он не аскет, а ангел какой-то! — произнес Сверстов.

Чтение письма, видимо, причинило Егору Егорычу досаду.

— Вот, пожалуй, снова призывают меня на житейский подвиг! — проговорил он, кидая на стол письмо.

— Этим письмом?

— Да.

— Можно прочесть?

— Должно даже тебе прочесть.

Сверстов, надев торопливо очки, пробежал письмо.

— И что ж, по-вашему, этот подвиг слишком ничтожен для вас? — отнесся он к Марфину уже с некоторою строгостью.

— Знаю, что не ничтожен, но мне-то он не по моему душевному настроению,— ответил тот с тоской в голосе.

— Отбросьте это душевное настроение!.. Это, повторяю вам еще раз, аскетический эгоизм... равнодушие Пилата, умывшего себе руки! — почти кричал Сверстов, не слыхавший даже, что в губернии происходит сенаторская ревизия, и знавший только, что Крапчик — масон: из длинного же письма того он понял одно, что речь шла о чиновничьих плутнях, и этого было довольно.

— Поезжайте и поезжайте! — повторял он.— Это вам говорю я... человек, который, вы знаете, как любит вас, и как высоко я ценю вашу гражданскую мощь и мудрость!

— Но ты забываешь, что я опять впаду в гнев и озлобление! — возражал ему тем же тоскливым голосом Егор Егорыч.

— Впадайте, и чем больше, тем лучше: гнев честный и благородный всегда нашим ближним бывает во спасение! — не унимался Сверстов.

— Я поеду...— произнес протяжно и после некоторого размышления Марфин: живая струйка гражданина, столь присущая ему, заметно начала в нем пробиваться.

— Благодарю, глубоко благодарю; вы ничем бы не могли доставить мне такой радости, как этим; а теперь прощайте!.. Вам, я вижу, многое еще надобно обдумать и сообразить!

Затем, поцеловав друга в голову, Сверстов ушел: gnädige Frau справедливо говорила об нем, что, как он был при первом знакомстве с нею студентом-буршем, таким пребывал и до старости.

Первоначально Егор Егорыч действительно впал было в размышление о предстоявшем ему подвиге, но потом вдруг от какой-то пришедшей ему на ум мысли встрепенулся и позвал свою старую ключницу, по обыкновению, единственную особу в доме, бодрствовавшую в бессонные ночи барина: предание в дворне даже говорило, что когда-то давно Егор Егорыч и ключница питали друг к другу *сухую* любовь, в результате которой ключница растолстела, а Егор Егорыч высох.

— Фаддеевна! — сказал ей Егор Егорыч.— Позови ко мне Антипа Ильича.

Ключница была удивлена таким приказанием барина, никогда поздно ночью не тревожившего старика; но, ни слова не сказав, пошла.

Антип Ильич не замедлил придти: он еще, несмотря на усталость от дороги, не спал и стоял на молитве.

— Ты,— начал прерывчатым и задыхающимся голосом Егор Егорыч,— заходил к Рыжовым?

— Заходил,— отвечал старик.

— Что же они?

— Старая адмиральша и Людмила Николаевна уехали в Москву на всю весну,— проговорил Антип Ильич как бы самую обыкновенную вещь.

— А прочие две барышни где же? — спросил Егор Егорыч, выпучив даже глаза.

— Прочие в доме своем остались, и к ним переехала одна старушка — монашенка и сродственница, кажется, ихняя.

— А племянника моего видел? — присовокупил Егор Егорыч, влекомый каким-то предчувствием.

— Нет, он тоже уехал.

— Куда?

— Неизвестно, не знают.

Выслушав эти новости, Егор Егорыч склонил голову; но когда Антип Ильич ушел, он снова встрепенулся, снова кликнул старую ключницу и, объявив, что сейчас же ночью выезжает в губернский город, велел ей идти к кучеру и приказать тому немедленно закладывать лошадей.

Старуха, начинавшая совершенно не понимать, что такое происходит с барином, исполнила и это его приказание.

Егор Егорыч, наскоро собрав свои бумаги и положив все, какие у него были в столе, деньги, себе в карман, написал Сверстову коротенькую записку:

«Прощай! Я выезжаю в губернский город; распоряжайтесь у меня, как в своем имении; если встретится вам надобность в деньгах, спросите их у управляющего,— весьма скоро отпишу вам подробнее».

Через час какой-нибудь Егор Егорыч уселся в свои пошевни, в которые прислуга едва успела положить его еще не распакованный с приезда в деревню чемодан. Кучер поехал было, по обыкновению, легкой рысцой, но Егор Егорыч, покачиваясь, как истукан, всем телом при всяком ухабе, почти непрестанно восклицал: «Пошел!.. Пошел!..» Кучер, наконец, не стал сдерживать лошадей, и те, очень, кажется, довольные, что могут поразмяться, несмя несли, и больше всех заявляла себя передовая лошадь: она, как

будто бы даже играя, то понуривала своей породистой головой, то вытягивала ее вверх и в то же время ни разу не сбилась с пути. Все это в прежнее время Егору Егорычу, как старому кавалеристу и коннозаводчику, доставило бы великое наслаждение; но теперь он ничего не замечал.

Поутру gnädige Frau проснулась ранее мужа и, усевшись в соседней комнате около приготовленного для нее туалетного столика, принялась размышлять опять о том, же, как им будет житься в чужом все-таки доме. Вошедшая к ней одна из красивых горничных и хотевшая было подать gnädige Frau умываться, от чего та отказалась, так как имела привычку всегда сама умываться, доложила затем, что Егор Егорыч уехал из Кузьмищева и оставил господину доктору записку, которую горничная и вручила gnädige Frau. Та пришла в ужас: ей вообразилось, что Егор Егорыч от них удрал. Не соображая уже более ничего другого, она поспешно вошла в свою спальню, разбудила мужа и передала ему новость и записку Егора Егорыча.

— Да, я знаю это, я еще вчера советовал ему так поступить! — проговорил полусонным голосом Сверстов.

— Но как же мы теперь? — возразила gnädige Frau все еще в недоумении и с беспокойством.

— А вот как мы,— прочти! — отвечал Сверстов, сунув ей в руки записку, и, повернувшись к стене, снова закрыл глаза.

По прочтении любезной и обязательной записки Егора Егорыча gnädige Frau устыдилась своего подозрения, что подобный превосходный человек потяготится ими и даже ускачет от них.

XI

Все успехи в жизни своей Крапчик нисколько не приписывал себе, а, напротив, говорил, что ради житейских благ он ни единым пальцем не пошевелил, но что все это лилось на него по великой милости божией. Последнее же время эта милость божия видимым образом отвернулась от него: во-первых, после того, как он дал сенатору объяснение по делу раскольника Ермолаева, сей последний был выпущен из острога и самое дело о скопцах уголовною палатою решено, по каковому решению Ермолаев

был совершенно оправдан; Крапчик очень хорошо понимал, что все это совершилось под давлением сенатора и делалось тем прямо в пику ему; потом у Крапчика с дочерью с каждым днем все более и более возрастали неприятности: Катрин с тех пор, как уехал из губернского города Ченцов, и уехал даже неизвестно куда, сделалась совершеннейшей тигрицей; главным образом она, конечно, подозревала, что Ченцов последовал за Рыжовыми, но иногда ей подумывалось и то, что не от долга ли карточного Крапчику он уехал, а потому можно судить, какие чувства к родителю рождались при этой мысли в весьма некроткой душе Катрин. Она прежде всего перестала приходить поутру здороваться с отцом, причем он обыкновенно ее крестил, а Катрин целовала у него руку; вечером она тоже не стала соблюдать этой церемонии, так что Крапчик, наконец, заметил ей, почему она этого не делает. Катрин усмехнулась, пожала плечами и объявила, что она теперь не маленькая девочка, и что ей наскучило разыгрывать подобные комедии. Сколько ни досадно было Крапчику выслушать такой ответ дочери, но он скрыл это и вообще за последнее время стал заметно пасовать перед Катрин, и не столько по любви и снисходительности к своему отпрыску, сколько потому, что отпрыск этот начал обнаруживать характер вряд ли не посердитей и не поупрямей папенькина, и при этом еще Крапчик не мог не принимать в расчет, что значительная часть состояния, на которое он, живя дурно с женою, не успел у нее выцарапать духовной, принадлежала Катрин, а не ему. Таким образом, все это сделает совершенно понятною ту мрачную и тяжелую сцену, которая произошла между отцом и дочерью за обедом — единственным временем, когда они видались между собою.

— Вы не слыхали, куда Ченцов уехал? — начала Катрин, измученная до последней степени неизвестностью о дорогом ей все-таки человеке.

— А черт его знает! — отвечал Крапчик сердитым тоном.

— Я думала, что не один черт, а и вы это знаете,— проговорила Катрин, явно желая сказать отцу дерзость.

— Почему ж ты это думала? — спросил Крапчик, как бы не поняв ее намерения.

— Потому что он должен вам, а то, если он не приедет сюда больше, с кого же вы взыщете его проигрыш?

Крапчик улыбнулся.

— Дядя за него заплатит! — пояснил он.

— Как это благородно! — произнесла, пожимая плечами, Катрин.

— К чему такое восклицание твое?.. Ченцов сам мне поставил поручителем за себя дядю! — сказал Крапчик, все еще старавшийся сдерживать себя.

— Он это сказал, вероятно, думая, что вы и с него не захотите получить этих денег.

Говоря это, Катрин очень хорошо знала, что укорить отца в жадности к деньгам — значило нанести ему весьма чувствительный удар, так как Крапчик, в самом деле дрожавший над каждою копейкой, по наружности всегда старался представить из себя человека щедрого и чуть-чуть только что не мота.

— Нет, Ченцов этого не думал! — возразил он, притворно рассмеявшись.— Как игрок, и игрок серьезный, Ченцов понимает, что карточный долг священнее всякого!.. Я с ним играл не на щепки, а на чистые деньги, которые у него лежали перед глазами.

— Хорошо, что у вас много денег; а у него их нет, но играть он любит!..— воскликнула Катрин.— Кроме того, он пьян был совершенно,— нельзя же пьяного человека обыгрывать!

Терпение Крапчика истощилось, и он не совладел долее с собой.

— Если ты будешь сметь так говорить со мной, я прокляну тебя! — зашипел он, крепко прижав свой могучий кулак к столу.— Я не горничная твоя, а отец тебе, и ты имеешь дерзость сказать мне в глаза, что я шулер, обыгрывающий наверняка своих партнеров!

— Я не знаю, что такое шулер и не шулер,— проговорила, гордо сложив руки на груди, Катрин,— но я слышала сама, что вы приказывали принести вина, когда Ченцов и без того уже был пьян.

— Это не я-с приказывал, а он сам себе, пьяница, требовал! — закричал уже Крапчик на всю столовую.— И ты с ним пила, и чокалась, и сидела потом вдвоем до трех часов ночи, неизвестно что делая и о чем беседуя.

— О, я по очень простой причине так долго беседовала с Ченцовым!.. Я уговаривала его не платить вам своего долга, который я вам заплачу за него, и вы можете этот долг завтра же вычесть из денег, которые по-

лучаются с имения покойной матери моей и у которой я все-таки наследница!

Крапчик еще в первый раз выслушал от дочери эти страшные для него слова, но, как человек практический, он заранее предчувствовал, что они когда-нибудь будут ему сказаны, а потому, не слишком смутившись, проговорил твердо и отчетливо:

— Из этих денег я не решусь себе взять ни копейки в уплату долга Ченцова, потому что, как можно ожидать по теперешним вашим поступкам, мне, вероятно, об них придется давать отчет по суду, и мне там совестно будет объявить, что такую-то сумму дочь моя мне заплатила за своего обожателя.

— То-то, к несчастию, Ченцов не обожатель мой, но если бы он был им и предложил мне выйти за него замуж,— что, конечно, невозможно, потому что он женат,— то я сочла бы это за величайшее счастие для себя; но за вашего противного Марфина я никогда не пойду, хоть бы у него было не тысяча, а сто тысяч душ!

Сказав это, Катрин встала порывисто из-за стола и, швырнув из-под себя стул на пол, ушла к себе наверх.

Крапчик остался очень рассерженный, но далеко не потерявшийся окончательно: конечно, ему досадно было такое решительное заявление Катрин, что она никогда не пойдет за Марфина; но, с другой стороны, захочет ли еще и сам Марфин жениться на ней, потому что весь город говорил, что он влюблен в старшую дочь адмиральши, Людмилу? Кроме того, Крапчика весьма порадовало признание дочери в том, что Ченцов не обожатель ее, следовательно, тут нечего было опасаться какого-нибудь большого скандала с Катрин, тем более, что Ченцов теперь, как слышал о том Петр Григорьич, удрал за Людмилой, с которой этот развратник давно уже вожжался. Вознамерившись последнее обстоятельство разузнать поподробнее, Крапчик решил мысленно, что обо все этом пока нечего много беспокоиться; но между тем прошел день, два, три, Катрин все сидела у себя наверху и не сходила вниз ни чай пить, ни обедать, так что Крапчик спросил, наконец, ее горничную: «Что такое с барышней?» Та отвечала, что барышня больна.

— Тогда пусть она пошлет за доктором!.. Я не смею

этого сделать, не зная, угодно ли это будет ей, или нет! — произнес Крапчик с насмешкой.

Горничная сходила к барышне и, возвратясь от нее, донесла, что Катерина Петровна не желает посылать за доктором.

В первое мгновение у Крапчика промелькнула было беспокойная мысль: «Ну, а что, если дочь умрет от несчастной любви к Ченцову?» В том, что она была влюблена в этого негодяя, Крапчик нисколько уже не сомневался. Но к нему и тут пришла на помощь его рассудительность: во-первых, рассчитывал он, Катрин никак не умрет от любви, потому что наследовала от него крепкую и здоровую натуру, способную не только вынести какую-нибудь глупую и неудавшуюся страсть, но что-нибудь и посильнее; потом, если бы даже и постигнуло его, как отца, такое несчастие, то, без сомнения, очень тяжело не иметь близких наследников, но что ж прикажете в этом случае делать? В смерти дочери он, конечно, нисколько не будет себя считать виновным, а между тем сам лично избавится от множества огорчений, которые Катрин, особенно последнее время, делала ему каждоминутно и — что обиднее всего — нарочно и с умыслом.

От такого рода размышлений Крапчика отвлекла новая неприятность, гораздо горшая, чем все прежние. Здесь, впрочем, необходимо вернуться несколько назад: еще за год перед тем Петр Григорьич задумал переменить своего управляющего и сказал о том кое-кому из знакомых; желающих занять это место стало являться много, но все они как-то не нравились Крапчику: то был глуп, то явный пьяница, то очень оборван. Наконец перед самой масленицей ему доложили, что пришел какой-то молодой человек тоже с предложением себя в управляющие. Крапчик велел пустить его к себе в кабинет, и перед его очи предстал действительно молодой человек. Крапчик внимательно оглядел его с головы до ног. Молодой человек оказался очень опрятно одетым, даже более того: все на нем было с иголочки, как бы сейчас только купленное; волосы у молодого человека были рыжие, слегка кудреватые; глаза тоже почти рыжие, но умные и плутоватые; по своему поклону он показался Крапчику похожим на семинариста.

— Вы из духовного звания? — спросил он его.

— Нет-с, я из мещан! — отвечал молодой человек.

— Уроженец здешний?

— Никак нет-с, из дальних мест!

— Как же вы сюда попали?

Что-то вроде небольшого румянца пробежало при этом вопросе по лицу молодого человека, и глаза его как бы более обыкновенного забегали.

— Родитель мой первоначально торговал, потом торговлю прикончил и вскоре помер... Я таким образом стал один, без всякой семьи, и вздумал ехать в Петербург, но, проезжая здешний город, вижу, что он многолюдный,— решил, что дай пока здесь попробую счастия.

— Но как вы узнали, что мне нужен управляющий?

— Да я, извините, так сказать, не имев здесь никого знакомых, заходил в некоторые господские дома и спрашивал, что нет ли местечка, и на вашем дворе мне сказали, что вам нужен управляющий.

Крапчик нахмурился: ему неприятно было, что прислуга вмешивается в его дела; но что касается до наружности и ответов молодого человека, то всем этим он оставался доволен.

— Вы прежде управляли каким-нибудь имением? — сказал он.

— Никогда, но сельскую часть немного знаю.

— Где ж вы ее узнали?

— Родитель мой зеленью торговал... Огороды у него подгородные на аренде были и запашка небольшая.

— Оставил вам отец после себя какое-нибудь состояние?

— Да так, маленький капиталец — тысяч в пять!

И при этом молодой человек, проворно вынув из кармана билет приказа общественного призрения, предъявил его Крапчику.

Тот осмотрел тщательно билет.

— Значит, вы уже здесь положили ваши деньги в приказ?

— Здесь!.. Живешь на постоялом дворе, где ж тут деньги прятать, а билет-то тоненький: сунешь его в карман и ходишь покойно.

Крапчику такая предусмотрительность со стороны молодого человека понравилась.

— Вот видите-с,— начал он,— доселе у меня были управляющие из моих крепостных людей, но у всех у

них оказывалось очень много родных в имении и разных кумов и сватов, которым они миротворили; а потому я решился взять с воли управляющего, но не иначе как с залогом, который, в случае какой-нибудь крупной плутни, я удержу в свою пользу.

— Да не угодно ли вам этот билет залогом у меня взять, а мне выдать записочку, что он находится у вас в обеспечении?

Готовность молодого человека дать от себя залог опять-таки пришлась по душе Крапчику.

— Вы, конечно, грамотный? — продолжал он расспрашивать молодого человека.

— Грамотный! — отвечал тот.

— Потрудитесь мне написать ваше имя, отчество и звание, присядьте на этот стул, и вот вам бумага и перо!

Молодой человек исполнил это приказание, и та посадка, которую он при этом принял, та умелость, с которою он склонил голову набок и взял в руки перо, а также и красивый, бойкий почерк опять-таки напомнили Крапчику более семинариста, чем лавочника.

— А на счетах и арифметику вы знаете?

— Знаю-с!

— Первую и вторую часть?

— Только первую! — объяснил, слегка подумав, молодой человек.

— Но где ж вы всему этому научились?

— Сначала у священника нашего, а потом в училище!

— В духовном или светском? — допытывался Крапчик.

Молодой человек опять-таки позамялся несколько.

— В светском!.. Где ж в духовном! — ответил он.

— Паспорт вы, конечно, имеете?

— Имею-с!

И молодой человек подал паспорт на имя мещанина Василия Иванова Тулузова. Крапчик очень внимательно прочел все приметы, написанные в паспорте, и они ему показались схожими с молодым человеком.

— И шрам на левой руке даже обозначен! — заметил он.

— Шрам есть у меня! — подхватил молодой человек и, загнув рукав у сюртука, показал весьма небольшой и еще красноватый рубец.

— Давно он у вас? — расспрашивал Крапчик, как бы подталкиваемый каким-то тайным подозрением.

— Недавно-с!.. Перед отъездом почти оцарапнул себе это гвоздем! — объяснил молодой человек.

— Какое же вы жалованье желаете получать? — поставил, наконец, последний вопрос от себя Крапчик.

— Жалованье, ваше превосходительство, у нас, например, по торговой части, кладется, глядя по заслуге, и что̀ вы мне назначите,— тем я и доволен буду.

«Значит, надеется на себя!» — подумал не без удовольствия Крапчик, но вслух, однако, проговорил довольно суровым голосом:

— На всех этих условиях я могу вас взять к себе!.. Имение мое, которое вам поручится, по хлебопашеству незначительное; но оно значительно по оброчным сборам!.. Скотина, мой теперешний управляющий, накопил пропасть недоимки, которую вы прежде всего должны собрать. Способ для того такой: вы объезжайте всех соседних подрядчиков, которые вот именно великим постом подряжают рабочих и выдают им задатки, и объявите им, чтобы крестьянам моим, на которых у меня числится недоимка, они денег на руки не выдавали, а вручали бы их вам; если же подрядчики не сделают того, вы не выдавайте недоимщикам паспортов.

В прежнее время обыкновенно Крапчик порол жестоко крестьян, которые не доплачивали ему оброка; но ныне, имея в виду все-таки висевшую над губернией ревизию, решился действовать более законным путем.

— Это легко сделать!.. Недоимку соберу...— произнес самонадеянно молодой человек.

— Итак, вы завтра же можете и ехать! — заключил Крапчик.

— Если прикажете, завтра же поеду,— сказал покорным тоном молодой человек и, получив на билет приказа общественного призрения от Крапчика расписку, ушел, а на другой день и совсем уехал в имение.

На третьей неделе поста, именно вскоре после того, как Крапчик поссорился с дочерью, новый его управляющий прислал ему совершенно грамотное и весьма почтительное донесение, пересыпанное фразами: *ваше превосходительство, по приказанию вашего превосходительства, как благоугодно будет вашему превосходительству.*

В донесении этом управляющий прежде всего объяснил, что недоимка с крестьян им почти вся собрана, а затем следовало довольно неприятное известие, что на днях, по чьему-то безымянному доносу, к ним в имение приезжала земская полиция, в сопровождении сенаторского чиновника, делать дознания о злоупотреблениях будто бы господином Крапчиком помещичьей власти, но что он, управляющий, водя крестьян к допросам, строго воспрещал им что-либо показывать на господина, угрожая, в противном случае, ссылкою на поселение, и что вследствие этого никто из крестьян ничего не показал в подтверждение доноса.

За все это Крапчик, конечно, прежде всего поблагодарил бога и похвалил мысленно распорядительность своего управляющего; но новая выходка сенатора против него,— и выходка столь враждебная,— взбесила его донельзя, так что Крапчик, не медля ни минуты, облекся в мундир, звезду, ленту, во все свои кресты и медали, и поехал к его сиятельству объясниться. Войдя с апломбом в залу сенатора, он громогласно объявил дежурному чиновнику, что он губернский предводитель Крапчик и имеет надобность видеть графа. Вежливый чиновник на первых порах пошел было проворно в кабинет сенатора; но, возвратясь оттуда гораздо уже медленнее, сказал Крапчику, что граф болен и не может принять его.

— Но я приехал по экстренному делу и готов видеть графа даже в постели! — настаивал Крапчик.

Чиновник опять ушел в кабинет, где произошла несколько даже комическая сцена: граф, видимо, бывший совершенно здоров, но в то же время чрезвычайно расстроенный и недовольный, когда дежурный чиновник доложил ему о новом требовании Крапчика принять его, обратился почти с запальчивостью к стоявшему перед ним навытяжке правителю дел:

— Вот плоды, которые мы пожинаем по поводу последнего распоряжения,— вот они!

— Ваше сиятельство, мы должны были сделать это распоряжение! — сказал тот, не поднимая своих опущенных глаз.

— А если должны, так вы и ступайте объясняться с господином Крапчиком, а я не намерен себя мучить, никак!..

— Я готов объясниться! — отвечал правитель дел.

— Прошу вас! — проговорил сенатор и нервно понюхал табаку из осыпанной брильянтами табакерки.

Дело в имении Крапчика было чисто измышлено Звездкиным, который, явно уже действуя заодно с m-me Клавской, старался вредить, чем только возможно, всем врагам губернатора, в числе коих Крапчик, конечно, был одним из самых главных. Выйдя, по приказанию сенатора, в залу к губернскому предводителю, он не поклонился даже ему, равно как и Крапчик не сделал для того ни малейшего движения. Оба они, кроме уж вражды, представляли собой какие-то две почти климатические противуположности: Звездкин был петербургский чиновничий парвеню, семинарист по происхождению, злой и обидчивый по наклонности своей к чахотке, а Крапчик — полувосточный человек и тоже своего рода выскочка, здоровый, как железная кочерга, несмотря на свои шестьдесят восемь лет, и уязвленный теперь в самую суть свою.

— Граф никак не может принять вас, — начал не совсем твердым голосом Звездкин,— а он мне поручил объясниться с вами.

Крапчик сердито понурил головой.

— Если графу так угодно понимать и принимать дворян, то я повинуюсь тому,— проговорил он,— но во всяком случае прошу вас передать графу, что я приезжал к нему не с каким-нибудь пустым, светским визитом, а по весьма серьезному делу: сегодня мною получено от моего управляющего письмо, которым он мне доносит, что в одном из имений моих какой-то чиновник господина ревизующего сенатора делал дознание о моих злоупотреблениях, как помещика, — дознание, по которому ничего не открылось.

— Ничего не открылось! — подтвердил и правитель дел.

— Так для чего ж его и производили?..— воскликнул с злобным хохотом губернский предводитель.

— По доносу! — отвечал ему спокойно Звездкин.

— Позвольте-с! — воскликнул снова Крапчик.— Во-первых, по безымянным доносам закон повелевает ничего не делать, ни к чему не приступать.

— Да, но только этот закон не распространяется на ревизующих губернии сенаторов! — возразил Звездкин.— По высочайше утвержденной инструкции, данной графу в

руководство, он может делать дознания не только что по доносам, но даже по слухам, дошедшим до него.

— Любопытно бы было видеть эту инструкцию, — сказал насмешливо Крапчик,— но, кроме того, слух слуху рознь. Это уж я говорю не как помещик, а как губернский предводитель дворянства: назначать неосмотрительно дознания по этого рода делам значит прямо вызывать крестьян на бунт против помещиков, а это я не думаю, чтобы было приятно государю.

На это уж правитель дел улыбнулся.

— Графу очень хорошо известно, что приятно государю и что нет, — объяснил он, видимо, стараясь все своротить на графа, который, с своей стороны, приложив ухо к двери, подслушивал, что говорит его правитель дел и что Крапчик.

— Не знаю-с, что известно графу, но я на днях уезжаю в Петербург и буду там говорить откровенно о положении нашей губернии и дворянства,— сказал сей последний в заключение и затем, гордо подняв голову, вышел из залы.

Сенатор, прежде чем Звездкин возвратился в кабинет, поспешил занять свое кресло, и когда тот, войдя, доложил с несколько подобострастною улыбкой, что Крапчик успокоился и уехал, граф вдруг взглянул на него неприязненно и проговорил:

— Ничего, я вижу, вы не понимаете, или притворяетесь, что не понимаете!

Звездкин был опешен и поспешил принять совершенно форму палки.

— Вы можете ехать к вашим занятиям в губернское правление, — объявил ему сенатор.

Звездкин счел возможным только удалиться.

Граф остался в размышлении: тысячи соображений у него прошли в голове, и яснее всего ему определилось, что взятая им на себя ревизия губернии отзовется не легко для него в Петербурге и что главный исполнитель всех его предначертаний, Звездкин,— плут великий, которого надобно опасаться. Чтобы рассеять себя хоть сколько-нибудь от таких неприятных мыслей, граф уехал к m-me Клавской на весь остальной день и даже на значительную часть ночи.

Крапчик же, возвратясь прямо домой от сенатора и

увидав в своей передней стоявшего Антипа Ильича, пришел в великую радость.

— Егор Егорыч здесь? — спросил он.

— Никак нет-с,— отвечал Антип Ильич,— я приезжал сюда говеть, а они в Кузьмищеве, и я зашел к вам, не будет ли какого приказания к барину.

— Даже большое! — воскликнул Крапчик.— А ты подожди, я сейчас напишу ему письмо.

Антип Ильич поклонился в изъявление того, что он будет дожидаться письма.

Крапчик изготовил Егору Егорычу весьма длинное послание, в котором, не упоминая о своих личных неприятностях, описал другие действия сенатора и описал их в ужасающем виде, заклиная и умоляя Егора Егорыча немедленно приехать в губернский город с тем, чтобы писать и действовать сообща!

Какого рода впечатление письмо это произвело на Егора Егорыча и на доктора, мы уже знаем.

XII

Был ясный мартовский день с легоньким морозцем. В зале хаотического дома Рыжовых, освещенной ярким солнцем, раздавались звуки фортепьяно, на котором часа уже три неустанно играла Муза. Исполняемая ею ария была не совсем отчетлива и понятна, вероятно, потому, что Муза фантазировала и играла свое. Непривычка к творчеству чувствовалась сильно в этих упражнениях юной музыкантши, но, тем не менее, за нею нельзя было не признать талантливой изобретательности, некоторой силы чувства и приятности в самой манере игры: с восторженным выражением в своем продолговатом личике и с разгоревшимися глазками, Муза, видимо, была поглощена своим творчеством. Таким образом она давно уж творила и только никогда ничего из своих фантазий не могла записать на ноты. Вдруг на двор к Рыжовым влетела вся в мыле тройка Егора Егорыча, а вместе с нею и он сам, торча незаметной фигуркой из своих широких пошевней, закрытых полостью. У крыльца Егор Егорыч что-то такое пробормотал кучеру и почти с не меньшей быстротой, как несся и на тройке, влетел в переднюю, а затем и в залу, так что Муза едва успела приостановиться играть.

— Играйте, играйте!..— крикнул он ей.

Муза повиновалась ему и стала было играть, но Марфин недолго слушал ее и, усевшись на ближайший к фортепьяно стул, спросил:

— Где ваша мать и Людмила?

— Они уехали в Москву,— отвечала Муза, все еще остававшаяся под влиянием своего творчества.

Егор Егорыч, кажется, желал порасспросить еще, но, потерев себе лоб, передумал и сказал:

— А где Сусанна Николаевна?

Странное дело: Сусанну Егор Егорыч никогда не называл одним именем, как называл он Людмилу и Музу, а всегда с прибавлением отчества, точно желая тем выразить какое-то инстинктивное уважение к ней.

— Сусанна с тетей у обедни,— проговорила Муза, опять-таки более занятая своей музыкальной фантазией, чем вопросами Егора Егорыча.

Он заметил, наконец, это и снова предложил своей скороговоркой:

— Играйте, играйте!.. Мне очень приятно вас слушать.

Муза принялась было продолжать свою фантазию, но у нее стало выходить что-то очень нескладное: при посторонних лицах она решительно не могла спокойно творить. Впрочем, к общему удовольствию обоих собеседников, в это время вместе с теткой-монахиней возвратилась Сусанна. Войдя в залу и увидав Егора Егорыча, она удивилась и, по обыкновению, покраснела. Монахиня же, увидав мужчину, попятилась, как бы от черта какого, назад в переднюю, а потом и совсем ушла в свою комнату. Тетя эта была родная сестра адмиральши и своей стыдливостью и дикостью превосходила во сто раз Сусанну. Не выходя никуда, кроме церкви, она большую часть времени проводила в уединении и в совершенном бездействии, все что-то шепча сама с собой и только иногда принималась разбирать свой сундук с почти уже истлевшими светскими платьями и вдруг одевалась в самое нарядное из них, садилась перед небольшим зеркальцем, начинала улыбаться, разводила руками и тоже шептала. Вообще она давно походила на сумасшедшую, именно с того времени, как в двенадцатом году под Красным убит был ее жених, после чего она начала тосковать, по временам даже заговариваться, и кончила тем, что поступила в монастырь, завещав в него свое состояние.

Егор Егорыч, как только появилась Сусанна, вскочив

со стула и проговорив: «Ах, я очень рад вас видеть!» — подхватил ее, хоть и ловко, но почти насильно, под руку и увел с собой в гостиную.

Бедная Сусанна еще более покраснела, но последовала за ним и уселась на то место, которое занимала Юлия Матвеевна при последнем объяснении с Егором Егорычем; он тоже занял свое прежнее место.

— Вы давно сюда в город приехали? — начала Сусанна, чтобы что-нибудь сказать.

— Недавно!.. Сейчас только!.. Зачем и для чего ваша мать и Людмила уехали в Москву?..— бормотал Егор Егорыч.

При этом у Сусанны вдруг глаза наполнились слезами.

— Сестра сделалась очень больна! — отвечала она.

— Чем? — спросил Егор Егорыч, потупляя лицо.

— Не знаю! — проговорила тихим, но совершенно искренним голосом Сусанна.

Тогда Егор Егорыч снова поднял голову и посмотрел на нее пристально.

Слезы у Сусанны уже текли по щекам.

— Но и вы больны!.. Вы страшно похудели и плачете! — воскликнул Егор Егорыч.

— Нет, это я так!..— возразила Сусанна, стараясь смигнуть опять наполнившие ее глаза слезы.— Я только очень скучаю по мамаше и по сестре!.. Мы еще так надолго никогда не разлучались.

Егор Егорыч некоторое время размышлял.

— Но отчего же мать ваша не взяла вас и Музы с собой? — проговорил он затем.

— Мамаша говорила, что у нее денег нет, чтобы ехать всем нам! — объяснила Сусанна.

— Это безжалостно и глупо с ее стороны было оставить вас!..— совсем уж вспылил Егор Егорыч.— Если у ней не было денег, отчего она мне не написала о том?

Сусанна робко молчала.

— Тут то́ , да не то́!.. Да!.. Не то́ тут!— произнес Егор Егорыч и затем, снова подумав немного, присовокупил:

— А где мой племянник Ченцов,— не знаете ли вы?

— Нет! — отвечала Сусанна, тоже, по-видимому, совершенно искренно.

Между тем звуки фортепьяно, на котором с возрастающей энергией принялась играть Муза, оставшись одна в зале и явно придя в норму своего творчества, громко раз-

давались по всему дому, что еще более наэлектризовывало Егора Егорыча и поддавало ему пару.

— Адрес вашей матери вы знаете? — спрашивал он.

— Да!..— протянула Сусанна.

— Дайте его мне!.. Я тоже еду в Москву... Хотите, и вы поедемте со мной?.. Я вас и сестру вашу свезу в Москву.

Сусанна на первых порах была удивлена и смущена таким предложением: конечно, ей бесконечно хотелось увидать поскорее мать, но в то же время ехать с Егором Егорычем, хоть и не молодым, но все-таки мужчиной, ей казалось несколько страшно.

— Я, право, не знаю! — сказала она.— Согласится ли на это Муза.

— Позовите Музу!.. Мы ее спросим! — командовал Егор Егорыч: у него образовался целый план в голове, каким образом устроить всю эту несчастную семью.

Сусанна сходила за сестрой, которая пришла, но с лицом недовольным: Музе досадно было, что ее прервали на лучшем месте творимой ею фантазии.

Марфин начал чисто ораторствовать, красноречиво доказывая, что обеим сестрам, как девушкам молодым, нет никакого повода и причины оставаться в губернском городе, тем более, что они, нежно любя мать свою, конечно, скучают и страдают, чему доказательством служит даже лицо Сусанны, а потому он желает их свезти в Москву и поселить там.

Все эти слова Егора Егорыча Сусанна слушала, трепеща от восторга, но Муза — нет, по той причине, что, по отъезде матери и сестры, ей оказалось весьма удобным жить в большом и почти пустынном доме и разыгрывать свои фантазии, тогда как понятно, что в Москве у них будут небольшие комнаты, да, пожалуй, и фортепьяно-то не окажется.

— Нет, я не поеду!.. Мамаша желала, чтобы мы здесь остались, и я останусь! — произнесла она решительно: как натура артистическая, Муза была до некоторой степени эгоистка и искусство свое ставила превыше всех отношений к самым близким ей людям.

Марфин потер себе лоб и, любя снисходить ко всем пожеланиям людей и догадываясь, что Сусанне очень хочется ехать к матери, а Музе нет, что было для Егора Егорыча непонятно и досадно, он, однако, быстро решил:

— Вы, Муза, оставайтесь здесь с вашей старушкой-монахиней, а вы, Сусанна Николаевна, поедемте со мной.

— Хорошо! — ответила последняя, более не раздумывая.

— Итак, завтра поутру я заеду за вами! — заключил Марфин, уже расшаркиваясь перед барышнями и целуя ручку у той и у другой.

Приехав в свой нумер в гостиницу Архипова, он немедленно послал к губернскому предводителю нарочного с просьбой посетить его.

Крапчик, похуделый и какой-то позеленелый, скоро явился к Егору Егорычу и сразу же проговорил голосом, осипшим от желчной рвоты, которою он страдал перед тем все утро:

— Медлить нам нельзя-с!.. Все наши планы касательно ревизии разрушаются... Сенатор творит на каждом шагу беззакония!

— Я не могу прямо ехать в Петербург, я должен прежде заехать в Москву!..— возразил ему, бормоча, Марфин.

Крапчика поразило и рассердило такое известие.

— По какой же, собственно, надобности вам так необходимо ехать в Москву? — спросил он.

— Я везу к кузине Рыжовой одну из дочерей ее, которая очень скучает об ней! — проговорил Егор Егорыч, потупляясь от сознания в душе, что он не полную правду говорит в этом случае.

— Кто же это скучает,— мать или дочь? — переспросил Крапчик, как бы не поняв того, что сказал Егор Егорыч.

— Дочь, но и мать, вероятно, скучает! — пояснил тот.

— Что ж матери скучать! — возразил с недовольным смехом Крапчик.— Она не одна в Москву поехала, а с старшей своей дочерью.

— Да! — подтвердил Егор Егорыч.— И Людмила, говорят, сильно больна.

— Не думаю, чтоб очень сильно! — протянул Крапчик, кажется, начавший уже догадываться, зачем Егор Егорыч скачет в Москву, а не прямо едет в Петербург, и решивший за то преподнесть ему нечто не совсем приятное.— Тут много по поводу их отъезда рассказывают...

— Что такое?.. Что именно? — воскликнул Марфин.

— Разная болтовня идет, и этакая неприятная и обидная!

— Какая же?.. Говорите! — начал уж приставать Марфин.— Мне вы должны сказать и не можете утаивать от меня,— я единственный защитник и заступник за этих девушек.

— Извольте, я вам скажу, хотя за достоверность этих слухов нисколько не ручаюсь,— за что купил, за то и продаю.

— Ну-с! — торопил его Марфин.

— Говорят, во-первых, что Людмила Николаевна без ума влюблена в племянника вашего, Ченцова.

Егор Егорыч прижался поплотнее к спинке своего кресла.

— Потом, что будто бы...— начал Крапчик уже с перерывами,— они все вместе даже уехали в Москву вследствие того, что... Людмиле Николаевне угрожает опасность сделаться матерью.

О последнем обстоятельстве Крапчик черт знает от кого и узнал, но только узнал, а не выдумал.

Егор Егорыч вспыхнул в лице и вскочил.

— Вы врете!.. Лжете! — крикнул он, обращаясь почти с кулаками к Крапчику.

— Я никак не вру, потому что с того и начал, что не утверждаю, правда это или нет! — возразил тот спокойно.— И потом, как же мне прикажете поступать? Сами вы требуете, чтобы я передал вам то, что слышал, и когда я исполнил ваше желание,— вы на меня же кидаетесь!

— Но вы понимаете ли, что говорить такие вещи о девушке значит позорить, убивать ее, и я не позволю того никому и всем рот зажму! — продолжал кричать Егор Егорыч.

— Нет-с, всем рот нельзя зажать! — не уступил Крапчик.

— Зажму, потому что если бы тут что-нибудь такое было, то это мне сказали бы и племянник и сама Людмила.

— Положим, что вам не сказали бы того,— заметил, усмехнувшись, Крапчик, как бы находивший какое-то наслаждение для себя мучить Егора Егорыча.

— Отчего не сказали бы? — проговорил тот запальчиво.

— Оттого что — я опять-таки передаю вам слухи,— что вы сами были неравнодушны к Людмиле Николаевне.

Егор Егорыч снова вспыхнул в лице. Отвергнуть свое

увлечение Людмилою он, по своей правдивости, не мог, но и признаться в том ему как-то было совестно.

Впрочем, Егор Егорыч поспешил выкинуть из души этот ложный стыд.

— Да, был! — подтвердил он.

— Вот видите-с, дело какое! — подхватил не без ядовитости Крапчик.— Вы, конечно, должны согласиться, что от вас было более, чем от кого-либо, все скрываемо.

— Но если от меня скрывали, то Людмила матери бы сказала!

— Матери, может быть, она и сказала, как дело-то въявь уж подошло.

— Нечему тут въявь приходить,— не смейте этого при мне повторять! — снова вспылил Егор Егорыч.

— Да, я ничего такого и не повторяю, я хочу сказать только, что нынче дети не очень бывают откровенны с родителями и не утешение, не радость наша, а скорей горе! — намекнул Крапчик и на свое собственное незавидное положение.

Егор Егорыч ничего ему на это не сказал, чувствуя, что внутри у него, в душе его, что-то такое как бы лопнуло, потом все взбудоражилось и перевернулось вверх ногами.

Крапчик, в свою очередь, немножко уж и раскаивался, что так взволновал своего друга, поняв, что теперь никаким рычагом не своротишь того с главного предмета его беспокойств, а потому решился вытянуть из Егора Егорыча хоть малую толику пользы для своих целей.

— Но когда же вы выезжаете отсюда? — спросил он.

— Завтра! — ответил Егор Егорыч.

— А не можете ли вы мне сказать, когда вы приблизительно из Москвы в Петербург приедете?..

— Через месяц! — сказал вряд ли не наобум Егор Егорыч.

Крапчик поник головой.

— Ах, как это дурно и вредно может отразиться на нашем общем деле! — произнес он печально.

— Поезжайте пока одни!.. Что я вам? Не маленькие! — окрысился на него Марфин.

— Один уж поеду,— подчинился Крапчик,— но, по крайней мере, вы должны снабдить меня письмами к нескольким влиятельным лицам,— присовокупил он жалобным голосом.

— К кому? — пробормотал Марфин.

— Прежде всех, конечно, к князю Александру Николаевичу, а потом и к другим лицам, к коим вы найдете нужным.

— Пока достаточно написать одному князю,— перебил Крапчика Егор Егорыч,— и, смотря, что̀ он вам скажет, можно будет отнестись и к другим лицам.

— Хоть князю, по крайней мере, напишите,— произнес покорным голосом Крапчик,— и главная моя просьба в том, чтобы вы, не откладывая времени, теперь же это сделали; а то при ваших хлопотах и тревогах, пожалуй, вы забудете.

— Могу и теперь! — воскликнул Егор Егорыч и, проворно вынув из портфеля лист почтовой бумаги, на верху которого поставил первоначально маленький крестик, написал князю письмо, каковое швырнул Крапчику, и проговорил:

— Я тут прошу князя, чтобы он верил вам, как мне бы поверил.

— Конечно, так же бы, как и вам!.. Слава богу, мы до сих пор еще не различествовали в наших мнениях,— говорил Крапчик, кладя письмо бережно к себе в карман, и затем распростился с хозяином масонским поцелуем, пожелав как можно скорее опять увидаться.

Егор Егорыч, оставшись один, хотел было (к чему он всегда прибегал в трудные минуты своей жизни) заняться *умным деланием,* и когда ради сего спустил на окнах шторы, запер входную дверь, сжал для полного безмолвия свои уста и, постаравшись сколь возможно спокойнее усесться на своем кресле, стал дышать не грудью, а носом, то через весьма короткое время начинал уже чувствовать, что силы духа его сосредоточиваются в области сердца, или — точнее — в солнечном узле брюшных нервов, то есть под ложечкой; однако из такого созерцательного состояния Егор Егорыч был скоро выведен стуком, раздавшимся в его дверь. Он поспешил ее отпереть, и перед ним появился почтальон, подавший ему письмо, взглянув на которое Егор Егорыч был поражен, потому что письмо оказалось адресованным рукою племянника, а штемпель обозначал, что оно послано было из Орла. Племянник писал Егору Егорычу, что он, решившись сно-

ва поступить в военную службу, поехал на Кавказ, но в Орле так сильно заболел, что должен был приостановиться.

Далее, Ченцов единственное небольшое именьице свое, оставшееся у него непромотанным, умолял дядю продать или взять за себя, но только выслать ему — и выслать как можно скорее — денег, потому что он, выздоровев, все-таки предполагал непременно уехать на Кавказ, где деньги ему будут нужны на экипировку. Егор Егорыч ничего не мог разобрать: Людмила, Москва, любовь Людмилы к Ченцову, Орел, Кавказ — все это перемешалось в его уме, и прежде всего ему представился вопрос, правда или нет то, что́ говорил ему Крапчик, и он хоть кричал на того и сердился, но в то же время в глубине души его шевелилось, что это не совсем невозможно, ибо Егору Егорычу самому пришло в голову нечто подобное, когда он услыхал от Антипа Ильича об отъезде Рыжовых и племянника из губернского города; но все-таки, как истый оптимист, будучи более склонен воображать людей в лучшем свете, чем они были на самом деле, Егор Егорыч поспешил отклонить от себя эту злую мысль и почти вслух пробормотал: «Конечно, неправда, и доказательство тому, что, если бы существовало что-нибудь между Ченцовым и Людмилой, он не ускакал бы на Кавказ, а оставался бы около нее». Кроме того, и самое письмо Валерьяна затронуло в Егоре Егорыче все еще тлевшуюся к племяннику родственную любовь, тем более, что Ченцов снова повторил очень неприятную для дяди фразу, что пропасть, в которую суждено ему рухнуть, кажется, недалеко перед ним зияет. Чтобы не дать в себе застынуть своему доброму движению, Егор Егорыч немедленно позвал хозяина гостиницы и поручил ему отправить по почте две тысячи рублей к племяннику с коротеньким письмецом, в котором он уведомлял Валерьяна, что имение его оставляет за собой и будет высылать ему деньги по мере надобности. Совершив все сие, Егор Егорыч опять начал восклицать вслух: «Куда же мне беречь и для чего? Разве не Валерьяну же все достанется?..» Но тут у него промелькнула и другая мысль: «Надобно оставить какое-нибудь прочное обеспечение и Людмиле!..» А потом он вспомнил и об адмиральше и двух ее других дочерях. Нехорошо же, казалось Егору Егорычу, обойти их совсем. «Всем дам!..

Между всеми разделю!..» — решил он и вознамерился обо всем этом обстоятельно переговорить с Рыжовыми при свидании с ними в Москве.

Поутру Егор Егорыч, проснувшись после довольно сносно проведенной ночи, умылся, оделся, помолился и, когда ему донесли, что на пошевни его поставлена кибитка и что даже приведены и заложены почтовые лошади, он — это было часов около десяти — отправился, одетый совсем по-дорожному, в дом Рыжовых, где застал сцену, умилившую его до глубины души. В момент приезда его, там приходский священник с причтом служил напутственный молебен. Впереди прочих стояли: Сусанна в ваточном платье, с лицом серьезным, и Муза, с лицом еще более, чем у сестры, нахмуренным; а за ними вся комнатная прислуга: две — три хорошенькие горничные, оборванный лакей, оборванный тоже повар, вдобавок еще небритый и распространявший от себя довольно сильный запах жареного луку. Священник довольно торопливо и переболтавшимся языком читал евангелие и произносил слова: «откуда мне сие, да приидет мати господа моего ко мне!» Увидав Марфина, он стал читать несколько медленнее, и даже дьячок, раздувавший перед тем с раскрасневшимся лицом кадило, оставил занятие и по окончании евангелия затянул вместе с священником: «Заступница усердная, мати господа вышняго...» Молебен собственно служили иконе казанской божией матери, считавшейся в роду Рыжовых чудотворною и стоявшей в настоящем случае с почетом в углу залы на столике, покрытом белою скатертью. Сусанна и Муза молились усердно, первая даже с преклонением колен, но Муза стоя: ее заметно беспокоил резкий и фальшивый бас священника. Старушка-монахиня спряталась в углу за одну из половинок отворенных из коридора дверей; что она там делала — неизвестно, и слышался только шепот ее; горничные заметно старались делать истовые кресты и иметь печальные лица; повар употреблял над собой усилие, чтобы не икнуть на всю комнату. Егор Егорыч, став около фортепьяно, невольно начал глядеть на Сусанну, и часто повторяемые священником слова: «мати господа моего», «мати господа вышняго», совершенно против воли его вызвали в нем воспоминание об одной из множества виденных им за границей мадонн, на которую показалась ему чрезвы-

чайно похожею Сусанна,— до того лицо ее было чисто и духовно.

Молебен вскоре пришел к окончанию, и все подошли к кресту. Священник всех окропил слегка святой водой, после чего совлек с себя ризы и ушел вместе с причтом. Началось прощание; первые поцеловались обе сестры; Муза, сама не пожелавшая, как мы знаем, ехать с сестрой к матери, не выдержала, наконец, и заплакала; но что́ я говорю: заплакала! — она зарыдала на всю залу, так что две горничные кинулись поддержать ее; заплакала также и Сусанна, заплакали и горничные; даже повар прослезился и, подойдя к барышням, поцеловал руку не у отъезжающей Сусанны, а у Музы; старушка-монахиня неожиданно вдруг отмахнула скрывавшую ее дверь и начала всех благословлять обеими руками, как — видала она — делает это архиерей. Егор Егорыч, стоявший по-прежнему у фортепьяно в несколько рисующейся позе и тоже с давно текущими по щекам слезами, торопливо подошел к Сусанне и, не допустив, чтобы она еще более не расстроилась, проститься с полусумасшедшей теткой, повел ее в переднюю, надел на нее салоп, капор и, посадив в повозку, вскочил вслед за тем и сам туда. Почтовый извозчик, озлобленный с виду парень, проговорив: «Эх, вы, одры!» — сразу же начал загнанных почтовых лошадей лупить кнутом по бокам, так что те не выдержали наконец — отступились от дурака и заскакали.

Прислуга в доме стала расходиться, но Муза, сев за фортепьяно, все еще продолжала некоторое время потихоньку плакать: чувство дочери и сестры в ней пересилило на этот раз артистку. Впрочем, убедившись, наконец, что не воротить того, что совершилось, она принялась играть. Звуки громкие и даже правильно сочетованные полились из-под ее маленьких пальчиков. Старый и пространный дом, как бы желая способствовать ее вдохновению, вторил во всех углах своих тому, что она играла, а играла Муза на тему терзающей ее печали, и сумей она записать играемое ею, из этого, может быть, вышло бы нечто весьма замечательное, потому что тут работали заодно сила впечатления и художественный импульс.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

В весьма грязном и безлюдном московском переулке на Гороховом Поле существовал в тридцатых годах небольшой одноэтажный деревянный домишко, на воротном столбе которого значилось: «Дом вдовы подполковницы Миропы Митревны Зудченки». Под этой дощечкой почти постоянно виднелась записка: «отдаетца квартера о трех комнатах». Но последнее время записка эта исчезла по той причине, что вышесказанные три комнаты наняла приехавшая в Москву с дочерью адмиральша, видимо, выбиравшая уединенный переулок для своего местопребывания и желавшая непременно нанять квартиру у одинокой женщины и пожилой, за каковую она и приняла владетельницу дома; но Миропа Дмитриевна Зудченко вовсе не считала себя пожилою дамою и всем своим знакомым доказывала, что у женщины никогда не надобно спрашивать, сколько ей лет, а должно смотреть, какою она кажется на вид; на вид же Миропа Дмитриевна, по ее мнению, казалась никак не старее тридцати пяти лет, потому что если у нее и появлялись седые волосы, то она немедля их выщипывала; три — четыре выпавшие зуба были заменены вставленными; цвет ее лица постоянно освежался разными притираньями; при этом Миропа Дмитриевна была стройна; глаза имела хоть и небольшие, но черненькие и светящиеся, нос тонкий; рот, правда, довольно широкий, провалистый, но не без приятности; словом, всей своей физиономией она напоминала несколько мышь, способную всюду





пробежать и все вынюхать, что подтверждалось даже прозвищем, которым называли Миропу Дмитриевну соседние лавочники: *дама обделистая.*

Жила Миропа Дмитриевна в своем маленьком домике очень открыто: молодые офицеры учебного карабинерного полка, расположенного неподалеку в Красных казармах, были все ей знакомы, очень часто приходили к ней на целый вечер, и она их обильно угощала чаем, Жуковым табаком, ради которого Миропа Дмитриевна сохранила все трубки покойного мужа, а иногда и водочкой, сопровождаемой селедкою и сосисками под капустой.

Беседуя с молодыми людьми, Миропа Дмитриевна заметно старалась им нравиться и, между прочим, постоянно высказывала такого рода правило, чтобы богатые девушки или вдовы с состоянием непременно выходили за бедных молодых людей, какое ее мнение было очень на руку офицерам карабинерного полка, так как все почти они не были наделены благами фортуны; с другой стороны, Миропа Дмитриевна полагала, что и богатые молодые люди должны жениться на бедных невестах. Сверх того, она утверждала, что люди деловые, рассудительные пускай женятся на каких им угодно неземных существах, но что людям с душой доброй, благородной следует выбирать себе подругу жизни, которая умела бы хозяйничать и везде во всем распорядиться.

Единственным оппонентом этой теории Миропы Дмитриевны являлся постоянно здоровеннейший и холостой еще капитан Аггей Никитич Зверев, который утверждал, что для счастия брака нужны только любовь и хорошенькая жена. Надобно сказать, что капитан Зверев по окончании польской кампании стоял некоторое время в царстве польском, где и приобык спорить с паннами и панночками. В силу чего он обыкновенно осыпал Миропу Дмитриевну множеством примеров тому, как через золото слезы льются в браках, между тем с красивой женой и в бедности часто устраивается счастие.

— Ах, ко всякой красоте мужчины приглядываются!..— восклицала с одушевлением Миропа Дмитриевна и объясняла далее, что это ей известно из собственного опыта, ибо покойный муж ее, несмотря на то, что она была молоденькая и хорошенькая, спустя год после свадьбы стал к ней заметно холоден.

Возражение это нисколько не сбивало капитана: он продолжал упорно стоять на своем и вообще по многим вопросам расходился в своих мнениях с Миропою Дмитриевною, причем в ней, сколько ни субтильна была ее фигура, всегда проглядывали некоторая практичность и материальность, а у здоровеннейшего капитана, напротив, поэзия и чувство.

Споря таким образом с капитаном, Миропа Дмитриевна, впрочем, заметно предпочитала его другим офицерам и даже ему самому в глаза говорила, что он душа общества. Капитан при этом самодовольно обдергивал свой вицмундир, всегда у него застегнутый на все пуговицы, всегда с выпущенною из-за борта, как бы аксельбант, толстою золотою часовою цепочкою, и просиживал у Зудченки до глубокой ночи, лупя затем от нее в Красные казармы пехтурой и не только не боясь, но даже желая, чтобы на него напали какие-нибудь жулики, с которыми капитан надеялся самолично распорядиться, не прибегая ни к чьей посторонней помощи: силищи Зверев был действительно неимоверной. Другие молодые офицеры, знавшие об его поздних засиживаниях у вдовушки, смеялись ему:

— У тебя, Зверев, с этой щелкушкой Миропой, должно быть, *того?*

— О, черт бы ее драл!..— отшучивался он.— У меня, батеньки, может быть *того* только с хорошенькими женщинами, а мы таких видали в царстве польском между панночками.

Когда новые постояльцы поселились у Миропы Дмитриевны, она в ближайшее воскресенье не преминула зайти к ним с визитом в костюме весьма франтоватом: волосы на ее висках были, сколько только возможно, опущены низко; бархатная черная шляпка с длинными и высоко приподнятыми полями и с тульей несколько набекрень принадлежала к самым модным, называемым тогда шляпками Изабеллины; платье мериносовое, голубого цвета, имело надутые, как пузыри, рукава; стан Миропы Дмитриевны перетягивал шелковый кушак с серебряной пряжкой напереди, и, сверх того, от всей особы ее веяло благоуханием мусатовской помады и духов амбре.

Миропа Дмитриевна непременно ожидала, что Рыжовы примут ее приветливо и даже с уважением, но, к

удивлению своему, она совершенно этого не встретила, и началось с того, что к ней вышла одна только старуха-адмиральша с лицом каким-то строгим и печальным и объявила, что у нее больна дочь и что поэтому они ни с кем из знакомых своих видаться не будут. Миропа Дмитриевна, прямо принявшая эти слова на свой счет, очень недолго посидела и ушла, дав себе слово больше не заходить к своим постояльцам и за их грубый прием требовать с них квартирные деньги вперед; но демон любопытства, терзавший Миропу Дмитриевну более, чем кого-либо, не дал ей покою, и она строго приказала двум своим крепостным рабам, горничной Агаше и кухарке Семеновне, разузнать, кто же будет готовить кушанье и прислуживать Рыжовым. Оказалось, что адмиральша ранним утром куда-то ездила и привезла подслеповатую старушонку, которая и предназначалась у них исполнять ту и другую должность.

«Вот тебе на! — подумала не без иронии Миропа Дмитриевна.— Каким же это образом адмиральша,— все-таки, вероятно, женщина обеспеченная пенсией и имеющая, может быть, свое поместье,— приехала в Москву без всякой своей прислуги?..» Обо всех этих недоумениях она передала капитану Звереву, пришедшему к ней вечером, и тот, не задумавшись, решил:

— Роман тут какой-нибудь!

— Роман? — воскликнула Миропа Дмитриевна с сильно засветлевшимися глазками.

— Конечно, роман! — повторил Аггей Никитич.— В Варшаве это почти каждодневно бывает.

— Но роман у дочери, я полагаю, а не у старухи,— заметила Миропа Дмитриевна.

— Вероятно! — подтвердил капитан.— И скажите, эта дочка хорошенькая?

— Очень!.. Очень!..— почти взвизгнула Миропа Дмитриевна.— Сначала я ее,— продолжала она,— и не рассмотрела хорошенько, когда отдавала им квартиру; но вчера поутру, так, будто гуляя по тротуару, я стала ходить мимо их окон, и вижу: в одной комнате сидит адмиральша, а в другой дочь, которая, вероятно, только что встала с постели и стоит недалеко от окна в одной еще рубашечке, совершенно распущенной,— и что это за красота у ней личико и турнюр весь — чудо что такое! Ну, вообразите вы себе сливки, в которые опущены листья розы!

Капитан при этом как бы даже заржал слегка.

— Это хорошо, должно быть! — произнес он.

— Удивительно, неописанно хорошо!..— подхватила Миропа Дмитриевна.— И я вот теперь припоминаю, что вы совершенно справедливо сказали, что тут какой-нибудь роман, потому что у дочери, тоже как и у матери, лицо очень печальное, точно она всю ночь плакала.

— Будешь плакать, как эта проклятая любовь заползет червячком в душу!..— проговорил с ударением капитан.

Миропа Дмитриевна совершенно справедливо говорила, что на лицах Людмилы и адмиральши проглядывала печаль. В тот именно день, как за ними подсматривала Зудченко, у них произошел такого рода разговор:

— Ты принимала ту микстуру, которую я тебе привезла? — спросила Юлия Матвеевна сухим тоном.

— Принимала,— отвечала дочь нехотя и с оттенком досады.

— И что же, лучше, поспокойнее себя чувствуешь?

— Нет!

— А покушать чего не хочешь ли?

— Нет!

Проговоря это, Людмила, видимо, терзаемая мучащей ее тоской, встала и ушла в свою комнату.

Старуха же адмиральша подняла свои глаза на висевший в углу дорожный образок казанской божией матери, как бы возлагая все свои надежды на владычицу.

Перед тем как Рыжовым уехать в Москву, между матерью и дочерью, этими двумя кроткими существами, разыгралась страшная драма, которую я даже не знаю, в состоянии ли буду с достаточною прозрачностью и силою передать: вскоре после сенаторского бала Юлия Матвеевна совершенно случайно и без всякого умысла, но тем не менее тихо, так что не скрипнула под ее ногой ни одна паркетинка, вошла в гостиную своего хаотического дома и увидала там, что Людмила была в объятиях Ченцова. Как бы сразу все прояснилось и объяснилось в недалеком уме старухи: и эта необыкновенная дружба дочери с Ченцовым, и разные, никогда прежде не замечаемые в Людмиле странности, и наконец прихварывание ее. Людмила первая заметила мать и, вскрикнув с ужасом: «мамаша!», убежала к себе наверх. Юлия Матвеевна, с лицом как бы мгновенно утратив-

шим свое простодушие и принявшим строгое выражение, обратилась к Ченцову, тоже окончательно смущенному, и сказала:

— Я надеюсь, что ваша нога больше не будет в моем доме?

Ченцов, ничего не ответив, а только неловко поклонившись, ушел из гостиной, а потом и совсем уехал из хаотического дома.

Адмиральша прошла наверх в комнату дочери. Людмила лежала в постели, уткнувшись лицом в подушки и плача.

— Мы с тобой завтра же едем в Москву! — проговорила решительно и твердо адмиральша.

— Зачем? — отозвалась глухо и сквозь слезы дочь.

— Я тебе после скажу!.. Поедешь?

Людмила некоторое время не отвечала. Старуха с прежним выражением в лице и в какой-то окаменелой позе стояла около кровати дочери и ожидала ответа ее. Наконец Людмила, не переставая плакать, отозвалась на вопрос матери:

— Хорошо, мамаша, я поеду с вами... Я знаю, что мне нужно уехать!..

Адмиральша сошла вниз в свою комнату и велела позвать Сусанну и Музу. Те пришли. Юлия Матвеевна объявила им, что она завтра уезжает с Людмилой в Москву, потому что той необходимо серьезно полечиться.

— А нас, мамаша, вы разве не возьмете? — спросила Сусанна с удивлением.

— Нет, у меня денег теперь мало, чтобы вас всех везти,— отвечала ей с твердостью адмиральша.

— Но что же такое с Людмилой? — не отставала Сусанна.

— Она за обедом еще ничего не говорила, что больна,— вмешалась в разговор и Муза.

— Ей вдруг сделалось дурно! — объяснила, нисколько не теряясь, адмиральша.— И вы, пожалуйста, не заходите к ней... Она, кажется, немножко заснула.

Обе сестры однако не послушались матери и, возвратясь наверх, заглянули в спальню Людмилы. Та лежала на постели неподвижно. Думая, что она, может быть, в самом деле заснула, Сусанна и Муза отошли от дверей.

— Отчего ж за доктором не пошлют? — сказала последняя.

— Не понимаю!.. Я, впрочем, пойду и скажу об этом матери,— проговорила Сусанна и немедля же пошла к адмиральше.

Она нашла ее уже стоявшею перед чемоданом, в который Юлия Матвеевна велела укладывать как можно больше белья Людмилы, а из нарядных ее платьев она приказала не брать ничего.

— Надобно, по крайней мере, послать за доктором, мамаша,— сказала ей Сусанна.

— Не нужно,— возразила ей резко адмиральша,— докторов менять нельзя: там в Москве будут лечить Людмилу другие доктора, а ты лучше съезди за тетей, скажи ей, чтобы она приехала к вам пожить без меня, и привези ее с собой.

Сусанна, ничего более не возразив матери, поехала в монастырь исполнить данное ей поручение. Муза же, встревоженная всей этой неприятной новостью, села за фортепьяно и начала наигрывать печальную арию.

Сусанна вскоре возвратилась с тетей-монахиней, с которой Юлия Матвеевна долго совещалась наедине, все что-то толкуя ей, на что монахиня кивала молча своей трясущейся головой.

На другой день Рыжовы уехали в Москву. Людмила, прощаясь с сестрами, была очень неразговорчива; адмиральша же отличалась совершенно несвойственною ей умною распорядительностью: еще ранним утром она отдала Сусанне пятьдесят рублей и поручила ей держать хозяйство по дому, сказав при этом, что когда у той выйдут эти деньги, то она вышлет ей еще. Свою поездку в Москву Юлия Матвеевна предпринимала, решившись продать довольно ценные брильянтовые вещи, которые она получила в подарок от обожаемого ею адмирала, когда он был еще ее женихом. Сокровище это Юлия Матвеевна думала сохранить до самой смерти, как бесценный залог любви благороднейшего из смертных; но вышло так, что залог этот приходилось продать. Сколь ни тяжело было таковое решение для нее, но она утешала себя мыслью, что умерший супруг ее, обретавшийся уж, конечно, в раю и все ведавший, что на земле происходит, не укорит ее, несчастную, зная, для чего и для какой цели продавался его подарок.

Едучи дорогой, Юлия Матвеевна не вскрикивала, когда повозка скашивалась набок, и не крестилась боязли-

во при съезде с высоких гор, что она прежде всегда делала; но, будучи устремлена мысленно на один предмет, сидела спокойно и расспрашивала издалека и тонко Людмилу обо всем, что касалось отношений той к Ченцову.

Людмила с серьезным и печальным выражением в глазах и не без борьбы с собой рассказала матери все.

— Но ты будешь и потом еще видаться с Ченцовым? — проговорила как бы спокойно Юлия Матвеевна.

— Как же я буду видаться с ним?.. Он остался в одном городе, а я буду жить в другом! — возразила Людмила.

— Он, вероятно, приедет за тобой в Москву! — заметила мать.

Людмила закинула несколько назад свою хорошенькую головку и как бы что-то такое обдумывала; лицо ее при этом делалось все более и более строгим.

— Нет, я не буду с ним видаться и в Москве и нигде во всю жизнь мою! — сказала она.

Адмиральша не совсем доверчиво посмотрела на дочь и уж станции через две после этого разговора начала будто бы так, случайно, рассуждать, что если бы Ченцов был хоть сколько-нибудь честный человек, то он никогда бы не позволил себе сделать того, что он сделал, потому что он женат.

— Он двоюродный племянник мне, а в таком близком родстве брак невозможен! — сказала она в заключение.

Людмила чуть ли не согласилась с матерью безусловно.

Но откуда и каким образом явилась такая резкая перемена в воззрениях, такая рассудительность и, главное, решительность в действиях матери и дочери? — спросит, пожалуй, читатель. Ответить мне легко: Юлия Матвеевна сделалась умна и предусмотрительна, потому что она была мать, и ей пришлось спасать готовую совсем погибнуть дочь... Что касается до Людмилы, то в душе она была чиста и невинна и пала даже не под влиянием минутного чувственного увлечения, а в силу раболепного благоговения перед своим соблазнителем; но, раз уличенная матерью, непогрешимою в этом отношении ничем, она мгновенно поняла весь стыд своего

проступка, и нравственное чувство девушки заговорило в ней со всей неотразимостью своей логики.

Как ожидала Юлия Матвеевна, так и случилось: Ченцов, узнав через весьма короткое время, что Рыжовы уехали в Москву, не медлил ни минуты и ускакал вслед за ними. В Москве он недель около двух разыскивал Рыжовых и, только уж как-то через почтамт добыв их адрес, явился к ним. Юлия Матвеевна, зорко и каждодневно поджидавшая его, вышла к нему и по-прежнему сурово объявила, что его не желают видеть.

Ченцов, измученный и истерзанный, взбесился.

— Вы не имеете права так бесчеловечно располагать счастием вашей дочери! — воскликнул он и пошел было в соседнюю комнату.

Адмиральша обмерла, тем более, что Людмила сама появилась навстречу ему в дверях этой комнаты.

Ченцов провопиял к ней:

— Людмила, прости меня!.. Я разведусь с женой и женюсь на тебе!

Людмила была с опущенными в землю глазами.

— Нет, вам нельзя жениться на мне!.. Я вам родня!.. Уезжайте!

Произнеся это, Людмила захлопнула за собой дверь.

Ченцов остался с поникшей головой, потом опустился на стоявшее недалеко кресло и, как малый ребенок, зарыдал. Адмиральша начинала уж смотреть на него с некоторым трепетом: видимо, что ей становилось жаль его. Но Ченцов не подметил этого, встал, глубоко вздохнул и ушел, проговорив:

— Людмила, я вижу, никогда меня не понимала: я любил ее, и любил больше всех в мире.

Точно гора с плеч свалилась у адмиральши. Дальше бы, чего доброго, у нее и характера недостало выдержать. Спустя немного после ухода Ченцова, Людмила вышла к адмиральше и, сев около нее, склонила на плечо старушки свою бедную голову; Юлия Матвеевна принялась целовать дочь в темя. Людмила потихоньку плакала.

— Не плакать, а радоваться надобно, что так случилось, — принялась Юлия Матвеевна успокаивать дочь. — Он говорит, что готов жениться на тебе... Какое счастье!.. Если бы он был совершенно свободный человек и посторонний, то я скорее умерла бы, чем позволила тебе выйти за него.

Людмила слушала мать все с более и более тоскливым выражением в лице.

— Мне Егор Егорыч говорил,— а ты знаешь, как он любил прежде Ченцова,— что Валерьян — погибший человек: он пьет очень... картежник безумный, и что ужасней всего,— ты, как девушка, конечно, не понимаешь этого,— он очень непостоянен к женщинам: у него в деревне и везде целый сераль.

При последних словах Юлия Матвеевна покраснела немного.

— Ну, мамаша, не браните его очень... мне это тяжело! — остановила ее Людмила.

И адмиральша умолкла, поняв, что она достаточно объяснила дочери все, что следует.

Ченцов между тем, сходя с лестницы, точно нарочно попал на глаза Миропы Дмитриевны, всходившей в это время на лестницу. Она исполнилась восторгом, увидав выходящего из квартиры Рыжовых мужчину.

— Вы были у адмиральши? — спросила она, почти загораживая дорогу Ченцову.

— Да,— ответил ей тот грубо.

— Я честь имею рекомендоваться: подполковница Зудченко и хозяйка здешнего дома! — объявила Миропа Дмитриевна.

Ченцов не понимал, к чему она это говорит.

— Вы, конечно, часто будете бывать у адмиральши?— допытывалась Миропа Дмитриевна.

— Нет-с, я скоро уезжаю из Москвы,— проговорил, едва владея собою, Ченцов и быстро сошел вниз, причем он даже придавил несколько Миропу Дмитриевну к перилам лестницы, но это для нее ничего не значило; она продолжала наблюдать, как Ченцов молодцевато сел на своего лихача и съехал с ее дворика.

Весь остальной день Миропа Дмитриевна испытывала нестерпимое желание рассказать о случившемся капитану Звереву, который почему-то давно не был у нее. Произошло его отсутствие оттого, что капитан, возбужденный рассказами Миропы Дмитриевны о красоте ее постоялки, дал себе слово непременно увидать m-lle Рыжову и во что бы то ни стало познакомиться с нею и с матерью ее, ради чего он, подобно Миропе Дмитриевне, стал предпринимать каждодневно экскурсии по переулку, в котором находился домик Зудченки, не заходя, впрочем,

к сей последней, из опасения, что она начнет подтрунивать над его увлечением, и в первое же воскресенье Аггей Никитич, совершенно неожиданно для него, увидал, что со двора Миропы Дмитриевны вышли: пожилая, весьма почтенной наружности, дама и молодая девушка, действительно красоты неописанной. Что это были Рыжовы, капитан не сомневался и в почтительном, конечно, отдалении последовал за ними. Рыжовы вошли в церковь ближайшего прихода. Капитан тоже вошел туда и все время службы не спускал глаз с молившейся усердно и даже со слезами Людмилы. Красота ее все более и более поражала капитана, так что он восприянял твердое намерение каждый праздник ходить в сказанную церковь, но дьявольски способствовавшее в этом случае ему счастье устроило нечто еще лучшее: в ближайшую среду, когда капитан на плацу перед Красными казармами производил ученье своей роте и, крикнув звучным голосом: «налево кругом!», сам повернулся в этом же направлении, то ему прямо бросились в глаза стоявшие у окружающей плац веревки мать и дочь Рыжовы. Капитан мгновенно скомандовал роте: «стой, вольно!» Ружья у солдат опустились, офицеры всунули свои сабли в ножны, послышались чиханье, сморканье и мелкие разговорцы. Капитан между тем быстро подошел к Рыжовым.

— Вы, может быть, приезжие, и вам угодно видеть наше учение?.. Пожалуйте сюда за веревку! — проговорил он самым вежливым голосом, поднимая своей могучей рукой перед головами дам веревку, чтобы удобнее было им пройти; но обе дамы очень сконфузились, и Юлия Матвеевна едва ответила ему:

— Merci, мы и здесь постоим.

— Но вас тут может обеспокоить простой народ! — подхватил капитан, хотя из простого народа в глазеющей и весьма малочисленной публике не было никого.— И вы, как я догадываюсь, изволите жить в доме моей хорошей приятельницы, madame Зудченки? — продолжал Аггей Никитич, ввернув французское словцо.

— Да,— произнесла протяжно адмиральша и взглянула на дочь.

В ответ на ее взгляд, Людмила сказала:

— Пойдемте, мамаша, я устала.

— Пойдем! — согласилась адмиральша, и они пошли по направлению к своей квартире.

— Питаю надежду, что вы позволите мне явиться к вам! — крикнул им вслед капитан.

Адмиральша на это что-то такое неясно ему ответила, но, как бы то ни было, Аггей Никитич остался бесконечно доволен таким событием и в тот же вечер отправился к Миропе Дмитриевне с целью быть поближе к Людмиле и хоть бы подышать с нею одним воздухом.

Миропа Дмитриевна встретила его с радостным восторгом.

— Я все разузнала, все!..— объявила она, как только он вошел.

— Что? — спросил капитан с некоторым неудовольствием.

— Он был у нее!

— Кто? — повторил тем же тоном капитан.

— Фамилии его я не знаю; но это, я вам скажу, такой мужчина, что я молодцеватее и красивее его не встречала.

Капитан передернул немного плечами. Ему несколько странно было слышать, что Миропа Дмитриевна, по ее словам, никого молодцеватее какого-то там господина не встречала, тогда как она видала и даже теперь видела перед собою Аггея Никитича.

— Сколько же раз этот барин был у Рыжовых? — полюбопытствовал он.

— Всего один раз, и когда я его спросила, что он, вероятно, часто будет бывать у своих знакомых, так он сказал: «Нет, я скоро уезжаю из Москвы!», и как я полагаю, что тут точно что роман, но роман, должно быть, несчастный.

«О, если это несчастный роман,— подумал с просиявшим лицом капитан,— то он готов покрыть все, что бы там ни было, своим браком с этой прелестной девушкой».

II

Подъезжая к Москве, Егор Егорыч стал рассуждать, как ему поступить: завезти ли только Сусанну к матери, или вместе с ней и самому зайти? То и другое как-то стало казаться ему неловким, так что он посоветовался с Сусанной.

— Ах, непременно зайдите со мною! — сказала та, чувствуя если не страх, то нечто вроде этого при мысли, что она без позволения от адмиральши поехала к ней в

Москву; но Егор Егорыч, конечно, лучше ее растолкует Юлии Матвеевне, почему это и как случилось.

Когда они подъехали к дому Зудченки, первая их увидала сидевшая у окна Людмила и почти закричала на всю комнату:

— Мамаша, мамаша, Егор Егорыч и Сусанна к нам приехали!.. Спасите меня!.. И не показывайте Егору Егорычу!.. Мне стыдно и страшно его видеть!..— и затем, убежав в свою комнату, она захлопнула за собою дверь и, по обыкновению, бросилась в постель и уткнула свое личико в подушку.

Юлия Матвеевна тоже совершенно растерялась; накопленное ею присутствие духа начало оставлять ее, тем более, что приезд Егора Егорыча и дочери случился так неожиданно для нее; но бог, как она потом рассказывала, все устроил. Прежде Марфина к ней вошла, и вошла довольно робко, Сусанна.

— Ты это как к нам приехала? — проговорила Юлия Матвеевна, с одной стороны невольно обрадованная приездом дочери.

— Меня привез Егор Егорыч!..— поспешила та ответить, целуя и обнимая мать.

Марфин, с умыслом, кажется, позамедливший несколько в маленькой прихожей, наконец, предстал перед Юлией Матвеевной.

— Я счел нужным,— забормотал он,— привезти к вам Сусанну Николаевну, потому что она очень и очень об вас скучала.

— Это я предчувствовала! — ответила адмиральша, отводя своих гостей подальше от комнаты Людмилы и усаживая их.

— Что Людмила? — спросила Сусанна.

Егор Егорыч понурил при этом голову.

— Она была очень больна... теперь ей несколько лучше; но к ней никак нельзя входить... такая нечаянная встреча может ее чрезвычайно расстроить...— толковала Юлия Матвеевна, чувствовавшая, что твердость духа опять возвращается к ней.

— Мы к ней и не пойдем! — подхватила Сусанна, очень довольная пока и тем, что видит мать.

Егор Егорыч продолжал держать голову потупленною. Он решительно не мог сообразить вдруг, что ему делать. Расспрашивать?.. Но о чем?.. Юлия Матвеевна все уж

сказала!.. Уехать и уехать, не видав Людмилы?.. Но тогда зачем же он в Москву приезжал? К счастью, адмиральша принялась хлопотать об чае, а потому то уходила в свою кухоньку, то возвращалась оттуда и таким образом дала возможность Егору Егорычу собраться с мыслями; когда же она наконец уселась, он ей прежде всего объяснил:

— Музу мы оставили совершенно здоровою и покойною.

— Благодарю вас, благодарю! — поблагодарила Юлия Матвеевна.

— Потом (это уж Егор Егорыч начал говорить настойчиво)... вам здесь, вероятно, трудно будет жить с двумя дочерьми!.. Вот, пожалуйста, возьмите!

Говоря это, Егор Егорыч выложил целую кучу денег перед адмиральшей.

— Нет, нет! — возразила та, вспыхнув.

— Не нет, а да!..— почти прикрикнул на нее Егор Егорыч.

— Клянусь, что я не нуждаюсь, и вот вам доказательство! — продолжала адмиральша, выдвигая ящик, в котором действительно лежала довольно значительная сумма денег: она еще с неделю тому назад успела продать свои брильянты.

Егор Егорыч после того схватил свои деньги и сунул их опять в карман: ему словно бы досадно было, что Юлия Матвеевна не нуждалась.

— Теперь вам, конечно, не до меня! — бормотал он.— Но когда же я могу приехать к вам, чтобы не беспокоить ни вас, ни Людмилу?

Этот вопрос поставил Юлию Матвеевну в чрезвычайно затруднительное положение.

— Видите...— начала она что-то такое плести.— Людмиле делают ванны, но тогда только, когда приказывает доктор, а ездит он очень неаккуратно,— иногда через день, через два и через три дня, и если вы приедете, а Людмиле будет назначена ванна, то в этакой маленькой квартирке... понимаете?..

— Понимаю!..— перебил ее Марфин, уже догадавшийся, что адмиральша и Людмила стесняются его присутствием, и прежнее подозрение касательно сей последней снова воскресло в нем и облило всю его душу ядом.

Он стал торопливо и молча раскланиваться.

— Я вам напишу, непременно напишу... Где вы остановитесь? — говорила ему адмиральша.

— У Шевалдышева, как и всегда, у Шевалдышева! — повторил своей скороговоркой Егор Егорыч.

По отъезде его для Юлии Матвеевны снова наступило довольно затруднительное объяснение с Сусанной.

— Но чем особенно больна теперь Людмила? — начала та допытываться, как только осталась вдвоем с матерью.

— Ах, у нее очень сложная болезнь! — вывертывалась Юлия Матвеевна, и она уж, конечно, во всю жизнь свою не наговорила столько неправды, сколько навыдумала и нахитрила последнее время, и неизвестно, долго ли бы еще у нее достало силы притворничать перед Сусанной, но в это время послышался голос Людмилы, которым она громко выговорила:

— Мамаша, позовите ко мне Сусанну!

Адмиральша, кажется, не очень охотно и не без опасения ввела ту к Людмиле, которая все еще лежала на постели и указала сестре на стул около себя. Сусанна села.

— А вы, мамаша, уйдите! — проговорила Людмила матери.

Старушка удалилась. Людмила ласково протянула руку Сусанне. Та долее не выдержала и, кинувшись сестре на грудь, начала ее целовать: ясное предчувствие ей говорило, что Людмила была несчастлива, и очень несчастлива!

— Что такое с тобой, Людмила? — произнесла она.— Я прошу, наконец умоляю тебя не секретничать от меня!

— Я не буду секретничать и все тебе скажу,— отвечала Людмила.

Тогда Сусанна снова села на стул. Выражение лица ее хоть и было взволнованное, но не растерянное: видимо, она приготовилась выслушать много нехорошего. Людмила, в свою очередь, тоже поднялась на своей постели.

— Я не больна, ничем не больна, но я ношу под сердцем ребенка,— тихо объяснила она.

Сусанна все ожидала услышать, только не это.

— Я любила... или нет, это неправда, я и до сих пор еще люблю Ченцова!.. Он божество какое-то для меня! — добавила Людмила.

Несмотря на совершеннейшую чистоту своих помыслов, Сусанна тем не менее поняла хорошо, что сказала ей сестра, и даже чуткой своей совестью на мгновение подума-

ла, что и с нею то же самое могло быть, если бы она кого-либо из мужчин так сильно полюбила.

— Но я полагала, что ты любишь Егора Егорыча,— почти прошептала она.

— Нет, Марфина я никогда не любила!.. Он превосходнейший человек, и ты вот гораздо достойнее меня полюбить его.

Сусанна почему-то покраснела при этом.

— А Ченцов теперь здесь, в Москве? — спросила она робко после некоторого молчания.

— Не знаю,— отвечала Людмила,— он приезжал тут; но я ему сказала, что не могу больше видаться с ним.

— Как же ты это сказала, когда еще любишь его? — заметила по-прежнему тихо Сусанна.

— Я люблю его и вместе ненавижу... Но постой, мне очень тяжело и тошно!.. Не расспрашивай меня больше!..— проговорила Людмила и склонилась на подушку.

Сусанна пересела к ней на постель и, взяв сестру за руки, начала их гладить. Средству этому научил ее Егор Егорыч, как-то давно еще рассказывавший при ней, что когда кто впадает в великое горе, то всего лучше, если его руки возьмут чьи-нибудь другие дружеские руки и начнут их согревать. Рекомендуемый им способ удался Сусанне. Людмила заметно успокоилась и сказала сестре:

— Теперь пойди, поразговори мамашу, а то я ее, бедную, измучила.

Сусанна тотчас же исполнила желание Людмилы и перешла к адмиральше, которую сильно волновала неизвестность, о чем сестры разговаривали.

— Тебе Людмила рассказала?..— спросила она трепетным голосом.

— Рассказала, и мы вас просим об одном — не тревожиться и беречь себя!

— Что уж мне беречь себя! — полувоскликнула старушка.— Вы бы только были счастливы, вот о чем ежеминутно молитва моя! И меня теперь то больше всего тревожит,— продолжала она глубокомысленным тоном,— что Людмила решительно не желает, чтобы Егор Егорыч бывал у нас; а как мне это сделать?..

— Егора Егорыча нельзя нам не принимать! — сказала с твердостью Сусанна.

— Знаю и понимаю это! — подхватила адмиральша, обрадованная, что Сусанна согласно с нею смотрит.— Ты

вообрази одно: он давно был благодетелем всей нашей семьи и будет еще потом, когда я умру, а то на кого я вас оставлю?.. Кроме его — не на кого!

— Не на кого! — подтвердила и Сусанна: в сущности, она из всей семьи была более других рассудительна и, главное, наделена твердым характером.

— Не внушишь ли ты как-нибудь Людмиле, а я не берусь,— сказала, разводя, по обыкновению, руками, адмиральша: увидав себе опору в Сусанне, она начала немножко прятаться за нее. Свою собственную решительность она слишком долго напрягала, и она у нее заметно начала таять.

— Я поговорю с сестрою! — успокоила Сусанна мать, и на другой же день, когда Людмила немножко повеселела, Сусанна, опять-таки оставшись с ней наедине, сказала:

— Мамашу теперь беспокоит, что ты не хочешь встречаться с Егором Егорычем.

— Да, мне стыдно его... Он должен презирать меня!— проговорила Людмила.

На высоком лбу Сусанны пробежали две морщинки, совершенно еще несвойственные ее возрасту.

— Егор Егорыч не только что тебя,— возразила она,— но и никого в мире, я думаю, не может презирать!.. Он такой добрый христианин, что...

И Сусанна не докончила своей мысли.

Дело в том, что Егор Егорыч дорогой, когда она ехала с ним в Москву, очень много рассуждал о разных евангелических догматах, и по преимуществу о незлобии, терпении, смиренномудрии и любви ко всем, даже врагам своим; Сусанна хоть и молча, но внимала ему всей душой.

— Мамаша очень желает написать ему, чтобы он приехал к нам, а то он, боясь тебя беспокоить, вероятно, совсем не будет у нас бывать,— докончила она.

— Хорошо, пускай напишет,— ответила Людмила.

— И тебя это не расстроит сильно, когда он приедет?

— Нет, не думаю.

Сусанна, опять-таки не скоро и поговорив еще раз с Людмилой на предыдущую тему, объявила наконец матери:

— Людмила сказала мне, что ей ничего, если Егор Егорыч будет у нас... Вы ему напишите.

— Душечка, ангел мой!— воскликнула адмиральша.—

Напиши ему от меня... Ты видишь, как дрожат у меня руки.

У адмиральши действительно от всего перечувствованного ею руки ходенем ходили, и даже голова, по семейному сходству с монахиней, начинала немного трястись.

Сусанна с удовольствием исполнила просьбу матери и очень грамотным русским языком, что в то время было довольно редко между русскими барышнями, написала Егору Егорычу, от имени, конечно, адмиральши, чтобы он завтра приехал к ним: не руководствовал ли Сусанною в ее хлопотах, чтобы Егор Егорыч стал бывать у них, кроме рассудительности и любви к своей семье, некий другой инстинкт — я не берусь решать, как, вероятно, не решила бы этого и она сама.

Егор Егорыч, все время сидевший один в своем нумере и вряд ли не исключительно подвизавшийся в *умном делании* и только тем сохранявший в себе некоторый внутренний порядок, не замедлил явиться к Рыжовым. Всю семью их он застал собранными вкупе. Адмиральша встретила его с радостной улыбкой, Людмила старалась держать себя смело и покойно, а Сусанна, при его появлении, немного потупилась. Егор Егорыч, подходя по обычаю к руке дам, прежде всего окинул коротким, но пристальным взглядом Людмилу, и в ней многое показалось ему подозрительным в смысле ее положения. Когда подан был затем кофе, Егор Егорыч, будто бы так себе, к слову, начал говорить о разного рода ложных стыдах и страхах, которые иногда овладевают людьми, и что подобного страха не следует быть ни у кого, потому что каждый должен бояться одного только бога, который милосерд и прощает человеку многое, кроме отчаяния.

Такого рода беседование его было прервано появлением в довольно низких комнатах квартирки Рыжовых громадного капитана Аггея Никитича, который, насколько только позволял ему его рост и все-таки отчасти солдатская выправка, ловко расшаркался перед дамами и проговорил, прямо обращаясь к Юлии Матвеевне:

— Я воспользовался вашим позволением быть у вас: капитан учебного карабинерного полка Зверев!

— Ах, мы рады вам...— говорила адмиральша, будучи в сущности весьма удивлена появлением громадного капитана, так как, при недавней с ним встрече, она вовсе не приглашала его,— напротив, конечно, не совсем, может

быть, ясно сказала ему: «Извините, мы живем совершенно уединенно!» — но как бы ни было, капитан уселся и сейчас же повел разговор.

— У нас, наконец, весна!.. Настоящая, прекрасная весна!.. На нашем плацу перед казармами совершенно уже сухо; в саду Лефортовском прилетели грачи, жаворонки, с красными шейками дятлы; все это чирикает и щебечет до невероятности. В воздухе тоже чувствуется что-то животворное!..

— Воздух, мне кажется, не совсем здоров,— заметила ему адмиральша, считавшая все свои недуги происходящими от воздуха, а не от множества горей, которыми последнее время награждала ее судьба.

— О, нет!..— не согласился капитан.— Весенний воздух и молодость живят все!

Марфин слушал капитана с нахмуренным лицом. Он вообще офицеров последнего времени недолюбливал, считая их шагистиками и больше ничего, а то, что говорил Аггей Никитич, на первых порах показалось Егору Егорычу пошлым, а потому вряд ли даже не с целью прервать его разглагольствование он обратился к барышням:

— Вы не желаете ли ехать со мной к обедне... недалеко тут... на Чистые Пруды... в церковь архангела Гавриила?.. Там поют почтамтские певчие...

— Людмиле, я думаю, нельзя!.. Она слишком устает стоять в церкви!..— поспешила ответить за ту адмиральша, предчувствовавшая, что такая поездка будет очень неприятна Людмиле.

— Да я и не поеду,— сказала та с своей стороны.

— А вы? — спросил уже одну Сусанну Егор Егорыч.

— Я...— начала было Сусанна и взглянула на мать.

— Она вот поедет с вами с удовольствием! — подхватила адмиральша.

Егор Егорыч еще раз спросил взглядом Сусанну.

— Поеду,— объявила она ему.

Капитан тем временем всматривался в обеих молодых девушек. Конечно, ему и Сусанна показалась хорошенькою, но все-таки хуже Людмилы: у нее были губы как-то суховаты, тогда как у Людмилы они являлись сочными, розовыми, как бы созданными для поцелуев. Услыхав, впрочем, что Егор Егорыч упомянул о церкви архангела сказал Людмиле:

— Вы напрасно не едете!.. Церковь эта очень известная в Москве; ее строил еще Меншиков, и она до сих пор

называется башнею Меншикова... Потом она сгорела от грома, стояла запустелою, пока не подцепили ее эти, знаете, масоны, которые сделали из нее какой-то костел.

Егор Егорыч еще более нахмурился.

— Что же в этой церкви похожего на костел? — проговорил он мрачным тоном.

— Многое-с, очень многое!.. Я сам три года стоял в Польше и достаточно видал этих костелов; кроме того, мне все это говорил один почтамтский чиновник, и он утверждал, что почтамт у нас весь состоит из масонов и что эти господа, хоть и очень умные, но проходимцы великие!..— лупил на всех парусах капитан.

Барышни и адмиральша обмирали, опасаясь, что новый знакомый их, пожалуй, выскажет что-нибудь еще более обидное для Егора Егорыча, а потому, чтобы помешать этому, Юлия Матвеевна нашлась сделать одно, что проговорила:

— Позвольте вас познакомить: это полковник Марфин, а вы?

— Капитан Зверев! — напомнил ей тот свою фамилию.

Юлия Матвеевна, потупляясь, сказала Марфину:

— Господин Зверев!..

Капитан после этой рекомендации поднялся на ноги и почтительно поклонился Егору Егорычу, который, хоть вежливо, но не приподнимаясь, тоже склонил голову.

— А какие эти господа масоны загадочные люди!..— не унимался капитан.— Я знаю это по одной истории об них!

Егор Егорыч отвернулся в сторону, явно желая показать, что он не слушает, но на разговорчивого капитана это нисколько не подействовало.

— История такого рода,— продолжал он,— что вот в том же царстве польском служил наш русский офицер, молодой, богатый, и влюбился он в одну панночку (слово *панночка* капитан умел как-то произносить в одно и то же время насмешливо и с увлечением). Ну, там то и се идет между ними... только офицера этого отзывают в Петербург... Панночка в отчаянии и говорит ему: «Сними ты с себя портрет для меня, но пусти перед этим кровь и дай мне несколько капель ее; я их велю положить живописцу в краски, которыми будут рисовать, и тогда портрет выйдет совершенно живой, как ты!..» Офицер, конечно,— да и кто бы из нас не готов был сделать того, когда мы для

женщин жизнью жертвуем? — исполнил, что она желала... Портрет действительно вышел как живой... Офицер уехал в Петербург и там закружился в большом свете... Панночку свою забыл, не пишет ей... Только вдруг начинает чувствовать тоску ужасную — день, два, месяц, так что он рассказал об этом своему другу, тоже офицеру. Тот и говорит ему: «Сходи ты к одному магнетизеру, что ли, или там к колдуну и гадальщику какому-то, который тогда славился в Петербурге...» Офицер идет к этому магнетизеру... Тот сначала своими жестами усыпил его, и что потом было с офицером в этом сне,— он не помнит; но когда очнулся, магнетизер велел ему взять ванну и дал ему при этом восковую свечку, полотенчико и небольшое зеркальце... «Свечку эту, говорит, вы зажгите и садитесь с нею и с зеркальцем в ванну, а когда вы там почувствуете сильную тоску под ложечкой, то окунитесь... свечка при этом — не бойтесь — не погаснет, а потом, не выходя из ванны, протрите полотенчиком зеркальце и, светя себе свечкою, взгляните в него... Так сделайте четыре раза и потом мне скажите, что увидите!..» Офицер проделал в точности, что ему было предписано, и когда в первый раз взглянул в зеркальце, то ему представилась знакомая комната забытой им панночки (при этих словах у капитана появилась на губах грустная усмешка)... В другой, в третий раз он видит уже самое панночку, и видит, что она стоит с пистолетом в руке перед его портретом... Наконец, явственно слышит выстрел... Зеркальце сразу померкло... Однако офицер протер его, и ему представляется, что панночка лежит вся облитая кровью!.. Он так перепугался всей этой чертовщины, что, одевшись наскоро, прямо побежал к магнетизеру и рассказывает ему... Тот ему объяснил, что если бы офицер не обратился к нему, то теперь бы уж умер от тоски, но что этот выстрел, которым панночка прицеливалась было в его портрет, магнетизер направил в нее самое, и все это он мог сделать, потому что был масон.

Адмиральша и обе ее дочери невольно заинтересовались рассказом капитана, да и Егор Егорыч очутился в странном положении: рассказ этот он давно знал и почти верил в фактическую возможность его; но капитан рассказал это так невежественно, что Егор Егорыч не выдержал и решился разъяснить этот случай посерьезнее.

— Это, говорят, было! — забормотал он.— Жизнь лю-

дей, нравственно связанных между собою, похожа на концентрические круги, у которых один центр, и вот в известный момент два лица помещались в самом центре материального и психического сближения; потом они переходят каждый по своему отдельному радиусу в один, в другой концентрик: таким образом все удаляются друг от друга; но связь существенная у них, заметьте, не прервана: они могут еще сообщаться посредством радиусов и, взаимно действуя, даже умерщвлять один другого, и не выстрелом в портрет, а скорей глубоким помыслом, могущественным движением воли в желаемом направлении.

— Верно!.. Верно!..— воскликнул капитан первый.

А Людмиле тотчас же пришло в голову, что неужели же Ченцов может умереть, когда она сердито подумает об нем? О, в таком случае Людмила решилась никогда не сердиться на него в мыслях за его поступок с нею... Сусанна ничего не думала и только безусловно верила тому, что говорил Егор Егорыч; но адмиральша — это немножко даже и смешно — ни звука не поняла из слов Марфина, может быть, потому, что очень была утомлена физически и умственно.

Проговорив свое поучение и сказав наскоро Сусанне: «Я завтра за вами в десять часов утра заезжаю»,— Егор Егорыч вскочил с своего места и проворно ушел.

Юлия Матвеевна осталась совершенно убежденною, что Егор Егорыч рассердился на неприличные выражения капитана о масонах, и, чтобы не допустить еще раз повториться подобной сцене, она решилась намекнуть на это Звереву, и когда он, расспросив барышень все до малейших подробностей об Марфине, стал наконец раскланиваться, Юлия Матвеевна вышла за ним в переднюю и добрым голосом сказала ему:

— Вот, буде вы встретитесь у нас с этим моим родственником Марфиным, то не говорите, пожалуйста, о масонах.

— А разве он масон? — произнес, уже немного струсив, храбрый капитан: поступить против правил приличия в обществе он чрезвычайно боялся.

— Нет, но у него отец был и много родных масонами,— объяснила Юлия Матвеевна.

— А, благодарю вас, что вы меня предуведомили!..— поблагодарил ее искренно капитан и, выйдя от Рыжовых, почувствовал желание зайти к Миропе Дмитриевне, чтобы поговорить с ней по душе.

Он застал ее недовольною и исполненною недоумения касательно своих постояльцев.

— Вы были у Рыжовых? — спросила она, еще прежде видевши, что капитан вошел к ней на дворик и прошел, как безошибочно предположила Миропа Дмитриевна, к ее жильцам, чем тоже она была немало удивлена.

— Целое утро сидел у них,— отвечал самодовольно капитан.

— И что же, вы поняли тут что-нибудь? — продолжала язвительно Миропа Дмитриевна.

— Почти!..— проговорил капитан.

— Что именно? — допытывалась Миропа Дмитриевна.

— Это все семейство поэтическое! — решил капитан.

Миропе Дмитриевне, кажется, не совсем приятно было услышать это.

— В каком отношении? — вопросила она не без насмешки.

— Во всех отношениях, и кроме старшей, Людмилы, кажется, у адмиральши есть другая дочь,— прехорошенькая,— я и не воображал даже! — говорил с явным увлечением капитан.

Миропа Дмитриевна при этом не могла скрыть своей досады.

— Вам попадись только на глаза хорошенькая женщина, так вы ничего другого и не замечаете! — возразила она.— А я вам скажу, что эту другую хорошенькую сестру Людмилы привез к адмиральше новый еще мужчина, старик какой-то, но кто он такой...

— Он — полковник Марфин и масон! — перебил Миропу Дмитриевну капитан.

— А вы как это знаете? — воскликнула она, снова удивленная, что капитан знает об Рыжовых больше, чем она.

— Я сейчас беседовал и даже спорил с ним! — объяснил капитан. — Чудак он, должно быть, величайший; когда говорит, так наслажденье его слушать, сейчас видно, что философ и ученейший человек, а по манерам какой-то прыгунчик.

Аггея Никитича очень поразила поспешность, с какою Егор Егорыч встал и скрылся.

— И прыгунчик даже! — подхватила опять-таки с ядовитостью Миропа Дмитриевна.— Стало быть, мое подозрение справедливо...

— Подозрение? — остановил ее капитан.

— Да, подозрение, что этот старичок, должно быть, обожатель самой адмиральши.

Капитан сердито на нее взглянул.

— Она, как только он побывал у ней в первый раз, в тот же день заплатила мне за квартиру за три месяца вперед! — присовокупила Миропа Дмитриевна.

— Ну, старая песня! — полувоскликнул капитан, берясь за свою шляпу с черным султаном: ему невыносимо, наконец, было слышать, что Миропа Дмитриевна сводит все свои мнения на деньги.

— Если бы таких полковников у нас в военной службе было побольше, так нам, обер-офицерам, легче было бы служить! — внушил он Миропе Дмитриевне и ушел от нее, продолжая всю дорогу думать о семействе Рыжовых, в котором все его очаровывало: не говоря уже о Людмиле, а также и о Сусанне, но даже сама старушка-адмиральша очень ему понравилась, а еще более ее — полковник Марфин, с которым капитану чрезвычайно захотелось поближе познакомиться и высказаться перед ним.

Егор Егорыч тоже несколько мгновений помыслил о капитане, который, конечно, показался ему дубоватым солдафоном, но не без нравственных заложений.

III

Когда от Рыжовых оба гостя их уехали, Людмила ушла в свою комнату и до самого вечера оттуда не выходила: она сердилась на адмиральшу и даже на Сусанну за то, что они, зная ее положение, хотели, чтобы она вышла к Марфину; это казалось ей безжалостным с их стороны, тогда как она для долга и для них всем, кажется, не выключая даже Ченцова, пожертвовала. При этом у Людмилы мысли, исполненные отчаяния, начинали разрастаться в воображении до гигантских размеров: «Где Ченцов?.. Что он делает?.. Здоров ли?.. Не убил ли себя?.. Потом, что и с ней самой будет и что будет с ее бедным ребенком?» — спрашивала она себя мысленно, и дыхание у нее захватывалось, горло истерически сжималось; наконец все эти мучения разрешились тем, что Людмила принялась рыдать. Мать и Сусанна сначала из соседней комнаты боязливо прислушивались к ее плачу; наконец Сусанна не выдержала и вошла к ней.

— Ну, полно, Людмила, успокойся, не плачь!..— говорила она, садясь на постель около сестры и обнимая ее.

— Я непременно буду плакать, если вы будете Марфина принимать!.. Мне нелегко его видеть, вы должны это понимать! — отвечала почти детски-капризным голосом Людмила.

— Мы не будем его принимать, если ты не хочешь этого! — успокоивала ее Сусанна.

— Как же не будете, когда он в воскресенье приедет за тобой! — заметила с недоброй усмешкой Людмила.

— Ему можно написать, чтобы он не приезжал! — успокоила Сусанна и в этом отношении сестру.

Та некоторое время размышляла.

— Нет, в воскресенье он пускай приедет!.. Только я никак уж не выйду при нем!..— проговорила она.

— Ты и не выходи!.. Никакой надобности тебе нет в том!..— подтвердила Сусанна.

Людмила ответила на это только глубоким взглядом.

Адмиральша весь этот разговор дочерей слышала от слова до слова, и он ее огорчил и испугал.

— Людмила опять не хочет, чтобы Егор Егорыч бывал у нас? — спросила она тревожным голосом Сусанну, когда та вышла от сестры.

— Но это, мамаша, я вижу теперь, что и невозможно; Людмилу это так расстраивает, что она может сделаться серьезно больна! — проговорила Сусанна.

— Может, очень может! — согласилась с ней и старушка.— Но как же тут быть?.. Ты сама говорила, что не принимать Егора Егорыча нам нельзя!.. За что мы оскорбим человека?.. Он не Ченцов какой-нибудь в отношении нас!

Сусанна на этот раз тоже затруднилась и не могла вдруг придумать, что бы такое предпринять.

— Бог как-нибудь устроит, мамаша! — сказала она.

— Конечно!..— не отвергнула и адмиральша, хотя, по опыту своей жизни и особенно подвигнутая последним страшным горем своим, она начинала чувствовать, что не все же бог устраивает, а что надобно людям самим заботиться, и у нее вдруг созрела в голове смелая мысль, что когда Егор Егорыч приедет к ним в воскресенье, то как-нибудь — без Сусанны, разумеется,— открыть ему все о несчастном увлечении Людмилы и об ее настоящем положении, не утаив даже, что Людмила боится видеть Егора Егорыча, и умолять его посоветовать, что тут делать.

Успокоившись на этом решении, Юлия Матвеевна с твердостью ожидала приезда Егора Егорыча, который, конечно, не замедлил явиться, как сказал, минута в минуту. Сусанна в это время одевалась в своей маленькой комнатке, досадуя на себя, что согласилась на поездку с Егором Егорычем в церковь, и думая, что это она — причина всех неприятностей, а с другой стороны, ей и хотелось ехать, или, точнее сказать, видеть Егора Егорыча. Странно, но она начинала ясно понимать, что этот человек как бы каждоминутно все более и более привлекал ее к себе. Адмиральша, очень довольная отсутствием Сусанны, сейчас же принялась шепотом, сбиваясь, не без слез, повествовать Егору Егорычу о постигшем их семейство несчастии и, к удивлению своему, подметила, что такое открытие нисколько не поразило ее друга.

— Я это слышал и предчувствовал! — пробормотал он.

— Слышали?.. Но каким образом и от кого? — воскликнула с ужасом адмиральша.

— Слухом земля полнится! — проговорил Егор Егорыч, не отвечая прямо на вопрос, и затем прямо перешел к тому плану, который он, переживя столько мучительных чувствований и в конце концов забыв совершенно самого себя, начертал в своем уме касательно будущей судьбы Людмилы и Ченцова.

— Прежде всего,— начал он,— этого повесу, моего племянника, надобно развести с его женой; это и для него и для жены его будет благодеянием, и я как-нибудь устрою это; а потом их женить с Людмилой.

— Ни за что, ни за что! — воскликнула Юлия Матвеевна, отмахиваясь даже руками от подобного предположения.— Как это возможно, когда Валерьян двоюродный брат Людмиле?

В этом отношении адмиральша была преисполнена неотразимого предубеждения, помня еще с детства рассказ, как в их же роде один двоюродный брат женился на двоюродной сестре, и в первую же ночь брака они оба от неизвестной причины померли.

— Но вы желали же, чтобы Людмила вышла за меня, а я вам тоже родня! — возразил ей Егор Егорыч.

— Да, батюшка, разве вы в таком близком родстве нам? — начала Юлия Матвеевна заискивающим голосом.— Валерьян Людмиле троюродный брат, а вы четвероюродный, да и то дядя ей!.. Бог, я думаю, различает это.

— Бог различает, но другое! — окрысился Марфин.

— Да и другое! — продолжала с упорством Юлия Матвеевна.— Для вас, разумеется, не секрет, что Валерьян очень дурной человек, и я бы никакой матери не посоветовала выдать за него не только дочери своей, но даже горничной.

— Но вы забываете,— прикрикнул на нее Егор Егорыч,— что Людмила любит Валерьяна.

— Нисколько, нисколько! — отпарировала ему смело адмиральша.

— Как нисколько?.. А сверх того, ее положение?

— Она готова вынести свое положение, но чтобы только не видеть и не быть женой Валерьяна.

Егор Егорыч отрицательно мотал головой.

— Она вам это говорила? — спросил он почти строго.

— Говорила,— ответила с уверенностью адмиральша, искренно убежденная, по своей недальновидности, что Людмила уж больше не любит Ченцова.

Егор Егорыч после этого умолк, тем более, что в это время вошла Сусанна, по наружности спокойная, хотя и стыдящаяся несколько, и снова напомнившая Егору Егорычу мадонну. Вскоре они отправились к обедне. Егор Егорыч заехал за Сусанной в прекрасном фаэтоне и на очень бойких лошадях, так что едва только он успел с Сусанной сесть в экипаж, как лошади рванулись и почти что понесли. Юлия Матвеевна, все это наблюдавшая, даже вскрикнула от испуга: считая Егора Егорыча за превосходнейшего человека в мире, Юлия Матвеевна, будучи сама великой трусихой лошадей, собак, коров и даже шипящих гусей, понять не могла этой глупой страсти ее кузена к бешеным лошадям. Марфин действительно, кажется, только две суетные наклонности и имел: страсть к крестам государственным и масонским и страсть к красивым и заносистым коням.

Вместе с господином своим ехал также и Антип Ильич, помещавшийся рядом с кучером на козлах. Эта мода, чтобы лакеи не тряслись на запятках, а сидели с кучером, только еще начинала входить, и Егор Егорыч один из первых ею воспользовался, купив себе для того новый экипаж с широчайшими козлами.

— Антип Ильич, ты это как очутился в Москве? — спросила Сусанна.

— Сам приехал, без разрешения даже моего! — отвечал за своего камердинера Егор Егорыч.— Говорит, что

мне тяжело и трудно без него жить, да и правда, пожалуй, совершенная правда.

Антип Ильич слушал такой отзыв барина с заметным удовольствием.

Фаэтон между тем быстро подкатил к бульвару Чистые Пруды, и Егор Егорыч крикнул кучеру: «Поезжай по левой стороне!», а велев свернуть близ почтамта в переулок и остановиться у небольшой церкви Феодора Стратилата, он предложил Сусанне выйти из экипажа, причем самым почтительнейшим образом высадил ее и попросил следовать за собой внутрь двора, где и находился храм Архангела Гавриила, который действительно своими колоннами, выступами, вазами, стоявшими у подножия верхнего яруса, напоминал скорее башню, чем православную церковь,— на куполе его, впрочем, высился крест; наружные стены храма были покрыты лепными изображениями с таковыми же лепными надписями на славянском языке: с западной стороны, например, под щитом, изображающим благовещение, значилось: *«Дом мой — дом молитвы»;* над дверями храма вокруг спасителева венца виднелось: *«Аз есмь путь и истина и живот»;* около дверей, ведущих в храм, шли надписи: *«Господи, возлюблю благолепие дому твоего и место селения славы твоея». «Аз же множеством милости твоея вниду в дом твой, поклонюся храму святому твоему во страсе твоем»;* на паперти надписи гласили с левой стороны: *«Путь заповедей твоих текох, егда расширил еси сердце мое»;* с правой: *«Законоположи мне, господи, путь оправданий твоих и взыщи их вину».* На все эти надписи Егор Егорыч, ведя Сусанну в храм, обратил ее внимание, и она все их прочла. Что касается Антипа Ильича, то он тоже вслед за господами вошел в церковь.

В внутренности храма Сусанну несколько поразило, что молящиеся все почти были чиновники в фрачных вицмундирах с черными бархатными воротниками и обшлагами и все обильно увешанные крестами, а между этими особами размещалась уже более мелкая служебная сошка: почтальоны в форменных и довольно поношенных, с стоячими плисовыми воротниками, сюртуках и с невинными кортиками при бедрах своих. Помещавшийся у свечного ящика староста церковный и вместе с тем, должно быть, казначей почтамта, толстый, важный, с Анною на шее, увидав подходящего к нему Егора Егорыча, тотчас утра-

тил свою внушительность и почтительно поклонился ему, причем торопливо приложил правую руку к своей жирной шее, держа почти перпендикулярно большой палец к остальной ручной кисти, каковое движение прямо обозначало *шейный масонский знак ученика.*

Егор Егорыч, пробурчав: «вклад в церковь!» — подал старосте билет опекунского совета в триста рублей. Другие же в это время чиновники, увидав Сусанну, вошедшую вместе с Егором Егорычем, поспешили не то что пропустить, но даже направить ее к пожилой даме, красовавшейся на самом почетном месте в дорогой турецкой шали; около дамы этой стоял мальчик лет шестнадцати в красивом пажеском мундире, с умненькими и как-то насмешливо бегающими глазками. Чиновник, подведший Сусанну к пожилой даме, что-то тихонько шепнул сей последней. Дама поспешила пододвинуться и дать Сусанне место на ковре, которая, в свою очередь, конфузясь и краснея, встала тут. Священник, старик уже и, вероятно, подагрик, потому что был в теплых плисовых сапогах, истово совершал службу. Ризы на нем и на дьяконе были темно-малиновые, бархатные, с жемчужными крестами. Певчие — вероятно, составленные все из служащих в почтамте и их детей — пели превосходно, и между ними слышался чей-то чисто грудной и бархатистый тенор: это пел покойный Бантышев, тогда уже театральный певец, но все еще, по старой памяти своей службы в почтамте, участвовавший иногда в хоре Гавриило-Архангельской церкви. Сусанна, столь склонная подпадать впечатлению религиозных служб, вся погрузилась в благоговение и молитву и ничего не видела, что около нее происходит; но Егор Егорыч, проходя от старосты церковного на мужскую половину, сейчас заметил, что там, превышая всех на целую почти голову, рисовался капитан Зверев в полной парадной форме и с бакенбардами, необыкновенно плотно прилегшими к его щекам: ради этой цели капитан обыкновенно каждую ночь завязывал свои щеки косынкой, которая и прижимала его бакенбарды, что, впрочем, тогда делали почти все франтоватые пехотинцы.

— Я тоже пришел сюда помолиться! — сказал капитан уважительным тоном Егору Егорычу.

— Да, вижу, это хорошо! — одобрил его Марфин, и потом оба они замолчали и начали каждый по своей манере молиться. Егор Егорыч закидывал все больше свою го-

лову назад и в то же время старался держать неподвижно ступни своих ног под прямым углом одна к другой, что было *ножным знаком мастера;* капитан же, делая небольшие сравнительно с своей грудью крестики и склоняя голову преимущественно по направлению к большим местным иконам, при этом как будто бы слегка прищелкивал своими каблуками. В продолжение всей обедни не слышалось ни малейшего разговора: в то время вообще считалось говорить в церкви грехом и неприличием. С окончанием обедни к кресту подошла прежде всех почтенная дама в турецкой шали, а вслед за нею почтамтские чиновники опять-таки почти подвели Сусанну, после которой священник — через голову уже двоих или троих прихожан — протянул крест к Егору Егорычу. Тот приложился.

— Давно ли и надолго ли вы осчастливили нашу столицу? — спросил его священник; а вместе с ним произнесла и почтенная дама:

— Вас ли я вижу, Егор Егорыч?

Марфин ей и священнику что-то такое бормотал в ответы.

— А это ваша милая родственница, кажется? — продолжала дама в шали.

— Племянница,— бормотал Егор Егорыч.

— И какая собой прелестная! — воскликнула дама и, как бы не удержавшись, поцеловала Сусанну.

Та окончательно раскраснелась.

— А ваш молодец вырос,— сказал Егор Егорыч, указывая на стоявшего около дамы мальчика в пажеском мундире.

— А вы так не выросли! — отозвался вдруг на это с веселой усмешкой мальчик.

— А, какова острота!.. Но смотри только, не злоупотребляй: секи плевелы, но не пшеницу! — говорил, грозя ему пальцем, Егор Егорыч.

— Oh, il est très caustique, mais avec ça il a beaucoup d'esprit!..[1]— прошептала почтенная дама на ухо Егору Егорычу и затем вслух прибавила: — Неужели вы к нам не заедете?

— Не знаю!.. Может быть, заеду!.. Может быть!..— отвечал Егор Егорыч.

— Пожалуйста!.. Муж бесконечно рад будет вас видеть,— почти умоляла его дама, а потом, с некоторым ве-

[1] Он очень язвителен и при всем том весьма умен!.. *(франц.)*.

личием раскланиваясь на обе стороны с почтительно стоявшими чиновниками, вышла из церкви с мальчиком, который все обертывал головку и посматривал на Сусанну, видимо, уже начиная разуметь женскую красоту.

Егор Егорыч, увидав в это время, что священник выходит уже из церкви, торопливо и, вероятно, забыв, что он говорит уже не с дамой, отнесся к нему:

— Deux mots! [1].

Священник остановился.

— Я желал бы сей девице показать храм! — продолжал Егор Егорыч.

— Дело доброе! — сказал священник и хотел было сам идти знакомить посетителей с храмом, но Егор Егорыч остановил его.

— Не беспокойтесь, не утруждайте себя! Я все знаю, все покажу!

— Это как соизволите! — проговорил священник и не без удовольствия зашаркал своими подагрическими ногами по церковному полу, спеша поскорее напиться дома чайку.

— Под куполом,— начал толковать Егор Егорыч Сусанне и оставшемуся тоже капитану,— как вы видите, всевидящее око с надписью: «illuxisti obscurum» — просветил еси тьму! А над окном этим круг sine fine... без конца.

— А это какой-то якорь у столба и крест,— сказал, заинтересовавшись сими изображениями, капитан.

— Это spe — надеждою и твердостью — fortitudine! — объяснил Егор Егорыч.

Капитан, кажется, его понял, потому что как бы еще больше приободрился и сделался еще тверже.

— Чаша с кровию Христовой и надпись: «redemptio mundi!» — искупление мира! — продолжал Егор Егорыч, переходя в сопровождении своих спутников к южной стене.— А это агнец delet peccata — известный агнец, приявший на себя грехи мира и феноменирующий у всех почти народов в их религиях при заклании и сожжении — очищение зараженного грехами и злобою людского воздуха.

Перед нарисованным сердцем, из которого исходило пламя и у которого были два распростертые крыла, Егор Егорыч несколько приостановился и с ударением произнес:

---

[1] Два слова! *(франц.)*

— Ascendit — возносится!.. Не влачиться духом по земле, а возноситься!

Сусанна и капитан слушали его с глубоким вниманием.

Далее в алтарь Сусанне нельзя было входить, и Егор Егорыч, распахнув перед ней северные врата, кричал ей оттуда:

— Молодой орел, летящий и смотрящий прямо на солнце — virtute patrum — шествующий по доблести отцев.

Вслед за тем около жертвенника перед короною, утвержденною на четвероугольном пьедестале, а также перед короною со скипетром, он опять приостановился с большим вниманием и громко произнес:

— Утверждена на уважение — existimatione nixa!.. Constanter et sincere!.. постоянно и чистосердечно!..

Ко всем этим толкованиям Егора Егорыча Антип Ильич, стоявший у входа церкви, прислушивался довольно равнодушно. Бывая в ней многое множество раз, он знал ее хорошо и только при возгласе: «redemptio mundi» старик как бы несколько встрепенулся: очень уж звуками своими эти слова были приятны ему.

На паперти Егор Егорыч еще дообъяснил своим слушателям:

— Этими эмблемами один мой приятель так заинтересовался, что составил у себя целую божницу икон, подходящих к этим надписям, и присоединил к ним и самые подписи. Это — Крапчик!..— заключил он, относясь к Сусанне.

— Крапчик? — повторила та, желая в сущности спросить, что неужели и Крапчик — масон,— но, конечно, не посмела этого высказать.

Утро между тем было прекрасное; солнце грело, но не жгло еще; воздух был как бы пропитан бодрящею свежестью и чем-то вселяющим в сердце людей радость. Капитан, чуткий к красотам природы, не мог удержаться и воскликнул:

— Какой божественный день!

— Да,— согласилась с ним и Сусанна.

Егору Егорычу на этот раз восклицание Аггея Никитича вовсе не показалось пошлым, и он даже, обратясь к Сусанне, спросил ее:

— Вы, может быть, желаете пройтись по бульвару?

— С удовольствием бы прошлась,— отвечала та.

— О, сегодня гулять восхитительно! — подхватил радостно капитан, очень довольный тем, что он может еще несколько минут побеседовать не с Сусанной,— нет! — а с Марфиным: капитан оставался верен своему первому увлечению Людмилою.

— Вы изволили сказать,— обратился он к Егору Егорычу,— что надобно возноситься духом; но в военной службе это решительно невозможно: подумать тут, понимаете, не над чем,— шагай только да вытягивай носок.

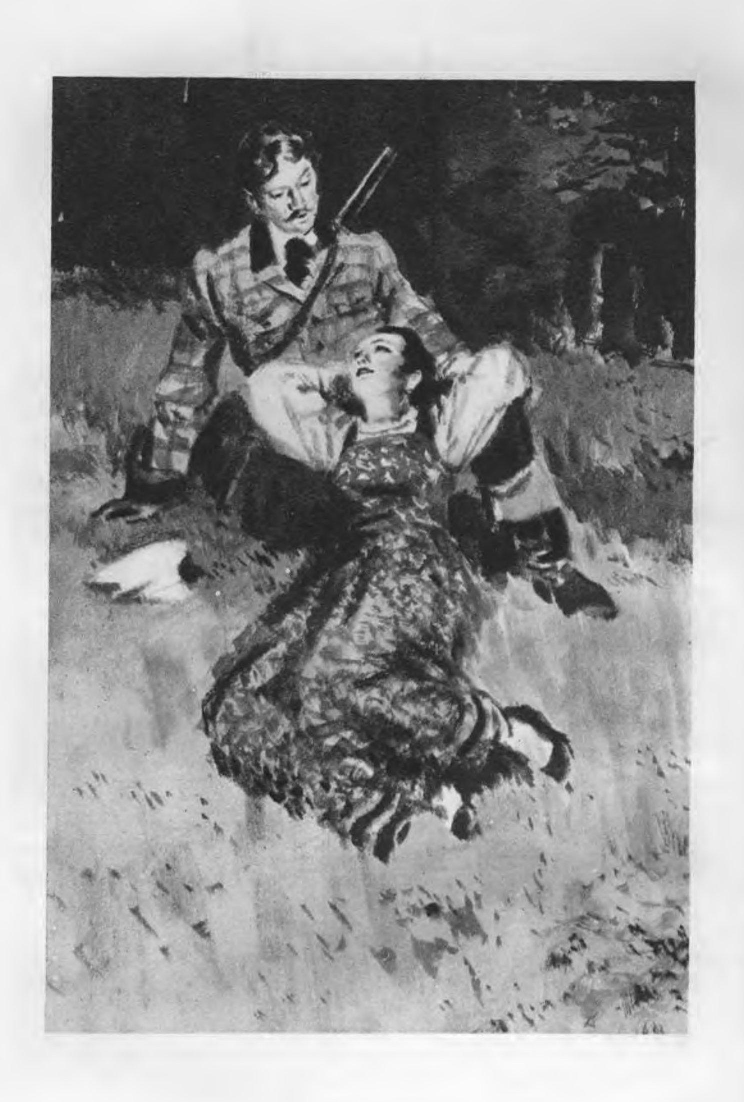
— Стало быть, вы по необходимости служите? — проговорил Егор Егорыч, пристально взглянув в добрые, как у верблюда, глаза капитана.

Тот пожал плечами.

— Почти!.. Отец мой, бедный помещик, отдал было меня в гимназию; но я, знаете, был этакий деревенский дуботол... Учиться стал я недурно, но ужасно любил драться, и не из злости, а из удальства какого-то, и все больше с семинаристами на кулачки... Сила тогда у меня была уж порядочная, и раз я одного этакого кутейника так съездил по скуле, что у того салазки выскочили из места... Жалоба на меня... Директор вздумал было меня посечь, но во мне заговорил гонор... Я не дался и этаких четырех сторожей раскидал от себя... Тогда меня, раба божьего, исключили из гимназии... Отец в отчаянии и говорит мне: «Что я буду с тобой делать?.. Не в приказных же тебе служить... Ты русский дворянин... Ступай уж лучше в военную службу!» Услыхав это, я даже обрадовался, что меня исключили... Впереди у меня мелькнули мундир, эполеты, сабля, шпоры, и в самом деле вначале меня все это заняло, а потом открылась турецкая кампания, а за ней польская... Я сделал ту и другую и всегда буду благодарить судьбу, что она, хотя ненадолго, но забросила меня в Польшу, и что бы там про поляков ни говорили, но после кампании они нас, русских офицеров, принимали чрезвычайно радушно, и я скажу откровенно, что только в обществе их милых и очень образованных дам я несколько пообтесался и стал походить на человека.

— Но теперь вы субалтерн еще офицер? — перебил вдруг капитана Марфин, искоса посматривая на высокую грудь того, украшенную несколькими медалями и крестами.





— Нет, я уже ротный! — отвечал тот не без гордости.

— Однако сама служба все-таки вам претит? — допытывался Егор Егорыч.

— Как вам сказать?.. И служба претит... В заряжании ружья на двенадцать темпов и в вытягивании носка ничего нет интересного, но, главное, общество офицеров не по мне. Можете себе представить: между всеми моими товарищами один только был у меня друг — поручик Рибнер; по происхождению своему он был немец и человек превосходнейший!.. Историю тридцатилетней войны Шиллера он знал от слова до слова наизусть, а я знал хорошо историю двенадцатого года... Бывало, схватимся да так всю ночь и спорим... Полковой командир обоих нас терпеть не мог, но со мной он ничего не мог сделать: я фрунтовик; а Рибнера, который, к несчастию, был несколько рассеян в службе, выжил!.. Да-с,— продолжал капитан,— я там не знаю, может быть, в артиллерии, в инженерах, между штабными есть образованные офицеры, но в армии их мало, и если есть, то они совершенно не ценятся... Все только хлопочут, как бы потанцевать, в карты, на бильярде поиграть, а чтобы этак почитать, поучиться, потолковать о чем-нибудь возвышенном,— к этому ни у кого нет ни малейшей охоты, а, напротив, смеются над тем, кто это любит: «ну, ты, говорят, философ, занесся в свои облака!».

Егор Егорыч слушал капитана весьма внимательно: его начинало серьезно занимать, каким образом в таком, по-видимому, чувственном и мясистом теле, каково оно было у капитана, могло обитать столько духовных инстинктов.

Между тем бульвар кончался.

— Нам пора!.. Поедемте!.. Мамаша, я думаю, давно нас ждет! — проговорила Сусанна.

— Пора, пора! — согласился Егор Егорыч.— Прощайте, капитан! — присовокупил он, протягивая тому почти дружески руку.

— Я бы бесконечно был счастлив, если бы вы позволили мне явиться к вам! — сказал Аггей Никитич.

— Теперь некогда, я сегодня уезжаю в Петербург, но когда потом я буду в Москве, то повидаюсь с вами непременно! — бормотал Егор Егорыч.

При этих словах его Сусанна сильно вспыхнула в лице.

— В таком случае, позвольте мне, по крайней мере, к вашей матушке являться! — обратился к ней капитан, слегка приподнимая эполеты и кланяясь.

— И к ним нельзя!..— подхватил Егор Егорыч.— Ее старшая сестра, Людмила Николаевна, больна, заболела!

— Больна?.. Заболела? — переспросил капитан, никак не ожидавший получить такое известие.

— Очень!—повторил Егор Егорыч и, сев с Сусанной в фаэтон, скоро совсем скрылся из глаз капитана, который остался на бульваре весьма опечаленный прежде всего, разумеется, вестью о болезни Людмилы, а потом и тем, что, вследствие этого, ему нельзя было являться к Рыжовым.

Сусанна тем временем, ехав с Егором Егорычем, несмотря на свою застенчивость, спросила его, неужели он, в самом деле, сегодня уезжает в Петербург.

— Уезжаю!.. Я тут лишний!.. Не нужен!.. Но,—продолжал он уже с одушевлением и беря Сусанну за руку,—я прошу вас, Сусанна Николаевна, заклинаю писать мне откровенно, что будет происходить в вашей семье.

— Я готова писать, если мамаша позволит! — отвечала Сусанна.

— Она позволит... Я сам ей напишу об этом,— говорил Егор Егорыч и, торопливо вынув из кармана бумажник, вырвал из книжки чистый листок бумаги и тут же на коленях своих написал:

«Прощайте, позвольте и прикажите Сусанне Николаевне писать мне чаще в Петербург обо всех вас. Адресуйте письма на имя князя Александра Николаевича, с передачею мне. Непременно же пишите, иначе я рассержусь на вас на всю жизнь».

— Отдайте вот эту записку матери! — заключил Егор Егорыч, суя исписанный им листок в руку Сусанны.

— Разве вы не зайдете к мамаше даже и проститься? — проговорила робко Сусанна.

— Нет, я лишний пока у вас, лишний,— отвечал Егор Егорыч, стараясь не смотреть на Сусанну, тогда как лицо той ясно выражало: «нет, не лишний!».

IV

Исполнение человеком долга своего моралисты обыкновенно считают за одну из самых величайших добродетелей, но врачи и физиологи, хлопочущие более о сохранении благосостояния нашего грешного тела, не думаю,

чтобы рекомендовали безусловно эту добродетель своим пациентам. Быть постоянно во имя чего-то отвлеченного и, может быть, даже предрассудочного не самим собою — вряд ли кому здорово. В таком именно положении очутилась теперь бедная Людмила: она отринулась от Ченцова ради нравственных понятий, вошедших к ней через ухо из той среды, в которой Людмила родилась и воспиталась; ей хорошо помнилось, каким ужасным пороком мать ее, кротчайшее существо, и все их добрые знакомые называли то, что она сделала. Под влиянием своего безумного увлечения Людмила могла проступиться, но продолжать свое падение было выше сил ее, тем более, что тут уж являлся вопрос о детях, которые, по словам Юлии Матвеевны, как незаконные, должны были все погибнуть, а между тем Людмила не переставала любить Ченцова и верила, что он тоже безумствует об ней; одно ее поражало, что Ченцов не только что не появлялся к ним более, но даже не пытался прислать письмо, хотя, говоря правду, от него приходило несколько писем, которые Юлия Матвеевна, не желая ими ни Людмилу, ни себя беспокоить, перехватывала и, не читав, рвала их. Таким образом неумолкающая ни на минуту борьба Людмилы со своей страстью потрясла наконец в корень ее организм: из цветущей, здоровой девушки она стала тенью, привидением, что делало еще заметнее округлость ее стана, так что Людмила вовсе перестала выходить из своей комнаты, стыдясь показаться даже на глаза кухарки. Тщетно Юлия Матвеевна умоляла ее делать прогулки, доказывая, как это необходимо, но Людмила и слышать того не хотела... Прошло уже между тем после отъезда Егора Егорыча два месяца страшных, мучительных для Рыжовых. Нелегко эти месяцы, кажется, достались и капитану Звереву, потому что он заметно похудел и осунулся. По нескольку раз в неделю капитан заходил к Миропе Дмитриевне, стараясь всякий раз выспросить ее о том, что творится у Рыжовых, и всякий раз Миропа Дмитриевна ядовито усмехалась на эти вопросы и так же ядовито отвечала:

— Я ничего не знаю, да, признаться, и не интересуюсь нисколько знать!

Но вот однажды, часу в седьмом теплого и ясного июньского вечера (в тот год все лето стояло очень хорошее), над Москвой раздавался благовест ко всеношной. Миропа Дмитриевна, в капоте-распашонке, в вышитой

юбке, в торжковских туфлях и в малороссийских монистах, сидела под тенью в своем садике и пила на воздухе чай. Стоявший перед нею на столе чисто вычищенный самовар сердито пошумливал: Миропа Дмитриевна любила пить самый горячий чай. На столе, кроме ее чашки, были два стакана с блюдечками, на всякий случай, если кто зайдет из мужчин. В садике, довольно немаленьком, обсаженном кругом как бы сплошною стеною акациями, воздушным жасмином, душистыми тополями, липами, а также с множеством левкоев, гелиотропов, резеды, чувствовался сильно-ароматический запах. Миропа Дмитриевна ужасно любила все душистые растения и украшала свой садик почти собственными руками, с помощию только двух ее крепостных девок. Кроме того, она держала кур с беспощадно остриженными крыльями, чтобы они не залетали в садик, держала несколько индеек, петух которых постоянно расхаживал у нее на дворе с налитыми кровью балаболками над носом, и, наконец, в дальнем хлевушке провизгивал по временам юный поросенок, купленный Миропою Дмитриевною для домашнего откорма в последнее воскресенье недели православия,— вообще, надобно отдать честь Миропе Дмитриевне, она была опытная, расчетливая и умная хозяйка.

В настоящий вечер она, кушая вприкуску уже пятую чашку чаю, начинала чувствовать легкую тоску от этой приятной, но все-таки отчасти мутящей жидкости,— вдруг на дворе показалась высокая фигура капитана в шинели. Миропа Дмитриевна грустно усмехнулась, заранее предчувствуя, зачем к ней идет капитан, и крикнула ему, что она в саду, а не в доме.

Капитан вошел в садик и показался Миропе Дмитриевне не таким разваренным, каким он, к великой ее досаде, являлся все последнее время.

— Садитесь, будете гостем! — сказала она ему и стала наливать чай в стакан.

Капитан снял с себя шинель и повесил ее на сучок дерева. Миропа Дмитриевна, взглянув при этом на него, чуть не вскрикнула. Он был в густых штаб-офицерских эполетах.

— Вы произведены в майоры? — проговорила Миропа Дмитриевна в одно и то же время с удивлением и радостью.

— Да, на днях,— отвечал вновь испеченный майор,

садясь и по возможности равнодушным тоном, хотя в лице и во всей его фигуре просвечивало удовольствие от полученного повышения.

— Надобно выпить шампанского за ваше здоровье и прокричать вам ура! — говорила Миропа Дмитриевна.

— Зачем же шампанского?.. Выпьем лучше чайку! — продолжал новый майор тем же тоном философа.

Миропа Дмитриевна решительно не могла отвести от него глаз; он никогда еще не производил на нее такого сильного впечатления своей наружностью: густые эполеты майора живописно спускались на сукно рукавов; толстая золотая цепочка от часов извивалась около борта сюртука; по правилам летней формы, он был в белых брюках; султан на его новой трехугольной шляпе красиво развевался от дуновения легкого ветерка; кресты и медали как-то более обыкновенного блистали и мелькали. Под влиянием всего этого Миропа Дмитриевна сама уж хорошенько не помнит, как пододвинула к майору стакан с чаем, как крикнула проходившей по двору Агаше, чтобы та принесла из комнат четверку Жукова табаку и трубку.

Впрочем, прежде чем я пойду далее в моем рассказе, мне кажется, необходимо предуведомить читателя, что отныне я буду именовать Зверева майором, и вместе с тем открыть тайну, которой читатель, может быть, и не подозревает: Миропа Дмитриевна давно уже была, тщательно скрывая от всех, влюблена в майора, и хоть говорила с ним, как и с прочими офицерами, о других женщинах и невестах, но в сущности она приберегала его для себя... Появление противной Людмилы Рыжовой и смешное увлечение Аггея Никитича этой девчонкой, конечно, много сбило Миропу Дмитриевну с толку; но теперь, увидав майора в таком блестящем штаб-офицерском виде, она вознамерилась во что бы то ни стало уничтожить в глазах его свою соперницу.

— А что ваши Рыжовы? — спросил тот, по обыкновению, издалека.

— Ничего,— отвечала Миропа Дмитриевна, на этот раз не с ядовитостью, а как бы с некоторым даже участием.

— Людмила Николаевна все болеет? — продолжал майор.

— Болеет,— повторила Миропа Дмитриевна, оглядевшись кругом, и, видя, что никого нет около, присовокупила негромко: — Вряд ли она не ждется на этих днях!

Лицо майора мгновенно потускнело.

— Но вы мне прежде не говорили, чтобы она была в таком уж положении! — проговорил он явно недовольным голосом.

— Что ж мне было вам говорить!.. — возразила Миропа Дмитриевна.— Я думала, что вы сами догадываетесь об этом!.. А то к чему же такая таинственная жизнь!.. Всех избегать, ни с кем не знакомиться...

Майор мрачно молчал.

— И я не знаю, как это у них произойдет,— продолжала Миропа Дмитриевна,— здесь ли?.. Что будет мне очень неприятно, потому что, сами согласитесь, у меня в доме девушка производит на свет ребенка!.. Другие, пожалуй, могут подумать, что я тут из корыстных целей чем-нибудь способствовала...

— Да где же этому и произойти, как не здесь!..— возразил ей майор.

— А где им угодно!.. Пускай отправятся к акушерке... мало ли их здесь!.. Или в воспитательный дом,— проговорила с презрением Миропа Дмитриевна.

Майор принялся неистово курить и затягиваться.

— Но меня еще более пугает другое: они, я подозреваю, ждут к себе и виновника всего этого события... Тогда во что же мой дом обратится,— я и вообразить не могу!

Последнее предположение Миропа Дмитриевна решительно выдумала от себя, чтобы сильнее очернить Людмилу перед майором.

Тот, с своей стороны, не отставал неистово курить и на некоторые мгновения совершенно скрывался от Миропы Дмитриевны за густыми клубами табачного дыма.

— Очень жаль! — проговорил он в такой именно момент.— И тем досаднее, что Людмила все-таки девушка прелестная.

— Урод, чудище теперь она стала! — воскликнула Миропа Дмитриевна.

— Что такое вы говорите, бог вас знает!.. Людмила — урод!..— произнес насмешливо майор.

— Вы не верите?.. Ну, погодите!.. Выйдите на улицу... на тротуар!.. Первое окно от ворот из спальни Людмилы... Она иногда сидит около него!..

Майор по-прежнему насмешливо пожал плечами, но послушался Миропы Дмитриевны; Людмила, как нарочно, в это время сидела, или, лучше сказать, полулежала с закрытыми глазами в кресле у выставленного окна. Майор даже попятился назад, увидев ее... Перед ним была не Людмила, а труп ее. Чтобы не мучить себя более, он возвратился к Миропе Дмитриевне.

— Да, она переменилась несколько,— сказал он, садясь на свое место.

— Не несколько, а она, я вам говорю, урод! — настаивала Миропа Дмитриевна.

— Нет, не урод! — не согласился майор.

Миропа Дмитриевна вышла, наконец, из себя.

— Аггей Никитич, скажите, сколько вам лет? — воскликнула она.

— Около сорока,— отвечал тот, удивленный таким вопросом.

— А мне всего еще только тридцать пять лет! — ввернула Миропа Дмитриевна и солгала в этом случае безбожнейшим образом: ей было уже за сорок.— И я хоть женщина,— продолжала она,— но меня чрезвычайно удивляет ваше ослепление.

— В чем мое ослепление? — перебил ее с досадой майор.

— Касательно Людмилы! — отвечала ему резко Миропа Дмитриевна.— Будемте рассуждать хладнокровно.— Вы влюблены в нее?

Такой вопрос поставил в затруднение майора.

— Влюблен, если вы хотите,— отвечал он с несколько трусливою решительностью,— или назовите иначе это чувство, но я очарован красотою Людмилы, как и вы также были очарованы этим.

— Ах, пожалуйста, оставьте нас, женщин, в покое!.. Мы совершенно иначе судим друг о друге!..— вывертывалась Миропа Дмитриевна из прежде ею говоренного.— Но вы — мужчина, и потому признайтесь мне откровенно, неужели же бы вы, увлекшись одним только хорошеньким личиком Людмилы и не сказав, я думаю, с ней двух слов, пожелали даже жениться на ней?

— Пожелал бы! — отвечал майор, не задумавшись.

У Миропы Дмитриевны при этом все лицо перекосилось от злой гримасы: майор просто показался ей сумасшедшим.

— Значит,— начала она припирать его к стене,— вы готовы жениться на девушке некрасивой, у которой есть обожатель и у которой будет скоро залог любви к тому, и это еще когда Людмила соблаговолит за вас выйти,— а она вовсе не думает того,— и согласитесь, Аггей Никитич, что после всего этого вы смешны вашими воздыханиями и мечтаниями!

Майор молчал. Он сам смутно сознавал, что в отношении своей влюбчивости был несколько смешон; но что прикажете делать с натурой? Как забрались у него в мозг разные идеальные представления касательно семейства Рыжовых, так они и не выходили до сих пор из головы.

— Нечего вам об этой пустой девчонке и думать! — благоразумно посоветовала ему Миропа Дмитриевна и потом, как бы что-то такое сообразив, она вдруг сказала: — А я все-таки хочу выпить за ваше повышение!.. Шампанского, конечно, у меня нет, но есть отличная, собственной стряпни, наливка — вишневка!..

— Недурно!.. Идет!..— воскликнул майор, так как подошел уже час, когда он привык пить водку.

Миропа Дмитриевна сходила за вишневкой и вместе с нею принесла колбасы, сыру. Налив сей вишневки гостю и себе по бокалу, Миропа Дмитриевна приложила два пальца правой руки ко лбу своему, как бы делая под козырек, и произнесла рапортующим голосом:

— Честь имею поздравить, ваше высокоблагородие, с получением майорского чина!

Зверев, усмехнувшись и проговорив, в свою очередь, уже начальническим тоном: «благодарю!», протянул Миропе Дмитриевне свою руку, в которую она хлопнула своей ручкой, и эту ручку майор поцеловал с чувством, а Миропа Дмитриевна тоже с чувством поцеловала его, но не в голову, а второпях в щеку, и потом они снова занялись вишневкой, каковой майор выпил бокальчиков пять, а Миропа Дмитриевна два. Вино, как известно, изменяет иногда характер и мировоззрение людей: из трусов оно делает храбрецов, злых и суровых часто смягчает, равно как тихих и смирных воспаляет до буйства. Нечто подобное случилось и с моими собеседниками: майор стал более материален и поспустился на землю, а Миропа Дмитриевна, наоборот, несколько возлетела над расчетами жизни.

— Вам надобно выбрать жену не с богатством,— принялась она рассуждать,— которого вы никогда не искали, а теперь и подавно, когда сами вступили на такую прекрасную дорогу,— вам нужна жена, которая бы вас любила!

— Которая бы любила! — согласился майор.

— И была бы при том хозяйка хорошая!..— направляла прямо в цель свое слово Миропа Дмитриевна.

— Да! — согласился и с этим майор.

— Кроме того,— продолжала Миропа Дмитриевна,— вы не забывайте, Аггей Никитич, что вам около сорока лѐт, и, по-моему, странно было бы, если б вы женились на очень молоденькой!..

— Что ж тут странного? — возразил майор, как бы даже обидевшись.

Миропа Дмитриевна заранее предчувствовала, что этот пункт будет у них самый спорный.

— Я сейчас вам докажу! — начала она со свойственною ей ясностью мыслей.— Положим, вы женитесь на восемнадцатилетней девушке; через десять лет вам будет пятьдесят, а ей двадцать восемь; за что же вы загубите молодую жизнь?.. Жене вашей захочется в свете быть, пользоваться удовольствиями, а вы будете желать сидеть дома, чтобы отдохнуть от службы, чтобы почитать что-нибудь, что, я знаю, вы любите!

— Да, я нынче стал очень любить сидеть дома и читать книги! — сознался Аггей Никитич.

— Ну, вот видите, и теперь вдумайтесь хорошенько, что может из этого произойти! — продолжала Миропа Дмитриевна.— Я сама была в замужестве при большой разнице в летах с моим покойным мужем и должна сказать, что не дай бог никому испытать этого; мне было тяжело, а мужу моему еще тяжельше, потому что он, как и вы же, был человек умный и благородный и все понимал.

Миропа Дмитриевна ударила майора в совершенно новую струну его доброго сердца, о которой он, мечтая о молоденькой и хорошенькой жене, никогда прежде не помышлял.

— В таком случае, я лучше совсем не женюсь! — решил он с некоторой дозой почти отчаяния.

— Это тоже нехорошо! — не одобрила и этого Миропа Дмитриевна.— Представьте вы себя стариком...

вам нездоровится... вам скучно... и кто же вас разговорит и утешит?.. Неужели прислуга ваша или денщик ваш?

— Что прислуга?.. Они не понимают ничего!..— отозвался майор и затем, подумав немного, присовокупил: — Мне иногда, знаете, когда бывает очень грустно, приходит на мысль идти в монахи.

Миропа Дмитриевна, услышав это, не в силах была удержаться и расхохоталась.

— Чтобы вас обобрали там, как всегда обыкновенно у нас в монастырях обирают.

— Обобрать у меня нечего! — заметил мрачно майор.

— Да ту же пенсию вашу всю будут брать себе! — пугала его Миропа Дмитриевна и, по своей ловкости и хитрости (недаром она была малороссиянка), неизвестно до чего бы довела настоящую беседу; но в это время в квартире Рыжовых замелькал огонек, как бы перебегали со свечками из одной комнаты в другую, что очень заметно было при довольно значительной темноте ночи и при полнейшем спокойствии, царствовавшем на дворе дома: куры и индейки все сидели уж по своим хлевушкам, и только майские жуки, в сообществе разноцветных бабочек, кружились в воздухе и все больше около огня куримой майором трубки, да еще чей-то белый кот лукаво и осторожно пробирался по крыше дома к слуховому окну.

— Что же там такое происходит? — спросил майор, первый увидав суматоху на половине Рыжовых, и не успела ему Миропа Дмитриевна ничего ответить, как на крыльце домика показалась, вся в белом, фигура адмиральши.

— Madame Зудченко, madame Зудченко! Где вы? — кричала она.

— Я здесь, здесь! — откликнулась та, подбегая к решетке сада.

— Доктора, доктора, madame Зудченко!.. Моя старшая дочь, Людмила, умирает! — продолжала кричать с крылечка адмиральша.

— Сейчас, сейчас! — отвечала Миропа Дмитриевна, не находя впопыхах задвижки, чтобы отпереть садовую калитку.

— Мамаша, Людмила вас зовет: ей еще хуже! — послышался голос Сусанны из распахнутого ею окна.

— О, спасите, спасите нас! — неистовствовала старушка, ломая себе руки.

— Я привезу вам доктора! — вмешался майор и, накинув на себя шинель, быстро пошел.

Миропа Дмитриевна между тем, забыв, конечно, в эти минуты всякие неудовольствия на Рыжовых, бережно ввела старушку на лесенку и, войдя к ним в квартиру, прошла в комнату больной, где, увидав стоявшую Сусанну и поняв сразу, в чем тут дело, проговорила той:

— Ну, вы, душенька, выйдите!

— Сестру надобно причастить! — попыталась сказать Сусанна.

— Это после, погодите,— перебила ее Миропа Дмитриевна,— но теперь вы прикажите моим горничным, чтобы они пришли сюда, а то ваша старушонка очень глупа.

Сусанна повиновалась ей.

Майор через какой-нибудь час привез доктора и ни много ни мало — тогдашнего главного врача воспитательного дома, который был в белом галстуке и во фраке, с несколько строгою и весьма важною физиономией. Аггей Никитич подцепил его где-то уж на вечере и оттуда привез. Ведомый майором, доктор, слегка поклонившись адмиральше и Сусанне, вошел к больной, которую застал в беспамятстве. Расспросив обо всем шепотом Миропу Дмитриевну, он написал длинный рецепт с несколькими подразделениями и сказал, чтобы сейчас послали в аптеку.

— Я полагаю, что родным больной надобно быть подальше от нее! — заметила Миропа Дмитриевна.

— Непременно! — подтвердил доктор.

Миропа Дмитриевна после того, выйдя к ним, строго объявила:

— Ну, mesdames et monsieur, доктор просит вас всех уйти ко мне, на мою половину.

Агаше своей она приказала что есть духу бежать в аптеку.

Адмиральша, Сусанна и майор перешли в квартиру Миропы Дмитриевны и разместились там, как всегда это бывает в минуты катастроф, кто куда попал: адмиральша очутилась сидящей рядом с майором на диване и только что не склонившею голову на его плечо, а Сусанне, севшей вдали от них и бывшей, разумеется, бог знает

до чего расстроенною, вдруг почему-то кинулись в глаза чистота, порядок и даже щеголеватость убранства маленьких комнат Миропы Дмитриевны: в зальце, например, круглый стол, на котором она обыкновенно угощала карабинерных офицеров чаем, был покрыт чистой коломянковой салфеткой; а про гостиную и говорить нечего: не говоря о разных красивых безделушках, о швейном столике с всевозможными принадлежностями, там виднелось литографическое и разрисованное красками изображение Маврокордато, греческого полководца, скачущего на коне и с рубящей наотмашь саблей. Маврокордато этот, случайно или нет, но только чрезвычайно смахивал лицом на Зверева, так что Аггей Никитич сам даже это замечал. Прошло около двух часов; адмиральша и Сусанна беспрестанно посылали пришедшую и стоявшую перед ними их старушонку справляться, уехал доктор или нет, и каждый раз получали ответ, что нет еще!

Зверев все это время сидел, облокотившись на стол и опустив свою голову, причем его штаб-офицерские эполеты низко-низко спускались с плеч.

Наконец снова посланная Юлией Матвеевной старушонка донесла, что доктор уехал, а вслед за нею появилась и Миропа Дмитриевна.

— Ну, что? — спросили ее все в один голос.

— Ничего особенного; доктор только велел не беспокоить больную! — отвечала она, хотя не было сомнения, что многого не договорила.

— А нам можно войти туда к ним? — спросила адмиральша; щеки у нее подергивало при этом, губы дрожали.

— Да, нам бы туда! — произнесла тихо Сусанна.

— Туда вы можете идти, но к больной не входите! — полуразрешила им Миропа Дмитриевна.

— Мы и не войдем к ней! — сказала Сусанна и увела мать, поддерживая ее под руку.

Миропа Дмитриевна, оставшись вдвоем с майором, опустилась в утомлении на кресло.

— Плохо, значит? — сказал тот, не поднимая головы и не оборачиваясь к Миропе Дмитриевне.

— Очень даже!.. Я не сказала, но доктор объявил, что она безнадежна.

— Почему же безнадежна? — переспросил майор, не изменяя своей позы.

— Она выкинула неблагополучно! — сказала тихо Миропа Дмитриевна.— Доктор обещал, как приедет домой, прислать своего помощника, чтобы был около нее.

Майор при этом потер себе лоб.

— А мне тоже можно просидеть у вас тут и подождать, чем эта история кончится? — сказал он, как бы и усмехаясь.

— Конечно, можно! — произнесла с легким восклицанием Миропа Дмитриевна, хотя немножко ее и кольнуло такое желание майора.— Однако я опять пойду туда! — присовокупила она.

— Но мне, разумеется, нельзя даже на минуту пойти с вами? — попытался было майор.

— Без сомнения, нельзя! — отвечала ему уже отрывисто Миропа Дмитриевна и ушла.

Майор принял свою прежнюю позу, и только уж наутро, когда взошло солнце и окрасило верхушки домов московских розоватым отливом, он перешел с дивана к окну и отворил его: воздух был чистый, свежий; отовсюду слышалось пение и щебетание всевозможных птичек, которых тогда, по случаю существования в Москве множества садов, было гораздо больше, чем ныне; но ничто это не оживило и не развлекло майора. Он оставался у окна неподвижен до тех пор, пока не вошла в комнату Миропа Дмитриевна.

— Жива она? — спросил ее Аггей Никитич дрогнувшим голосом.

— Померла! — отвечала Миропа Дмитриевна.

— И верно это?

— Верно!.. Я приставляла ей к ротику зеркало,— не запотело нисколько!

Майор закрыл лицо руками и заплакал.

Это показалось Миропе Дмитриевне странно и опять-таки несколько обидно.

— Что это такое?.. Как же вы на войне после этого были?

— Война — другое дело-с! — отвечал ей с досадой майор.— Но меня всегда бесит, убивает, когда умирает молоденькое, хорошенькое существо, тогда как сам тут черт знает для чего живешь и прозябаешь!

Миропа Дмитриевна передернула плечами.

— Бесспорно, что жаль, но приходить в такое отчаяние, что свою жизнь возненавидеть,— странно, и я ду-

маю, что вы еще должны жить для себя и для других,— начала было она неторопливо и наставническим тоном, но потом вдруг переменила на скороговорку.— Утрите, по крайней мере, слезы!.. Я слышу, Сусанна идет!..

Вошла действительно Сусанна. Лицо ее, как только сестра скончалась, перестало быть растерянным и оставалось только серьезным: Сусанна твердо была уверена, что там, на небе, Людмиле гораздо лучше, чем было здесь, на земле, и только сожалела о том, что ее не успели причастить.

— Надобно распорядиться о похоронах!.. Я тут никого не знаю! — обратилась она к Миропе Дмитриевне.

— Все это я устрою-с,— отозвался майор, вставая и выпрямляясь во весь свой могучий рост.

— Пожалуйста, и вот еще что!..— говорила Сусанна, слегка краснея.— Отправьте это письмо эстафетою в Петербург.

— Немедленно! — отвечал майор; но, уходя, завернул в квартиру Рыжовых, чтобы взглянуть на умершую Людмилу, которая лежала еще нетронутая на своей постели и показалась майору снова похорошевшею до красоты ангелов.

V

Невский проспект в тридцатых годах, конечно, представлял собою несколько иной вид, чем ныне: дома на нем были ниже, в окнах магазинов не виднелось еще таких огромных стекол; около тротуаров, наподобие парижских бульваров, высились липки; Нового Палкинского трактира вовсе не существовало, и вообще около Песков и Лиговки был полупустырь; о железноконной дороге и помину не было, да не было еще и омнибусов; словом, огулом, скопом, демократического передвижения не происходило по всему Петербургу, а на Невском и тем паче; ехали больше в каретах; вместо пролеток тогда были дрожки, на которые мужчины садились верхом. Как бы то ни было, впрочем, Невский проспект в то уже время считался, особенно между двумя и пятью часами дня, сборным местом щегольства, богатства, красоты, интеллигенции и молодцеватости. Дамы обыкновенно шли по оному или под руку с мужчинами, или в сопровождении ливрейных лакеев, причем, как выразил-

ся один тогдашний, вероятно, озлобленный несколько поэт, шли: *«гордясь обновой выписной, гордяся роскошью постыдной и красотою незавидной».* Мужчины весьма разнообразных возрастов почти все были в круглых пуховых шляпах, под коими они хранили свои завитые у парикмахеров алякоки, и самые франтоватые из них были облечены в длинные и по большей части из белого сукна сюртуки с выпущенными из задних карманов кончиками красных фуляровых носовых платков; тросточки у всех были тоненькие, из жимолости, более пригодные для того, чтобы отдуть своего ближнего, чем иметь в сих посохах опору для себя.

Точно в таком же наряде в одно между двух- и пятичасовое утро шел по Невскому и Крапчик. Любя подражать в одежде новейшим модам, Петр Григорьич, приехав в Петербург, после долгого небывания в нем, счел первою для себя обязанностью заказать наимоднейший костюм у лучшего портного, который и одел его буква в букву по рецепту «Сына отечества», издававшегося тогда Булгариным и Гречем, и в костюме этом Крапчик — не хочу того скрывать — вышел ужасен: его корявое и черномазое лицо от белого верхнего сюртука стало казаться еще чернее и корявее; надетые на огромные и волосатые руки Крапчика палевого цвета перчатки не покрывали всей кисти, а держимая им хлыстик-тросточка казалась просто чем-то глупым. Собственно говоря, Крапчик только и мог быть приличен в павловских рукавицах и с эспантоном в руке. Всего этого он сам, конечно, нисколько не подозревал и шел по Невскому с лицом, сияющим от удовольствия. Дело в том, что Крапчик, давно уже передавший князю Александру Николаевичу письмо Егора Егорыча, не был им до сего времени принят по болезни князя, и вдруг нынешним утром получил весьма любезное приглашение, в котором значилось, что его сиятельство покорнейше просит Петра Григорьича приехать к нему отобедать запросто в числе двух — трех приятелей князя. Петр Григорьич исполнился восторга от такой чести: он, человек все-таки не бог знает какого высокого полета, будет обедать у сильнейшего в то время вельможи, и обедать в небольшом числе его друзей. «Что значит ум-то мой и расчет!» — восклицал он мысленно и вместе с тем соображал, как бы ему на княжеском обеде посильнее очернить сенатора, а еще более того губернатора, и при этом закинуть

словцо о своей кандидатуре на место начальника губернии. С Невского Крапчик свернул в Большую Морскую, прошел всю ее и около почтамта, приближаясь к одному большому подъезду, заметно начал утрачивать свое самодовольное выражение, вместо которого в глазах его и даже по всей фигуре стала проглядывать некоторая робость, так что он, отворив осторожно тяжелую дверь подъезда, проговорил ласковым голосом швейцару:

— Его сиятельство изволит быть дома?

— Дома,— отвечал швейцар, одетый в почтамтскую форму и как бы смахивающий своим лицом на Антипа Ильича, камердинера Марфина.— А ваша фамилия? — спросил он, совлекая с Крапчика его модный белый сюртук.

— Действительный статский советник и губернский предводитель дворянства Крапчик!..— произнес уже несколько внушительно Петр Григорьич.

— Князь вас ждет!.. Пожалуйста к нему наверх.

Слова швейцара *князь вас ждет* ободрили Крапчика, и он по лестнице пошел совершенно смело. Из залы со стенами, сделанными под розовый мрамор, и с лепным потолком Петр Григорьич направо увидал еще большую комнату, вероятно, гостиную, зеленого цвета и со множеством семейных портретов, а налево — комнату серую, на которую стоявший в зале ливрейный лакей в штиблетах и указал Крапчику, проговорив:

— Князь здесь!

Крапчик с снова возвратившеюся к нему робостью вошел в эту серую комнату, где лицом ко входу сидел в покойных вольтеровских креслах небольшого роста старик, с остатком слегка вьющихся волос на голове, с огромным зонтиком над глазами и в сером широком фраке. Это именно и был князь; одною рукою он облокачивался на стол из черного дерева, на котором единственными украшениями были часы с мраморным наверху бюстом императора Александра Первого и несколько в стороне таковой же бюст императора Николая. Бюсты эти как бы знаменовали, что князь был почти другом обоих императоров.

Крапчик на первых порах имел смелость произнести только:

— Губернский предводитель дворянства Крапчик!

— Да, знаю, садитесь!..— сказал князь, приподнимая немного свой надглазный зонт и желая, по-видимому, взглянуть на нового знакомого.

Крапчик конфузливо опустился на ближайшее кресло.

— Я по письму Егора Егорыча не мог вас принять до сих пор: все был болен глазами, которые до того у меня нынешний год раздурачились, что мне не позволяют ни читать, ни писать, ни даже много говорить,— от всего этого у меня проходит перед моими зрачками как бы целая сетка маленьких черных пятен! — говорил князь, как заметно, сильно занятый и беспокоимый своей болезнью.

— Вероятно, все это происходит от ваших государственных трудов,— думал польстить Крапчик.

Но князь с этим не согласился.

— Государственные труды мои никак не могли дурно повлиять на меня! — возразил он.— Я никогда в этом случае не насиловал моего хотения... Напротив, всегда им предавался с искреннею радостью и удовольствием, и если что могло повредить моему зрению, так это... когда мне, после одного моего душевного перелома в молодости, пришлось для умственного и морального довоспитания себя много читать.

— А, это именно и причина! — подхватил Крапчик.— Чтение всего вреднее для наших глаз!

Князь, однако, и с этим не вполне согласился.

— Тут тоже я встречаю некоторые недоумения для себя,— продолжал он.— Окулисты говорят, что телесного повреждения в моих глазах нет — и что это суть нервные припадки; но я прежде бы желал знать, что такое, собственно, нервы?.. По-моему, они — органы, долженствующие передавать нашему физическому и душевному сознанию впечатления, которые мы получаем из мира внешнего и из мира личного, но сами они ни болеть, ни иметь каких-либо болезненных припадков не могут; доказать это я могу тем, что хотя в молодые годы нервы у меня были гораздо чувствительнее,— я тогда живее радовался, сильнее огорчался,— но между тем они мне не передавали телесных страданий. Значит, причина таится в моих летах, в начинающем завядать моем архее!

— Для кого же архей не великое дело! — воскликнул с чувством Крапчик.

— Да,— подтвердил князь,— жаль только, что на горе человечества не отыскан еще пока жизненный эликсир!

— Нет-с, не отыскан! — повторил опять с чувством Крапчик.

— А скажите, где теперь Егор Егорыч? — переменил вдруг разговор князь, начинавший, кажется, догадываться, что Крапчик был слишком дубоват, чтобы вести с ним отвлеченную беседу.

— Он в Москве и пишет, что скоро приедет сюда! — счел за лучшее выдумать Крапчик, так как Егор Егорыч не только этого, но даже ничего не писал ему.

— Буду ждать его с нетерпением, с большим нетерпением! — проговорил князь.— Для меня всякий приезд Егора Егорыча сюда душевный праздник!.. Я юнею, умнею, вхожу, так сказать, в мою прежнюю атмосферу, и мне легче становится дышать!

Крапчик, хотя прежде и слыхал от Егора Егорыча, что князь был очень благосклонен к тому, но чтобы они до такой степени были между собою близки и дружны, Петр Григорьич даже не подозревал, и потому немедленно же поспешил рассыпаться с своей стороны тоже в похвалах Марфину, льстя вместе с тем и князю:

— Если уж вы, ваше сиятельство, так понимаете Егора Егорыча, то каким он должен являться для нас, провинциалов? И мы, без преувеличения, считаем его благодетелем всей нашей губернии.

— Почему же именно благодетелем? — поинтересовался князь.

— Да потому, что он, например, вызвал ревизию на нашу губернию.

— А это вы считаете благодеянием? — спросил с живостью князь.

— Решительным благодеянием, если бы только ревизующий нашу губернию граф Эдлерс...— хотел было Крапчик прямо приступить к изветам на сенатора и губернатора; но в это время вошел новый гость, мужчина лет сорока пяти, в завитом парике, в черном атласном с красными крапинками галстуке, в синем, с бронзовыми пуговицами, фраке, в белых из нитяного сукна брюках со штрипками и в щеголеватых лаковых сапожках. По своей гордой и приподнятой физиономии он напоминал несколько англичанина.

— Очень рад, Сергей Степаныч, что вы урвали время отобедать у меня! — сказал князь, догадавшийся по походке, кто к нему вошел в кабинет, а затем, назвав Крапчика, он сказал и фамилию вновь вошедшего гостя, который оказался бывшим гроссмейстером одной из самых значительных лож, существовавших в оно время в Петербурге.

Петр Григорьич, как водится, исполнился благоговением к этому лицу.

— Но что же наш аккуратнейший Федор Иваныч не является? — проговорил князь, взглянув на часы.

— Я его обогнал на лестнице вашей; он тащит какую-то картину! — сказал Сергей Степаныч, едва кивнувший Крапчику головой на низкий поклон того.

Вслед за тем вошел и названный Федор Иваныч в вицмундире, с лицом румяным, свежим и, по своим летам, а равно и по скромным манерам, обнаруживавший в себе никак не выше департаментского вице-директора. В руках он действительно держал масляной работы картину в золотой раме.

— Я чуть-чуть не запоздал и вот по какой причине! — начал он с приятной улыбкой и кладя на стол перед князем картину.

— Евангелист Иоанн, как вы говорили! — сказал тот, всматриваясь своими больными глазами в картину.

— Иоанн евангелист... и что дорого: собственной работы Доминикино! — доложил с заметным торжеством Федор Иваныч.

— Но где же вы сумели достать это? — вмешался в разговор Сергей Степаныч.— Подлинный Доминикино, я думаю, очень редок!

— Нет, не редок,— скромно возразил ему Федор Иваныч,— и доказательство тому: я картину эту нашел в маленькой лавчонке на Щукином дворе посреди разного хлама и, не дав, конечно, понять торговцу, какая это вещь, купил ее за безделицу, и она была, разумеется, в ужасном виде, так что я отдал ее реставратору, от которого сейчас только и получил... Картину эту,— продолжал он, обращаясь к князю,— я просил бы, ваше сиятельство, принять от меня в дар, как изъявление моего глубокого уважения к вам.

— Но, милейший Федор Иваныч,— произнес несколь-

ко даже сконфуженный князь,— вы сами любитель, и зачем же вы лишаете себя этой картины?

— Я, ваше сиятельство, начинаю собирать только русских художников! — объяснил Федор Иваныч.

— Русских художников! — воскликнул Сергей Степаныч.— Но где же они?.. По-моему, русских художников еще нет.

— Нет-с, есть! — произнес опять с приятной улыбкой Федор Иваныч.

— Но что же вы, однако, имеете из их произведений? — допытывался Сергей Степаныч.

— Мало, конечно,— отвечал Федор Иваныч, севший по движению руки князя.— Есть у меня очень хорошая картина: *«Петербург в лунную ночь» — Воробьева!..* потом *«Богоматерь с предвечным младенцем и Иоанном Крестителем» — Боровиковского...*

— Но разве это православная божья матерь? — перебил его Сергей Степаныч.— У нас она никогда не рисуется с Иоанном Крестителем; это мадонна!

— Мало, что мадонна, но даже копия, написанная с мадонны Корреджио, и я разумею не русскую собственно школу, а только говорю, что желал бы иметь у себя исключительно художников русских по происхождению своему и по воспитанию.

— А, то другое дело! — сказал с важностью Сергей Степаныч.— Даровитые художники у нас есть, я не спорю, но оригинальных нет, да не знаю, и будут ли они!

— Даровитых много,— подтвердил и князь,— что, как мне известно, чрезвычайно радует государя!.. Но, однако, постойте, Федор Иваныч,— продолжал он, потерев свой лоб под зонтиком,— чем же я вас возблагодарю за ваш подарок?

Федор Иваныч зарумянился при этом еще более.

— Одним бы сокровищем вы больше всего меня осчастливили,— сказал он, поникая головой,— если бы позволили списать портрет с себя для моей маленькой галереи.

— Готов... когда хотите... во всякое время!..— говорил князь.— Только какому же художнику поручить это?

— Брюллову, полагаю! — отвечал Федор Иваныч.

— Непременно ему! — подхватил Сергей Степаныч.— Кто же может, как не Брюллов, передать вполне тонкие черты князя и выражение его внутренней жизни?

— Попросите его! — отнесся князь к Федору Иванычу.

— Непременно, завтра же! — поспешно проговорил тот.— Одно несчастье, что Карл Павлыч ведет чересчур артистическую жизнь... Притом так занят разными заказами и еще более того замыслами и планами о новых своих трудах, что я не знаю, когда он возьмется это сделать!

— Это бог с ним,— отозвался князь,— пусть он и позамедлит; не нынешний год, так в будущем, а то и в последующем!..

— La table est servie! [1] — раздался голос вошедшего метрдотеля, очень жирного и в ливрее.

Князь вежливо пустил всех гостей своих вперед себя, Крапчик тоже последовал за другими; но заметно был смущен тем, что ни одного слова не в состоянии был приспособить к предыдущему разговору. «Ну, как,— думал он,— и за столом будут говорить о таких же все пустяках!» Однако вышло не то: князь, скушав тарелку супу, кроме которой, по болезненному своему состоянию, больше ничего не ел, обратился к Сергею Степанычу, показывая на Петра Григорьича:

— Господин Крапчик очень хороший знакомый Егора Егорыча Марфина!

— Даже имею смелость сказать, что друг его! — пробурчал себе под нос Петр Григорьич.

— А! — произнес на это бывший гроссмейстер.

— Их губернию ревизует сенатор граф Эдлерс; вам, может быть, это известно? — продолжал князь.

Сергей Степаныч наклонением головы выразил, что ему известно это, и затем спросил Крапчика:

— И как же у вас действует граф?

Петр Григорьич вначале было затруднился, как ему отвечать: очень уж поражал его своим гордым видом бывший гроссмейстер.

— Говорите совершенно откровенно! — поддержал его князь и тут же присовокупил Сергею Степанычу: — Егор Егорыч в письме своем просит меня верить господину Крапчику, как бы мы верили ему самому!

Ободренный этими словами, Петр Григорьич пустил сразу и во всю силу свою диалектику.

— Я, как губернский предводитель, как помещик

---

[1] Кушать подано! (*франц.*)

местный... наконец, по долгу чести моей, должен сказать, что мы крайне печалимся, что ревизовать нашу губернию прислан не другой кто, а граф Эдлерс.

Слова эти заметно удивили Сергея Степаныча: граф Эдлерс был товарищ его по службе, и если считался всеми не за очень серьезного человека, то, во всяком случае, за весьма честного.

— Но чем же вас так печалит граф Эдлерс? — спросил он несколько официально Крапчика.

Тот не без усилия над собой продолжал в начатом тоне:

— Граф... по приезде в нашу губернию... увлекся одною дамой — ближайшей родственницей губернатора, и потому все пошло шито и крыто, а какого рода у нас губернатор, это я желал, чтобы вы изволили слышать лично от Егора Егорыча!

Сергей Степаныч при этом гордо взмахнул головой.

— Вашего губернатора я отчасти знаю, потому что сам был губернатором в смежной с ним губернии, и мне всегда казалось странным: как только я откажу от места какому-нибудь плутоватому господину, ваш губернатор сейчас же примет его к себе, и наоборот: когда он выгонял от себя чиновника, я часто брал того к себе, и по большей части оказывалось, что чиновник был честный и умный.

— Вкусы, видно, были у вас разные! — заметил с усмешкой князь.

— Вероятно! — сказал, тоже усмехнувшись, Сергей Степаныч.

— Но в таком случае зачем же Дмитрий Николаич терпит на службе такого губернатора? — произнес с удивлением князь.

— Во-первых, Дмитрий Николаич не терпит его, потому что над губернатором назначена ревизия...— возразил Сергей Степаныч,— а там уж дело графа Эдлерса.

— Но все-таки Дмитрию Николаичу следует написать письмо к графу, что так действовать нельзя! — говорил князь, как видно, полагавший, подобно Егору Егорычу, что моральными и наставительными письмами можно действовать на людей.

— Дмитрий Николаич, как министр внутренних дел, никакого права не имеет вмешиваться, когда уж раз начата ревизия! — возразил Сергей Степаныч.

— Тогда пусть напишет графу министр юстиции! — настаивал на своем князь.— Не поручит же Егор Егорыч господину Крапчику говорить то, чего нет!

— Я нисколько не сомневаюсь в том! — произнес Сергей Степаныч и снова обратился к Крапчику:

— Какие же факты существуют, где бы граф скрыл или промиротворил чему-нибудь?

— Факты: мое собственное дело! — воскликнул с увлечением Крапчик (о, как впоследствии он раскаивался, что начал с этого проклятого собственного дела!).— В соседстве с одним моим маленьким имением,— стал рассказывать далее Петр Григорьич,— появилась года четыре тому назад эта ужасная и совершенно правительством нетерпимая скопческая ересь... Оскопителем оказался один хлыст... Я, по влиянию своему на земскую полицию, настоял, чтобы хлыста этого привлекли к следствию и уличили... А что скопцы и хлысты одно и то же, это мне хорошо известно, потому что, вращаясь беспрестанно между разными сектами, я много читал об этом и слышал рассуждения от высших духовных лиц. Хлыст этот, без сомнения, был бы осужден, ибо в доме у него происходили ихние радения.

Князь, Сергей Степаныч и Федор Иваныч все с большим и большим вниманием прислушивались к Крапчику.

— И что на этих радениях происходит, вы вообразить себе не можете! — лупил тот слово в слово, что он слышал от архиерея.— На этих радениях они прежде убивали младенцев своих, причащались их кровью, потом бегали, скакали около чана.

Говоря это, Крапчик и не помышлял нисколько, что его слушает тот вельможа, который когда-то сам, если не на чисто хлыстовских радениях, то на чем-то весьма похожем, попрыгивал и поплясывал у m-me Татариновой.

Между тем бестактная ошибка его заметно смутила Федора Иваныча и Сергея Степаныча, которые оба знали это обстоятельство, и потому они одновременно взглянули на князя, выражение лица которого тоже было не совсем довольное, так что Сергей Степаныч нашел нужным заметить Крапчику:

— Это — дело, лично вас касающееся, но другие же какие дела?

— Другие-с дела? — отвечал тот, будучи весьма опешен и поняв, что он сказал что-то такое не совсем приятное своим слушателям.— Обо всех этих делах у меня составлена записка! — добавил он и вынул из кармана кругом исписанный лист в ожидании, что у него возьмут этот лист.

Однако его никто не брал, и, сверх того, Сергей Степаныч прямо сказал:

— Вам эту записку лучше представить министру юстиции.

— Я не имею чести быть известным его высокопревосходительству господину министру юстиции,— проговорил на это раболепным голосом Петр Григорьич.

— Это ничего не значит: вы лицо официальное и по интересам вашего дворянства можете являться к каждому министру! — растолковывал ему Сергей Степаныч.

— Но Егор Егорыч,— продолжал тем же тоном Крапчик,— приказал мне прежде всех быть у князя и попросить, не примут ли они участия в нашем деле.

— Нет, батюшка, нет!..— сказал князь, отмахнувшись даже рукой.— Я болен, стар и не мешаюсь ни в чьи чужие дела.

Крапчик, слыша и видя все это, не посмел более на эту тему продолжать разговор, который и перешел снова на живописцев, причем стали толковать о каких-то братьях Чернецовых, которые, по словам Федора Иваныча, были чисто русские живописцы, на что Сергей Степаныч возражал, что пока ему не покажут картины чисто русской школы по штилю, до тех пор он русских живописцев будет признавать иностранными живописцами. В доказательство своего мнения Федор Иваныч приводил, что Чернецовы — выводки и птенцы Павла Петровича Свиньина, «этого русского, по выражению Пушкина, жука».

— Но вы заметьте,— оспаривал его Сергей Степаныч,— Пушкин же совершенно справедливо говорил об Свиньине, что тот любит Россию и говорит о ней совершенно как ребенок...

Потом стали говорить, что Жуковский несколько времени всюду ездит со стихотворениями какого-то Бенедиктова и в восторге от них.

— Слышал это я,— сказал князь,— и мне передава-

ли, что Вяземский отлично сострил, говоря, что поэзия... как его?..

— Бенедиктова! — подсказал Федор Иваныч.

— Да, поэзия господина Бенедиктова похожа на мелкий ручеек, в который можно поглядеться, но нельзя в нем выкупаться.

— Я думаю, что и поглядеться даже не стоит,— отозвался насмешливо Сергей Степаныч.— Кстати, по поводу *выкупаться,*— присовокупил он, исключительно обращаясь к князю,— молодой Шевырев, который теперь в Италии, мне пишет и выразился так об Данте: «Данта читать, что в море купаться!..» Это недурно!..

— Очень, очень,— одобрил князь.

Крапчик едва владел собой, слушая такие рассуждения Сергея Степаныча и князя. «И это,— думал он про себя,— разговаривают сановники, государственные люди, тогда как по службе его в Гатчинском полку ему были еще памятны вельможи екатерининского и павловского времени: те, бывало, что ни слово скажут, то во всем виден ум, солидность и твердость характера; а это что такое?..» По окончании обеда, как только позволяло приличие, Петр Григорьич, почтительно откланявшись князю и его гостям, поехал в свою гостиницу, чтобы немедля же написать Егору Егорычу отчаянное письмо, в котором объявить ему, что все их дело погибло и что весь Петербург за сенатора и за губернатора. Вслед за уходом Петра Григорьича стал раскланиваться и Федор Иваныч.

— А вы на вашу службу? — сказал ему ласково князь.

— Уж восьмой час! — отвечал Федор Иваныч и удалился.

— Этот господин Крапчик, должно быть, дубина великая! — сказал князь, оставшись вдвоем с Сергеем Степанычем.

— Должно быть! — согласился тот.

— Однако он губернский предводитель дворянства,— заметил князь.

— А разве бо̀льшая часть из них не такие же?..— проговорил надменным тоном Сергей Степаныч.

— Но вы забываете, что он друг Егора Егорыча,— продолжал князь.

Сергей Степаныч объяснил это, подумавши.

— Егор Егорыч,— начал он,— бесспорно умен и самых высоких душевных качеств, но не думаю, чтобы был осмотрителен и строг в выборе своих друзей: очень уж он в облаках витает.

— Это, пожалуй, что правда! Во всяком случае, Егор Егорыч сам скоро приедет сюда, и я до его приезда ничего не предприму по его письму! — решил князь.

— Конечно! — подтвердил Сергей Степаныч.— А я сегодня думал ехать к вам до вашего еще приглашения; вы давно видели Василия Михайлыча Попова?

— Давно, я, по болезни, из моих чиновников никого не принимаю с докладом.

— Екатерину Филипповну Татаринову тоже давно не видали?

— А ту и не помню, когда видел.

— По городу ходят слухи,— продолжал Сергей Степаныч,— что родная дочь Василия Михайлыча Попова явилась к шефу жандармов и объявила, что отец заставляет ее ходить на их там дачах на собрания к Екатерине Филипповне, и когда она не хотела этого делать, он бил ее за то, запирал в комнате и не кормил.

— Вздор, вздор! — отвергнул с негодованием князь.— Бедный Василий Михайлыч везде, как кур во̀ щи, попадается, тогда как все это, я уверен, выдумки и проделки того же Фотия и девы его Анны.

— Фотий, говорят, очень болен!.. Я недавно видел графиню в одном салоне,— она в отчаянии! — объяснил Сергей Степаныч.

— Это им обоим нисколько не помешает козни строить... Я вам никогда не рассказывал, что эти лица со мною при покойном императоре Александре сделали... перед тем как мне оставить министерство духовных дел?

— Нет,— отвечал Сергей Степаныч.

— Ну так слушайте! — начал князь с сильным старческим одушевлением.— Я, как человек доверчивый, всегда считал Фотия и графиню друзьями своими, а они, кажется, не считали меня своим другом. Вышел тогда перевод книги Госнера, поправленный Василием Михайлычем Поповым, на который, втайне от меня, Фотий написал омерзительную клевету... Я это узнал и, приехав к графине в ее отсутствие и застав там Фотия, стал с ним спорить о книге Госнера. Вдруг он начал — буквально вам это говорю — кричать на меня. «Видел ли ты, говорит,

сатану, яко молния, спадшего с неба? Так и ты и вси твои падут с тобой».— «Удержитесь, ваше высокопреподобие,— возразил я ему.— Я сам, может быть, знаю лучше вас, что истинно и что нет, и прямо вам говорю: ложь вы глаголете». Тогда он воскликнул: «Егда, говорит, не будет тебе, князь, беды на земле за неверие твое, то аз простираю руку к небу и призываю на тебя суд божий: анафема!»

Сергей Степаныч при этом даже вздрогнул.

— Ах, изувер этакий! — произнес он.

— Нет, он мало что изувер, но и плут великий! — возразил князь.— У него все в этом случае было рассчитано. Потому, когда я пожаловался на него, государь чрезвычайно разгневался; но тут на помощь к Фотию не замедлили явиться разные друзья мои: Аракчеев, Уваров, Шишков, вкупе с девой Анной, и стали всевозможными путями доводить до сведения государя, будто бы ходящие по городу толки о том, что нельзя же оставлять министром духовных дел человека, который проклят анафемой.

— Какое же это проклятие? — воскликнул Сергей Степаныч.— Какой-то архимандрит,— значит, лицо весьма невысокое по своему иерархическому сану,— прокричал: «анафема»? Его бы надо было только расстричь за это!

— Казалось бы, но вышло напротив! — воскликнул тоже и князь.— Они объясняли это, что меня проклял не Фотий, а митрополит Серафим, который немедля же прислал благословение Фотию на это проклятие, говоря, что изменить того, что сделано, невозможно, и что из этого даже может произойти добро, ибо ежели царь, ради правды, не хочет любимца своего низвергнуть, то теперь, ради стыда, как прòклятого, он должен будет удалить.

VI

Егор Егорыч приехал, наконец, в Петербург и остановился в одном отеле с Крапчиком, который немедля прибежал к нему в нумер и нашел Егора Егорыча сильно постаревшим, хотя и сам тоже не помолодел: от переживаемых в последнее время неприятных чувствований и при содействии петербургского климата Петр Григорь-

ич каждодневно страдал желчною рвотою и голос имел постоянно осиплый.

— Мы теперь,— забасил он с грустно-насмешливым оттенком,— можем сказать, что у нас все потеряно, кроме чести!

— Почему потеряно? Из чего вы это заключаете?— отозвался с досадой Егор Егорыч.

— Из того, что Петербург ныне совсем не тот, какой был прежде; в нем все изменилось: и люди и мнения их! Все стали какие-то прапорщики гвардейские, а не правительственные лица.

Егор Егорыч молчал.

— Князя, конечно, я лично не знал до сего времени,— продолжал Крапчик,— но, судя по вашим рассказам, я его представлял себе совершенно иным, нежели каким увидал...

— Каким же вы его увидали?.. Что такое?..— спросил опять-таки с досадой Егор Егорыч.

— То, что... Я побоялся в письме подробно описывать вам, потому что здесь решительно говорят, что письма распечатываются, особенно к масонам!..

— Ну, придумывайте еще что-нибудь! — перебил его Егор Егорыч.

— Что делать? Сознаюсь откровенно, что побоялся! — признался Крапчик и затем принялся было точнейшим образом рассказывать, как он сначала не был принимаем князем по болезни того, как получил потом от него очень любезное приглашение на обед...

— А кто еще с вами обедал у князя? — перебил его Егор Егорыч.

— Обедали известный, разумеется, вам Сергей Степаныч и какой-то еще Федор Иваныч...

— Знаю! — как бы отрезал Егор Егорыч.

— За обедом князь,— продолжал Крапчик,— очень лестно отрекомендовав меня Сергею Степанычу, завел разговор о нашем деле, приказал мне говорить совершенно откровенно. Я начал с дела, лично меня касающегося, об одном раскольнике-хлысте Ермолаеве, который, по настоянию моему, посажен в острог и которого сенатор оправдал и выпустил.

Егор Егорыч, услыхав это, откинулся на задок кресла, как он всегда делал, когда его что-нибудь поражало или сердило.

— Но зачем же вы с этого какого-то глупого дела начали? — произнес он.

— Потому что оно самое крупное,— объяснил Крапчик.

— Не может оно быть крупное!.. Это какая-нибудь сплетня, клевета поповская!.. За что хлыстов преследовать и сажать в острог?.. После этого князя и меня надобно посадить в острог, потому что и мы, пожалуй, хлысты!..

Тут уж Крапчика точно кто по голове обухом ударил.

— Что это, Егор Егорыч, шутите ли вы или дурачите меня?!.— сказал он, потупляя глаза.— Я скорее всему на свете поверю, чем тому, что вы и князь могли принадлежать к этой варварской секте!

— К варварской?.. Вы находите, что эта секта варварская? — принялся уже кричать Егор Егорыч.— Какие вы данные имеете для того?.. Какие?.. Тут зря и наобум говорить нельзя!

— Нет-с, я не наобум говорю,— возразил обиженным голосом Крапчик и стал передавать все, что он слышал дурного о хлыстах от Евгения.

Егор Егорыч морщился и вместе с тем догадался, что Петр Григорьич не сам измыслил рассказываемое и даже не с ветру нахватал все это, потому что в словах его слышалась если не внутренняя, то, по крайней мере, фактическая правда.

— Кто вам повествовал так о хлыстах? — спросил он.

— Повествовал мне о них ученейший человек,— отвечал с апломбом Крапчик,— мой и ваш приятель, наш архиерей Евгений.

— Нет, я не считаю Евгения своим приятелем! — отрекся Егор Егорыч.— Я Евгения уважаю: он умен, бесспорно, что учен; но он рассудочный историк!.. Он в каждом событии ни назад заглядывать, ни вперед предугадывать не любит, а дай ему все, чтобы пальцем в документиках можно было осязать... Я об этом с ним многократно спорил.

— А как же иначе, на что же можно опираться, как не на факты,— возразил Крапчик.

— А на то, как говорит Бенеке,— хватил уж вот куда Егор Егорыч,— что разум наш имеет свой предел, и вот, положим, его черта...

Сказав это, Егор Егорыч провел ногтем дугу на столе.

— Далее этой черты ум ничего не понимает, и тут уж действуют наши чувства и воображение, и из них проистекли пророчества, все религии, все искусства, да, я думаю, и все евангельские истины: тут уж наитие бога происходит!

Такой отвлеченной тирады Крапчик, конечно, не мог вполне понять и придумал только сказать:

— Евгений, впрочем, мне доказывал,—с чем я никак не могу согласиться,— что масоны и хлысты одно и то же.

— Масоны со всеми сектами одно и то же и всем им благосклонствуют, потому что все это работа для очистки места к построению нового истинного храма! Вы, как масон, чего ищете и к чему стремитесь? — обратился Егор Егорыч настойчиво к Крапчику.

— Нравственного усовершенствования,— проговорил тот обычную казенную фразу.

— Но посредством чего? — допытывался Егор Егорыч.— Посредством того, что вы стремились воспринять в себя разными способами — молитвой, постом, мудромыслием, мудрочтением, мудробеседованием — Христа!.. К этому же, как достоверно мне известно, стремятся и хлысты; но довольно! Скажите лучше, что еще происходило на обеде у князя?

— Происходило,— ответил Крапчик, сразу вошедший в свою колею,— что Сергей Степаныч стал меня, как на допросе, спрашивать, какие же я серьезные обвинения имею против сенатора. Я тогда подал мою заранее составленную докладную записку, которой, однако, у меня не приняли ни князь, ни Сергей Степаныч, и сказали мне, чтобы я ее представил министру юстиции Дашкову, к которому я не имел никаких рекомендаций ни от кого.

Прослушав все это, Егор Егорыч сурово молчал.

— И неужели же,— продолжал Крапчик почти плачевным голосом,— князь и Сергей Степаныч рассердились на меня за хлыстов?.. Кто ж мог предполагать, что такие высокие лица примут на свой счет, когда говоришь что-нибудь о мужиках-дураках?!

Егор Егорыч и на это не сказал Петру Григорьичу ни слова в утешение и только переспросил:

— Вы говорите, что князь велел вам вашу докладную записку подать министру юстиции Дашкову?

— Ему!..— отвечал Крапчик.— А вы знакомы с господином Дашковым?

— Нет, но это все равно: Дашков дружен с Сперанским. Дайте мне вашу записку! Я передам ее Михаилу Михайлычу,— проговорил Егор Егорыч.

Крапчик не с большой охотой передал Егору Егорычу записку, опасаясь, что тот, по своему раскиданному состоянию духа, забудет о ней и даже потеряет ее, что отчасти и случилось. Выехав из своего отеля и направившись прямо к Сперанскому, Егор Егорыч, тем не менее, думал не об докладной записке, а о том, действительно ли масоны и хлысты имеют аналогию между собой,— вопрос, который он хоть и решил утвердительно, но не вполне был убежден в том.

Михаил Михайлыч Сперанский в это время уже преподнес государю напечатанный свод законов и теперь только наблюдал, как его детище всюду приводилось в исполнение. Если судить по настоящим порядкам, так трудно себе даже представить всю скромность квартиры Михаила Михайлыча. Егор Егорыч, по своей торопливости, в совершенно темной передней знаменитого государственного деятеля чуть не расшиб себе лоб и затем повернул в хорошо ему знакомый кабинет, в котором прежде всего кидались в глаза по всем стенам стоявшие шкапы, сверху донизу наполненные книгами. На большом письменном столе лежало множество бумаг, но в совершеннейшем порядке. Вообще во всем убранстве кабинета проглядывали ум и строгая систематика Михаила Михайлыча. Когда Егор Егорыч появился в кабинете, Михаил Михайлыч сидел за работой и казался хоть еще и бодрым, но не столько, кажется, по телу, сколько по духу, стариком. Одет он был во фраке с двумя звездами и в белом высоком жабо.

Егору Егорычу он обрадовался и произнес:

— Кого я вижу пред собой?

Егор Егорыч, по своему обыкновению, сел торопливо на кресло против хозяина.

— Знаете ли вы, о чем я думал, ехав к вам? — начал он.

— Конечно, не знаю,— отвечал Михаил Михайлыч.

— Я думал о хлыстах!

Такое думание Егора Егорыча нисколько, кажется, не удивило Михаила Михайлыча и не вызвало у него ни малейшей улыбки.

— Их секту преследуют!.. За что? — дообъяснил Егор Егорыч.

— Я думаю, не одних хлыстов, а вообще раскольников начинают стеснять, и почему это делается, причин много тому! — проговорил уклончиво Михаил Михайлыч.

— Причина одна, я думаю,— пробормотал Марфин,— хлысты — мистики, а это не по вкусу нашему казенному православию.

Тут Сперанский уж улыбнулся слегка.

— Если они и мистики, то очень грубые,— отозвался он.

— Чем? — воскликнул Егор Егорыч.

— Во-первых, своим пониманием в такой грубой, чувственной форме мистических экстазов и, наконец, своими беснующимися экстазиками, что, по-моему, требует полного подавления!

— Но они все мужики, вы забываете это!

— И в среде апостолов были рыбари... Духовные отцы нашей церкви никогда не позволяли себе ни скаканий, ни экстазов — вещей порядка низшего; и потом эти видения и пророчества хлыстов,— что это такое?

Егор Егорыч был и согласен и несогласен с Михаилом Михайлычем.

— Но как же основать всеобщую внутреннюю церковь, как не этим путем? — кипятился он.— Пусть каждый ищет Христа, как кто умеет!

— И никто, конечно, сам не найдет его! — произнес, усмехнувшись, Михаил Михайлыч.— На склоне дней моих я все более и более убеждаюсь в том, что стихийная мудрость составила себе какую-то теозофически-христианскую метафизику, воображая, что открыли какой-то путь к истине, удобнейший и чистейший, нежели тот, который представляет наша церковь.

Эти слова ударили Егора Егорыча в самую суть.

— Но тогда к черту весь наш мистицизм! — воскликнул он.

— Господь с вами!.. Куда это вы всех нас посылаете? — возразил ему Михаил Михайлыч.— Я первый не отдам мистического богословия ни за какие сокровища в мире.

— Но что вы разумеете под именем мистического богословия? — перебил его Егор Егорыч.

— Я разумею... но, впрочем, мне удобнее будет ответить на ваш вопрос прочтением письма, которое я когда-то еще давно писал к одному из друзей моих и отпуск с которого мне, как нарочно, сегодня поутру, когда я разбирал свои старые бумаги, попался под руку. Угодно вам будет прослушать его? — заключил Михаил Михайлыч.

— О, бога ради, бога ради! — воскликнул Егор Егорыч.

Михаил Михайлыч начал читать немножко нараспев:

«Путь самоиспытания (очищение водою, путь Иоанна Предтечи) есть приготовление к возрождению. Затем начинается путь просвещения, или креста. Начатки духовной жизни во Христе бывают слабы: Христос рождается в яслях от бедной, горькой Марии; одне высшие духовные силы нашего бытия, ангелы и мудрые Востока, знают небесное его достоинство; могут однакоже и низшие душевные силы, пастыри, ощутить сие рождение, если оне бдят и примечают. Примечайте: всякая добрая мысль, всякое доброе движение воли есть и движение Христово: «Без меня не можете творити ничесо же». По мере того как вы будете примечать сии движения и относить их к Христу, в вас действующему, он будет в вас возрастать, и наконец вы достигнете того счастливого мгновения, что в состоянии будете ощущать его с такой живостью, с таким убеждением в действительности его присутствия, что с непостижимою радостью скажете: «так точно, это он, господь, бог мой!» Тогда следует оставить молитву умную и постепенно привыкать к тому, чтобы находиться в общении с богом помимо всяких образов, всякого размышления, всякого ощутительного движения мысли. Тогда кажется, что в душе все молчит, не думаешь ни о чем; ум и память меркнут и не представляют ничего определенного; одна воля кротко держится за представление о боге,— представление, которое кажется неопределенным, потому что оно безусловно и что оно не опирается ни на что в особенности. Тогда-то вступаем в *сумрак веры,* тогда-то не знаем более ничего и ждем вечного света непосредственно свыше, и если упорствуем в этом ожидании, то свет

этот нисходит и царствие божие раскрывается... Но что же такое царствие божие и в чем оно состоит? Никто не может ни описать вам его, ни дать о нем понятие. Его чувствуешь, но оно несообщимо. В этом-то состоянии начинает раскрываться *внутреннее слово*. Это-то состояние, собственно, называется состоянием благодати. Это состояние служит исходом учения Христа, и лишь это состояние он пришел возвестить и уготовить нам. Все то, что предшествует этому состоянию (что я называю азбукою), составляет область Иоанна Предтечи, который уготовляет путь, но не есть путь. Это же состояние называется *мистическим богословием*. Это не книжное учение. Наставник в нем сам бог, и он сообщил свое учение душе непосредственно, без слов, и способом, который невозможно объяснить словами. Сообразно этим путям, по-моему, три вида молитвы: *словесная, умная* и *созерцательная*. Восточные отцы последнее состояние называли *безмолвием*, а западные: «suspension des facultès de l'âme».

Егор Егорыч, прослушавший с глубочайшим вниманием Сперанского, видимо, подавлен был возвышенностью взгляда Михаила Михайлыча, но тем не менее воскликнул:

— Что вы говорите,— то превосходно, но этого не поняли ни многоумницы лютеране, ни католики, ни даже мы, за исключением только аскетов, аскетов наших.

— И того довольно, а к этому еще прибавьте себя,— сказал с улыбкой Михаил Михайлыч,— меня тоже, хоть и скудного, может быть, разумом по этому предмету...

— Вы-то пуще скудны разумом! — снова воскликнул Егор Егорыч.— А знаете ли, какой в обществе ходит старый об вас анекдот, что когда вы побывали у Аракчеева, так он, когда вы ушли, сказал: «О, если бы к уму этого человека прибавить мою волю, такой человек много бы сделал».

Михаил Михайлыч усмехнулся и не без ядовитости заметил:

— Это очень возможно. Аракчеев любил приписывать то, что он из заурядных генералов так возвысился, твердому характеру своему, а не внешним, в пользу его сложившимся обстоятельствам.

Затем Михаил Михайлыч взглянул уже на часы.

— Вам пора ехать? — спросил его торопливо Егор Егорыч.

— Да, в одну из моих комиссий, где я даже председательствую,— отвечал Михаил Михайлыч, поправляя свое жабо и застегивая фрак.

— Поезжайте, но вот что, постойте!.. Я ехал к вам с кляузой, с ябедой...— бормотал Егор Егорыч, вспомнив, наконец, о сенаторской ревизии.— Нашу губернию ревизуют,— вы тогда, помните, помогли мне устроить это,— и ревизующий сенатор — граф Эдлерс его фамилия — влюбился или,— там я не знаю,— сблизился с племянницей губернатора и все покрывает... Я привез вам докладную записку об этом тамошнего губернского предводителя.

Егор Егорыч, вынув из кармана записку Крапчика, сунул ее в руку Сперанскому.

— Но что же мне делать с этой запиской? Я недоумеваю,— произнес тот размышляющим тоном и в то же время кладя себе записку на стол.

— Дашкову передайте, Дашкову, и скажите, что вот какого рода слухи идут из губернии от самых достоверных людей!

— Я всего лучше передам Дашкову, что это я от вас слышал,— сказал Михаил Михайлыч,— он вас, конечно, знает?

— Немножко!.. Передайте, что и от меня слышали, если только это будет иметь значение!

Навосклицавшись и набормотавшись таким образом у Сперанского, Егор Егорыч от него поехал к князю Александру Николаичу, швейцар которого хорошо, видно, его знал.

— Принимает? — пробормотал Егор Егорыч.

— Вас-то?.. Господи! — произнес как бы с удивлением швейцар.— Только теперь у них дочь Василия Михайлыча Попова, но это ничего, пожалуйте!

Егор Егорыч стал, по обыкновению, проворно взбираться на лестницу.

— А Антип Ильич с вами? — крикнул ему вслед швейцар.

— Со мной, придет к тебе в гости! — прокричал ему Егор Егорыч.

— Пожалуйста, чтобы непременно пришел! — упра-

шивал швейцар, который тоже, кажется, был партикулярным членом одной масонской ложи.

Князь на этот раз был не в кабинете, а в своей богато убранной гостиной, и тут же с ним сидела не первой молодости, должно быть, девица, с лицом осмысленным и вместе с тем чрезвычайно печальным. Одета она была почти в трауре. Услыхав легкое постукивание небольших каблучков Егора Егорыча, князь приподнял свой зонтик.

— Приехали? Ну, подойдите, облобызаемтесь! — проговорил он.

Егор Егорыч подошел, и они облобызались — по-масонски, разумеется. Девица между тем, смущенная появлением нового лица, поспешила встать.

— Мне, ваше сиятельство, позвольте еще раз побывать у вас,— сказала она.

— Непременно, непременно!..— повторил князь.— И послезавтра же приезжайте, а я до тех пор поразузнаю и соображу.

Девушка после того сделала прощальный книксен князю и пошла, колеблясь своим тонким станом. Видимо, что какое-то разразившееся над нею горе подсекло ее в корень.

По уходе ее, князь несколько мгновений не начинал разговора, как будто бы ему тяжело было передать то, что случилось.

— Это дочь Василия Михайлыча Попова,— сказал он, наконец.

— Мне говорил это ваш швейцар,— подхватил Егор Егорыч.

— И она мне принесла невероятное известие,— продолжал князь, разводя руками,— хотя правда, что Сергей Степаныч мне еще раньше передавал городской слух, что у Василия Михайлыча идут большие неудовольствия с его младшей дочерью, и что она даже жаловалась на него; но сегодня вот эта старшая его дочь, которую он очень любит, с воплем и плачем объявила мне, что отец ее услан в монастырь близ Казани, а Екатерина Филипповна — в Кашин, в монастырь; также сослан и некто Пилецкий, которого, кажется, вы немножко знаете.

— Знаю,— отвечал Егор Егорыч.

— И что все это,— продолжал князь,— случилось по доносу их регента Федорова.

Егор Егорыч был совершенно афрапирован тем, что слышал.

— Но что же они делали преступного? — спросил он.

— Вероятно, то же, что и прежде: молились по-своему... Я сначала подумал, что это проделки того же Фотия с девой Анною, но Сергей Степаныч сказал мне, что ей теперь не до того, потому что Фотий умирает.

Егор Егорыч сильно задумался.

— Я совершенно незнаком с madame Татариновой и весьма мало знаю людей ее круга; кроме того, что я тут? Последняя спица в колеснице!.. Но вам, князь, следует пособить им!..— проговорил, постукивая ножкой и с обычной ему откровенностью, Егор Егорыч.

Князь этими словами заметно был приведен в смущение.

— А как я тут пособлю? — сказал он.— Мне доктора, по болезни моих глаз, шагу не позволяют сделать из дому... Конечно, государь так был милостив ко мне, что два раза изволил посетить меня, но теперь он в отсутствии.

— Тогда напишите государю письмо,— рубнул Егор Егорыч.

Князь сразу же мотнул отрицательно головою и произнес несколько сухим тоном:

— Этого нельзя!.. На словах я мог бы сказать многое государю, как мое предположение, как мое мнение; но написать — другое дело, это уж, как говорится, лезть в чужой огород.

— Это не чужой вам огород, не чужой!..— не унимался в своей откровенности Егор Егорыч.

— Да, он был когда-то и мой!..— проговорил тем же суховатым тоном князь.— Но я всех этих господ давным-давно потерял из виду, и что они теперь делали, разве я знаю?

— Ничего они не могли делать, ничего! — петушился Егор Егорыч.

— Может быть, и ничего! — не отвергнул князь, но тут же и, кажется, не без умысла свел разговор на Крапчика, о котором отозвался не весьма лестно.

— Я этому господину, по вашему письму, ничего не выразил определенного, parce qu'il m'a paru être stupide[1].

---

[1] потому что он показался мне глупым (*франц.*).

— Да, он солдат, и солдат павловский еще, но он человек честный! — определил Егор Егорыч своего друга.

Князь, однако, вряд ли мысленно согласился с ним.

VII

Сусанна принялась аккуратно исполнять просьбу Егора Егорыча и через неделю же после его приезда в Петербург она написала ему, что у них в Москве все идет по-прежнему: Людмила продолжает болеть, мамаша страдает и плачет, «а я,— прибавляла она и о себе,— в том только нахожу успокоение и утешение, что молюсь, и одно меня смущает: прежде я всегда ходила за обедни, за всенощные; но теперь мне гораздо отраднее молиться, когда в церкви никого нет. Что это такое и не грешно ли это,— понять не могу! На днях я ходила с нашей старушкой-горничной в Кремль и была там во всех церквах. Службы в это время нигде не было, и я так усердно молилась, что даже перезабыла все молитвы и только повторяла: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» В Архангельском соборе я больше всего молилась. Там все гробницы царей, и тут какой-то господин рассказывал двум дамам об этих гробницах. Мне очень хотелось подойти послушать, но я не посмела, и мне уж наша Марфуша рассказала, что когда в соборе похоронили царя Ивана Грозного, который убил своего сына, так Николай угодник на висевшем тут образе отвернул глаза от гробницы; видела я и гробницу младенца Димитрия, которого убили по приказанию царя Бориса. Господи, думала я, если нам жить так трудно, то каково же жить царям? Мы заботимся и думаем только об родных наших, об себе, а они — обо всех нас. Недаром мне мамаша рассказывала, что когда она жалела покойного отца, очень устававшего на службе, так он сердился на нее и говорил, что цари побольше нашего работают, да не жалуются!»

Егора Егорыча несказанно поразило это письмо. Что Сусанна умна, он это предугадывал; но она всегда была так сосредоточенна и застенчива, а тут оказалась столь откровенной и искренней, и главным образом его удивил смысл письма: Сусанна до того домолилась, что могла только повторять: «Господи, помилуй!». «Теперь я понимаю, почему она напоминает мадонну»,— сказал он сам

себе и, не откладывая времени, сел за письмо к Сусанне, которое вылилось у него экспромтом и было такого содержания:

«Глубоко болею за Людмилу, а также и за Вашу мать, но за Вас сердечно радуюсь: Вы, по данной Вам, конечно, от природы благодати, состоите в соприсутствии бога. Сам я слишком скудельный и надломленный сосуд, чтобы говорить от себя, и взамен того спешу Вам передать то, что на днях мне читал один из высочайших духовных мыслителей о молитве. Заучите его изречения наизусть; при дальнейшем ходе Вашего духовного роста Вы поймете всю глубину их внутреннего смысла. Молитва бывает, говорит он, *словесная,* когда Вы, сочувствуя, повторяете молитвы святых отцов. Она бывает *умная,* когда Вы сами сочиняете молитву. Вы тогда находитесь в экстазе молитвенной импровизации, и от избытка сердца Вашего уста глаголют. Но есть еще высшая степень молитвы, в которой нет ни чужих слов, ни своих, а есть токмо упорное повторение: *«Господи, помилуй! Господи, помилуй!»* Молитва эта называется *созерцательною,* и она уже была в душе Вашей и на Ваших устах. Виват Вам, кроткая голубица! Пишите мне чаще и чаще; пишите все, что Вы думаете: может быть, я Вам и пригожусь немного.

Марфин (Firma rupes)».

Не прошло и двух недель, как Егор Егорыч получил новое письмо от Сусанны, в котором она опять уведомляла его, что у них все идет по-прежнему, но что с ней происходит что-то не прежнее. «Я не больна, не страдаю особенно,— объясняла она,— но чувствую какое-то томление и тоску. Мне начинает казаться, что в этом мире не стоит ни о чем заботиться и надобно думать только о смерти и что будет там за гробом. На днях у нас был Зверев, вошел почти насильно; мамаша не вышла к нему, и я уж его приняла. Он меня убедительно звал пойти с ним в церковь на Мясницкую; мне бы самой хотелось, но не знаю, как мамаше это покажется; и он мне говорил, что в Москве все теперь толкуют о скором пришествии антихриста и о страшном суде. Ах, как, должно быть, это будет страшно и непонятно!.. Солнце померкнет, луна затмится, звезды спадут с небес, и Христос явится на облаках с тьмою ангелов и повелит им собрать гласом трубным избранных от всех концов... Господи, мы увидим Хри-

ста! Но нет, голубчик Егор Егорыч, скажите, так ли это будет, и научите меня, что мне читать и какие книги: я такая глупенькая, что ничего не знаю».

Послание это привело Егора Егорыча еще в больший экстаз, так что, захватив оба письма Сусанны, он поехал к Михаилу Михайлычу Сперанскому, которому объявил с первых же слов, что привез ему для прочтения два письма одной юной девицы, с тем, чтобы спросить у него мнения, как следует руководить сию ищущую наставлений особу.

Михаил Михайлыч внимательно прочел оба письма.

— В чем же тут для вас вопрос? — проговорил он: — Предоставьте этой девице — весьма, как мне кажется, нервно-духовной субстанции — идти нашим обычным религиозным путем.

— Каким? — спросил Егор Егорыч не без ядовитости.

— Пусть она молится, одна ли в храмах, или при служении церковном,— это все равно, и пусть выберет себе духовника хорошего.

— Но где они? — уже озлобленно вопросил Егор Егорыч.

— Найдутся,— поверьте, их много, но наше несчастие — их знать ныне не хотят! — отвечал, усмехнувшись, Михаил Михайлыч.

— Но она спрашивает меня, что ей читать: этот вопрос очень щекотливый.

— Нисколько!.. По-моему, ей следует читать жития святых женщин... и, пожалуй, пусть прочтет мой перевод Фомы Кемпийского: «О подражании Христу»...

Егор Егорыч подумал несколько мгновений.

— Это так, да! — сказал он и, почему-то вспомнив при этом о Татариновой, присовокупил:

— Госпожу Татаринову вместе с ее друзьями, говорят, сослали?

— Говорят! — отвечал довольно равнодушно Михаил Михайлыч.

— А за что, за что именно? — допрашивал Егор Егорыч.

— Подробностей я не знаю, но, как рассказывают, они продолжали свои собрания и скакания, имели что-то вроде церкви у себя.

— Князь Александр Николаич очень огорчен этим слухом! — заметил Егор Егорыч.

При имени князя на губах Михаила Михайлыча появилась как будто бы не совсем уважительная улыбка.

Егор Егорыч больше уж об этом не разговаривал и уехал на этот раз недовольный Михаилом Михайлычем.

«— Поп, поп!..— бормотал он, возвращаясь домой.— Напечатал в законах, что у нас православие, и довольно!»

Следующее затем утро Егор Егорыч употребил на то, чтобы купить для Сусанны книг, изготовить ей письмо и самолично отправить все это на почту. Написал он ей довольно коротко:

«Имею удовольствие препроводить Вам при сем жития святых и книгу Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Читайте все сие со вниманием: тут Вы найдете вехи, поставленные нам на пути к будущей жизни, о которой Вы теперь болеете Вашей юной душой. Еще посылаю Вам книгу, на русском языке, Сен-Мартена *об истине и заблуждениях*. Перевод очень верный. Если что будет затруднять Вас в понимании, спрашивайте меня. Может быть, при моей душевной готовности помогать Вам, я и сумею растолковать».

Егор Егорыч чрезвычайно желал поскорее узнать, какое впечатление произведут на Сусанну посланные к ней книги, но она что-то медлила ответом. Зато Петр Григорьич получил от дочери письмо, которое его обрадовало очень и вместе с тем испугало. Впрочем, скрыв последнее чувство, он вошел к Егору Егорычу в нумер с гордым видом и, усевшись, проговорил:

— Записка моя, которую вы передали Михаилу Михайлычу Сперанскому, вероятно, сильно воздействовала.

— Из чего вы это заключаете? — отозвался Егор Егорыч.

— Заключаю по письму дочери, которая мне пишет, что господина Звездкина отозвали в Петербург, и что он не возвратится более к нам, так как граф Эдлерс прямо при всех изъявлял радость, что его освободили от этого взяточника.

— Скажите, какая откровенность! — произнес, усмехнувшись, Егор Егорыч.— А с губернатором он что же?

— С губернатором,— продолжал Петр Григорьич: — граф больше не видится; напротив того, он недавно заезжал к дочери моей, непременно потребовал, чтобы она его приняла, был с нею очень любезен, расспрашивал об вас и обо мне и сказал, что он с нетерпением ждет нашего

возвращения, потому что мы можем быть полезны ему советами. Из всего этого ясно видно, что нахлобучка его сиятельству из Петербурга была сильная.

— Ну, и черт его возьми! — произнес Егор Егорыч, видимо, желавший поскорее окончить разговор об ревизии.— А какие другие еще есть там новости? — присовокупил он.

— Да новость тоже, вероятно, для вас интересная: в нашем городе опять появился ваш племянник, посетил Катрин и объяснил ей, что он овдовел!

— Как овдовел, и почему же он мне не написал об этом?

— Ничего не знаю-с,— отвечал на это сухо Петр Григорьич.

— Он помешался, значит!.. С ума сошел!.. То тут, то там, то сям, как молния, блестит! — горячился Егор Егорыч.

— Нет-с, он не помешанный, а развратник великий! — возразил Крапчик, не могший более сдерживать своей досады на Ченцова, появление которого на родине было для Петра Григорьича хуже ножа острого, так что в первые минуты после прочтения письма дочери ему пришло было в голову бросить все в Петербурге и скакать к себе, чтобы спасать Катрин от этого негодяя.

— Когда же однако,— продолжал он,— мы с вами явимся на помощь к его сиятельству?

— Что нам ему помогать?.. Пусть действует сам, если поопомнился! — произнес резко Егор Егорыч.

— Так, стало быть, вы и не поедете совсем в губернию и не возвратитесь туда? — допрашивал его Петр Григорьич.

Егор Егорыч вышел, наконец, из себя.

— Что вам за дело до меня? — закричал было он; но в это время Антип Ильич, почтительно предшествуя, ввел в нумер к барину высокого старика в белом жабо и с двумя звездами, при одном виде которого Крапчик догадался, что это, должно быть, какой-нибудь сановник, а потому мгновенно же исполнился уважения и некоторого страха; но Егор Егорыч сказал прибывшему гостю довольно фамильярно:

— А, здравствуйте!

И затем представил ему Петра Григорьича, а сему последнему пробормотал:

— Михаил Михайлыч Сперанский.

Петр Григорьич исполнился еще большего уважения:

— Я уж заехал проведать вас: вы меня совсем забыли,— глаз не кажете! — сказал Михаил Михайлыч Егору Егорычу.

— А я этой девице послал книги, которые вы рекомендовали,— ответил тот ему свое.

— Что ж, это хорошо,— одобрил Михаил Михайлыч и затем переменил разговор.— Я вчера, между прочим, виделся с Дашковым, который вам, Егор Егорыч, очень благодарен за доставленную записку. Она оказалась весьма правдивою.

— Автор записки перед вами, господин Крапчик! — объяснил Егор Егорыч, показывая на Петра Григорьича, который с трепетною радостью в сердце встал и поклонился Михаилу Михайлычу.

— Очень рад познакомиться! Если я не ошибаюсь, вы губернский предводитель ревизуемой губернии?

— Точно так, ваше высокопревосходительство! — отвечал тот.

Михаил Михайлыч тогда протянул Крапчику руку, которую Петр Григорьич с чувством пожал; в сущности он готов был поцеловать эту руку.

— Ваше высокопревосходительство,— сказал он затем: — после Звездкина следовало бы ограничить и губернатора, влияние которого до сих пор действует на губернию пагубно.

— Его, вероятно, скоро причислят к министерству, по крайней мере, так думает Дашков,— отвечал Михаил Михайлыч.

Егору Егорычу между тем было до тошноты скучно слушать этот деловой разговор.

— Все устроится!.. Что тут беспокоиться об этом? — произнес он, не вытерпев, и потом обратился к Михаилу Михайлычу: — Я, как только получу письмо от этой девицы, привезу вам прочесть его.

— Привезите, прочту с удовольствием,— проговорил тот, уж улыбнувшись; будучи сам не чужд нежности к прекрасному полу, Михаил Михайлыч немножко уж тут и заподозрил Егора Егорыча и, как бы желая его повыведать, он присовокупил:

— Я встречал много женщин, религиозных по натуре, и которые, сколько я теперь припоминаю, только и находили успокоение своим стремлениям в монастырях.

— Именно, ваше высокопревосходительство, в монастырях! — воскликнул при этом Крапчик, чуть ли не подумавший при этом, что как бы хорошо, например, было посадить его дочь в монастырь для преподания ей уроков покорности и нравственности.

Последнее рассуждение Михаила Михайлыча Егор Егорыч прослушал нахмурившись: не монахиню, не черноризную низкопоклонницу и притворщицу желал бы он видеть в Сусанне, а масонку, умеющую практиковать *умное делание*.

Сперанский, наконец, уехал, обязав Егора Егорыча непременно уделить ему целый вечер.

— Приеду, приеду! — бормотал тот.

Михаил Михайлыч поклонился и Крапчику довольно благосклонно, но в гости его к себе не позвал. Уехал он, опять-таки почтительно провожаемый Антипом Ильичом до самого экипажа. Старый камердинер, чуждый всякой личной суетности, всегда однако был доволен, когда его господина посещали именитые особы, понимая так, что в этом случае *достойные достойному честь воздавали*.

Оставшись с Егором Егорычем вдвоем, Крапчик воскликнул:

— Вот Михаил Михайлыч так сейчас видно, что человек государственный, умнейший и гениальный! Это, извините вы меня, не то, что ваш князь.

— Вы как узнали ум князя?.. В двадцать минут успели это изведать?..— оборвал его Егор Егорыч.

— Конечно, что вполне я узнать не мог,— уступил Петр Григорьич и потом, будто бы к слову, присовокупил заискивающим голосом:

— А что, Егор Егорыч, я давно хотел вас попросить об одной вещи: не можете ли вы замолвить за меня словцо Михайлу Михайлычу и министру внутренних дел,— который, конечно, так же вас уважает, как и весь Петербург,— чтобы, когда участь нашего губернатора будет окончательно решена, то на место его назначить меня?

— Вас? — крикнул Егор Егорыч, как будто бы кто его кольнул чем-то.— Но зачем?.. Зачем?..

Такой вопрос немножко смутил Крапчика.

— Затем, что я буду полезен губернии более, чем всякий другой губернатор,— проговорил он.

— Но вам нельзя дать этого места!.. Вам стыдно просить этого места!.. Вы изобличали губернатора (заявле-

нием своего последнего желания Петр Григорьич мгновенно сделался понятен Егору Егорычу в своих происках против губернатора)... Вы, значит, хлопотали не для губернии, а для себя... Вы себе расчищали дорожку!..

Петр Григорьич сделал вид, что он обиделся.

— Нет, я не расчищал в этом случае дорожки для себя, потому что готов быть губернатором и в другой губернии.

— Какой вы губернатор?.. Не годитесь вы на это! — кричал Егор Егорыч.

Слова эти просто показались Петру Григорьичу глупы.

— Вы ошибаетесь,— произнес он с достоинством,— я буду благонамеренный и опытный губернатор, ибо я не верхогляд, а человек практический.

— Тогда лучше проситесь в полицмейстеры, в квартальные!..— язвил его Егор Егорыч.

— Бог знает, что вы такое говорите! — думал было урезонить Марфина Петр Григорьич.— Квартальный и губернатор, я думаю, разница; вы вспомните, что губернатором был Сергей Степаныч.

— И тот глупо это делал, и тот!..— не унимался Егор Егорыч.

— Но зачем же вы сами служили и полковник русской службы?..— заметил Крапчик.

— Я шел на брань за отечество в двенадцатом году... Я из посольских секретарей поступил солдатом в действующую армию, а вы, на старости лет, из каких нравственных побуждений ищите губернаторства?

— Скажу вам откровенно,— может быть, это и грех,— но я честолюбив... Послужа честно и полезно губернатором, я мог бы надеяться быть сенатором.

— В Москве, что ли? — спросил насмешливо Егор Егорыч.

— В Москву я больше бы желал быть назначенным, так как это ближе к имениям моим.

— Ну так видите-с! — крикнул, взмахнув пальцем, Егор Егорыч.— Когда московскому шуту Ивану Савельичу кто-то сказал из его покровителей: «съезди в Петербург, ты там много денег насбираешь», так он отвечал: «боюсь, батенька,— в Москву сенатором пришлют!».

— Ну, Егор Егорыч,— отозвался Петр Григорьич, уже вставая, с гордостью, что всегда он делал, когда у него

что-нибудь не выгорало,— вы, я вижу, желаете только оскорблять меня, а потому я больше не утруждаю вас ни этой моей просьбой и никакой другой во всю жизнь мою не буду утруждать.

Проговорив это, Петр Григорьич ушел.

Егор Егорыч, не спавший после того всю ночь, только к утру почувствовал, как он много оскорбил Крапчика, и потому пошел было к нему в нумер, чтобы попросить у него извинения; но ему сказали, что господин Крапчик еще в ночь уехал совсем из Петербурга. Егор Егорыч, возвратясь к себе, сильно задумался.

«Да как же было мне не рассердиться на Крапчика! — принялся он оправдывать себя.— Он явился тут пролазом, каким-то мелким чиновничьим честолюбцем... А я сам-то разве лучше его?.. Я хуже его: я злец, я нетерпяшка!.. Где ж мое духовное самовоспитание?.. Его нет ни на грош во мне!..»

И, чтобы облегчить свою совесть, Егор Егорыч накатал письмо к Крапчику:

«Простите великодушно, я против Вас вчера был неправ, а может быть, и прав,— рассудите сами и не питайте гнева ко мне, ибо я Вас люблю по-прежнему».

Вечером того же дня Егор Егорыч поехал к Сперанскому, где у него дело обошлось тоже не без спора, и на одно замечание, которое сделал Михаил Михайлыч по поводу высылки Татариновой, о чем тогда только и толковало все высшее общество Петербурга, Егор Егорыч воскликнул:

— Я державства не трогаю, я благоговею перед ним!

— И вы справедливы! — отвечал ему на это Михаил Михайлыч.— Вы вдумайтесь хорошенько, не есть ли державство то же священство и не следует ли считать это установление божественным? Державец не человек, не лицо, а это — возможный порядок, высший разум, изрекатель будущих судеб народа!

— Я ничего против этого не говорю и всегда считал за благо для народов миропомазанную власть, тем более ныне, когда вся Европа и здесь все мятутся и чают скорого пришествия антихриста!.. Что это такое и откуда? Как по-вашему?..— вопросил Егор Егорыч со строгостью.

— По-моему, страх этот, хоть и всеобщий, но по меньшей мере ранновременный,— отвечал ему спокойно Михаил Михайлыч: — ибо, как я всегда думал, явлению *мужа*

беззакония будет предшествовать в продолжение довольно значительного течения времени величайшее излияние духа благодати... Мы не можем определить ни времени, ни способа этого излияния, хоть касательно последнего нам не лишнее собирать предвещания, соображать малейшие признаки. Все это, конечно, может нас обмануть, но все-таки пусть лучше светильники наши заранее будут зажжены, чтобы идти навстречу жениху... Державство этому, поверьте, нисколько не помеха, ибо я не знаю ни одного государственного учреждения, которое не могло бы быть сведено к духу евангелия; мудрые государственные строители: Хименесы, святые Бернарды, святые Людовики, Альфреды, разве не черпали обильно из этого источника?

Егор Егорыч, с одной стороны, убеждался возвышенностью и доказательностью доводов Михаила Михайлыча, а с другой — в нем, в глубине его сознания, шевелилось нечто и против.

«Поп, поп!..» — мыслил он и на этот раз, едучи домой.

Вскоре после этого визита Егор Егорыч провел целый вечер у Сергея Степаныча, который тоже ему очень обрадовался. Начавшийся между ними разговор был исключительно посвящен воспоминаниям о масонстве.

— Скажите, жив ли и здравствует ли Василий Дмитрич Кавинин? — спросил Сергей Степаныч.

— Жив, но хворает сильно.

— А не известно ли вам: сердится он на меня еще до сих пор?

— Не сердится, но, кажется, огорчен до сей поры!.. Он, впрочем, никогда мне не говорил в подробностях обо всей этой истории.

— История весьма обыкновенная, случавшаяся почти во всех ложах,— начал рассказывать Сергей Степаныч обычным ему, несколько гордым тоном.— Я был тогда уж председателем ложи ищущих манны... Василий Дмитрич, бывший в то время секретарем в теоретической степени нашей ложи, оказался вдруг председателем одной из самых отдаленных с нами лож. Он, быв спрошен об этом, отвечал письменно, что ему на то было дано разрешение от Иосифа Алексеича Поздеева, а потом и от Федора Петровича Ключарева. Когда это объяснение было прочитано в заседании, я, как председатель и как человек, весьма близко стоявший к Иосифу Алексеичу и к Федору

Петровичу, счел себя обязанным заявить, что от Иосифа Алексеича не могло последовать разрешения, так как он, удручаемый тяжкой болезнью, года за четыре перед тем передал все дела по ложе Федору Петровичу, от которого Василий Дмитриевич, вероятно, скрыл свои занятия в другой ложе, потому что, как вы сами знаете, у нас строго воспрещалось быть гроссмейстером в отдаленных ложах.

— Василий Дмитрич был на этом собрании? — спросил Егор Егорыч.

— Нет, он не был; но, вероятно, услыхав от кого-нибудь мой отзыв, прислал в ложу ядовитого свойства пасквиль на меня, а потом уж я с ним не встречался ни в ложе нашей, ни в обществе.

— Если вы хотите, я ему передам, что вы желаете помириться с ним; он, вероятно, сознает себя виновным и покается.

— Э, нет, зачем?.. Разве он один виноват был в том? Вы вспомните, что стало происходить перед двадцать восьмым годом: за ищущих поручались без всякой осторожности, не испытав их нисколько...

— Ну, Сергей Степаныч, не говорите об этом!..— воскликнул Егор Егорыч.— Я сам ввел племянника неосмотрительно!.. Не с умыслом же я это делал и не из пренебрежения к ложе!

— Об умысле я не говорю, а о небрежности поручителей; кроме того,— продолжал Сергей Степаныч,— прием совершался самыми неправильными путями; вступавшие питали дерзкое намерение сами уловить тайну, а не получить оную за практическое исполнение самой премудростью начертанных должностей... От одного руководителя они обыкновенно переходили к другому и по большей части ходили слушать многих, подобно как студенты слушают лекции разных профессоров... Постранствовав таким образом, иные оставляли совсем братства, а другие, нахватавшись несвязных отрывков из разнохарактерных разговоров, задумывали слеплять себе ложные системы, устанавливать в них степени, собирать библиотеки по собственному вкусу...

— Правда, правда и правда! — подтвердил Егор Егорыч.

Антип Ильич между тем, кроме церкви божией не

ходивший в Петербурге никуда и посетивший только швейцара в доме князя Александра Николаевича, получил, когда Егор Егорыч был у Сергея Степаныча, на имя барина эстафету из Москвы.

— Эштафет к вам! — сказал он Егору Егорычу при возвращении того.

Егор Егорыч, взглянув на адрес, ударил себя по лбу: он уже догадался, о чем была эта эстафета!

VIII

Возвратясь в Москву, Егор Егорыч нашел Рыжовых мало сказать, что огорченными, но какими-то окаменелыми от своей потери; особенно старуха-адмиральша на себя не походила; она все время сидела с опустившейся головой, бессвязно кой о чем спрашивала и так же бессвязно отвечала на вопросы. О горе своем Рыжовы почти не говорили, как не говорил о том и Егор Егорыч, начавший у них бывать каждый день. Кажется, если бы кто-нибудь из них слово упомянул о Людмиле, то все бы разрыдались,— до того им было жаль этого бедного существа. Егор Егорыч, конечно, ни одним звуком не позволял себе спросить Сусанну о посланных ей книгах и о том, какое впечатление она почерпнула из них; но Сусанна, впрочем, сама заговорила об этом.

— Я ваших книг очень мало еще успела прочесть! — сказала она.

— О, бог с ними!.. Такое ли теперь время!

— Я прежде всего стала было читать Сен-Мартена и...

— И?..— поспешил ее спросить Егор Егорыч.

— И очень мало понимала его.

Егор Егорыч нахмурился и потер себе лоб.

— Это понятно! — проговорил он.— Я со временем буду руководить вас несколько при чтении.

— Пожалуйста! — протянула Сусанна.

Вместо того, чтобы начать свое руководство со временем, Егор Егорыч, по свойственной ему нетерпеливости и торопливости, в тот же день, приехав после этого разговора с Сусанной домой, принялся составлять для нее экстракт из книги Сен-Мартена.

«Что истина существует,— накидывал он своим крупным почерком,— это так же непреложно, как то, что су-

ществуете вы, я, воздух, земля, и вящим доказательством сего может служить, что всяк, стремящийся отринуть бытие истины, прежде всего стремится на место ее поставить другую истину».

Отделивши чертой этот тезис, он продолжал:

«Добро для всякого существа есть исполнение сродственного ему закона, а зло есть то, что оному противится; но так как первоначальный закон есть для всех един, то добро, или исполнение сего закона, должно быть и само едино и без изъятия истинно, хотя бы собой и обнимало бесконечное число существ».

Еще раз отчеркнувши на этом месте, Егор Егорыч писал далее:

«Но откуда же начало зла проистекло?.. Не в природе же бога оно таится?.. Не самолично же оно и не равносильно добру?.. Оно, как я уже в предыдущем параграфе определил, есть неисполнение существами, по данной им свободе, своего прирожденного закона; примеры тому: падение сатаны, падение Адама и Евы. Господь бог так благ к высшим существам мироздания, что не хотел их стеснить даже *добром.* Они могут исполнять законы добродетели и не исполнять их, и только с удалением от добра они все больнее будут чувствовать страдания. Положения эти признавали все великие учители церкви, и на них же утвердил основание своей книги Сен-Мартен».

На этом месте снова черта и снова продолжение:

«Если существа свободны,— может быть, скажете вы,— то они могут делать все, что пожелают!.. Нет, не все! — возражаю я. Нам дана воля, которая слагается из разума и чувства, и этими двумя орудиями должна ограничиваться наша свобода. Положим, я хочу нечто сделать, про что мой разум неодобрительно мыслит, и я должен воздержаться от сего. Положим, я, обуреваемый грубыми плотскими пожеланиями моего темперамента, стремлюсь осуществить, что противно мне и от чего отвращается мое чувство,— опять следует воздержаться и уклониться».

Тихие шаги вошедшего в комнату Антипа Ильича прервали занятия Егора Егорыча.

— Вас желает видеть подполковница Зудченко!..— доложил он своим кротким голосом.

Егор Егорыч изобразил на лице своем удивление.

— Они говорят, что у них живет на квартире адмиральша Рыжова! — присовокупил Антип Ильич.

— Проси, проси! — затараторил Егор Егорыч, видимо, испугавшийся даже этого посещения.

Приглашенная Антипом Ильичом Миропа Дмитриевна вошла. Она была, по обыкновению, кокетливо одета: но в то же время выглядывала несколько утомленною и измученною: освежающие лицо ее притиранья как будто бы на этот раз были забыты; на висках ее весьма заметно виднелось несколько седых волос, которые Миропа Дмитриевна или не успела еще выдернуть, или их так много вдруг появилось, что сделать это оказалось довольно трудным.

— Позвольте вам рекомендовать себя! — начала она, делая почтительный и низкий реверанс перед Егором Егорычем.— Я хоть и вижу вас, когда вы приезжаете к моим постояльцам, сама, однако, до сих пор не имела еще удовольствия быть лично с вами знакома.

— Уж не случилось ли у Рыжовых опять какого-нибудь несчастия нового? — спросил ее на это торопливо Егор Егорыч.

— О, нет, нисколько! — успокоила его Миропа Дмитриевна.— У них, слава богу, идет все спокойно, как только может быть спокойно в их положении, но я к вам приехала от совершенно другого лица и приехала с покорнейшей просьбой.

Егор Егорыч наклонился ухом к Миропе Дмитриевне, желая тем выразить, что он готов выслушать ее просьбу.

— Меня просил съездить к вам майор Зверев, Аггей Никитич! — сказала Миропа Дмитриевна.

Егор Егорыч опять выразил в лице своем некоторое недоумение.

— Вы, вероятно, еще знали Аггея Никитича капитаном! — напомнила ему Миропа Дмитриевна.

— А, это высокий карабинер! — сообразил Егор Егорыч.

— Да, он карабинер и теперь уж майор! — продолжала Миропа Дмитриевна.— Он, бедный, последнее время был чрезвычайно болен и умоляет вас посетить его. «Если бы, говорит, доктор мне позволил выходить, я бы, говорит, сию же минуту явился к Егору Егорычу засвидетельствовать мое уважение».

— Зачем же?.. Не нужно!.. Я сам у него буду!.. Чем он и отчего заболел? На вид он такой могучий и крепкий!..

— Он простудился на похоронах у Людмилы Николаевны!.. Когда у адмиральши случилось это несчастие, мы все потеряли голову, и он, один всем распоряжаясь, по своему необыкновенно доброму сердцу, провожал гроб пешком до могилы, а когда мы возвращались назад, сделался гром, дождь, град, так что Аггей Никитич даже выразился: «Сама природа вознегодовала за смерть Людмилы Николаевны!»

Миропа Дмитриевна рассказывала все эти подробности не без задней мысли. О, она была дама тонкая и далеко провидящая.

— Поэтому я еще более обязан быть у него! — воскликнул Егор Егорыч.— Вы родственница Аггея Никитича?

При этом вопросе Миропа Дмитриевна несколько сконфузилась.

— Нет, я друг его и друг старинный!.. Он был дружен с моим покойным мужем, а потом и я наследовала эту дружбу! — объяснила она весьма вероподобно.

— А где живет Аггей Никитич? — спросил Егор Егорыч.

— К сожалению, весьма далеко!.. В Красных казармах!.. Аггея Никитича очень тревожит, что вам беспокойно будет ехать такую даль.

— Нисколько, нисколько!.. Буду у него сегодня же в шесть часов вечера.

— И я буду у него в то же время! — сказала с удовольствием, но не без маленького смущения Миропа Дмитриевна.

— И прекрасно-с, поэтому au revoir! [1] — проговорил Егор Егорыч.

Миропа Дмитриевна затем поднялась с своего места, сделала глубокий реверанс Егору Егорычу и удалилась.

Егор Егорыч после того отправился к Рыжовым, которых застал сидящими в своей душной квартире с неотворенными даже окнами.

— Что это, как вы заперлись совсем! — произнес Егор Егорыч, войдя к ним.

— Ах, я и забыла совсем об этом! — проговорила Сусанна.— А мамаше, я думаю, вредно даже сидеть в такой

[1] до свидания! *(франц.)*

жаре! — присовокупила она и поспешила отворить окно, около которого сидела адмиральша.

Та бессмысленно взглянула на дочь, как бы не понимая, зачем она это делает, а потом обратилась к Егору Егорычу и сказала плохо служащим языком:

— Му-за пишет!

— Мамаша говорит, что мы сегодня получили письмо от Музы! — добавила после нее Сусанна.

— Она здорова? — спросил Егор Егорыч.

— Кажется, что здорова, и только нетерпеливо ждет нас! — отвечала Сусанна.

Егор Егорыч потер, по обыкновению, себе лоб.

— Когда ж вы думаете ехать? — сказал он.

— Я не знаю, как мамаша? — произнесла, потупляя глаза, Сусанна.

— Что мамаша?.. Мамаша почти ребенок,— в ней все убито! — бормотал полушепотом Егор Егорыч, воспользовавшись тем, что старушка отвернулась и по-прежнему совершенно бессмысленно смотрела куда-то вдаль.

— Вам надобно уезжать отсюда скорее и ехать со мной в Кузьмищево! — продолжал бормотать полушепотом Егор Егорыч; но, видя, что Сусанна все-таки затрудняется дать ему положительный ответ, он обратился к адмиральше:

— Юлия Матвеевна, вы на этой же неделе должны уехать со мной в мое Кузьмищево, которое вы, помните, всегда так любили.

— А как же Сусанна? — спросила адмиральша.

— Я, мамаша, тоже с вами поеду! — отозвалась Сусанна.

— А Муза? — спросила адмиральша.

— За Музой мы заедем и возьмем ее с собой! — стал ей толковать Егор Егорыч.— Доктор, который живет у меня в Кузьмищеве, пишет, что послал сюда мою карету, и мы все спокойно в ней доедем.

При этом старуха как-то вдруг на что-то такое упорно уставила глаза.

— А Людмила так тут и останется! — проговорила она и громко-громко зарыдала.

Сусанна бросилась к ней, сжала ее в своих объятиях и уговаривала:

— Мамаша, успокойтесь!

— Людмила уже не здесь, не тут, а в лоне бога! —

сказал почти строго Егор Егорыч, у которого у самого однако текли слезы по щекам.

Та мгновенно перестала рыдать.

— Ну, вината, вината,— проговорила она, будучи не в состоянии выговорить слово: *виновата.*

— Мы так поэтому и распорядимся! — отнесся Егор Егорыч к Сусанне.

— Так, хорошо, — отвечала она.

— А я сейчас еду к Звереву, который, говорят, был очень болен и простудился на похоронах Людмилы Николаевны.

— Непременно тут! — подтвердила Сусанна.— Он добрейший и отличнейший, должно быть, человек!

— Отличный! Это видно по всему,— согласился Егор Егорыч и полетел в Красные казармы.

В убранстве небольшой казарменной квартирки Аггея Никитича единственными украшениями были несколько гравюр и картин, изображающих чрезвычайно хорошеньких собою женщин, и на изображения эти Аггей Никитич иногда целые дни проглядывал, куря трубку и предаваясь мечтаниям. В настоящее время он был хоть еще и слаб, но сидел на диване, одетый по тогдашней домашней офицерской моде, занесенной с Кавказа, в демикотонный простеганный архалук, в широкие, тонкого верблюжьего сукна, шальвары и туфли. Когда Егор Егорыч вошел, Миропа Дмитриевна была уже у Зверева.

Поздоровавшись почти дружески с хозяином, Егор Егорыч раскланялся также с заметной аттенцией и с m-me Зудченкою.

— Благодарю вас, что вы не отказались посетить меня... Я всю жизнь буду это помнить! — говорил между тем ему с чувством Аггей Никитич.

Егор Егорыч плюхнул на кресло.

— Прихворнули немножко?..— сказал он, стараясь не подать виду, что он был поражен тем, до какой степени Аггей Никитич изменился и постарел.

— Очень даже прихворнул, — отвечал тот.— Около недели думал, что жив не останусь, и ужасно этого испугался, потому что мне пришла вдруг в голову мысль: а что, если я оживу в могиле?!. Понимаете, здоровяк этакий, пожалуй, не умрешь сразу-то... И что со мной было, передать вам не могу: во всем теле сделалась дрожь, волосы поднялись дыбом. Я рассказал об этом страхе доктору.

Тот начал меня успокоивать: «Если, говорит, хотите, я вас вскрою».— «Сделайте, говорю, милость, живот мне располосуйте и череп распилите».

— Что это, Аггей Никитич, какие вы ужасы про себя говорите! — остановила было его Миропа Дмитриевна.

— Ужас побольше был бы, когда в могиле-то очнулся бы,— возразил ей тот и продолжал, обращаясь к Егору Егорычу,— после того я стал думать об душе и об будущей жизни... Тут тоже заскребли у меня кошки на сердце.

— Об этом нельзя думать, для этого нужна вера,— перебил Аггея Никитича Егор Егорыч.

— Во что вера? — спросил мрачным голосом Зверев.

— В то, что сказано в евангелии.

— Стало быть, будут и страшный суд, и рай, и ад?

— Будут!.. Об этом не следует ни себя, ни других спрашивать, а надобно верить в это!..— бормотал Егор Егорыч.

— А как это сделать?.. Я должен сознаться, что я — и особенно прежде — был почти человек неверующий.

— Не может быть!..— воскликнул Егор Егорыч.— Таких людей нет в целом мире ни одного.

— А Вольтер? — возразил наивно Аггей Никитич.

— Нет, он верил и верил очень сильно в своего только бога — в Разум, и ошибся в одном, что это не бог, принимая самое близкое, конечное за отдаленное и всеобъемлющее.

— Но желательно бы знать, что такое это отдаленное и всеобъемлющее? — говорил, в недоумении разводя руками, Аггей Никитич.

У Егора Егорыча лицо даже стало подергивать: по своей непосредственности, Аггей Никитич очень трудные вопросы задавал ему.

— Это всеобъемлющее словами нельзя определить, но можно только ощущать и соприкасаться с ним в некоторые счастливые моменты своего нравственного бытия.

— Но каким путем и способом достигнуть этого? — вопиял Аггей Никитич.

— Первый способ — молитва, простая молитва,— объяснял ему Егор Егорыч.

— Я, Егор Егорыч, во время моей болезни — видит бог — молился,— сказал Аггей Никитич.

— И как еще усердно!.. Не всякий так сумеет молиться! — подхватила Миропа Дмитриевна.

— И вам, без сомнения, легче после того было? — спросил Егор Егорыч.

— Точно будто бы и легче несколько,— отвечал Аггей Никитич.

— Этого вдруг и нельзя,— это гора, на которую надобно постепенно взбираться.— Слыхали вы об Иоанне Лествичнике?

Говоря это, Егор Егорыч вряд ли не думал хватить в своем поучении прямо об умном делании.

— Нет, не слыхал,— признался ему Аггей Никитич.

— А вы? — отнесся зачем-то Егор Егорыч к Миропе Дмитриевне.

— Слыхала,— это ведь святой наш,— отвечала та совершенно смело.

Егор Егорыч поморщился и уразумел, что его собеседники слишком мало приготовлены к тому, чтобы слушать и тем более понять то, что задумал было он говорить, и потому решился ограничиться как бы некоторою исповедью Аггея Никитича.

— Не слишком ли вы плоть вашу лелеете? — спросил он того.

Аггей Никитич при этом покраснел.

— То есть в чем и как? —проговорил он.

— Не любите ли, например, покушать много? — продолжал Егор Егорыч с доброю улыбкой.

— В этом грешен,— отвечал откровенно Аггей Никитич.

— Не нужно того!.. Пословица говорит: сытое брюхо к ученью глухо; а кроме того, и в смысле тела нашего нездорово!..— поучал Егор Егорыч, желавший, кажется, прежде всего поумалить мяса в Аггее Никитиче и потом уже давать направление его нравственным заложениям.

— Насчет здоровья, я не думаю, чтобы нам, военным, было вредно плотно поесть: как прошагаешь в день верст пятнадцать, так и не почувствуешь даже, что ел; конечно, почитать что-нибудь не захочешь, а скорей бы спать после того.

— Полноте, пожалуйста, клеветать на себя! — перебила Аггея Никитича Миропа Дмитриевна.— Не верьте ему: он очень мало, сравнительно с другими мужчинами, кушает,— пояснила она Егору Егорычу.

— Как мало?.. Вы не видали,— сказал ей Аггей Никитич,— а я раз, после одной охоты в царстве польском —

пропасть мы тогда дичи настреляли! — пятьдесят бекасов и куличков съел за ужином!

— Много, и не рекомендую этого делать вперед! — посоветовал Егор Егорыч и, опять-таки с доброй улыбкой, перешел на другое.

— Ну, а как вы, майор, насчет водочки?

— Этого совсем почти не пьет,— поспешила ответить за Аггея Никитича Миропа Дмитриевна.

— Водочки и вообще вина я могу выпить ведро и ни в одном глазе не буду пьян, но не делаю того, понимая, что человек бывает гадок в этом виде! — добавил с своей стороны Аггей Никитич.

— Это хорошо! — похвалил его Егор Егорыч и, помолчав немного, присовокупил: — Вместе с тем также следует и женщин избегать в смысле чувственном.

Сказав последние слова, Егор Егорыч вспомнил, что в их обществе есть дама, а потому он вежливо обратился к Миропе Дмитриевне и произнес:

— Pardon, madame!

— Ах, помилуйте, ничего, я не девушка! — отозвалась она, держа, впрочем, глаза потупленными.

— За неволю станешь избегать,— проговорил на это невеселым голосом Аггей Никитич,— когда хорошенькие женщины все больше и больше переводятся и умирают, как умерла вот и Людмила Николаевна!

При этом Егор Егорыч и Миропа Дмитриевна несколько смутились по причинам понятным, вероятно, читателю.

— Учиться мне надобно,— вот что-с! — продолжал майор.

— Учиться, конечно,— сказал Егор Егорыч,— но не наукам однако материальным, для которых вы уже стары, а наукам духа.

— О, я только эти науки и желал бы знать!..— воскликнул Аггей Никитич.— Но у меня книг этаких нет... Где их достанешь?

— Книги я вам доставлю, и самые нужные для вас; теперь же вы слабы,— пока вам нужно душевное и телесное спокойствие.

— Это совершенно справедливо,— поддержала такое мнение Егора Егорыча Миропа Дмитриевна,— но душевно Аггей Никитич не может быть покоен,— это что тут?.. Скрывать нечего.

— Почему же не может? — спросил Егор Егорыч.

— Потому что Аггею Никитичу надобно устроить свое положение,— отвечала Миропа Дмитриевна,— они очень тяготятся службою своей.

— Службой? — переспросил ее Егор Егорыч.

Аггей Никитич между тем продолжал сидеть с понуренной головой.

— Он теперь майор, и ему предлагают даже быть начальником кантонистов, а это решительно Аггею Никитичу не по характеру! — рассказала за него Миропа Дмитриевна.

— Отчего же не по характеру? — воскликнул Егор Егорыч.

— Строгость там очень большая требуется! — заговорил Аггей Никитич.— Ну, представьте себе кантониста: мальчик лет с пяти вместе с матерью нищенствовал, занимался и воровством,— нужно их, особенно на первых порах, сечь, а я этого не могу, и выходит так, что или службы не исполняй,— чего я тоже не люблю,— или будь жесток.

— Куда же бы вы желали перейти? — интересовался Егор Егорыч.

— Я ничего не знаю и ничего не имею в виду! — проговорил Аггей Никитич.

— По почтамту нынче очень хорошие места,— вмешалась опять в разговор Миропа Дмитриевна,— это было бы самое настоящее для них место.

— Какое же место по почтамту? — вцепился как бы во что-то свое Егор Егорыч.

— Конечно, губернского почтмейстера; Аггей Никитич теперь майор, при отставке, может быть, получат подполковника,— толковала Миропа Дмитриевна,— не уездного же почтмейстера искать им места?

— Стало быть, вы совсем желаете оставить военную службу? — обратился Егор Егорыч к Аггею Никитичу.

— Желал бы,— отвечал тот, хоть по тону голоса его чувствовалось, что ему все-таки не легко было проститься с мундиром.

Егор Егорыч задумался на довольно продолжительное время.

— Я бы мог,— начал он,— заехать к Александру Яковлевичу Углакову, но он уехал в свою деревню. Впрочем, все равно, я напишу ему письмо, с которым вы, когда

он возвратится, явитесь к нему,— он вас примет радушно. Дайте мне перо и бумаги!

Миропа Дмитриевна поспешила исполнить его требование. Егор Егорыч написал коротенькое, но внушительного свойства письмецо:

«Предъявитель сего письма — один из людей, в которых очень много высоких начал. Он желал бы служить где-нибудь в провинции в Вашем ведомстве. Посодействуйте ему: Вы в нем найдете честного и усердного служаку!»

Сколько Егор Егорыч написал в жизнь свою ходатайствующих писем — и перечесть трудно; но в этом случае замечательно было, что все почти его письма имели успех. Видно, он от очень доброго сердца и с искренним удовольствием писал их.

Все это более чем кто-либо поняла и подметила Миропа Дмитриевна: прежде всего она, конечно, понимала самое себя и свое положение; поняла, что такое Аггей Никитич; уразумела также очень верно, какого сорта особа Егор Егорыч. О службе Аггея Никитича в почтовом ведомстве Миропа Дмитриевна заговорила, так как еще прежде довольно подробно разведала о том, что должность губернского почтмейстера, помимо жалованья, очень выгодна по доходам, и сообразила, что если бы Аггей Никитич, получив сие место, не пожелал иметь этих доходов, то, будучи близкой ему женщиной, можно будет делать это и без ведома его!.. Словом, тут все было Миропою Дмитриевной предусмотрено и рассчитано с математическою точностью, и лавочники, видимо, были правы, называя ее дамой *обделистой*.

IX

Кузьмищево решительно ожило: поместительный дом его обильно наполнился господами и прислугой. Большую половину верха занимала адмиральша с дочерьми, а в другой половине жил Сверстов с своею gnädige Frau. Егор Егорыч обитал внизу, в своем небольшом отделении. В парадные комнаты каждый вечер собиралось все общество, за исключением, разумеется, адмиральши, совершенно не выходившей из своей комнаты. Ее начал серьезно лечить Сверстов, объявивши Егору Егорычу и

Сусанне, что старуха поражена нервным параличом и что у нее все более и более будет пропадать связь между мозгом и языком, что уже и теперь довольно часто повторялось; так, желая сказать: «Дайте мне ложку!» — она говорила: «Дайте мне лошадь!» Муза с самого первого дня приезда в Кузьмищево все посматривала на фортепьяно, стоявшее в огромной зале и про которое Муза по воспоминаниям еще детства знала, что оно было превосходное, но играть на нем она не решалась, недоумевая, можно ли так скоро после смерти сестры заниматься музыкой. Наконец не вытерпев, Муза спросила о том Сусанну и Егора Егорыча.

— Можно! — отвечал сей последний.— Музыка есть ближайшее искусство к молитве, а молитву ни в какие минуты жизни нельзя возбранить.

Таким образом в один из вечеров послышалась игра Музы.

Gnädige Frau, заправлявшая по просьбе Егора Егорыча всем хозяйством, почти прибежала в залу послушать игру Музы и после нескольких отрывков, сыгранных юною музыкантшей, пришла в восторг.

— У вас большой артистический талант, Муза Николаевна! — воскликнула она с вспыхнувшим взором.— Вы изучали генерал-бас?

— Да, немного! — отвечала Муза.

— Но кто же вам преподавал это? — пожелала узнать gnädige Frau.

При этом вопросе Муза заметно сконфузилась.

— Один наш хороший знакомый,— ответила она.

«Наш хороший знакомый» был не кто иной, как Лябьев, о котором я упоминал и который, сверх игры в четыре руки с Музой, успел с ней дойти и до генерал-баса.

— О, генерал-бас надобно долго и прилежно изучать! — продолжала с одушевлением gnädige Frau.

Сама она когда-то очень много и подробно изучала генерал-бас, но, к сожалению, в игре ее всегда чувствовалась некоторая сухость.

Муза, впрочем, недолго поиграла и, почему-то вдруг остановившись на половине одной арии, отозвалась усталостью и ушла к себе наверх. Вообще она была какая-то непоседливая, и как будто бы ее что-то такое тревожило.

По уходе ее, gnädige Frau перешла в гостиную, где

беседовали Сусанна, одетая в черное траурное платье, Егор Егорыч, тоже как бы в трауре, и доктор Сверстов, по обыкновению, художественно-растрепанный. Балконная дверь из гостиной была отворена. Она прямо выходила на тенистую и длинную аллею кузьмищевского сада, откуда веяло живительной свежестью, слышалось, что где-то кукушка кукует, а там, в соседних лугах, коростель кричит. Вдобавок к этому в конце аллеи на светлом фоне неба виднелся огромный и красноватый облик луны, как бы выплывающий из сероватого тумана росы.

Беседа между поименованными тремя лицами, конечно, шла о масонстве и в настоящее время исключительно по поводу книги Сен-Мартена *об истине и заблуждениях*. Сусанна, уже нисколько не конфузясь, просила своих наставников растолковать ей некоторые места, которые почему-либо ее или поражали, или казались ей непонятными.

— Что это такое, скажите вы мне,— говорила она с настойчивостью и начала затем читать текст старинного перевода книги Сен-Мартена: «Мне могут сделать возражение, что человек и скоты производят действия внешние, из чего следует, что все сии существа имеют нечто в себе и не суть простые машины, и когда спросят у меня: какая же разница между их началами действий и началом, находящимся в человеке, то ответствую: сию разность легко тот усмотрит, кто обратится к ней внимательно. Всем, думаю, ведомо, что некоторые существа суть разумеющие, а другие суть токмо чувствующие; человек вместе то и другое».

Прочитав это, Сусанна остановилась и с разрумянившимся лицом взглянула на своих слушателей.

— Это просто объяснить! — отвечал ей первоначально Сверстов.— У человека есть плоть, то есть кости, мясо и нервы, и душа божественная, а у животных только кости, мясо и нервы.

— Следует взять дальше! — дополнил его Егор Егорыч.— Природа расположена по градациям; камень только нарастает, только сочетавается и, распадаясь, стремится — по закону притяжения — сочетаваться снова. Растения тоже растут, и хоть лишены передвижения, но тем не менее живут; животные растут, двигаются и чувствуют. Человек, по затемненной своей природе, чувствует то же, что и они, но в нем еще таится светлый луч рая,— он стре-

мится мало что двигаться физически, но и духовно, то есть освобождать в себе этот духовный райский луч, и удовлетворяется лишь тогда, когда, побуждаемый этим райским лучом, придет хоть и в неполное, но приблизительное соприкосновение с величайшей радостью, с величайшей истиною и величайшим могуществом божества.

— Так, превосходно! — воскликнул Сверстов, заерошив свою курчавую голову.

— Так! — подтвердила и gnädige Frau.

— Теперь я поняла! — сказала Сусанна в ответ на брошенный к ней Егором Егорычем вопросительный взгляд.

— Далее что вам показалось непонятно? — спросил он.

— Далее, я не поняла совершенно, что вот тут говорится о числах *четыре* и *девять!* — отвечала Сусанна и снова принялась читать из книги: «Числа *четыре* и *девять* я признал за свойственные одно — прямой линии, а другое — кривой; потщусь доказать это и начну с числа девяти, с числа линий кривой. Без сомнения, никому не покажется нескладным представить себе окружность, как нуль, ибо какая фигура может быть более подобна окружности, как нуль? Тем паче не должно казаться нескладным принять центр за единицу, потому что в окружности нельзя быть более одного центра. Всякому же известно, что единица, совокупленная с нулем, составляет десять. Итак, можем целый круг вообразить себе якобы десять, окружность с центром вместе».

«Приступим теперь к доводам, почему число *четыре* есть число прямой линии: прежде всего скажу, что сие слово — прямая линия, принимаю здесь не в общепринятом смысле, означающем то протяжение, которое кажется глазам нашим ровною чертою, а яко начало токмо. Но видели ль мы, что естественный круг растет вдруг, во все стороны, и что центр его вдруг мещет из себя бессчетное и неистощимое множество лучей? Каждый сей луч не почитается ли, по вещественному смыслу, прямою линией? Да и воистину, по видимой прямизне его и по способности продолжаться до бесконечности, он есть линия; но поставляю и антитезу сему положению: мы видим, что самый круг есть собрание треугольников, которые все, по своей вещественной тройственности, трехсторонни и, бу-

дучи приведены в союз их с центром, представляют нам совершеннейшую идею о нашей невещественной *четверице»*.

На последнем слове Сусанна прекратила чтение. Егор Егорыч некоторое время тер себе лоб, но потом отнесся к ней:

— Мне будет трудно вам это объяснить... Вы, вероятно, имеете слабое даже представление о треугольнике, но как же я вам растолкую, что собственно круга нет, а это есть многоугольник с микроскопическими сторонами. Впрочем, существенно вы одно запомните, что ни линии, ни точки в вещественном мире нет; первая есть четвероугольник, а вторая все-таки круг, многоугольник, и он в чистом виде существует только в нашем уме; это — прирожденное нам понятие из мира духовного, и Сен-Мартен главным образом хочет показать в этих цифрах, как невещественные точка и линия сливаются с вещественными треугольником и кругом, хотя то и другое никогда не утрачивают своих различий. Впрочем, как бы там ни было, всей этой части учения Сен-Мартена я никогда не придавал особенного значения.— Остроумия, если хотите, много, но и только.

— Кабалистика! — заметил Сверстов.

— По-моему, кабалистические цифры имеют глубокое значение, это уж я знаю по собственному опыту! — произнесла gnädige Frau.

— А именно? — спросил ее Егор Егорыч.

— Именно: тринадцатого числа умерла мать моя, тринадцатого по новому штилю скончался мой первый муж... восемнадцатого мы получили указ о переводе нас из Ревеля.

— Эти цифры собственно апокалипсические! — перебил gnädige Frau Егор Егорыч.

— Да, я это знаю,— продолжала та,— и говорю только, что эти цифры были роковые для меня в моей жизни.

Начавшиеся таким образом беседования стали повторяться каждодневно, а время между тем шло своим порядком: жаркое и сухое лето сменилось холодною и ненастною осенью. В одно утро, когда дождь ливмя лил и когда бы хороший хозяин собаки на двор не выгнал, Антип Ильич, сидевший в своей комнатке рядом с передней и бывший весь погружен в чтение «Сионского вестника», услыхал вдруг колокольцы, которые все ближе и ближе

раздавались, и наконец ясно было, что кто-то подъехал к парадному крыльцу. Антип Ильич оставил свое занятие и вышел навстречу к приехавшему гостю, который с виду оказался молодым человеком и уже всходил по лестнице, будучи весь закидан грязью. Антип Ильич, вероятно, знал этого гостя, потому что, поклонившись вежливо, отворил перед ним дверь в переднюю.

— Егор Егорыч и Юлия Матвеевна у себя? — спросил тот.

— У себя-с!.. Как вас всего измочило!.. Пожалуй, простудитесь! — произнес старик с участием.

— Во всю жизнь мою еще никогда не простуживался,— отвечал, усмехаясь, молодой человек, сбрасывая шинель и калоши, причем оказалось, что он был в щеголеватом черном сюртуке и, имея какие-то чересчур уж открытые воротнички у сорочки, всей своей наружностью, за исключением голубых глаз и некрасивого, толстоватого носа, мало напоминал русского, а скорее смахивал на итальянца; волосы молодой человек имел густые, вьющиеся и приподнятые вверх; небольшие и сильно нафабренные усики лежали у него на губах, как бы две приклеенные раковинки, а также на подобную приклеенную раковинку походила и эспаньолка его.

— А тут я ничего? — продолжал молодой человек, показывая на платье свое.

— Тут франты! — говорил Антип Ильич, спеша обтереть немного загрязнившееся платье у гостя.

Опрятность Антип Ильич ставил превыше многих добродетелей человеческих.

Когда молодой человек, отпущенный, наконец, старым камердинером, вошел в залу, его с оника встретила Муза, что было и не мудрено, потому что она целые дни проводила в зале под предлогом якобы игры на фортепьяно, на котором, впрочем, играла немного и все больше смотрела в окно, из которого далеко было видно, кто едет по дороге к Кузьмищеву.

— Ах, это вы!.. Вот кто приехал! — произнесла как бы с удивлением Муза, но вряд ли она искренно удивилась.— Подождите тут, я предуведомлю об вас мамашу и Сусанну! — присовокупила она, но и тут ей, кажется, предуведомлять было не для чего,— по крайней мере Сусанну,— потому что та, услыхав от сестры, кто приехал, не выразила никакого недоумения касательно приез-

да неожиданного гостя, а сейчас же и прежде всего пошла к Егору Егорычу.

— К вам приехал наш общий с вами знакомый Лябьев; он так хорошо знаком со всем нашим семейством,— объявила она тому.

— Я рад, я рад! — забормотал Егор Егорыч и торопливо пошел гостю навстречу.

Лябьев начал с извинения, что он явился.

— Что за извинения, к чему! — перебил его с первых же слов Егор Егорыч.— Я рад всякому, а вам в особенности: ваш музыкальный талант делает честь каждому, кого вы посетите!

В ответ на это Лябьев слегка ему поклонился.

Сусанна потом пошла и сказала матери, что Лябьев приехал. Старуха неимоверно обрадовалась и потребовала, чтобы к ней тоже привели гостя. Сусанна сообща с Музой привели ей того.

— Вот я какая стала! — сказала старуха, показывая на себя.

Лябьев постарался выразить на лице своем сожаление.

— А Людмила у нас уехала...— рассказывала старушка, желавшая, конечно, сказать, что Людмила умерла.

Лябьев и на это выразил молчаливой миной сожаление.

Перед тем как сесть за стол, произошло со стороны Егора Егорыча церемонное представление молодого Лябьева доктору Сверстову и gnädige Frau, которая вслед за тем не без важности села на председательское место хозяйки, а муж ее принялся внимательно всматриваться в молодого человека, как будто бы в наружности того его что-то очень поражало.

После обеда Муза и Лябьев, по просьбе хозяина, стали играть в четыре руки, и хотя Лябьев играл секондо, а Муза примо, но gnädige Frau хорошо поняла, как он много был образованнее и ученее в музыкальном смысле своей соигрицы. Gnädige Frau втайне чрезвычайно желала бы сыграть с Лябьевым что-нибудь, чтобы показать ему, как и она тоже была образована в этом отношении, но, отстав столь давно от музыки, она не решалась высказать этого желания.

Вечером масонские разговоры в присутствии нового

лица, конечно, не могли начаться, а дождь между тем хлестал в окна. Музыка тоже утомила несколько играющих.

— В бостон надобно засесть! — подал мысль Сверстов, знавший, что его gnädige Frau до страсти любит эту игру.

— Хорошо! — одобрил Егор Егорыч.— А вы играете в бостон? — спросил он Лябьева.

— Играет! — отвечала за него Муза.

— Я играю во все игры,— повторил за нею Лябьев.

Игроки уселись в большой гостиной.

Партия собственно составилась из Сверстова, gnädige Frau, Егора Егорыча и Лябьева; барышни же уселись около играющих: Муза возле Лябьева, а Сусанна близ Егора Егорыча.

— По маленькой мы, разумеется, играем! — поставила gnädige Frau своим условием.

— Конечно! — подхватил Егор Егорыч.

— По какой только угодно вам цене,— отозвался с усмешкою Лябьев.

Сверстов весьма дурно и редко играл в карты и даже тасовал их в натруску, как тасуют лакеи, играя в свою *подкаретную,* вследствие чего, может быть, он и обратил невольно внимание на ловкость и умелость, с какой молодой человек, когда ему пришла очередь сдавать, исполнил это. Затем в самой игре не произошло ничего особенного, кроме разве того, что Лябьев всех обыграл, что, впрочем, и сделать ему было очень нетрудно, потому что Егор Егорыч кидал карты почти механически и все взглядывал беспрестанно на Сусанну; Сверстов, как и всегда это было, плел лапти; что же касается до gnädige Frau, то она хоть и боролась довольно искусно с молодым человеком, но все-таки была им побеждена.

После ужина, когда все разошлись по своим спальням, между gnädige Frau и ее супругом произошел разговор, имеющий некоторое значение.

— Какой прекрасный и серьезный музыкант Лябьев! — произнесла gnädige Frau, улегшись на свою отдельную от мужа постель и закидывая костлявые руки себе под голову.

— Он, по-моему, еще больший музыкант в картах,— отвечал ей с совершенно несвойственным ему озлоблением Сверстов.

— Это ты почему думаешь? — спросила его с недоумением gnädige Frau.

— Потому что физиономия его мне не нравится: в ней есть что-то неприятное, как это бывает иногда у шулеров! — проговорил Сверстов и отвернулся к стене, чтобы не сказать какой-нибудь еще большей резкости.

В последовавшие затем два — три дня началось в кузьмищевском доме какое-то всеобщее шушуканье. Прежде всего шушукала Муза с Сусанной, шушукала Сусанна с Егором Егорычем, шушукала gnädige Frau с супругом своим, причем доктор заметно выражал неудовольствие, а gnädige Frau что-то такое старалась втолковать ему, но доктор не убеждался; шушукали затем Муза и Лябьев, начавшие все время гулять вдвоем, несмотря на холодную погоду, в длинной аллее сада; шушукались наконец Фаддеевна с Антипом Ильичом, который после того напролет начал промаливаться все ночи, как бы испрашивая чему-то благословение божие.

В результате всего этого на четвертый же день Егор Егорыч за обедом, за которым ради чего-то появилось шампанское, разлитое Антипом Ильичом по бокалам, вдруг встал с своего места и провозгласил с поднятием бокала:

— Позвольте вас просить, друзья мои, выпить тост за здоровье жениха и невесты, Музы Николаевны и Аркадия Михайлыча, которым сегодня Юлия Матвеевна дала согласие на вступление в брак!

Gnädige Frau первая и с заметным удовольствием выпила свой бокал; она очень любила, когда сочетавались брачными узами талант с талантом, что и было ею высказано жениху и невесте. Выпил также и доктор, но только совершенно молча, так что это заметил Егор Егорыч.

— Отчего вы такой недовольный? — сказал он своему другу, когда встали из-за стола и разошлись по разным углам.

— Так себе, и сам не знаю почему,— отвечал Сверстов сначала уклончиво.

— Может быть, вам не нравится предстоящий брак Музы с Лябьевым? — допытывался Егор Егорыч.

— Не нравится! — ответил ему уже откровенно Сверстов.

— По каким, собственно, соображениям?

— Ни по каким особенно,— больше по предчувствию,— проговорил Сверстов.

Сколь ни мало были определенны слова друга, но они, видимо, обеспокоили Егора Егорыча, так что он отыскал Сусанну и сказал ей:

— Сверстову не нравится брак Музы с Лябьевым.

Сусанна нахмурилась.

— Не нравится? — спросила она.

— Да, и не нравится по предчувствию,— отвечал ей Егор Егорыч.

— Все в воле божией,— на предчувствие нельзя вполне полагаться,— возразила она, хоть, кажется, и самой ей не безусловно был по вкусу выбор сестры: то, что Лябьев был такой же страстный и азартный игрок, как и Ченцов, знала вся губерния, знала и Сусанна.

Все хлопоты по свадьбе в смысле распоряжений пали на gnädige Frau, а в смысле денежных расходов — на Егора Егорыча. Жених, как только дано ему было слово, объявил, что он Музу Николаевну берет так, как она есть, а потому просит не хлопотать об туалете невесты, который и нельзя сделать хоть сколько-нибудь порядочный в губернском городе, а также не отделять его будущей жене какого-либо состояния, потому что он сам богат. Когда эти слова его были переданы Сусанной матери, старуха вдруг взбунтовалась.

— Я не могу этого, не могу! — заговорила она уже очень чисто и внятно.— У меня состояние все не мое, а детское, хоть муж и оставил его мне, но я теперь же хочу его разделить между дочерьми.

— Это и разделится! — хотел было успокоить ее Егор Егорыч, присутствовавший при этом разговоре.

— Бумагу, бумагу дайте мне написать!.. Музе отдаю подмосковное имение, а Сусанне — прочее! — опять так же ясно и отчетливо выговорила Юлия Матвеевна: инстинкт матери, как и в назначении дочерям имен, многое ей подсказал в этом ее желании.

Егор Егорыч, поняв, что старухи в этом случае не переубедишь, на другой день послал в город за секретарем уездного суда, который и написал на имя Музы дарственную от Юлии Матвеевны, а на имя Сусанны — духовную. Юлия Матвеевна, подписав эти бумаги, успокоилась и затем начала тревожиться, чтобы свадьба была отпразднована как следует, то есть чтобы у жениха и невесты были

посаженые отцы и матери, а также и шафера; но где ж было взять их в деревенской глуши, тем более, что жених, оставшийся весьма недовольным, что его невесту награждают приданым и что затевают торжественность, просил об одном, чтобы свадьба скорее была совершена, потому что московский генерал-губернатор, у которого он последнее время зачислился чиновником особых поручений, требовал будто бы непременно его приезда в Москву. Приняв последнее обстоятельство во внимание на семейном совещании, происходившем между Егором Егорычем, Сусанной, gnädige Frau и Сверстовым, положено было обмануть старуху: прежде всего доктор объявил ей, что она,— ежели не желает умереть,— никак не может сходить вниз и участвовать в свадебной церемонии, а потом Егор Егорыч ей сказал, что отцы и матери посаженые и шафера есть, которые действительно и были, но не в том числе, как желала старушка. Посаженой матерью у Лябьева была gnädige Frau, посаженым отцом у невесты — Сверстов; Егор же Егорыч был шафером у Музы и держал над нею венец, а жених обошелся и без поддержки, надев сам крепко на голову брачную корону.

На другой день после свадьбы молодые уехали прямо в Москву.

X

С отъездом Музы в кузьмищевском доме воцарилась почти полная тишина: игры на фортепьяно больше не слышно было; по вечерам не устраивалось ни карт, ни бесед в гостиной, что, может быть, происходило оттого, что в последнее время Егор Егорыч, вследствие ли болезни или потому, что размышлял о чем-нибудь важном для него, не выходил из своей комнаты и оставался в совершенном уединении. Сусанна между тем все более и более сближалась, или, точнее сказать, дружилась с gnädige Frau: целые вечера они ходили вдвоем по зале, которая иногда не была даже и освещена. Сначала gnädige Frau рассказывала Сусанне свою прошлую жизнь, описывая, как она в юных летах была гувернанткою, как вышла замуж за пастора, с которым так же была счастлива, как и с теперешним своим мужем.

— А с Егором Егорычем вы давно знакомы? — спросила ее однажды Сусанна.

— Близко я его узнала недавно,— отвечала gnädige Frau,— но много слышала о нем от мужа моего, Сверстова, с которым Егор Егорыч лет двадцать дружен.

— Где же они подружились? — интересовалась Сусанна.

Gnädige Frau на первых порах затруднилась несколько ответить.

— Как мне вам это сказать! — заговорила она с осторожностью.— Они подружились потому, что, если вы только это знаете, Егор Егорыч был масон.

— Да, знаю,— это мне говорила maman и покойная сестра Людмила! — подхватила с живостью Сусанна.

— Сверстов также был масон! — продолжала gnädige Frau все-таки с осторожностью.— С этого и началась их дружба. И я тоже масонка! — присовокупила она после некоторого молчания и немножко улыбаясь.

— А разве женщины могут быть масонками? — полувоскликнула Сусанна.

— Отчего ж им не быть? — воскликнула, в свою очередь, с некоторым удивлением gnädige Frau.— Я даже была в Геттингене, по поручительству моего первого мужа, принята в ложу.

— Стало быть, есть и женские ложи? — расспрашивала с возрастающим любопытством Сусанна.

— Есть, но только смешанные, состоящие из мужчин и женщин и работающие в двух лишь степенях: учениц и товарок,— хоть покойный муж мне говорил, что он знал одну даму, которая была даже гроссмейстером.

Сусанна слушала, как бы не совсем понимая то, что говорила ей gnädige Frau. Та заметила это и спросила:

— Вам, может быть, неизвестно, что у масонов три степени: ученик, товарищ и мастер, и из числа последних выбирается начальник всей ложи, который носит титул великого мастера.

— В первый раз слышу об этом! — призналась Сусанна.— Но что же они обыкновенно работали? — прибавила она.

— В первой, ученической, степени масонам преподавались правила любви и справедливости, которыми каждому человеку необходимо руководствоваться в жизни; во второй их учили, как должно бороться со своими стра-

стями и познавать самого себя, и в третьей, высшей степени мастера, они подготовлялись к концу жизни, который есть не что иное, как долженствующее для них вскоре настать бессмертие.

— Но откуда же произошли эти названия: ученик, товарищ, мастер?

— Ах, эти названия я могу вам объяснить, но для этого должно начать со слова «масон»! — воскликнула с одушевлением gnädige Frau.— Вы, конечно, понимаете, что по-русски оно значит каменщик, и масоны этим именем назвались в воспоминание Соломона, который, как вы тоже, вероятно, учили в священной истории, задумал построить храм иерусалимский; главным строителем и архитектором этого храма он выбрал *Адонирама;* рабочих для постройки этого храма было собрано полтораста тысяч, которых Адонирам разделил на учеников, товарищей и мастеров, и каждой из этих степеней он дал символическое слово: ученикам *Иоакин,* товарищам *Вооз,* а мастерам *Иегова,* но так, что мастера знали свое наименование и наименование низших степеней, товарищи свое слово и слово учеников, а ученики знали только свое слово. Сделал он это затем, чтобы, расплачиваясь с рабочими, не ошибиться как-нибудь, и когда те получали от него плату, то каждый должен был шепнуть Адонираму свое наименование, сообразно которому он и выдавал, что следовало. Догадавшись об этом, три жадные ученика: *Фанор, Амру* и *Мафусаил,* желавшие получать больше денег, решились выпытать у Адонирама слово мастеров. Воспользовавшись тем, что по вечерам Адонирам ходил осматривать в храме работы, первый из них, Мафусаил, остановил его у южных ворот и стал требовать от него, чтобы он открыл ему слово мастеров; но Адонирам отказал ему в том и получил за то от Мафусаила удар молотком; потом то же повторилось с Адонирамом у северных ворот, где Фанор ударил его киркой. Несчастный Адонирам бросился спасаться, но едва он успел кинуть в колодезь золотой священный треугольник, чтобы он не достался кому-либо из непосвященных, как был встречен у восточных ворот Амру, которому он тоже не открыл слова мастера и был им за то заколот насмерть циркулем. Тело Адонирама убийцы тайно вынесли из храма и вместе с этим телом куда-то скрылись. Соломон очень разгневался по этому случаю и, выбрав девять старейших масте-

ров, велел им непременно отыскать труп Адонирама и изменить свое символическое слово Иегова, ибо, по своей великой мудрости, Соломон догадался, что ученики убили Адонирама, выпытывая у него слово мастера. Избранники сии пошли отыскивать труп и, по тайному предчувствию, вошли на одну гору, где и хотели отдохнуть, но когда прилегли на землю, то почувствовали, что она была очень рыхла; заподозрив, что это была именно могила Адонирама, они воткнули в это место для памяти ветку акации и возвратились к прочим мастерам, с которыми на общем совещании было положено: заменить слово Иегова тем словом, какое кто-либо скажет из них, когда тело Адонирама будет найдено; оно действительно было отыскано там, где предполагалось, и когда один из мастеров взял труп за руку, то мясо сползло с костей, и он в страхе воскликнул: *макбенак,* что по-еврейски значит: «плоть отделяется от костей». Слово это и взято было мастерами вместо слова Иегова.

Сусанна прослушала эту легенду с трепетным вниманием. В ее молодом воображении с необыкновенною живостью нарисовался этот огромный, темный храм иерусалимский, сцена убийства Адонирама и, наконец, мудрость царя Соломона, некогда изрекшего двум судившимся у него матерям, что ребенок, предназначенный им к рассечению, должен остаться жив и принадлежать той, которая отказалась, что она мать ему.

В следующие затем вечера, а их прошло немалое число, Сусанна начала уж сама заговаривать об масонстве и расспрашивать gnädige Frau о разных подробностях, касающихся этого предмета.

— Но где же и кто учит учеников? — пожелала она знать.

Gnädige Frau несколько мгновений, видимо, колебалась, но потом, как бы сообразив pro и contra [1], сказала Сусанне:

— Вот видите, прелесть моя, то, что я вам уже рассказывала и буду дальше еще говорить, мы можем сообщать только лицам, желающим поступить в масонство и которые у нас называются *ищущими;* для прочих же всех людей это должно быть тайной глубокой.

— Ах, я готова быть ищущей! — проговорила почти умоляющим голосом Сусанна.

[1] за и против, (*лат.*).

— Это я предчувствовала еще прежде, что меня и вызвало на нескромность,— продолжала gnädige Frau с чувством,— и я теперь прошу вас об одном: чтобы вы ни родным вашим, ни друзьям, ни знакомым вашим не рассказывали того, что от меня услышите!.. Даже Егору Егорычу не говорите, потому что это может быть ему неприятно.

— Никому в мире не скажу того! — воскликнула, но почти шепотом Сусанна.

— Верю вам! — произнесла gnädige Frau и, поцеловав с нежностью свое «прелестное существо», приступила к ответам на вопросы.— Вы интересовались, где и кто учил учеников масонских?.. Это делалось обыкновенно в ложах, при собрании многих членов и под руководством обыкновенно товарища, а иногда и мастера.

— И как же их учили? — любопытствовала Сусанна.

— А так же вот, как и Егор Егорыч начал вас учить: им указывали книги, какие должно читать, и когда они чего не понимали в этих книгах, им их риторы растолковывали.

— Я не знаю, что такое ритор,— произнесла с наивностью Сусанна.

— О, ритор — лицо очень важное! — толковала ей gnädige Frau.— По-моему, его обязанности трудней обязанностей великого мастера. Покойный муж мой, который никогда не был великим мастером, но всегда выбирался ритором, обыкновенно с такою убедительностью представлял трудность пути масонства и так глубоко заглядывал в душу ищущих, что некоторые устрашались и отказывались, говоря: «нет, у нас недостанет сил нести этот крест!»

— Чего ж они больше устрашались?.. Совести, что ли, своей?..— спросила Сусанна.

— Конечно, прежде всего совести своей; а кроме того, тут и обряды очень страшные: вас с завязанными глазами посадят в особую темную комнату, в которую входит ритор. Он с приставленною к груди вашей шпагою водит вас по ужасному полу, нарочно изломанному и перековерканному, и тут же объясняет, что так мы странствуем в жизни: прошедшее для нас темно, будущее неизвестно, и мы знаем только настоящее, что шпага, приставленная к груди, может вонзиться в нее, если избираемый сделает один ложный шаг, ибо он не видит пути, по которому теперь идет, и не может распознавать пре-

пятствий, на нем лежащих. «Вас,— говорит ритор,— ведет рука, которой вы тоже не видите; если вы будете ею оставлены, то гибель ваша неизбежна. Страсти и слабости, обыкновенно затмевая внутренний свет, ведут нас в ослеплении по неизвестным путям, и если бы невидимая рука не путеводствовала нас, мы бы давно погибли». Знаете, как послушаешь эти слова, то у кого на душе не совсем чисто и решение его не очень твердо, так мороз пробежит по коже.

— Неужели же с вами все это делали, и вы не испугались? — проговорила с удивлением Сусанна.

— Решительно все это исполнили и со мной!.. Конечно, я чувствовала сильное волнение и еще больше того — благоговейный страх; но ритору моему однако отвечала с твердостью, что я жена масона и должна быть масонкой, потому что муж и жена в таком важном предмете не могут разно мыслить!

— А разве масонками могут быть только жены масонов? — заметила Сусанна.

— То есть в ложу вступить может только жена масона.

Сусанна при этом печально потупила головку.

— Но что такое сама ложа представляет? — спросила она.

— Это обыкновенная комната!.. В Геттингене, где я была принимаема, она находилась в бывшем винном погребе, но превосходно отделанном... В восточной стороне ее помещался жертвенник, на котором лежала раскрытая библия; на полу расстилался обыкновенный масонский ковер... К этому алтарю надзиратель подвел меня. Великий мастер сказал мне приветствие, после чего я стала одним коленом на подушку, и они мне дали раскрытый циркуль, ножку которого я должна была приставить к обнаженной груди моей, и в таком положении заставили меня дать клятву, потом приложили мне к губам печать Соломона, в знак молчания, и тут-то вот наступила самая страшная минута! Я была брезглива с рождения, и никогда не была в то же время пуглива и труслива; но, признаюсь, чуть не упала в обморок, когда приподняли немного повязку на моих глазах, и я увидала при синеватом освещении спиртовой лампы прямо перед собою только что принятую перед тем сестру в окровавленной одежде.

— Кто же это ее и зачем окровянил? — воскликнула Сусанна, даже дрожавшая от рассказа gnädige Frau.

— Это, как впоследствии я узнала,— продолжала та,— означало, что путь масонов тернист, и что они с первых шагов покрываются ранами и кровью; но, кроме того, я вижу, что со всех сторон братья и сестры держат обнаженные шпаги, обращенные ко мне, и тут уж я не в состоянии была совладать с собой и вскрикнула; тогда великий мастер сказал мне: «Успокойтесь, gnädige Frau, шпаги эти только видимым образом устремлены к вам и пока еще они за вас; но горе вам, если вы нарушите вашу клятву и молчаливость,— мы всюду имеем глаза и всюду уши: при недостойных поступках ваших, все эти мечи будут направлены для наказания вас»,— и что он дальше говорил, я не поняла даже и очень рада была, когда мне повязку опять спустили на глаза; когда же ее совсем сняли, ложа была освещена множеством свечей, и мне стали дарить разные масонские вещи.

— Ах, я видала эти масонские вещи! — перебила ее Сусанна.

— Где? — спросила gnädige Frau с некоторым удивлением.

— Вот здесь, у Егора Егорыча, в Кузьмищеве! — объяснила Сусанна, покраснев в лице.

— Он вам сам показывал их? — продолжала gnädige Frau с прежним недоумением.

— Нет,— отвечала Сусанна,— но мы в тот год целое лето гостили у него, а покойная сестра Людмила была ужасная шалунья, и он с ней был всегда очень откровенен,— она меня тихонько провела в его комнату и вынула из его стола какой-то точно передник, белый-пребелый!..

— Это запон! — поясняла ей gnädige Frau.— Он из твердой замши делается и действительно всегда очень бел, в знак того, что всякий масон должен быть тверд, постоянен и чист!..

— Но потом Людмила мне гораздо уже позже показывала белые женские перчатки, которые Егор Егорыч ей подарил и которые тоже были масонские.

— Стало быть, он сватался к ней? — воскликнула gnädige Frau.

— Да,— отвечала Сусанна, потупляя глаза,— он ее очень любил!..

— А она? — спросила gnädige Frau.

— Нет, она его уважала, но любила другого! — объяснила Сусанна и поспешила переменить тяжелый для нее, по семейным воспоминаниям, разговор.— И этим кончилось ваше посвящение?

— Почти,— сказала gnädige Frau,— потому что потом мне стали толковать символические изображения ковра, который, впрочем, у масонов считается очень многознаменательною вещью.

— Почему же многознаменательною?

— Теперь, моя прелесть, довольно поздно,— сказала в ответ на это gnädige Frau,— а об этом придется много говорить; кроме того, мне трудно будет объяснить все на словах; но лучше вот что... завтрашний день вы поутру приходите в мою комнату, и я вам покажу такой ковер, который я собственными руками вышила по канве.

Сусанна до глубины души обрадовалась такому предложению и на другой день, как только оделась, сейчас же пришла в комнату gnädige Frau, где и нашла ковер повешенным, как ландкарта, на стену, и он ее первоначально поразил пестротой своей и странными фигурами, на нем изображенными. Она увидала тут какие-то колонны, солнце, луну, но gnädige Frau прежде всего обратила ее внимание на другое.

— Видите ли вы эту рамку кругом? — начала она.

— Да, и какая она красивая! — отвечала Сусанна.

— Красоты особенной в ней нет,— возразила gnädige Frau,— но она важна по символу.

Сусанна принялась слушать с напряженным вниманием.

— Рамка эта, заключающая в себе все фигуры,— продолжала gnädige Frau,— означает, что хитрость и злоба людей заставляют пока масонов быть замкнутыми и таинственными, тем не менее эти буквы на рамке: N, S, W и O,— выражают четыре страны света и говорят масонам, что, несмотря на воздвигаемые им преграды, они уже вышли чрез нарисованные у каждой буквы врата и распространились по всем странам мира.

— А эта веревка с кистями что такое? — спросила Сусанна.

— Это жгут, которым задергивалась завеса в храме Соломона перед святая святых,— объяснила gnädige Frau,— а под ней, как видите, солнце, луна, звезды, и

все это символизирует, что человек, если он удостоился любви божией, то может остановить, как Иисус Навин, течение солнца и луны,— вы, конечно, слыхали об Иисусе Навине?

— О, да, меня батюшка-священник в институте очень любил за то, что я отлично знала катехизис и священную историю.

— Это я вижу теперь! — сказала gnädige Frau и продолжала толковать.— Эти фигуры изображают камни: один, неотесанный и грубый, представляет человека в его греховном несовершенстве, а этот, правильный и изящный, говорит, каким человек может быть после каменщицкой работы над своим сердцем и умом... Прямоугольник этот, отвес, циркуль, молоток — обыкновенные орудия каменщиков; но у масонов они составляют материальные феномены: циркуль выражает, что бог этим далеко распростертым циркулем измеряет и разыскивает работу масонов!.. Отвес и прямоугольник указывают, чтобы мы во всех поступках нашей жизни поступали по требованию нашей совести!.. Молоток предписывает послушание и покорность масонам, потому что великий мастер одним нешумным и легким ударом побуждает все собрание к вниманию.

— А это какое изображение? — показала Сусанна на кирку.

— Это лопаточка каменщиков, которая повелевает масонам тщательно заравнивать расселины и ямки сердца нашего, производимые в нас высокомерием, гневом, отчаянием...

— Господи, как все это хорошо! — воскликнула Сусанна, уже садясь на стул и беря себя за голову.

— А эти столбы и мозаический пол взяты в подражание храму Соломона; большая звезда означает тот священный огонь, который постоянно горел в храме...— начала было дотолковывать gnädige Frau, но, заметив, что Сусанна была очень взволнована, остановилась и, сев с нею рядом, взяла ее за руку.

— Вас заняло все это, мое прелестное существо? — сказала она растроганным голосом.

— Ужасно, ужасно!..— воскликнула Сусанна.— Я чрезвычайно бы желала быть масонкой.

— Надеюсь, что в этом случае вами руководит не одно

только любопытство? — допрашивала ее, как бы ритор, gnädige Frau.

— Видит бог, нет!.. Клянусь в том моей матерью, тенью моей умершей сестры!..

— Если в вас это душевное состояние продолжится, то ваше желание исполнится, и вы будете масонкой! — произнесла с торжественностью gnädige Frau.

— Но как же это?.. Я должна быть женой масона?

— Исполнится! — повторила еще раз с торжественностью gnädige Frau.— А теперь пока довольно: вы слишком утомлены и взволнованы,— добавила она,— подите к себе, уединитесь и помолитесь!

Сусанна повиновалась ей и ушла.

Gnädige Frau между тем об этих разговорах и объяснениях с прелестным существом в непродолжительном времени сообщила своему мужу, который обыкновенно являлся домой только спать; целые же дни он возился в больнице, объезжал соседние деревни, из которых доходил до него слух, что там много больных, лечил даже у крестьян лошадей, коров, и когда он таким образом возвратился однажды домой и, выпив своей любимой водочки, принялся ужинать, то gnädige Frau подсела к нему.

— Я очень начинаю любить Сусанну и много говорю с ней о разных разностях,— начала она издалека.

— Отлично это делаешь!.. Ты совершенно справедливо прозвала ее прелестнейшим существом!..— отозвался доктор.

— Но известно ли тебе,— продолжала gnädige Frau после короткого молчания,— что Сусанна жаждет быть масонкой?

Доктор даже встрепенулся от удовольствия и удивления.

— Превосходно! Какая же может быть помеха тому? — проговорил он с обычным ему оптимистическим взглядом.

— Помеха есть!.. Ты забываешь,— возразила ему предусмотрительная gnädige Frau,— что для того, чтобы быть настоящей масонкой, не на словах только, надо вступить в ложу, а где нынче ложа?

При этом замечании доктор почесал у себя в затылке.

— Это так! — согласился он.

— Потом,— развивала далее свое возражение gnädi-

ge Frau,— если бы и была ложа, то у нас существует строгое правило, что всякая женщина, которая удостоивается сделаться масонкой, должна быть женой масона.

— Правда! — согласился и с этим доктор.— Но погоди, постой! — воскликнул он, взяв себя на несколько мгновений за голову.— Егор Егорыч хотел сделать старшую сестру Сусанны, Людмилу, масонкой и думал жениться на ней, а теперь пусть женится на Сусанне!

— Что ты такое говоришь, какие несообразности! — сказала gnädige Frau с оттенком даже некоторой досады!..— Людмилу он любил, а Сусанны, может быть, не любит!

— Не любит?.. Не любит, ты говоришь? А разве ты не видишь, как он на нее взглядывает? — произнес, лукаво подмигнув, Сверстов.

— Взглядывать он, конечно, взглядывает...— не отвергнула того и gnädige Frau.

— Значит, все и кончено! — воскликнул доктор, хлопнув при этом еще рюмку водки, к чему он всегда прибегал, когда его что-либо приятное или неприятное поражало, и gnädige Frau на этот раз не выразила в своих глазах неудовольствия, понимая так, что дело, о котором шла речь, стоило того, чтобы за успех его лишнее выпить!..

— Еще далеко не все кончено и едва только начато! — возразила gnädige Frau.— Теперь вот что мы должны делать: сначала ты выпытай у Егора Егорыча, потому что мне прямо с ним заговорить об этом никакого повода нет!

— Конечно, разумеется! — согласился доктор.

— Я же между тем буду постепенно приготовлять к тому Сусанну! — добавила gnädige Frau.

— Optime! [1]— воскликнул доктор и хотел было идти лечь спать, но вошел, сверх всякого ожидания, Антип Ильич.

— Вас Егор Егорыч просят к себе! — проговорил он своим кротким голосом.

— Зачем?.. Болен, что ли, Егор Егорыч? — спросил доктор, несколько встревоженный таким поздним приглашением.

— Нет-с, ничего, кажется!..— отвечал Антип Ильич.—

---

[1] Прекрасно! *(лат.)*

Там чей-то дворовый человек привез им письмо от ихнего знакомого.

Доктор пошел и застал Егора Егорыча сидящим в своем кресле и действительно с развернутым письмом в руках.

— Вот какого рода послание сейчас получил я! — проговорил Егор Егорыч и начал читать самое письмо:

«Многоуважаемый Егор Егорыч!

Беру смелость напомнить Вам об себе: я старый Ваш знакомый, Мартын Степаныч Пилецкий, и по воле божией очутился нежданно-негаданно в весьма недалеком от Вас соседстве — я гощу в усадьбе Ивана Петровича Артасьева и несколько дней тому назад столь сильно заболел, что едва имею силы начертать эти немногие строки, а между тем, по общим слухам, у Вас есть больница и при оной искусный и добрый врач. Не будет ли он столь милостив ко мне, чтобы посетить меня и уменьшить хоть несколько мои тяжкие страдания.

Принося извинение, что беспокою Вас, остаюсь Вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою — Мартын Пилецкий».

— Так я сейчас и поеду; мне все равно спать — что в постели, что в тарантасе! — объяснил Сверстов.

— Поезжайте! — не стал его отговаривать Егор Егорыч, и едва только доктор ушел от него, он раскрыл лежавшую перед ним бумагу и стал писать на ней уже не объяснение масонское, не поучение какое-нибудь, а стихи, которые хотя и выходили у него отчасти придуманными, но все-таки не были лишены своего рода поэтического содержания. Он бряцал на своей лире:

Как в ясной лазури затихшего моря
Вся слава небес отражается,
Так в свете от страсти свободного духа
Нам вечное благо является.

Но глубь недвижимая в мощном просторе
Все та же, что в бурном волнении.
Дух ясен и светел в свободном покое,
Но тот же и в страстном хотении.

Свобода, неволя, покой и волненье
Проходят и снова являются,
А он все один, и в стихийном стремленьи
Лишь сила его открывается.

Кончив и перечитав свое стихотворение, Егор Егорыч, видимо, остался им доволен и, слагая его, вряд ли не имел в виду, помимо своего душевного излияния, другой, более отдаленной цели!

XI

Доктор возвратился в Кузьмищево на другой день к вечеру и был в весьма веселом и возбужденном настроении, так что не зашел даже наверх к своей супруге, с нетерпением и некоторым опасением, как всегда это было, его поджидавшей, а прошел прямо к Егору Егорычу.

— Вы мне ничего не сказали, к какого сорта господину я еду...— начал он.

— И забыл совсем об этом,— отвечал Егор Егорыч, в самом деле забывший тогда, так как в это время обдумывал свое стихотворение.

— Он сосланный сюда, оказывается,— продолжал доктор.

— Да, эта высылка его произошла при мне, когда я в последний раз был в Петербурге.

— Он мне говорил, что его сослали за принадлежность к некой секте, название которой я теперь забыл.

— К секте Татариновой,— подсказал доктору Егор Егорыч.

— Нет, иначе как-то,— возразил тот.

— Ну, так Никитовской, должно быть,— отозвался Егор Егорыч.

— Это вот так! Но почему же она Никитовской называется?

— Она собственно называется Татарино-Никитовское согласие, и последнее наименование ей дано по имени одного из членов этого согласия, Никиты Федорова, который по своей профессии музыкант и был у них регентом при их пениях.

— Но сама Татаринова что за особа? Я об ней слыхал... Она, говорят, аристократка?

— Ну, какая же аристократка! — отвергнул Егор Егорыч.— Она урожденная Буксгевден, и мать ее была нянькой при маленькой княжне, дочери покойного государя Александра Павловича; а когда девочка умерла, то в память ее Буксгевден была, кажется, сделана статс-дамой,

и ей дозволено было жить в Михайловском замке... Дочь же ее, Екатерина Филипповна, воспитывалась в Смольном монастыре, а потом вышла замуж за полковника Татаринова, который был ранен под Лейпцигом и вскоре после кампании помер, а Екатерина Филипповна приехала к матери, где стала заявлять, что она наделена даром пророчества, и собрала вкруг себя несколько адептов...

— В числе которых был, конечно, одним из первых Мартын Степаныч Пилецкий?

— Да, он, деверья ее — Татариновы, князь Енгалычев, Попов, Василий Михайлыч...— перечислял Егор Егорыч.

— Но какая же собственно это секта была и в чем она состояла? — спросил доктор.

— Разно их понимают,— отвечал неторопливо Егор Егорыч, видимо, бывший в редко ему свойственном тихом и апатичном настроении.— Павел Петрович Свиньин, например, доказывал мне, что они чистые квакеры, но квакерства в них, насколько мне они известны, я не признаю, а скорее это наши хлысты!

— Как хлысты! — воскликнул ошеломленный этими словами Егора Егорыча доктор.

— Что же вас так удивило это?..— сказал тот.— Я говорю это на том основании, что Татарино-Никитовцы имели весьма сходные обряды с хлыстами, так же верят в сошествие на них духа святого... Екатерина Филипповна у них так же пророчествовала, как хлыстовки некоторые.

— Но меня удивляет,— отвечал доктор, все еще остававшийся в недоумении,— что у них в союзе, как сказал мне Мартын Степаныч, был даже князь Александр Николаич Голицын.

— Был! — подтвердил Егор Егорыч.

— Каким же образом, когда князь испокон века масон?

— Хлысты очень близки к масонам,— объяснил Егор Егорыч,— они тоже мистики, как и мы, и если имеют некоторые грубые формы в своих исканиях, то это не представляет еще существенной разницы.

— Разумеется! — воскликнул радостно доктор.— Я давно это думал и, кажется, говорил вам, что из раскольников, если только их направить хорошо, можно сделать масонов.

— Нет! — отвергнул решительным тоном Егор Егорыч. — Не говоря уже о том, что бо̀льшая часть из них не имеет ничего общего с нами, но даже и такие, у которых основания их вероучения тожественны с масонством, и те, если бы воззвать к ним, потребуют, чтобы мы сделались ими, а не они нами.

— Даже хлысты? — воскликнул доктор.

— И хлысты даже! — повторил Егор Егорыч.

— По грубости форм своих исканий?

— Отчасти и по грубости своей.

— А если бы молокан взять: у тех, я знаю, нет грубых форм ни в обрядах, ни в понимании! — возразил доктор.

Егор Егорыч сделал гримасу.

— У молокан потому этого нет, что у них не существует ни обрядов, ни понимания истинного, — они узкие рационалисты! — проговорил он как бы даже с презрением.

— Жаль! — сказал доктор. — Но опять вот о Пилецком. Он меня уверял, что их собрания посещал даже покойный государь Александр Павлович.

Егор Егорыч на некоторое время задумался.

— Государь Александр Павлович, — начал он, — был один из самых острых и тонких умов, и очень возможно, что он бывал у madame Татариновой, желая ведать все возрастания и все уклонения в духовном движении людей... Кроме того, я на это имею еще и другое подтверждение. Приятель мой Милорадович некогда передавал мне, что когда он стал бывать у Екатерины Филипповны, то старику-отцу его это очень не понравилось, и он прислал сыну строгое письмо с такого рода укором, что бог знает, у кого ты и где бываешь... Милорадович показал это письмо государю, и Александр Павлович по этому поводу написал старику собственноручно, что в обществе госпожи Татариновой ничего нет такого, что отводило бы людей от религии, а, напротив того, учение ее может сделать человека еще более привязанным к церкви.

— Свежо предание, а верится с трудом! — произнес и многознаменательно качнул головой доктор. — Скажите, вы давно знакомы с Пилецким, который, говорю вам откровенно, мне чрезвычайно понравился?

— Давно; я познакомился с ним, когда мне было всего только пятнадцать лет, в Геттингене, где я и он студиро-

вали сряду три семестра. Пилецкий был меня старше лет на шесть, на семь.

— По происхождению своему он, должно быть, поляк?

— Нет, он родом серб и, по-моему, человек высоких душевных качеств. Геттингенский университет тогда славился строгостью морали, философией и идеалистическим направлением!.. Я, как мальчик, охвачен был, конечно, всем этим и унесся весь в небеса; Мартын же Степаныч свои доктрины практиковал уже и в жизни; отличительным свойством его была простота и чистота сердечная, соединенная с возвышенным умом и с искренней восторженностью! Лично я, впрочем, выше всего ценил в Мартыне Степаныче его горячую любовь к детям и всякого рода дурачкам: он способен был целые дни их занимать и забавлять, хотя в то же время я смутно слышал историю его выхода из лицея, где он был инспектором классов и где аки бы его обвиняли; а, по-моему, тут были виноваты сами мальчишки, которые, конечно, как и Александр Пушкин, затеявший всю эту историю, были склоннее читать Апулея и Вольтера, чем слушать Пилецкого.

— В чем же собственно эта история состояла? — спросил с большим любопытством Сверстов.

— История чисто кадетская, из которой, по-моему, Пилецкий вышел умно и благородно: все эти избалованные барчонки вызвали его в конференц-залу и предложили ему: или удалиться, или видеть, как они потребуют собственного своего удаления; тогда Пилецкий, вместо того, чтобы наказать их, как бы это сделал другой, объявил им: «Ну, господа, оставайтесь лучше вы в лицее, а я уйду, как непригодный вам»,— и в ту же ночь выехал из лицея навсегда!

— И, по-моему, это благородно,— подхватил Сверстов,— и показывает действительно его снисходительность и любовь к детям. Теперь, впрочем, кажется,— присовокупил он с улыбкой,— Мартын Степаныч любит и почти боготворит одну только Екатерину Филипповну: он все почти время мне толковал, что она святая и что действительно имеет дар пророчества, так что я, грешный человек, заключил, что не существовало ли даже между ними плотской любви.

— Это не одни вы, а многие, в том числе и князь Александр Николаич, подозревали и объясняли, что они

не женятся единственно потому, что хлысты, кои, как известно, не признают церковного брака!

Проговорив это, Егор Егорыч стал легонько постукивать ногой. У Сверстова это не свернулось с глаза. Сообразив, что это постукивание как раз началось при слове «брак», он нашел настоящую минуту удобною, чтобы приступить к исполнению поручения своей gnädige Frau.

— Впрочем, бог с ними, со всеми этими господами,— начал он,— мне еще лично вас нужно повыпытать; скажите мне, как врачу и другу, успокоились ли вы совершенно по случаю вашей душевной потери в лице Людмилы?

Егора Егорыча точно что кольнуло. Он ни слова не отвечал и даже отвернулся от доктора.

— Когда вы возвратились из Петербурга,— продолжал тот,— мне показалось, что да: успокоились, стали бодрее, могучее физически и нравственно, но последнее время вы снова ослабли.

Егор Егорыч вдруг как бы воспрянул.

— Я не ослаб,— сказал он твердым и мужественным голосом,— но я угнетен сомнениями!..

— В чем? — спросил доктор.

Прежде чем ответить на это, Егор Егорыч покраснел.

— Говорить перед вами неправду,— забормотал он,— я считаю невозможным для себя: память об Людмиле, конечно, очень жива во мне, и я бы бог знает чего ни дал, чтобы воскресить ее и сделать счастливой на земле, но всем этим провидение не наградило меня. Сделать тут что-либо было выше моих сил и разума; а потом мне закралась в душу мысль,— все, что я готовил для Людмилы, передать (тут уж Егор Егорыч очень сильно стал стучать ногой)... передать,— повторил он,— Сусанне.

Доктор готов был привскочить от радости до потолка, но на первых порах удержался.

— Оно так и должно быть, это логическое последствие, больше ничего,— высказал он рассуждающим тоном.

— Нет-с, это не логическая последовательность,— воскликнул Егор Егорыч,— это измена и ветреность! Когда Людмила умерла, или... нет, что я говорю!.. раньше,— когда она отказала мне в руке, я должен был бы умереть.

— А это,— воскликнул уж и доктор, в свою очередь,— было бы признаком мелкой натуры, а у вас, слава богу, силы гиганта,— признаком глупой сентиментальности, которой тоже в вас нет! Людмила, как вы говорили, не полюбила вас и поэтому не должна была более существовать для вас!

— Как не существовать! — воскликнул Егор Егорыч.— Что же я, как старый башмак, и выбросил бы ее из души?

— Не то что башмак, я не так выразился,— объяснил доктор.— Я хотел сказать, что вы могли остаться для нее добрым благотворителем, каким вы и были. Людмилы я совершенно не знал, но из того, что она не ответила на ваше чувство, я ее невысоко понимаю; Сусанна же ответит вам на толчок ваш в ее сердце, и скажу даже,— я тоже, как и вы, считаю невозможным скрывать перед вами,— скажу, что она пламенно желает быть женой вашей и масонкой,— это мне, не дальше как на днях, сказала gnädige Frau.

— Сусанна, вы говорите, желает быть масонкой? — произнес глухим голосом Егор Егорыч.

— Да,— сказал с сильным ударением Сверстов,— и так как масонкой может быть только жена масона, то вы и должны жениться на Сусанне!

— Друг любезный, ты безумствуешь! Любовь твоя ко мне совершенно ослепляет тебя!.. Сусанна никак уж не пойдет за меня!.. Я слишком стар для нее! — кричал Егор Егорыч.

— На это я вам ничего не стану отвечать,— возразил доктор,— а вы позвольте мне лучше позвать сюда gnädige Frau, и она будет с вами разговаривать.

— Позовите! — крикнул Егор Егорыч.

— Позовите сюда вниз жену мою! — крикнул вслед за тем доктор, высунув голову в коридор, около которого была комната горничных.

Там произошел небольшой шум, и послышалось, что кто-то побежал наверх. Gnädige Frau не заставила себя долго ждать и в весьма скором времени явилась в спальню Егора Егорыча.

— Gnädige Frau,— сразу же объявил он ей,— я жалуюсь вам на вашего мужа: он вызывает меня на безумнейшую глупость: он говорит, что я смело могу свататься к Сусанне!

— Мало, что можете, но вы должны это сделать,— отвечала gnädige Frau, хоть и с большим внутренним волнением, но все-таки ровным и тихим голосом.

— Но как же это? — воскликнул Егор Егорыч.— Я старик, человек неведомый для Сусанны, terra incognita[1] для нее... Я, наконец, явлюсь перед Сусанной — что хуже всего — ветреным и изменчивым стариком!

— Ни то, ни другое, ни третье! — начала ему возражать по пунктам gnädige Frau.— Вы еще вовсе не старик. Конечно, Людмила к вам была несколько ближе по возрасту, но, как я слышала, только года на два, а это разница, думаю, небольшая!

Против такого аргумента Егор Егорыч, без сомнения, ничего не мог возразить. Доктор же, сидевший с потупленною головой, в душе наслаждался умом своей gnädige Frau.

— А что если вы говорите, что вы terra incognita для Сусанны, то вы совершенно ошибаетесь: terra incognita вы всегда были для Людмилы, но Сусанна вас знает и понимает!

— И я это самое говорю,— подхватил доктор.

— Ты теперь помолчи! — остановила его gnädige Frau.— Я бы, Егор Егорыч, о Сусанне звука не позволила себе произнести, если бы я ее не узнала, как узнала в последнее время: это девушка религиозная, и религиозная в масонском смысле, потому что глубоко вас уважает,— скажу даже более того: она любит вас!

Глаза gnädige Frau при этом горели, мускулы в лице подергивало; несомненно, что она в эти минуты устраивала одно из самых серьезных дел, какое когда-либо предпринимала в жизни.

Егор Егорыч между тем молчал и впал в глубокое раздумье. Доктор хотел было заговорить, но gnädige Frau движением руки остановила его. Егор Егорыч вскоре опять поднял голову.

— Благодарю вас, друзья мои! — начал он с навернувшимися на глазах слезами.— Слова ваши так радостны и неожиданны для меня, что я не в состоянии даже ничего отвечать на них.

— Натурально!..— произнесла gnädige Frau.— Пойдем! — прибавила она повелительно мужу.

---

[1] неведомая земля (*лат.*).

Тот, с своей стороны, счел нужным повиноваться ей.

— Gnädige Frau, завтра или, еще лучше, послезавтра вы придите ко мне в эту мою комнату поутру! — воскликнул Егор Егорыч, когда Сверстовы уходили.

— Приду послезавтра, в десять часов утра,— ответила ему с точностью gnädige Frau.

Почти наверно можно сказать, что ни Егор Егорыч, ни gnädige Frau, ни доктор эту ночь не спали напролет, да не спала, кажется, и Сусанна, тревожимая раздававшимся шумом внизу.

Весь следующий день Егор Егорыч провел, запершись в своей комнате, и только к вечеру спросил чаю с хлебом и затем снова заперся. Вероятно, он этот день провел в умном делании, потому что сидел неподвижно на своем кресле и, держа свою руку под ложечкой, потом все более и более стал поднимать глаза к небу и, видимо, одушевлялся.

— Gnädige Frau,— начал он, когда та ровно в назначенный час вошла к нему,— вы были два раза замужем и были, как мне известно, оба раза счастливы; но... у вас не было такой разницы в летах!

— Я, Егор Егорыч,— начала gnädige Frau с торжественностью,— никогда не считала счастием равенство лет, а всегда его находила в согласии чувств и мнений с мужем, и с обоими мужьями у меня они были согласны, точно так же, как и взгляды Сусанны Николаевны согласны с вашими.

Егор Егорыч при этом опять застучал ногой.

— Хоть мне и совестно, что я обременю вас, однако прошу: переговорите вы с Сусанной Николаевной, о чем мы теперь с вами говорили! — сказал он.

— Переговорю, и переговорю с великим удовольствием! — отвечала gnädige Frau и хотела было уйти; но Егор Егорыч воскликнул:

— Gnädige Frau, еще одно слово!.. Если бы предложение мое почему-либо показалось Сусанне Николаевне странным, то вот отдайте ей это мое стихотворение, в котором я, кажется, понятно выразил свои стихийные стремления и, пожалуй, прорухи.

Gnädige Frau прочла поданное ей стихотворение и, значительно качнув головою, проговорила:

— Я понимаю вашу мысль!

Затем она недолго медлила и на другой же день, сойдясь с Сусанной в неосвещенной зале и начав ходить с ней, по обыкновению, под руку, заговорила:

— Третьего дня муж уезжал на практику и, как рассказывал мне, был у весьма интересного больного: вообразите, дворянин, статский советник и принадлежит к секте хлыстов!

— Что же это, секта какая-нибудь раскольничья? — сказала Сусанна.

— Да, и очень распространенная между простым народом, но меня удивляет тут одно, что мужикам позволяют быть хлыстами, а дворянам нет, потому что этот больной сослан сюда.

— Почему же это? — поинтересовалась Сусанна.

— Я себе так это объясняю,— отвечала с глубокомысленным видом gnädige Frau,— что тут что-нибудь другое еще было: во-первых, во главе секты стояла знатная дама, полковница Татаринова, о которой я еще в Ревеле слыхала, что она очень близка была ко двору, а потом, вероятно, как и масоны многие, впала в немилость, что очень возможно, потому что муж мне говорил, что хлысты, по своему верованию, очень близки к нам.

— Близки, вы говорите? — переспросила Сусанна.

— Очень!.. Они также ищут единения с богом... мистики тоже!..

— А женщины у них в секте есть, кроме Татариновой? — перебила Сусанна.

— Этого я не знаю!.. Муж мне ничего не говорил... Хотите, я спрошу его?

— Пожалуйста!..— произнесла почти умоляющим голосом Сусанна.

— Но почему же вас так это интересует? — полюбопытствовала gnädige Frau.

Сусанна покраснела.

— Да потому,— сказала она, слегка улыбаясь,— что если мне нельзя быть масонкой, так хоть бы хлыстовкой сделаться.

— А тогда сошлют вас! — думала было напугать ее gnädige Frau.

— О, этого я не испугаюсь! — отвечала, даже усмехнувшись, Сусанна.

— Нет, зачем вам делаться хлыстовкой? — начала

серьезным тоном gnädige Frau.— Вы должны сделаться масонкой!

— А каким образом я сделаюсь масонкой? Мне это невозможно! — заметила Сусанна.

— Напротив, весьма возможно, да вы уж и начали ею быть!.. Продолжайте с тем же рвением, какое теперь у вас, учиться, молитесь, думайте, читайте указанные вам книги и потом выйдите замуж за масона!

— Но где же мне его взять? — произнесла опять с легонькой улыбочкой Сусанна.

— Он у вас есть под руками! — продолжала gnädige Frau тем же серьезным тоном.— Егор Егорыч очень желает жениться на вас.

Сусанна отрицательно покачала своей головкой.

— Нет,— сказала она,— Егор Егорыч не захочет жениться на мне... Я такая глупенькая!

— Это уж вы предоставьте судить другим, которые, конечно, найдут вас не глупенькою, а, напротив, очень умной!.. Наконец, о чем же спорим мы? Вы говорите, что Егор Егорыч не пожелает жениться на вас, тогда как он просил меня сделать вам от него формальное предложение.

— Но как же это,— спросила gnädige Frau Сусанна.— Он так еще недавно любил Людмилу?

— Я ваше сомнение сейчас рассею: прочтите стихотворение Егора Егорыча, которое он поручил передать вам! — сказала gnädige Frau и подала Сусанне стихи Марфина.

Та прочла их и слегка вспыхнула. Она, кажется, не вполне поняла смысл стихотворения. Gnädige Frau заметила это и объяснила:

— Тут говорится, что свободный от страстей дух человека являет вечное благо, но он тот же и в своих стихийных стремлениях. Так и с Егором Егорычем случилось. В Людмиле Николаевне он ошибся: она его не оценила, но вы его оцените, а что он свое чувство, устремленное прежде к Людмиле Николаевне, перенес на вас,— это натурально! Вы ее родная сестра и, без сомнения, награждены природою всеми прелестными качествами, которые она имела; сверх того, вы имеете тот высокодуховный темперамент, которого, я убеждена, Людмила Николаевна не имела.— Поняли вы меня?

— Поняла...— сказала было сначала Сусанна протяжно, но потом уже скоро и голосом, явно трепещущим от радости, присовокупила: — Я, конечно, сочту за счастие быть женой Егора Егорыча и всю мою жизнь посвятить ему, но как мамаша,— я не знаю,— даст ли она согласие; она уже останется совершенно одна, если я выйду замуж.

«Какое широкое и предусмотрительно-любящее сердце у этого прелестного существа!» — снова подумала gnädige Frau.

— Мамаша вовсе не останется одна! — поспешила она с этой стороны успокоить Сусанну.— Она будет жить с вами; вы и Егор Егорыч будете нежными детьми к ней,— чего ж старушке больше?

— Но вы все-таки предуведомьте Егора Егорыча, что я не в состоянии ни для каких благ в мире расстаться с матерью!

Тут уже gnädige Frau улыбнулась.

— Ему говорить это нечего; он сам, если бы вы пожелали расстаться с вашей матушкой, не позволил бы этого!..

— Я-то пожелаю расстаться с мамашей! — воскликнула Сусанна и, долее не выдержав, заплакала.

— Плачьте, плачьте, это так и следует! — одобрила ее gnädige Frau и тоже прослезилась.

— Но если я недостойна буду Егора Егорыча? — воскликнула еще раз Сусанна.

— Будете достойны,— настойчиво повторяла gnädige Frau,— даже, может быть, превзойдете его по высоте и изяществу ваших душевных свойств!

Несмотря на все эти утешения и доказательства, Сусанна продолжала плакать, так что ее хорошенькие глазки воспалились от слез, а ротик совершенно пересох; она вовсе не страшилась брака с Егором Егорычем, напротив, сильно желала этого, но ее мучила мысль перестать быть девушкой и сделаться дамой. Как бы ни было, однако gnädige Frau, отпустив Сусанну наверх в ее комнату, прошла к Егору Егорычу.

— Сусанна желает и согласна быть вашей женой! — сказала она.

В ответ на это Егор Егорыч схватил костлявую руку gnädige Frau и поцеловал ее, а gnädige Frau почти что обняла его. У обоих из глаз текли слезы.

С теми же неосушенными слезами на глазах gnädige Frau пошла в свое отделение, где нашла мужа приготовляющимся завалиться спать.

— Дело решено! — сказала gnädige Frau.— Егор Егорыч сделал через меня предложение Сусанне, и она приняла его.

Доктор встретил это известие с бешеным восторгом; он заключил в свои могучие объятия супругу и так ее прижал к своей груди, что той сделалось даже больно.

— Ты забываешь мою слабую грудь! — проговорила она нежным и сентиментальным голосом и слегка отстраняясь от мужа.

Оба супруга безусловно верили, что брак, который они устраивали, будет так же счастлив и согласен, как и их брак.

XII

На другой день Сусанна сама объявила матери, что Егор Егорыч сватается к ней и что она согласна на этот брак. Старуха услыхала это с полным спокойствием, как будто бы она заранее ожидала этого брака. Своим невыговаривающим и туго двигающимся языком Юлия Матвеевна одного только потребовала, чтобы, прежде чем Сусанна и Егор Егорыч повенчаются, всему их семейству, не выключая и ее самое, съездить в ближайший уездный городок и испросить благословения у проживающего там юродивого Андреюшки.

— Мы съездим! — отвечала ей Сусанна и, уйдя от матери к Егору Егорычу, рассказала ему о желании старушки.

— Я ничего не имею против того,— отвечал Егор Егорыч, не задумавшись.

Потом, в тот же день об этом намерении узнала gnädige Frau и выразила, с своей стороны, покорнейшую просьбу взять ее с собой, по той причине, что она никогда еще не видала русских юродивых и между тем так много слышала чудесного об этих людях.

Егор Егорыч и Сусанна, конечно, изъявили полную готовность исполнить ее просьбу; даже благодарили ее, что она пожелала с ними ехать; таким образом один

только доктор сделал возражение касательно этой предполагаемой поездки.

— Все это прекрасно,— сказал он,— но я боюсь, чтобы дорога не растормошила очень старушку!.. Чего доброго, ее медленный паралич, пожалуй, перейдет в скачущий.

Сусанна испугалась слов доктора.

Егор Егорыч подметил это.

— Но везли же мы ее из Москвы сюда, ничего не случилось,— заметил он.

— Если ты этого опасаешься, так и ты поезжай с нами,— решила gnädige Frau,— а то я полагаю, что если мы не поедем или не возьмем с собой Юлии Матвеевны, так это ее очень огорчит, что, по-моему, для нее гораздо вреднее всяких дорог!

— И это может быть!..— не отвергнул доктор.— Ты очень умно придумала, чтобы мне ехать!.. Я поеду!

После такого рода совещаний путешественники наши на той же неделе отправились в уездный городок, отстоявший от Кузьмищева верстах в тридцати. Порядок их следования был таков:

В покойной карете ехали адмиральша, Сусанна и доктор, а также и Антип Ильич, который пожелал непременно ехать и которому, конечно, ни Егор Егорыч, ни Сусанна, ни доктор не позволили встать на запятки, а посадили его с собой. Впереди кареты, в откидной бричке, ехал Егор Егорыч с gnädige Frau. Погода, несмотря на конец октября, была теплая, так что все скошенные луга покрыты были паутиной, что, как известно, предвещало долгое вёдро. Почтовая дорога, начавшаяся невдалеке от Кузьмищева, была недурна, благодаря тому обстоятельству, что в конце сентября ревизующий сенатор объезжал уездные города, а потому все земские силы были вызваны исправниками для улучшения путей сообщения с неумолимою строгостью.

В продолжение всей дороги адмиральша блаженствовала: она беспрестанно смотрела то в одно окно кареты, то в другое; при этом Сусанна и доктор глаз с нее не спускали, а Антип Ильич сидел весь погруженный, должно быть, в молитву.

Егор Егорыч между тем в своей бричке молчал; не заговаривала с ним и gnädige Frau, понимая, какие великие минуты своей жизни переживал он теперь.

Маленький городок, куда ехали мои путники, стоял на

судоходной реке и имел довольно красивые окрестности: по реке его тихо шли небольшие барки; в стороне виднелись сосновый бор и чье-то зеленеющее озимое поле. Внутри город был довольно грязен: в нем всего только одна церковь высилась и белелась, да белелись еще, пожалуй, каменные присутственные места; лавки же были хоть и новые, но деревянные, и для приезжающих в городе не имелось никаких удобств, кроме единственного постоялого двора с небольшим числом комнаток вроде номеров и с огромным крытым двором для лошадей. Постоялый двор этот наши путники заняли весь. Что касается до пищи, то сей отель тоже представлял мало утешительного: в нем никогда ничего не готовилось. О пище, впрочем, из моих приезжих никто не думал, и все намерены были ограничиться чаем, кофеем и привезенною из Кузьмищева телятиной, за исключением однако доктора, который, сообразив, что город стоит на довольно большой и, вероятно, многорыбной реке, сейчас же отправился в соседний трактирчик, выпил там рюмки три водочки и заказал себе селяночку из стерляди, которую и съел с величайшим наслаждением.

Тем временем Егор Егорыч послал Антипа Ильича к Андреюшке узнать, можно ли к нему идти, ибо юродивый не во всякое время и не всех к себе пускал. Антип Ильич исполнил это поручение с великим удовольствием и, возвратясь от Андреюшки, доложил с сияющим лицом:

— Можно-с, и сестрица ихняя, которая ходит за ними, приказала сказать вам, что Андреюшка даже закричал: «Скорей бы шли, скорей!»

Услышав это, все, разумеется, поспешили исполнить приказание юродивого. Адмиральшу повезли в бричке на одной лошади, причем она не без важности объяснила шедшей около нее gnädige Frau:

— Я говорила, что Андреюшка будет! (то есть примет, хотела она сказать). Я у него уж раз десять ехала (то есть бывала).

Маленький домишко Андреюшки стоял на самой окраине города; прошло тридцать лет, как юродивый из него не выходил, сидя день и ночь на лавке и держа даже себя прикованным на цепи. В молодости Андреюшка, по мастерству своему, золотил иконостасы, и, как шла молва, все вызолоченные им иконостасы до сих пор нисколько не

полиняли и не потускнели. С двадцатилетнего возраста Андреюшка, будучи грамотным, стал читать священное писание и на Апокалипсисе как бы несколько тронулся: первоначально он перестал заниматься своим мастерством, потом уединился совершенно и в конце концов сам сел на цепь. Слух об его подвижничестве очень быстро распространился, и к нему отовсюду стали приходить за благословением. Бери Андреюшка деньгами, к нему бы стеклись богатства великие, но он этого не делал, а принимал подаяния только калачиками, которыми питался и которых у него хватало для него самого и для всех родных. Сверх того, ходившая за ним родная сестра много продавала этих калачей.

В довольно большую комнату Андреюшки первая введена была Антипом Ильичом адмиральша, а за нею вошли Сусанна и Егор Егорыч, а также gnädige Frau и Сверстов. Андреюшке было лет около шестидесяти: испитой до худобы скелета, с курчавой, всклоченной седой головой и торчащей во все стороны бородою, он имел на себе белую, чистую рубаху и полосатые порты, но был босиком и, держа ноги сложенными под себя, постоянно легонько покачивался на цепи. Вся комната его была пропитана ладаном, которым Андреюшка раз по десяти на день заставлял сестру курить.

Едва только вошли к Андреюшке его посетители, он, не взглянув даже на них, запел: «Со святыми упокой! Со святыми упокой!»

Сусанна затрепетала: ей помстилось, что Андреюшка этим пророчит смерть ей, или,— что еще хуже,— смерть старухи-адмиральши, но сия своим чутким материнским сердцем догадалась.

— Это он о Людмиле поет,— поведала она gnädige Frau.

— Андреюшка,— обратилась она потом к юродивому,— я повезла к тебе, друг мой, дочь... Она за Егорыча выходит... Будет ли ей счи... счи?..

Юлия Матвеевна, конечно, хотела сказать: «будет ли ей счастье», и вместо «друг мой» — «другую мою дочь», вместо «Егорыча» — «Егора Егорыча», но у нее не выходило этого.

Андреюшка на эти слова адмиральши как-то ухарски запел: «Исаия, ликуй! Исаия, ликуй!»—потрясая при этом то в одну сторону, то в другую головой, и долго еще

затем продолжал на весьма веселый напев: «Исаия, ликуй! Исаия, ликуй!»

— Давно таким радостным не был... благословляет, значит! — отозвалась стоявшая несколько в стороне сестра Андреюшки, младшая ему, но похожая на него, и по званию своему девица.

Gnädige Frau больше всего поразили глаза Андреюшки — ясные, голубые, не имеющие в себе ни малейшего оттенка помешательства, напротив, очень умные и как бы в душу вам проникающие; а доктор глядел все на цепь; ему очень хотелось посмотреть под мышки Андреюшке, чтобы удостовериться, существуют ли на них если не раны, то, по крайней мере, мозоли от тридцатилетнего прикосновения к ним постороннего твердого тела. Андреюшка между тем так же весело, но уже другое пел: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся!» Далее он заметно утомился.

— Устал, батюшка, голубчик мой! — сказала ему сестра.

Андреюшка однако ничего на это не ответил, но зато Егор Егорыч спросил ее:

— Может быть, нам пора?

— Пора!..— шепнула ему та.

Сверстову, к его удовольствию, удалось наконец, когда он зашел сбоку к Андреюшке, через расстегнутую рубаху того заглянуть под мышки юродивому, причем он не увидел ни малейшего пятнышка.

«Вот это чудо настоящее!» — подумал Сверстов про себя.

Адмиральша же, когда gnädige Frau, по знаку Егора Егорыча, сказала ей, что надо уходить, произнесла знаменательно:

— Он благословит... Андреюшка, благослови!

Андреюшка закачал отрицательно головой.

— Ему благочинным здешним года с три как запрещено благословлять! — опять шепнула сестра Андреюшки Егору Егорычу.

— А! — полувоскликнул тот и во всеуслышание объявил, что пора удалиться; все пошли, будучи очень довольны, что посетили и видели юродивого.

Переночевав, кому и как бог привел, путники мои, едва только появилось солнце, отправились в обратный

путь. День опять был ясный и теплый. Верстах в двадцати от города доктор, увидав из окна кареты стоявшую на горе и весьма недалеко от большой дороги помещичью усадьбу, попросил кучера, чтобы тот остановился, и затем, выскочив из кареты, подбежал к бричке Егора Егорыча:

— Это ведь усадьба, где живет Пилецкий?

— Да,— проговорил Егор Егорыч, воспрянув от своих глубоких размышлений.

— Заедемте к нему!.. Мы сделаем благое дело; старуха бодра и весела и без меня доедет благополучно! — продолжал Сверстов.

— А как же Сусанна Николаевна? — спросил Егор Егорыч.

— Сусанне Николаевне я говорил; она просит даже, чтобы вы заехали! — отвечал Сверстов.

— Это хорошо будет! — одобрила и gnädige Frau, внимательно слушавшая весь этот разговор.

Егор Егорыч, хоть ему, видимо, не хотелось расставаться с Сусанной, согласился однако, вследствие чего gnädige Frau пересела в карету, взяв на всякий случай от мужа все пузырьки с лекарствами, везомые им для адмиральши, а Сверстов влез в бричку к Егору Егорычу, и они повернули с большой дороги, а карета поехала дальше по прежнему пути.

Усадьба Артасьева хоть стояла на высокой горе, но была весьма неказиста, с господским домом помещиков средней руки и с небольшими, худо обработанными полями. Войдя в дом по полусгнившим ступеням переднего крыльца, Егор Егорыч и Сверстов пошли далее и застали Пилецкого сидящим в небольшой гостиной за книгой. Это был, по-видимому, весьма хилый старик, с лицом совершенно дряблым; на голове у него совсем почти не оказывалось волос, а потому дома, в одиночестве, Мартын Степаныч обыкновенно носил колпак, а при посторонних и в гостях надевал парик; бакенбарды его состояли из каких-то седоватых клочков; уши Мартын Степаныч имел большие, торчащие, и особенно правое ухо, что было весьма натурально, ибо Мартын Степаныч всякий раз, когда начинал что-либо соображать или высказывал какую-нибудь тонкую мысль, проводил у себя пальцем за ухом. Но все эти недостатки и странности Мартына Степаныча сторицею выкупались развитым почти до сократовских разме-

ров лбом и при этом необыкновенно мечтательными серыми глазами, которым соответствовал мягкий, убеждающий голос, так что, кто бы ни слушал Мартына Степаныча, никогда никто не мог усомниться в том, что говоримое им идет из глубины его сердечного убеждения.

Увидав прибывших к нему гостей, он выразил на своем подвижном лице одновременно удивление и радость.

— Благодарю, глубоко благодарю вас, что посетили меня! — воскликнул он с мгновенно вспыхнувшим взором и затем крепко обнялся и горячо расцеловался с доктором и с Егором Егорычем.

— Лучше вам? — было первое слово Сверстова.

— Как вам сказать? Нервы стали как будто бы поспокойнее,— отвечал Мартын Степаныч.— Но позвольте мне однако, мой дорогой друг, взглянуть попристальнее на вас! — обратился он к Егору Егорычу и всматриваясь в того.— Вы молодец, юноша еще!

«Женится на днях», чуть было не бухнул доктор, но удержался, предчувствуя, что, может быть, это не понравится Егору Егорычу.

— Я не жалуюсь, здоров,— отвечал тот, приободрясь.— А мы сейчас были у юродивого одного! — присовокупил он затем, зная, что Пилецкий всегда интересовался всеми так называемыми божиими людьми.

— У какого юродивого? — спросил Мартын Степаныч снова с вспыхнувшим взором.

— Тут есть Андреюшка: тридцать лет он сидит по собственному хотению на цепи, молится мысленно и, как рассказывают, пророчествует!

— Весьма возможно! — сказал протяжно Мартын Степаныч.— Дар пророчества гораздо более распространен между людьми, чем это предполагают...

— Вы думаете? — перебил его Егор Егорыч.

— Убежден глубоко в том! — отвечал Пилецкий.— Возьмите вы одно: кроме людей к богу близких, пророчествуют часто поэты, пророчествуют ученые и великие философы, каков был, укажу прямо, Яков Бем!.. Простой сапожник, он прорек то, что и греческим философам не снилось!

— Да, он выше их взял! — подтвердил Егор Егорыч.— Но вы, перечисляя лиц пророчествующих, забыли еще наших аскетов!

— Да, и аскетов, конечно, надо было упомянуть! — сказал Мартын Степаныч.

— Аскетов ваших, Егор Егорыч, я прежде не признавал,— вмешался в разговор Сверстов,— но теперь, повидав Андреюшку, которого тоже надобно отнести к разряду аскетов, должен сказать, что, по-моему, он — или плут великий, или представляет собою чудо.

— Чем собственно? — спросил Мартын Степаныч.

— Тем-с, что Андреюшка этот тридцать лет качается на проходящих у него под мышками цепях, и на теле его нет ни малейшего знака от прикосновения цепей.

Пилецкий при этом на несколько мгновений задумался.

— Может быть, он удостоился уже получить тело преображенное. Господь в милости своей велик: он дарит этим излюбленных им людей.

— Да, но, чтобы достичь этого, все-таки нужен известный правильный путь! — воскликнул Егор Егорыч.

— Непременно! — подтвердил Мартын Степаныч.

— И аскеты его имели в строгой, определенной форме *умного делания!*

Мартын Степаныч молчал.

— Вам знакомы эти формы? — спросил его Егор Егорыч.

— Отчасти, но только весьма поверхностно! — отвечал Мартын Степаныч.

— Хотите, я вам объясню подробно? — сказал Егор Егорыч.

— Это будет манной для моей души,— проговорил Мартын Степаныч.

— В таком случае, я начну прямо! — продолжал Егор Егорыч.— Я знаю, кто вы, и вы знаете, кто я; мы, русские мартинисты, прежде всего мистики и с французскими мартинистами сходствуем и различествуем: они беспрерывно вводят мелкие политические интересы в свое учение, у нас — их нет! Сверх того, мы имеем пример в наших аскетах и признаем всю благодетельную силу путей умного делания!

— Позвольте,— возразил ему на это Мартын Степаныч,— я — давно, конечно, это было — читал об умном делании на испанском языке, но, опять-таки повторяю, подробности совершенно утратились у меня из головы.

— Подробности умного делания таковы! — перебил его Егор Егорыч.— Оно, что и вы, вероятно, знаете, стремится вывести темный огонь жизни из света внешнего мира в свет мира божественного. Но так как внешние вещи мира мы познаем: первое, через внешний свет, в коем мы их видим; второе, через звуки, которыми они с нами говорят, и через телесные движения, которые их с нами соединяют, то для отвлечения всего этого необходимы мрак, тишина и собственное безмолвие; а потому, приступая к умному деланию, мы должны замкнуться в тихой и темной келье и безмолвно пребывать в ней в неподвижном положении, сидя или лежа. Засим, самое умное делание совершается в семи степенях, соответственно семи видам натуры: из сих семи степеней, или видов, три суть темные, в коих наш огненный дух еще только стремится к небесному свету, один вид есть переходный и три последние — высшие. В частности, сии семь видов и степеней *умного делания* суть следующие: отвлекшись от множественности чувств, мыслей и желаний, должно собрать и сосредоточить всю силу духа в области сердца. Вспомогательными средствами для сего являются: задержание дыхания (ноздренное дыхание), при мысленном повторении молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя!» Сие называется *сжатием* духа; сие *сжатие* переходит во внутреннее порывистое *движение,* выражающееся усиленным биением сердца. В таком движении дух, не будучи в состоянии выйти из самого себя, впадает в *томление.* Но томление духа по небесном свете приближает к нам сей последний; когда же он соприкасается с нашим духом, то происходит *сотрясение,* или *толчок,* иначе называемый *небесною молниею.* Это есть переход или прорыв из темной области в светлую. Здесь наше существо вводится в райскую сущность, которая открывается, как божественная *теплота,* за каковою следует небесная *сладость,* ощущение коей не сопровождается никаким страстным томлением и никакими движениями в теле; последнюю же степень составляет видение небесного *света* и божественных образов. Сия степень имеет великое множество различий, сообразно большему или меньшему совершенству созерцающего.

Прослушав все это со вниманием, Мартын Степаныч проговорил наконец:

— Да, есть разные способы приближения к себе бога!

Но по тону его голоса нетрудно было догадаться, что хлыстовский способ верчения и кружения казался ему юнее, живее, человечнее и, может быть, даже вернее для призвания в свое нравственное бытие божественного духа.

Побеседовав таким образом с Пилецким часа с два, Егор Егорыч и доктор отправились в Кузьмищево. Всю дорогу Егор Егорыч рассуждал о Мартыне Степаныче.

— Пилецкий чрезвычайно переменился, чрезвычайно! — говорил он.— Я года три назад его видел, это был старик еще крепкий, разговорчивый, а теперь что это такое?

— Я говорю, что он влюблен в эту свою — как ее?.. Екатерину Филипповну, и теперь скучает об ней. Он мне с первых слов стал описывать ее, но с вами, я не знаю почему, ни слова не заикнулся об этом!

— Разговор не зашел о том. Кроме того, он прежде достаточно говорил мне о своей духовной матери.

— А он называет ее духовной матерью? — спросил доктор.

— Всегда, и еще тогда ходила по Петербургу острота Павла Катенина, который сказал, что Пилецкого, как евангельскую лепту, отыскала вдовица и принесла ко Христу.

— Это недурно! — заметил было Сверстов.

Но Егор Егорыч нахмурился.

— Что же тут недурного? — проговорил он.

— А самую вдовицу вы знаете? — расспрашивал Сверстов.

— Нет, и не видал даже никогда, но слыхал, что она умная, искренно верующая в свой дар пророчества, весьма сострадальная к бедным и больным; тут у них, в их согласии, был членом живописец Боровиковский, талантливый художник, но, как говорили тогда, попивал; Екатерина Филипповна сообща с Мартыном Степанычем, как самые нежные родители, возились с ним, уговаривали его, стыдили, наконец, наказывали притворным аки бы гневом на него.

Пока таким образом рассказывал Егор Егорыч, показалось и Кузьмищево, где мои кавалеры нашли дам очень уставшими с дороги и уже улегшимися спать.

На другой день поутру начались толкования о пред-

стоящем венчании Егора Егорыча с Сусанной, которое потом и совершилось с полной простотой.

В избранный для венчания день Егор Егорыч послал Антипа Ильича к священнику, состоящему у него на руге (Кузьмищево, как мы знаем, было село), сказать, что он будет венчаться с Сусанной Николаевной в пять часов вечера, а затем все, то есть жених и невеста, а также gnädige Frau и доктор, отправились в церковь пешком; священник, впрочем, осветил храм полным освещением и сам с дьяконом облекся в дорогие дорадоровые ризы, в которых служил только в заутреню светлого христова воскресения. Все дворовые и даже крестьяне Егора Егорыча сбежались на эту церемонию. Преобладающее в этом случае число было, конечно, женщин и ребятишек: последние бессмысленно, но с большим любопытством на все глядели, а из женщин, особенно молодых, некоторые слегка вздыхали и проговаривали шепотом между собою:

— Ишь ты, какая молоденькая идет за нашего барина!

Усерднее всех, в продолжение всей церемонии, молились Антип Ильич и ключница Фаддеевна.

Под конец венчания священник сказал заранее сочиненное им слово.

«Тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа и во церковь»,— так говорит о браке богомудрый и боговдохновенный апостол. О сей великой тайне вам, отныне ее причастным, не в откровение неизвестного, а в напоминании об известном, хочу я сказать богомыслием внушенное слово.

Брак Христа и церкви есть восстановленный союз бога с творением. Союз восстановленный указует нам на союз первоначальный, коего нарушение потребовало восстановления. Воистину бог от века был в теснейшем союзе с натурою, и союз сей не на чем ином мог быть основан, как на том, что служит основанием всякого истинного союза и первее всего союза брачного,— разумею на взаимном самоотвержении или чистой любви, ибо бог, изводя из себя творение, на него, а не на себя, обращал волю свою, а подобно сему и тварная натура не в себе, а в боге должна была видеть цель и средоточие бытия своего, нетленным и чистым сиянием божественного света должна была она вечно питать пламенное горение своего жизненного начала.

Но владычествующий дух первозданной натуры, князь мира сего, первый носитель божественного света в природе, отчего и называется он Люцифером, сиречь светоносцем или Денницею, действием воли своей расторг союз бога с натурою, отделил огонь своей жизни от света жизни божественной, захотев сам себе быть светом. Обратившись против сущаго, изрек он из себя: «я есмь!», и сие «я есмь!» несокрушимую стену воздвигло и бездну непроходимую простерло между богом и творением; расторгся союз их, а с ним расторглась и связь самого творения, в подчинении единому сущему состоявшая. Все бесчисленное множество тварей, по примеру вождя своего, воскликнуло: «я есмь!», и воспламенился жизненный огонь всякой твари диким и мрачным пламенем; все они устремились друг против друга и каждая тщилась уничтожить всех других, дабы можно было ей сказать: «я и только я есмь!»

Но сие беззаконное действие распавшейся натуры не могло уничтожить вечного закона божественного единства, а должно было токмо вызвать противодействие оного, и во мраке духом злобы порожденного хаоса с новою силою воссиял свет божественного Логоса; воспламененный князем века сего великий всемирный пожар залит зиждительными водами Слова, над коими носился дух божий; в течение шести мировых дней весь мрачный и безобразный хаос превращен в светлый и стройный космос; всем тварям положены ненарушимые пределы их бытия и деятельности в числе, мере и весе, в силу чего ни одна тварь не может вне своего назначения одною волею своею действовать на другую и вредить ей; дух же беззакония заключен в свою внутреннюю темницу, где он вечно сгорает в огне своей собственной воли и вечно вновь возгорается в ней.

Но если низвержение восставшего духа в мрачную бездну и приведение в законный порядок всех тварей соответствовало правде божией, то оно еще не удовлетворяло любви божественной. Не довлело любящему божеству быть связанным с возлюбленною им натурою мира одною внешнею связью естественного закона и порядка; оно желало иметь с нею внутренний союз свободной любви, для коего твари являлись неспособными. А посему божественное слово, собрав все существенные свойства тварей и совокупив их в одну умопостигаемую единицу, как настоя-

щее зерцало всеединого бога, отразилось в сем живом зерцале, и бог-отец, узрев в нем точный образ и подобие возлюбленного сына, излил в него дух свой, сиречь волю любви своей,— и создался человек, и почи бог от дел своих. Но сей покой божества мог быть нарушен в самом месте его успокоения, то есть в человеке. Ибо человек, будучи одинаково причастен духа божия и стихийной натуры мира и находясь свободною душою своею посреди сих двух начал, как некая связь их и проводник действия божия в мире, тем самым имел роковую возможность разъединить их, уклонившись от божественного начала и перестав проводить его в натуру. Действительно, человек, как и сатана, расторг сей божественный брак, нарушил сей союз любви. Но иной был здесь образ нарушения, иные и последствия. Сатана утвердил волю свою в себе самом и мнил собою заменить божество; человек же обратил свою волю на другое,— на низшую натуру, стремясь соединиться с нею не чрез одухотворение ее духом божиим, а через уподобление себя ей или свое овеществление. Согласно сему, как грех сатаны был восстание и возношение, так грех человека был падение и унижение: сатана обратился против божества; человек же токмо отвратился от божества, соответственно чему сатана вверг себя в мрачную бездну неугасимого огня и ненасытимого духовного глада; человек же подвергся лишь работе тления, впав в рабство материальной натуре, и внутренний благодатный свет божественной жизни обменял на внешний свет вещественного мира. Отторгшись от всеединого божественного начала, человек утратил и внутреннюю связь существа своего: самый предмет желания его, начало натуральное, отделилось от него и обособилось; человек распался на два внешних существа — плотского мужа и жену, коим присуща лишь похоть внешнего, материального соединения, ведущего не к истиному единству, а наипаче к разделению и размножению. Итак, духовный райский брак в образе и подобии божием заменен плотским браком.

Но и в сем жалком состоянии падения не вконец порвалась связь человека с началом божественным, ибо человек не отверг сего начала в глубине существа своего, как сделал сие сатана, а лишь уклонился от него похотью, и, в силу сего внешнего или центробежного стремления, подпавши внешнему рабству натуры, сохранил однако

внутреннюю свободу, а в ней и залог восстановления, как некий слабый луч райского света или некое семя божественного Логоса. И поколику бог только чрез свободную душу человека мог иметь союз с тварию, то когда человек из райской ограды ниспал на землю труда и страдания, то и божество должно было последовать туда за ним, дабы на месте падения восстановить падшего и стать плотию в силу небесной любви. И слово плоть бысть и вселися в ны. Райский луч просиял полным светом, и заложенное в естестве человеческом семя спасения произрастило новое древо жизни. Распавшись в Адаме, существо наше снова воссоединилось во всех частях своих, человечество стало церковию и, как вновь обретенная невеста, сочеталась с небесным женихом своим. И если доселе всякий человек, как образ первого греховного Адама, искал плотского, на слепой похоти основанного союза с своею отделенною натурою, то есть с женою, так ныне, после того как новый Адам восстановил духовный союз с новою Евою, сиречь церковью, каждый отдельный человек, сделавшись образом этого небесного Адама, должен и в натуральном союзе с женою иметь основанием чистую духовную любовь, которая есть в союзе Христа с церковью; тогда и в плотском жительстве не только сохранится небесный свет, но и сама плоть одухотворится, как одухотворилось тело Христово. Таким образом в самое телесное общение можем мы провести и чрез него осуществить восстановленный во Христе союз бога с натурою, если только внешнее единение будет для нас не целью и не первым побуждением, а лишь крайним выражением и последним довершением того внутреннего духовного единства, про которое сам господь сказал: «что бог соединил, человек да не разлучает».

Так вы, ныне во Христе сочетавшиеся брат и сестра, когда слышали заповедь божию Адаму и Еве: «плодитеся, множитеся и населяйте землю», то заповедь сия, в плотском своем смысле, не токмо язычниками, но и скотами бессловесными исполняемая, для вас, христиан, дважды рожденных, не плотское токмо должна содержать разумение. «Плодитеся» — сиречь приносите плоды духа святаго во всякой добродетели. «Множитеся» — сиречь умножайте познание ваше о предметах божественных. «И населяйте землю» — сиречь землю новую, идеже правда живет. Аминь».

Плакала, слушая эту проповедь, почти навзрыд Сусанна; у Егора Егорыча также текли слезы; оросили они и глаза Сверстова, который нет-нет да и закидывал свою курчавую голову назад; кого же больше всех произнесенное отцом Василием слово вышибло, так сказать, из седла, так это gnädige Frau, которая перед тем очень редко видала отца Василия, потому что в православную церковь она не ходила, а когда он приходил в дом, то почти не обращала на него никакого внимания; но тут, увидав отца Василия в золотой ризе, с расчесанными седыми волосами, и услыхав, как он красноречиво и правильно рассуждает о столь возвышенных предметах, gnädige Frau пришла в несказанное удивление, ибо никак не ожидала, чтобы между русскими попами могли быть такие светлые личности. Ей, конечно, и в голову не приходило, что отец Василий, содержимый Егором Егорычем на руге при маленькой церкви, был один из умнейших и многосведущих масонов.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Прошла осень, прошла зима, и наступила снова весна, а вместе с нею в описываемой мною губернии совершились важные события: губернатор был удален от должности,— впрочем, по прошению; сенаторская ревизия закончилась, и сенатор — если не в одном экипаже, то совершенно одновременно — уехал с m-me Клавской в Петербург, после чего прошел слух, что новым губернатором будет назначен Крапчик, которому будто бы обещал это сенатор, действительно бывший последнее время весьма благосклонен к Петру Григорьичу; но вышло совершенно противное (Егор Егорыч недаром, видно, говорил, что граф Эдлерс — старая остзейская лиса): губернатором, немедля же по возвращении сенатора в Петербург, был определен не Петр Григорьич, а дальний родственник графа Эдлерса, барон Висбах, действительный статский советник и тоже камергер. Удар для самолюбия Крапчика был страшный, так что он перестал даже выезжать в общество: ему стыдно было показаться кому бы то ни было из посторонних на глаза; но гнев божий за все темные деяния Петра Григорьича этим еще не иссяк, и в одно утро он получил письмо от Катрин, надписанное ее рукою и запечатанное. Не понимая, что значит такая затеянная дочерью переписка, когда она жила с ним в одном доме, Петр Григорьич не без испуга и торопливо раскрыл письмо. Оно в самом деле оказалось роковым для него:

«Я от Вас бежала с Ченцовым,— писала Катрин,— не трудитесь меня искать; я еще третьего дня обвенчалась с

Валерьяном, и теперь мы едем в мое именье, на которое прошу Вас выслать мне все бумаги, потому что я желаю сама вступить в управление моим состоянием.

Остаюсь дочь Ваша Екатерина Ченцова».

— Нет врешь, ты не уйдешь от меня! Лошадей!! — закричал было Петр Григорьич, но на том и смолк, потому что грохнулся со стула длинным телом своим на пол. Прибежавшие на этот стук лакеи нашли барина мертвым.

Помимо отталкивающего впечатления всякого трупа, Петр Григорьич, в то же утро положенный лакеями на стол в огромном танцевальном зале и уже одетый в свой павловский мундир, лосиные штаны и вычищенные ботфорты, представлял что-то необыкновенно мрачное и устрашающее: огромные ступни его ног, начавшие окостеневать, перпендикулярно торчали; лицо Петра Григорьича не похудело, но только почернело еще более и исказилось; из скривленного и немного открытого в одной стороне рта сочилась белая пена; подстриженные усы и короткие волосы на голове ощетинились; закрытые глаза ввалились; обе руки, сжатые в кулаки, как бы говорили, что последнее земное чувство Крапчика было гнев!

В голове и в ногах покойника стояли четыре огромные и толстые свечи в серебряных подсвечниках, и светящееся через открытые окна заходящее солнце слегка играло на них, равно как и на ботфортах. Причетник читал, или лучше сказать, бормотал, глядя в развернутую перед ним на налое толстую книгу, и в это же самое время слышались из соседних комнат шаги ходивших по дому частного пристава, стряпчего, понятых, которые опечатывали все ящики в столах, все комоды, шкапы и сундуки. Из знакомых Петра Григорьича ни в день смерти его, ни на другой день, хотя слух о том облетел в какой-нибудь час весь город,— никто не приехал поклониться его телу: Крапчика многие уважали, иные боялись, но никто не любил.

Катрин, уведомленная с нарочным о смерти отца, не приехала на похороны, а прислала своего молодого управляющего, Василия Иваныча Тулузова, которого некогда с такою недоверчивостью принял к себе Петр Григорьич и которому, однако, за его распорядительность, через весьма недолгое время поручил заведовать всеми своими именьями и стал звать его почетным именем: «Василий

Иваныч», а иногда и «господин Тулузов». Не было никакого сомнения, что управляющий был весьма распорядителен. Прибыв в губернский город, он первое, что послал за приходскими священниками с просьбою служить должные панихиды по покойнике, потом строго разбранил старших из прислуги, почему они прежде этого не сделали, велев им вместе с тем безвыходно торчать в зале и молиться за упокой души барина. Устроив это, Тулузов разослал именитым лицам города пригласительные билеты о том, чтобы они посетили панихиды по Петре Григорьиче, а равно и долженствующее через день последовать погребение его. Независимо от того, Тулузов явился к секретарю дворянского депутатского собрания и просил его вместе с подвластными ему чиновниками быть на погребении его превосходительства, как бывшего их благодетеля и начальника, присоединив к сему еще и другую просьбу: принять трапезу, которая последует за погребением. Секретарь, хоть и не считал Петра Григорьича своим благодетелем, но, любя поесть и выпить, объявил, что он будет, а также и все его чиновники, хорошо ведая, что те тоже не прочь ублажить свой мамон при каком бы то ни было случае. От секретаря управляющий проехал к начальнику губернии барону Висбаху, которому в весьма почтительных выражениях объяснил, что он — управляющий бывшего губернского предводителя Петра Григорьича Крапчика и приехал просить начальника губернии почтить своим посещением прах его господина. Начальник губернии на это сказал, что он непременно будет и что это обязанность его даже.

Вследствие таковых мер, принятых управляющим, похороны Петра Григорьича совершились с полной торжественностью; впереди шел камердинер его с образом в руках; за ним следовали архиерейские певчие и духовенство, замыкаемое в сообществе архимандритов самим преосвященным Евгением; за духовенством были несомы секретарем дворянского собрания, в мундире, а также двумя — тремя чиновниками, на бархатных подушках, ордена Петра Григорьича, а там, как водится, тянулась погребальная колесница с гробом, за которым непосредственно шел в золотом и блистающем камергерском мундире губернатор, а также и другие сильные мира сего, облеченные в мундиры; ехали в каретах три — четыре немолодые дамы — дальние родственницы Петра

Григорьича,— и, наконец, провожали барина все его дворовые люди, за которыми бежала и любимая моська Петра Григорьича, пребезобразная и презлая. Хотя в этом кортеже и старались все иметь печальные лица (секретарь депутатского собрания успел даже выжать из глаз две — три слезинки), но истинного горя и сожаления ни в ком не было заметно, за исключением, впрочем, дворовой прачки Петра Григорьича — женщины уже лет сорока и некрасивой собою: она ревмя-ревела в силу того, что последнее время барин приблизил ее к себе, и она ужасно этим дорожила и гордилась!

На данном после похорон обеде присутствовали только чиновники депутатского собрания, имея во главе своей секретаря, певчие архиерейские и приходский священник с причтом; самый обед прошел весьма прилично; конечно, один из столоначальников депутатского собрания, подвыпив, негромко воскликнул своему собеседнику: «Он меня гнал, так и черт его дери, что умер!» Хотел было также и бас из певчих провозгласить вечную память покойнику, но управляющий, ходивший около стола, успевал как-то вовремя и сразу прекращать все это, и вообще винного снадобья не много красовалось на столе, и то это были одни только виноградные вина, а водка еще с самого начала обеда была куда-то убрана.

Предав с столь великим почетом тело своего патрона земле, молодой управляющий снова явился к начальнику губернии и доложил тому, что единственная дочь Петра Григорьича, Катерина Петровна Ченцова, будучи удручена горем и поэтому не могшая сама приехать на похороны, поручила ему почтительнейше просить его превосходительство, чтобы все деньги и бумаги ее покойного родителя он приказал распечатать и дозволил бы полиции, совместно с ним, управляющим, отправить их по почте к госпоже его.

— Это, полагаю, что возможно? — сказал губернатор стоявшему у него в это время полицмейстеру.

— Прежде никогда так не делалось! — возразил было тот.

— Что ж из того, что не делалось! — возразил ему, в свою очередь, губернатор и обратился потом к управляющему.—Завтрашний день я сам приеду в дом Петра Григорьича, распечатаю деньги и бумаги и лично вместе с вами отправлю их Катерине Петровне!

Управляющий поблагодарил его низким поклоном.

Губернатор исполнил свое обещание и, при бытности того же частного пристава, стряпчего и прежних понятых, распечатал ящики в письменном столе и конторке, где хранились деньги и бумаги Петра Григорьича, и при этом нашлось три тысячи золотом, тысяча рублей серебряными деньгами, рублей на пятьсот бумажек, да, сверх того, в особом пакете из сахарной бумаги триста тысяч именными билетами опекунского совета и затем целый портфель с разными документами. Губернатор все это, как и говорил, поехал сам отправить на почту, взяв с собою в карету управляющего, причем невольно обратил внимание на то, что сей последний, усевшись рядом с ним в экипаже, держал себя хоть и вежливо в высшей степени, но нисколько не конфузливо.

— Вы — извините мой вопрос — крепостной Петра Григорьича? — спросил он.

— Нет-с, я нанятой!

— Звание ваше?

— Из разночинцев! — ответил неопределенно управляющий.

Губернатор, впрочем, этим удовлетворился.

В почтовой конторе при появлении начальника губернии, произошел маленький переполох: чиновники, удивленные и отчасти испуганные таким нечаянным посещением его, принялись проворно запаковывать и запечатывать деньги и документы Петра Григорьича и писать со слов управляющего адресы, а губернатор тем временем, развернув книгу денежных выдач, стал просматривать ее.

— Что это такое? — спросил он стоявшего перед ним навытяжке помощника почтмейстера.— Тут я вижу, что за какого-то крестьянина расписался почтальон Зубарев.

— Крестьянин неграмотный-с! — отвечал было бойко ему помощник почтмейстера.

— Это я вижу,— произнес уже строго губернатор,— но почтальоны, равно как и другие чиновники конторы, не имеют права ни за кого расписываться. Прошу вас, чтобы вперед этого не было!

— Слушаю-с! — сказал, потупляя глаза, помощник почтмейстера.

Потом, когда надобно было выдать расписку в принятых почтою предметах, то ее унесли подписывать куда-то в другие комнаты.

— Куда ж расписку унесли? — спросил опять губернатор помощника почтмейстера.

— К подписанию господина губернского почтмейстера! — отвечал тот.

— А отчего его здесь нет?! — воскликнул губернатор с удивлением и негодованием.

— Они больны-с! — пояснил помощник.

— Тогда в исполнение всех его обязанностей вы должны были вступить!

— Они больны очень продолжительною болезнью — водяной, и около года уже не выходят из своей комнаты,— проговорил, еще более потупляясь, помощник почтмейстера.

— Понимаю,— отозвался на это губернатор,— но этого нельзя; от меня завтра же будет предложение, чтобы больной господин почтмейстер сдал свою должность вам, а расписку, мне выдаваемую, извольте разорвать и выдать мне другую за вашим подписом!

Этого, впрочем, оказалось ненужным делать, потому что почтальон, носивший расписку к губернскому почтмейстеру, принес ее неподписанною и наивно доложил:

— Борис Михайлыч почивают!

Губернатор на это злобно усмехнулся.

— Вот плоды существующих у вас порядков! — сказал он, обращаясь к совершенно растерявшемуся помощнику почтмейстера и спешившему подписать расписку, которую он и преподнес губернатору, а тот передал ее управляющему.

По отбытии начальника губернии и молодого управляющего из конторы, помощник почтмейстера принялся ругать почтальона, носившего расписку:

— Дурак и дурак! Я вот скажу Борису Михайлычу, что ты бухнул!

Почтальон и сам уж понимал, что он бухнул.

Слушавший это бухгалтер конторы — большой, должно быть, философ — почесал у себя в затылке и проговорил, усмехнувшись:

— Мы плакались и жаловались на чурбана, а Юпитер вместо него, видно, прислал нам журавля!

Пока все это происходило, Екатерина Петровна поселилась с мужем в принадлежащей ей усадьбе Синькове и жила там в маленьком флигеле, который прежде занимал управляющий; произошло это оттого, что большой синь-

ковский дом был хоть и каменный, но внутри его до такой степени все сгнило и отсырело, что в него войти было гадко: Петр Григорьич умышленно не поддерживал и даже разорял именье дочери. Впрочем, Катрин была рада такому помещению, так как ее Валерьян, по необходимости, должен был все время оставаться возле нее. Смерть отца, по-видимому, весьма мало поразила Катрин, хотя она и понимала, что своим побегом, а еще более того смыслом письма своего, поспособствовала Петру Григорьичу низойти в могилу; на Ченцова же, напротив, это событие вначале, по крайней мере, сильно подействовало.

— Боже мой! — воскликнул он в ужасе.— Еще и еще смерть!

Катрин неприятно было это слышать.

— Я не понимаю тебя! Неужели ты этими словами оплакиваешь смерть Людмилы или жены твоей! — проговорила она с легким укором и вместе с тем смотря жгучим и ревнивым взором на Ченцова.

— О, я оплакиваю также и смерть отца твоего! — отвечал Ченцов.

— В этом случае ты успокойся!.. — возразила ему Катрин.— Если тут кто погрешил, то это я; но, как ты видишь, я не плачу и знаю, почему не плачу!

Ченцов не продолжал далее об этом разговора и вытянулся на стуле, что он всегда делал, когда был чем-нибудь взбудоражен. С тех пор, как мы расстались с ним, он сильно постарел, оплешивел; по лицу его проходило еще большее число борозд, а некоторая одутловатость ясно говорила об его усердном служении Бахусу. Не видаясь более с дядей и не осмеливаясь даже писать ему, он последнюю зиму, дожив, как говорится, до моту, что ни хлеба, ни табаку, сделал, полупьяный, предложение Катрин, такой же полупьяный обвенчался с нею и совершенно уже пьяный выкрал ее из родительского дома. Катрин все это, без сомнения, видела и, тем не менее, с восторгом бежала с ним; умная, эгоистичная и сухосердая по природе своей, она была в то же время неудержимо-пылкого и страстного женского темперамента: еще с юных лет целовать и обнимать мужчину, проводить с ним, как некогда сказал ей Ченцов, *неправедные ночи* было постоянной ее мечтой. Двадцативосьмилетнее девичество сделало еще стремительнее в ней эту наклонность, и поэтому брак с

Ченцовым, столь давно и с такой страстью ею любимым, был блаженством, при котором для нее все другое перестало существовать.

«Пусть все погибнет,— мечтала она,— но только бы утопать в блаженстве с этим человеком!..»

Ченцов на первых порах не обманул ее ожиданий: он был именно таков, каким она его чаяла.

В один из вечеров Катрин велела накрывать ужин. Она давно знала, что Ченцов любит хорошо поесть, а потому, приехав в деревню, разыскала их старого повара, которого Петр Григорьич не держал в городе за то, что тот имел привычку покупать хорошие, а потому недешевые запасы, и поручила ему стряпать, убедительно прося его постараться и о цене припасов не думать. Старик, найдя возможность прилагать свое дарование, начал стряпать с замечательным искусством. Вместе с этим Катрин запаслась и вином для мужа, по преимуществу шампанским. Водки она упросила его, как только обвенчалась с ним, не пить, и Ченцов обещал ей это, но зато налег на шампанское. Для настоящего ужина повар им приготовил фаршированного поросенка под галантиром, соус из сморчков и чирков с свежим салатом. Ченцов ел все это и пил шампанское с великим удовольствием, выпила и Катрин стакана два; глаза у нее после этого еще более разгорелись, и она, обняв мужа, хотела было начать его целовать, но в их маленьком флигеле послышались чьи-то негромкие шаги. Супруги поспешили поотодвинуться друг от друга. Оказалось, что это приехал из губернского города управляющий, который, впрочем, предварительно спросил через дверь, может ли он войти.

— Пожалуйста! — крикнул ему Ченцов.

Управляющий вошел. Он после дороги успел уже умыться и приодеться.

— Кончили все? — спросила его Катрин как бы и печальным голосом.

— Кончил! — отвечал управляющий и подал ей три объявления с почты: одно на посылаемое ей золото и серебро, другое на билеты опекунского совета в триста сорок тысяч и, наконец, на именной билет самого Тулузова в пять тысяч рублей серебром. Катрин хоть и быстро, но зорко прочитала эти объявления и с заметным удовольствием передала их мужу; тот также пробежал глазами эти объявления и произнес: «Ого!»

— Благодарю вас! — сказала затем Катрин, мотнув приветливо головой управляющему.— Но вы, надеюсь, объяснили нашим знакомым, что я убита совершенно горем?

— Объяснил-с, и губернатору новому и многим другим лицам; все весьма соболезнуют об вас,— проговорил управляющий.

— Чем собственно умер Петр Григорьич? — спросил Ченцов.

— Мудрено ли умереть такому старому человеку, как Петр Григорьич! — отвечал управляющий без пояснения каких-либо подробностей.

— А похоронен отец был прилично? — сказала Катрин.

— Как он был похоронен, это и описать трудно! — принялся ей докладывать управляющий.— На похороны стекся весь город: губернатор, архиерей, певчие, чиновники, и все они оплакивали умершего.

— Приятно это слышать,— произнесла Катрин несколько сентиментальным голосом.

Затем управляющий еще подал Ченцову бумагу.

— Это еще что? — спросил тот.

— Счет, что стоили похороны,— объяснил управляющий.

— О, разве подобные расходы считаются! — отозвался Ченцов, отодвигая от себя бумагу.

— На всякий случай все-таки взять надо,— заметила Катрин.

Управляющий поспешил подать ей счет, который она и положила себе в карман.

— Вы так все это превосходно устроили,— говорил между тем Ченцов,— что позвольте вам предложить стакан шампанского.

— Благодарю вас, я не пью никакого вина! — отказался управляющий.

— Даже шампанского? — воскликнул Ченцов с удивлением.

— Никакого! — повторил управляющий.

— Но чем же, однако, мы вас вознаградим?—продолжал Ченцов, бывший в добром настроении духа частию от выпитого шампанского, а также и от мысли, что на похоронах Петра Григорьича все прошло более чем прилично: «Надобно же было, по его мнению, хоть чем-нибудь

почтить старика, смерть которого все-таки лежала до некоторой степени на совести его и Катрин».

— А какое жалованье получали вы у Петра Григорьича? — отнесся он снова к управляющему.

— Петр Григорьич платили мне по мере моих заслуг! — объяснил управляющий.

— Сколько именно? — добивался Ченцов.

— Не желаю этого говорить, потому что Петр Григорьич награждали меня более, чем я заслуживал, а вы сами будете видеть, чего я стою!

— Увидим, конечно, и не обидим! — сказала Катрин, желавшая поскорее кончить разговор с управляющим и остаться с мужем вдвоем.

— Это, конечно, что не обидим,— подхватил Ченцов,— но я желал бы за то, что вы вот так умно распорядились с похоронами и с наследством Петра Григорьича, отдельно от жалованья поблагодарить вас.

— Это я сделал,— сказал управляющий, прижимая руку к сердцу,— в благодарность памяти Петра Григорьича и из усердия к будущей моей госпоже, Катерине Петровне. За что же мне деньги брать за это? Но я просил бы оказать мне другого рода благодеяние; по званию моему я разночинец и желал бы зачислиться в какое-нибудь присутственное место для получения чина, что я могу сделать таким образом: в настоящее время я уже выдержал экзамен на учителя уездного училища и потому имею право поступить на государственную службу, и мне в нашем городе обещали зачислить меня в земский суд, если только будет письмо об том от Петра Григорьича.

— Но он умер так некстати! — возразил Ченцов.

— Это все равно,— продолжал управляющий,— память о Петре Григорьиче так еще свежа, что и по письму Катерины Петровны также исполнят.

— Напиши, Катрин, если Василий Иваныч желает этого! — обратился Ченцов к жене.

— С удовольствием, но к кому же я напишу? — отнеслась она к управляющему.

— К господину исправнику, и потом вот еще что осмелюсь доложить: в деньгах Петра Григорьича находится мой именной билет, который Петр Григорьич держал у себя на случай какого-нибудь проступка с моей стороны и о котором есть здесь особое объявление...

— Мы возвратим вам этот билет! Зачем он нам? — воскликнул Ченцов.

— Нет-с, вы тоже извольте его держать при себе, это будет покойнее для вас и для меня; я вот только просил бы Катерину Петровну записку Петра Григорьича, которую он мне выдал, изменить на свою!

С этими словами управляющий подал известную нам записку Петра Григорьича.

Катрин прочитала ее.

— Вы желаете, чтобы я сейчас же вам дала от себя записку? — спросила она.

— Да, если вам будет не затруднительно,— проговорил вежливо управляющий.

Катрин изорвала записку отца и написала таковую от себя, получив которую управляющий ушел.

Оставшись с глазу на глаз с мужем, Катрин немедля же принялась обнимать и целовать его, шепча при этом страстным голосом:

— Все эти деньги отца моего я тебе, тебе, мое сокровище, подарю!..

— Куда мне деньги?!. Я еще в карты их проиграю! — говорил, смеясь, Ченцов.— Вели лучше дать еще бутылку шампанского!

— Будет! — произнесла было упрашивающим голосом Катрин.

— Нет, ничего!

Катрин повиновалась и велела подать бутылку.

Ченцов выпил залпом из нее два стакана.

— А теперь спой что-нибудь из моих любимых романсов! — сказал он.

— Сумасшедший! — проговорила Катрин, но и тому повиновалась.

Сев за перенесенное из большого дома фортепьяно, она сильным и страстным контральто запела знакомый нам романс:

Не называй ее небесной
И у земли не отнимай!
С ней рай иной, но рай чудесный,
С ней гаснет вера в лучший край!

— Нет, постой, и я пропою! — перебил ее Ченцов, имевший, видимо, в голове несколько более сентиментальное представление, чем то, которое слышалось в петом романсе, и, сев за рояль, запел хоть и осиплым. но умелым баритоном:

Соловей, мой соловей,
Голосистый соловей,
Кто-то. бедная, как я,
Ночь прослушает тебя?

Катрин, впрочем, помешала ему докончить этот романс, потому что, стоя у него за стулом, она вдруг обхватила его голову своими сильными руками и заглушила его пение, прильнув губами к его губам.

— Ну, будет! — сказала она.

— Будет! — отвечал ей Ченцов и, шедши в спальню, проговорил: — Какое дарование у этого Лябьева, черт его знает!.. По-моему, он музыкант великий!

Управляющий тем временем в своем совсем маленьком флигельке, в который он перебрался, когда Ченцовы заняли его флигель, все еще копошился. Войдя к себе, он прежде всего запер изнутри дверь, потом затворил внутренние ставни и заложил их крючками, а затем засветил свечку. В комнате его был довольно большой письменный стол и несколько соломенных плетеных стульев, кровать с весьма чистыми одеялом и подушками и очень крепкий, должно быть, сундук, окованный железом. Управляющий подошел к этому сундуку и отпер его; замок при этом прозвенел, чем явно намекал на свое дорогое и, может быть, даже английское происхождение. Когда он поднял крышку у сундука, то оказалось, что тот весь был наполнен платьем, которое Тулузов стал выкладывать, и в показавшееся потом дно сундука засунул какой-то особый крючок и им поднял это дно, причем обнаружилось, что сундук был двухъярусный и в нижнем этаже, очень небольшом, лежали билеты разных приказов общественного призрения, примерно тысяч на пятьдесят. Положив к этим билетам расписку Екатерины Петровны, управляющий опустил верхнее дно на прежнее место, а затем, снова уложив в сундук свое платье, запер его с прежним как бы тоскующим звоном замка, который словно давал знать, что под ним таится что-то очень нехорошее и недоброе!

II

Запущенное Петром Григорьичем Синьково с каждым днем возобновлялось и застраивалось. Прежде всего большой дом был исправлен внутри: мраморные стены в зале, лопнувшие в некоторых местах, были сделаны со-

вершенно заново; гостиная оклеилась начавшими тогда входить в употребление насыпными суконными обоями зеленого цвета; боскетная была вновь расписана; но богаче всего, по желанию Катрин, украсилась их общая с супругом спальня: она вся была обита в складку розовым штофом; мебель в ней имела таковую же обивку. Прежняя обыкновенная печь в спальне заменилась затейливым камином, и в конце концов брачная кровать молодых представляла нечто невероятное: она была широчайшая, из цельного красного дерева, и в обеих спинках ее были вделаны огромные зеркала, так что всякий, ложившийся на эту кровать, видел себя с головы до ног. За этой кроватью, да и вообще за многими вещами и даже мастерами управляющий нарочно ездил в Москву. Мебель, бронза и посуда были перевезены в Синьково из городского дома Петра Григорьича. Флигеля и избы для дворни тоже были поправлены с подошвы. Об этом собственно позаботился Ченцов, говоривший, что нельзя людей держать в хлевах и развалинах, и вообще он приказал управляющему значительно улучшить содержание дворовых людей сравнительно с тем, какое они имели у Петра Григорьича, который держал их на такой антониевской пище, что некоторые из дворни его в праздники ходили христарадничать. Пожелал также Ченцов, чтобы в Синьково был переведен и большой конский завод, находившийся у Петра Григорьича в усадьбе, некогда подаренной ему императором Павлом и которую Крапчик благоустраивал до последней степени. Завод оказался весьма хорошим и многочисленным, так что для него пришлось выстроить новый, обширный и красивый, по своему фасаду, конский двор. Кроме конского завода, Катрин велела также перевести из отцовской усадьбы и псовую охоту, которая у Петра Григорьича была немаленькая и с достаточным числом приученных охотников. Словом, Ченцовы устроили свою деревенскую жизнь совершенно на широкую ногу русских бар. Одно, что они не знакомились ни с кем из соседей, да, признаться сказать, и не с кем было, потому что близко от них никого не жило из помещиков; знакомиться же с чиновниками уездного города Катрин не хотела, так как они ее нисколько не интересовали, а сверх того очень возможно, что в их кругу могла найтись какая-нибудь хорошенькая дама, за которой ее Валерьян, пожалуй, приволокнется. Такое опасение Катрин, кажет-

ся, было по меньшей мере преждевременно, ибо Ченцов пока еще совершенно был поглощен пылкою любовью своей супруги и потом искренно развлекался забавами Немврода: он охотился с псовой охотой, в которой иногда участвовала очень бойко и смело ездившая верхом Катрин, одетая в амазонку, в круглую мужскую шляпу и с нагайкой в руке; катались также молодые супруги в кабриолете на рысистом бегуне, причем Катрин всегда желала сама править, и Ченцов, передав ей вожжи, наблюдал только, чтобы лошадь не зарвалась очень; но Катрин управляла ею сильно и умело. С наступлением глубокой осени, конечно, все эти удовольствия должны были прекратиться; единственным развлечением для моих супругов остались пение и музыка по вечерам, которые обыкновенно оканчивались небольшими оргиями за ужином. Задумал было Валерьян приняться за чтение, но в библиотеке Петра Григорьича, тоже перевезенной из его городского дома и весьма немноготомной, оказались только книги масонского содержания, и, к счастью, в одном маленьком шкафике очутился неизвестно откуда попавший Боккачио на французском языке, за которого Ченцов, как за сокровище какое, схватился и стал вместе с супругою целые вечера не то что читать, а упиваться и питаться сим нескромным писателем. Катрин тоже восхищалась этим чтением до такой степени, что, слушая описание некоторых сцен, она чувствовала даже легкую дрожь во всем теле. Боккачио наконец был прочтен. Ченцов, не зная, чем заменить его, спросил однажды управляющего, не играет ли он в карты.

— Нет! — ответил тот.

— И ни во что не играете?

— В шашки играю! — проговорил управляющий, улыбаясь.

— Ну, давайте хоть в шашки! — воскликнул Ченцов, обрадовавшись и тому.

Тулузов сел с ним играть и с первой же партии разбил весьма, кажется бы, недурно игравшего Ченцова в пух и прах. Самолюбие того было несколько затронуто.

Он предложил управляющему другую партию, третью, четвертую, и все их проиграл.

— Где вы так отлично выучились играть в шашки? — полюбопытствовал он.

— У меня монах один знакомый был, и я к нему маль-

чиком еще ходил и часто с ним играл! — объяснил управляющий.

Начав после того почти каждый вечер играть с Тулузовым в шашки, Ченцов все более и более убеждался, что тот, кроме своего ума и честности, был довольно приятный собеседник, и в силу того Валерьян Николаич однажды сказал жене:

— Катрин, я непременно желаю, чтобы Василий Иваныч обедал с нами; он не лакей наш и обедает там где-то, я и не знаю... тем больше, что теперь он чиновник даже и — что важней всёго — нужнейший нам человек!

На это желание мужа Катрин немножко поморщилась: прежде всего ей не понравилось, что на их обеденных беседах будет присутствовать посторонний человек, а Катрин все часы дня и ночи желала бы оставаться с глазу на глаз с мужем; сверх того, не имея ничего против управляющего и находя его умным и даже, по наружности своей, красивым, она вместе с тем чувствовала какую-то непонятную неловкость от его лукаво-рысьего взгляда. Не сказав, впрочем, об этом мужу, Катрин проговорила с покорностью: «Как тебе угодно!», и Василий Иваныч с того же дня стал обедать за одним столом с своими господами. Держал он себя при этом весьма сдержанно, и если что начинал говорить, то непременно или нужное для его господ, или деловое вообще.

Но, как бы ни было, все эти развлечения Ченцову скоро надоели до тошноты, и он принялся умолять жену поехать на зиму в Москву и провести там месяца два. Катрин с полным удовольствием готова была исполнить эту просьбу, но ее только пугало и останавливало чувство ревности.

— А если ты в Москве начнешь ухаживать за какой-нибудь другой женщиной?..— сказала она откровенно мужу.

— О, господи! — воскликнул Ченцов.— Разве, будучи тебе мужем, достанет еще силы на это?

— Как кажется!..— отозвалась Катрин, потупляясь несколько.— Изволь, мы поедем; но вот мое условие: веселись ты в Москве, как тебе угодно, только и я с тобою буду участвовать во всех твоих развлечениях.

— Сделай милость! — отвечал, не подумав, Ченцов.

В конце декабря молодые супруги отправились в Москву в сопровождении повара, лакеев, горничных, лоша-

дей выездных и экипажей. Посланный еще заранее туда управляющий нанял для них целый барский дом с мебелью. Ченцовы, впрочем, не возобновили никаких своих прежних знакомств и стали развлекаться общественными удовольствиями: они разъезжали по Москве в своих дорогих экипажах и на доморощенных рысаках; гуляли среди самого высшего света по Тверскому бульвару; ездили на Кузнецкий мост, где накупали всевозможных модных безделушек, и, между прочим, Ченцов приобрел у Готье все сочинения Поль-де-Кока для развлечения себя и своей супруги. Катрин сделала себе туалет первой щеголихи; Ченцов тоже оделся утонченным петиметром, но вместе с тем ему хотелось и другого: ему хотелось, например, заехать в Английский клуб, пообедать там, а главное, поиграть в карты в серьезненькую, но Катрин ему напомнила его обещание не бывать нигде без нее, и Ченцов повиновался. Вечера молодые супруги проводили по большей части в театрах и по преимуществу в балетах, откуда, возвращаясь прямо домой, они садились за прекрасно приготовленный им старым поваром ужин, за которым, мучимые возбужденною в театре жаждою, выпивали значительное количество шампанского. Бывали также Ченцовы несколько раз в маскарадах Дворянского собрания, причем Катрин ходила неразлучно с мужем под руку, так что Валерьян Николаич окончательно увидал, что он продал себя и теперь находится хоть и в золотой, но плотно замкнутой клетке; а потому, едва только наступил великий пост, он возопиял к жене, чтобы ехать опять в деревню, где все-таки ему было попривольнее и посвободнее, а сверх того и соблазнов меньше было. Катрин тоже рада была уехать из Москвы: ее очень утомляло это беспрерывное смотрение за мужем. По всем сим обстоятельствам, супруги, с прилетом жаворонков, были уже в Синькове, с приездом куда Ченцов принялся просто-напросто дурить: он сам объезжал совершенно неприезженных лошадей,— те его разбивали и раз даже чуть не сломали ему шеи. Катрин плакала и умоляла его не делать этого, но Ченцов не слушал ее и точно бы искал смерти в этой забаве. Напиваться он начал не только на ночь, но и за обедом. Видимо, что его внутри что-то такое грызло и не давало ему минуты покоя.

За одним из ужинов между супругами произошел довольно колкий спор, несколько характеризующий разность

их мировоззрений. Они заговорили о весьма скандалезной сцене в романе Поль-де-Кока.

— Что за страсть у Поль-де-Кока описывать все это с такой насмешкой? — заметила Катрин.

— Да чего же это иного, кроме насмешки, и стоит! — возразил с гримасой Ченцов.

— Как чего иного, когда это высшая поэзия! — произнесла Катрин, удивленная словами мужа.

— Хороша поэзия!..— отозвался презрительно Ченцов.

— Но ты же называл это самым привлекательным наслаждением в жизни! — хотела было Катрин поймать мужа на его собственных словах.

— Пьяному многое покажется привлекательным! — сказал он, будучи сам на этот раз почти не пьян.

— Я не знала, что вам только пьяному так это казалось и кажется!..— проговорила с ударением и с заметным неудовольствием Катрин, совершенно искренно считавшая любовь, со всеми ее подробностями, за высочайшую поэзию, и затем она с гневным уже взором присовокупила: — Значит, про тебя правду говорили, что ты совершенно испорченный человек!

— Может быть, я и испорченный человек, но не стану называть небом то, что и животным не кажется, я думаю, небом, а чистой землицей и грязцой!..

Катрин очень хорошо, разумеется, понимала, что муж этими словами язвил ее, и язвил умышленно.

— Мне это представлялось небом только с вами, а вы, я не знаю, со сколькими пользовались этим небом!

— Мне никогда не казалось это небом, а потому я в этом случае всегда был ищущий!

— И нашедший, вероятно, это небо с Людмилой, которая была такая неземная! — проговорила с насмешкой Катрин.

Об идеальности Людмилы Ченцов, и особенно последнее время, неоднократно говорил Катрин, которую, конечно, оскорбляли такие отзывы мужа о прежнем предмете его страсти, и она только силою характера своего скрывала это.

— Да, действительно,— отвечал на этот раз уже прямо Ченцов, выпивая стакан вина,— Людмила была единственная женщина, в любви которой для меня существовал настоящий рай!

Услышав такой ответ, Катрин не стала больше говорить и, порывисто встав с своего места, ушла в спальню.

Допив все оставленное на столе вино, поднялся также и Ченцов и ушел, но только не в спальню к жене, а в свой кабинет, где и лег спать на диван.

Это была первая ночь, которую супруги со дня их брака провели врозь.

Поутру Катрин думала нежностью поправить дело и до чаю еще вышла в кабинет к мужу. Ченцов, одетый в охотничий костюм, сидел, насупившись, перед туалетным столом.

— Ты прости меня! — сказала Катрин, обнимая и целуя его.

— В чем мне тебя прощать? — возразил ей Ченцов.— Ты ни в чем не виновата, и если тут кого прощать и извинять следует, так это твою натуру!

— Но и твою натуру тоже надобно немножко прощать! — продолжала, едва владея собой, Катрин в том же кротком тоне.

— Ну, что тут толковать об этом?.. Друг друга стоим!.. Я прежде еще знал это! — проговорил Ченцов, вставая и надевая на себя через плечо ружье и прочие охотничьи принадлежности.

— Разве ты уходишь, и уходишь в такую минуту?! — спросила с ужасом Катрин.

Ченцов ничего ей не ответил и ушел. Целый день он бродил по полям и по лесу и, возвратясь довольно поздно домой, почти прокрался в кабинет, позвал потихоньку к себе своего камердинера и велел ему подать себе... не есть,— нет, а одного только вина... и не шампанского, а водки. Лакей исполнил это приказание и принес огромный графин с ерофеичем, который держался в доме для угощения церковного причта. Ченцов отослал камердинера спать и, по уходе того, взял графин и через горлышко вытянул его почти до дна. Глаза у него сразу осовели. Он хотел было лечь на диван, но в то время вошла Катрин в одном белье и чулках; волосы ее были растрепаны и глаза воспалены от слез.

— Пойдем ко мне!.. Ты не должен и не смеешь тут спать! — сказала она мужу.

Тот насмешливо посмотрел на нее.

— В таком виде могу,— проговорил он совсем пьяным голосом.

Катрин взяла его за руку и увела с собой.

Не для услады своей и читателя рассказывает все это автор, но по правдивости бытописателя, ибо картина человеческой жизни представляет не одни благоухающие сердечной чистотой светлые образы, а большею частию она кишит фигурами непривлекательными и отталкивающими, и в то же время кто станет отрицать, что на каждом авторе лежит неотклонимая обязанность напрягать все усилия, чтобы открыть и в неприглядной группе людей некоторые, по выражению Егора Егорыча, изящные душевные качества, каковые, например, действительно и таились в его племяннике? Ченцов, прежде всего, по натуре своей был великодушен: на дуэли, которую он имел с человеком, соблазнившим его первую жену, он мог, после промаха того, убить его наверняк, потому что имел право стрелять в своего врага на десяти шагах; но Ченцов не сделал того, а спросил противника, даст ли он клятву всю жизнь не покидать отнятой им у него женщины. Противник, струсив, поклялся ему в том, и Ченцов выстрелил на воздух. С дворовыми и крестьянами он был добр и мягок до глупости, хоть в то же время не щадил целомудрия разных молодых девушек и женщин, да те, впрочем, и сами были рады тому: очень он им нравился своей молодцеватостью и своим залихватским удальством. Ченцов, говоря дяде, что он, как Дон-Жуан, вероятно, невдолге бухнется в пропасть,— сказал не фразу: в нем, в самом деле, было несколько общих черт с испанским героем. «Ну, Ченцов еще так себе! Может быть, это и правда! — предчувствую я, что скажут мне мысленно мои читательницы.— Но ваша Катрин, согласитесь!..» А Катрин вот что такое, сударыни, отвечаю я им заранее: — Катрин прежде всего недюжинное существо и не лимфа, условливающая во многих особах прекрасного пола всевозможные их добродетели. Пылкая в своих привязанностях и гневливая в то же время, она была одной из тех женщин, у которых, как сказал Лермонтов, пищи много для добра и зла, и если бы ей попался в мужья другой человек, а не Ченцов, то очень возможно, что из нее вышла бы верная и нежная жена, но с Валерьяном Николаичем ничего нельзя было поделать; довести его до недолгого раскаяния в некоторые минуты была еще возможность, но напугать — никогда и ничем. К несчастию, к последнему-то способу Катрин была более склонна, чем к первому, и не

прошло еще года их свадьбе, как не оставалось уже никакого сомнения, что Ченцов механически разговаривал с женой, механически слушал ее пение, механически иногда читал ей, но уже не Боккачио и не Поль-де-Кока, а некоторые весьма скучные и бестолковые масонские сочинения из библиотеки Петра Григорьича, что он явно делал на досаду Катрин, потому что, читая, всегда имел ядовито-насмешливую улыбку и был несказанно доволен, когда супруга его, томимая скукой от такого слушания, наконец, начинала зевать. При столь натянутых отношениях к жене, Ченцов между тем сблизился с управляющим почти на дружескую ногу.

Раз вечером Катрин была больна и лежала у себя в спальне, а Ченцов в своем кабинете пил шампанское и играл с Тулузовым в шашки.

— Ах, милейший Василий Иваныч,— сказал он,— вы, вероятно, не ведаете, какое тяжелое положение для человека быть женатым!

— Почему? — спросил тот как бы совершенно наивным голосом.

— По очень простой причине: человек тут прикован и скован!

Управляющий на это молчал.

— Может быть, для других это и ничего... удобно даже,— продолжал Ченцов,— но для меня нет!

Тулузов продолжал молчать.

— Я во всю жизнь мою,— снова продолжал Ченцов, закурив при этом новую трубку табаку и хлопнув залпом стакан шампанского,— никогда не мог жить с одной женщиной, и у меня всегда их было две и три!

— Это и для всех приятнее, чем с одной,— отозвался, наконец, управляющий.

— Ну, а вы сами как по этой части поступаете? — спросил его Ченцов.

— Мне как случится... я человек занятой,— объяснил управляющий.

— Ну, а я так нет!.. Я не таков! — возразил, смеясь, Ченцов.— Не знаю, хорошее ли это качество во мне или дурное, но только для меня без препятствий, без борьбы, без некоторых опасностей, короче сказать, без того, чтобы это был запрещенный, а не разрешенный плод, женщины не существует: всякая из них мне покажется тряп-

кой и травою безвкусной, а с женою, вы понимаете, какие же могут быть препятствия или опасности?!.

Тулузов на это опять ничего не сказал и только усмехнулся.

— Ужасно бы мне теперь,— признаюсь вам, как другу своему,— ужасно бы хотелось найти здесь такое местечко, где бы именно можно было таинственно наслаждаться.

Говоря это, Ченцов пристально глядел в лицо управляющего; тот же держал свои глаза опущенными на шахматную доску.

— Есть здесь такие места?.. Скажите мне откровенно, и вы мне сделаете в этом случае истинное благодеяние; иначе я такой пошлой жизни, какая выпала в настоящее время мне на долю, не вынесу и застрелюсь.

— Зачем стреляться? — возразил, усмехнувшись, управляющий.— Таких мест здесь даже очень много.

— Где ж они именно? — допрашивал Ченцов.

— В каждой почти деревне,— отвечал управляющий.

— На посиделки, что ли, к ним ехать надобно?

— Посиделок здесь нет,— произнес, как бы нечто обдумывая, управляющий,— но мужики здешние по летам все живут на промыслах, и бабы ихние остаются однеодинехоньки, разве с каким-нибудь стариком хворым или со свекровью слепой.

— Это отлично! — воскликнул Ченцов с восторгом.— И есть между ними хорошенькие?

— Есть, и даже вот в деревне Катерины Петровны, в Федюхине, у одного мужика-пчеловода есть сноха — прелесть что такое, и лицо-то у ней точно не крестьянское!

— Но как же бы повидать ее и познакомиться с ней? — расспрашивал уже задыхающимся от волнения голосом Ченцов.— Не могу же я зря ехать в деревню, не зная, где, что и как?.. Вы поруководствуйте меня!

Управляющий на это отрицательно качнул головой.

— Нет-с, мне вас, Валерьян Николаич, в этом нельзя руководствовать! — сказал он.— Вы изволите, конечно, понимать, что я человек подчиненный вам и еще больше того Катерине Петровне; положим, я вас научу всему, а вы вдруг, как часто это между супругами бывает, скажете о том Катерине Петровне!

— Oh, mon Dieu, mon Dieu! — воскликнул Ченцов.— Скажу я Катерине Петровне!.. Когда мне и разговари-

вать-то с ней о чем бы ни было противно, и вы, может быть, даже слышали, что я женился на ней вовсе не по любви, а продал ей себя, и стану я с ней откровенничать когда-нибудь!.. Если бы что-либо подобное случилось, так я предоставляю вам право ударить меня в лицо и сказать: вы подлец! А этого мне — смею вас заверить — никогда еще никто не говорил!.. Итак, вашу руку!..

Говоря это, Ченцов пил стакан за стаканом шампанское.

Управляющий подал ему руку, которую Ченцов сильно потряс и проговорил настойчивым голосом:

— Как это сделать, вы должны мне про то сказать!

— Сделать это,— начал управляющий, по-прежнему опустив глаза на шахматную доску,— можно так: в нашем приходском селе проживает одна старуха — Арина Семенова; она слывет знахаркой и свахой... Через нее, полагаю, можно сделать всякое знакомство.

— И что же, к ней я могу прямо приехать? — спросил Ченцов.

— В какой угодно вам час дня и ночи,— проговорил управляющий.

— Merci, мой друг, merci! — благодарил Ченцов, еще раз пожимая крепко руку Тулузову и даже целуя его, не ведая нисколько, кого он лобызает!

III

Иван Петрович Артасьев, у которого, как мы знаем, жил в деревне Пилецкий, прислал в конце фоминой недели Егору Егорычу письмо, где благодарил его за оказанное им участие и гостеприимство Мартыну Степанычу, который действительно, поправившись в здоровье, несколько раз приезжал в Кузьмищево и прогащивал там почти по неделе, проводя все время в горячих разговорах с Егором Егорычем и Сверстовым о самых отвлеченных предметах по части морали и философии. В их беседах участвовали также и дамы, причем gnädige Frau нет-нет да и ввернет свое, всегда очень основательное мнение, равно и Сусанна делала замечания, отличающиеся добротой и идеальностью, так что Пилецкий, как бы невольно, при этом останавливал на ней свой внимательный взгляд.

«Мартын Степаныч, теперь уже возвратившийся ко

мне в город,— объяснял в своем письме Артасьев,— питает некоторую надежду уехать в Петербург, и дай бог, чтобы это случилось, а то положение сего кроткого старца посреди нас печально: в целом городе один только я приютил его; другие же лица бежали от него, как от зачумленного, и почти вслух восклицали: «он сосланный, сосланный!..»,— и никто не спросил себя, за что же именно претерпевает наказание свое Мартын Степаныч? Не за то ли, может быть, что он искреннее и горячее любит бога, чем мы, столь многомнящие о себе люди?!»

Артасьев был хоть и недалекого ума, но очень добрый человек и, состоя тоже некогда в масонстве, со времени еще князя Александра Николаича Голицына, служил директором гимназии в изображаемой мною губернии.

Кроме вышеизложенного, в постскриптуме письма его было прибавлено, что Петр Григорьич Крапчик одночасно скончался и что столь быстрая смерть его главным образом последовала от побега из родительского дома Екатерины Петровны, обвенчавшейся тайно с господином Ченцовым.

— Опять новый сюрприз от племянничка! — воскликнул Егор Егорыч, разводя руками, и сейчас же торопливо пошел к Сусанне, которая сидела в своей комнате и вышивала по образцу масонского ковра gnädige Frau точно такой же ковер.

— Не удивляйтесь и не волнуйтесь! — сказал он ей и дал прочесть конец письма Артасьева.

На первых порах Сусанна в самом деле взволновалась немного, но потом ничего.

— Покойная сестра это предсказывала и незадолго до смерти своей мне говорила, что если она умрет, то Валерьян Николаич непременно женится на Катрин,— проговорила она, грустно улыбаясь.

— Почему же Людмила думала это? — спросил Егор Егорыч с удивлением.

— Она, вероятно, замечала, что mademoiselle Катрин нравилась Валерьяну.

— Фу ты, черт возьми! Что в ней могло ему нравиться? — вспылил Егор Егорыч.— Я, как сужу по себе, то хоть и видел, что Петр Григорьич желал выдать за меня дочь, но я прямо показывал, что она мне противна!.. Бог знает, что такое... Черкесска какая-то, или персиянка!

А между тем Валерьян любил Людмилу, и она его любила,— понять тут ничего нельзя!

Сусанна слушала мужа молча.

— Этому браку, я полагаю, есть другая причина,— продолжал Егор Егорыч, имевший, как мы знаем, привычку всегда обвинять прежде всего самого себя.— Валерьян, вероятно, промотался вконец, и ему, может быть, есть было нечего, а я не подумал об этом. Но и то сказать,— принялся он далее рассуждать,— как же я мог это предотвратить? Валерьян, наделав всевозможных безумств, не писал ко мне и не уведомлял меня о себе ни единым словом, а я не бог, чтобы мне все ведать и знать!

— Вы нисколько тут не виноваты! — проговорила, наконец, Сусанна.

— Вам это подсказывает ваша чуткая совесть? — спросил Егор Егорыч, устремляя пристальный взгляд на Сусанну.

— Да! — произнесла она твердым голосом.

— Ну, когда говорят ангелы, то им должно верить,— пробормотал Егор Егорыч и хотел было поцеловать руку у жены, но воздержался: подобное выражение того, что происходило в душе его, показалось ему слишком тривиальным.— Меня, впрочем, тут не одно это беспокоит, но и другое! — продолжал он.— Хорошо еще, когда Валерьян не понимает, что он натворил: он, называя вещи прямо, убийца Людмилы, он полуубийца вашей матери и он же полуубийца Крапчика; если все это ведомо его сознанию, то он живет в моральном аду, в аду на земле... прежде смерти!

— Пусть и испытает этот ад! — рассудила с своей стороны Сусанна.— Он может раскаяться и избегнуть ада вечного.

— Он непременно бы раскаялся,— кипятился Егор Егорыч,— когда бы около него был какой-нибудь духовный руководитель, а кто им может быть для него?.. Не супруга же его... Той самой надобна больше, чем ему, руководящая рука!.. Мне, что ли, теперь написать Валерьяну, я уж и не знаю? — присовокупил он в раздумье.

— Вам, по-моему, нечего писать ему в настоящую минуту! — заметила Сусанна.— Укорять его, что он женился на Катрин, вы не станете, потому что этим вы их только оскорбите! Они, вероятно, любят друг друга!.. Иное дело,

если Валерьян явится к вам или напишет вам письмо, то вы, конечно, не отвергнете его!

— О, что об этом и говорить! — воскликнул Егор Егорыч.— Я не отвергал его тысячекратно и готов снова тысячекратно не отвергнуть!

Не ограничиваясь, впрочем, такого рода совещанием с своей юной супругой, Егор Егорыч рассказал о полученном им известии gnädige Frau и Сверстову, а также и о происшедшем по этому поводу разговоре между ним и женою. Gnädige Frau сразу же и безусловно согласилась во всем с мнением Сусанны и даже слегка воскликнула, кладя с нежностью свою костлявую руку на белую и тонкую руку Сусанны.

— Сама мудрость говорила вашими устами!

Но доктор сомнительно почесывал у себя в затылке.

— Все-таки я вижу, что малый может погибнуть! — произнес он.— Согласен, что писать к нему Егору Егорычу неловко, ехать самому тем паче, но не выкинуть ли такую штуку: не съездить ли мне к Валерьяну Николаичу и по душе поговорить с ним?

— По какому же праву ты приедешь в незнакомый тебе дом? — сделала первый вопрос gnädige Frau.

— Ах, боже мой,— закричал на это доктор,— скажу, что ездил на практику и, заблудившись, заехал, увидав городскую усадьбу!

— Но это будет ложь, и такая явная, что ее сейчас поймут; потом, что именно и о чем ты будешь говорить с господином Ченцовым? — поставила второй вопрос gnädige Frau.

— Я буду с ним говорить,— начал было довольно решительно доктор,— что вот Егор Егорыч по-прежнему любит Валерьяна Николаича и удивляется, почему он его оставил!

— И что же из этого может произойти? — поставила третий вопрос gnädige Frau.

— Произойдет, что Валерьян Николаич опять пожелает сблизиться с дядей,— отвечал ей доктор.

— Может это произойти? — спросила уже Егора Егорыча gnädige Frau.

— Нет, не может,— сознался тот с печальным выражением в лице,— и по многим причинам, из коих две главные: одна — его совесть, а другая — его супруга, которая не пожелает этого сближения!

— И я то же думаю! — подтвердила Сусанна.

— В таком случае вам, конечно, ваши семейные дела и отношения лучше знать! — уступил доктор.

— Конечно, лучше! — подхватила gnädige Frau.— А пока, как советовала Сусанна Николаевна, *надобно ждать!*

— Ждать так ждать! — сказал с тем же невеселым лицом Егор Егорыч и затем почти целую неделю не спал ни одной ночи: живая струйка родственной любви к Валерьяну в нем далеко еще не иссякла. Сусанна все это, разумеется, подметила и постоянно обдумывала в своей хорошенькой головке, как бы и чем помочь Валерьяну и успокоить Егора Егорыча.

На следующей неделе Марфины получили еще письмо, уже из Москвы, от Аггея Никитича Зверева, которое очень порадовало Егора Егорыча. Не было никакого сомнения, что Аггей Никитич долго сочинял свое послание и весьма тщательно переписал его своим красивым почерком. Оно у него вышло несколько витиевато, и витиевато не в хорошем значении этого слова; орфография у майора местами тоже хромала. Аггей Никитич писал:

«Милостивый государь, Егор Егорыч!

В тот час, когда, с ударом к заутрене светлого христова воскресения в почтамтской церкви, отец иерей возгласил: «Христос воскресе!», я получил радостное известие от ее превосходительства Натальи Васильевны Углаковой, что Вы сочетались браком с Сусанной Николаевной, и я уверен, что Ваше венчание освещали не одне восковые наши свечи, а и райский луч!»

Вот куда хватил мой милейший Аггей Никитич, насосавшись некоторыми масонскими трактатами, которые Егор Егорыч, верный своему обещанию, выслал Звереву немедленно же по приезде своем в деревню из Москвы.

Далее Аггей Никитич продолжал:

«Подполковница Миропа Дмитриевна Зудченко, у которой я занимаю теперь прежде бывшую квартиру почтеннейшей Юлии Матвеевны, поручила мне передать Вам поздравление с тем же событием, и оба мы возносим наши теплые мольбы к зиждителю вселенной о ниспослании благословения на Ваше потомство. Вместе с тем я бе-

ру смелость прибегнуть к Вашему великодушному сердцу».

Излагаемое потом в письме Аггея Никитича явно было ему диктуемо Миропою Дмитриевною, потому что имело чисто деловой характер.

«На днях я узнал,— писал Зверев (он говорил неправду: узнал не он, а Миропа Дмитриевна, которая, будучи руководима своим природным гением, успела разнюхать все подробности),— узнал, что по почтовому ведомству очистилось в Вашей губернии место губернского почтмейстера, который по болезни своей и по неудовольствию с губернатором смещен. Столь много ласкаемый по Вашему письму Александром Яковлевичем, решился я обратиться с просьбой к нему о получении этого места».

Опять-таки Аггей Никитич при этом выразился не точно, говоря: *я* и *я;* гораздо было бы правдивее ему сказать: я, по настойчивому внушению Миропы Дмитриевны, решился обратиться к Александру Яковлевичу.

«На такое мое ходатайство его превосходительство мне изволил ответить»...

По случаю слова *изволил* Аггей Никитич имел продолжительный спор с Миропой Дмитриевной, находя, что такое выражение слишком лакейское, и по-солдатски просто бы следовало сказать: «его превосходительство приказал».

— Пишите, пожалуйста, как я вам говорю: я знаю, как пишутся такие письма! — настаивала на своем Миропа Дмитриевна и стала затем прямо диктовать Аггею Никитичу: — «Его превосходительство изволил ответить, что назначение на это место зависит не от него, а от высшего петербургского начальства и что он преминет написать обо мне рекомендацию в Петербург, а также его превосходительство приказал мне...»

— Вот где следует сказать *приказал!* — заметила Миропа Дмитриевна Аггею Никитичу, который на этот раз, не ответив ей ничего, не переставал писать: — «приказал попросить покорнейше и Вас о такой же рекомендации высшему петербургскому начальству».

Егор Егорыч, разумеется, не медля ни минуты, написал к князю Голицыну ходатайство об определении Зверева, и тот через две же недели был назначен на просимое им место. Получив официальное уведомление о своем определении, Аггей Никитич прежде всего сказал о том Миропе

Дмитриевне. Оно иначе и быть не могло, потому что во дни невзгоды, когда Аггей Никитич оставил военную службу, Миропа Дмитриевна столько явила ему доказательств своей приязни, что он считал ее за самую близкую себе родню: во-первых, она настоятельно от него потребовала, чтобы он занял у нее в доме ту половину, где жила адмиральша, потом, чтобы чай, кофе, обед и ужин Аггей Никитич также бы получал от нее, с непременным условием впредь до получения им должной пенсии не платить Миропе Дмитриевне ни копейки. Против этого условия Аггей Никитич сильно восставал, ибо он все-таки имел капиталец рублей в пятьсот ассигнациями, имел много вещей, которые можно было продать, но Миропа Дмитриевна и слышать ничего не хотела.

— Неужели же, Аггей Никитич, вы до сих пор не считаете меня вашим лучшим другом,— говорила она прискорбным тоном,— и думаете, что я не готова для вашего спокойствия пожертвовать всем на свете?

— Благодарю вас,— сказал на это майор, пожимая по старой привычке плечами, как будто бы они были еще в эполетах,— но согласитесь, что я не имею никакого права пользоваться вашей добротой.

— Ах, тут никакой нет доброты, тут другое! — воскликнула Миропа Дмитриевна, вспыхнув при этом в лице.

Покраснел также и Аггей Никитич.

— И почему вы думаете, что не имеете права этим пользоваться? — присовокупила Миропа Дмитриевна.

Аггей Никитич опять слегка пожал плечами.

— Потому что я мужчина и сам себе должен хлеб добывать,— проговорил он.

— А я женщина и тоже могу зарабатывать для себя и для других! — возразила ему Миропа Дмитриевна.— Кроме того, я имею безбедное состояние!.. Значит, об этом и говорить больше нечего — извольте жить, как я вам приказываю!

Аггея Никитича хоть и покоробливало, но он подчинился желанию Миропы Дмитриевны, и таким образом они стали обитать в весьма близком соседстве, сохраняя совершеннейшую непорочность и чистоту отношений.

Когда Миропа Дмитриевна услыхала от Аггея Никитича об его назначении в губернию, то сначала как будто бы и ничего, даже обрадовалась, хотя все-таки слезы тут же заискрились на ее глазах.

— Поздравляю вас, от души поздравляю! — проговорила она.

Затем последовавший обед шел как-то странно, и видно было, что Зверев и Миропа Дмитриевна чувствовали большую неловкость в отношении друг друга, особенно Аггей Никитич, который неизвестно уж с какого повода заговорил вдруг о Канарском.

— Да-с, это был полячок настоящий, с гонором и с душой! — сказал он.

— Кто это такой? — переспросила Миропа Дмитриевна с удивлением и неудовольствием.

— Канарский — польский бунтовщик и революционер,— объяснил Аггей Никитич.

— Но с какой же стати он пришел вам в голову? — продолжала с тем же недоумением Миропа Дмитриевна.

— Да так, случайно! — отвечал опешенный этим вопросом Аггей Никитич, так как он вовсе не случайно это сделал, а чтобы отклонить Миропу Дмитриевну от того разговора, который бы собственно она желала начать и которого Аггей Никитич побаивался.— Мне пришлось раз видеть этого Канарского в одном польском доме,— продолжал он рассказывать,— только не под его настоящей фамилией, а под именем Януша Немрава.

— Что это такое: Януш Немрава? — произнесла насмешливым и досадливым голосом Миропа Дмитриевна.

— Это по-польски значит: неловкий,— пояснил ей Аггей Никитич,— хотя Канарский был очень ловкий человек, говорил по-русски, по-французски, по-немецки и беспрестанно то тут, то там появлялся, так что государь, быв однажды в Вильне, спросил тамошнего генерал-губернатора Долгорукова: «Что творится в вашем крае?» — «Все спокойно, говорит, ваше императорское величество!» — «Несмотря, говорит, на то, что здесь гостит Канарский?» — и показал генерал-губернатору полученную депешу об этом соколе из Парижа!

— Но неужели же его и до сих пор не поймали? — поспешила перебить его Миропа Дмитриевна, от души желавшая этому Канарскому в землю провалиться, чтобы только Аггей Никитич прекратил о нем свое разглагольствование.

— Как не поймать?.. Пойман уж!.. Мне недавно встретился один наш офицер из Вильны и рассказывал, что Канарского сцапали в дороге и он теперь содержится

в упраздненном базильянском монастыре... Я держал там иногда караул; место, доложу вам, крепкое... хотя тот же офицер мне рассказывал, что не только польского закала офицерики, но даже наши чисто русские дают большие льготы Канарскому: умен уж очень, каналья, и лукав; конечно, строго говоря, это незаконно, но что ж делать?.. И я бы так же, рассуждая по-человечески, поступал!.. Он не разбойник же в самом деле, а только поляк закоснелый.

— А вот если бы вы попались Канарскому и другим полякам, так они с вами так бы нежничать не стали, извините вы меня! — заметила с озлоблением Миропа Дмитриевна.

— Стали бы! — сказал утвердительно Аггей Никитич.— Поверьте, поляки народ благородный и великодушный!

— У вас все обыкновенно добрые и благородные,— произнесла с тем же озлоблением Миропа Дмитриевна, и на лице ее как будто бы написано было: «Хочется же Аггею Никитичу болтать о таком вздоре, как эти поляки и разные там их Канарские!»

— Нет-с, не все, вы ошибаетесь! — возразил Аггей Никитич и встал, воспользовавшись тем, что обед весь был съеден.

— Куда же вы? Посидите еще со мной и не уходите! — произнесла Миропа Дмитриевна жалобным голосом.

— Не могу, мне еще надобно поразобраться с моими вещами; мундир я тоже думаю заказать здесь, чтобы явиться к Александру Яковличу и поблагодарить его.

Миропа Дмитриевна потупилась, понимая так, что Аггей Никитич опять-таки говорит какой-то вздор, но ничего, впрочем, не возразила ему, и Зверев ушел на свою половину, а Миропа Дмитриевна только кинула ему из своих небольших глаз молниеносный взор, которым как бы говорила: «нет, Аггей Никитич, вы от меня так легко не отделаетесь!», и потом, вечером, одевшись хоть и в домашний, но кокетливый и отчасти моложавый костюм, сама пришла к своему постояльцу, которого застала в халате. Он ужасно переконфузился и бросился было в другую комнату, чтобы поприодеться.

— Не смейте этого делать! — остановила его повелительным тоном Миропа Дмитриевна.

— Но это невозможно! — возразил было Аггей Никитич.— Ваша прислуга может бог знает что подумать!

— Прислуга моя ничего не посмеет подумать! — сказала, величественно усмехнувшись, Миропа Дмитриевна.— Сядьте на свое место!

Аггей Никитич опустился на занимаемый им до того стул, конфузливо спеша запахнуть свой не совсем полный и довольно короткий халат, а Миропа Дмитриевна поместилась несколько вдали на диване, приняв хоть и грустную отчасти, но довольно красивую позу.

— Что же вы тут поделывали?.. Может быть, я вам помешала? — спросила она тоже грустным голосом.

— Я... ничего особенного не делал и очень рад, что вы пришли ко мне... я должен еще заплатить вам мой долг!

И с этими словами Аггей Никитич вынул слегка дрожащими руками из столового ящика два небольшие столбика червонцев, которые были им сбережены еще с турецкой кампании. Червонцы эти он пододвинул на столе к стороне, обращенной к Миропе Дмитриевне.

— Вы мне нисколько не должны,— проговорила она, не поднимаясь с дивана и держа руки скрещенными на несколько приподнятой, через посредство ваты, груди: Миропа Дмитриевна знала из прежних разговоров, что Аггею Никитичу больше нравятся женщины с высокой грудью.

— Миропа Дмитриевна, вы меня этим оскорбляете,— сказал он, как-то мрачно потупляясь.

— А вы меня еще больше оскорбляете! — отпарировала ему Миропа Дмитриевна.— Я не трактирщица, чтобы расплачиваться со мной деньгами! Разве могут окупить для меня все сокровища мира, что вы будете жить где-то там далеко, заинтересуетесь какою-нибудь молоденькой (Миропа Дмитриевна не прибавила «и хорошенькой», так как и себя таковою считала), а я,— продолжала она,— останусь здесь скучать, благословляя и оплакивая ту минуту, когда в первый раз встретилась с вами!

У Аггея Никитича выступил даже пот на лбу: то, что он смутно предчувствовал и чего ожидал, началось осуществляться. Он решительно не находился, что бы ему такое сказать.

— Впрочем, Аггей Никитич, я вас нисколько не упрекаю; вы всегда держали себя как благородный человек,— говорила между тем Миропа Дмитриевна,— и никогда не хотели воспользоваться моею женскою слабостью, хотя

это для меня было еще ужаснее! — и при этом Миропа Дмитриевна вдруг разрыдалась.

Аггея Никитича точно кто острым ножом ударил в его благородное сердце. Он понял, что влюбил до безумия в себя эту женщину, тогда как сам в отношении ее был... Но что такое сам Аггей Никитич был в отношении Миропы Дмитриевны,— этого ему и разобрать было не под силу.

— Любя вас так много,— объясняла она сквозь слезы,— мне было бы нетрудно сделаться близкой вам женщиной: стоило только высказать вам мои чувства, и вы бы, как мужчина, увлеклись,— согласитесь сами!

— Увлекся бы! — не заперся Аггей Никитич, вспомнив многие случаи своей жизни, за которые он после знакомства своего и бесед с Егором Егорычем презирал себя.

— Но я этого не сделала, потому что воспитана не в тех правилах, какие здесь, в Москве, у многих женщин! — текла, как быстрый ручей, речь Миропы Дмитриевны.— Они обыкновенно сближаются с мужчинами, забирают их в свои ручки и даже обманут их, говоря, что им угрожает опасность сделаться матерями...

Аггей Никитич на это только пыхтел; в голове и в сердце у него происходила бог знает какая ломка и трескотня. То, что он по нравственному долгу обязан был жениться на Миропе Дмитриевне,— это было решено им, но в таком случае предстояло изменить постоянно проповедуемой им аксиоме, что должно жениться на хорошенькой! «Но почему же Миропа Дмитриевна и не хорошенькая?» — промелькнула в его голове мысль. Противного и отталкивающего он в ней ничего не находил; конечно, она была не молода и не свежа,— и при этом Аггей Никитич кинул взгляд на Миропу Дмитриевну, которая сидела решительно в весьма соблазнительной позе, и больше всего Звереву кинулась в глаза маленькая ножка Миропы Дмитриевны, которая действительно у нее была хороша, но потом и ее искусственная грудь, а там как-то живописно расположенные на разных местах складки ее платья. Надо всем этим, конечно, преобладала мысль, что всякий человек должен иметь жену, которая бы его любила, и что любви к нему Миропе Дмитриевне было не занимать стать, но, как ни являлось все это ясным, червячок сомнения шевелился еще в уме Аггея Никитича.

— Миропа Дмитриевна, скажу вам откровенно,— начал он суровым голосом,— я человек простой и нехитро-

стный, а потому не знаю хорошенько, гожусь ли я вам в мужья, а также и вы мне годитесь ли?

— Вы мне годитесь, и я вам гожусь,— ответила Миропа Дмитриевна.— Может быть, вы иногда будете фантазировать о молоденьких женщинах...

— Нет, я больше не буду фантазировать об этом: я теперь постарел, и мне, главное, одно надо — как можно больше учиться и читать и прежде всего повидаться с Егором Егорычем.

— С Егором Егорычем вы повидаетесь, как мы только поедем на вашу службу, и я вместе с вами заеду к нему и поучусь у него.

— Не мешает это никому! — заметил Аггей Никитич, мотнув глубокомысленно головой.

Конечно, Миропа Дмитриевна, по своей практичности, втайне думала, что Аггею Никитичу прежде всего следовало заняться своей службой, но она этого не высказала и намерена была потом внушить ему, а если бы он не внял ей, то она,— что мы отчасти знаем,— предполагала сама вникнуть в его службу и извлечь из нее всевозможные выгоды, столь необходимые для семейных людей, тем более, что Миропа Дмитриевна питала полную надежду иметь с Аггеем Никитичем детей, так как он не чета ее первому мужу, который был изранен и весь больной.

IV

Ченцов в последнее время чрезвычайно пристрастился к ружейной охоте, на которую ходил один-одинешенек в сопровождении только своей лягавой собаки. Катрин несколько раз и со слезами на глазах упрашивала его не делать этого, говоря, что она умирает со страху от мысли, что он по целым дням бродит в лесу, где может заблудиться или встретить медведя, волка...

— А если встречу, так пристрелю,— у меня с собою ружье двуствольное: одно с дробью, а другое с пулей,— отвечал ей, смеясь, Ченцов.

— Но все-таки бери с собой кого-нибудь! — не отставала от него Катрин.— Ну, хоть управляющего, что ли... Он, конечно, знает здешнюю местность лучше, чем ты!

— Зачем же я буду брать управляющего, когда он вовсе не охотник; кроме того, он завален делами по хозяйству, а я, вдобавок, еще буду таскать его за собой

верст по тридцати в день,— это невежливо и бесчеловечно! — возражал ей Ченцов.

— Если он не охотник, пусть ходит с тобой кто-нибудь из людей: между ними множество охотников.

— Ни одного!

— Как ни одного, когда у нас псарей двадцать человек! — воскликнула с удивлением Катрин.

— То псари, а не ружейные охотники: они не понимают этой охоты! И что ж мне за радость водить за собой ничего не понимающего дурака, который будет мне только мешать! — стоял упорно на своем Ченцов.

Тогда Катрин придумала новое средство не пускать мужа одного на охоту.

— Если уж ты так любишь охотиться,— говорила она,— так езди лучше со псовой охотой, и я с тобой стану ездить... По крайней мере я не буду тогда мучиться от скуки и от страха за тебя, а то это ужасно, что я переживаю,— пощади ты меня, Валерьян!

— Какая же в июле псовая охота? — сказал ей тот.— Она начнется с осени, а теперь охота на дичь!

— Но ты и дичи ничего не застреливаешь и всегда возвращаешься с пустым ягдташем! — заметила Катрин.

Ченцов при этом покачал головой.

— В ягдташ мой даже заглядывает!..— проговорил он с досадой.— Ты скоро будешь меня держать, как Людовик XI кардинала ла-Балю, в клетке; женясь, я не продавал же тебе каждой минуты своей жизни!

— Как ты не хочешь понять, что это от любви к тебе проистекает! — проговорила жалобным голосом Катрин.

— Любовь, напротив, делает людей снисходительными, а не деспотами! — возразил Ченцов.

Катрин сама понимала, что она слишком многого требовала от мужа. Добро бы он возвращался домой пьяный или буйный,— ничего этого не было. Ченцов, дома даже, стал гораздо меньше пить; спал он постоянно в общей спальне с женой, хотя, конечно, при этом прежних страстных сцен не повторялось. Словом, все, что делал и говорил муж, она находила весьма натуральным; но непонятный страх и совершенно уверенное ожидание каких-то опасностей и несчастий не оставляли ее ни на минуту, и — увы! — предчувствия не обманывали Катрин. Действительно, над ее головой висела опасность, которая вскоре и разразилась. Дело в том, что Ченцов, по указанию уп-

равляющего, отыскал в селе старуху Арину Семенову и достигнул через посредство ее возможности таинственных наслаждений, каковые Арина первоначально устроила ему с одною сельскою девицею, по имени Маланьей; но та оказалась столь бесстыжею и назойливою, что с первого же свидания опротивела Ченцову до омерзения, о чем он объявил Арине; тогда сия обязательная старуха употребила все свое старание и уменье и свела его с тою снохою пчеловода, на которую намекнул ему Тулузов. Бабенка эта действительно оказалась прехорошенькой и премечтательной, так что в этом отношении Людмиле, пожалуй, не уступала. Ченцов увлекся ею до чертиков. Между тем Маланья, побуждаемая главным образом корыстью, ждала с великим нетерпением получить от синьковского барина новое приглашение; когда же такового не последовало, она принялась разведывать, нет ли у нее соперницы, и весьма скоро дознала, что барин этот стал возжаться с своей крепостной крестьянкой из деревни Федюхиной. Прежде всего Маланья прибежала к старухе Арине, разругалась с ней, почесть наплевала ей в глаза, говоря, что это ей, старой чертовке, а также и подлой Аксютке (имя мечтательной бабенки) не пройдет даром! Все это старуха Арина скрыла от Ченцова, рассчитывая так, что бесстыжая Маланья языком только брешет, ан вышло не то, и раз, когда Валерьян Николаич, приехав к Арине, сидел у нее вместе с своей Аксюшей в особой горенке, Маланья нагрянула в избу к Арине, подняла с ней ругню, мало того,— добралась и до Ченцова.

— Так барину поступать нехорошо! — заорала она, распахнув дверь в горенку.— Коли я теперича согласилась с вами, так зачем же вам брать другую?.. Что же я на смех, что ли, далась? Я девушка честная, а не какая-нибудь!

— Какая ты честная девушка, коли ты в остроге сидела за то, что купца обокрала! — кричала не тише Маланьи стоявшая за ней старуха Арина.

— Врешь, врешь!.. Ты не клепли, ведьма!.. А уж тебе, Аксинья, коли где встречу, всю косу растреплю!.. Ты не отбивай у других! — продолжала орать Маланья.

Бедная Аксюша при этом хлобыснулась своим красивым лицом на стол и закрылась рукавом рубахи, как бы желая, чтобы ей никого не видеть и чтобы ее никто не видел. Ченцов, ошеломленный всей этой сценой, при послед-

ней угрозе Маланьи поднялся на ноги и крикнул ей страшным голосом:

— Вон!.. Прогони ее, Арина! — приказал он старухе.

— А я ее вот чем смажу,— подхватила та и прямо же хватила попавшею ей под руку метлою Маланью по шее.

— Метла-то, дьяволица, о двух концах! — вскрикнула, в свою очередь, Маланья и хотела было вырвать у Арины метлу, но старуха крепко держала свое оружие и съездила Маланью уже по лицу, которая тогда заревела и побежала, крича: «Погодите! Постойте!»

Старуха Арина поспешила запереть весь свой домишко изнутри, но не прошло и пяти минут, как перед ее избой снова показалась Маланья и уже в сопровождении своего старого родителя, который явился босиком и в совершенно разорванной рубахе. Он был пропившийся кузнец, перед тем только пересланный из Москвы в деревню по этапу. Кузнец и Маланья принялись стучать во входную дверь в избу, но старуха Арина не отпирала; тогда Маланья и ее родитель подошли к окнам горенки и начали в них стучать. Ченцову наконец надоело такое осадное положение: он с бешенством в лице подскочил к окну и распахнул его.

— Что вам надобно? — крикнул он громовым голосом, так, что кузнец, видимо, струхнул.

— Ваше превосходительство,— начал он, прижимая руку к своей полуобнаженной груди,— теперича я родитель этой девушки, за что ж так меня и ее обижать?..

— Не вас обижают, а вы буяните тут! — кричал Ченцов.— Чего, собственно, вы хотите от меня?

— Ваше превосходительство, мы люди бедные,— продолжал кузнец,— а чужим господам тоже соблазнять не дозволено девушек, коли нет на то согласия от родителей, а я как же, помилуйте, могу дать позволенье на то, когда мне гривны какой-нибудь за то не выпало.

— Вот тебе не гривна, а больше! — проговорил Ченцов и кинул десятирублевую.

— Благодарю покорно, ваше высокопревосходительство! — сказал кузнец радостным голосом и хватая бумажку с земли.

— Ну, и убирайтесь сию же минуту!

— Уберемся, ваше превосходительство,— отвечал кузнец.

Ченцов затворил окно, но еще видел, как родитель

Маланьи медленно пошел с нею от избы Арины, а потом, отойдя весьма недалеко, видимо, затеял брань с дочерью, которая кончилась тем, что кузнец схватил Маланью за косу и куда-то ее увел.

— Черт знает, что это такое! — произнес Ченцов, садясь на небольшой диванчик: несмотря на разнообразие его любовных похождений, с ним никогда ничего подобного не случалось.

— Ах, барин, здесь ужасть какой народ супротивный, и все что ни есть буяны! — проговорила тихим голосом Аксюша, поднявшая наконец лицо свое.

— Пойдем, моя милая, я тебя провожу! — сказал Ченцов, встав с диванчика и облекаясь в свои охотничьи доспехи.

— Проводите, барин, а то они беспременно подстерегут меня и изобьют!

— Пусть себе попробуют! — произнес Ченцов, молодецки мотнув головой, и повел Аксюшу под руку по задворкам деревни.

Идти потом в Федюхино пришлось им по небольшому березовому перелеску. Ночь была лунная и теплая. Аксинья, одетая в новый ситцевый сарафан, белую коленкоровую рубаху и с красным платком на голове, шла, стыдливо держась за руку барина. Она была из довольно зажиточного дома, и я объяснить даже затрудняюсь, как и почему сия юная бабеночка пала для Ченцова: может быть, тоже вследствие своей поэтичности, считая всякого барина лучше мужика; да мужа, впрочем, у нее и не было,— он целые годы жил в Петербурге и не сходил оттуда. Версты через три Аксинья, слабенькая физически, заметно утомилась.

— Присядь и отдохни, Аксюша,— сказал, заметивши ее усталость, Ченцов.

В это время они проходили довольно сухую поляну.

— Да, барин, уж извините! — проговорила она и опустилась на траву.

Ченцов уселся рядом с нею; Аксинья немедленно же склонила свою голову на его ноги. Оба они при довольно тусклом лунном освещении, посреди травы и леса, с бегающею около и как бы стерегущею их собакою, представляли весьма красивую группу: молодцеватый Ченцов в щеголеватом охотничьем костюме, вооруженный ружьем, сидел как бы несколько в грозной позе, а лежавшая голо-

вою на его ногах молодая бабеночка являла бог знает уже откуда прирожденную ей грацию. Начавшийся между ними разговор тоже носил поэтический характер.

— Ты меня любишь, Ксюша? — спрашивал Ченцов.

— Люблю, барин,— отвечала она, не поднимая головы.

— И я тебя люблю! — произнес трепетно-страстным голосом Ченцов.

— Я знаю это, барин,— говорила Аксинья, не изменяя своей позы.

— Но тебя, может быть, беспокоит эта нахальная Маланья? — спросил Ченцов.

— Нет, барин... Что ж это?.. Нет, нет! — повторила Аксинья.— Только, барин, одно смею вам сказать,— вы не рассердитесь на меня, голубчик,— я к Арине ходить боюсь теперь... она тоже женщина лукавая... Пожалуй, еще, как мы будем там, всякого народу напускает... Куда я тогда денусь с моей бедной головушкой?..

— Где ж мы будем видаться? К тебе в избу мне приехать нельзя!..— проговорил Ченцов.

— Ай, барин, как это возможно! — воскликнула Аксинья.— У нас дом очень строгий!..

— Так в лесу, что ли, где-нибудь? — спрашивал Ченцов.

— Нет, в лесу нельзя! Он полнехонек теперь мальчишками и старухами,— все за ягодами ходят!

— В таком случае где же, милая моя? Неужели мы с тобой и видаться перестанем?

— Как это возможно не видаться?! — опять воскликнула Аксинья.— А я, барин, вот что удумала: я буду попервоначалу рожь жать, а опосля горох теребить, и как вы мне скажете, в какой день придете в нашу деревню, я уж вас беспременно увижу и прибегу в овины наши,— и вы туда приходите!

— Но как я узнаю ваш овин? Их там несколько! — заметил Ченцов.

— Да я вас подожду у нашего-то овина; там теперь николи ни единого человека не бывает.

— Отлично придумала!.. О, моя милушка, душка моя! — сказал Ченцов и начал целовать Аксюшу так же страстно и нежно, как когда-то целовал он и Людмилу, а затем Аксинья одна уже добежала домой, так как Федюхино было почти в виду!

Условленные таким образом свидания стали повторяться почти каждодневно, но продолжались они, впрочем, недолго. Маланья, не получившая от родителя ни копейки из денег, данных ему Ченцовым, и даже прибитая отцом, задумала за все это отомстить Аксинье и барину, ради чего она набрала целое лукошко красной морошки и отправилась продавать ее в Синьково, и так как Екатерина Петровна, мелочно-скупая, подобно покойному Петру Григорьичу, в хозяйстве, имела обыкновение сама покупать у приходящих крестьянок ягоды, то Маланья, вероятно, слышавшая об этом, смело и нагло вошла в девичью и потребовала, чтобы к ней вызвали барыню. Катрин вышла к ней. Маланья запросила за свое лукошко очень дорого.

— Ты, девушка, с ума, я вижу, сошла! — возразила Катрин.— Я покупаю морошку втрое дешевле.

— Да вы, сударыня, может, покупаете у ваших крестьян: они люди богатые и все почесть на оброках, а нам где взять? Родитель у меня в заделье, господа у нас не жалостливые, где хошь возьми, да подай! Не то, что вы с вашим супругом! — выпечатывала бойко Маланья.— У вас один мужичок из Федюхина — Власий Македоныч — дом, говорят, каменный хочет строить, а тоже откуда он взял? Все по милости господской!

— Какая же ему особенная милость господская была? — спросила Катрин с некоторым любопытством, так как она вовсе не считала ни себя, ни покойного отца своего особенно щедрыми и милостивыми к своим крепостным людям.

— Этого не сказывают, а хвастают! — придумывала и врала Маланья, попадавшая, впрочем, безошибочно в цель.

— А из кого семья Власия состоит? — спросила Катрин; голос ее при этом был какой-то странный.

— Да у них старик со старухой, сын ихний — питерщик — и сноха.

— Молоденькая и хорошенькая эта сноха?

— Женщина очень красивая! — объяснила Маланья. Для ревнивого и сметливого ума Катрин было достаточно этого короткого разговора, чтобы заподозрить многое. Купив ягоды и сказав Маланье, что она может идти домой, Екатерина Петровна впала в мучительное раздумье: основным ее предположением было, что не от Валерьяна ли Николаича полился золотой дождь на ста-

рика Власия, которого Катрин знала еще с своего детства и вовсе не разумела за очень богатого мужика,— и полился, разумеется, потому, что у Власия была сноха красивая. «Но тогда,— спрашивала себя Катрин,— откуда у Валерьяна могли появиться такие значительные деньги, на которые можно было бы выстроить каменный дом? Может быть, он взял у управляющего?» — пришло на мысль Екатерине Петровне. Пользуясь обычным отсутствием мужа, она, не откладывая времени, позвала к себе Тулузова.

— Послушайте, Василий Иваныч,— начала она довольно строгим тоном,— не требовал ли от вас Валерьян Николаевич значительной суммы денег?

— Никак нет-с! — отвечал тот, как бы даже удивленный таким вопросом.

— И нисколько не требовал? — спросила еще раз Катрин.

— Нисколько-с! — отвечал управляющий, не мигнувши ни одним глазом, хоть и говорил неправду: Валерьян Николаич брал у него деньги,— конечно, не в такой значительной цифре, как предполагала Катрин.

— Ну, смотрите же,— сказала она снова строгим тоном,— я буду внимательно рассматривать ваши отчеты, и, наконец, если когда-нибудь муж будет просить у вас денег, то вы должны мне предварительно сказать об том.

— Я очень хорошо понимаю, кто владелец порученных мне имений! — проговорил на это, слегка улыбаясь, управляющий.

Катрин, однако, этими распоряжениями не успокоилась. Не высказав мужу нисколько своих подозрений, она вознамерилась съездить в деревню Федюхино, чтобы взглянуть на житье-бытье Власия, с каковою целью Катрин, опять-таки в отсутствие мужа, велела запрячь себе кабриолет и, никого не взяв с собою, отправилась в сказанную деревню. Избу Власия Екатерина Петровна хорошо знала, а потому, подъехав прямо к ней, увидала Власия сидящим на прилавочке около своей хаты. Он был еще старик крепкий, с расчесанной бородой и головой, в синей рубахе и в валяных сапогах, так как у него простужены были ноги.

Узнав госпожу свою, Власий встал и почтительно поклонился.

— А я, Власий, приехала к тебе полакомиться твои-

ми сотами! — сказала Катрин, вылезая из своего кабриолета.

— Великую милость, сударыня, мне тем сделали! — проговорил Власий, беря ее лошадь и привязывая к изгороди.

Катрин пошла в избу, а Власий сбегал в свой погреб и, положив там на деревянное блюдце сотов и свеженьких огурчиков, принес и поставил все это на стол перед госпожой своей, произнося:

— Покушайте, сударыня, во здравие!

Катрин, отломив небольшой кусок сотов и положив его в рот, насильно разжевала и проглотила.

— Они у тебя стали нынче нехороши! — заметила она и в то же время окидывала быстрым взглядом избу Власия и все ее убранство.

— Нет бы, кажись, нынче,— толковал ей Власий,— соты не водянистые, а многообильные и крепкие!

— Скажи, изба у тебя давно строена?.. Она как будто бы даже новая! — продолжала разговаривать Катрин.

— Что ей сделалось,— изба хорошая,— всего годов десять, как строена! — объяснил Власий.

— А как же говорят,— продолжала Катрин с перекошенной и злой усмешкою,— что ты хочешь новый каменный дом строить?

— Господи! — произнес, усмехнувшись, Власий.— Да на что нам здесь каменные дома и на какие деньги их строить?

— Но у тебя сын есть, сколько я помню! — добиралась далее Катрин.— Он у тебя на чужой стороне живет?

— Да, сударыня, в Питере пребывает с малолетства.

— А в деревню часто сходит?

— Ну, этим не похвастаюсь! — сказал, печально мотнув головой, Власий.— Три года, сударыня, как не бывал в деревне!

— Как же ты позволяешь это?.. Тем больше, что он женат.

— Женат, сударыня.

— Но, может быть, жена с ним в Петербурге?

— Нет-с, здесь в деревне ее держим, при нас!

— А она баба хорошая?

— Хороша, сударыня; женщина кроткая, умная, к работе только маленько слабосильна, но мы ее не нудим, не принуждаем!

— Я бы очень желала посмотреть на нее,— где она теперь?

— На полоске!.. С горохом убирается.

— А ее можно позвать?

— Для че не позвать! Дмитревна, сходи за Аксютой! — проговорил Власий, обращаясь к перегородке, за которой сидела его жена, старуха бестолковая и ленивая.

— Где ж ее там сыскать? — отозвалась та недовольным голосом.

— Ну, ну, ступай! — повторил ей хоть и тихим, но повелительным голосом муж.

Старуха обряжалась некоторое время за перегородкой и, выйдя оттуда, кивнула только наскоро головой госпоже и ушла, а Екатерина Петровна снова вступила в разговор с Власом.

— Сноха твоя скучает по муже? — спросила она.

— Как, сударыня, не скучать? Вы вот изволите говорить, как я позволяю сыну не сходить в деревню,— продолжал Власий, видимо, тронутый за самую слабую струну,— а как мне и что сделать супротив того?.. Я докладывал и покойному вашему родителю и нынешнему господину управляющему жаловался,— от всех одни ответы были: «Что ж, говорят, если он оброк и подушные оплачивает, как же и за что ж его задерживать?..» — «Да помилуйте, говорю, при чем же мы тут, родители его? Нам и взглянуть на него желается, не щенок же он нам подкинутый?..»

— Ну, вот что, старик! — успокоила его Катрин.— Я через месяц же выпишу к тебе сына.

— Сделайте божескую милость! — провопиял Власий.

В это время возвратилась его старая жена.

— Нетути ее на полосе, не нашла! — проговорила она и прошла за перегородку.

— О, ворона уховислая! — сказал с досадой Власий.— Ничего путем не сделает.

— Да ты сам, старик, сходи и отыщи сноху! — приказала ему Катрин.

— Я-то разыщу ее! — проговорил самонадеянно Власий и ушел.

Катрин довольно долго ждала его и переживала мучительнейшие минуты. «Что, если ей придется всю жизнь так жить с мужем?» — думалось ей, она любит его до сумасшествия, а он ее не любит нисколько и, кроме того,

обманывает на каждом шагу. «Неужели же,— спрашивала себя далее Катрин,— это чувство будет в ней продолжаться вечно?» — «Будет!» — ответила было она на первых порах себе. «Нет,— отвергнула затем,— это невозможно, иначе я не перенесу и умру!»

Власий наконец возвратился и был смущен.

— Всамотко нет ее там, убежала, видно, дура, за грибами с другими бабами,— доложил он.

— Жаль! — проговорила недовольным голосом Катрин и встала.— Я к тебе еще раз заеду взглянуть на твою сноху, которой советую тебе не давать очень воли, а если она не будет слушаться, мне пожалуйся!

— Это беспременно-с! — отвечал старик, усаживая Катрин в кабриолет и весьма опечаленный тем, что не мог угодить ей на этот раз.

Катрин, будучи взволнована и расстроена, поехала не по той дороге, по которой приехала, и очутилась невдалеке овинов, где увидала, что в затворенную дверь одного из них тыкалась рылом легавая собака Валерьяна Николаича. Подстрекаемая предчувствием, Катрин остановила лошадь, соскочила с кабриолета и торопливо распахнула дверь овина, в которую быстро кинулась собака и, подбегая к дальнему углу, радостно завизжала. Несмотря на темноту, Катрин ясно усмотрела в этом углу какую-то женщину, а также и мужа своего, который сидел очень близко к той. Оба они, как ей показалось, были перепачканы в золе и саже.

— Какое приличное место для дворянина! — имела только силы произнести Катрин и, захлопнув дверь в овине, поскакала в Синьково, куда приехав, прошла во флигель к управляющему, которого застала дома.

— Завтрашний же день,— сказала она тому,— распорядитесь, чтобы сноха мужика Власа из Федюхина была, по моему желанию, сослана в Сибирь.

Такое приказание удивило и опешило управляющего.

— Но у ней муж есть! — возразил было он.

— Пусть сошлют и с мужем, которого извольте немедля же вытребовать.

Все это Катрин говорила строгим и отчасти величественным голосом, а затем она ушла из флигеля управляющего, который, оставшись один, сделал насмешливую и плутовскую гримасу и вместе с тем прошептал: — «Пойдут теперь истории, надобно только не зевать!»

Ченцов между тем, желая успокоить трепетавшую от страха Аксюту, налгал ей, что это заглядывала не жена его, не Катерина Петровна, а одна гостившая у них дама, с которой он, катаясь в кабриолете, зашел в Федюхино и которую теперь упросит не говорить никому о том, что она видела. Аксинья поверила, и он, обещав ей прийти на другой же день поутру в их деревню, отправился домой, неся в душе бешеный гнев против супруги своей за ее подсматриванье. В том, что Катрин затеет с ним сцену, Ченцов не сомневался и, чтобы подкрепиться для оной, зашел в стоявший на дороге кабак и выпил там целый полштоф. Катрин он нашел сидящею у него в кабинете. Она имела вид разъяренной тигрицы: глаза ее были налиты кровью, губы пересохли, грудь высоко поднималась при дыхании. Ченцов однако спокойно встретил ее огненный взгляд и проговорил негромко:

— Прошу вас уйти от меня!

— Нет, я не уйду прежде, чем не наплюю тебе в глаза! — сказала Катрин со свойственною ей несдержанностью.

— А тогда я вас угощу пулей! — объяснил ей Ченцов, показывая глазами на свое двуствольное ружье, которое он в это время снимал с плеч.

— Ах, скажите, какой воин! — произнесла насмешливо Катрин.— Если вы меня пулей угостите, вас сошлют на каторгу за это.

— Каторги я не боюсь, потому что жить с вами та же каторга.

— Кто ж вас держит?.. Уезжайте от меня!.. Силой я вас не могу удержать.

— Да и уеду, конечно!.. Что тут разговаривать об этом! — отозвался презрительным тоном Ченцов.

— Взяв, разумеется, с собой и свою прелестную Аксинью! — присовокупила Катрин.

— Да, прелестную Аксинью я возьму с собой!

— А если я вам скажу, что вы не имеете права этого сделать! — проговорила Катрин с ударением.

— Я никогда не справлялся,— возразил ей со злым смехом Ченцов,— имею ли я на что право, или нет, а делал всегда, как мне хотелось!

— Ну, тут вам вряд ли удастся сделать, как вы хотите, потому что я вашу мерзавку Аксинью сошлю на поселенье: она моя, а не ваша крестьянка!

Как ни отуманена была голова Ченцова, но он дрогнул всем телом от последних слов Катрин и крикнул:

— Не смейте этого делать!

— Смею и сделаю! — отвечала на это решительным тоном Катрин.

— Опомнись, дура ты этакая! — неистовствовал Ченцов и, подняв ружье, направил его на Катрин.— Оно заряжено пулей у меня, пойми ты это!

— Эй, люди, люди! — закричала Катрин и бросилась было бежать.

— Не смей ссылать Аксинью!..— кричал побежавший вслед за нею Ченцов.

— Не испугаете вы меня ничем,— сошлю! — повторяла свое Катрин.

Ченцов выстрелил в нее из ружья; провизжавшая пуля ударилась в гостиной в зеркало и разбила его вдребезги.

— Не смей!..— ревел на весь дом Ченцов и выстрелил в жену уж дробью, причем несколько дробинок попало в шею Катрин. Она вскрикнула от боли и упала на пол.

Прибежавшие, наконец, люди и управляющий схватили Ченцова; он пробовал было отбиваться от них прикладом ружья, но они, по приказанию управляющего, скрутили ему руки и, отведя в кабинет, заперли его там.

Тулузов потом бросился к лежавшей на полу Катрин. Кровотечение у нее из плеча и шеи было сильное. Он велел ее поднять и положить на постель, где заботливо осмотрел ее ранки.

— Я смертельно ранена? — спросила Катрин слабым голосом.

— Нет-с, это дробью, пустяки! — успокаивал ее управляющий.

— Я боюсь, что этот злодей захочет совсем убить меня!

— Мало ли чего он захочет!.. Кто же ему позволит это?.. Я его запер в кабинет и велел стеречь! — успокоил и насчет этого госпожу свою управляющий.

На другой день ранним утром Катрин уехала в губернский город; Тулузов тоже поехал вместе с нею в качестве оборонителя на тот случай, ежели Ченцов вздумает преследовать ее; едучи в одном экипаже с госпожою своей, Тулузов всю дорогу то заботливо поднимал окно у кареты, если из того чувствовался хотя малейший ветерок, то поправлял подушки под раненым плечом Катрин, причем

она ласково взглядывала на него и произносила: «merci, Тулузов, merci!». Объяснил он ей также, что Валерьяну Николаичу не сдобровать, и что его, может быть, даже сошлют. Катрин, в первом пылу озлобления на мужа, с удовольствием это выслушала и проговорила: «Туда ему и дорога!»

V

Случившийся у Ченцовых скандал возбудил сильные толки в губернском городе; рассказывалось об нем разно и с разных точек зрения; при этом, впрочем, можно было заметить одно, что либеральная часть публики, то есть молодые дамы, безусловно обвиняли Катрин, говоря, что она сама довела мужа до такого ужасного поступка с ней своей сумасшедшей ревностью, и что если бы, например, им, дамам, случилось узнать, что их супруги унизились до какой-нибудь крестьянки, так они постарались бы пренебречь этим, потому что это только гадко и больше ничего! «Но позвольте,— возражали им пожилые дамы и солидные мужчины,— madame Ченцова любила своего мужа, она для него пожертвовала отцом, и оправдывать его странно,— что Ченцов человек беспутный, это всем известно!» — «Значит, известно было и madame Ченцовой, а если она все-таки вышла за него, так и будь к тому готова!» — замечали ядовито молодые дамы.— «К чему готова?.. Даже к тому, что он выстрелит в нее два раза из ружья?» — спрашивали тоже не без ядовитости порицатели Ченцова.— «Он сделал это в запальчивости, заступаясь за женщину, которую любил, и потому поступил в этом случае благородно!» — отстаивали молодые дамы романическую сторону события.— «Полноте, пожалуйста,— возражали им их противники.— Ченцов никогда и ни одной женщины не любил, а только развращал каждую для минутной своей прихоти!». При таком раздвоении общественного мнения, собственно городские власти выразили большое участие m-me Ченцовой по приезде ее в губернский город, где она остановилась в гостинице Архипова и почти лежала в постели, страдая от своих, хоть и не опасных, но очень больких ранок. Губернатор, когда к нему явился управляющий Тулузов и от имени госпожи своей доложил ему обо всем, что произошло в Синькове, высказал свое глубокое сожаление и на другой же день,

приехав к Екатерине Петровне, объявил ей, что она может не просить его, но приказывать ему, что именно он должен предпринять для облегчения ее горестного положения.

— Барон,— сказала на это Катрин, потупляя свои печальные глаза,— вы так были добры после смерти отца, что, я надеюсь, не откажетесь помочь мне и в настоящие минуты: мужа моего, как вот говорил мне Василий Иваныч...— и Катрин указала на почтительно стоявшего в комнате Тулузова,— говорил, что ежели пойдет дело, то Ченцова сошлют.

— Вероятно! — не отвергнул губернатор.

— Но я,— сколько он ни виноват передо мною,— обдумав теперь, не желаю этого: ссора наша чисто семейная, и мне потом, согласитесь, барон, остаться женою ссыльного ужасно!.. И за что же я, без того убитая горем, буду этим титулом называться всю мою жизнь?

— Совершенно вас понимаю,— подхватил губернатор,— и употреблю с своей стороны все усилия, чтобы не дать хода этому делу, хотя также советую вам попросить об том же жандармского полковника, потому что дела этого рода больше зависят от них, чем от нас, губернаторов!

— Я, несмотря на болезнь, готова хоть сейчас ехать к полковнику и умолять его! — произнесла Катрин.

— Зачем же вам ехать?.. Я ему скажу, и он сам к вам приедет! — обязательно предложил ей губернатор, а затем, проговорив чистейшим французским прононсом: — Soyez tranquille, madame! [1] — уехал.

Подобно своему родственнику графу Эдлерсу, барон Висбах был весьма любезен со всеми дамами и даже часто исполнял их не совсем законные просьбы.

Жандармский полковник, весьма благообразный из себя и, должно быть, по происхождению поляк, потому что носил чисто польскую фамилию Пшедавский, тоже не замедлил посетить Екатерину Петровну. Она рассказала ему откровенно все и умоляла его позволить не начинать дела.

— Я не имею права ни начинать, ни прекращать дел,— пояснил ей вежливо полковник,— а могу сказать только, что ничего не имею против того, чтобы дела не вчинали:

---

[1] Будьте спокойны, мадам! *(франц.)*

наша обязанность скорее примирять, чем раздувать вражду в семействах!

— Кроме того, полковник,— продолжала Катрин, тем же умоляющим тоном,— я прошу вас защитить меня от мужа: он так теперь зол и ненавидит меня, что может каждую минуту ворваться ко мне и наделать бог знает чего!

— Защитить вас от этого решительно вне нашей власти!.. Вот если бы от вас была жалоба, тогда господина Ченцова, вероятно бы, арестовали.

— Я точно то же докладывал Катерине Петровне,— вмешался в разговор опять-таки присутствовавший при этом объяснении управляющий.

— Дела вести я не хочу — вы это слышали, как я говорила губернатору, и должны понимать, почему я этого не желаю! — сказала тому с оттенком досады Катрин.

Тогда Тулузов обратился к жандармскому штаб-офицеру.

— В таком случае, господин полковник,— сказал он, почтительно склонив голову,— не благоугодно ли будет вам обязать, по крайней мере, господина Ченцова подпискою, чтобы он выехал из имения Катерины Петровны.

— Это скорее может сделать губернатор и губернский предводитель, чем я: мы только наблюдаем, но никогда ничем не распоряжаемся,— ответил ему полковник.

— О, если так, то я напишу губернатору, которого я считаю решительно своим благодетелем! А губернский предводитель теперь, говорят, князь Индобский?

— Князь Индобский! — подтвердил полковник.

— Князь тоже близкий приятель моего отца: он несколько лет служил у него уездным предводителем, а потому, я полагаю, что и он для меня сделает?! — проговорила Катрин, взглянув на Тулузова и как бы советуясь с ним.

Тот ей ничего не ответил.

Свидание с жандармским полковником на этом кончилось. Затем Катрин переписала с заготовленных для нее Тулузовым вчерне писем беловые, которые он и разнес по принадлежности.

Письма Катрин воздействовали: губернатор и губернский предводитель в тот же день приехали к ней. Катрин высказала им свое ходатайство о высылке из Синькова мужа, а также и о том, чтобы эта негодяйка Аксинья была

взята от нее, и пусть ее денут куда угодно. Касательно последнего обстоятельства ни губернатор, ни губернский предводитель нисколько не затруднились и сказали Катрин, что она, на основании своей помещичьей власти, имеет полное право требовать этого. Что же касается до высылки из ее имений мужа, то они, впав в некоторое недоумение и разноречие, даже заговорили между собой по-французски, так как в нумер входила иногда горничная Екатерины Петровны и тут же стоял ее управляющий. При этом случилось нечто хоть и неважное, но в то же время весьма странное: когда губернский предводитель, возражая губернатору, выразился, что Ченцова, как дворянина, нельзя изгонять, и в заключение своей речи воскликнул: «C'est impossible!» [1], вдруг в разговор их вмешался Тулузов, как бы отчасти понявший то, о чем говорилось на французском языке.

— Я теперь служу у Катерины Петровны,— начал он,— но если Валерьян Николаич останутся в усадьбе, то я должен буду уйти от них, потому что, каким же способом я могу уберечь их от супруга, тем более, что Валерьян Николаич, под влиянием винных паров, бывают весьма часто в полусумасшедшем состоянии; если же от него будет отобрана подписка о невъезде в Синьково, тогда я его не пущу и окружу всю усадьбу стражей.

— Пожалуйста, господа, возьмите с мужа эту подписку: я совершенно не желаю и боюсь его видеть! — присовокупила к этому и Катрин.

— Я отберу-с!.. Посоветуюсь еще с жандармским полковником, и мы его вышлем из имений ваших! — сказал ей губернатор и отнесся потом к губернскому предводителю: — Надеюсь, что вы хоть косвенно посодействуете нам!

— Ни прямо, ни косвенно не могу принять участия в этом щекотливом вопросе! — отказался тот.

Князь, кажется, имел твердое убеждение, что, будучи выбран дворянами, он должен их отстаивать, что бы они ни творили.

Покуда происходили все эти обдумывания и споры о мероприятиях, в действительности произошло то, что все это оказалось ненужным. Ченцов уже более недели как уехал из Синькова, а вместе с ним пропала и Аксюша из

[1] Это невозможно! *(франц.)*

Федюхина. Сначала все удивились тому и ахали, потом усадебный староста съездил к старику Власию, строго, долго и секретно допрашивал того и, возвратившись в Синьково, нацарапал каракулями длиннейшее донесение управляющему, который при отъезде приказал ему писать немедленно, если что-нибудь в усадьбе случится. Получив это донесение, Тулузов, несмотря на привычку не выражать своих чувств и мыслей, не выдержал и вошел в комнату Екатерины Петровны с сияющим от радости лицом.

— Все устроилось как нельзя лучше! — проговорил он.

Екатерина Петровна бросила на него вопросительный взгляд.

— Валерьян Николаич уехал из Синькова и больше уж недели не возвращается...

— Куда ж он мог уехать? — спросила Катрин, тоже, как заметно, довольная этой новостью.

— Неизвестно-с, и староста наш уведомляет меня, что Валерьян Николаич сначала уходил куда-то пешком, а потом приехал в Синьково на двух обывательских тройках; на одну из них уложил свои чемоданы, а на другую сел сам и уехал!

Катрин при этом грустно улыбнулась.

«Вероятно, на эти чемоданы с платьем Валерьян теперь и рассчитал свою будущую жизнь,— безумец, безумец!» — подумала она.

Конечно, у него был очень ценный туалет; одних шуб имелось три, из которых одна в две тысячи рублей, другая в тысячу, третья хоть и подешевле, но у нее бобровый воротник стоил пятьсот рублей. Кроме того, Катрин подарила ему много брильянтовых вещей и очень дорогой хронометр покойного Петра Григорьича. Всего этого она теперь уж и пожалела: знай Катрин, что супруг с ней так поступит, она, конечно бы, никогда не позволила себе быть столь щедрою с ним.

— А что же Аксинья? — спросила она управляющего.— Вы, кажется, еще до сих пор не сделали никакого распоряжения насчет ее?

— Аксинья тоже скрылась из своей деревни и не возвращается в нее! — объяснил тот.

— Значит, она бежала с Валерьяном? — произнесла Катрин.

— В народе идет другая молва! — ответил управляю-

щий.— Старый свекор ее утверждает, что она, испугавшись вашего гнева, утопилась!

— Какая чувствительная, скажите! — воскликнула Катрин по наружности насмешливо, хотя в глубине ее совести что-то очень боязливое и неприятное кольнуло ее.— Почему ж старик Власий говорит, что Аксинья утопилась?

— Да будто бы нашли ее платок с головы и сарафан на берегу тамошней речки.

— Вздор это! — перебила торопливо Катрин.

— Конечно, вздор! — подхватил и Тулузов.— Вы совершенно справедливо предположили, что ее увез с собой Валерьян Николаич.

— Непременно! — сказала Катрин, с одной стороны, с удовольствием подумавшая, что Аксинья не утопилась от ее бесчеловечного распоряжения, а с другой — это мучительно отозвалось на чувстве ревности Катрин. «Таким образом,— думала она,— эта тварь совершенно заменяет теперь меня Валерьяну и, может быть, даже милей ему, чем когда-либо я была!» Но тут уж в Катрин заговорило самолюбие. «Пусть себе живут и наслаждаются, и интересно знать, надолго ли хватит им этого туалета, увезенного Ченцовым на пропитание себя и своей возлюбленной»,— прибавила она себе мысленно и кинула довольно странный взгляд на управляющего.

Тулузов тоже ответил ей странным и весьма проницательным взором.

Еще с месяц после этой сцены Катрин жила в губернском городе, обдумывая и решая, как и где ей жить? Первоначально она предполагала уехать в которую-нибудь из столиц с тем, чтобы там жуировать и даже кутить; но Катрин вскоре сознала, что она не склонна к подобному роду жизни, так как все-таки носила еще пока в душе некоторые нравственные понятия. В результате такого соображения она позвала к себе однажды Тулузова и сказала ему ласковым и фамильярным тоном:

— Василий Иваныч, я думаю опять переехать на житье в Синьково.

— Что ж, это будет даже полезно для вашего здоровья,— отвечал тот.

— Вероятно!..— согласилась Катрин.— Но вы сядьте, Василий Иваныч, а то, ей-богу, мне неловко говорить с вами: вы всегда как будто бы слушаете мои приказания, тогда как я желаю советоваться с вами!

— Я только что вошел и не успел сесть! — ловко вывернулся Тулузов и поспешно опустился на стул.

Затем продолжалось молчание, прервать которое Катрин как будто бы было неловко, да и Тулузов тоже точно бы не решался и держал свои глаза обращенными в сторону.

— Кроме уж моего здоровья,— стала продолжать прежний свой разговор Катрин,— где я тут буду жить?.. В нашем городском доме? Но я его скорей желаю отдать внаймы, чем поселиться в нем, потому что он слишком велик для меня, и я должна буду всю мебель и все перевозить опять из Синькова сюда.

— Разумеется, это будет очень затруднительно,— согласился с ее мнением Тулузов.

— И потом, для какого удовольствия я буду здесь жить?.. Чтобы в здешнем обществе бывать? Но оно мне давным-давно надоело.

— Зачем вам жить в здешнем обществе? По вашим средствам вы можете жить во всякой столице, где изберете себе знакомых, каких только пожелаете!..— проговорил на это Тулузов, уже слегка разваливаясь в кресле и как бы совершенно дворянским тоном.

— А если я надумаю ехать в Петербург или в Москву, вы поедете со мной? — спросила стремительно Катрин.

— С удовольствием, если только вы прикажете!

— Да, непременно, а то я, откровенно вам говорю, без вас буду каждую минуту думать, что муж ко мне нагрянет.

Тулузов на это промолчал.

— А в Синьково, как вы думаете, посмеет он возвратиться? — продолжала Катрин.

Тут уж Тулузов усмехнулся.

— Пускай попробует!..— проговорил он.— Собаки у нас злые, сторожа днем и ночью есть, и я прямо объясню господину Ченцову, что губернатор приказал мне не допускать его в ваши имения.

— Так и сделайте! — разрешила ему Катрин.— Пусть он жалуется губернатору... тот не откажется от своих слов... Но, Василий Иваныч, я прежде всего хочу вам прибавить жалованья... Что же вы с нас до сих пор получали?.. Какую-нибудь тысячу?.. Я желаю платить вам то, что платил вам мой отец!.. Сколько он вам платил? Говорите!

— Петр Григорьич, когда мне поручал все именья, так назначил три тысячи,— признался, наконец, Тулузов.

— И я вам такое же назначаю жалованье!..— сказала Екатерина Петровна и самым любезным образом кивнула ему головой.

— Это как вам угодно!.. — согласился Тулузов, не обнаружив ни малейшего удовольствия от такого значительного повышения в платимом ему жалованьи.

В Синькове Катрин по-прежнему повела уединенную жизнь и постоянно видела перед собой одного только управляющего и больше никого. Для развлечения своего Екатерина Петровна избрала не совсем обычное для молодых дам удовольствие и, пользуясь осенней порошей, стала почти каждодневно выезжать со псовой охотой, причем она скакала сломя голову по лугам и по пахотным полям. Тулузов, сопровождавший ее всюду в этих случаях, ни на шаг, как подобает верному оруженосцу, не отставал от своей повелительницы, и однажды, когда он ловким выстрелом убил на довольно далеком расстоянии выгнанного гончими из перелеска зайца, Катрин не утерпела и воскликнула:

— Браво!.. Вы отлично стреляете?

— Да, я недурно стреляю,— отвечал Тулузов, молодцевато выпрямляясь на седле.

Катрин смотрела на него внимательно: он почти напомнил ей в эти минуты Ченцова.

— Как же муж мне говорил, что вы не охотник, и что он потому не брал вас с собою! — сказала она.

— Валерьян Николаич ходил, собственно, не за охотой,— заметил, усмехнувшись, Тулузов.

— Именно, даже охотой нельзя назвать этой гадости, которую он позволял себе,— проговорила Катрин презрительным тоном.

Возвратясь на этот раз с охоты в каком-то особенно экзальтированном состоянии, она сказала Тулузову, когда он ее ссаживал с лошади:

— Василий Иваныч, я сегодня проголодалась и буду ужинать; приходите разделить со мной mon souper froid! [1]

— Благодарю вас! — ответил Тулузов.

— Ну, смотрите же, je vous attends!.. [2] К десяти часам, не позже! — проговорила Катрин.

[1] мой холодный ужин! *(франц.)*
[2] я вас жду!.. *(франц.)*

Тулузов на это только поклонился и в десять часов был уже в большом доме: не оставалось почти никакого сомнения, что он понимал несколько по-французски. Ужин был накрыт в боскетной и вовсе не являл собою souper froid, а, напротив, состоял из трех горячих блюд и даже в сопровождении бутылки с шампанским.

— Вы знаете ли, Василий Иваныч,— начала Катрин, усевшись с Тулузовым за стол,— что Валерьян заставил было меня пристраститься к вину, и не тогда, когда я сделалась его женой, нет!.. Еще прежде, когда я была девушкой, он приезжал иногда к нам поздно-поздно ужинать, и я непременно уж с ним беседовала и бражничала.

— Вы поэтому были очень влюблены в Валерьяна Николаича?— поинтересовался Тулузов.

— Еще бы! — воскликнула Катрин.— Сколько же я безумств сделала для него!

— Ну, а теперь, что вы чувствуете к нему? — спросил как бы с некоторою робостью управляющий.

— Теперь,— отвечала Катрин,— я не то чтобы совершенно разлюбила его, но он раздвоился для меня: прежнего Ченцова я люблю немного, но теперешнего ненавижу и презираю... Впрочем, что об этом говорить? Скажите лучше: вы никогда не пили вина?

— Никогда! — отвечал Тулузов.— Вредно оно мне; шампанского я, конечно, могу еще выпить стакан или два с удовольствием.

— Ну, так выпьемте! — проговорила Катрин и пододвинула бутылку к Тулузову, которую он очень умело взял и, налив из нее целый стакан, выпил его.

— Потом вот что,— продолжала она, хлопнув перед тем стакана два шампанского и, видимо, желая воскресить те поэтические ужины, которые она когда-то имела с мужем,— вот что-с!.. Меня очень мучит мысль... что я живу в совершенно пустом доме одна... Меня, понимаете, как женщину, могут напугать даже привидения... наконец, воры, пожалуй, заберутся... Не желаете ли вы перейти из вашего флигеля в этот дом, именно в кабинет мужа, а из комнаты, которая рядом с кабинетом, вы сделаете себе спальню.

Проговорив это, Екатерина Петровна на мгновение остановилась, а потом снова продолжала с небольшой улыбкой:

— Но вам, Василий Иваныч, может быть, это будет неудобно на случай каких-нибудь рандеву, если только вы имеете их в вашем отдельном флигельке.

— Нет-с, я ни в моем флигельке и нигде никаких рандеву не имею.

— Ну, полноте, пожалуйста, поверю я вам! — перебила его Катрин.— Бывши таким молодым человеком, вы будете обходиться без рандеву!

— Совершенно обхожусь без них,— повторил Тулузов,— и в доказательство того я с величайшим восторгом принимаю ваше предложение поселиться в одном с вами доме, чтобы каждую минуту быть защитником вашим, и надеюсь, что скорей лягу костьми, чем что-либо случится неприятное для вас.

При таком изъяснении Тулузова, Катрин немного покраснела; но, тем не менее, ей, как кажется, было приятно выслушать, что он ей высказал.

На другой день управляющий со всем своим имуществом, не выключая и окованного железом сундука, переселился в большой дом и расположился там с полным удобством. По поводу сих перемен дворовые и крестьяне Екатерины Петровны, хотя и не были особенно способны соображать разные тонкости, однако инстинктивно поняли, что вот-де прежде у них был барин настоящий, Валерьян Николаич Ченцов, барин души доброй, а теперь, вместо него, полубарин, черт его знает какой и откедова выходец. Слухи о том же самом невдолге дошли и до губернского города, и первая принялась их распространять косая дама, если только еще не забыл ее читатель. Дама сия, после долгого многогрешения, занялась богомольством и приемом разного рода странников, странниц, монахинь, монахов, ходящих за сбором, и между прочим раз к ней зашла старая-престарая богомолка, которая родом хоть и происходила из дворян, но по густым и длинным бровям, отвисшей на глаза коже, по грубым морщинам на всем лице и, наконец, по мужицким сапогам с гвоздями, в которые обуты были ее ноги, она скорей походила на мужика, чем на благородную девицу, тем более, что говорила, или, точнее сказать, токовала густым басом и все в один тон: «То-то-то!.. То-то-то!..»

Косая дама сейчас принялась эту старицу накачивать чаем, а та в благодарность за то начала ей толковать:

— Была, я, сударыня, нынешним летом у Егора Его-

рыча Марфина,— супруга у них теперича молодая,— им доложили обо мне, она позвала меня к себе в комнату, напоила, накормила меня и говорит мне: «Вы бы, старушка, в баню сходили, и имеете ли вы рубашку чистую?» — «Нету, говорю, сударыня, была у меня всего одна смена, да и ту своя же братья, богомолки, украли».— «Ну, так, говорит, нате вот вам!» — и подарила мне отличнейшие три рубахи и тут же приказала, чтобы баню про меня истопили... Добрая, что уж это говорить!.. А тут, на родину-то пришемши, заходила было я тоже к племянничку Егора Егорыча, Валерьяну Николаичу Ченцову,— ну, барыню того нигде и никому не похвалю,— мужа теперь она прогнала от себя, а сама живет с управляющим!

— Как с управляющим? Со своим крепостным, значит, мужиком? — воскликнула с любопытством косая дама.

— Может, что и мужик, но ходит стриженый и в дворянском платье.

— Да кто же вам сказывал, что Катерина Петровна унизилась до какого-то лакея? — продолжала расспрашивать свою гостью косая дама.

— Кому сказывать, окромя людишек ихних? Известно, кто про нас, бар, говорит — все рабы наши... Я тоже в усадьбу-то прибрела к вечеру, прямо прошла в людскую и думала, что и в дом меня сведут, однако-че говорят, что никаких странниц и богомолок от господ есть приказание не принимать, и так тут какая-то старушонка плеснула мне в чашку пустых щей; похлебала я их, и она спать меня на полати услала... На-ка, почет какой воздали гостейке почтенной! А мое тоже дело старое: вертелась-вертелась на голых-то досках,— не спится!.. Слышу, две горничные из горниц прибежали полопать, что ли, али так!.. Сначала ругмя-ругали все господ своих, а тут одна и говорит другой: «Я, говорит, девонька, вчерася-тко видела, как управляющий крался по коридору в спальню к барыне!» Тьфу, согрешила грешная! — закончила сердито свое токованье старуха и отплюнулась при этом.

— Ах, это интересно, очень интересно! — воскликнула косая дама.— Недолго же Катерина Петровна грустила по своем муже... скоро утешилась! Впрочем, если рассудить беспристрастно, так все мужчины того и стоят! — проговорила она, припомнив, как сама, после измены каждого обожателя своего, спешила полюбить другого!

VI

В описываемое мною время суд над женщинами проступившимися был среди дворянского сословия гораздо строже, чем ныне: поэтический образ Татьяны, сказавшей Онегину: «Я вас люблю — к чему лукавить? — но я другому отдана и буду век ему верна!», еще жил в сознании читающего общества. Конечно, дело обходилось не без падений, и если оно постигало павшую с человеком, равным ей по своему воспитанию и по своему положению в свете, то принимаемы были в расчет смягчающие обстоятельства; но горе было той, которая снизошла своей любовью до мужчины, стоявшего ниже ее по своему рангу, до какого-нибудь приказного или семинариста, тем паче до своего управляющего или какого-нибудь лакея,— хотя и это, опять повторяю, случалось нередко, но такая женщина безусловно была не принимаема ни в один так называемый порядочный дом. Екатерина Петровна, хорошо знавшая законы и обычаи дворянского сословия, жила безвыездно в своем Синькове. Она даже за обедню не ездила к приходу своему, опасаясь, чтобы тамошний священник, очень дерзкий на язык, не сказал чего-нибудь в проповеди насчет ее поведения, тем более, что он был зол на Екатерину Петровну за скудость приношений, которые она делала церкви и причту. Впрочем, Катрин вовсе не скучала своей уединенной жизнью. Тулузов окончательно заменил для нее Ченцова и даже превосходил того тем, что никогда ничем не заставлял страдать Катрин, а, напротив, всегда старался успокоить ее и сгладить неровности собственного ее характера.

За одним из обедов Тулузов, сидя, по обыкновению, с глазу на глаз с Катрин, проговорил с небольшой улыбкой:

— Я получил первый офицерский чин.

— А!..— воскликнула радостно Катрин.— Вы поэтому теперь дворянин?

— Какой еще дворянин!.. Личный, как определено в законах, или лычный, как чиновники называют.

— Но что же это значит по закону: личный дворянин?

— Значит, что если бы я женился, то детям моим не передам дворянства своего!

— А когда же вы можете передать это дворянство?

— Когда сделаюсь потомственным дворянином!

— А этим скоро ли вы сделаетесь? — расспрашивала Катрин.

— Думаю, что не скоро!

— Неужели же никакого нет средства ускорить это... попросить, что ли, кого... губернатора, что ли?..

— Губернатор тут ни при чем,— возразил, нахмурившись и потупляясь, Тулузов.

— Ну, подкупить, что ли, от кого это зависит? Покойный отец часто при мне говорил, что деньгами у нас все можно сделать!

— Разумеется, что многое можно сделать,— отвечал Тулузов, по-прежнему держа глаза устремленными в тарелку.— Для меня, собственно,— продолжал он неторопливо и как бы соображая,— тут есть один путь: по происхождению моему я мещанин, но я выдержал экзамен на учителя уездного училища, следовательно, мне ближе всего держаться учебного ведомства.

— Вы и держитесь его! — воскликнула Катрин.

— Держаться этого ведомства я теперь не могу, потому что числюсь в другом ведомстве, по министерству внутренних дел; но здесь открывается другое обстоятельство, которое уже прямо зависит от денег. Вам, вероятно, не известно, что года два тому назад в учебном ведомстве произошли большие перемены: гимназии вместо четвероклассных стали семиклассными; учеников поэтому прибавилось втрое. В нашем же губернском городе помещение для гимназии небольшое, и вот мне один знакомый чиновничек из гимназической канцелярии пишет, что ихнему директору секретно предписано министром народного просвещения, что не может ли он отыскать на перестройку гимназии каких-либо жертвователей из людей богатых, с обещанием награды им от правительства.

Катрин, хоть и женщина была, но очень хорошо поняла, что говорил Тулузов и даже ради чего он это говорил.

— Поэтому и вы можете быть таким жертвователем? — спросила она.

— Могу! — отвечал ей лаконически Тулузов.

— А чем же вас за это наградят?

— Дадут, может быть, даже Владимира, а с ним и потомственное дворянство.

— И что же мешает это сделать?

— Мешает, что у меня денег нет, чтобы пожертвовать значительную сумму.

— А у меня, Василий Иваныч, как вы думаете, есть настолько денег, чтобы их достало на ваше пожертвование, за которое бы дали вам дворянство?

— Без сомнения, для этого всего надобно тысяч тридцать!

— И как же вы говорите, что у вас нет денег? Я думаю, что мои деньги и ваши, при наших отношениях, одно и то же!

— Я вот и прошу вас одолжить мне эту сумму! — сказал Тулузов.

— Вам не просить следовало этой суммы, а просто сказать мне, что вам нужна такая-то сумма и именно на то-то! Какой вы скрытный человек!.. Мне очень не нравится эта черта в вашем характере!

— Как же я мог говорить вам об этом, когда я вчера только сам узнал и сообразил, что посредством пожертвования могу получить даже дворянство потомственное.

— Но когда вы должны сделать это пожертвование?

— Чем скорее, тем лучше!

— Вам надобно ехать куда-нибудь для этого?

— Да, в наш губернский город непременно, чтобы видеться с директором гимназии, а может быть, и в Петербург придется съездить.

— Ну, вот видите ли, Василий Иваныч,— начала Катрин внушительным тоном,— мне очень тяжело будет расстаться с вами, но я, забывая о себе, требую от вас, чтобы вы ехали, куда только вам нужно!.. Ветреничать, как Ченцов, вероятно, вы не станете, и я вас прошу об одном — писать ко мне как можно чаще!

— Каждую почту буду писать, но и вас прошу о том же; мне тоже нелегка будет разлука с вами!

— Верю вам! — ответила ему сентиментальным голосом Катрин.

Тулузов на другой день, после трогательно-печального прощания с Катрин, происшедшего, разумеется, втайне от прислуги, уехал в губернский город. Слепая фортуна сильно благоприятствовала всем его начинаниям. По случаю ходивших по городу бесспорных слухов об его отношениях к m-me Ченцовой, завись его дело от какого-нибудь другого начальствующего лица, а не от Ивана Петровича Артасьева, Тулузов вряд ли бы что-нибудь успел. В то время еще обращали некоторое внимание на нравственную сторону жизни господ жертвователей, но простодуш-

нейший Артасьев, вероятно, и не слыхавший ничего о Тулузове, а если и слыхавший, так давно это забывший, и имея в голове одну только мысль, что как бы никак расширить гимназическое помещение, не представил никакого затруднения для Тулузова; напротив, когда тот явился к нему и изъяснил причину своего визита, Иван Петрович распростер перед ним руки; большой и красноватый нос его затрясся, а на добрых серых глазах выступили даже слезы.

— Душа моя! — воскликнул он.— Вы нам истинное благодеяние оказываете! Позвольте мне познакомить вас с моим другом Пилецким!

И добряк хотел было Тулузова ввести в комнату к Мартыну Степанычу, до сих пор еще проживавшему у него и тщетно ждавшему разрешения воротиться в Петербург. Тулузов уклонился от этого приглашения и сказал, что он просит это дело вести пока конфиденциально.

— Извольте, извольте, душа моя, но чем же вы желаете, чтобы вас вознаградило правительство? Я на это имею такого рода бумагу! — говорил Иван Петрович все с более и более краснеющим и трясущимся носом и с торжеством выкладывая перед глаза Тулузова предложение министра, в котором было сказано: отыскать жертвователей с обещанием им награды.

— Я желаю получить одну милость от правительства,— стал отвечать Тулузов,— я личный дворянин, и так как у меня могут быть дети...

— О, без сомнения, бог благословит вас этим! — перебил его Иван Петрович.

— Да-с, и потому хотелось бы, чтобы они наследовали от меня дворянство.

— Да как же им и не наследовать, когда вы для чужих детей делаете столько добра! — восклицал Иван Петрович.

— Способ для этого такой: чтобы дали мне Владимира хоть третьей степени,— толковал ему Тулузов.

— Конечно, конечно! — соглашался Иван Петрович.

— Я бы попросил вас записать о моем желании! — добавил Тулузов.

— Сию же секунду! — говорил Иван Петрович, торопливо записывая в свою памятную книжку желание Тулузова.

— А кому деньги прикажете мне представить? — спросил тот.

— Мне, если только доверяете! — сказал Иван Петрович.

— О, помилуйте, ваше превосходительство!..— подхватил Тулузов, хотя и знал, что Артасьев был только еще статский советник, и потом, вынув из кармана безыменный билет, на котором внушительно красовалась цифра: тридцать тысяч, почтительно подал его Ивану Петровичу.

— Святые эти денежки, святые! — говорил тот, смотря на билет.— Кто внушил вам эту благую мысль, я не знаю!

— Собственное мое сердце, ваше превосходительство: я сам вышел из людей бедных и знаю, что образование нам необходимее даже, чем богатым людям, и если на мои деньги хоть десять мальчиков получат воспитание, так бог и за то меня вознаградит.

— Сторицею вознаградит и еще более изольет на вас благодати, которую вы и без того уже издавна в душе вашей имели!

— Благодаря бога, имею склонность к добрым делам! — произнес с чувством Тулузов и, получив квитанцию в представленных им Артасьеву тридцати тысячах, раскланялся с ним и уехал.

Добряк Артасьев, не медля ни минуты, поспешил прийти к другу своему Пилецкому, чтобы передать ему, какие есть в русской земле добрые и великодушные люди. Мартына Степаныча тоже обрадовала и умилила эта новость.

— Слава всевышнему! — сказал он, поднимая глаза к небу.— Его волей вселяется в сердца людей маловедомых великое изречение: *«Блюдите, да не презрите единого от малых сих!»*

Собственно на любви к детям и была основана дружба двух этих старых холостяков; весь остальной день они сообща обдумывали, как оформить затеянное Тулузовым дело, потом сочиняли и переписывали долженствующее быть посланным донесение в Петербург, в котором главным образом ходатайствовалось, чтобы господин Тулузов был награжден владимирским крестом, с пояснением, что если он не получит столь желаемой им награды, то это может отвратить как его, так и других лиц от дальнейших по-

жертвований; но когда правительство явит от себя столь щедрую милость, то приношения на этот предмет потекут к нему со всех концов России. Последняя мысль была изобретена Мартыном Степанычем, который был бесконечно выше Артасьева как по уму своему, так и по известного рода хитрости. Донесение в таком виде и полетело в Петербург. Тулузов, получив от знакомого гимназического чиновничка с этого донесения копию и видя, как оно веско было написано и сколь много клонилось в его пользу, счел преждевременным ехать в Петербург и отправился обратно в Синьково, которого достигнул на другой день вечером. Прежде всего он спросил бывшего камердинера Валерьяна Николаича, а теперь у него находящегося в услужении, здорова ли Катерина Петровна?

— Здоровы-с! — отвечал тот.— У них теперь стоит мужик из Федюхина.

— Какой мужик из Федюхина? — проговорил Тулузов.

— Сын Власия!

Тулузов не расспрашивал далее и пошел к Екатерине Петровне в боскетную, где она по большей части пребывала. Здесь я не могу не заметить, что Тулузов в настоящие минуты совершенно не походил на того, например, Тулузова, который являлся, приехав из губернского города после похорон Петра Григорьича, то был почти лакей, а ныне шел барин; походка его была смела, важна; вид надменен; голову свою он держал высоко, как бы предвкушая Владимира не в петлице, а на шее.

Катрин вскрикнула от радости, увидав его.

— Какое счастие, что вы приехали! — сказала она.— Вы мне очень нужны!

Перед ней действительно стоял сын Власия, Савелий Власьев, малый лет тридцати, с лицом корявым и ясно показывающим, что печенка у него порядком подгнила. Он имел очень жиденькую бороду и был одет в длиннополый, но из довольно тонкого сукна сюртук, в сапоги выростковые чищенные; на указательном пальце его правой руки виднелся позолоченный перстень; словом, Савелий скорее походил на мещанина, чем на мужика. По мастерству своему он был маляр, но маляр чистый, то есть он расписывал потолки по трафарету, занимался очисткою и убранством церквей, был часто нанимаем иконописцами и даже академическими художниками приготовлять для них полотно, закрашивать фон и тянуть, где им нужно

было, филенки. Сверх того, Савелий умел подводить белые двери под слоновую кость, что тогда было в большой моде. Таким образом он зарабатывал много денег, но все их проживал, потому что любил играть на бильярде и вдобавок к тому имел возлюбленную в лице одной, тоже чистой, кухарки. О жене и родителях своих он нисколько не думал и отпихивался от них деньгами. Когда же до Савелья дошел слух, что жена его убежала с барином, он вдруг вознегодовал и дал себе слово разыскать жену... Имея в Петербурге большие знакомства, Савелий... Но предоставим лучше ему самому рассказывать об этом.

Когда первый пыл радости от свиданья с Тулузовым позатих в Катрин, то она ему сказала, указывая на Савелья:

— Это сын Власия и муж Аксиньи.

Тулузов гордо взглянул на Савелья и ничего не проговорил.

— Он отыскал свою жену и привез ее сюда с собой! — присовокупила Катрин.

— Где ж ты отыскал ее? — проговорил Тулузов Савелью весьма неприветливым тоном.

— В Петербурге-с,— отвечал тот не очень подобострастно.

— Она жила у Ченцова на его квартире,— дообъяснила Катрин.

Тулузов некоторое время соображал.

— А как же ты разыскал Валерьяна Николаича? — спросил он.

— Разыскал я, почесть, и сам не знаю как,— отвечал Савелий не совсем охотно.

— Ты, пожалуйста, говори Василию Иванычу все, что и мне говорил,— сказала ему Катрин.

— Говорить тут, сударыня, особенно нечего,— продолжал Савелий.— Я, слышучи, что Аксинья сбежала из дома и приехала в Петербург, первоначально пошел к генералу Сквозникову...

— К какому это генералу Сквозникову? — остановил его Тулузов.

— К генерал-ахитектору,— отвечал, не запнувшись и не без важности, Савелий.

— Что же это за должность такая генерал-архитектор? — поинтересовался Тулузов.

— По дворцовой части они служат... Я им доложил, что вот так и так!.. «Ах, говорит, братец, на тебе записку,

ступай ты к частному приставу Адмиралтейской части,— я теперь, говорит, ему дом строю на Васильевском острову,— и попроси ты его от моего имени разыскать твою жену!..» Господин частный пристав расспросил меня, как и что, и приказал мне явиться к ним дня через два, а тем временем, говорит, пока разыщут; туточе же, словно нарочно, наш один мужик встретился со мной в трактире и говорит мне: «Я, говорит, Савелий, твою жену встретил, идет нарядная-пренарядная!.. Знать, у кого-нибудь в кормилицах живет!» — «Ты где же, говорю, ее встретил?» — «На Песках, говорит, вышла из дома, что супротив самых бань»!.. Я опять к господину приставу Адмиралтейской части, объяснил ему. «Ну, говорит, значит, мы ее найдем!.. Приходи ты опять дня через два!» Я пришел. «Жена твоя, говорит, живет в квартире отставного поручика Ченцова, и мы по твоему прошению заарестовали ее: она призналась, что твоя жена... Хочешь, ты ее возьми на поруки; хочешь, мы ее отправим по этапу!» Я пожелал ее себе взять.

— А Валерьяна Николаича ты видел? — спросил Тулузов.

— Никак нет-с! Я к ним даже и на квартиру не ходил,— отвечал Савелий,— а привез только сюда хозяйку мою, и теперь я ожидаю защиты от вашей господской власти!.. Где ж нам ее стеречь?

— Стеречь и мы ее не можем! — проговорила Катрин.

— Как же нам, сударыня, быть после того? — произнес явно грубым тоном Савелий.

— Ты там как знаешь будь,— перебил его строго Тулузов,— а мы вот повидаем твоего отца, который поумнее тебя, и с тем рассудим, как лучше распорядиться.

— Это-с как вам угодно, а я только к тому говорю, что при жене жить не стану, чтобы ее беречь; пусть тот же родитель мой будет ее стражем!

— Устережем и без тебя! — отозвался Тулузов.

— Сделайте милость! — сказал Савелий и, по приказанию Екатерины Петровны, удалился.

Она же, оставшись с Тулузовым вдвоем, сообщила тому боязливым голосом:

— Кроме этого грубияна, я от Валерьяна получила письмо, которое я не знаю в какое ставит меня положение. Нате, прочтите!

Тулузов стал было про себя читать письмо.

— Читайте вслух, тут каждое слово важно!

Тулузов начал читать письмо вслух:

— «Катрин! Вы когда-то говорили мне, что для меня способны пожертвовать многим,— Вы не лгали это,— я верил Вам, и если, не скрою того, не вполне отвечал Вашему чувству, то потому, что мы слишком родственные натуры, слишком похожи один на другого,— нам нечем дополнять друг друга; но теперь все это изменилось; мы, кажется, можем остаться друзьями, и я хочу подать Вам первый руку: я слышал, что Вы находитесь в близких, сердечных отношениях с Тулузовым; нисколько не укоряю Вас в этом и даже не считаю вправе себя это делать, а только советую Вам опасаться этого господина; я не думаю, чтобы он был искренен с Вами: я сам испытал его дружбу и недружбу и знаю, что первая гораздо слабее последней. На днях Тулузов сыграл со мной ужасную вещь: он напустил на меня мужа Аксиньи, которую я, каюсь, чтобы спасти от ссылки, увез с собою при отъезде моем в Петербург».

— Я напустил Савелья, тогда как я и не знал ничего! — произнес Тулузов, остановившись на мгновение читать, и потом снова продолжал:

«Муж Аксиньи отнял ее у меня, а это все равно, что отнять жизнь у меня! Вы сами, Катрин, знаете и испытали чувство любви и, полагаю, поймете меня, если я Вам скажу, что во взаимной любви с этой крестьянкой я очеловечился: я перестал пить, я работаю день и ночь на самой маленькой службе, чтобы прокормить себя и кроткую Аксюту. Мне еще в молодости, когда я ездил по дорогам и смотрел на звездное небо, казалось, что в сочетании звезд было как бы предначертано: «Ты спасешься женщиной!» — и прежде я думал найти это спасение в моей первой жене, чаял, что обрету это спасение свое в Людмиле, думал, наконец, что встречу свое успокоение в Вашей любви!»

— Вот уж я уверена, что от любви моей он никогда ничего не ожидал, кроме денег,— заметила грустным голосом Катрин.

— Конечно,— подтвердил с усмешкою Тулузов,— и вообще все письмо есть пустословие и ложь.

— Нет, тут не одно пустословие,— возразила Катрин,— дальше вы увидите, есть и более серьезные вещи.

Тулузов снова стал продолжать чтение письма:

— «В Аксюше для меня явилось это спасение, и неужели же, Катрин, Вы захотите этого ангела-хранителя моего,

а для Вас *совершенное ничто,* отнять у меня? Как помещица, Вы всегда можете отпустить ко мне Аксюшу в Петербург, дав ей паспорт; а раз она здесь, супругу ее не удастся нас разлучить, или я его убью; но ежели и Вы, Катрин, не сжалитесь надо мною и не внемлете моей мольбе, то против Вас я не решусь ничего предпринять: достаточно и того, что я совершил в отношении Вас; но клянусь Вам всем святым для меня, что я от тоски и отчаяния себя убью, и тогда смерть моя безраздельно ляжет на Ваше некогда любившее меня сердце; а мне хорошо известно, как тяжело носить в душе подобные воспоминания: у меня до сих пор волос дыбом поднимается на голове, когда я подумаю о смерти Людмилы; а потому, для Вашего собственного душевного спокойствия, Катрин, остерегитесь подводить меня к давно уже ожидаемой мною пропасти, и еще раз повторяю Вам, что я *застрелюсь, если Вы не возвратите мне Аксюты».*

Последние слова в письме были подчеркнуты два раза.

— Что вы думаете обо всех этих обещаниях и угрозах? — спросила Катрин.

Тулузов еще раз прочитал про себя окончание письма: рысьи глаза его, несколько налитые кровью, как будто бы в эти минуты окаменели и были неподвижно уставлены на письмо.

— Такое же пустословие,— проговорил он,— как и в начале письма.

— Ну, я вижу, вы мало знаете Валерьяна! — произнесла с ударением Катрин и кивнула многознаменательно головой.

— Очень хорошо я его знаю! — сказал надменным и насмешливым тоном Тулузов.— Он и мне кричал, когда я его запер в кабинете, что разобьет себе голову, если я буду сметь держать его взаперти, однако проспал потом преспокойно всю ночь, царапинки даже себе не сделав.

— То другое дело: тогда у Валерьяна оставалась некоторая надежда; а когда мы отнимем у него Аксинью, у него будет все потеряно в жизни.

— Много еще у него разных надежд останется! — продолжал насмешливо Тулузов.— Потом-с, вы хоть и помещица, но не имеете права нарушать брак и принадлежащую вам крестьянку, отняв у мужа, отдать вашему супругу, и зачем, спрашивается, вы это делаете? Ответ для каждого прост.

— Какой же это простой ответ? — спросила Катрин, несколько удивленная столь смелым тоном, который принял в разговоре с ней Тулузов: она, без сомнения, не могла догадаться, что тут говорил в нем ожидаемый Владимир.

— Такой ответ,— объяснил он ей, не понижая тона,— что вы способствуете Валерьяну Николаичу затем, чтобы и он вам не мешал.

Катрин покраснела.

— Василий Иваныч,— произнесла она с явной досадой,— вы этими словами хотите как будто бы сказать, что я какая-то совершенно потерянная женщина.

— Не я-с говорю это, я во сне бы никогда не посмел подумать того,— отвечал ей немного уже опешивший Тулузов,— но это могут сказать другие, и, главное, может таким образом понять правительство, которое зорко следит за подобными отношениями и обеспечивает крепостных людей от подобного самоуправства: сын этого Власия, как вы сами видели, не из смирных; грубиян и проходимец великий; он найдет себе заступу, и вам может угрожать опасность, что у вас отберут ваше имение в опеку.

— Тогда я покажу правительству письмо Валерьяна, в котором он говорит, что убьет себя, если я разлучу его с Аксиньей! — воскликнула Катрин.

— А вам скажут на это, что в письме тоже значится, что Валерьян Николаич убьет сына Власа, когда тот будет требовать у него жены своей! — возразил Тулузов и затем уже принялся успокоивать Екатерину Петровну.— На самом деле ничего этого не произойдет, а будет вот что-с: Аксинья, когда Валерьян Николаич будет владеть ею беспрепятственно, очень скоро надоест ему, он ее бросит и вместе с тем, видя вашу доброту и снисходительность, будет от вас требовать денег, и когда ему покажется, что вы их мало даете ему, он, как муж, потребует вас к себе: у него, как вы хорошо должны это знать, семь пятниц на неделе; тогда, не говоря уже о вас, в каком же положении я останусь?

— В таком случае что же мне написать Валерьяну? Я совершенно растерялась и готова ума рехнуться!

— Написать вам следует, но, впрочем, я и сам до такой степени утомился с дороги и с хлопотами по моему делу, что теперь вдруг и сказать не могу!

— Но что же ваше дело? — воскликнула Катрин.— Я с моими тревогами и не спросила вас об этом.

— Дело мое,— отвечал, уже зевая, Тулузов,— находится в отличнейшем положении: приношение мое принято, и я, вероятно, получу за него дворянство!

— Я это предчувствую, и вы совершенно достойны ваших успехов,— проговорила Катрин.

— Завтрашний день-с я все хорошенько обдумаю и напишу вам, что вы должны отвечать Валерьяну Николаичу.

— Да, да, напишите! — заключила Катрин нежным голосом.

Тулузов, взяв с собой письмо Ченцова, ушел в свое отделение, где снова прочитал это письмо и снова главным образом обратил свое внимание на последние строки. «Может быть, и в самом деле застрелится!» — произнес он тем же полушепотом, как прежде сказал:— «Пойдут теперь истории, надобно только не зевать!»

Явившись поутру к Екатерине Петровне пить чай, Тулузов принес заготовленный им ответ.

— Вы написали? — спросила она, увидав в руке его четвертушку бумаги.

— Написал!

— Прочитайте!.. Меня так мучит это, что я всю ночь не спала!

— Ответ очень короткий, какой только вы и можете написать! — объяснил Тулузов и начал чтение:

«Милостивый государь Валерьян Николаич!

Вы, надеюсь, понимаете, что наши отношения после того, что произошло между нами, суть отношения людей совершенно посторонних. Об разных укорах и намеках, которые Вы мне пишете, я не хочу и говорить, потому что все они несправедливы; но что касается до высылки к Вам крестьянки Аксиньи, то я по закону никакого права не имею этого сделать: мы можем наших крестьян отчуждать из своего владения, а нарушать их браки не в нашей власти; муж Аксиньи, который ее привез теперь сюда, очень хорошо это знает, и мне очень странна показалась Ваша просьба: неужели Вы думали, что я позволю себе высылать Вам ваших любовниц? Занимайтесь сами этим, а я тут умываю руки и даже считаю неприличным для себя более говорить об этом!»

Прослушав письмо, Екатерина Петровна осталась недовольна им.

— Письмо ужасное! — проговорила она.

Тулузов усмехнулся.

— Тогда не угодно ли вам самим написать! — сказал он.

— Да, я сама напишу Валерьяну,— произнесла, подумав, Катрин, полагавшая, что Тулузов из ревности сочинил нарочно такое колкое письмо к Ченцову.

Оставшись одна, она действительно принялась сочинять ответ мужу, но оказалось, что в ответе этом наговорила ему гораздо более резких выражений, чем было в письме Тулузова: она назвала даже Ченцова человеком негодным, погубившим себя и ее, уличала его, что об Аксюте он говорил все неправду; затем так запуталась в изложении своих мыслей и начала писать столь неразборчивым почерком, что сама не могла ни понять, ни разобрать того, что написала, а потому, разорвав с досадой свое сочинение, сказала потом Тулузову:

— Дайте мне ваше письмо, я перепишу его: у меня голова так расстроена, что ничего не могу придумать!

Тулузов подал заготовленное им письмо, которое Катрин почти целый день переписывала, как будто бы ей каждое слово начертить было тяжело, грустно и страшно.

VII

Было двенадцать часов дня. Аггей Никитич сидел в губернской почтовой конторе и принимал денежные отправки, с напряженным вниманием пересчитывая бумажки и серебро. Вся фигура его была красива и представительна; бакенбарды плотно прилегали к щекам, как издавна приученные к тому; усы, которых он не сбривал, по праву вышедшего в отставку с мундиром, были воинственно-внушительны; на груди Аггея Никитича из-под форменного жилета виднелась чистейшая, приготовленная под личным наблюдением Миропы Дмитриевны, коленкоровая манишка, на которой покоился орден Станислава; но собственно главною гордостью для Аггея Никитича служили две болтающиеся медали турецкой и польской кампаний, по поводу которых он всегда говорил:

— Кресты не то-с! Они часто даются несправедливо!.. А что я был в двух кампаниях, это уж святая истина!

Часу во втором вошел в контору высокий старик, несколько согбенный, в длинном из серо-немецкого сукна сюртуке и с Анной на шее. Аггей Никитич сразу же подумал, что это какой-нибудь ученый человек.

— Я статский советник Урбанович-Пилецкий и, по распоряжению правительства, возвращаюсь в Петербург обратно! — проговорил заискивающим голосом Мартын Степаныч, подходя к Аггею Никитичу.

— Вы поэтому имеете казенную подорожную? — спросил тот с приличным к службе вниманием.

— Да, имею казенную подорожную и получил вместе с тем прогоны от казны,— отвечал Пилецкий.

— Вы изволите служить где-нибудь? — полюбопытствовал Аггей Никитич.

— Нет, но я прислан был в здешний город на временное житье, а теперь мне снова разрешено возвратиться в Петербург,— объяснил не совсем определенно Мартын Степаныч.

Но Аггей Никитич догадался.

— Понимаю!..— произнес он глубокомысленным тоном.— И вы, может быть,— присовокупил он с заметно уже большим уважением,— желаете, по преклонности ваших лет, получить проходной экипаж вплоть до Петербурга, чтобы не тревожить себя перекладкою на станциях?

— Благодарю вас, перекладка меня не затруднит, потому что со мной всего один небольшой чемодан, и я даже боюсь отчасти проходных экипажей, в одном из коих раз уже и приехал сюда,— проговорил, несколько ядовито усмехнувшись, Мартын Степаныч.

— Понимаю и это! — подхватил опять-таки глубокомысленно Аггей Никитич.

— Я прошу вас,— продолжал Пилецкий,— об одном лишь: мне предстоит проезжать невдалеке усадьбы одного моего друга, Егора Егорыча Марфина, то не дозволите ли вы свернуть почтовым лошадям с большой дороги и завезти меня к нему на именины? Расстояние всего десять верст, за каковые я готов заплатить хотя бы двойные прогоны.

Аггей Никитич при этом вопросе прежде всего воскликнул:

— Вы друг Егора Егорыча и хотите заехать к нему на именины?!.

— Непременно, во что бы то ни стало! — отвечал утвердительно Мартын Степаныч.

— Почтеннейший господин Урбанович,— заговорил Аггей Никитич,— вы мне сказали такое радостное известие, что я не знаю, как вас и благодарить!.. Я тоже, если не смею себя считать другом Егора Егорыча, то прямо говорю, что он мой благодетель!.. И я, по случаю вашей просьбы, вот что-с могу сделать... Только позвольте мне посоветоваться прежде с женой!..

Проговорив это, Аггей Никитич встал и немедля ушел в свою квартиру, находившуюся в одном доме с почтовою конторою.

— Мира! — сказал он, войдя в комнату супруги своей и застав ту что-то вычисляющею на бумажке, на которой значилось: станция Вязниковская — шесть пар, станция Антипьевская — восемь пар...

Аггей Никитич, конечно, ничего этого не подметил и продолжал:

— У меня тут в конторе сидит один сосланный, Пилецкий; он едет, вообрази, Мира, к Егору Егорычу на именины! И я с ним поеду! Ведь надобно мне когда-нибудь видеться с Егором Егорычем.

— Но зачем же тебе, губернскому почтмейстеру, ехать с каким-то сосланным?! — первое, на что ударила Миропа Дмитриевна.

— Это уж мое дело!.. Он ближайший друг Егора Егорыча!.. Но я спрашиваю о том, как я должен ехать?.. Не отпуска же мне испрашивать?.. И черт его знает, когда он еще придет ко мне!..

Миропа Дмитриевна при этом не то что задумалась, а только подумала и сообразила; все служебные отношения мужа она знала и понимала в тысячу раз подробнее и точнее, чем он сам.

— Зачем тебе просить отпуска? — возразила она.— Ты явись к губернатору и доложи ему, что поедешь ревизовать уездные почтовые конторы, а там и поезжай, куда хочешь!

— Спасибо за совет! — проговорил Аггей Никитич и пошел обратно в контору.

— Но только ты непременно должен обревизовать конторы! — крикнула ему вслед Миропа Дмитриевна.

— Обревизую, что тут говорить! — отозвался Аггей Никитич.

Собственно какой-нибудь существенной пользы для службы Миропа Дмитриевна совершенно не ожидала от ревизии Аггея Никитича, но она все-таки, по некоторым своим соображениям, желала, чтобы Аггей Никитич, по крайней мере, попугал своей наружностью уездных почтмейстеров, которые, очень порядочно получая на своих должностях, губернского почтмейстера почти и знать не знали.

Возвратясь в место своего служения, Аггей Никитич сказал:

— Мартын Степаныч, вы едете к Егору Егорычу, и я тоже еду с вами... Позволите мне это?

При таком вопросе Аггея Никитича Мартын Степаныч призадумался несколько: ему помстилось, что не шпион ли это какой-нибудь, потому что так к нему навязывается; но, взглянув на открытую и простодушную физиономию Аггея Никитича, он отвергнул это предположение и отвечал:

— С великим удовольствием готов разделить с вами этот вояж.

— В какой же день и в какой час дня вы прикажете, чтобы я заехал за вами? — спросил его, почти как бы своего начальника, Аггей Никитич.

— Да я просил бы вас завтра часов в семь вечера выехать, чтобы нам не опоздать на именины; живу я у директора гимназии Ивана Петровича Артасьева,— проговорил Мартын Степаныч.

— Явлюсь! — подхватил Аггей Никитич и на другой день действительно к семи часам вечера явился.

Мартын Степаныч, с своей стороны, тоже был совсем готов к отъезду, каковой несколько замедлился тем, что Иван Петрович, прощаясь с другом своим и вообразив, что это, может быть, навсегда, расчувствовался и расплакался, как женщина, а потом, неизвестно почему, очень долго целовался с Аггеем Никитичем, с которым и знаком был весьма мало. Впрочем, целоваться со всеми было страстью этого добряка: он целовался при всяком удобном случае с подчиненными ему гимназистами, целовался со всеми своими знакомыми и даже с лицами, видавшимися с ним по делам службы.

Распрощавшись наконец, путники мои едва только

выехали за город, как сейчас же вступили между собою в довольно отвлеченный разговор, который был начат Аггеем Никитичем издалека.

— Я вот теперь еду к Егору Егорычу и, признаюсь, побаиваюсь,— проговорил он.

— Чего? — спросил Пилецкий.

— Да того именно, что Егор Егорыч мне еще в Москву прислал несколько масонских книг, а также и трактат о самовоспитании, рукописный и, надо быть, его собственного сочинения. Я прочел этот трактат раз десять... Кое-что понял в нем, а другое пришлось совершенно не по зубам.

— Пришлось не по зубам? — повторил Мартын Степаныч.— А что именно?

— Да вот тут слово мистицизм на каждой почти строке повторяется, а что оно значит — черт его знает, я никогда такого слова и не слыхивал. Не можете ли вы растолковать мне его?..

— С великим удовольствием! — произнес, слегка улыбнувшись, Мартын Степаныч.— Мистицизм есть известного рода философско-религиозное учение, в котором поэтому два элемента: своя философия и свое вероучение.

— А какая разница между этими двумя элементами? — бухнул Аггей Никитич.

При таком странном вопросе своего собеседника Мартын Степаныч потупился, но продолжал:

— Такая же, как между всякой философией и религией: первая учит познавать сущность вещей посредством разума, а религия преподает то, что сказано в божественном откровении; но путь в достижении того и другого познания в мистицизме иной, чем в других философских системах и в других вероучениях, или, лучше сказать, оба эти пути сближены у мистиков: они в своей философии ум с его постепенным ходом, с его логическими выводами ставят на вторую ступень и дают предпочтение чувству и фантазии, говоря, что этими духовными орудиями скорее и вернее человек может достигнуть познания сущности мирового бытия и что путем ума человек идет черепашьим шагом, а чувством и созерцанием он возлетает, как орел.

Аггей Никитич, инстинктивно понявши, что он в первом своем вопросе что-то такое проврался, уже молчал

и только с глубоким вниманием слушал Мартына Степаныча, который ему далее толковал:

— При созерцании необходимо полное отрешение от всего чувственного мира, дабы созерцающий совершенно вышел из пределов ограниченного бытия своего и достигнул так называемого экстаза.

Тут Аггей Никитич снова не совладел с собой и спросил:

— А что такое значит экстаз?

— Экстаз,— объяснил ему Пилецкий,— есть то возбужденное состояние, когда человек, под влиянием духовно-нравственного движения, ничего не сознает, что происходит вокруг него; так, он не слышит боя часов, не ощущает ни света, ни темноты, ни даже тепла и холода: он как бы умертвил тело свое и весь одухотворился,— понимаете?

— Понимаю! — отвечал Аггей Никитич, и он в самом деле понял: с ним самим даже случалось нечто в этом роде, когда, например, бывал в сражениях или увлекался какой-нибудь хорошенькой...

— В этом состоянии,— продолжал поучать Мартын Степаныч,— мистики думают созерцать идею мира прямо, непосредственно, как мы видим глазами предметы мира внешнего.

— Мартын Степаныч, вы извините меня, что я вас все перебиваю! — воскликнул на этом месте Аггей Никитич.— Но я не знаю, что значит слово идея.

Мартын Степаныч провел у себя за ухом и, видимо, постарался перевести известное определение идеи, что она есть абсолютное тожество мысли с предметностью, на более понятный для Аггея Никитича язык.

— Идеей называется, когда человек угадает главную причину какого бы то ни было бытия. Представьте вы себе, что дикари смотрят на часы; они видят, что стрелки движутся, но что их движет — им непонятно. Влекомые чувством любознательности, они разломали часы, чтобы посмотреть, что внутри их заключается, и видят там колеса, маятник и пружину, и вдруг кому-либо из них пришла на ум догадка, что стрелки двигает пружина, значит, в его уме явилась идея часового устройства... Я беру для выяснения моей мысли весьма узкий и ограниченный предмет, но при этом главным образом обращаю ваше внимание на то, что дикарь догадался; он понял

суть посредством вдохновения. Словом, мистики признают, что все великие идеи — чудо, озаряющее головы людей, по преимуществу наклонных к созерцательному мышлению.

Тут опять-таки Аггей Никитич спутался в своем вопросе.

— Значит, и бога можно понять, как часовую пружину? — проговорил он почти с каким-то азартом.

— Бога вы, пожалуйста, еще оставьте в покое! Я говорил вам о способах мышления нашего разума... До бога нельзя дойти этим путем; его нужно любить; он токмо путем любви открывается и даже, скажу более того, нисходит в нас!

— Я бога люблю больше всего в мире,— воскликнул Аггей Никитич,— и пламенно желаю, чтобы он открылся мне, но не знаю, что для этого нужно делать!.. Как об этом говорят мистики?

На этот вопрос Мартын Степаныч не вдруг отвечал и, прежде сообразив несколько, проговорил наконец:

— По мнению мистиков, для уразумения бога, кроме откровения, существует в человеке внутреннее сознание божества, которое каждый из нас может развивать в себе силою созерцательного чувствования: русские масоны по преимуществу избрали для себя путь уединения, путь жизни аскетов; но, по-моему, это — путь слишком аристократический и вместе с тем мрачный; он пригоден для людей, нежно и деликатно воспитавших свое тело; тогда как есть еще гораздо большая масса людей, у которых тело могучее духа...

— Это так! — подхватил Аггей Никитич, припомнивший, как Егор Егорыч и ему самому говорил о преобладании плоти.

— Для этих людей нужно умерщвление плоти посредством физического движения... Пусть тело их утомится и воспрянет дух!

— Что же для этого нужно? — спросил Аггей Никитич.

— Танцевать, петь и веселиться, и дух господень в вас снизойдет так же, как он нисходит на людей в общем церковном поклонении.

Мысль эта ужасно афраппировала Аггея Никитича.

Мартын Степаныч поспешил прямее объяснить ему:

— Припомните слова царя Давида, который сказал:

«Пойте господеви, в гуслех и гласе псаломсте: в трубах кованных и гласом трубы рожаны, вострубите пред царем господем!»

— Да-с, но чтобы после танцев нисходил на нас дух господень,— это непонятно! — возразил Аггей Никитич, знавший по собственному опыту, что если после танцев иногда и приходят в голову некоторые поэтические мысли, то никак уж не богомольного свойства.

— Нисходит! — повторил свое Мартын Степаныч.— И я сам отчасти был свидетелем тому.

— Но как же вы могли быть свидетелем тому? — воскликнул Аггей Никитич.

— Я видел плоды, которые были последствием этого наития: одна дама, после долгого радения в танцах, пении и музыке, весьма часто начинала пророчествовать и очень многим из нас предсказывала будущее... Слова ее записывались и потом в жизни каждого из нас повторились с невероятною точностью.

— Что же это в обществе, что ли, каком происходило?

— Да, то есть в одном очень дружественном кружке...

— А этакий кружок всего только один и есть?

— Нет, таких кружков много и у нас и в Европе!

— А как они называются?

— Их всех называют,— отвечал, немного подумав, Мартын Степаныч,— общим именем скачущих, прыгающих.

Аггей Никитич при этом только уж пожал плечами. «Бог знает что такое? После этого каждого скачущего улана может осенить дух святой!» — подумал он; но тут, как нарочно, пришел ему на память апостол Павел, который тоже ехал на коне, когда услышал глас с небеси: «Савле, Савле, что мя гониши?» — «Удивительно и непонятно»,— повторял мысленно Аггей Никитич, а вместе с тем ему ужасно хотелось спросить, что неужели и Мартын Степаныч участвовал в этом кружке; но, по деликатности своей, он не сделал того и погрузился в грустные размышления о своих скудных знаниях и о своем малопонимании. Мартын Степаныч тоже впал в созерцательное состояние, и трудно сказать, что в эти минуты проносилось перед его старческим умом: размышлял ли он

о грядущей судьбе скачущих, или только вспоминал об обожаемой им Екатерине Филипповне.

Приезд Зверева и Пилецкого был в Кузьмищеве совершенною неожиданностью. Первый их встретил проходивший по зале доктор Сверстов. Узнав Мартына Степаныча, он радостно воскликнул:

— Это как вы опять здесь и посреди нас очутились?

— Возвращаюсь в Петербург! — объяснил Мартын Степаныч.

— Прощены, значит? — спросил Сверстов.

— Да,— ответил ему тихо Пилецкий.

На Аггея Никитича Сверстов хоть и взглянул с некоторым недоумением, но все-таки вежливо ему поклонился, а Зверев, с своей стороны, отдал ему почтительный поклон.

Потом все вошли в гостиную, где сидели вдвоем Егор Егорыч и Сусанна Николаевна, которые, увидав, кто к ним приехал, без сомнения, весьма удивились, и затем началась обычная сцена задушевных, хоть и бестолковых, деревенских свиданий: хозяева и гости что-то такое восклицали; все чуть-чуть не обнимались; у Сусанны Николаевны оба прибывшие гостя поцеловали с чувством руку; появилась тут же вдруг и gnädige Frau, у которой тоже оба кавалера поцеловали руку; все о разных разностях отрывочно спрашивали друг друга и, не получив еще ответа, рассказывали, что с ними самими было. Аггей Никитич на первых порах, вероятно, по воспоминаниям о Людмиле, подсел поближе к Сусанне Николаевне и поздравил ее со вступлением в брак, а Сусанна Николаевна, в свою очередь, поздравила его с тем же, причем, желая сказать ему приятное, она проговорила:

— Миропа Дмитриевна очень добрая женщина!

— Она благородная и умная,— определил несколько иначе свою супругу Аггей Никитич.

Егор же Егорыч стал расспрашивать Мартына Степаныча, каким образом того простили.

— Подробностей не знаю,— отвечал Пилецкий,— кроме того, что Екатерина Филипповна писала письмо к государю.

— Значит, и она освобождена?

— Да, ей позволено переехать в Москву, с воспрещением, впрочем, выезда в Петербург.

— И вы поэтому в Москву едете?

— Пока нет; я еду в Петербург теперь, но так как в моем разрешении возвратиться в столицу ничего не сказано, чтобы я не жил в Москве, то, вероятно, впоследствии я там и поселюсь, ибо, сами согласитесь, Егор Егорыч, в мои годы одно только счастье и остается человеку, чтобы жить около старых друзей.

— Конечно,— согласился Егор Егорыч,— но скажите, князь Александр Николаич ходатайствовал сколько-нибудь об Екатерине Филипповне и об вас?

— Очень даже много!.. Через него, собственно, и было доставлено письмо Екатерины Филипповны государю.

Gnädige Frau между тем, видимо, заинтересовалась Аггеем Никитичем, так что, наклонившись к уху мужа, спросила шепотом:

— Wer ist dieser Herr? [1]

— Не знаю,— ответил тот, но и сам немедля же наклонился к уху Егора Егорыча и шепнул тому: — Кто это такой, незнакомый нам барин?

— Ищущий! — ответил лаконически Егор Егорыч.

— Ищущий! — повторил затем доктор своей супруге. И оба они совершенно удовлетворились таким ответом.

Что касается до самого Аггея Никитича, то он, побеседовав с Сусанной Николаевной, впал в некоторую задумчивость. Его мучило желание, чтобы разговор поскорее коснулся масонства или чего-либо другого возвышенного; но — увы! — его ожидания и желания не осуществились, а напротив, беседа перешла на весьма житейский предмет. Мартын Степаныч, заметно вспомнив что-то важное и проведя, по своей привычке, у себя за ухом, сказал:

— Чуть было не забыл!.. Иван Петрович Артасьев убедительно просил меня... Надеюсь, что здесь присутствуют все близкие люди?..

— Все близкие, все! — поспешно ответил Егор Егорыч.

— Просил передать вам, что какой-то ваш племянник...

— Ченцов? — подхватил Егор Егорыч.

— Кажется, что так!.. Фамилии хорошенько не помню; но дело в том, что господин Ченцов разошелся с своей женой...

— Разошелся?!. По поводу чего? — воскликнул Егор Егорыч.

— По поводу ревности с ее стороны, которая вызвала

[1] Кто этот господин? *(нем.)*

между ними трагическую сцену, дошедшую акибы до того, что ваш племянник выстрелил два раза из ружья в свою супругу!

При этом известии Сусанна Николаевна, Сверстов и gnädige Frau прежде всего взглянули на Егора Егорыча, который побледнел и забормотал:

— Ничего подобного я не слыхал!.. А вы слышали что-нибудь об этом? — заключил он, взглянув одновременно на жену, gnädige Frau и доктора.

Те все в один голос объявили, что они тоже ничего не слыхали.

— Как же нам и от кого слышать!.. Валерьян Николаич живет отсюда верст триста, знакомых к нам в продолжение лета и осени никто не приезжал,— объяснила Сусанна Николаевна.

— Может быть, и то! — согласился Егор Егорыч, по выражению лица которого и складу всего тела легко было понять, сколь много эта новая выходка племянника опечалила и как бы пришибла его.

— Что Валерьян не уживется с женой, этого надобно было почти ожидать,— хотела было Сусанна Николаевна успокоить мужа.

— Но не так же скоро!.. Думал же он что-нибудь, женясь на ней! — почти прикрикнул на нее Егор Егорыч.

— Да-с, да,— произнес тихо и протяжно доктор,— как бы я тогда съездил к господину Ченцову и сблизил бы его с дядей, так, может, этого и не случилось бы!

— Дядя никак бы уж не остановил женской ревности! — возразила ему несколько насмешливо gnädige Frau.

Вслед за тем Мартын Степаныч, утомленный дорогою, попросил у хозяев позволения отправиться в свою комнату.

— О, пожалуйста! — воскликнул Егор Егорыч, но вместе с тем прибавил к тому: — Я пойду с вами, мне нужно два слова вам сказать.

Таким образом, оба старика удалились в комнату, которую всегда занимал в кузьмищевском доме Мартын Степаныч. Здесь Егор Егорыч прямо начал:

— При Сусанне Николаевне я не хотел говорить, чтобы не встревожить ее; но вот что мне пришло в голову: если племянник мой действительно стрелял в жену свою, так это уголовщина!.. Это покушение на убийство!.. Дело должно об этом начаться!..

— Никакого дела не будет,— сказал Мартын Степаныч,— о том просила сама госпожа Ченцова... Губернатор об этом при мне лично рассказывал Ивану Петровичу.

— Спасибо еще и за то, что не хотела совсем погубить несчастного,— произнес с горькой иронией Егор Егорыч,— но куда же он уехал от нее?

— Говорят, что в Петербург.

Егор Егорыч вдруг как бы ожил.

— Если это так,— заговорил он с сильным волнением,— так вот к вам от меня не просьба, нет, а более того, мольба: когда вы приедете в Петербург, то разузнайте адрес Ченцова и пришлите мне этот адрес; кроме того, лично повидайте Ченцова и скажите, что я ему простил и прощаю все, и пусть он требует от меня помощи, в какой только нуждается!

— Не промедлю дня по приезде исполнить ваше поручение и обо всем вас подробно уведомлю,— отвечал на это Пилецкий.

Распростившись после того с своим гостем и пожелав ему спокойной ночи, Егор Егорыч не возвратился в гостиную, а прошел в свою комнату. Сусанна Николаевна, чутким ухом услыхавшая его шаги, тоже оставила гостиную и прошла к нему. По уходе ее gnädige Frau начала расспрашивать Аггея Никитича:

— Вы, вероятно, служите здесь где-нибудь?

— Я здешний губернский почтмейстер,— отвечал он.

— А!..— произнесла многозначительно gnädige Frau.

— И вы всегда по почтовой части служили? — спросил, с своей стороны, Сверстов.

— Нет-с, напротив,— отвергнул Аггей Никитич,— я до этого в военной службе двадцать лет оттрубил.

— Что ж вас заставило покинуть военную службу? — проговорила с некоторым удивлением gnädige Frau, всегда предпочитавшая военных штатским чиновникам, так как сих последних она считала взяточниками.

— Как вам сказать, что заставило,— многое! — отвечал неторопливо и соображающим тоном Аггей Никитич.— Военная служба хороша, когда человек еще молод, любит бывать в обществе и желает нравиться дамам, а я уж женатый... и поэтому, как говорится, ломоть отрезанный; но главнее всего-с,— продолжал он все с большим и большим одушевлением,— служа здесь, я нахожусь в таком недальнем расстоянии от Егора Егорыча, что могу воспользоваться его беседой, когда только он позволит

мне... А это для меня теперь, говорю вам, как перед образом, дороже всего в мире.

При таком откровенном излиянии Зверевым своих чувств доктор и gnädige Frau переглянулись между собою и оба окончательно убедились, что Аггей Никитич в самом деле *ищущий* и *искренно ищущий*. Gnädige Frau, впрочем, по своей точности хотела также доведаться, как собственно Егор Егорыч понимает этого ищущего.

— Вы, может быть, и самое место в почтамте получили по рекомендации Егора Егорыча? — спросила она.

— Конечно, через него!.. А то через кого же? — воскликнул Аггей Никитич.— Словом-с, он мой духовный и вещественный благодетель. Я даже не сумею вам передать, что со мной произошло перед знакомством моим с Егором Егорычем... Я еще прежде того имел счастье встретить семейство Сусанны Николаевны, а потом уж увидел у них Егора Егорыча, и мне показалось, что я прежде ходил и влачился по земле между людьми обыкновенными, но тут вдруг очутился на небе между святыми.

— Вы сохранили этот взгляд до сей поры? — проговорила gnädige Frau.

— До самой могилы сохраню его,— ответил Аггей Никитич,— и скажу даже больше того: вы и ваш супруг мне тоже кажетесь такими,— извините меня за откровенность,— я солдат, и душа у меня всегда была нараспашку!

— Благодарю вас за комплимент,— сказала gnädige Frau, несколько потупляясь.

— Нет-с, это не комплимент,— возразил с настойчивостью Аггей Никитич.

— И я тоже думаю, что не комплимент,— подхватил Сверстов,— и прямо вам скажу, господин почтмейстер, вы не ошиблись: мы с женой такие же!

— И Пилецкий, должно быть, такой же? — подхватил Аггей Никитич.

Gnädige Frau замедлила ответом, но Сверстов, не задумавшись, решил:

— Такой же!

— Но меня в нем одно удивляет,— продолжал Аггей Никитич,— он, ехав со мной сюда, рассказал мне, что есть дружеские кружки каких-то скачущих, прыгающих, и я думаю, что он сам был в этом кружке.

— Это galopants![1] — перевела gnädige Frau.

---

[1] прыгающие! *(франц.)*

— Стало быть, существуют такие кружки? — спросил как бы все еще находившийся в сомнении Аггей Никитич.

— Существуют! — отвечал ему доктор.

— А кто же выше по своему учению: масоны или эти прыгающие? — допытывался Аггей Никитич

— Те и другие одно и то же, потому что мистики! — сказал доктор.

Gnädige Frau при этом неприязненно усмехнулась.

— Есть, мне кажется, между масонами и galopants большая разница,— возразила она,— масонов миллионы, а galopants, я думаю, какая-нибудь тысяча.

— Какая же тысяча, когда в одной России сколько хлыстов насчитывается? — возразил доктор.

— Ах, пожалуйста, не ссылайся ты на всех этих наших хлыстов, поповцев, беспоповцев! — заговорила с явным неудовольствием и как бы забыв свою сдержанность gnädige Frau.— Все они русские плуты, мужики и больше ничего!

— Ну да, немцы только хороши! — пробурчал больше себе под нос Сверстов.

— Без сомнения, немцы! — пробурчала тоже и gnädige Frau.

С течением годов, как известно, в каждом человеке все более и более выясняется его главная сущность. Так случилось и со Сверстовыми. Несмотря на продолжающуюся между ними любовь, весьма часто обнаруживалось однако, что Сверстов был демократический русский мистик, а gnädige Frau лютеранская масонка, рационалистка!

Аггей Никитич слушал спор обоих супругов, как дикий скиф, и, видя, что супруги почти рассердились друг на друга, не позволил себе далее утруждать их своими расспросами.

VIII

На следующий день были именины Егора Егорыча, но они прошли в Кузьмищеве очень тихо и печально. Любя праздновать день своего ангела с некоторою торжественностью, Егор Егорыч делал прежде для дворовых и ближайших крестьян своих пир с водкой и пивом и оделял их подарками, но нынешний раз ничего этого не было. Егор Егорыч даже к обедне не пришел, а была только Су-

санна Николаевна с приехавшими гостями, Пилецким и Зверевым и Сверстовы. Священник, отец Василий, при первом же своем выходе с евангелием из алтаря, заметил отсутствие Егора Егорыча и с явным нетерпением послал дьячка спросить Сусанну Николаевну, почему нет Егора Егорыча. Та ответила причетнику, что Егор Егорыч нездоров и просит отца Василия прийти к нему тотчас после обедни.

Услышав это, отец Василий очень затуманился: от здоровья и жизни Егора Егорыча зависело все его благосостояние, как священника, состоявшего на руге, а потому он заметно стал спешить дослужить обедню. Сусанна Николаевна, впрочем, все-таки не достояла до конца и ушла после *Верую,* а вскоре за ней ушли и Сверстовы, тоже, как видно, удивленные и обеспокоенные тем, что Егора Егорыча не было в церкви. Таким образом, собственно из господ только Мартын Степаныч и Аггей Никитич дослушали обедню, по окончании которой они пошли вдвоем довольно медленной походкой, направляясь к дому, причем увидели, что отец Василий, в своей лисьей шубе и бобровой шапке, обогнал их быстрой походкой и даже едва ответил на поклон Мартына Степаныча, видимо, куда-то спеша.

— Куда это священник так спешит? — проговорил Аггей Никитич.

Мартын Степаныч провел у себя при этом за ухом.

— Может быть, к Егору Егорычу,— сказал он,— я был у него рано поутру и нашел его весьма расстроенным.

— Чем? — спросил с некоторым испугом Аггей Никитич.

— Да, вероятно, тем известием о племяннике, которое я имел неосторожность ему сообщить... Этот нерассудительный Иван Петрович просил меня о том... Я, не подумав, согласился, и так мне теперь это грустно и досадно на себя... Вместо радости привез человеку на именины горе великое...

— Что же это за такое большое горе! — возразил Аггей Никитич.— Ченцов не сын родной Егора Егорыча... Мало ли у кого племянники разводятся с женами... Я, как сужу по себе...

— То-то, что вы по себе не можете судить,— перебил его Мартын Степаныч,— вы еще молоды, а на нас, стариков, все неприятности иначе действуют.

— Без сомнения! — согласился Аггей Никитич, хотя все-таки оставался при убеждении, что Егор Егорыч не должен ничем земным волноваться, а думать только о масонстве, которое он так хорошо знает.

На этой мысли он вошел с Мартыном Степанычем в дом, и они снова увидали отца Василия, который, несколько важно раскланиваясь с встречавшеюся ему прислугою, прошел в комнату Егора Егорыча, куда войдя, поздравил именинника со днем ангела и, подав ему заздравную просфору, благословил его, причем Егор Егорыч поцеловал у отца Василия руку и сказал ему своей обычной скороговоркой:

— Садитесь, отче!

Отче сел и, несмотря на свою совершенную отесанность, проговорил все-таки по-поповски:

— Прихворнули?

— Да,— отвечал Егор Егорыч,— и вот поэтому я так и жаждал вас скорей видеть!.. Сегодня ночью я думал, что жив не останусь, а между тем на мне лежит главнейшее дело моей жизни, не совершив которого я умру неспокойно!.. Я еще прежде вам говорил, что жена моя, по своим мыслям и по своим действиям, давно масонка!.. Но ни она, ни я не желаем ограничиваться этим и хотим, чтобы она была принята в ложу!..

Последние слова Егора Егорыча, видимо, удивили и несколько как бы встревожили отца Василия.

— Но где ж ныне ложи? — спросил он.

— Лож нет, но есть масонство! — возразил ему Егор Егорыч.

— И кроме сего,— продолжал отец Василий,— Сусанна Николаевна женщина...

— Женских, или, лучше сказать, смешанных, лож было много!.. Спросите gnädige Frau,— она была принята в одну из лож!

— Она мне говорила это,— сказал отец Василий,— но то было в Ганновере, а чтобы у нас существовали смешанные ложи, я что-то не помню...

— Были, но не подолгу существовали, потому что вкрадывалось распутство!

— Кроме того, тут, я полагаю, есть еще другое препятствие,— продолжал возражать отец Василий,— какое мы изберем место для совершения обряда принятия?

— Место для этого — ваша церковь и мой дом! — объяснил, начав уже покрикивать, Егор Егорыч.— Весь об-

ряд должен будет произойти следующим образом,— продолжал он, заранее, как видно, все уже обдумавший,— поручителем Сусанны Николаевны будет Сверстов!.. Вас я прошу, как человека умного и масона ученого, быть ее ритором!.. Я же, как не лишенный до сих пор звания великого мастера, исполню обязанности того!..

— Это распределить нетрудно,— произнес в сильном раздумье отец Василий,— но избранное вами место в церкви я нахожу совершенно невозможным... Если бы даже во время процветания масонства я допустил в храме, мною заведоваемом, собрание ложи, то и тогда бы меня по меньшей мере что расстригли...

— Никакого у вас собрания ложи не будет! — возглашал вполголоса Егор Егорыч.— Вы меня не поняли!.. Что главным образом нужно для принятия в масонство?.. Испытание и объяснение ищущему со стороны ритора!.. Положим, что Сусанна Николаевна в ближайший пост пожелает исповедаться,— возможно это?

— Почему ж невозможно?! — ответил отец Василий.

— Прекрасно, прекрасно!.. Больше ничего и не нужно!.. И вы исповедуйте ее, преподайте все, что следует ритору!..

— Без облачения в одежду масона? — пожелал узнать отец Василий.

— Без всяких масонских одежд!.. Это нужно для начинающих, а Сусанна Николаевна, слава богу, достаточный путь прошла: ей нужен внутренний смысл, а не символы!.. Вы испытайте ее как можно строже, и если она достойна будет принятия, удостоверьте это, а если нет, отвергните!

— Но остальная часть обряда где же совершится? — начал было отец Василий.

— У меня, в моей комнате...— перебил его Егор Егорыч.— Я, в присутствии Сверстовых, моего Антипа Ильича и вашем, возьму с нее клятву, и мы внесем ее имя в список нашей ложи!

— Но чтобы люди ваши не разгласили этого. Вы знаете, как они любопытны и болтливы...

— Люди мои ничего и понять не могут!.. Они будут видеть только, что мы сидим и разговариваем!.. Но если бы они и догадались что-нибудь, так разве пойдут на меня с доносом?

— Ваши люди, конечно, к вам привязаны...— проговорил отец Василий нерешительным голосом и затем присо-

вокупил: — Вы извините меня, Егор Егорыч, что я обнаруживаю такую непозволительную для масона трусость, но вам известно, что я вынес за принадлежность мою к масонству.

— Знаю и понимаю! — воскликнул Егор Егорыч.— И неужели вы думаете, что я вас захочу подвести под преследование?.. Чтобы отвратить это, я и изобретаю всякого рода таинственность и замаскированность, хотя скрытность в масонстве мне по моему характеру всегда была противна, но что делать?.. И Христос совершал тайную вечерю!

Выслушав Егора Егорыча, отец Василий заметил:

— Почему же бы и самое испытание Сусанне Николаевне сделать мне не у вас в доме?

Егор Егорыч нахмурился.

— Это — желание самой Сусанны Николаевны: она высоко ценит наши храмы, в которых с детства молилась, и потому только в церкви хочет сделать первый шаг ко вступлению в новую область верования и как бы с благословения нашей церкви!.. Это черта глубокая, не так ли?.. Мы принимаем всех, примем и Сусанну Николаевну, не стесняя нисколько ее верования!..

— Если так, то действительно надобно сделать наставление и поучение в храме,— сказал после краткого размышления отец Василий.

— И сделайте, не робейте!..— бормотал Егор Егорыч.— Возьмем самое дурное предположение, что вас за совершение масонского обряда лишили бы вашего сана, то — вот вам бог порукой — я обеспечиваю вас и вашу семью на всю вашу жизнь; верите вы мне?

— Без сомнения, верю! — проговорил с просиявшим лицом отец Василий.— Когда существование семьи моей, хоть бы и маленькими средствами, будет обеспечено, то мне, как масону, гнаться за иерархическими титулами не подобает.

— Не подобает, нет! — воскликнул Егор Егорыч.— Итак, я могу на вас рассчитывать?

— Вполне!— ответил отец Василий и стал прощаться с Егором Егорычем.

— Отобедали бы вы у меня, там есть и другие гости! — сказал тот.

— Нет, мне надобно еще с требой ехать! — объяснил отец Василий и, не заходя к Сусанне Николаевне, отправился домой.

Собственно говоря, я, как автор, не думаю, чтобы сей весьма просвещенный, способный и честолюбивый служитель алтаря был в корень искренним масоном. Все зависело от духа времени, в которое отец Василий выступил на свое священническое служение. Это было как раз в пятнадцатом году, когда масонство было в периоде своего сильного процветания. Все почти богатые и знатные дворяне были, хоть и внешним образом, но масоны; даже многие архиереи, если не прямо, то косвенно склонялись к масонству. Мудрено ли после того, что молодой бакалавр схватился за масонство, изучил его, а потом вскоре же был назначен священником в Москву в один из богатейших и обильнейших дворянством приход, а вместе с тем он был принят в ложу ищущих манны, где, конечно уж, лучше всех, вероятно, знакомый с мистической философией и приученный еще с школьнической скамейки к риторическому красноречию, он стал произносить в собраниях ложи речи, исполненные энергии и учености. Так дело шло до начала двадцатых годов, с наступлением которых, как я уже сказал и прежде, над масонством стали разражаться удар за ударом, из числа которых один упал и на голову отца Василия, как самого выдающегося масона из духовных лиц: из богатого московского прихода он был переведен в сельскую церковь. Отец Василий пал духом и стал пить. Совершенная погибель его была почти несомненна: его часто видали, как он с растрепанными волосами, в одной рубахе, босиком крался по задним огородам в кабак, чтобы затушить и успокоить свое похмелье; ходя с крестом по деревням, он до такой степени напивался, что не мог уже стоять на ногах, и его обыкновенно крестьяне привозили домой в своих почти навозных телегах. Но тут к нему явился ангел-спаситель в лице Егора Егорыча, который взял его к себе в Кузьмищево на ругу, где окружил его довольством и почетом. Отец Василий сразу же перестал пить и начал заниматься сочинением истории масонства в России.

В гостиной тем временем тоже происходило своего рода совещание между Сусанной Николаевной, Мартыном Степанычем и Аггеем Никитичем.

Та, выйдя из комнаты мужа, поспешила к гостям, и Мартын Степаныч прямо ей сказал:

— Сусанна Николаевна, после принесенного мною неприятного известия Егору Егорычу, вам, конечно, уж

не до нас, а потому не разрешите ли вы нам сейчас же уехать?

— Ах, нет, зачем же? — возразила было Сусанна Николаевна.

— Затем, что нам следует это сделать... Егор Егорыч поручил мне разузнать в Петербурге о нежно любимом им племяннике, и чем я скорее это сделаю, тем скорей его успокою...

— Но я не знаю, что скажет на это Егор Егорыч,— объяснила нерешительным тоном Сусанна Николаевна.

— Он ничего не скажет против этого, он поймет мое желание,— убеждал ее Мартын Степаныч.

В это время Сусанна Николаевна опять тоже своим чутким ухом услыхала, что отец Василий вышел от Егора Егорыча и, должно быть, совсем ушел.

— Вот я спрошу мужа,— проговорила она и, проворно войдя к тому, сказала:

— Мартын Степаныч, видя, что ты так расстроен, и желая тебя успокоить скорее, хочет сегодня уехать в Петербург.

— Нисколько я не расстроен, нисколько! — заперся Егор Егорыч.— Попросите ко мне Мартына Степаныча, а также и Аггея Никитича.

Сусанна Николаевна позвала того и другого.

Мартын Степаныч вошел первый и произнес своим вкрадчивым голосом:

— Милый друг, позвольте мне поправить мою погрешность, что я так неосторожно рассказал вам о племяннике, который, может быть, нисколько не виноват, и не удерживайте меня от немедленного отъезда в Петербург.

— Поезжайте, благодарю, благодарю! — бормотал Егор Егорыч.

У обоих стариков при этом навернулись слезы.

— Позвольте и мне тоже проститься с вами,— произнес печальным и вместе с тем каким-то диким голосом Аггей Никитич: он никак не ожидал, что так скоро придется ему уехать из Кузьмищева.

— Вы-то зачем уезжаете?.. Вы оставайтесь!..— пробормотал ему Егор Егорыч.

Аггей Никитич уж и расцвел, готовый хоть на неделю еще остаться, но Мартын Степаныч покачал ему укоризненно головой, давая тем знать, что нельзя гостить, когда хозяевам вовсе не до гостей. Аггей Никитич понял это.

— Нет, разрешите и мне, я их должен довезти! — проговорил он, показывая на Мартына Степаныча.— Но позвольте мне, когда я назад поеду через месяц, заехать к вам.

— Непременно, непременно! — затараторил Егор Егорыч и с чувством расцеловался с Аггеем Никитичем, который совершенно ожил от одной мысли, что он через непродолжительное время снова может приехать в Кузьмищево.

Сусанна Николаевна никак, однако, не хотела пустить гостей без обеда и только попросила gnädige Frau, чтобы поскорей накрыли стол. Та этим распорядилась, и через какие-нибудь полчаса хозяйка, гости ее и Сверстовы сидели уже за именинной трапезой, за которую сам именинник, ссылаясь на нездоровье, не вышел.

По окончании обеда Мартын Степаныч и Аггей Никитич сейчас же отправились в путь. Проехать им вместе приходилось всего только верст пятнадцать до первого уездного города, откуда Пилецкий должен был направиться по петербургскому тракту, а Аггей Никитич остаться в самом городе для обревизования почтовой конторы. Но, как ни кратко было время этого переезда, Аггей Никитич, томимый жаждой просвещения, решился воспользоваться случаем и снова заговорил с Мартыном Степанычем о трактате Марфина.

— Я сочинение Егора Егорыча о самовоспитании,— начал он,— вчера ночью снова прочитал и очень благодарен вам за ваши наставления; я гораздо в нем более прежнего понял, и мне теперь очень любопытно одно: кто такой господин Бем, о котором там тоже часто упоминается?.. Философ он, вероятно?

У Мартына Степаныча пробежала на губах небольшая усмешка

— Философ, и даже можно его назвать родоначальником мистического учения.

— А, вот он кто! — произнес с уважением Аггей Никитич.— Но кто он родом, не из русских?

Мартын Степаныч опять незаметно улыбнулся.

— Нет, тевтон, германец из Герлица, и главным образом в нем великого удивления достойно то, что он, будучи простым крестьянином и пася в поле стада отца своего, почти еще ребенком имел видения.

— Но все-таки он учился потом? — спросил Аггей Никитич.

— Учился, конечно, в деревенской школе читать и писать, после чего поступил в ученье к сапожному мастеру.

— Но как же, однако, он вдруг сделался философом?

— А так, сам собою, — объяснил с полуулыбочкой Мартын Степаныч,— захотел да и сделался за свою кроткую и богомольную жизнь философом, и, как определяют некоторые из его современников, проповедь его состояла не в научных словесех человеческих, а в явлениях духа и силы, ниспосылаемых ему свыше.

— А когда и давно ли он жил? Может быть, в одно время с апостолами? — проговорил Аггей Никитич.

— Нет, позднее! — продолжал с прежним слегка насмешливым выражением в лице Мартын Степаныч. — Он жил в XVI столетии, но, подобно тем, несмотря на свои постоянные материальные труды, был введен в такую высокую, людьми отвергаемую школу святого духа, что почти постоянно был посещаем видениями, гласами и божественным просвещением. Характерный в отношении этом случай рассказывают про Бема. Однажды он после продолжительного мистического бодрствования, чтобы рассеять себя, вышел из дому и направился в поле, где почувствовал, что чем далее он идет, тем проницательнее становится его умственный взор, тем понятнее ему делаются все видимые вещи, так что по одним очертаниям и краскам оных он начал узнавать их внутреннее бытие. Словом, чтобы точнее определить его душевное состояние, выражусь стихами поэта: «И внял он неба содроганье, и горних ангелов полет, и гад земных подводный ход, и дольней лозы прозябанье!» Точно в такой же почти сверхъестественной власти у Бема были и языки иностранные, из которых он не знал ни единого; несмотря на то, однако, как утверждал друг его Кольбер, Бем понимал многое, когда при нем говорили на каком-нибудь чужом языке, и понимал именно потому, что ему хорошо известен был язык натуры. Желая, например, открыть сущность какой-нибудь вещи, он часто спрашивал, как она называется на языке еврейском, как ближайшем к языку натуры, и если сего названия не знали, вопрошал о греческом имени, а если и того не могли ему сказать, то спрашивал уже о латинском слове, и когда ему нарочно сказывали не настоящее имя вещи, то Бем по наружным признакам угадывал, что имя этой вещи не таково.

Слушая все это, Аггей Никитич невольно впадал в за-

висть от мысли, что совершенно необразованный человек мог понимать такие возвышенные предметы.

— И Бем написал много сочинений? — спросил он.

— Много, которые еще во время жизни его были переводимы и известны в Голландии и в Англии...

— А в Германии он, я думаю, гремел?.. — воскликнул Аггей Никитич.

— Известность его, кажется, была велика и на родине, но, по изречению: «не славен пророк в отечестве своем»,— там же терпел он и гонения.

— От кого? — спросил с гневом в голосе Аггей Никитич.

— Конечно, от духовенства! Господин обер-пастор города Герлица Рихтер восстал на сочинение Бема, называемое «Аврора», за то, что книга эта стяжала похвалы, а между тем она была написана простым сапожником и о предметах, непонятных даже людям ученым, значит, толковала о нелепостях, отвергаемых здравым смыслом, и господин пастор преследование свое довел до того, что Бем был позван на суд в магистрат, книга была у него отобрана и ему запрещено было писать; но, разумеется, хоть и смиренный, но в то же время боговдохновляемый Бем недолго повиновался тому. Тогда пастор настоял, чтобы граждане Герлица изгнали Бема из его родного города.

— Ах он негодяй! — воскликнул Аггей Никитич. — Но в Польше, скажите, Бем был уважаем? — добавил он, желая знать, как понимали Бема до сих пор еще любезные сердцу Аггея Никитича польки и поляки.

— Не думаю! — отвечал Мартын Степаныч.— Поляки слишком искренние католики, хотя надо сказать, что во Франции, тоже стране католической, Бем нашел себе самого горячего последователя и самого даровитого истолкователя своего учения, — я говорю о Сен-Мартене.

Аггей Никитич, не желая прерывать Мартына Степаныча, притворился, что он знает, кто такой Сен-Мартен, а между тем сильно навострил уши, чтобы не проронить ни одного слова из того, что говорил Пилецкий.

— И этот Сен-Мартен,— продолжал тот,— вот что, между прочим, сказал: что если кто почерпнул познания у Бема, считаемого мудрецами мира сего за сумасшедшего, то пусть и не раскрывает никаких других сочинений, ибо у Бема есть все, что человеку нужно знать!

— Сен-Мартен также, вероятно, был из мужиков? — заметил Аггей Никитич.

— Напротив, он был весьма просвещенный офицер, спиритуалист по натуре, веривший в предчувствия, в сомнамбулизм, склонный к теозофии и мистицизму. Вступив в масонскую ложу в Бордо, Сен-Мартен собственно и положил основание учению мартинистов.

— И что же, учение это очень важное? — как бы гудел уже своим голосом Аггей Никитич.

— В Европе не утверждаю, чтобы оно было знаменательно, но у нас — да! — оно если не обширно, то весьма прочно распространилось, что доказывается тем, что все московские масоны — мартинисты!

— И Егор Егорыч поэтому мартинист? — прогудел Аггей Никитич.

— И он, хотя в молодости своей, сколько мне это известно, был розенкрейцер, но потом, после знакомства своего с учением православных аскетов, он перешел к мартинистам.

На этом месте разговор по необходимости должен был прерваться, потому что мои путники въехали в город и были прямо подвезены к почтовой станции, где Аггей Никитич думал было угостить Мартына Степаныча чайком, ужином, чтобы с ним еще побеседовать; но Пилецкий решительно воспротивился тому и, объяснив снова, что он спешит в Петербург для успокоения Егора Егорыча, просил об одном, чтобы ему дали скорее лошадей, которые вслед за громогласным приказанием Аггея Никитича: «Лошадей, тройку!» — мгновенно же были заложены, и Мартын Степаныч отправился в свой неблизкий вояж, а Аггей Никитич, забыв о существовании всевозможных контор и о том, что их следует ревизовать, прилег на постель, дабы сообразить все слышанное им от Пилецкого; но это ему не удалось, потому что дверь почтовой станции осторожно отворилась, и пред очи своего начальника предстал уездный почтмейстер в мундире и с лицом крайне оробелым.

— Ваше высокородие, Аггей Никитич, — произнес он, держа руки по швам,— не окажете ли мне благодеяние остановиться не здесь, а у меня в доме?

Почтмейстер этот выслужился из почтальонов.

— Нет-с, это будет неблаговидно, — отвечал ему резко Аггей Никитич, поднимаясь с постели.

Почтмейстер еще более оробел.

— Прошу вас! — добавил Аггей Никитич, помещаясь на стуле возле стола и движением руки приглашая то же сделать и почтмейстера.

Тот сел; руки у него при этом ходили ходенем, да и не мудрено: Аггей Никитич, раздосадованный тем, что был прерван в своих размышлениях о Беме, представлял собою весьма грозную фигуру. Несмотря на то, однако, робкий почтмейстер, что бы там ни произошло из того, решился прибегнуть к средству, которое по большей части укрощает начальствующих лиц и делает их более добрыми.

— Контора у меня здесь маленькая и совершенно безвыгодная,— начал он,— но, считая себя виноватым, что не приехал к вам в губернский город представиться, и как супруга ваша справедливо мне приказывала через почтальона, что она и вы очень обижаетесь, что все мы, почтмейстера, точно будто бы знать не хотим своего начальника, но видит создатель, что это я по робости моей сделал и что я готов с полным моим удовольствием исполнить всегда, что следует...— И, не объясняя более, почтмейстер выложил затем на стол сто рублей.

Что произошло при этом с Аггеем Никитичем, описать невозможно, и его главным образом точно кнутом хлестнули по уху слова почтмейстера: «супруга ваша приказывала с почтальоном».

В первые минуты он сообразил только отшвырнуть от себя деньги и проговорил со спазмами в голосе:

— Возьмите это назад и не смейте никогда обращаться ко мне с такими приношениями!.. Я человек военный, а не...

Почтмейстер, однако, не брал денег, предполагая, что, может быть, он мало преподнес начальнику.

— Берите, говорят вам, ваши деньги назад! — проревел Аггей Никитич, ударив кулаком по столу, так что стол раскололся.

Почтмейстер схватил деньги и кое-как засунул их себе за борт мундира.

К довершению этой сцены, дверь почтовой станции снова отворилась, и показался господин весьма приличной наружности, должно быть, из отставных военных.

— Кто вы такой? — спросил его тем же грозным тоном не помнивший себя от гнева Аггей Никитич.

— Я-с помещик здешний и содержатель нескольких почтовых станций! — отвечал тот ему, не сконфузясь.

— Но что вам угодно? — продолжал Аггей Никитич.

— Мне угодно объясниться с вами, — отвечал помещик, садясь без приглашения хозяина на стул,— супруга ваша поручала одному моему ямщику передать моему почтовому старосте, что вы недовольны той платой, которую

мы, почтосодержатели, платили прежнему господину почтмейстеру, то есть по десяти рублей с дуги, и желаете получать по пятнадцати! Плата такая, говорю вам откровенно, будет для всех нас обременительна!..

Аггей Никитич окончательно был пришиблен тем, что услышал, и мог только, трагически захохотав, проговорить:

— Все это, господа, одно вранье ваших почтальонов и ямщиков. Поверьте, я служу из чести, и мне не нужно ни от вас,— обратился он к почтмейстеру,— ни от вас, господин почтосодержатель, ни десяти, ни двадцати рублей, ни даже ста тысяч и потому прошу вас удалиться и оставить меня!

Почтмейстер и почтосодержатель переглянулись между собой после того и, кажется, одновременно подумали, что господин губернский почтмейстер, должно быть, был сильно выпивши, что отчасти подтверждалось и тем, что Аггей Никитич был красен в лице, как вареный рак; но, как бы ни было, они раскланялись с ним и ушли. Аггей же Никитич позвал к себе почтового смотрителя и велел ему подать себе самой холодной воды. Смотритель принес ему таковой целый ковш. Аггей Никитич стал в этой воде помачивать свой носовой платок и класть его, как компресс, на голову. Смотритель ушел от него тоже, кажется, с уверенностью, что господин губернский почтмейстер был маленько в загуле и что это теперь у него голова болит.

Аггей Никитич, оставшись один, проговорил сам с собой:

— Супруга моя — вот какова у меня оказалась! Вот она какая!.. Людмила Николаевна не была бы, я думаю, такая!

IX

Совершить прием Сусанны Николаевны в ложу между моими кузьмищевскими масонами положено было в половине филипповского поста, и посвящение это произошло гораздо торжественнее, чем предполагалось. Часов в десять вечера в одну из суббот Сусанна Николаевна должна была доехать на лошади, заложенной в одиночку, вместе с своим поручителем Сверстовым до церкви, отстоящей от дому, по крайней мере, в полуверсте. Однако, сойдя с лестницы, Сусанна Николаевна объявила решительным голосом, что она желает идти пешком.

— Но посмотрите, какая вьюга и темь! — возразил было ей Сверстов.

— Это и хорошо, пойдемте! — настаивала Сусанна Николаевна и пошла.

Доктор последовал за ней.

Вьюга действительно была сильна. Сверстов, здоровый и крепкий еще мужчина, чувствовал, что ветер чуть не сшибал его с ног, колючий снег слепил ему глаза. Он хотел было, по крайней мере, подать Сусанне Николаевне руку; но она и от того отказалась, проговорив кротким голосом:

— Вы мой поручитель, но не путеводитель.

Сверстов почесал у себя в затылке. «Ну, у этого прелестного существа, кроме бодрого духа, и ножки крепкие»,— подумал он и в этом еще более убедился, когда Сусанна Николаевна на церковном погосте, с его виднеющимися повсюду черными деревянными крестами, посреди коих высились два белые мраморные мавзолея, стоявшие над могилами отца и матери Егора Егорыча, вдруг повернула и прямо по сумету подошла к этим мавзолеям и, перекрестившись, наклонилась перед ними до земли, а потом быстро пошла к церкви, так что Сверстов едва успел ее опередить, чтобы отпереть церковную дверь, ключ от которой ему еще поутру принес отец Василий. Внутри храма было почти совсем темно. Светились всего только три или четыре красного стекла лампадки перед местными иконами. Сверстову, опять-таки повторяю, человеку вовсе не слабонервному, сделалось если не страшно, то как-то неприятно.

— Вы, конечно, помолитесь, пока придет отец Василий, — сказал он, торопливо пододвигая Сусанне Николаевне стул, на который она и опустилась.

— Да,— проговорила она,— но я еще прежде должна остаться одна в церкви, и вы пока уйдите отсюда совсем!

— Но, Сусанна Николаевна... — начал было Сверстов.

— Мне бы теперь,— продолжала она, не слушая его,— следовало по ритуалу иметь повязку на глазах; но я не хочу того. Уйдите, Сверстов!

Сусанна Николаевна с умыслом пожелала не иметь повязки на глазах, потому что остаться с открытыми глазами в полутемном храме было, как ей думалось, страшнее; а она этого именно и желала, чтобы испытать свою волю. Сверстов не ушел, впрочем, совсем из церкви, а удалился только ко входным дверям ее. Сусанна Николаевна услышала это и повторила ему еще раз, и недовольным голосом:

— Уйдите, Сверстов!

Доктор, делать нечего, повиновался ей и проворно пошел к священнику, чтобы тот, по крайней мере, шел скорее к Сусанне Николаевне. Он это весьма благоразумно сделал, ибо едва только Сусанна Николаевна осталась одна в храме, как одушевлявшая ее энергия не то что оставила ее, но превратилась в какой-то трепет во всем теле. Сусанна Николаевна чувствовала, что у нее вся кровь бросилась в голову. Сначала она держала глаза потупленными вниз, боясь на что-нибудь окружающее взглянуть; потом подняла их вверх, и ей сразу же представилось, что в туманной высоте церковного свода летают какие-то бледные крылатые существа, которых она приняла за ангелов. Сусанна Николаевна опустила глаза вниз, на местные иконы иконостаса, но тут она почти въявь увидела, что божия матерь во имя всех скорбящих, написанная во весь рост в короне и со скипетром, движется и как бы идет к ней; что Христос на кресте поднял свою склоненную голову и обратил на нее кроткий взгляд свой. Сусанна Николаевна взглянула затем на темные церковные окна, где ей тоже местами показались, хотя довольно бледные, но уже огненные и злые лица, которых Сусанна Николаевна сочла за дьяволов и которые были, вероятно, не что иное, как отблеск в стеклах от светящихся лампадок. Словом, с Сусанной Николаевной происходил припадок религиозной галлюцинации, к которой она была с детства наклонна, и хорошо еще, что в это время довольно шумно вошли в церковь отец Василий и Сверстов. Последний прямо подошел к Сусанне Николаевне, взял ее за руку и, пощупав пульс, проговорил:

— Ну, что?.. Ничего?..

— Ничего, — ответила Сусанна Николаевна тихим голосом.

— Поспешите отпустить ее из церкви, у нее пульс бил по полутораству раз в минуту, — шепнул доктор отцу Василию.

— Бог милостив, все совершится благополучно, — ответил ему тот тоже шепотом.

Сверстов ушел из церкви, но все-таки сел на паперти из опасения, чтобы не случилось чего с прелестным существом.

Отец Василий, оставшись вдвоем с Сусанной Николаевной, прежде всего сказал ей:

— Крепитесь, бог за вас!

— Я креплюсь, — проговорила Сусанна Николаевна.

Отец Василий после того, засветив восковую свечку, прошел за стоявшие в одном из церковных углов исповедальные ширмы, где что-то такое покопошился, и потом, выглянув из-за ширм, сказал Сусанне Николаевне:

— Пожалуйте сюда!

Она вошла и увидала отца Василия не в епитрахили, как обыкновенно священники бывают на исповеди, но в белом запоне и с орденом на груди. Несмотря на свою осторожность, отец Василий не выдержал и облекся в масонские доспехи, чем чрезвычайно осталась довольна Сусанна Николаевна, и когда он благословил ее, то она с горячим чувством поцеловала его руку.

— Станьте вот тут, против налоя! — сказал ей отец Василий.

Сусанна Николаевна встала. На налое этом были положены череп, берцовые кости, жестяная ветка акации и раскрытая библия.

Облокотившись и наклонившись несколько на налой, отец Василий начал говорить:

— Как христианку, я, будучи отцом вашим духовным, знаю вас и стану с вами беседовать, как со страждущей и ищущей. Егор Егорыч, может быть, говорил вам о краеугольном камне, на коем основан и утвержден наш орден...

— Говорил,— отвечала тихо Сусанна Николаевна,— это — хранение некоторых важных тайн.

Отец Василий истовым наклонением головы одобрил сказанное ею.

— И потому цель каждого масона?.. — протянул он несколько свой вопрос.

— В познании и сохранении этих тайн, — проговорила Сусанна Николаевна.— Но в чем состоят они, Егор Егорыч мне не открыл,— присовокупила она.

— Он и не мог их вам открыть, — заметил отец Василий. несколько потупляя свои глаза. — Я тоже, хоть и ритор ваш, но имею право объяснить вам лишь одно, что они исходят издревле, из первозданного рая, который до грехопадения человека был озаряем совершенно иным светом, чем ныне мы озаряемы, и при свете этом человеку были ведомы вся тварная природа, он сам и бытие бога; после же склонения человека к своей телесной природе свет этот померк, а вместе с тем человек утратил и свои познания; но милосердый бог не оскудел совсем для него в своей благости. Он по временам возжигал сей райский

луч в умах и сердцах людей, им излюбленных. Так, этот свет нисходил на Ноя, на некоторых патриархов, на Иосифа-пустынножителя, положившего в сооруженном им мемфисском храме смарагдовую таблицу с начертанием в ней оснований символического учения о высшем таинстве; хранилось потом это учение у магов, и, переходя путем преемства, хранится оно и у масонов.

— Неужели оно может быть открыто и мне? — спросила с трепетом в голосе Сусанна Николаевна.

— Как и всякому масону, если вы долговременным и прилежным очищением себя приуготовитесь к тому. Орден наш можно уподобить благоустроенному воинству, где каждый по мере усердия и ревности восходит от низших к высшим степеням. Начальники знают расположение и тайну войны, но простые воины обязаны токмо повиноваться, а потому число хранителей тайны в нашем ордене было всегда невелико.

— А вы, отец Василий, и муж мой знаете уж эту тайну? — спросила наивно Сусанна Николаевна.

Отец Василий при этом несколько смутился, но постарался улыбнуться.

— На этот вопрос вам можно будет ответить, когда вы сами удостоитесь узнать хотя часть этих тайн, а теперь могу вам объяснить одно, что я и тем более Егор Егорыч, как люди, давно подвизающиеся в масонстве, способны и имеем главной для себя целью исправлять сердца ищущих, очищать и просвещать их разум теми средствами, которые нам открыты, в свою очередь, нашими предшественниками, тоже потрудившимися в искании сего таинства.

— Но какие это средства, святой отец? — спросила Сусанна Николаевна, возведшая уже отца Василия в святые.

— Средства эти начертаны в катехизисе и вообще в правилах масонских, которые я вам передам вкратце, и прошу только запомнить их. Первое: вы должны быть скромны и молчаливы, аки рыба, в отношении наших обрядов, образа правления и всего того, что будут постепенно вам открывать ваши наставники; второе: вы должны дать согласие на полное повиновение, без которого не может существовать никакое общество, ни тайное, ни явное; третье: вам необходимо вести добродетельную жизнь, чтобы, кроме исправления собственной души, примером своим исправлять и других, вне нашего общества находящихся людей; четвертое: да будете вы тверды, мужественны, ибо человек только этими качествами может с успехом

противодействовать злу; пятое правило предписывает добродетель, каковою, кажется, вы уже владеете,— это щедрость; но только старайтесь наблюдать за собою, чтобы эта щедрость проистекала не из тщеславия, а из чистого желания помочь истинно бедному; и, наконец, шестое правило обязывает масонов любить размышление о смерти, которая таким образом явится перед вами не убийцею всего вашего бытия, а другом, пришедшим к вам, чтобы возвести вас из мира труда и пота в область успокоения и награды. Вот и все-с, высокопочтенная Сусанна Николаевна! А теперь поцелуемтесь нашим братским поцелуем, — заключил отец Василий и поцеловался с Сусанной Николаевной, однократно лишь приложив свою щеку к ее щеке.

Сколь ни внимательно Сусанна Николаевна слушала отца Василия, тем не менее в продолжение всего наставления взглядывала то вверх, под купол, то на темные окна храма, и ей представилось, что в них больше не видно было огненных злых рож, но под куполом все как бы сгущались крылатые существа. Когда, наконец, она вышла из храма, в сопровождении отца Василия, то еще слава богу, что предусмотрительный Сверстов перед тем сбегал в усадьбу и приехал оттуда на лошади в санях, в которые Сусанна Николаевна, совсем утомленная и взволнованная, села. Рядом с нею поместился отец Василий, и Сверстов что есть духу погнал лошадь к дому. Воздух мало оживил Сусанну Николаевну; галлюцинация с ней продолжалась: в полумраке кипящей вьюги она все-таки видела сопровождавших ее крылатых существ, а там вдали, на западе, слабо мерцали огненные лица, исчезающие одно за другим.

В доме в это время шли большие хлопоты. Егор Егорыч, предполагавший вначале совершить прием Сусанны Николаевны в ложу без всякой обрядности, когда приблизился момент этого исполнения, проникся совершенно иными желаниями. Местом для ложи он избрал большую гостиную, потом предложил gnädige Frau и Антипу Ильичу принять звание надзирателей, а последнему, сверх того, поручил быть обрядоначальником. Gnädige Frau не преминула, конечно, принести и разложить в гостиной свой ковер. Антип же Ильич, по указаниям Егора Егорыча, устроил на небольшом мраморном столике что-то вроде жертвенника, с положенными на него углем и раскрытою библией, а также и с поставленною спиртовою зажженною

лампою. Кроме того, Антип Ильич, едва осиливая, вдвинул в гостиную стул великого мастера, уже лет пятнадцать, кажется, им хранимый в каморке около своей комнаты. Устроив все это, Егор Егорыч, gnädige Frau и Антип Ильич облеклись в белые запоны, ордена и знаки, каждому свойственные, а равно надели белые перчатки. Егор Егорыч, рассчитав, что Сусанна Николаевна скоро должна воротиться из церкви, встал около стула великого мастера и спросил:

— Брат-надзиратель, который теперь час?

— Теперь полночь! — ответила gnädige Frau, как принявшая на себя обязанности первого надзирателя.

Егор Егорыч. Где место великого мастера?

Gnädige Frau. На востоке!

Егор Егорыч. Почему так?

Gnädige Frau. Потому что солнце начинает течение свое с востока, так и высокопочтенный мастер должен быть на востоке, дабы освещать ложу, управлять ею и распределять работу братьям — свободным каменщикам!

Егор Егорыч. Где место братьев-надзирателей?

Gnädige Frau. На западе, чтобы повиноваться достопочтенному мастеру!

— Ложа открыта! — произнес в заключение Егор Егорыч, возводя глаза к небу и ударив два раза масонским молотком, после чего последовал легкий стук в заранее запертую дверь гостиной.

Егор Егорыч. Второй брат-надзиратель, спросите, кто это стучится?

Антип Ильич (с чувством благоговения). Это стучится ищущая с ее ритором.

Егор Егорыч. Отворите дверь ложи!

Антип Ильич отпер дверь и, приотворив ее немного, произнес:

— Наше проходное слово?

— Габаон! — ответил ему отец Василий и, войдя первый, сказал:

— Ищущая достойна быть принята!

А потом, увидав, что все были в запонах, и сам поспешив надеть таковой же, стал в недальнем расстоянии от великого мастера. Появившаяся вслед за ним Сусанна Николаевна, видимо, употребляла все усилия над собой, чтобы не поддаться окончательному физическому и нравственному утомлению.

— Милый друг мой,— воскликнул Егор Егорыч, выскочивший из роли великого мастера,— отдохните и успокойтесь!

У Сусанны Николаевны при звуках его голоса снова воскресла ее нервная энергия.

— Я не утомлена и готова к продолжению обряда,— сказала она.

Сверстов же, заглянув в ложу, побежал в свою комнату, чтобы надеть тоже белый запон.

Gnädige Frau и Антип Ильич продолжали стоять, не отходя, на западе, почти в позе часовых.

— Мой милый друг,— произнес Егор Егорыч, опять-таки не выдержавший своей роли,— приблизьтесь ко мне!

Сусанна Николаевна приблизилась.

— Ваши мужественные поступки, Сусанна Николаевна,— продолжал Егор Егорыч дрожащим голосом,— и благое о нас, масонах, понятие удостоверяют меня, что не свойственное женщинам любопытство, не детское вещей воображение руководит вами и заставляет вас стремиться поступить в наши сочлены, но чувства более серьезные, ценя которые, мы спешим вас принять в наше братство. Господин секретарь, внесите имя Сусанны Николаевны в список членов нашей ложи!

Секретарем оказалась gnädige Frau, которая и исполнила это приказание великого мастера.

— А вы, Сусанна Николаевна, прочтите масонскую клятву и подпишите ее! — заключил Егор Егорыч, подавая ей исписанный листок бумаги, который Сусанна Николаевна и прочла громким голосом:

«Я, Сусанна Николаевна Марфина, обещаюсь и клянусь перед всемогущим строителем вселенной и перед собранными здесь членами сей достопочтенной ложи в том, что я с ненарушимою верностью буду употреблять все мои способности и усердие для пользы, благоденствия и процветания оной, наблюдать за исполнением законов, порядком и правильностью работ и согласием членов сей ложи между собою, одушевляясь искреннейшею к ним любовью. Да поможет мне в сем господь бог и его милосердие. Аминь!»

— Подпишитесь! — едва имел силы от полноты чувств проговорить Егор Егорыч.

Gnädige Frau подала Сусанне Николаевне чернильницу, и та подписалась. Затем начался полнейший беспо-

рядок в собрании. Сусанна Николаевна упала в объятия мужа и плакала. Он тоже плакал. Ворвался в собрание Сверстов, успевший, наконец, отыскать и надеть свой белый запон; он прежде всего обеспокоился, не случилось ли чего-нибудь с Сусанной Николаевной, и, видя, что ничего, шепнул жене:

— А трапеза любви будет?

— Будет; все уж, вероятно, готово,— ответила ему gnädige Frau и хотела было пойти узнать, накрывают ли ужин, забыв совершенно, что она была в запоне и даже с значком на груди; но Антип Ильич остановил ее:

— Ложу, сударыня, надобно прежде закрыть!

— Ах, да, это правда! — отозвалась gnädige Frau и, подойдя к Егору Егорычу, шепнула ему: — Пора ложу закрывать!

— Пора, пора! — пробормотал Егор Егорыч и, отстранив несколько от себя Сусанну Николаевну, принял приличную для великого мастера позу и заговорил:

— Хотя по необходимости и пропущено много обрядов, но прием, полагаю, совершился: суть в сути, а не в феноменах, и потому нам остается довершить последнее. Брат-обрядоначальник, уберите и сохраните ковер и погасите все свечи, кроме спиртовой лампы!

Антип Ильич хотя и медленно, но сделал это, после чего Егор Егорыч, подняв начальническим образом голову, провозгласил:

— Приглашаю вас, братья, приблизиться к жертвеннику и составить цепь, нас связующую!

Все братья окружили жертвенник, и Егор Егорыч прочел молитву:

«Благословение небес да снидет на нас и на всех истинных каменщиков, и да украсит оно и обновит нас всеми нравственными и общественными добродетелями!»

— Аминь! — воскликнули на это братья в один голос, а Егор Егорыч в заключение произнес:

— Благодарю вас, любезные братья, за вашу сегодняшнюю работу и прошу впредь продолжать таковую.

В ответ на это раздалось троекратное рукоплескание со стороны братьев; затем они принялись снимать с себя ордена, знаки, запоны, которые Антип Ильич старательно прибирал, имея при этом, несмотря на всю свою кротость, недовольное и печальное лицо: такой скомканный прием Сусанны Николаевны в масонство казался ему просто кощунством. Когда потом со всеми собранными масонскими

нарядами входил он в свою комнатку, чтобы их там пока убрать, то его остановила Фадеевна.

— Свершилось? — спросила она голосом, исполненным благоговения.

— Свершилось! — ответил ей тоже в тон Антип Ильич.

Затем все сошлись в столовой к трапезе, уставленной кушаньями и вином.

— Агапа! — сказал отец Василий, садясь рядом с Сверстовым и показывая ему на роскошно убранный стол.

— Да, по обычаю древних христиан, вечеря любви! — подхватил тот.

К концу ужина, когда отец Василий и Сверстов порядочно подвыпили винца, то сей последний воскликнул:

— Неужели мы не пропоем нашей песни?

— Пропоем! — ответил ему Егор Егорыч и при этом выпил даже полстакана вина.

— Пропоемте! — отозвалась и Сусанна Николаевна своим мелодическим голосом.

— Нужно это! — решила gnädige Frau и села за фортепьяно.

Заиграла она очень знакомый мотив с необыкновенною правильностью, так что когда запели ее собратья, то стали сильно с ней расходиться. Говоря откровенно, с некоторым уменьем пели только Сусанна Николаевна — очень, впрочем, слабым голосом — и отец Василий, владевший хорошим баритоном и приученный к пению.

Петая ими песня гласила:

Любовь, душа всея природы,
Теки сердца в нас воспалить,
Из плена в царствие свободы
Одна ты можешь возвратить.
Когда твой ясный луч сияет,
Масон и видит, и внимает.
Ты жизнь всего, что существует;
Ты внутренний, сокрытый свет:
Но тот, кто в мире слепотствует,
Твердит: «Любви правдивой нет!»

Отец Василий не ошибся, предполагая, что совершение обряда принятия Сусанны Николаевны в ложу будет замечено прислугою, среди которой действительно произошла большая сумятица. Горничная и молодые лакеи сначала старались из наугольной подсмотреть в дверную щелку на то, что делалось в гостиной. Не довольствуясь этим, некоторые из них убежали в сад, влезли на балкон

и оттуда смотрели в гостиную. Старая горничная Юлии Матвеевны, Агапия, предобрая, преглупая и прелюбопытная, принимала большое участие в этом подглядывании; но когда господа сели за ужин и запели, она не выдержала, побежала наверх и разбудила Юлию Матвеевну.

— Матушка-барыня, у нас сегодня баря-то все ряженые были, и Антип Ильич тоже ряженый, теперь даже кушает с барями вместе... Диковина да и только! — доложила она.

— Кто? Что такое? — спросила старушка.

— Антип Ильич!.. Чу, слышите?.. Поют все!..

— Поют! — повторила и Юлия Матвеевна.— Сусанна, сюда!

— Сусанну Николаевну вам позвать? — спросила Агапия.

— Да,— приказала Юлия Матвеевна.

Агапия проворно побежала вниз, чуть не слетела с лестницы и, выругавшись при этом: «О, те, черт, дьявол! Какая скользкая!», вошла впопыхах в столовую.

— Вот и Агапия,— сама любовь предстала! — заметил при этом отец Василий, знавший Агапию по исповеди, на которой она всегда неизвестно уже о каких грехах своих ревмя ревела.

— Матушка, маменька вас просит к себе! — сказала Агапия Сусанне Николаевне.

— Мы, вероятно, ее разбудили! — проговорила та и в сопровождении Агапии вошла к матери.

— Там что? — спросила старушка.

— Там, мамаша, мы празднуем сегодня праздник.

— А Егорыч где? — спрашивала Юлия Матвеевна, постоянно уже теперь называвшая зятя своего только по отчеству: *Егорычем.*

— Подите, Агапия, позовите сюда Егора Егорыча! — приказала Сусанна Николаевна.

— Сейчас, матушка, сейчас, сударыня! — отозвалась та и побежала вниз с прежнею же неосторожностью.

— Я, мамаша, сегодня в масоны окончательно поступила! — объяснила Сусанна Николаевна, оставшись вдвоем с матерью.

— Так, да,— говорила глубокомысленно и с удовольствием старушка.

Вошел Егор Егорыч с бокалом шампанского.

— Юлия Матвеевна — сказал он,— вы должны этим

вином поздравить вашу дочь: она сегодня принята в ложу!

— Знаю, знаю,— говорила старушка, в одно и то же время смеясь и плача.

А между тем внизу, под игру gnädige Frau, раздавалось громкое пение отца Василия, Сверстова и даже Антипа Ильича:

Беги от нас, непросвещенный,
Объятый тьмою раб страстей,
Мирскою суетой прельщенный,
Страшись коснуться сих дверей!

X

От Мартына Степаныча недели через две было получено письмо, только адресованное не Егору Егорычу, а на имя Сусанны Николаевны, которая первоначально думала, что это пишет ей из Москвы Муза; но едва только прочла первую страницу письма, как на спокойном лице ее отразился ужас, глаза наполнились слезами, руки задрожали.

— Господи, неужели это правда!.. Бедный бедный Валерьян! — проговорила она.

— Что такое с вами, мое прелестное существо? — воскликнула испуганным голосом сидевшая у нее в комнате gnädige Frau и бросилась к Сусанне Николаевне, чтобы поддержать ее

— Валерьян застрелился, но, бога ради, не говорите этого пока Егору Егорычу! — стонала Сусанна Николаевна.

— Зачем ему говорить?.. Зачем?..— тоже почти стонала и gnädige Frau, поднимая упавшее из рук Сусанны Николаевны письмо Пилецкого и быстро пробегая его, причем у нее тоже, как и у Сусанны Николаевны, задрожали руки и глаза наполнились слезами.

— Значит, он был человек мало верующий,— сказала она, не зная, чем бы успокоить Сусанну Николаевну.

— Ах, нет! Он был верующий, добрый и хороший человек,— говорила голосом отчаяния Сусанна Николаевна.

— Но все-таки вы совладейте немного с собой и укрепитесь! — советовала ей gnädige Frau.— Вы припомните, какой подвиг еще вам предстоит!.. Вы со временем должны будете сказать об вашем несчастии Егору Егорычу.

— Да, вы правы! — произнесла Сусанна Николаевна

и затем, помолчав, спросила: — А Егор Егорыч не придет сюда, я думаю?

— Нет, он заснул, и вы знаете, как он с поступления вашего в ложу стал спокойно почивать.

— Да, но он может и проснуться! Вы поскорее мне, gnädige Frau, прочтите письмо, а то я дурно разобрала его: у меня рябило в глазах.

Gnädige Frau начала поспешно читать письмо, но и она во многих местах не разбирала его и безбожно ошибалась в окончаниях:

— «Начинаю скорбное мое послание к Вам с изложения сказания об одном чернеце, который молился о том, чтобы дано было ему уведать, что суть суды божии. И раз ему на пути явился ангел во образе черноризца, и пришли они к некоему отшельнику, который приял их и почтил вельми, и когда они пошли от него, ангел взял золотое блюдо и бросил его в море. Во второй день они пришли к другому странноприемлющему мужу, и тот пожелал, чтобы они благословили его сына; но ангел, взяв отрока за гортань, задушил его. На третий день они обрели пустое здание, которое ангел разрушил и вместо него построил новое. В недоумении все это видевший чернец спросил ангела: «Ангел ли ты еси или бес?.. У одного старца ты утопил блюдо, у другого удавил сына и разрушил потом пустое здание?..» Тогда ему ангел отвечал: «Мне повелел это бог: блюдо было единая вещь у старца, неправильно им стяжанная; сын же другого, если бы жив остался, то великому бы злу хотел быть виновен; а в здании пустом хранился клад, который я разорил, да никто, ища злата, не погибнет здесь». И уразумейте из сего сказания, что суды божии — глубины неиспытуемой и недоведомой людям. Родственник Ваш, Валерьян Николаич Ченцов, покончил с собою выстрелом из ружья, не оставив никакого объяснения о причине своего самоубийства. Впрочем, некоторые из его знакомых, которых я, по указанию квартирной хозяйки господина Ченцова, посетил, все мне, отозвавшись, что последнее время Валерьян Николаич совершенно исправился от своей разгульной жизни, единогласно утверждали, что застрелился он от несчастной любви к одной крестьянке, принадлежащей его жене и которая, по ходатайству госпожи Ченцовой, была у него отобрана полицией. Сей случай ясно свидетельствует, что Валерьян Николаич имел душу чувствительную и благо-

родную. Но речь теперь уже не о нем, а о глубокосердечном и родственном Егоре Егорыче. Сколь понимаю я, не по человеческим каким-либо соображениям, а по божьему внушению он так обеспокоился, когда я ему рассказал, что господин Ченцов разошелся с женой, и твердо убежден, что Егор Егорыч по живому предчувствию уже предугадывал, что из того может проистечь, и пусть то же предчувствие скажет ему и ныне, в силу какой правды совершилось и самое столь печальное для всех событие. Бог, может быть, сего не утаит от него».

По прочтении письма, вызвавшего у дам снова обильные слезы, между ними началось не совсем складное совещание о том, как и когда объявить о семейном несчастии Егору Егорычу.

— Чем дольше не объявлять, тем лучше! — решила на первых порах gnädige Frau.

— Как дольше?! Егор Егорыч вдруг может стороной узнать, и что тогда с ним будет! — возразила Сусанна Николаевна.

— Как он может и от кого узнать? — спросила gnädige Frau.

— У него много знакомых в Петербурге, которые, пожалуй, ему напишут.

На это gnädige Frau не нашлась, что и сказать. В первый еще раз в жизни своей она до такой степени растерялась, что у нее все мысли как бы перепутались в голове.

— Пусть отец Василий объявит Егору Егорычу о смерти Валерьяна,— придумала Сусанна Николаевна.

— Ах, нет, нет! — отвергнула решительным тоном gnädige Frau.— Эти вещи надобно, чтобы объявляло лицо любящее. Отец Василий, я не спорю против того, человек очень умный и ученый, но не думаю, чтобы он вполне был привязан к Егору Егорычу.

— Почему? — спросила Сусанна Николаевна, раскрывая в удивлении свои глаза на gnädige Frau.

— Потому что он русский поп! — ответила gnädige Frau, не могшая преодолеть в себе неприязни к русским попам.

Сусанна Николаевна при этом невольно покраснела.

— Он духовник Егора Егорыча,— произнесла она тихо.

— Понимаю,— начала gnädige Frau, но не успела договорить своей мысли, потому что в это время вошел Сверстов, только что вернувшийся из больницы и отыскивав-

ший свою супругу. Войдя, он сразу же заметил, что обе дамы были на себя не похожи. Растерявшись и сам от того, что увидел, он зачем-то сказал жене:

— Ты здесь?

— Здесь,— отвечала та, стараясь смигнуть снова выступившие на глазах ее слезы.

— А вы больны, вероятно? — отнесся Сверстов к Сусанне Николаевне, у которой действительно лицо имело совершенно болезненное выражение.

— Да, немножко... или нет, ничего...— проговорила она.

— Может быть, случилось что-нибудь? — спрашивал Сверстов, не могший понять, что бы такое могло произойти.

Сусанна Николаевна не отвечала.

— Случилось! — объяснила за нее gnädige Frau, совладевшая, сколько могла, с собой.— Садись и слушай, не тараторь только, пожалуйста! Сусанна Николаевна получила письмо от Мартына Степаныча Пилецкого, который пишет, что Валерьян Николаич Ченцов от несчастной любви застрелился.

— К кому от любви? — воскликнул Сверстов, удивленный, опечаленный и испуганный.

— К крестьянке одной,— сказала gnädige Frau, не совсем верившая, чтобы Ченцов от любви именно застрелился, и относившая это к тому, что он очень развратился и запутался в своих денежных делах.

— Что же, эта крестьянка не любила его? — допытывался Сверстов.

— Напротив, вероятно, любила, но жена Валерьяна, которой она принадлежала, отняла ее у него,— объяснила ему Сусанна Николаевна.

— Ну да-с, да! — произнес на это протяжно-укоризненным голосом доктор.— Этого надобно было ожидать,— я вот тогда хотел ехать к Валерьяну Николаичу, а вы, gnädige Frau, не пустили меня; таким образом малого, который, я убежден, был отличнейший господин, бросили на произвол судьбы.

— Я сознаюсь, что тогда была не права,— проговорила, вспыхнув в лице, gnädige Frau.

— Вы тогда все решили, чтобы ждать, ну и дождались! — продолжал тем же укоризненным тоном Сверстов.

— Довольно уж об этом!.. Будет!..— остановила его с досадой gnädige Frau.— Мы теперь рассуждаем, как нам объявить Егору Егорычу.

— Как объявить?! Пойти да и объявить! — решил Сверстов.

— Мой милый доктор,— отнеслась к нему как бы с мольбой Сусанна Николаевна,— я подумать боюсь, как это подействует на Егора Егорыча.

Gnädige же Frau просто прикрикнула на мужа:

— Ты, по своей торопливости, становишься безжалостным! Разве можно человеку сказать про такое несчастие, не подготовив его?!

— Ну да, ждать, по-твоему! — ответил ей тоже с запальчивостью Сверстов.— Когда человеку, может быть, угрожает антонов огонь, а все-таки жди, подготовляй!.. Как бы мы в операциях ждали, так, пожалуй бы, ни одна из них и не удалась

В сущности Сверстов торопился произвести над своим другом нравственную операцию единственно по своей искренней любви к Егору Егорычу и из страха за него. «Ну,— думал он в своей курчавой голове,— решить вопрос, так решить сразу, а там и видно будет, что потом следует предпринять».

— И почему вы думаете,— заговорил он почти с азартом,— что Егор Егорыч такая старческая и слабая натура? Я видал его в горях посильнее нынешнего; он, конечно, был поражаем, но потом снова ободрялся и становился еще сильнее прежнего.

— Но ты забываешь,— урезонивала его gnädige Frau,— до какой степени Егор Егорыч встревожился, когда только узнал, что племянник женился на дочери господина Крапчика.

— То другое дело!.. Другое! — перебил свою супругу доктор.— То находилось в области гаданий и неизвестности, что всегда поражает людей с фантазией, каков Егор Егорыч, больше, чем встреча прямо лицом к лицу с совершившимся горем и несчастием.

— А это еще больше, разумеется, поразит его,— проговорила печально Сусанна Николаевна.

— Непременно поразит! — согласилась с ней gnädige Frau.— И ты когда же намерен сказать Егору Егорычу? — отнеслась она к мужу.

— Сегодня за чаем,— отвечал тот.

Услыхав такое решение, Сусанна Николаевна затрепетала всем телом, да покоробило оно и gnädige Frau. Что касается до Сверстова, то он нервно потирал себе руки, приготовляясь к труднейшей для него, но необходимой операции. Момент совершения этой операции настал весьма скоро. Егор Егорыч проснулся и, выйдя в гостиную, послал Антипа Ильича собрать свое кузьмищевское общество. Все сошлись к нему и уселись на обычные места свои. Gnädige Frau с великою досадою на себя чувствовала, что у нее наполовину убавилось прежней твердости характера; Сусанна Николаевна старалась об одном, чтобы муж не видел выражения ее лица; Сверстов был неестественно весел; Егор же Егорыч точно нарочно являл во всей своей фигуре полнейшее спокойствие духа. Чай был подан с обычною церемонностью Антипом Ильичом. Доктор, беря свою чашку, подлил в нее значительное количество рому и поспешно выпил ее.

— Ну-с,— начал он несколько протяжно,— Мартын Степаныч прислал нам известие: Валерьян Николаич покончил с собой!.. Его нет более в живых!

Егор Егорыч строго взглянул на Сверстова.

— Каким образом покончил? — спросил он.

— Застрелился! — объяснил тот.

— Оставил после себя какую-нибудь записку, почему и для чего он это сделал?

— Никакой!.. Вероятно, потому, что жизнь надоела.

— Где и у кого письмо Мартына Степаныча?

— У меня! — отвечала Сусанна Николаевна и подала мужу письмо Пилецкого.

Егор Егорыч быстро пробежал его.

— Пожинаю плоды от дел моих,— произнес он ироническим тоном и стукнув ногой.

Затем встал вдруг с своего места и довольно быстрыми шагами принялся ходить взад и вперед по гостиной, беспрестанно хватая себя за голову и ероша свои волосы.

— Вы сядьте!.. Не ходите! Ходьба еще больше усиливает волнение, что при теперешнем вашем душевном настроении нехорошо,— заметил ему доктор.

— Нехорошо, вы думаете? — переспросил Егор Егорыч.

— Очень даже! Садитесь! — повторил доктор.

Егор Егорыч снова сел на диван.

— Не чувствуете ли вы теперь чего-нибудь особенного? — добавил Сверстов.

— Я ничего даже теперь не чувствую,— произнес, горько усмехнувшись, Егор Егорыч.

— А не хотите ли вы воды? — предложила было gnädige Frau.

— Какой воды!.. Глупости! — отвергнул доктор.— Вина бы, по-моему, следовало выпить!

— Вина?.. Да, вина я хочу! — подтвердил и Егор Егорыч.

Gnädige Frau почти со всех ног бросилась и принесла стакан и бутылку красного вина. Сверстов поспешил налить целый стакан, который и подал Егору Егорычу. Тот, с своей стороны, жадно выпил все вино, после чего у него в лице заиграл маленький румянец.

Во все это время Сусанна Николаевна, сидевшая рядом с мужем, глаз не спускала с него и, видимо, боясь спрашивать, хотела, по крайней мере, по выражению лица Егора Егорыча прочесть, что у него происходит на душе. Наконец он взял ее руку и крепко прижал ту к подушке дивана.

— Ну, ты мне осталась,— проговорил он.

— Останьтесь и вы для меня,— сказала Сусанна Николаевна и, не выдержав долее, заплакала.

— Останусь и я! — отвечал Егор Егорыч и, немедля после этого, подняв голову, сказал, обращаясь к Сусанне Николаевне: — Тут, сколько это видно по письму Мартына Степаныча, мне никаких не следует делать распоряжений!

— Да какие же распоряжения, я не вижу,— отозвалась она,— может быть, откроются какие-нибудь долги...

— О, это я немедля же заплачу! — воскликнул Егор Егорыч.

На этом собственно настоящий вечер и кончился, но на другой день Егор Егорыч начал всем внушать серьезное опасение: он не то чтобы сделался болен, а как бы затих совсем и все прилегал то на один диван, то на другой; ни за обедом, ни за ужином ничего не ел, ночи тоже не спал.

Сусанна Николаевна стала со слезами умолять доктора сказать ей откровенно, что такое с Егором Егорычем.

— Ничего особенного, кроме некоторого угнетенного

состояния, которое с течением времени пройдет! — уверял ее тот клятвенно.

— Его надобно развлекать и не давать ему задумываться! — заметила gnädige Frau.

— Это так, справедливо! — одобрил такое мнение супруги доктор.

— И я сегодня же заведу с Егором Егорычем разговор, который, я знаю, очень его заинтересует,— присовокупила та, несколько лукаво прищуривая свои глаза, и вечером, с наступлением которого Егор Егорыч стал еще мрачнее, она, в присутствии, конечно, Сусанны Николаевны и доктора, будто бы так, случайно, спросила Егора Егорыча:

— Скажите, в котором году вы студировали в Геттингене?

Такой вопрос удивил несколько Егора Егорыча.

— В начале восьмисотых годов, в восемьсот шестом, седьмом, что-то вот так! — проговорил он без всякого внимания к своему ответу.

— Значит,— рассчитала gnädige Frau,— я десять лет спустя после вас была в Геттингене и провела там целое лето!.. Не правда ли, что прелестный городок?

— Город умный и ученый! — сказал Егор Егорыч.

— И поэтичный!—дополнила с чувством gnädige Frau.

— Пожалуй, и поэтический, благодаря университету! — заметил Егор Егорыч.

— Кроме того, и по окрестностям своим!.. Один Гарц чего стоит!.. Он какие-то волшебные картины представляет! — воскликнула gnädige Frau с одушевлением, но так как Егор Егорыч ничего ей на это не ответил, то она продолжала, обращаясь к Сусанне Николаевне:

— Вообразите, у вас перед глазами целый хребет гор, и когда вы поднимаетесь, то направо и налево на каждом шагу видите, что с гор текут быстрые ручьи и даже речки с чистой, как кристалл, водой... А сколько в них форелей и какого вкуса превосходного — описать трудно. Вот ты до рыбы охотник,— тебе бы там следовало жить! — отнеслась gnädige Frau в заключение к мужу своему, чтобы сообща с ним развлекать Егора Егорыча.

— Поел бы! — ответил тот ей лаконически.

Он очень хорошо видел, что разговор gnädige Frau нисколько не занимал Егора Егорыча, который слушал ее почти что дремля.

Сусанна Николаевна тоже это видела и даже довольна была тем, полагая, что Егор Егорыч, может быть, заснет.

— Вам бы прилечь теперь! — сказала она.

— Непременно надобно прилечь и заснуть! — воскликнул доктор.

— Хорошо! — произнес покорно Егор Егорыч и, встав, пошел в свою спальню. Сусанна Николаевна последовала за ним. Там он прилег на постель. Сусанна Николаевна села около и, взяв его руки, начала их согревать. Егор Егорыч лежал совершенно тихо, но она очень хорошо чувствовала, что он не спит.

Прошло потом еще несколько таких же печальных дней, и Егор Егорыч по-прежнему оставался в каком-то апатичном состоянии. Сверстов, как врач, окончательно убедился, что друг его страдает меланхолией. Пожалев, что при господских домах перевелись шуты, он задумал, за отсутствием оных, сам лечить Егора Егорыча смехом, ради чего стал при всяком удобном случае рассказывать разные забавные анекдоты, обнаруживая при этом замечательный юмор; но, к удивлению своему, доктор видел, что ни Егор Егорыч, ни Сусанна Николаевна, ни gnädige Frau не улыбались даже; может быть, это происходило оттого, что эти три лица, при всем их уме, до тупости не понимали смешного! Тогда Сверстов решился укреплять нервы своего пациента воздухом и почти насильно заставлял его кататься на тройке в самые холодные и ветреные дни и, всегда сам сопровождая при этом Егора Егорыча, приказывал кучеру нестись во все лопатки и по местам преимущественно открытым, дабы больной как можно более вдыхал в себя кислорода и таким образом из меланхолика снова превратился бы в сангвиника,— но и то не помогало: Егор Егорыч, конечно, возвращался домой несколько бодрее, но не надолго. Наконец Сусанна Николаевна, понимавшая, вероятно, глубже Сверстовых сердце Егора Егорыча, избрала иное средство помочь ему. В одно утро, не сказав никому ни слова, она отправилась пешком к отцу Василию, который, конечно, и перед тем после постигшего Марфиных горя бывал у них почти ежедневно; но на этот раз Сусанна Николаевна, рассказав откровенно все, что происходит с ее мужем, умоляла его прийти к ним уже прямо для поучения и подкрепления Егора Егорыча. Отец Василий, разумеется, изъявил полную готовность и в тот же день вечером пришел к Марфиным. Сусанна

Николаевна, нетерпеливо поджидавшая отца Василия, встретила его почти что в передней.

— А мне можно будет вместе с вами быть у мужа? — спросила она.

— Отчего же? — отвечал отец Василий.— Вы мне поможете, а я вам — в нашем общем подвиге утешения вашего супруга.

Затем они пошли и застали Егора Егорыча сидящим против портрета Юнга и как бы внимательно рассматривающим тонкие и приятные черты молодого лица поэта. Вместе с тем на столе лежала перед ним развернутая небольшая, в старинном кожаном переплете, книжка.

Поздоровавшись с Егором Егорычем и благословив его, отец Василий сел по одну сторону стола, а Сусанна Николаевна по другую.

— Что это вы почитываете? — первое, что спросил отец Василий.

— Юнговы *Ночи!* — сказал отрывисто Егор Егорыч.

— По-английски? — произнес несколько семинарским акцентом отец Василий.

— Нет, в переводе Сергея Глинки,— очень дубовом, но верном.

— Можно взглянуть? — полюбопытствовал отец Василий, беря книжку.

Егор Егорыч кивком головы разрешил ему это.

Отец Василий взглянул на развернутую страничку и даже прочел ее вполголоса:

Увы, не может день вместить тоски моей,
И ночь, мрачнейша ночь не может быть сравненна
С страданьем тем, каким душа моя сраженна!
Уже она в сей час, в час общей тишины,
Когда страны небес луной осребрены,
Стопою медленной на мрачный трон вступает;
Простерла жезл,— и ход природа прекращает.
Непроницаемой завесой мир покрыт;
Оцепенели слух и взор, все смолкло, спит,
Все смерти, кажется, объемлется рукою:
Ах! Сколь мятется дух сей общей тишиною!
Так, образ то живой разрушенных миров!
О, день, ужасный день, последний день веков!
Приди! Лишь ты один прервешь мое страданье!

- А этого бы вам не следовало читать,— произнес отец Василий серьезным тоном и кладя книжку на стол.

Егор Егорыч вопросительно взглянул на него.

— Юнг бесспорно великий поэт,— рассуждал отец Василий,— но он никак не облегчитель и не укротитель печали, а скорее питатель ее. Испытывая многократно мое собственное сердце и зная по исповеди сердца многих других людей, я наперед уверен, что каждое слово из прочитанной мною теперь странички вам сладостно!

— Сладостно! — сознался Егор Егорыч.

— Но как же вы,— возразил ему отец Василий,— забыли учения наших аскетов, столь знакомых вам и столь вами уважаемых, которые строго повелевают отгонять от себя дух уныния и разрешают печалованье только о грехах своих?

— Я о грехе моем и печалюсь,— забормотал Егор Егорыч,— из него теперь и проистекло наше семейное несчастие.

— А где же и в чем вы тут находите грех ваш? — спросил отец Василий уже величавым голосом.

Сусанна Николаевна трепетала от радости, слыша, как искусно отец Василий навел разговор на главную причину страданий Егора Егорыча.

— Ка́к где и в чем? — воскликнул тот.— Разве не я допустил родного моего племянника совершить над собой самоубийство?

— Почему вы это думаете, что вы? — произнес, разводя руками, отец Василий.

— Потому,— забормотал Егор Егорыч,— что я пренебрег его воспитанием, и из него вышел недоучка.

— Позвольте, позвольте! — остановил Егора Егорыча отец Василий.— Вас, вашего племянника и его мать, вашу сестрицу, я знаю давно, с Москвы еще, и знаю хорошо... Сестрица ваша, скажу это при всем моем уважении к ней, умела только любить сына и желала баловать его.

— Это так!.. Но я-то тут какой же пешкой и болваном был? — снова воскликнул Егор Егорыч.

— Вы тут ничем не могли быть! Сестрица ваша нарочно рассорилась с вами, чтобы только вы не беспокоили ее Валера своими наставлениями и выговорами... Она мне в этом сама открылась.

— Признавалась она вам в этом? — переспросил Егор Егорыч.

— Совершенно откровенно и вместе с тем скорбела душой, что находится в неприязни с вами... Неужели вы это отвергаете?

Егор Егорыч вздохнул и печально мотнул головой: ему живо припомнилась вся эта минувшая история, как сестра, совершенно несправедливо заступившись за сына, разбранила Егора Егорыча самыми едкими и оскорбительными словами и даже просила его избавить от своих посещений, и как он, несмотря на то, все-таки приезжал к ней несколько раз, как потом он ей писал длинные письма, желая внушить ей все безумие подобного отношения к нему, и как на эти письма не получил от нее ни строчки в ответ.

— Нисколько не отвергаю того, но...— заговорил было он.

— Никакого *но* тут не существует,— перебил его отец Василий,— тем более, что после смерти вашей сестрицы разве вы не поспешили помириться с вашим племянником и не предались горячему желанию просветить его масонством?

— Да, я желал этого, горячо желал,— подтвердил Егор Егорыч,— но что из того вышло?.. Одно безобразие, скандал!..

— И в том вы не виноваты, ибо того, что случилось, нельзя было ни предусмотреть, ни предотвратить. Сосуд был слишком надломлен, чтобы починить его.

Егор Егорыч на это ничего не ответил, и на глазах его заметно искрились слезы.

— Мы все созданы,— заговорил отец Василий снова назидательным тоном,— не для земных наших привязанностей, а для того, чтобы возвратиться в лоно бога в той духовной чистоте, каковая была вдохнута первому человеку в час его сотворения, но вы вашим печалованием отвращаетесь от того. В постигшем вас горе вы нисколько не причастны, и оно постигло вас по мудрым путям божиим.

— То же самое писал Егору Егорычу и Мартын Степаныч,— вот его письмо, прочитайте! — проговорила Сусанна Николаевна и с нервною торопливостью подала письмо отцу Василию, который прочел его и проговорил, обращаясь к Егору Егорычу:

— То же, что и я говорю: печаль неосновательная и серьезно не обдуманная нами влечет ропот. Припомните, Егор Егорыч, каким вы некогда нашли меня, растерянного и погибающего! Неужели я справедлив тогда был? Не являлся ли я безумствующим рабом перед моею житейскою невзгодой? Припомните, что вы мне тогда сказали?

Вы сказали, что и Христос Лазарю: восстань и гряди!.. Сие же и я вам реку, Егор Егорыч: восстаньте и грядите!

Слова эти заметно подействовали на Егора Егорыча внушительным и ободряющим образом: выражение лица его если не сделалось веселее, то стало как-то мужественнее.

Отец Василий, конечно, все это заметивший, постарался подкрепить свои поучения изречениями аскетов:

— Исаак святой,— начал он,— сказал нижеследующее: «Уста не ропщущие, но всегда благодарные, удостоиваются благословения бога; но того, кто всегда предается ропотливости, он не оставит без наказания».

— Я не ропщу, но я упал и приник духом! — возразил Егор Егорыч.

— Незачем, не нужно! Если бог поразил вас жезлом гнева своего, что он часто делает для испытания даже святых людей, то неужели же вы вознегодуете на него за то?

— Нет! — ответил громким и решительным голосом Егор Егорыч.

Сусанна Николаевна при этом радостно умилилась душой: ведая хорошо мужа, она ясно убедилась, что он воспрянул духом.

XI

Приношение Тулузова было принято в Петербурге; жертвователь был награжден орденом Владимира четвертой степени. Ивану Петровичу тоже прислана была благодарность от начальства с поручением немедленно приступить к расширению гимназического помещения. Старик принялся неистово хлопотать и уведомил с нарочным Тулузова о награждении его желанным крестом. Тулузов не замедлил лично явиться в губернский город для выражения своей благодарности господину директору и, получая из рук Ивана Петровича патент на орден, тут же, не задумавшись, сделал новое предложение:

— Сколько я осчастливлен этой наградой, могу доказать это тем,— сказал он,— что готов еще пятьдесят *тысяч* пожертвовать на устройство пансиона для дворянских детей, с единственным условием, чтобы я назначен был почетным попечителем гимназии.

— Да, непременно!.. Что тут и говорить!.. Кого же и назначить, как не вас?..— воскликнул Иван Петрович, одновременно потрясая своим красным носом и толстым животом своим, но потом, сообразив, присовокупил несколько опешенным голосом: — Только вот тут одно: на эти места назначает не министерство наше, а выбирают дворяне!..

— Это я знаю хорошо-с,— ответил ему Тулузов,— но вы извольте принять в расчет, что я вношу эту сумму исключительно на учреждение дворянского пансиона. Надеюсь, что господа дворяне поймут, для чьей пользы я это делаю, и оценят мой поступок.

— Как же не понять, помилуйте! Не олухи же они царя небесного! — горячился Иван Петрович.— И теперь вопрос, как в этом случае действовать в вашу пользу?.. Когда по начальству это шло, я взял да и написал, а тут как и что я могу сделать?.. Конечно, я сегодня поеду в клуб и буду говорить тому, другому, пятому, десятому; а кто их знает, послушают ли они меня; будут, пожалуй, только хлопать ушами... Я даже не знаю, когда и баллотировка наступит?..

— Баллотировка наступит в начале будущего года! — объяснил Тулузов.— По-моему, говорить отдельно каждому лицу, имеющему право выбора, бесполезно. Гораздо лучше пока обратиться к губернскому предводителю.

— Превосходнейшая мысль!.. Отличнейшая!..— говорил искренним голосом Иван Петрович.— Я к губернскому предводителю поеду, когда вы только прикажете; он хоть чехвал и фанфарон, но любит дворянство, предан ему, и я наперед уверен, что с сочувствием примет ваше благое дело.

— Поехать бы я вас просил,— сказал на это Тулузов,— завтра, часов в одиннадцать утра, когда господин предводитель только еще просыпается и пьет чай; вы с ним предварительно переговорите, передадите ему, как сами смотрите на мое предложение, а часов в двенадцать и я явлюсь к нему!

— Отлично!.. Бесподобно!..— восклицал Иван Петрович, и когда Тулузов стал с ним прощаться, он, по обыкновению, обнял его крепко и расцеловался с ним, или, точнее сказать, от полноты чувств обмазал Тулузова слюнями.

На другой день в одиннадцать часов Артасьев, конеч-

но, приехал к губернскому предводителю, жившему в огромном доме Петра Григорьича, за который он хоть и должен был платить тысячу рублей в год, но еще в продолжение двух лет ни копейки не внес в уплату сей суммы, и здесь я считаю нужным довести до сведения читателя, что сей преемник Крапчика являл совершенную противоположность своему предшественнику. У Петра Григорьича всегда было много денег, и он был в этом отношении, по-своему, честен: не любя уступать и давать своих денег другим, он зато и не одолжался ими ни у кого; нынешний же губернский предводитель тоже никогда никому не давал денег,— может быть, потому, что у него их никогда не было в сколько-нибудь сносном числе; но вместе с тем сам он ссужался у всех, кто только имел глупость или надобность не отказывать ему. По наружности и манерам своим Петр Григорьич был солдат, а преемник его — маркиз, с подбородком, выдающимся вперед, с небольшими красивыми руками, с маленькими высокоподъемистыми ногами. По-французски он говорил правильнее и чище, чем по-русски. Крапчик, как мы знаем, выслужился из ничтожества, а настоящий губернский предводитель был князь и происходил от старинного аристократического рода, давно уже, впрочем, захудалого и обедневшего. В молодости, служа в гвардии и будучи мужчиною красивым и ловким, князь существовал на счет слабости женщин, потом женился на довольно, казалось бы, богатой женщине, но это пошло не в прок, так что, быв еще уездным предводителем, успел все женино состояние выпустить в трубу и ныне существовал более старым кредитом и некоторыми другими средствами, о которых нам потом придется несколько догадаться.

Сначала губернский предводитель слушал довольно равнодушно, когда Иван Петрович повествовал ему, что вот один добрый человек из мещанского сословия, движимый патриотическими и христианскими чувствами, сделал пожертвование в тридцать тысяч рублей для увеличения гимназии, за что и получил от правительства Владимира.

— Уж не на шею ли даже?..— заметил при этом не без иронии губернский предводитель.

— Где ж на шею?.. Будет с него, что и в петлицу дали; все-таки, согласитесь, получил чрез то дворянство,— продолжал Артасьев,— и он так за это благодарен, что жертвует еще пятьдесят тысяч на учреждение дворянско-

го пансиона при гимназии с тем лишь условием, чтобы дворянство выбрало его в почетные попечители.

Последними словами Артасьева губернский предводитель окончательно возмутился.

— Иван Петрович, что вы такое говорите! — начал он.— Какого-то там вчера только испеченного дворянина выбрать на такую видную должность! Что же после этого должны будут сказать родовые дворяне, которым будет этим дана чисто пощечина.

— Но вы поймите,— старался убедить его Иван Петрович,— дворянство это сделает за пожертвование им денег, на которые двадцать или даже тридцать мальчиков получат воспитание, будут лучшими гражданами своего отечества и образованными слугами государя. И что это за предрассудок — в деле столь полезном ставить вопрос о том, что по кресту ли дворянин или по рождению?

— Вы ошибаетесь!.. Это не предрассудок! Тогда какое же это будет дворянское сословие, когда в него может поступить каждый, кто получит крест, а кресты стали давать нынче за деньги... Признаюсь, я не понимаю правительства, которое так поступает!.. Иначе уж лучше совсем уничтожить дворянское сословие, а то где же тут будет какая-нибудь преемственность крови?.. Что же касается до вашего жертвователя, то я не знаю, как на это взглянет дворянство, но сам я лично положу ему налево.

— И грех вам будет, грех! — воскликнул почти что со слезами Иван Петрович.

В это время вошел хоть и в сильно поношенном, но ливрейном фраке лакей.

— Господин Тулузов, управляющий госпожи Ченцовой, желает видеть ваше сиятельство! — доложил он своему барину.

— А вот, значит, и сам жертвователь приехал! — добавил к этому Иван Петрович.

При одном имени Тулузова губернский предводитель несколько смутился, а от слов Ивана Петровича еще более растерялся.

— Разве этот жертвователь господин Тулузов?— спросил он.

— Он, он именно самый! — подтвердил Иван Петрович.

Губернский предводитель решительно не знал, что ему предпринять.

— Проси! — приказал он медленно лакею.

Тот ушел.

— У меня с господином Тулузовым есть свое небольшое дело, и я просил бы вас, почтеннейший Иван Петрович, перейти на короткое время в гостиную: я в несколько минут переговорю с господином Тулузовым, а потом и вас снова приглашу сюда, чтобы рассудить о предполагаемом дворянском пансионе.

— Пожалуйста, пожалуйста! Сколько угодно вам посижу и подожду! — произнес простодушный старик и вышел из кабинета.

Губернский предводитель постарался придать своему лицу ласковое выражение, но, впрочем, не без важности.

Тулузов вошел, я не скажу, чтобы величаво, но совершенно спокойно, как входит обыкновенно равный к равному. Одет он был в черный фрак с висевшим Владимиром в петлице и распространял от себя, по тогдашней моде, довольно чувствительный запах пачули.

Губернский предводитель дружески пожал ему руку и просил садиться.

Тулузов сел.

— Давно вы приехали в наш богоспасаемый град? — начал губернский предводитель.

— Вчера! — отвечал Тулузов.

— Но как вам не совестно остановиться не у меня? — укорил его хозяин.— Отделение, которое вы прежде всегда занимали у Петра Григорьича, у меня совершенно свободно.

— Я не мог этого сделать, потому что и Катерина Петровна тоже здесь.

— Здесь? — воскликнул как бы и радостным голосом губернский предводитель.— Где ж она остановилась?.. Опять в гостинице Архипова?

— Там!

— Mais dites moi[1],— продолжал губернский предводитель,— не беспокоится ли Катерина Петровна, что я так неаккуратен в уплате ей денег за квартиру?

— Не думаю, чтобы очень беспокоилась, но была бы, разумеется, довольна, если бы вы уплатили их ей,— проговорил Тулузов с небольшою улыбкой, которая показалась предводителю почти улыбкой дьявола.

— В таком случае я непременно приеду сам успо-

[1] Но скажите мне, *(франц.)*

коить ее и извиниться перед нею,— произнес смущенным голосом предводитель.

— Нет-с, не нужно этого! — возразил ему Тулузов.— Катерина Петровна не вполне и знает это, потому что делами этими исключительно занимаюсь я, и от меня все зависит.

— От вас? — переспросил губернский предводитель.

— От меня, и я, собственно, приехал сюда по совершенно иному делу, которым очень заинтересован и по которому буду просить вас посодействовать мне... Жаль только, что я Ивана Петровича Артасьева не вижу у вас,— он тоже хотел непременно приехать к вам с такого же рода просьбою.

— Он у меня, и сидит только в гостиной.

— Поэтому он передал вам, в чем мое дело состоит.

— Все до малейших подробностей, но я только желал бы поточнее узнать от вас, какого рода содействия вы желаете иметь от меня?

— Содействия в том отношении, чтобы вы повлияли на дворян, которые, как мне известно, все очень вас уважают и любят; достаточно, я думаю, вам сказать им слово за меня, чтобы я был выбран на должность, которую мне необходимо получить.

— В этом слове за вас вы можете не сомневаться, но вместе с тем я за всех поручиться не могу по многим причинам: вы человек новый среди дворянства, пришлый, так сказать,— вы государственной службы, если я не ошибаюсь, совсем не несли; потом вы человек молодой, нежена-тый, значит, не были еще членом нашего общества. Во всем этом, может быть, неосновательные предубеждения, однако они, я знаю, существуют между здешним дворянством; кроме того, у меня есть и враги, которые потому положат вам налево, что я буду за вас.

— Но как бы то ни было, я уверен,— возразил Тулузов,— что на баллотировке вы будете иметь сильную партию, и партию, надобно сказать, состоящую из лучших лиц дворянства, в которых вы легко можете рассеять предубеждения, если они будут иметь их против меня.

— Что я буду иметь партию, и партию лучших людей в губернии, это правда!..— начал было губернский предводитель.

— А мне только того и нужно! — перебил его Тулузов.

— А если этого только и нужно, так это дело, значит, конченное! — заключил губернский предводитель и затем, склонив голову к дверям кабинета, довольно громко крикнул: — Mon chér, monsieur Артасьев, entrez chez nous, s'il vous plait![1]

Иван Петрович не замедлил войти и, мучимый чувством нетерпения, прежде всего обратился к Тулузову и спросил:

— По вашему делу переговорили что-нибудь с его сиятельством?

— Переговорил! — отвечал тот и опять, как показалось это губернскому предводителю, усмехнулся какой-то улыбкой дьявола.

Затем хозяин и гости чинно уселись по местам и стали рассуждать о том, как предстоящее дело устройства дворянского пансиона при гимназии осуществить, и тут сразу же затеялся спор между Иваном Петровичем и губернским предводителем, из коих последний объявил, что капитал, жертвуемый господином Тулузовым, должен быть внесен в депутатское дворянское собрание и причислен к дворянским суммам.

— Такой порядок невозможен! — воскликнул Артасьев.— Прежде еще надобно испросить у министра народного просвещения разрешение на устройство пансиона при гимназии, которого у меня еще нет.

— Министр не может не разрешить этого дворянству! — оспаривал его губернский предводитель.— Оно устраивает это на свои деньги, а не на казенные; оно не стадо баранов и в массе своей не глупее вашего министерства.

— Нет, бараны! — бухнул на это Иван Петрович.— Я сам здешний дворянин и знаю, что тоже баран, и никому не посоветую деньги, предназначенные на воспитание и прокормление двадцати — тридцати мальчуганов, из которых, может быть, выйдут Ломоносовы, Пушкины, Державины, отдавать в коллегию.

— Но что вы разумеете под именем коллегии?.. То есть наше депутатское дворянское собрание? — спросил его с чувством оскорбленного достоинства губернский предводитель.

— Я разумею все коллегии! — огрызнулся Иван Пет-

[1] Дорогой господин Артасьев, войдите к нам, пожалуйста! *(франц.)*

рович.— Министр народного просвещения лучше нас распорядится, потому что он ближе знает нужды образования, и оно должно от него одного зависеть, а не от наших голов, которые еще скорбны для того разумом!

— Если вам угодно так думать о себе, то это ваше дело, но я вовсе не имею такого дурного мнения о своей собственной голове! — возражал, вспыхивая в лице, губернский предводитель.

— Обо всем этом, я полагаю, рановременно еще говорить,— вмешался в разговор Тулузов,— и я просил бы пока не решать ничего по этому предмету, потому что я в непродолжительном времени поеду в Петербург и там посоветуюсь об этом.

— Поезжайте, сударь, поезжайте, и я вас благословляю на это! — воскликнул радостно Артасьев.

Губернский же предводитель молчал. Он, видимо, не благословлял такого намерения Тулузова, который из предыдущего разговора очень хорошо понял, что почтенному маршалу дворянства просто-напросто хотелось жертвуемые на дворянский пансион деньги прицарапать в свое распоряжение, и тогда, уж конечно бы, бóльшая часть его капитала была израсходована не по прямому своему назначению. Впрочем, не желая выводить губернского предводителя из его приятных чаяний, Тулузов поспешил ему сказать:

— В Петербурге, вероятно, так и распорядятся, как вы предполагаете.

— Без сомнения! — произнес губернский предводитель уверенным тоном.

— Не распорядятся так! — стоял на своем Иван Петрович и простился с хозяином, который, оставшись вдвоем с Тулузовым, проговорил, указывая головой вслед ушедшему Артасьеву:

— Вот эти господа коронные чиновники!.. Для того, чтобы подделаться к министру, они готовы целое сословие очернить.

— Признаюсь, мне странным показалось такое мнение Ивана Петровича,— сказал тоном сожаления Тулузов, затем тоже раскланялся и вышел, но, сойдя на крыльцо, он, к удивлению своему, увидал, что у подъезда стояли безобразные, обтертые и облупившиеся дрожки Ивана Петровича, в которых тот, восседая, крикнул ему:

— Сюда, сюда, ко мне пожалуйте!

— У меня есть извозчик,— возразил было ему Тулузов.

— Это все равно! Сюда пожалуйте! — повторил Иван Петрович.

Тулузов, делать нечего, сел. Дрожки, везомые парою высоких кляч, тронулись, причем задребезжали, зазвенели и даже как будто бы завизжали. Иван Петрович сейчас начал выговаривать Тулузову:

— Как вам не стыдно ваши деньги доверять депутатскому дворянскому собранию! Еще надобно спросить, целы ли у них и прочие дворянские суммы? Вы прислушайтесь, что об этом говорят в обществе!

— Но, почтеннейший Иван Петрович, мне теперь неловко в чем бы то ни было противоречить господину губернскому предводителю, поймите вы это! От него зависит успех моей баллотировки.

— О, если так, то конечно! — согласился Иван Петрович.— Я даже при встрече с князем повторю ему, что вы желаете пожертвовать деньги собственно дворянству, а дело-то мы сделаем по-нашему,— заключил он и щелкнул от удовольствия двумя пальцами.

— Сделается по-нашему! — повторил и Тулузов.— Но только вы, бога ради, не выдайте меня!

— О, пожалуйста, будьте покойны!.. Я тоже, батенька, умею хитрить!.. Недаром шестьдесят пять лет прожил на свете и совершенно согласен с Грибоедовым, что при наших нравах умный человек не может быть не плутом! — проговорил Иван Петрович, простодушно считавший себя не только умным, но даже хитрым человеком.

У гостиницы Архипова Тулузов вылез из экипажа Ивана Петровича и хоть заметно был взволнован и утомлен всеми этими объяснениями, но, как человек воли несокрушимой и привыкший ковать железо, пока горячо, он, возвратясь домой, затеял с Екатериной Петровной довольно щекотливый разговор, еще и прежде того неоднократно им начинаемый, но как-то никогда не доходивший между ними до конца. Екатерина Петровна, которая, конечно, знала, куда и зачем ездил Тулузов, ждала его с нетерпением и, едва только он вошел к ней, спросила:

— Ну, что, с успехом?

— С успехом и с неуспехом! — отвечал ей Тулузов и сел.

Екатерина Петровна посмотрела на него с некоторым недоумением, не совсем понимая его ответ.

— В чем же неуспех состоял? — проговорила она.

— В том, что в настоящем моем положении, как я есть, вряд ли меня выберут в попечители гимназии.

— Поэтому они и денег не принимают?

— Деньги принимают!.. Сколько угодно преподнеси! Все примут!.. Но наградить за них — это другое дело!

— Да ты не бог знает какой большой награды требуешь, и очень натурально, что, как ты говорил, жертвуя деньги, хочешь хоть немного наблюдать, куда эти деньги будут расходоваться... И что же, дурачок Артасьев этот против твоего избрания?

— Наоборот, Артасьев очень желает, чтобы я был выбран, а губернский предводитель, у которого я сейчас был, колеблется дать мне решительное обещание.

— Ах, он пан Гологордовский, прощелыга этакий! — произнесла с гневом Екатерина Петровна.— Он смеет колебаться, когда я ему делала столько одолжений: он живет в моем доме в долг; кроме того, у меня на него тысячи на три расписок, которые он перебрал у отца в разное время... В случае, если он не будет тебе содействовать, я подам все это ко взысканию.

— Вы рассуждаете, как женщина! — возразил ей с легкой досадой Тулузов.— Чем тут виноват губернский предводитель?.. Как ни значительно его влияние на баллотировке, но выбирает не он один, а все дворяне, которые — что, по-моему, весьма справедливо,— все будут иметь против меня предубеждение.

— Какое же и почему? — спросила Екатерина Петровна.

— Во-первых, до сих пор я еще только наемный управляющий ваш, которого вы каждую минуту можете прогнать... Потом я человек холостой, одинокий, а поэтому никого не могу ни принять к себе, ни позабавить чем-либо кого.

— Отчего ж тебе не принимать их и не позабавить кого ты желаешь? — заметила Екатерина Петровна, но не очень решительным тоном.

— Полулакею-то вашему?.. Неудобно, я думаю, это!— возразил с саркастической усмешкой Тулузов.— Да, вероятно, из господ дворян ко мне никто и не поедет; словом, все это сводится к тому, что если вы меня искренно любите, то должны осчастливить вашим супружеством со мной,— тогда я сразу делаюсь иным человеком: я уже не

проходимец, не выскочка, я муж ваш и зять покойного Петра Григорьича... Я, наконец, совместный с вами владелец одного из огромнейших состояний в губернии, и тогда я посмотрю, как господа дворяне посмеют не выбрать меня в попечители гимназии!

Последние слова Тулузов произнес с заметным пафосом, а Екатерина Петровна покраснела, и все лицо ее мгновенно подернулось как бы облаком печали.

— Все это, не спорю, правда,— начала она,— но ты забываешь, что мне, после моего первого несчастного брака, страшно даже подумать выйти когда-нибудь опять замуж.

— Страх этот совершенно неоснователен; можно выходить во второй раз и в третий; надобно только знать, за кого выходите вы; и я, кажется, в этом отношении не похож нисколько на господина Ченцова.

— Нет,— возразила Катрин,— нельзя выходить так, без оглядки, как мы выходим в первый раз, и я теперь тебе скажу всю правду: когда я еще девушкою до безумия влюбилась в Ченцова, то однажды за ужином прямо намекнула ему, что люблю его, и он мне намекнул, что он это видит, но что он боится меня, а я ему тогда сказала, что я не боюсь его... Предчувствие не обмануло Валерьяна: я в самом деле погубила его моей любовью; а теперь, напротив, я, Василий Иваныч, боюсь вас и предчувствую, что вы погубите меня вашей любовью!

Тулузов усмехнулся своею злой улыбкой и произнес:

— Извините меня, Катерина Петровна, я ничего не понял из всего, что вы изволили сказать!

— Что же тут такое для вас непонятно? Может быть, я дурно выразилась, но это так! — повторила Екатерина Петровна.

Говоря правду, это было не вполне так: страх к Тулузову в Катрин действительно существовал, но к этому примешивались и другие чувствования и мысли. Почему Катрин сошлась с Тулузовым, она, вероятно, и сама бы не могла с точностью определить. Более всего, думаю, тут властвовало то душевное настроение, которое французы давно уже назвали par dépit, то есть чтобы из гнева и досады на мужа за его измену отплатить ему поскорее тем же. Может быть, тут служила некоторым импульсом и страстная натура Екатерины Петровны, изведавшей наслаждения чувственной любви, а наконец она видела в

Тулузове человека, безусловно, ей преданного и весьма по ее обстоятельствам полезного. Но в то же время идеалом мужчины, каким некогда являлся ей Ченцов, Тулузов никогда не мог быть для нее. Сверх того, Катрин почти буква в букву разделяла мнение губернского предводителя, сказавшего, что Тулузов вчера только испеченный дворянин, между тем как она дочь генерала и женщина с таким огромным состоянием. Иметь своим любовником Тулузова Екатерине Петровне тоже казалось делом не совсем приличным, но все-таки это оставалось в полутайне, в полумраке, она всегда и перед каждым могла запереться в том; но выйти за него замуж — это уже значило явно перед всем обществом признать его за человека равного себе, чего Екатерина Петровна вовсе не думала. Под влиянием всех этих соображений Екатерина Петровна произнесла нетоРопливо:

— По пословице: обожжешься на молочке, будешь дуть и на воду; я должна еще подумать и долго подумать о твоем предложении, Базиль!

Лицо Тулузова при этом исказилось злостью.

— Думать долго тут невозможно,— сказал он,— потому что баллотировка назначена в начале будущего года: если вы удостоите меня чести быть вашим супругом, то я буду выбран, а если нет, то не решусь баллотироваться и принужден буду, как ни тяжело мне это, оставить службу вашего управляющего и уехать куда-нибудь в другое место, чтобы устроить себе хоть бы маленькую карьеру.

— А меня так и покинешь совсем? — спросила его Екатерина Петровна с навернувшимися слезами на глазах.

— Я полагаю, что вы сами пожелаете этого, потому что вам неловко же будет ездить всюду за мной, и в качестве какого рода женщины? Вы мне не сестра, не родственница...

— Я и не хочу ездить за тобой, а хочу, чтобы ты оставался здесь со мной... Неужели же тебе карьера твоя дороже меня, и почему эта проклятая должность попечителя устроит твою карьеру?

— По весьма простой причине! — объяснил ей Тулузов.— Служа на этом месте, я через шесть лет могу быть утвержден в чине статского советника, а от этого недалеко получить и действительного статского советника, и таким образом я буду такой же генерал, каким был и ваш отец.

— Но за что же все это тебе дадут и так тебя наградят? — допытывалась Катрин.

— Да за те же пожертвования, которые, не скрою от вас, может быть, в течение всей моей службы достигнут тысяч до ста, что, конечно, нисколько не разорит вас, а между тем они мне и вам дадут генеральство.

Катрин сомнительно покачала головою. Тулузов, конечно, это заметил и, поняв, что она в этом случае не совсем доверяет его словам, решился направить удар для достижения своей цели на самую чувствительную струну женского сердца.

— Кроме всего этого,— продолжал он,— есть еще одно, по-моему, самое важное для вас и для меня обстоятельство. Вы теперь вдова, вдова в продолжение десяти месяцев. Все очень хорошо знают, что вы разошлись с мужем, не бывши беременною, и вдруг вас постигнет это, что весьма возможно, и вы не дальше как сегодня выражали мне опасения ваши насчет этого!

— Я до сих пор опасаюсь и только думаю, что ребенка можно будет скрыть, отдать к кому-нибудь на воспитание.

— Это вы так теперь говорите, а как у вас явится ребенок, тогда ни вы, ни я на чужие руки его не отдадим, а какая же будет судьба этого несчастного существа, вслед за которым может явиться другой, третий ребенок, — неужели же всех их утаивать и забрасывать куда-то без имени, без звания, как щенят каких-то?..

Слова эти покоробили Екатерину Петровну.

— Неужели же я это думаю! — сказала она.

— Вы думаете или нет, но это необходимо заранее иметь в виду, потому что когда это случится, так поздно поправлять. Вы знаете, как нынешний государь строго на это смотрит, — он на ходатайствах об усыновлении пишет своей рукой: «На беззаконие нет закона».

Катрин промолчала и покачала только головой. Она очень хорошо понимала, что ее воля была гораздо слабее воли Тулузова и что она зашла в своих дурачествах в жизни так далеко, что ей воротиться назад было нельзя!

Переношусь, однако, моим воображением к другой женщине, на которую читатель обратил, вероятно, весьма малое внимание, но которая, смело заверяю, была в известном отношении поэтичнее Катрин. Я разумею косую даму, которая теперь до того уж постарела, что грешить даже перестала. Ни на кого в целом губернском городе

не произвело известие о самоубийстве Ченцова такого потрясающего впечатления, как на нее. Несмотря на несколько падений, которые она совершила после разрыва с Валерьяном Николаичем, он до сих пор оставался в ее воображении окруженный ореолом поэзии. Узнав, что он убил себя и убил от любви к какой-то крестьянке, она всплеснула руками и воскликнула:

— Этому и должно было быть!

Затем она не заплакала, а заревела и ревела всю ночь до опухоли глаз, а потом на другой день принялась ездить по всем знакомым и расспрашивать о подробностях самоубийства Валерьяна Николаича; но никто, конечно, не мог сообщить ей того; однако вскоре потом к ней вдруг нежданно-негаданно явилась знакомая нам богомолка с усами, прямо из места своего жительства, то есть из окрестностей Синькова. Косая дама несказанно обрадовалась сей девице и, усадив ее за самовар, начала накачивать ее чаем и даже водкой, которую странница, по своей скитальческой жизни, очень любила, а потом принялась расспрашивать:

— Не бывали ли вы в Синькове и не слыхали ли чего, что там творится?

— Была, была, сударыня! — забасила словоохотливая странница, удовлетворив своему алчущему и жаждущему мамону.— Супруг Катерины Петровны удавился!

— Ах, нет, застрелился! — поправила ее сентиментальным голосом косая дама.

— Так, так, так! — басила богомолка. — Ой, я больно натоптала снегом, вон какая лужа течет из-под меня! — добавила она, взглянув на пол, по которому в самом деле тек целый поток от растаявшего снега, принесенного ею на сапогах.

— Ничего, рассказывайте! — успокоила ее тем же чувствительным тоном косая дама и, чтобы возбудить старуху к большей откровенности, налила ей еще рюмку, которую та, произнеся: «Христу во спасение!», выпила и, закусив кусочком сахару, продолжала:

— Плеха-то баринова тоже померла; ишь, дьяволице не по нутру пришлось, как из барынь-то попала опять в рабы!

— Марья Егоровна, как же это вы так выражаетесь! — остановила богомолку косая дама. — Она любила его.

— Пожалуй, люби! Ишь, псицы этакие, мало ли кого они любят.

— Но неужели же вы сами никогда не любили?

Старуха на это отрицательно и сердито покачала головой. Что было прежде, когда сия странная девица не имела еще столь больших усов и ходила не в мужицких сапогах с подковами, неизвестно, но теперь она жила под влиянием лишь трех нравственных двигателей: во-первых, благоговения перед мощами и обоготворения их; во-вторых, чувства дворянки, никогда в ней не умолкавшего, и, наконец, неудержимой наклонности шлендать всюду, куда только у нее доставало силы добраться.

— А сама Катерина Петровна здорова? Ничего с ней не было после ее потери? — продолжала расспрашивать косая дама.

— Что ей делается? Барыня богатая! — почти что лаяла богомолка.— Замуж вышла за своего управляющего...

— Вот это лучше всего! — произнесла расслабленным голосом косая дама.— После Валерьяна сделаться женой — я и не знаю — кого...

— Приказный, сказывают; за приказного вышла, из кутейников али из мещан, прах его знает! Все же, матушка, лучше,— тоже сказывают, она тяжела от него, грех свой прикроет: святое все святит, хоть тоже, как прислуга рассказывает, ей шибко не хотелось идти за него. Помня родителя своего (тот большой был человек), целую неделю перед свадьбой-то плакала и все с горничной своей совещалась. «Вы, говорит, мои милые, не осудите меня, что я за Василия Иваныча выхожу, он теперь уж дворянин и скоро будет генерал. Вы его слушайтесь и любите его!» А что его хошь бы дворовым али крестьянам любить? Как есть злодей! Может, будет почище покойного Петра Григорьича, и какой промеж всего ихнего народа идет плач и стон, — сказать того не можно!

Всех этих подробностей косая дама почти не слушала, и в ее воображении носился образ Валерьяна, и особенно ей в настоящие минуты живо представлялось, как она, дошедшая до физиологического отвращения к своему постоянно пьяному мужу, обманув его всевозможными способами, ускакала в Москву к Ченцову, бывшему тогда еще студентом, приехала к нему в номер и поселилась с ним в самом верхнем этаже тогдашнего дома Глазунова, где целые вечера, опершись грудью на горячую руку Валерья-

на, она глядела в окна, причем он, взглядывая по временам то на нее, то на небо, произносил:

— Ночь лимоном пахнет!

— Ночь лимоном пахнет! — повторяла и она за ним полушепотом, между тем как Тверская и до сих пор не пахнет каким-нибудь поэтическим запахом, и при этом невольно спросишь себя: где ж ты, поэзия, существуешь? В окружающей ли человека счастливой природе или в душе его? Ответ, кажется, один: в духе человеческом!

XII

Однажды все кузьмищевское общество, со включением отца Василия, сидело по обыкновению в гостиной; сверх того, тут находился и приезжий гость, Аггей Никитич Зверев, возвратившийся с своей ревизии. Трудно вообразить себе, до какой степени изменился этот могучий человек за последнее время: он сгорбился, осунулся и имел какой-то растерянный вид. Причину такой перемены читатель, вероятно, угадывает.

Егор Егорыч, в свою очередь, заметивший это, спросил его:

— Что, вы довольны или недовольны вашей ревизией?

— Разве можно тут быть довольным! — отвечал с грустной усмешкой Аггей Никитич.

— Отчего и почему? — воскликнул Егор Егорыч.

— После, я наедине, если позволите, переговорю с вами об этом.

— Позволю и даже прошу вас сказать мне это!

— Еще бы мне не сказать вам! Отцу родному чего не сказал бы, а уж вам скажу!

Должно заметить, что все общество размещалось в гостиной следующим образом: Егор Егорыч, Сверстов и Аггей Никитич сидели у среднего стола, а рядом с мужем была, конечно, и Сусанна Николаевна; на другом же боковом столе gnädige Frau и отец Василий играли в шахматы. Лицо gnädige Frau одновременно изображало большое внимание и удовольствие: она вторую уж партию выигрывала у отца Василия, тогда как он отлично играл в шахматы и в этом отношении вряд ли уступал первому ее мужу, пастору, некогда считавшемуся в Ревеле, приморском городе, первым шахматным игроком. Вообще gnädige

Frau с самой проповеди отца Василия, которую он сказал на свадьбе Егора Егорыча, потом, помня, как он приятно и стройно пел под ее игру на фортепьяно после их трапезы любви масонские песни, и, наконец, побеседовав с ним неоднократно о догматах их общего учения, стала питать большое уважение к этому русскому попу.

Между тем Егор Егорыч продолжал разговаривать с Аггеем Никитичем.

— И что ж вы, объезжая уезды, познакомились с кем-нибудь из здешнего дворянства? — спросил он, видя, что Зверев нет-нет да и задумается.

— Почти ни с кем! — проговорил Аггей Никитич.— Все как-то не до того было!.. Впрочем, в этом, знаете, самом дальнем отсюда городке имел честь быть представлен вашей, кажется, родственнице, madame Ченцовой, у которой — что, вероятно, известно вам — супруг скончался в Петербурге.

— Да, он умер! — поспешила сказать Сусанна Николаевна, взглянув с некоторым страхом на Егора Егорыча, который, впрочем, при этом только нахмурился немного и отнесся к Аггею Никитичу с некоторой иронией:

— Ну, и как же она вам понравилась?

Аггей Никитич глубокомысленно повел бровями.

— По наружности это, что говорить,— belle femme [1], — определил он французским выражением,— но все-таки это не дворянская красота.

— А какая же? — выпытывал его Егор Егорыч.

— Да такая, что она скорей жидовка, или цыганка, или зырянка из сибирячек, как я вот видал этаких! — объяснил Аггей Никитич, видимо, начавший с большим одушевлением говорить, как только речь зашла о женской красоте.

Егор Егорыч и Сусанна Николаевна при этом переглянулись между собой.

— По какому же поводу вы представлялись госпоже Ченцовой?—спросил опять с тою же иронией Егор Егорыч.

— Да я и сам не знаю как! — отвечал наивно Аггей Никитич.— Она замуж выходила в этом городишке, и мне вместе с другими было прислано приглашение... Я думаю, что ж, неловко не ехать, так как она родственница ваша!..

— Но за кого она могла выйти? — воскликнул Егор Егорыч.

---

[1] красавица, *(франц.)*.

— Вышла она за управляющего своего, господина Тулузова! — ответил Аггей Никитич.

Услышав эту фамилию, Сверстов вдруг приподнял свою наклоненную голову и стал гораздо внимательнее прислушиваться к тому, что рассказывал Аггей Никитич.

— И свадьба, я вам доложу,— продолжал тот,— была великолепная!.. Венчание происходило в городском соборе, потому что Катерина Петровна считала низким для себя венчаться в своей сельской церкви, а потом все духовенство, все чиновники, в том числе и я, поехали к молодым в усадьбу, которая, вы знаете, верстах в пяти от города. Дом там, без преувеличения можно сказать, — дворец! Все это везде хрусталь, люстры, свечи восковые!.. За ужином шампанское рекой лилось... После того фейерверк, который делал какой-то провизор из аптеки, а потому можете судить, что́ он понимает?.. Мне сначала, знаете, как человеку, тоже видавшему на своем веку фейерверки, было просто смешно видеть, как у них то одно не загорится, то другое не вовремя лопнет, а наконец сделалось страшно, когда вдруг этаких несколько шутих пустили в народ и главным образом в баб и девок... Слышу — крик, писк, визг промеж их, а господа сидят и смеются этому... Это, изволите видеть, господин Тулузов приказал сделать, чтобы развеселить свою супругу и гостей!.. Глупо, по-моему, и свинство еще вдобавок!..

— Что же, этот управляющий красив собой? — спросил Егор Егорыч.

— Ничего нет особенного; малый еще не старый, видный из себя, рыжеватый, глаза у него совсем желтые, как у волка, но умный, должно быть, и бойкий, только манер благородных не имеет, как он там ни задает форсу и ни важничает.

— Но чем же, однако, он пленил Катерину Петровну? — отнесся Егор Егорыч как бы больше к Сусанне Николаевне.

Та отвечала ему только грустною улыбкой.

— Про это рассказывают...— начал было Аггей Никитич несколько таинственно, но тут же и позамялся. Впрочем, припомнив, как в подобном случае поступил Мартын Степаныч, он повторил его фразу: — Я надеюсь, что здесь можно говорить все откровенно?

— Все, и непременно откровенно! — пробормотал Егор Егорыч.

— Рассказывают,— продолжал Аггей Никитич,— что он был приближенный Катерины Петровны и что не она ревновала вашего племянника, а он, и из этого пошли у них все неудовольствия.

— Не может быть! — отвергнула Сусанна Николаевна.

— Очень это возможно! — возразил ей Егор Егорыч.

— А как имя и отчество господина Тулузова? — вмешался вдруг в разговор Сверстов.

— Имя-с?.. Позвольте: Василий... или как его?.. Но вот что лучше: со мной билет пригласительный на свадьбу!..

Проговорив это, Аггей Никитич вынул и подал доктору раздушенный и разукрашенный виньетками свадебный билет Тулузова, начало которого Сверстов прочел вполголоса:

— «Василий Иванович Тулузов и Екатерина»... Гмм! — заключил он, как бы нечто соображая, а потом обратился к жене своей:

— Gnädige Frau, помнишь ты этого мальчика, которого тогда убили, то я написал письмо к Егору Егорычу?

— Помню!

— А как его звали?

— Васенькой.

— И ты этого не перевираешь?

— Нисколько, потому что он ребенком еще ходил к нам и приносил зелень от отца, — отвечала с уверенностью и точностью gnädige Frau, хоть и занята была размышлением о весьма важном ходе пешкою.

— Гмм! — снова произнес как бы больше сам с собою Сверстов.

На это восклицание его, а равно и на какое-то лукавое выражение в лице, что было совершенно несвойственно Сверстову, Егор Егорыч невольно обратил внимание.

— Что вас тут так интересует? — сказал он.

— Так, одно странное совпадение!..— отвечал, видимо, не договорив всего, Сверстов. — А не знаете ли вы, из какого собственно звания господин Тулузов: попович ли он, дворянин ли, чиновник ли? — добавил он, обращаясь к Аггею Никитичу.

— Говорят, вначале был мещанин,— объяснил тот,— потом стал учителем, служил после того в земском суде, где получил первый чин, и затем сделал пожертвование

на улучшение гимназии ни много, ни мало, как в тридцать тысяч рублей; ему за это Владимира прицепили, и теперь он поэтому дворянин!

— О, проходимец, должно быть, великий! — воскликнул Егор Егорыч.

— Должно быть! — повторил и Аггей Никитич. — Но, говорят, он дальше того лезет и предлагает устроить при гимназии пансион для дворянских детей и просит только, чтобы его выбрали в попечители.

— Ну, это он шалит! — подхватил с азартом Егор Егорыч. — Я нарочно поеду для этого на баллотировку, и мы его с позором черняками закатаем! Скорее верблюд пролезет в игольное ухо, чем он попадет в попечители!

— Вам все тамошние чиновники будут за это благодарны, — продолжал Аггей Никитич, совершенно неспособный от себя что-либо выдумывать, а передававший только то, что ему натрубили со всех сторон в уши. — Между прочим, мне тутошний исправник, старичок почтенный, ополченец двенадцатого года (замечаю здесь для читателя,— тот самый ополченец, которого он встретил на балу у Петра Григорьича), исправник этот рассказывал: «Я, говорит, теперь, по слабости моего здоровья, оставляю службу... Мне все равно, но обидно: сколько лет я прослужил дворянству и, по пословице, репы пареной не выслужил, а тут неизвестного человека возведут в должность попечителя, и он прямо очутится в белоштанниках».

— Это еще буки!.. Пусть он лучше побережет свои черные штаны, а белых мы ему не дадим! — говорил гневным и решительным голосом Егор Егорыч.

Сверстов, внимательно слушавший весь этот разговор, тряхнул на этом месте головою и спросил:

— А не известно ли вам, откуда по месту своего рождения этот будущий белоштанник?

— Нет-с, не знаю и слышал только, что здесь у него нет ни роду, ни племени.

Доктору, кажется, досадно было, что Аггей Никитич не знает этого, и, как бы желая поразобраться с своими собственными мыслями, он вышел из гостиной в залу, где принялся ходить взад и вперед, причем лицо его изображало то какое-то недоумение, то уверенность, и в последнем случае глаза его загорались, и он начинал произносить сам с собою отрывистые слова. Когда потом gnädige

Frau, перестав играть в шахматы с отцом Василием, вышла проводить того, Сверстов сказал ей:

— Мне нужно с тобой переговорить.

— Хорошо,— отвечала gnädige Frau и, распростившись окончательно с своим партнером, подошла к мужу; он взял ее за руку и, поместившись рядом с нею на самых отдаленных от гостиной стульях, вступил с нею в тихий разговор.

— Ты слышала, что этот барин, Зверев, рассказывал про Ченцову, племянницу Егора Егорыча? — спросил он.

— Слышала, она вышла замуж! — проговорила gnädige Frau.

— Это, черт ее дери, пускай бы выходила, но тут другая штука, — за кого именно она вышла?

— За управляющего своего!

— И то бы ничего, хоть бы за конюха! — восклицал Сверстов.— Но она вышла за Василия Иваныча Тулузова!

— За Тулузова? — повторила gnädige Frau.— Это такая фамилия у теперешнего ее мужа?

— Такая! — отвечал с злобой в голосе Сверстов.

Gnädige Frau не совсем, впрочем, понимала, что именно хочет сказать доктор и к чему он клонит разговор.

— Ты поэтому и раскуси, в чем тут загвоздка! — дополнил он ей.

Gnädige Frau соображала. Она далеко стала не столь проницательна, как была прежде.

— Я ничего не могу тут раскусить; полагаю только, что Катерина Петровна вышла не за того Василия Иваныча Тулузова, которого мы знали, потому что он давно убит.

— Да-с, но паспорт его не убит и существует, и которого, однако, при освидетельствовании трупа, так же, как и денег, не нашли... Неужели же тебе и теперь не ясно?

Но для gnädige Frau теперь уже все было ясно, и она, только по своей рассудительности, хотела мужу сделать еще несколько вопросов.

— Стало быть, ты думаешь, что здешний Тулузов — убийца мальчика Тулузова? — произнесла неторопливо и все еще сомневающимся тоном gnädige Frau.

— А у кого же у другого мог очутиться его паспорт и кому нужно было им воспользоваться, как не убийце?

Gnädige Frau была с этим несогласна.

— Воспользовавшись, он скорей всего изобличил бы

себя тем!.. Ему было бы безопаснее жить с своим паспортом, — сказала она.

— Да собственного-то виду у него, может быть, и не было!.. Он, может быть, какой-нибудь беглый!.. Там этаких господ много проходит! — объяснил, в свою очередь, тоже довольно правдоподобно, Сверстов.— Мне главным образом надобно узнать, из какого именно города значится по паспорту господин Тулузов... Помнишь, я тогда еще сказал, что я, и не кто другой, как я, открою убийцу этого мальчика!

— А Егору Егорычу ты будешь говорить об этом? — спросила gnädige Frau.

— Пока еще нет, а потом, как запасусь документиком, скажу.

— Ты при этом не забудь, что это будет ему очень неприятно узнать!.. Madame Ченцова — его племянница и вышла замуж... за кого?.. Сам ты посуди!

— Что ж из того, что она племянница ему? — почти крикнул на жену Сверстов.— Неужели ты думаешь, что Егор Егорыч для какой бы ни было племянницы захочет покрывать убийство?.. Хорошо ты об нем думаешь!.. Тут я думаю так сделать... Слушай внимательно и скажи мне твое мнение!.. Аггей Никитич упомянул, что Тулузов учителем был, стало быть, сведения об нем должны находиться в гимназии здешней... Так?..

— Так! — подтвердила gnädige Frau.

— Слушай далее: директор тут Артасьев... Он хоть и незнаком лично со мной, но почти приятель мой по Пилецкому... Так?..

— Я не знаю, так ли это! — возразила gnädige Frau.

— Да так!.. Что это?.. Во всем сомнение! — воскликнул с досадой Сверстов.— Егор же Егорыч — не теряй, пожалуйста, нити моих мыслей! — едет на баллотировку... Я тоже навяжусь с ним ехать, да там и явлюсь к Артасьеву... Так, мол, и так, покажите мне дело об учителе Тулузове!..

— Но тебе, вероятно, не дадут этого дела,— заметила gnädige Frau.

— Почему же не дадут? Что ты такое говоришь? Государственная тайна, что ли, это? — горячился Сверстов.— Ведь понимаешь ли ты, что это мой нравственный долг!.. Я клятву тогда над трупом мальчика дал, что я разыщу убийцу!.. И как мне бог-то поспособствовал!.. Вот

уж справедливо, видно, изречение, что кровь человеческая вопиет на небо...

— Конечно! — согласилась с этим gnädige Frau.

— Ну, значит, об этом и говорить больше нечего, а надобно действовать,— заключил Сверстов.

Пока таким образом происходила вся эта беседа в зале, Егор Егорыч, вспомнивший, что Аггей Никитич хотел ему что-то такое сказать по секрету, предложил тому:

— Не желаете ли вы уйти со мной в мою комнату?

— Весьма желал бы! — отвечал Аггей Никитич, вздохнув, как паровой котел.

— Прошу вас! — сказал на это Егор Егорыч и увел гостя в свою спальню, где Аггей Никитич, усевшись против хозяина, сейчас же начал:

— Вы, Егор Егорыч, спрашивали меня, чем я остался недоволен на ревизии?.. Собственно говоря, я прежде всего недоволен сам собою и чувствую, что неспособен занимать место, которое получил по вашей протекции, и должен оставить его.

Егор Егорыч был сильно удивлен, услышав такое решение Аггея Никитича.

— Вследствие чего вы думаете, что неспособны? — сказал он немножко с сердцем.

— Вследствие того-с,— начал Аггей Никитич неторопливо и как бы обдумывая свои слова,— что я, ища этого места, не знал себя и совершенно забыл, что я человек военный и привык служить на воздухе, а тут целый день почти сиди в душной комнате, которая, ей-богу, нисколько не лучше нашей полковой канцелярии, куда я и заглядывать-то всегда боялся, думая, что эти стрекулисты-писаря так тебе сейчас и впишут в формуляр какую-нибудь гадость... Потом считай чужие деньги, а я и своих никогда не умел хорошенько считать, и в утешение кури себе под нос сургучом!..

— Все это вздор-с!.. Пустяки!.. Одно привередничанье ваше!.. Что это такое?.. Сургуч?.. Привык служить на воздухе? Это чепуха какая-то! — уже закричал на Аггея Никитича Егор Егорыч, рассерженный тем, что он рекомендовал Зверева как чиновника усердного и полезного, а тот, прослужив без году неделю, из каких-то глупых причин хочет уж и оставить службу.

Аггей Никитич, в свою очередь, хоть и понимал, что он действительно в оправдание своего решения оставить

службу губернского почтмейстера нагородил какой-то чуши, но, тем не менее, от самого решения своего, заметно, не отказывался.

— Может быть, вы имеете в виду другую должность? — принялся его расспрашивать Егор Егорыч.

— Никакой! — произнес Аггей Никитич.

— Но чем же вы будете заниматься, оставив вашу службу?

— Буду заниматься масонством! — объяснил Аггей Никитич.

Егор Егорыч при этом невольно усмехнулся.

— Масонство нисколько вам не помешает служить! — пробормотал он.— Состояния вы не имеете...

— Имею-с... потому что пенсию буду получать,— вздумал было возразить Аггей Никитич.

— Но велика ли эта пенсия!.. Гроши какие-то! — воскликнул Егор Егорыч.— И как же вам не представляется мысль, что вы для семьи, для жены вашей должны еще пока трудиться? — начал было Егор Егорыч продолжать свои поучения, но при словах: «для жены вашей», Аггей Никитич вдруг выпрямился на своем кресле и заговорил сначала глухим голосом, а потом все более и более возвышающимся:

— Жена-то моя и мешает мне продолжать мою службу! Она очень уж хорошо узнала, как следует в почтамте служить, лучше даже, чем я, и начала там распоряжаться чересчур свободно... Перед тем, как мне ехать на ревизию, Миропе Дмитриевне угодно было (при этом Аггей Никитич потер у себя под глоткой, как бы затем, чтобы утишить схвативший его горло спазм) ...угодно было,— повторил он,— поручить всем ямщикам, всем почтальонам, чтобы они в каждой почтовой конторе говорили, что это еду я, мое высокоблагородие, начальник их, и чтобы господа почтмейстеры чувствовали это и понимали, так как я желаю с них хапнуть!..

Таким рассказом Егор Егорыч был сильно озадачен.

— И вы достоверно это знаете? — спросил он.

— Достоверно-с,— отвечал Аггей Никитич, иронически усмехнувшись,— так как в каждом уездном городе ко мне являлся обыкновенно почтмейстер и предлагал взятку, говоря, что он делает это по моему требованию, которое передано им от моей супруги через почтальона... Я говорю все это так откровенно вам, Егор Егорыч, потому

что мне решительно не с кем посоветоваться о таком моем большом горе!

— Но что же, ваша жена глупа, что ли? — спросил негромко Егор Егорыч.

— Напротив,— отвечал тоже вполголоса Аггей Никитич,— но хитра и жадна на деньги до невозможности... Видеть этих проклятых денег равнодушно не может, задрожит даже; и так она мне этим опротивела, что я развестись бы с ней желал!

— Разве это возможно и благородно! — снова прикрикнул на него Егор Егорыч.— Вы забываете, что она, может быть, дочь какого-нибудь небольшого необразованного чиновника, а потому в семье своей и посреди знакомых звука, вероятно, не слыхала, что взятки — мерзость и дело непозволительное!

— Нет-с, это не от семьи зависит, а человеком выходит! — воскликнул Аггей Никитич.— У нас, например, некоторые ротные командиры тоже порядочно плутовали, но я, видит бог, копейкой казенной никогда не воспользовался... А тут вдруг каким хапалом оказался!.. Просто, я вам говорю, на всю мою жизнь осрамлен!.. Как я там ни уверял всех, что это глупая выдумка почтальонов, однако все очень хорошо понимают, что те бы выдумать не смели!

— Если вы и осрамлены, так не на долгое время,— стал его утешать Егор Егорыч,— ведь поймут же потом, что вы не такие.

— А как поймут? Я, конечно, буду не такой, а другой, каким я всегда был, но за супругу мою я не поручусь... Она потихоньку от меня, пожалуй, будет побирать, где только можно... Значит, что же выходит?.. Пока я не разойдусь с ней, мне нельзя служить, а не служить — значит, нечем жить!.. Расходиться же мне, как вы говорите, не следует, и неблагородно это будет!..

— Не следует! — повторил Егор Егорыч.— Прежде надобно было об этом думать, когда вы женились на ней!

— Я думал, Егор Егорыч, много думал, но справедливо говорят, что женщины хитрее черта... Хоть бы насчет тех же денег... Миропа Дмитриевна притворилась такой неинтересанткой, что и боже ты мой, а тут вот что вышло на поверку. Вижу уж я теперь, что погиб безвозвратно!

— Почему же погибли? — продолжал утешать Аггея Никитича Егор Егорыч.— Вы такой добрый и душевный человек, что никогда не погибнете, и я вот теперь приду-

мываю, какое бы вам другое место найти, если это, кроме семейных причин, и не по характеру вам.

— Совершенно не по характеру,— отозвался Аггей Никитич.

— А место исправника, которое, полагаю, вам будет больше по душе, вы взяли бы?

— Конечно бы, взял, но супруга моя и тут, чего доброго, что-нибудь натворит!

— Нет, уж она тут у меня ничего не натворит: я вмешаюсь в вашу семейную жизнь!.. Миропа Дмитриевна, сколько я мог это заметить, побаивается меня немножко.

— И очень побаивается! — подхватил Аггей Никитич.— Вы мне истинное благодеяние окажете, если повлияете на нее, потому что, прямо вам говорю, мне, по моему характеру, не совладать с ней.

— Вижу,— произнес с многодумчивым выражением в лице Егор Егорыч,— и потому вот я какой имел бы план... Не знаю, понравится ли он вам... Вы останетесь погостить у меня и напишете вашей жене, чтобы она также приехала в Кузьмищево, так как я желаю поближе с ней познакомиться... Приедет она?

— Непременно приедет!.. Я сам что-то вроде этого думал, но не смел обременять вас! — произнес радостно Аггей Никитич.

— Но только наперед знайте, что я буду к жене вашей безжалостен и с беспощадностью объясню ей все безобразие ее поступков! — дополнил Егор Егорыч.

— Чем беспощаднее, тем лучше,— воскликнул на это почти ожесточенным голосом Аггей Никитич,— потому что если наказать Миропу Дмитриевну, чего она достойна по вине своей, так ее следует, как бывало это в старину, взять за косу да и об пол!

— Ну, и без косы обойдемся и объясним ей! — остановил его Егор Егорыч.

XIII

Решившись отдать свою супругу под начал и исправление, Аггей Никитич в ту же ночь отправил с привезшим его ямщиком письмо к ней довольно лукавого свойства в том смысле, что оно было, с одной стороны, не слишком нежное, а с другой — и не слишком суровое. Он писал, чтобы Миропа Дмитриевна непременно при-

ехала в Кузьмищево в тех видах, что Егор Егорыч, их прежний, да, вероятно, и будущий благодетель, желает поближе с ней познакомиться; но о том, зачем собственно Миропу Дмитриевну выписывали, он ни одним словом ей не намекнул. Миропа Дмитриевна, как и заранее можно было предполагать, не заставила себя долго ожидать, и через день же, когда в Кузьмищеве только что сели за обед, она подкатила к крыльцу в коляске шестериком, с колокольцами и даже с почтальоном на запятках. Такой парад в ее поезде был весьма натурален, потому что, по званию губернской почтмейстерши, Миропа Дмитриевна не могла же трястись за сто с лишком верст в какой-нибудь бричке, тем более, что коляску и лошадей ей предложил почтосодержатель совершенно бесплатно. Едучи всю дорогу в приятном настроении духа, она ожидала, что осчастливит всех в Кузьмищеве своим приездом, но, к великому своему удивлению, на первых же шагах заметила, что Аггей Никитич, кажется, так давно с ней не видавшийся, смотрит на нее озлобленно; Егор же Егорыч едва ей поклонился, и одна Сусанна Николаевна как бы несколько поприветливее встретила ее и усадила за обеденный стол; но и тут Миропа Дмитриевна очутилась в несколько неловком положении, оттого что она не была познакомлена с gnädige Frau, и, будучи посажена с сею последнею рядом, Миропа Дмитриевна не ведала, кто такая эта дама: родственница ли Марфиных, знакомая их, или просто экономка, а потому решительно не знала, как себя держать с gnädige Frau. Тотчас после обеда Егор Егорыч сказал потихоньку Сусанне Николаевне:

— Ты меня оставь на несколько времени с глазу на глаз с Миропой Дмитриевной и с мужем ее!

— А что они? — спросила та.

— Ссорятся, помирить надо!

Gnädige Frau и Сверстова он также попросил не входить в гостиную, когда он будет там разговаривать с приезжей гостьей.

— Не входить? — спросила его при этом шутливо gnädige Frau.— У вас, значит, шуры-муры с ней и вы хотите поэтому мне изменить?

— Хочу, хочу, пора!.. Давно уж любимся.

— Давно, но только очень холодно,— я нахожу, очень холодно! — шутила, уходя, gnädige Frau.

— Ах ты, старая грешница! — говорил шедший вслед за ней муж.

— Вы-то пуще праведник! — отозвалась gnädige Frau.

Здесь я не могу не заметить, что сия почтенная дама с течением годов все более и более начала обнаруживать смелости и разговорчивости с мужчинами и даже позволяла себе иногда весьма и весьма вольные шутки, что происходило, конечно, потому, что кто же по летам и наружности gnädige Frau мог ее заподозрить в чем-нибудь?!

Когда таким образом оставленная дамами Миропа Дмитриевна очутилась в гостиной с глазу на глаз с Егором Егорычем и своим мужем, то это ей показалось новым оскорблением и большой невежливостью со стороны Сусанны Николаевны. Кроме того, она смутно предчувствовала, что ей угрожает нечто худшее.

Предчувствие Миропы Дмитриевны вскоре исполнилось. Егор Егорыч, не любивший ничего откладывать в дальний ящик, заговорил, относясь к ней довольно суровым тоном:

— Супруг ваш очень недоволен ревизией, которую он произвел по своему ведомству!

— Недоволен? Но он мне ничего не писал о том! — проговорила Миропа Дмитриевна, удивленная, что Егор Егорыч с ней начал такой разговор.— И чем же ты тут недоволен? — обратилась она тоже строго к Аггею Никитичу.

— А вот тебе Егор Егорыч скажет, чем я тут недоволен! — произнес многознаменательно Аггей Никитич. Он сваливал в этом случае ответ на Егора Егорыча не по трусости, а потому, что приливший к сердцу его гнев мешал ему говорить.

— Аггей Никитич недоволен в этой ревизии не столько своими подчиненными, сколько вами! — рубнул напрямик Егор Егорыч и тем же неумолимо-строгим голосом.

Миропа Дмитриевна тайно смутилась, но, скрыв это, проговорила спокойно и с некоторою даже гордостью:

— Я никаким образом и ни при какой ревизии моего мужа не могу быть виновна!

— Не запирайтесь, а лучше покайтесь! — воскликнул Аггей Никитич.

— Покайтесь,— повторил за ним и Егор Его-

рыч,— и мы вместе подумаем, как поправить учиненную вами беду!

Из этих намеков мужа и Егора Егорыча Миропа Дмитриевна хорошо поняла, что она поймана с поличным, и ею овладело вовсе не раскаяние, которое ей предлагали, а злость несказуемая и неописуемая на своего супруга; в ее голове быстро промелькнули не мысли, нет, а скорее ощущение мыслей: «Этот дурак, то есть Аггей Никитич, говорит, что любит меня, а между тем разблаговещивает всем, что я что-то такое не по его сделала, тогда как я сделала это для его же, дурака, пользы, чтобы придать ему вес перед его подчиненными!» Повторяемый столь часто в мыслях эпитет мужу: *дурак и дурак* — свидетельствовал, что Миропа Дмитриевна окончательно убедилась в недальности Аггея Никитича, но, как бы там ни было, по чувству самосохранения она прежде всего хотела вывернуться из того, что ставят ей в обвинение.

— Я очень бы готова была покаяться перед вами, если бы знала, в чем вы меня укоряете,— отнеслась она, не обращая внимания на мужа, исключительно к Егору Егорычу.

— Вас обвиняют в том, что перед тем, как ваш муж поехал ревизовать почтмейстеров, вы через почтальонов всем им объявили, что это едет их начальник, к которому они должны являться с приношениями!.. Что это такое?.. Назовите мне ваш поступок и научите меня, как мне именовать его? — кричал Егор Егорыч.

— Да, пусть она сама наименует свои деянья и скажет, чего она достойна за них! — кричал и Аггей Никитич.

Хорошо, что Миропа Дмитриевна была не из таких дам, чтобы ее можно было очень запугать, а потому, как ни дерзко отнеслись к ней этот крикун Егор Егорыч, а также и дурак супруг ее, она не потерялась окончательно и успела придумать довольно благовидное объяснение своей проделки.

— Теперь я понимаю! — заговорила она, почти смеясь.— Это точно, что я раз одному почтальону, хоть тут стояли и другие почтальоны, сказала, что Аггей Никитич — начальник всех почтмейстеров, и пускай они его примут с уважением!

— Но вы и этого не должны были делать! — крикнул на нее Егор Егорыч.— Женщины рождены не для того,

чтобы распоряжаться в служебных делах мужа, а чтобы не огорчать мужей, возбуждать в них благородные чувства по общественной деятельности, утешать и успокоивать мужа в случае несправедливых невзгод!

— А разве я не делала того? — сказала кротким голосом Миропа Дмитриевна.— Не делала это я?.. Признайся! — обратилась она уже к мужу, но тот, однако, ей на это ничего не ответил.

— Видит бог,— продолжала Миропа Дмитриевна,— я всего только раз и провинилась или, лучше, не сообразила хорошенько по своей торопливости!

— Вы вот поторопились и не сообразили, а муж ваш должен из-за этого оставить службу!

Тут уж Миропа Дмитриевна серьезно и сильно испугалась.

— Разве ты хочешь оставить службу? — спросила она трепетным голосом.

— Непременно! — отвечал Аггей Никитич.

— Но ты после этого с ума сошел! — проговорила Миропа Дмитриевна, едва сдерживая себя.

— Это не сумасшествие, а тонкое чувство чести! — подхватил за Аггея Никитича Егор Егорыч.— Ему стыдно теперь встретиться со своими подчиненными, которые все-таки могут подозревать его!

— Но тогда нам будет нечем жить!.. Егор Егорыч, сжальтесь вы над нами! — обратилась Миропа Дмитриевна уже со слезами на глазах к Егору Егорычу.

— Я ему найду другое место,— его исправником сделают! — отвечал Марфин.

Миропа Дмитриевна еще более испугалась.

— Но это место,— осмелилась она заметить,— гораздо ниже того, которое Аггей Никитич теперь занимает.

— Не ваше дело разбирать, какие места выше или ниже! — опять остановил ее резко Егор Егорыч.— На всяком маленьком месте можно стоять высоко, служа честно и бескорыстно!

«Хорошо тебе, старому черту, рассуждать о бескорыстии, когда у тебя с лишком тысяча душ!» — подумала она, но вслух ничего не произнесла, а, напротив, до поры до времени постаралась как можно дальше спрятать в душе своей волновавшие ее чувствования.

Егор же Егорыч, в свою очередь, тоже опасаясь, чтобы не очень уж расстроить Миропу Дмитриевну, не стал

более продолжать и, позвонив, приказал вошедшему Антипу Ильичу пригласить в гостиную Сусанну Николаевну, которая, придя и заметив, что Миропа Дмитриевна была какая-то растерянная, подсела к ней и начала расспрашивать, как той нравится после Москвы жизнь в губернском городе.

— Ах, очень, очень! — отвечала Миропа Дмитриевна.— Тем больше, что последнее время я чрезвычайно сошлась с тамошним обществом, и очень жаль будет мне, если нам куда-нибудь придется уехать.

Вслед за Сусанной Николаевной вскоре появились доктор и gnädige Frau, и устроилась партия в вист, в которой Миропа Дмитриевна тоже приняла участие. Играли она, Сверстовы и Сусанна Николаевна, которая до такой степени ошибалась в ходах, что все ее партнеры, несмотря на глубокое к ней уважение, беспрестанно выговаривали ей.

Егор Егорыч, сидевший близко к Аггею Никитичу, наклонился к нему и, показывая глазами на Миропу Дмитриевну, шепнул:

— Кажется, ничего, обошлось, слава богу, хорошо!

Аггей Никитич, бывший, как темная ночь, отрицательно мотнул головой.

— Маска, притворство! — сказал он тихо.

— Во всяком случае, вы скажите ей, что я говорил не из зла на нее, а скорей из любви, и пусть бы она не сердилась.

— Этим ее не урезонишь, она сердита теперь на всех, а всего больше на меня! — проговорил Аггей Никитич.

Такого рода предположение его, кажется, подтвердилось вполне. По деревенским обычаям, обоим супругам была отведена общая спальня, в которую войдя после ужина, они хоть и затворились, но комнатная прислуга кузьмищевская, долго еще продолжавшая ходить мимо этой комнаты, очень хорошо слышала, что супруги бранились, или, точнее сказать, Миропа Дмитриевна принялась ругать мужа на все корки и при этом, к удивлению молодых горничных, произнесла такие слова, что хоть бы в пору и мужику, а Аггей Никитич на ее брань мычал только или произносил глухим голосом:

— Да полно, перестань, ведь ты в чужом доме!

Но Миропа Дмитриевна не переставала, и видимо, что она утратила всякую власть над собою.

В результате столь приятно проведенной ночи Аггей Никитич совсем какой-то бронзовый вошел к Егору Егорычу поутру, едва лишь тот поднялся, и объявил ему, что он должен уехать.

— Что же, плохо? — спросил Егор Егорыч.

— Ничего особенного, только настаивает, чтобы я остался губернским почтмейстером, но только это attendez,[1] madame, и я вас об одном, благодетель мой, умоляю: приехать на баллотировку и спасти меня, несчастного!

— Буду, буду! — затараторил Егор Егорыч, но сейчас же и смолк, потому что в это время к нему вошли Сусанна Николаевна и Миропа Дмитриевна.

Последняя тоже имела довольно желтоватый цвет лица.

— Я пришла к вам проститься! — сказала она Егору Егорычу.— И попросить у вас прощения во всем и во всем!

— Во всем и во всем вас прощаю! — ответил ей тот и поцеловал у нее руку.

Супруги скоро уехали; в дороге между ними ссора продолжалась до такой степени сильно и такими голосами, что везшие их ямщики и стоявший на запятках почтальон по временам ожидали, что господа начнут драться, и все больше барыня, которая так и наскакивала на барина.

XIV

Дворянские выборы в нынешний год имели более торжественный характер, чем это бывало прежде. Произошло это оттого, что был окончательно устроен и отделан новый дом дворянского собрания. Губернский предводитель, заведовавший постройкой совместно с архитектором, употреблял все усилия сделать залу собрания похожею на залу Всероссийского московского дворянского собрания. Конечно, это осталось только попыткой и ограничивалось тем, что наверху залы были устроены весьма удобные хоры, поддерживаемые довольно красивыми колоннами; все стены были сделаны под мрамор; но для губернии, казалось бы, достаточно этого, однако нашлись злые языки, которые стали многое во вновь отстроенном доме

---

[1] подождите, *(франц.)*

осуждать, осмеивать, и первые в этом случае восстали дамы, особенно те, у которых были взрослые дочери: они в ужас пришли от ажурной лестницы, которая вела в залу.

— Но как же мы, женщины, будем ходить по этой лестнице? — восклицали они.— Там, вероятно, под ней будут стоять лакеи!

Когда об этом дошло до губернского предводителя, то он поспешил объехать всех этих дам и объявил, что лакеям не позволят находиться под лестницей и, кроме того, по всей лестнице будет постлан ковер. Дамы успокоились, но тогда некоторые из мужчин, по преимуществу поклонники Бахуса, стали вопиять насчет буфета:

— Черт знает что такое,— говорили они,— буфет меньше курятника!.. Где ж нам сидеть?.. Не в танцевальной же зале торчать за спинами наших супруг?.. Будет уж, налюбовались этим и дома!

По поводу дамской уборной было даже сочинено кем-то четверостишие. Дело в том, что на потолке этой уборной была довольно искусно нарисована Венера, рассыпающая цветы, которые как бы должны были упасть с потолка на поправляющих свой туалет дам и тем их еще более украсить,— мысль сама по себе прекрасная, но на беду в уборной повесили для освещения люстру, крючок которой пришелся на средине живота Венеры, вследствие чего сказанное стихотворение гласило: *«Губернский предводитель глуп, ввинтил Венере люстру в пуп»*. Приличие не дозволяет мне докончить остальных двух стихов. Но как бы то ни было, несмотря на такого рода недоумения и несправедливые насмешки, труды губернского предводителя были оценены, потому что, когда он, собрав в новый дом приехавших на баллотировку дворян, ввел их разом в танцевальную залу, то почти все выразили восторг и стали, подходя поодиночке, благодарить его: подавать адресы, а тем более одобрительно хлопать, тогда еще было не принято. В ответ на изъявленную благодарность губернский предводитель, подняв голову, произнес:

— Главным образом, господа, я желаю, чтобы вы обратили ваше внимание на хозяйственность произведенной мною постройки и доверчиво взглянули на представленный мною по сему предмету отчет! — При этом он вынул из кармана заранее им написанный на почтовой бумаге отчет и хотел его вручить кому-нибудь из дворян; но в этот момент громко раздался крик стоявших около него лиц:

— Мы не желаем вашего отчета!.. Мы не желаем вас считать!.. Мы верим вам!..

Вслед за тем повторились подобные возгласы и в других, более отдаленных группах и закончились почти басистым ревом: «Мы не желаем вас считать!» Бас этот вряд ли не принадлежал секретарю депутатского собрания. Часам к двенадцати, как водится, приехал губернатор и, войдя на небольшое возвышение, устроенное в одном конце зала, произнес краткую речь:

— Господа дворяне! Вам, конечно, понятна вся великость дарованного вам права выбирать из среды себя лиц на службу государю и отечеству, и я сохраняю твердую уверенность, что при выборах вы будете руководиться одним желанием выбирать достойнейших. Объявляю собрание открытым!

Затем, ловко сойдя с возвышения и кланяясь налево и направо, губернатор уехал; губернский же предводитель, войдя на то же возвышение, предложил дворянам начать баллотировку по уездам. Толпа стала разделяться и сосредоточиваться около своих столиков.

В продолжение всего предыдущего времени Егора Егорыча как-то было не видать в зале, но едва только началась баллотировка, как он появился и прямо прошел к столу, около которого стоял также и Тулузов в мундире дворянина, с Владимиром на груди, получивший выборный шар от жены своей.

— Я между прочим, дворянин и вашего уезда! — сказал Марфин стоявшему около стола уездному предводителю.

— Кто ж не знает этого? — отвечал тот с некоторой улыбкой.

— Ваш исправник не желает более служить! — продолжал Егор Егорыч.

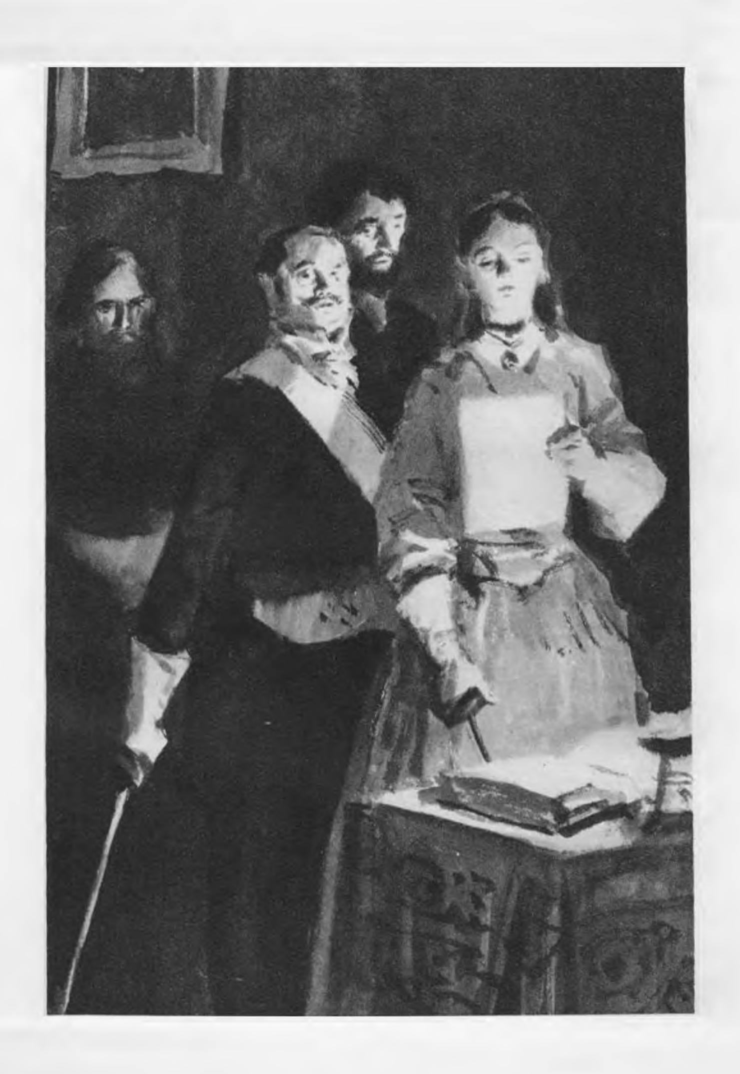
— К сожалению! — подтвердил предводитель.

— А потому на место его я предлагаю выбрать честнейшего человека — здешнего губернского почтмейстера, господина Зверева!

Такое заявление Егора Егорыча заметно удивило всех.

— Господин Зверев, занимая столь видную должность, желает, однако, служить по выборам, и мы должны оценить это! — заключил Егор Егорыч.

— Мы это, конечно, оценим! — произнес первый предводитель.





— Оценим-с! — повторили и другие дворяне его уезда.

И Зверев в то же утро был избран белыми шарами, с одним лишь черным, который, как все догадались, положил ему Тулузов.

Самого Аггея Никитича в это время не было в зале, но зато была на хорах Миропа Дмитриевна, которая, как лист осиновый, трепетала. Что собственно говорил Егор Егорыч, она не расслушала, но слова уездного предводителя: «Господин Зверев выбран большинством»! — до нее ясно долетели. Забыв всякое приличие, Миропа Дмитриевна как-то злобно взвизгнула и впала в настоящую, неподдельную истерику. Gnädige Frau, приехавшая вместе с мужем и Марфиным в губернский город на баллотировку и тоже бывшая на хорах, первая бросилась к Миропе Дмитриевне и хотела было ее отпаивать водою, но Миропа Дмитриевна одно лишь повторяла: «Домой, домой!». Избрание мужа в исправники рушило последнюю ее надежду: посредством брани, проклятий и слез она добилась от Аггея Никитича обещания, что если его забаллотируют, так он останется некоторое время губернским почтмейстером, но если выберут, так уж атанде!

Пока все это происходило, Сверстов, очень мало занятый собственно баллотировкой, преследовал главную свою цель и несколько раз заезжал к Артасьеву, которого, к великому горю, все не заставал дома. Наконец однажды он поймал его, и то уже когда Иван Петрович приготовлялся уехать и был уже в передней, продевая руку в рукав шубы, которую подавал ему гимназический сторож. Сверстов назвал свою фамилию и объяснил, что он именно тот доктор, который лечил Пилецкого.

— Ах, боже мой! — воскликнул Артасьев, проворно выдергивая свою руку из рукава шубы.— Как я рад, как я рад; но я уезжаю по самонужнейшему делу: у нас есть возможность завести при гимназии пансион, и все мы никак не можем столковаться, как нам устроить это... Я через четверть часа непременно должен быть у губернского предводителя, и можете вообразить себе, какой тут важный вопрос! Вопрос, получат или нет воспитание несколько мальчиков!

Сверстов был достаточно прозорлив, чтобы сразу же понять, какого сорта человек был Артасьев, а потому он начал прямо:

— Мне собственно нужно не к вам, а в канцелярию

вашу, чтобы получить справку по делу о получении у вас господином Тулузовым звания учителя. Ведь у вас в гимназии он был удостоен этого звания?

— Не помню, голубчик, не помню! — восклицал Иван Петрович и, нисколько не подумав, зачем нужна Сверстову какая-то справка о Тулузове, а также совершенно не сообразив, что учитель Тулузов и Тулузов, ныне ладящий попасть в попечители гимназии, одно и то же лицо, он обратился к сторожу, продолжавшему держать перед ним шубу, и приказал тому:

— Шумилов, сведи господина доктора в канцелярию и скажи письмоводителю, чтобы он выдал ему все, о чем он просит! — Затем, расцеловавшись с Сверстовым и порядком обслюнявив его при этом, уехал.

Шумилов, хоть и смело, но, по случаю маленькой булавочки в голове, не совсем твердо ступая, повел доктора в канцелярию, где тот увидел в поношенном синем вицмундире подслеповатого чиновника, с лицом, вероятно, вследствие близорукости, низко опущенным над бумагою, которую он писал, имея при этом несколько высунутый направо язык, что, как известно, делают многие усердные писцы.

— Иван Петрович приказали дать им всякие бумаги! —почти крикнул на него явно уже пьяным голосом Шумилов, так что чиновник даже вздрогнул и вслед за тем, увидав перед собой высокую фигуру Сверстова, робко проговорил:

— Какие, собственно, бумаги вам угодно?

— Мне нужно иметь справку об учителе Тулузове.

— Об учителе Тулузове! — повторил сам с собой письмоводитель, как бы стараясь припомнить.— Это дело, если я не ошибаюсь, тридцать шестого года! — заключил он и, подойдя к одному из шкапов, прямо вынул из него дело Тулузова. Видимо, что сей скромный чиновник был наделен от природы весьма хорошею памятью.

Доктор, как коршун на добычу, бросился на поданное ему дело и на одной из первых же страниц его увидал паспорт Тулузова, выданный в 1835 году 5 января из казначейства того именно городка, в котором Сверстов тогда служил.

— Не можете ли вы мне дать с этого билета копию? — сказал он, сильно опасаясь, что письмоводитель откажет ему в его просьбе, но тот, быв, видно, столь же

простодушен, как и начальник его, отвечал покорным голосом:

— Отчего же? Можно! — и затем принялся переписывать копию с билета Тулузова, каковую скрепил своим подписом: «с подлинным верно», и приложил к ней, сверх того, казенную гимназическую печать.

Положив в карман этот документ и поехав домой, Сверстов с восторгом помышлял, как он через короткое время докажет, что Тулузов не Тулузов, а некто другой, и как того посадят за это в тюрьму, где успеют уличить его, что он убийца бедного мальчика. Несмотря на свои седые волосы, доктор, видно, мало еще знал свою страну и существующие в ней порядки.

Но вот наконец приблизился и день выбора Тулузова в попечители гимназии. Дворянство собралось ровно в назначенный час и, видимо, было в возбужденном состоянии. Посреди этой разнообразной толпы величаво расхаживал Егор Егорыч в своем отставном гусарском мундире и с усами, как-то более обыкновенного приподнятыми вверх. Не нужно было иметь большого дара наблюдения, чтобы в этом маленьком человечке узнать главного вождя баллотировки, на которой он мог сделать все, что пожелал бы. Между тем в глубине одного из окон стояли: губернский предводитель, Иван Петрович Артасьев и Тулузов. Выражение лица последнего было какое-то озлобленное и насмешливое. До него уже стали доходить слухи, что Марфин поклялся закатать его черняками.

— Тем хуже для дворянства это будет! Тогда я им вместо пятидесяти тысяч на пансион покажу шиш! — отвечал на это Тулузов.

В настоящем случае разговор шел тоже об этом предмете.

— Я понять не могу, почему дворянство упирается и не хочет этого? — говорил Иван Петрович, топорщась и покачивая своим уже не красным, а фиолетовым носом.

— Причина весьма понятна! — объяснил губернский предводитель.— Василий Иваныч не внес еще, как предписало ему министерство, денег в дворянский комитет.

Лицо Тулузова исказилось при этом злой улыбкой.

— Мне, как частному человеку, никакое министерство

не может предписывать,— сказал он,— а не вношу я деньги потому, что не уверен, буду ли выбран, и тогда зачем же я брошу на ветер пятьдесят тысяч!

— Понимаю вас и, будучи столько обязан Катерине Петровне, конечно, я стою за вас и буду всегда стоять; но что ж мне делать, когда все почти в один голос мне возражают: «Положим, мы его выберем, а он не внесет денег?»

— Да как это возможно? — воскликнул на это Иван Петрович.

— Полагаю, что невозможно! — подхватил с прежней усмешкой Тулузов.— Я тогда лицо официальное становлюсь!.. Если не по чувству чести, то из страха не пожелаю этого сделать!

— И с этим я согласен, но что ж прикажете делать, когда не убеждаются? — произнес, пожимая плечами, губернский предводитель.— Я вчера в клубе до трех часов спорил, и это, как потом я узнал, делается по влиянию вот этого господина! — заключил он, показывая глазами на проходившего невдалеке Марфина.

— Его! — подтвердил и Тулузов.

— Тогда я пойду и попрошу его... Он поверит! — произнес Иван Петрович и тотчас же подошел к Марфину.

— Друг любезный! — закричал он на всю залу.— Не противодействуйте выбору господина Тулузова!.. Он нам благодеяние делает,— пятьдесят тысяч жертвует на пансион для мальчиков!

Егор Егорыч погрозил ему на это пальцем и проговорил наставническим тоном:

— Иван Петрович, не забывайте поговорки: «Не ходи с хмельным под ручку, а то сам хмелен покажешься!»

— Ну, что такое это?.. Я не понимаю,— хмельной с хмельным?— продолжал было Иван Петрович, но Егор Егорыч не стал слушать, а, повернувшись назад, подошел к губернскому предводителю.

— Я слышал, что дворянство нуждается в пансионе при гимназии?.. Я готов устроить его на свой счет в размере пятидесяти тысяч!..

— Благодетель вы наш, благодетель! — завопил подошедший на эти слова Иван Петрович, которому было все равно, у кого бы ни заручиться денежками в пользу мальчуганов.

Поблагодарил Марфина также и губернский предво-

дитель, но довольно сухо. Егор Егорыч, впрочем, нисколько этого и не заметил.

— Завтрашний день буду иметь честь представить собранию пожертвованные мною деньги! — проговорил он и пошел опять вдоль залы. Иван Петрович тоже пошел за ним, желая еще раз поблагодарить и расцеловать, что в переводе значило обслюнявить.

Губернский предводитель, оставшись у окна с Тулузовым, не преминул ему сказать заискивающим голосом:

— Вы извините меня-с, я ничего не мог тут сделать в вашу пользу,— сами видите, какая тонкая тут интрига подведена!

— Да-с, конечно,— отвечал Тулузов, не оставляя своей злой усмешки.— Я только прошу вас мое заявление о желании баллотироваться возвратить!.. Я не желаю быть избираемым!

— Все-таки попробовали бы! — проговорил губернский предводитель, но явно уже для виду только.

— Нет, не желаю! — повторил Тулузов и вместе с тем взглянул на хоры, на которых была Екатерина Петровна в довольно взволнованном состоянии. Он ей сделал знак, чтобы она сошла оттуда. Екатерина Петровна поняла его и стала сходить; он встретил ее у лестницы и проговорил:

— Поедемте домой!

— Разве твоя баллотировка произойдет без тебя?

— Моей баллотировки не будет! Я отказался баллотироваться!

— Отчего?

— Марфин устроил интригу против меня и даже пожертвовал пятьдесят тысяч дворянству, чтобы только я не был выбран!

— Но по какому же поводу он все это делает?

— Вероятно, из мести к вам и ко мне за племянника. Впрочем, об этих господах не стоит и говорить,— я найду себе деятельность, которая доставит мне и чины и деньги.

Екатерина Петровна ничего на это не возразила: она очень хорошо понимала, что ее супруг успеет пробить себе дорогу.

В собрании между тем происходил шум. Все уже успели узнать, что вместо Тулузова Егор Егорыч пожертвовал пятьдесят тысяч на пансион, и когда губернский предводитель подошел к своему столу и объявил, что господин Тулузов отказался от баллотировки, то почти все

закричали: «Мы желаем выбрать в попечители гимназии Марфина!» Но вслед за тем раздался еще более сильный голос Егора Егорыча:

— Я не желаю быть выбираем! Я деньгами моими не место покупал! Понимаете,— не место!

Все смолкли, так как очень хорошо знали, что когда Егор Егорыч так кричал, так с ним ничего не поделаешь.

Затем он с Сверстовым, бывшим вместе с Сусанной Николаевной и gnädige Frau на хорах, уехал домой из собрания; дамы тоже последовали за ними.

Сверстов, усевшись с своим другом в возок, не утерпел долее и сказал:

— А я вдобавок к падению господина Тулузова покажу вам еще один документик, который я отыскал.— И доктор показал Егору Егорычу гимназическую копию с билета Тулузова.— Помните ли вы,— продолжал он, пока Егор Егорыч читал билет,— что я вам, только что еще тогда приехав в Кузьмищево, рассказывал, что у нас там, в этой дичи, убит был мальчик, которого имя, отчество и фамилию, как теперь оказывается, носит претендент на должность попечителя детей и юношей!

Егор Егорыч, подобно gnädige Frau, не мог сразу понять Сверстова.

— Что ж из всего этого? — спросил он.

— А то, что у кого же этот вид мог очутиться, как не у убийцы мальчика?!..

— А! — произнес протяжно Егор Егорыч.

— Да-с,— протянул и доктор,— я разыскал этот вид с тою целью, чтобы сорвать маску с этого негодяя, и это теперь будет задачей всей моей остальной жизни!

— И моей, и моей! — подтвердил двукратно Егор Егорыч.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Вероятно, многие из москвичей помнят еще кофейную Печкина, которая находилась рядом с знаменитым Московским трактиром того же содержателя и которая в своих четырех — пяти комнатах сосредоточивала тогдашние умственные и художественные известности, и без лести можно было сказать, что вряд ли это было не самое умное и острословное место в Москве. Туда в конце тридцатых и начале сороковых годов заезжал иногда Герцен, который всякий раз собирал около себя кружок и начинал обыкновенно расточать целые фейерверки своих оригинальных, по тогдашнему времени, воззрений на науку и политику, сопровождая все это пикантными захлестками; просиживал в этой кофейной вечера также и Белинский, горячо объясняя актерам и разным театральным любителям, что театр — не пустая забава, а место поучения, а потому каждый драматический писатель, каждый актер, приступая к своему делу, должен помнить, что он идет священнодействовать; доказывал нечто вроде того же и Михайла Семенович Щепкин, говоря, что искусство должно быть добросовестно исполняемо, на что Ленский, тогдашний переводчик и актер, раз возразил ему: «Михайла Семеныч, добросовестность скорей нужна сапожникам, чтобы они не шили сапог из гнилого товара, а художникам необходимо другое: талант!» — «Действительно, необходимо и другое,— повторил лукавый старик,— но часто случается, что у художника ни того, ни другого не бывает!» На чей счет это было сказано, неизвестно, но только все присутствующие, за исключением самого Ленского, рассмеялись.

Налетал по временам в кофейную и Павел Степанович Мочалов, почти обоготворяемый всеми тамошними посетителями; с едва сдерживаемым гневом и ужасом он рассказывал иногда, какие подлости чинит против него начальство. В этих же стенах стал появляться Пров Михайлович Садовский; он был в то время совсем еще молодой и обыкновенно или играл на бильярде, или как-то очень умно слушал, когда разговаривали другие. Можно также было в кофейной встретить разных музыкальных знаменитостей, некоторых шулеров и в конце концов двух — трех ростовщиков, которые под предлогом развлечения в приятном обществе высматривали удобные для себя жертвы.

В одно зимнее утро, часов в одиннадцать, в кофейной был всего только один посетитель: высокий мужчина средних лет, в поношенном сюртуке, с лицом важным, но не умным. Он стоял у окна и мрачно глядел на открывавшийся перед ним Охотный ряд.

Но вот к кофейной подъехал какой-то барин на щегольской лошади и, видимо, из тогдашних франтов московских.

— Это Лябьев! — проговорил сам с собой стоявший у окна господин, произнося слова протяжно.

В кофейную действительно вскоре вошел своей развалистой походкой Лябьев. После женитьбы он заметно пополнел и начинал наживать себе брюшко, но зато совершенно утратил свежий цвет лица и был даже какой-то желтый. В кофейную Лябьев, видимо, приехал как бы к себе домой.

— Дайте мне завтракать! — сказал он половому, который его встретил.

— Что прикажете? — спросил тот.

— Биток с картофелем à la Пушкин! — говорил Лябьев, проходя в бильярдную, где стоявший высокий господин поклонился ему и произнес почтительным тоном:

— Имею честь приветствовать нашего великого виртуоза!

— А, Максинька, здравствуйте! — проговорил Лябьев несколько покровительственно и садясь в то же время к столику, к которому несколько театральной походкой подошел и Максинька.

— Как вы изволите играть на ваших божественных фортепьянах? — сказал он.

— Играю, но только не на фортепьянах, а в карты.

— Это нехорошо, не следует!..— произнес уж Максинька наставнически.

В это время подали дымящийся и необыкновенно вкусно пахнувший биток.

— Не прикажете ли? — отнесся Лябьев к Максиньке.

— Благодарю! — отвечал тот.— Я мяса не люблю.

— А что же вы изволите любить? — спросил Лябьев, начав есть биток, и вместе с тем велел половому подать двойную бутылку портеру.

— Рыбу! — проговорил протяжно и с важностью Максинька.

— Рыба вещь хорошая! — отозвался Лябьев, и, когда подана была бутылка портеру, он налил из нее два стакана и, указав на один из них Максиньке, сказал:

— А от сего, надеюсь, не откажетесь?

Максинька при этом самодовольно усмехнулся.

— От сего не откажусь! — проговорил он и подсел к столику.

— Ну, а вы как подвизаетесь? — принялся его расспрашивать Лябьев.

— Ничего-с,— произнес Максинька,— вчера с Павлом Степанычем «Гамлета» верескнули!

— С успехом?

— Да,— протянул Максинька,— три раза вызывали.

— И вас тоже?

— Полагаю, и меня, ибо Павел Степаныч сам говорит, что в сцене с ним я вторая половина его и что я ему огня, жару поддаю; а Верстовский мне не позволяет выходить,— ну и бог с ним: плетью обуха не перешибешь!

— Не перешибешь,— согласился Лябьев с нескрываемой иронией,— я вот все забываю, как вы говорите это слово «прощай!». Давно я собираюсь на музыку положить его.

— И следовало бы! — подхватил с одушевлением Максинька.

— Напомните мне эти звуки!— продолжал Лябьев, напитавшийся битком и портером и хотевший, кажется, чем бы нибудь только да развлечь себя.

— *Извольте,* но только *позвольте* прежде подкрепиться еще стаканчиком портеру! — как бы скаламбурил Максинька и, беря бутылку, налил себе из нее стакан, каковой проворно выпив, продекламировал гробовым голосом:

— «Прощай, прощай! И помни обо мне!»

Стоявший в бильярдной маркер не удержался, фыркнул и убежал в другую комнату.

— Дуррак! — произнес ему вслед Максинька.

— Конечно, дурак! — повторил Лябьев и, желая еще более потешиться над Максинькой, снова стал расспрашивать его: — Вы все живете на квартире у моего фортепьянного настройщика?

— Нет, я еще осенью переехал от него.

— Зачем?

— Затем, что он подлец! Он нас кормил сначала плохо, но потом вдруг стал кормить курицами в супе...

И Максинька при этом трагически захохотал и попросил разрешить ему еще стакан портеру, осушив который, продолжал с неподдельным величием:

— Вы, может быть, припомните, что садик около его домика выходит на улицу, и он этот садик (Максинька при этом хоть и слегка, но повторил свой трагический хохот) прошлой весной весь засадил подсолнечниками. Прекрасно, знаете, бесподобно! Мы все лето упивались восторгом, когда эти подсолнечники зацвели, потом они поспели, нагнули свои головки, и у него вдруг откуда-то, точно с неба нам свалился, суп из куриц!

— То есть пролился, хотите вы сказать, — поправил его Лябьев, — но я не понимаю, с какого же неба суп мог пролиться?

— Не с неба, а со всего Колосовского переулка! — говорил Максинька, все более и более раскрывая свои глаза. — Идея у него в том была: как из подсолнечников посыпались зернышки, курицы все к нему благим матом в сад, а он как которую поймает: «Ах, ты, говорит, в мой огород забралась!» — и отвернет ей голову. Значит, не ходя на рынок и не тратя денег, нам ее в суп. Благородно это или нет?

— Если не особенно благородно, то совершенно законно, — заметил Лябьев.

Максинька отрицательно качнул головой.

— Нет-с, и незаконно! — возразил он. — Доказательство, что, когда он, — продолжал Максинька с заметной таинственностью, — наскочил на одну даму, соседнюю ему по Колосовскому переулку, и, не разбирая ничего, передушил у нее кур десять, а у дамы этой живет, может быть,

девиц двадцать, и ей куры нужны для себя, а с полицией она, понимаете, в дружбе, и когда мы раз сели за обед, я, он и его, как мы называли, желемка, вдруг нагрянули к нам квартальный и человек десять бутарей. «Позвольте, говорит, какую вы курицу кушаете? Она ворованная!» Потом-с всех нас в часть, и недели три водили. Подлец, одно слово!

Лябьеву наскучило наконец слушать проникнутое благородством разглагольствование Максиньки, и он, расплатившись, хотел уехать, но в это время в кофейную быстро вошел молодой гвардейский офицер в вицмундире Семеновского полка, стройный, живой. Это был тот самый молодой паж, которого мы когда-то видели в почтамтской церкви и которого фамилия была Углаков.

— Cher Лябьев,— воскликнул он,— я еду мимо и вижу твою лошадь, не удержался и забежал! Откуда ты?

— Из разных мест! — отозвался тот неопределенно.

Вслед за тем Углаков, увидав Максиньку, самым модным образом расшаркался перед ним.

Максинька, некогда долженствовавший быть в балетной труппе и тоже умевший это делать, ответил молодому повесе с той же ловкостью.

Тогда Углаков всплеснул руками и воскликнул:

— Максинька! Вы вчера убили меня, без ножа зарезали!

В голосе его слышались только что не слезы.

— Чем? — спросил мрачным голосом и немного краснея в лице Максинька.

— Вчера вы были...— продолжал повеса на всю кофейную,— вы были слабой и бледной тенью вашей прежней тени!

Максинька понял этот неприятный для него каламбур и сам решился откаламбуриться хоть немного.

— Не были ли скорей ваши глаза покрыты какой-нибудь тенью, что я вам показался бледен? — сказал он.

— Ты велик, Максинька, в твоем ответе! — воскликнул на это Углаков.— Протягиваю тебе руку, как собрату моему по каламбурству, и жму твою руку, как сто тысяч братьев не могли бы пожать ее!.. Хорошо сказано, Максинька?

— Нет, нехорошо! — отвечал тот и насмешливо захохотал.

— А если нехорошо, так и убирайся к черту! Я и го-

ворить с тобой больше не стану! — проговорил, как бы обидевшись, Углаков.

— Станете, будете! — произнес уверенным тоном Максинька.

— Нет, не буду! — повторил Углаков и, показав потом язык Максиньке, отвернулся от него и стал разговаривать с Лябьевым.— Ты куда отсюда?

— Домой! — отвечал тот досадливым голосом.

— А разве ты не поедешь к Феодосию Гаврилычу? У него сегодня интересное сборище!

— Какое? — спросил Лябьев.

— Феодосий Гаврилыч в бильбоке играет с Калмыком.

— Глупости какие!.. Слышал я что-то об этом в Английском клубе. И по большой цене они играют?

— По большой! Поедем!

— Оно любопытно бы... Да и с Калмыком мне надобно повидаться, но я со вчерашнего обеда дома не был, и с женою, я думаю, бог знает что творится.

— Да ты ей напиши, что жив, здоров и не проигрался, и отправь ей это с своим кучером, а со мной поедем к Феодосию Гаврилычу.

— Это можно сделать! — согласился Лябьев и, написав коротенькую записочку к Музе Николаевне, уехал вместе с Углаковым к Феодосию Гаврилычу.

— Молодые и безумные повесы! — проговорил им вслед трагическим тоном Максинька и ушел из кофейной куда-то в другое место выражать свои благородные чувствования.

Углаков и Лябьев, направившись к Поварской, начали между собой более серьезный разговор.

— А тебе все не везет в картах? — спросил с участием Углаков.

— Совершенно!.. Так что хоть брось играть! — отвечал Лябьев.

— Да и брось, Саша; пожалуйста, брось!.. Ты сам понимаешь, какой у тебя талант великий!.. Зачем и для чего тебе карты?

— Теперь мне они более, чем когда-либо, нужны! Я профершпилился совершенно; но минет же когда-нибудь несчастная полоса!

— Тогда подожди, по крайней мере, когда эта полоса кончится! — упрашивал его Углаков.

— А когда она кончится?.. Кто это угадает?.. Просто

придумать не могу, что и делать... Жене в глаза взглянуть совестно, а тут приехала еще в Москву ее сестра, Марфина, с мужем...

— Марфина?.. А разве она сестра твоей жены?

— Сестра.

— Знаешь, я, еще мальчиком бывши, видел ее. Она приезжала с Марфиным к нам в церковь, и помню, что чудо как хороша была тогда собой! Жена твоя, например, тоже прелестна, но за последнее время она очень изменилась...

Лябьева при этом как будто что кольнуло.

— Муза родит все неблагополучно и от этого страдает душевно и телесно.

При последних словах Лябьева они въезжали во двор дома Феодосия Гаврилыча, который находился на Собачьей Площадке. Дом этот был каменный и стоял взади двора, так что надобно было проехать, по крайней мере, сажен пятьдесят, чтобы добраться до подъезда, имевшего форму полуцилиндра, причем налево виднелся длинный сад, уставленный посреди обнаженных деревьев разными мифологическими статуями, сделанными хоть и из мрамора, но весьма неискусно, и вдобавок еще у большей части из них были отбиты то нос, то рука, то нога. По правой стороне тянулись погреба, сараи и наконец конюшни, вмещавшие в себе, по крайней мере, стойл пятнадцать. Войдя в двери парадного крыльца, которые, как водится, были не заперты, наши гости увидали, что за длинным столом в зале завтракало все семейство хозяина, то есть его жена, бывшая цыганка, сохранившая, несмотря на свои сорок пять лет, здоровый и красивый вид, штуки четыре детей, из которых одни были черномазенькие и с курчавыми волосами, а другие более белокурые, и около них восседали их гувернантки — француженка с длинным носом и немка с скверным цветом лица. Блюда завтрака были разнообразны, угождавшие вкусам разных возрастов и разных национальностей. Перед самой хозяйкой главным образом виднелся самовар и ветчина с горошком, а также и бутылка сладкой наливки; перед детьми красовалась гречневая каша с молоком, которой они, видимо, поглотили значительное количество; перед француженкой стояла огромная чашка выпитого кафе-о-лэ и целая сковорода дурно приготовленных котлет-демутон; а перед немкой — тоже выпитая чашка уже черного кофею

и блюдо картофелю. Обе гувернантки настойчиво предлагали детям свои любимые блюда, причем дети более белокурые ели о охотою картофель, но черноватые, как маленькие зверенки, пожирали с бо̀льшим удовольствием недожаренные котлет-демутон.

Самого хозяина не было за столом с семьей, и он обретался у себя в своих низеньких антресолях. Сколь ни много было в то время чудаков в Москве, но Феодосий Гаврилыч все-таки считался между ними одним из крупнейших. Прежде всего он был ипохондрик, и ипохондрик какой-то односторонний. Он боялся за зоб, который у него возвышался на шее и ради разрешения которого Феодосий Гаврилыч, вычитав в одном лечебнике, пил постоянно шалфей; зоб действительно не увеличивался, хотя и прошло с появления его более двадцати лет, но зато Феодосий Гаврилыч постоянно был в испарине, вследствие чего он неимоверно остерегался простуды, так что в нижние комнаты никогда не сходил на продолжительное время, а на антресолях у него была жара великая, благодаря множеству печей с приделанными к ним лежанками, которые испускали из себя температуру Африки. Выезжал Феодосий Гаврилыч из дома своего цугом в карете и, по рангу своему, в шесть лошадей. Одевался он в зимнее время, сверх шубы, в какую-то как бы мантию или саван. Все вечера он обыкновенно проводил в Английском клубе, где, ради спасения от сквозного ветра, был устроен ему особый шкап, вроде ширм, который и придвигался, когда Феодосий Гаврилыч усаживался за ломберный стол. В карты играть он любил больше всего на свете и играл исключительно в коммерческие игры, чем почему-то ужасно гордился. На цыганке он женился по страсти, но тем не менее народившихся от нее детей он почти не ведал. Ко всему этому надобно прибавить, что Феодосий Гаврилыч считал себя естествоиспытателем и агрономом и в доказательство этого собирал разных букашек и бабочек и накалывал их без всякого толку на булавки, а также — это было, впрочем, в более молодые годы его — Феодосий Гаврилыч в одном из имений своих задумал вырыть глубочайший колодец и, желая освидетельствовать сей колодец, вздумал лично своею особой спуститься в него, но при этом чуть не задохся и вытащен был на поверхность земли без чувств. По убеждениям своим Феодосий Гаврилыч, чем он тоже гордился, был волтерианец, а в

силу того никогда не исповедывался, не причащался и даже в церковь не ходил.

— А! — воскликнула некогда бывшая Груня, а теперь Аграфена Васильевна, увидав входящих гостей.— Что это ты, соловушка, совсем меня забыл и не завернешь никогда? — обратилась она к Лябьеву.

— Некогда все было,— отвечал тот.

— Поди, чай, в карты все дуешься! — заметила Аграфена Васильевна.— Всем бы вам, русским барям, руки по локоть отрубить, чтобы вы в карты меньше играли. Вон мой старый хрыч схватился теперь с Калмыком.

— Мы затем, тетенька, и приехали, чтобы посмотреть на игру! — подхватил Углаков.

— Как тебе, чертеночку, не посмотреть,— все бы ему и везде выглядеть! — сказала ему с нежностью Аграфена Васильевна, которая вовсе не приходилась никакой тетенькой Углакову, но таким именем ее звали все почти молодые люди.

— Тебя, Лябьев, я не пущу пока туда наверх; ты сыграй мне, соловушка,— пропеть мне смертельно хочется!.. Давно не певала!.. А вы, младшая команда, марш туда к себе!..— приказала было Аграфена Васильевна детям, но те не слушались и в один голос завопили:

— Мамаша, милая, голубушка, не усылай нас! Позволь нам здесь остаться!

— Они очень любят слушать ваше пение! — пояснила гувернантка-француженка.

— Ja, ja! [1] — подтвердила и немка.

— Ну, оставайтесь, сидите только смирно! — разрешила Аграфена Васильевна.

— А меня, тетенька, тоже не прогоняйте! — проговорил школьническим тоном Углаков.

— Зачем мне тебя, чертеночка, прогонять? — сказала ему опять с нежностью и собрав немного свои мясистые губы Аграфена Васильевна.

Лябьев, сев за фортепьяно, взял громкий аккорд, которым сразу же дал почувствовать, что начал свое дело мастер. Аграфена Васильевна при этом, по своей чуткой музыкальной природе, передернула плечами и вся как бы немножко затрепетала. Лябьев потом перешел к самому аккомпанементу, и Аграфена Васильевна запела чистым, приятным сопрано. Чем дальше она вела своим голосом,

---

[1] Да, да! *(нем.)*

тем сильнее и сильнее распалялся ее цыганский огонь, так что местами она вырывалась и хватала несколько в сторону, но Лябьев, держа ее, так сказать, всю в своем ухе, угадывал это сейчас же и подлаживался к ней.

Дети при этом совсем притихли. Француженка подняла глаза к небу, а Углаков только потрясал головой: видимо, что он был в неописанном восторге.

Но Лябьев вдруг перестал играть.

— Что? Не до того, видно! — сказала ему укоризненным голосом Аграфена Васильевна.

— Да, не до того! — отвечал Лябьев.

— Ах, ты, дрянной, дрянной! — проговорила тем же укоризненным тоном Аграфена Васильевна.— Ну, к старику моему, что ли, хотите?.. Ступайте, коли больно вам там сладко!

— Сладко не сладко, но он вон не играет, вы не поете! — сказал Углаков и пошел.

Лябьев тоже поднялся, но того Аграфена Васильевна приостановила на несколько мгновений.

— Ты Калмыка остерегайся! — сказала она ему.— Он теперь мужа моего оплетает, но у того много не выцарапает, а тебя как липку обдерет сразу.

— Обдирать теперь с меня нечего,— прежде все ободрали! — отвечал ей с горькой усмешкой Лябьев.

— Неужели все? — переспросила Аграфена Васильевна.

— Почти!

— А много после батьки досталось?

— Около полуторы тысяч душ.

— Вот драть-то бы тебя да драть! — сказала на это Аграфена Васильевна.

Лябьев снова усмехнулся горькой усмешкой и ушел вслед за Углаковым. Аграфена же Васильевна, оставшись одна, качала, как бы в раздумье, несколько времени головой. Она от природы была очень умная и хорошая женщина и насквозь понимала все окружающее ее общество.

В жарко натопленных антресолях Углаков и Лябьев нашли зрелище, исполненное занимательности. В средней и самой просторной комнате за небольшим столом помещался Феодосий Гаврилыч, старик лет около шестидесяти, с толсто повязанным на шее галстуком, прикрывавшим его зоб, и одетый в какой-то довольно засаленный чепанчик на беличьем меху и вдобавок в вязаные из козьего

пуху сапоги. Лицо Феодосия Гаврилыча можно было причислить к разряду тех физиономий, какую мы сейчас только видели в кофейной Печкина у Максиньки: оно было одновременно серьезное и простоватое. Против Феодосия Гаврилыча сидел и играл с ним тоже старик, но только иного рода: рябой, с какими-то рваными ноздрями, с крашеными, чтобы скрыть седину, густыми волосами, с выдавшимися скулами и продлинноватыми, очень умными, черными глазами, так что в обществе, вместо настоящей его фамилии — Янгуржеев, он слыл больше под именем *Калмыка.* Вообще говорили, что внутри Калмыку ничто не мешало творить все и что он побаивался только острога, но и от того как-то до сих пор еще увертывался. Несмотря на свое безобразие, Янгуржеев заметно франтил и молодился, и в настоящее время, например, он, чистейшим образом выбритый, в сюртуке цвета индийской бронзы, в жилете из рытого бархата и в серых брюках, сидел, как бы несколько рисуясь, в кресле и имел при этом на губах постоянную усмешку. Игра, которую оба партнера вели между собою, была, как читатель уже знает, не совсем обыкновенная. Они играли в детскую игрушку, кажется, называемую общим названием бильбоке и состоящую из шарика с дырочкою, вскидывая который играющий должен был попасть той дырочкой на перпендикулярно держимую им палочку, и кто раньше достигал сего благополучия, тот и выигрывал. Двух состязующихся борцов окружало довольно значительное число любопытных, между коими рисовался своей фигурой маркиза знакомый нам губернский предводитель князь Индобский, который на этот раз был какой-то ощипанный и совершенно утративший свой форс. Дело в том, что князь больше не был губернским предводителем. В день баллотировки своей он вздумал со слезами на глазах объявить дворянству, что, сколь ни пламенно он желал бы исполнять до конца дней своих несомую им ныне должность, но, по расстроенным имущественным обстоятельствам своим, не может этого сделать. Князь непременно ожидал, что дворяне предложат ему жалованье тысяч в десять, однако дворяне на это промолчали: в то время не так были тороваты на всякого рода пожертвования, как ныне, и до князя даже долетали фразы вроде такой: «Будь доволен тем, что и отчета с тебя по постройке дома не взяли!» После этого, разумеется, ему оставалось одно: отказаться вовсе от бал-

лотировки, что он и сделал, а ныне прибыл в Москву для совершения, по его словам, каких-то будто бы денежных операций. Увидав вошедшего Лябьева, экс-предводитель бросился к нему почти с распростертыми объятиями.

— Боже мой, кого я встречаю! — произнес он.

Лябьев с трудом узнал столь дружественно заговорившего с ним господина и ответил довольно сухо:

— Благодарю вас, и я радуюсь, что встретился с вами.

— И что ж, вы поигрываете здесь, как и в наших благословенных местах, в картишки?

— Играю.

— Позвольте мне явиться к вам и быть представленным вашей супруге? — продолжал экс-предводитель заискивающим голосом.

— Сделайте одолжение! — сказал Лябьев и поспешил подойти к играющим, на которых устремлены были беспокойные взгляды всех зрителей.

Феодосий Гаврилыч внимательно вскидывал свой шарик и старался поймать его,— у него глаза даже были налиты кровью. Янгуржеев же совершал игру почти шутя, и, только как бы желая поскорее кончить партию, он подбросил шарик сильно по прямой линии вверх и затем, без всякого труда поймав его на палочку, проговорил:

— Стоп!.. Партия кончена!

— Стоп и я! — сказал на это Феодосий Гаврилыч.

Янгуржеев вопросительно взглянул на него.

— Но это шло на контру? — заметил он.

— Знаю! — отвечал твердым голосом Феодосий Гаврилыч.— Сколько же я проиграл?

— Тысячу рублей! — отвечал Калмык, сосчитав марки на столе.

— Поэтому я и стоп! — повторил самодовольно Феодосий Гаврилыч.— Я веду коммерческую игру и проигрываю только то, что у меня в кармане лежит! — заключил он, обращаясь к прочим своим гостям.

— Это правило отличное,— похвалил его Янгуржеев.— Но если ты каждый день будешь проигрывать по тысяче, это в год выйдет триста шестьдесят пять тысяч, что, по-моему, стоит всякой скороспелки, которой ты так боишься!

— Ну, ты у меня, да и никто, я думаю, каждый день по тысяче не выиграет,— это будьте покойны! — говорил с уверенностью Феодосий Гаврилыч.

— Да вот выиграл же я нынешней весной у тебя на мухах пятьсот рублей.

— Что ж из того? — возразил с упорством Феодосий Гаврилыч.— Это ты не выиграл, а пари взял!

— Мне все равно,— отвечал Калмык,— лишь бы деньги у меня в кармане очутились.

Хотя все почти присутствующие знали этот казус, постигший Феодосия Гаврилыча, однако все складом лиц выразили желание еще раз услышать об этом событии, и первый заявил о том юный Углаков, сказав:

— Но как же можно выиграть пари на мухах? — Гонку разве вы устраивали между ними?

— Нет-с, не гонку,— принялся объяснять Янгуржеев,— но Феодосий Гаврилыч, как, может быть, вам небезызвестно, агроном и любит охранять не травы, нам полезные, а насекомых, кои вредны травам; это я знаю давно, и вот раз, когда на вербном воскресеньи мы купили вместе вот эти самые злополучные шарики, в которые теперь играли, Феодосий Гаврилыч приехал ко мне обедать, и вижу я, что он все ходит и посматривает на окна, где еще с осени лежало множество нападавших мух, и потом вдруг стал меня уверять, что в мае месяце мухи все оживут, а я, по простоте моей, уверяю, что нет. Ну, спор, заклад и перед тем, как рамы надобно было выставлять, Феодосий Гаврилыч приезжает ко мне, забрал всех мух с собой,— ждал, ждал, мухи не оживают; делать нечего, признался и заплатил мне по десяти рублей за штуку.

— Да как же им и ожить, когда ты прежде того их приколол, чтобы я поспорил с тобой! — воскликнул, наконец, вспыливший Феодосий Гаврилыч.

— Я с осени еще приколол их! — отвечал хладнокровно Калмык.

— Ну, кому же, я вас спрашиваю, господа, придет в голову, как не дьяволу, придумать такую штуку? — отнесся опять Феодосий Гаврилыч к прочим своим гостям.

— Однако я придумал же, хотя я не дьявол! — возразил Янгуржеев.

— Нет, дьявол! — повторил настойчиво хозяин: проигранная им тысяча, видимо, раздражительно щекотала у него внутри.— А сегодня меня обыграть разве ты тоже не придумал? — присовокупил он.

— Конечно, придумал! — отвечал, нисколько не стесняясь, Калмык.— Вольно тебе играть со мной; я этим ша-

риком еще когда гардемарином был, всех кадет обыгрывал,— меня за это чуть из корпуса не выгнали!

— Понимаю теперь, понимаю! — говорил Феодосий Гаврилыч, глубокомысленно качая головой.

— Однако соловья баснями не кормят,— ты помнишь, я думаю, стих Грибоедова: «Княгиня, карточный должок!»

— Очень хорошо помню, и вот этот долг! — сказал Феодосий Гаврилыч и, вынув из бокового кармана своего чепана заранее приготовленную тысячу, подал ее Янгуржееву, который после того, поклонившись всем общим поклоном и проговорив на французском языке вроде того, что он желает всем счастья в любви и картах, пошел из комнаты.

Его поспешил нагнать на лестнице князь Индобский и, почти униженно отрекомендовавшись, начал просить позволения явиться к нему. Янгуржеев выслушал его с холодным полувниманием, как слушают обыкновенно министры своих просителей, и, ничего в ответ определенного ему не сказав, стал спускаться с лестницы, а экс-предводитель возвратился на антресоли. В конце лестницы Янгуржеева догнал Лябьев.

— К тебе не приезжать сегодня? — спросил он.

— Нет, никого порядочного не будет! А что это за князь такой, который давеча подскакивал к тебе? — проговорил Янгуржеев.

— Это наш губернский предводитель.

— Богат?

— Должно быть, особенно если судить по образу его жизни.

— Жаль, я этого не предполагал,— произнес Янгуржеев, как бы что-то соображая, и, проходя затем через залу, слегка мотнул головой все еще сидевшей там Аграфене Васильевне.

Та позеленела даже при виде его.

— Сколько мой старый-то дурак проиграл? — спросила она Лябьева и Углакова, когда те сошли вниз.

— Тысячу рублей всего! — отвечал ей последний.— Тетенька, не споете ли еще чего-нибудь? — прибавил он почти умоляющим голосом.

— Нет,— отвечала Аграфена Васильевна, отрицательно мотнув головой,— очень я зла на этого Калмыка, так бы, кажись, и вцепилась ему в волосы; прошел тут мимо, еле башкой мотнул мне... Я когда-нибудь, матерь божия,

наплюю ему в глаза; не побоюсь, что он барин; он хуже всякого нашего брата цыгана, которые вон на Живодерке лошадьми господ обманывают!

Видя, что тетенька была в очень дурном расположении духа, молодые люди стали с ней прощаться, то есть целоваться в губы, причем она, перекрестив Лябьева, сказала:

— Ну, да благословит тебя бог, мой соловушко!

— Благословите и меня, тетенька! — просил Углаков.

— Ты-то еще что?.. Чертеночек только! Хоть тоже, храни и тебя спаситель!

Все эти слова Аграфена Васильевна произнесла с некоторой торжественностью, как будто бы, по обычаю своих соплеменниц, она что-то такое прорекала обоим гостям своим.

Когда Лябьев и Углаков уселись в сани, то первый сказал:

— Хочешь у меня отобедать?

— А что у тебя такое сегодня? — спросил с любопытством последний.

— Ничего особенного!.. У нас обедает Марфина!

— Марфина у вас обедает?..— повторил уже с разгоревшимися глазами Углаков.— В таком случае я очень рад!

— Вот видишь, как я угадал твое желание! — произнес опять-таки с своей горькой улыбкой Лябьев, хотя, правду говоря, он пригласил Углакова вовсе не для удовольствия того, но дабы на первых порах спрятаться, так сказать, за него от откровенных объяснений с женой касательно не дома проведенной ночи; хотя Муза при такого рода объяснениях всегда была очень кротка, но эта-то покорность жены еще более терзала Лябьева, чем терзал бы его гнев ее.— И приволокнись, если хочешь, за Марфиной, освежи немного ее богомольную душу! — продолжал он, как бы желая, чтобы весь мир сбился с панталыку.

II

Квартира Лябьевых в сравнении с логовищем Феодосия Гаврилыча представляла верх изящества и вкуса, и все в ней как-то весело смотрело: натертый воском паркет блестел; в окна через чистые стекла ярко светило солнце и играло на листьях тропических растений, которыми уставлена была гостиная; на подзеркальниках простеноч-

ных зеркал виднелись серебряные канделябры со множеством восковых свечей; на мраморной тумбе перед средним окном стояли дорогие бронзовые часы; на столах, покрытых пестрыми синелевыми салфетками, красовались фарфоровые с прекрасной живописью лампы; мебель была обита в гостиной шелковой материей, а в наугольной — дорогим английским ситцем; даже лакеи, проходившие по комнатам, имели какой-то довольный и нарядный вид: они очень много выручали от карт, которые по нескольку раз в неделю устраивались у Лябьева.

В то утро, которое я перед сим описывал, в наугольной на диване перед столиком из черного дерева с золотой инкрустацией сидели Муза Николаевна и Сусанна Николаевна. Последняя только что приехала к сестре и не успела еще снять шляпки из темного крепа, убранной ветками акации и наклоненной несколько на глаза; платье на Сусанне Николаевне было бархатное с разрезными рукавами. По приезде в Москву Егор Егорыч настоял, чтобы она сделала себе весь туалет заново, доказывая, что молодые женщины должны любить наряды, так как этого требует в каждом человеке чувство изящного. Говоря это, Егор Егорыч не договаривал всего. Ему самому было очень приятно, когда, например, Сусанна Николаевна пришла к нему показаться в настоящем своем костюме, в котором она была действительно очень красива: ее идеальное лицо с течением лет заметно оземнилось; прежняя девичья и довольно плоская грудь Сусанны Николаевны развилась и пополнела, но стройность стана при этом нисколько не утратилась; бледные и суховатые губы ее стали более розовыми и сочными. Изменилась, в свою очередь, и Муза Николаевна, но только в противную сторону, так что, несмотря на щеголеватое домашнее платье, она казалась по крайней мере лет на пять старше Сусанны Николаевны, и главным образом у нее подурнел цвет лица, который сделался как бы у англичанки, пьющей портер: красный и с небольшими угрями; веки у Музы Николаевны были тоже такие, словно бы она недавно плакала, и одни только ее прекрасные рыжовские глаза говорили, что это была все та же музыкантша-поэтесса.

— Отчего же Егор Егорыч не приехал к нам обедать? Как ему не грех? — говорила Муза Николаевна.

— Он прихворнул сегодня, и очень даже, — отвечала Сусанна Николаевна.

— Чем? — спросила Муза Николаевна.

— Да как тебе сказать?.. После смерти Валерьяна с ним часто случаются разные припадки, а сегодня даже я хотела не ехать к тебе и остаться с ним; но к нему приехал его друг Углаков, и Егор Егорыч сам уж насильно меня услал.

С этими словами Сусанна Николаевна встала и сняла свою шляпку, причем оказалось, что бывшая тогда в моде прическа, закрывавшая волосами уши и с виднеющимися сзади небольшими локончиками, очень к ней шла.

— Ну, а ты как? Здорова? — продолжала она, снова садясь около сестры и ласково беря ее за руку.

— Ты взгляни на меня! Разве можно с таким цветом лица быть здоровою?! — отвечала, грустно усмехнувшись, Муза Николаевна.

— Отчего же это и когда с тобой случилось?

— После первых же моих неблагополучных родов.

— Но ты и потом еще неблагополучно родила?

— И потом.

— А это отчего же? Как объясняют доктора?

— Они говорят, что это происходит от моих душевных волнений.

— А душевные-то волнения отчего же, Муза?

— От разных причин.

— Но есть же между ними какая-нибудь главная?

— Главная, что я до безумия люблю мужа.

— А он разве тебя не любит?

— Ах, нет, он меня любит, но любит и карты, а ты представить себе не можешь, какая это пагубная страсть в мужчинах к картам! Они забывают все: себя, семью, знакомятся с такими людьми, которых в дом пустить страшно. Первый год моего замужества, когда мы переехали в Москву и когда у нас бывали только музыканты и певцы, я была совершенно счастлива и покойна; но потом год от году все пошло хуже и хуже.

— И неужели, Муза, ты не могла отвлечь своим влиянием Аркадия Михайлыча от подобного общества?

— Может, вначале я успела бы это сделать, но ты знаешь, какая я была молодая и неопытная; теперь же и думать нечего: он совершенно в их руках. Последнее время у него появился еще новый знакомый, Янгуржеев, который, по-моему, просто злодей: он убивает молодых людей на дуэлях, обыгрывает всех почти наверное...

— Но неужели Аркадий Михайлыч может быть дружен с таким господином? — заметила Сусанна Николаевна.

— Мало, что дружен, но в каком-то подчинении у него находится! — отвечала Муза Николаевна.

— И у вас он бывает?

— Очень часто, и надобно сказать — очарователен в обращении: умен, остер, любезен, вежлив... Муж справедливо говорит, что Янгуржеев может быть и во дворце и в кабаке, и везде будет вровень с обществом.

— Но скажи,— это, впрочем, поручил мне спросить тебя по секрету Егор Егорыч,— не проигрывается ли очень сильно Аркадий Михайлыч?

— Вероятно, проигрывается, и сильно даже! — продолжала Муза Николаевна.— По крайней мере, когда последний ребенок мой помер, я сижу и плачу, а Аркадий в утешение мне говорит: «Не плачь, Муза, это хорошо, что у нас дети не живут, а то, пожалуй, будет не на что ни вырастить, ни воспитать их».

— И как же тебе не совестно, Муза, не писать мне об этом ни строчки! Я нисколько даже и не подозревала, что найду тебя такою, какою нашла!

— Ах, Сусанна, ты после этого не знаешь, что значит быть несчастною в замужестве! Говорить об этом кому бы то ни было бесполезно и совестно... Кроме того, я хорошо знаю, что Лябьев, несмотря на все пороки свои, любит меня и мучается ужасно, что заставляет меня страдать; но если еще он узнает, что я жалуюсь на него, он убьет себя.

Так ворковали, как бы две кроткие голубки, между собою сестры; но беседа их прервана была, наконец, приездом хозяина и Углакова.

Лябьев конфузливо, но прежде всего поцеловал руку у жены. Та потупила глаза, чтобы он не заметил печали в ее взоре. Затем Лябьев сначала пожал, а потом тоже поцеловал руку и Сусанны Николаевны, а вместе с тем поспешил ей представить Углакова.

— Мой друг, Петр Александрыч Углаков! — проговорил он.

Молодой гвардеец, вовсе, кажется бы, от природы не застенчивый, молча раскланялся перед Марфиной и проговорил только:

— Мы несколько знакомы.

— Да,— протянула Сусанна Николаевна,— ваш батюшка теперь даже сидит у моего мужа.

— Ах, папа у вас! Он давнишний приятель Егора Егорыча... Еще после двенадцатого года они вместе в Париже волочились за француженками.

— Может быть, ваш отец волочился, но Егор Егорыч — не думаю,— возразила было Сусанна Николаевна.

— Вы извольте думать или нет, это как вам угодно, но отец мне все рассказывал; я даже знаю, о чем они теперь беседуют.

— О француженках тоже? — спросила уж Муза Николаевна.

— Нет-с, не о француженках, но отец непременно жалуется на меня Егору Егорычу... Так это? — обратился Углаков к Сусанне Николаевне.

Та слегка усмехнулась.

— Почти что так,— проговорила она.

— Он говорит, что я лениво занимаюсь службой?

— Говорит, и его больше всего беспокоит, что вы дурно держите себя против великого князя Михаила Павловича, который вас любит, а вы ему штучки устраиваете.

Странное дело. Сусанна Николаевна, обыкновенно застенчивая до сих пор в разговорах со всеми мужчинами, с Углаковым говорила как бы с очень близким ей родным и говорила даже несколько поучительным тоном.

— В таком случае, mesdames,— сказал между тем Углаков, садясь с серьезнейшей миной перед дамами и облокачиваясь на черного дерева столик,— рассудите вы, бога ради, меня с великим князем: иду я прошлой осенью по Невскому в калошах, и иду нарочно в тот именно час, когда знаю, что великого князя непременно встречу... Он меня действительно нагоняет, оглядел меня и тут же говорит: «Углаков, встань ко мне на запятки, я свезу тебя на гауптвахту!» Я, конечно, встал; но не дурак же я набитый,— я калоши мои преспокойно сбросил. Великий князь привез меня на гауптвахту, сам повел к караульному офицеру. «Возьми, говорит, Углакова на гауптвахту,— он в калошах!» Тогда я протестовал. «Ваше высочество, говорю, я без калош!» Он взглянул мне на ноги. «Ну, все равно, говорит, вперед тебе это зачтется». И скажите, кто тут был прав: я или великий князь?

— Конечно, вы! — подтвердили обе дамы.

— И я полагаю, что если вы все так будете судить

себя, так всегда и во всем останетесь правы,— присовокупила к этому Сусанна Николаевна.

— А вы находите меня таким чурбаном, что я не понимаю, что делаю? — спросил Углаков.

— Напротив, я нахожу, что вы очень много понимаете,— особенно для ваших лет.

— Стало быть, вы думаете, что я очень молод?

— Думаю.

— Но сколько же мне, по-вашему, лет?

— Лет девятнадцать,— определила Сусанна Николаевна.

— О, как вы намного ошиблись! Мне двадцать первый год.

— Нет, вы прибавляете,— возразила ему на это Сусанна Николаевна.

В ответ на такое недоверие Углаков пожал только плечами: ему уж, кажется, было и досадно, что Сусанна Николаевна видит в нем такого еще мальчика.

— А как ты с великим князем в маскараде встретился? — стал его подзадоривать Лябьев.

— Да что ж в маскараде? Я опять тут тоже прав... Великий князь встретил меня и говорит: «Ты, Углаков, службой совсем не занимаешься! Я тебя всюду встречаю!» Что ж я мог ему на это сказать?.. Я говорю: «Мне тоже, ваше высочество, удивительно, что я всюду с вами встречаюсь!»

Обе дамы засмеялись.

— И что ж вам за это было? — спросила Лябьева.

— За это ничего!.. Это каламбур, а каламбуры великий князь сам отличные говорит... Каратыгин Петр не то еще сказал даже государю... Раз Николай Павлович и Михаил Павлович пришли в театре на сцену... Великий князь что-то такое сострил. Тогда государь обращается к Каратыгину и говорит: «Брат у тебя хлеб отбивает!» — «Ничего, ваше величество,— ответил Каратыгин,— лишь бы только мне соль оставил!»

— Это недурно! — подхватил Лябьев.

— Да,— согласились и дамы.

Углаков еще хотел что-то такое рассказывать, но в это время послышались шаги.

— Кто бы это такой мог приехать! — проговорил с досадой Лябьев и вышел прибывшему гостю навстречу.

По гостиной шел своей барской походкою князь Индоб-

ский. На лице хозяина как бы изобразилось: «Вот кого еще черт принес!» Князь, чуть ли не подметивши неприятного впечатления, произведенного его приездом, поспешил проговорить:

— Я до такой степени нетерпеливо желал воспользоваться вашим разрешением быть у вас...

— Очень вам благодарен,— перебил его Лябьев,— но я извиняюсь только, что мы идем садиться обедать.

— Неужели я так опоздал! — произнес окончательно сконфуженным тоном князь, быстро вынимая часы и смотря на них.— В самом деле, четыре часа! В таком случае, позвольте, я лучше другой раз явлюсь.

— Как это возможно! Откушайте с нами! — остановил его Лябьев.— Не взыщите только: чем богаты, тем и рады!.. Позвольте только, я представлю вас жене моей.

— О, благодарю вас! — воскликнул с чувством князь и, будучи представлен дамам, обратился первоначально, разумеется, к хозяйке.

— Вас я знал еще девочкой, потом слышал вашу артистическую игру, когда вы участвовали в концерте с теперешним вашим супругом.

Затем князь отнесся к Сусанне Николаевне:

— Вам я еще прежде имел честь быть представлен почтенным Егором Егорычем. Как его здоровье?

— Он нехорошо себя чувствует.

— Ах, как это жаль! — произнес опять с чувством князь и за обедом, который вскоре последовал, сразу же, руководимый способностями амфитриона, стал как бы не гостем, а хозяином: он принимал из рук хозяйки тарелки с супом и передавал их по принадлежности; указывал дамам на куски говядины, которые следовало брать; попробовав пудинг из рыбы, окрашенной зеленоватым цветом фисташек, от восторга поцеловал у себя кончики пальцев; расхвалил до невероятности пьяные конфеты, поданные в рюмках. Все это, впрочем, нисколько не мешало, чтобы разговор шел и о более серьезных предметах.

— Вы все время оставались у Феодосия Гаврилыча? — спросил князя хозяин.

— Нет, я вслед же за вами уехал... Завернул только на минуточку к нашему земляку Тулузову.

— Qui est ce monsieur [1] Тулузов? — сказали в один голос Лябьев и Муза Николаевна.

[1] Кто это Тулузов? *(франц.)*

Сусанна же Николаевна смутилась несколько и вместе с тем слегка улыбнулась презрительной улыбкой.

— Это теперешний наш гран-сеньор,— начал объяснять князь,— ничтожный какой-то выходец... Он хотел было пролезть даже в попечители гимназии, но я все-таки, оберегая честь дворянства, подставил ему в этом случае немного ногу.

Читатель знает, как князь подставлял Тулузову ногу.

— А зачем он здесь живет? — поинтересовался Лябьев.

— Затем, что участвует в здешнем откупе; кроме того, две — три соседние губернии имеет на откупу, и, кажется, в этих операциях он порядком крахнет.

— Отчего? — спросил Лябьев.

— Оттого, что, как вы, вероятно, это слышали, Москве и даже всей северной полосе угрожает голод. Об этом идут теперь большие толки и делаются предуготовительные распоряжения; но откупа, как известно, зависят от благосостояния простого народа. Интересно, как господа откупщики вывернутся.

— Вывернутся, будьте покойны, да и состояние еще себе наживут! — подхватил Лябьев.

— Может быть,— не оспаривал князь,— вообще, я вам скажу, невыносимо грустно последнее время ездить по Москве: вместо домов графа Апраксина, Чернышева, князя Потемкина, князя Петрова, Иванова, что ли, вдруг везде рисуются на воротах надписи: дом купца Котельникова, Сарафанникова, Полушубкина! Во что ж после этого обратится Москва?.. В сборище каких-то толстопузых самоварников!.. Петербург в этом случае представляет гораздо более отрадное явление.

— А нашей губернии угрожает голод?.. У нас тоже был очень дурной урожай? — спросила Сусанна Николаевна князя.

— По-моему, более, чем какой-либо другой! — отвечал он ей и потом стал расспрашивать Лябьева, где в Москве ведется самая большая игра: в клубах или частных домах; если в домах, то у кого именно? Лябьев отвечал ему на это довольно подробно, а Углаков между тем все время потихоньку шутил с Сусанной Николаевной, с которой он сидел рядом.

— Не кушайте так много,— у нас голод! — шепнул

он ей, когда Сусанна Николаевна взяла было, кажется, весьма небольшой кусок индейки.

— А сами вы зачем так много кушаете? — заметила ему, в свою очередь, Сусанна Николаевна.

— Мне надобно много кушать... По вашим словам, я еще мальчик: значит, расту; а вы уж выросли... Постойте, постойте, однако, се monsieur то же вырос, но ест, как удав,— шептал Углаков, слегка показывая глазами на князя, действительно клавшего себе в рот огромные кусищи.

— Перестаньте! — унимала его Сусанна Николаевна.

Но шалун не унимался.

— Monsieur le prince [1],— отнесся он к Индобскому,— когда кит поглотил Иону в свое чрево, у китов тоже, вероятно, был в это время голод?

— Не знаю-с,— отвечал тот, совершенно не поняв, что хочет сказать Углаков, и снова продолжал разговор с Лябьевым.

— Перестаньте! — повторила еще раз и даже сердитым тоном Сусанна Николаевна.

— Ну, не буду,— произнес Углаков и в самом деле совершенно притих.

По окончании обеда князь все-таки не уезжал. Лябьев, не зная, наконец, что делать с навязчивым и беспрерывно болтающим гостем, предложил ему сесть играть в карты. Князь принял это предложение с большим удовольствием. Стол для них приготовили в кабинете, куда они и отправились, а дамы и Углаков уселись в зале, около рояля, на клавишах которого Муза Николаевна начала перебирать.

— Сыграй что-нибудь, Муза! — попросила Сусанна Николаевна.— Я так давно не слыхала твоей игры.

Муза начала играть, но избранная ею пьеса оказалась такою печальной и грустною, что Сусанне Николаевне и Углакову было тяжело даже слушать эти как бы сердечные вопли бедной женщины. Муза догадалась об этом и, перестав играть, обратилась к Углакову:

— Нет, что тут играть!.. Спойте лучше нам, Петр Александрыч!

Тот при этом весь вспыхнул.

— Какой же я певец! — проговорил он, потупляясь.

---

[1] Господин князь, *(франц.)*

— Как какой певец?.. Очень хороший! — возразила ему Муза Николаевна.

— Какой же хороший, когда я совсем не пою! — упорствовал Углаков.

— Что такое вы говорите! — сказала уж с удивлением Муза Николаевна.— Аркадий, подтверди, пожалуйста, поет или нет Петр Александрыч! — крикнула она мужу в кабинет.

— Поет,— отозвался тот.

— И хорошо поет?

— Хорошо!

— Это, я вижу, Петр Александрыч мне не хочет доставить удовольствия слышать его,— сказала Сусанна Николаевна.

Углаков окончательно переконфузился.

— Нет-с, вы ошибаетесь... Если это доставит вам удовольствие, то я готов сейчас же...— проговорил он, держа по-прежнему глаза потупленными вниз.

При таком ответе Сусанна Николаевна, в свою очередь, сконфузилась и тоже потупилась.

— Конечно, доставите удовольствие, пойте! — подхватила Муза Николаевна и приготовилась аккомпанировать.

— Но что же я буду петь? — спросил ее Углаков.

— Спойте: «Нет, доктор, нет, не приходи!»

Углаков отрицательно потряс головой.

— Ну, «Черный цвет»...

Углаков и это отвергнул.

— «Соловья»! — предложила было ему Муза Николаевна.

— Как это возможно! — воскликнул Углаков.— Нам сейчас только Аграфена Васильевна божественно спела «Соловья»! Разве мою любимую «Le petit homme»? [1] — придумал он сам.

— Eh bien! [2] — одобрила Муза Николаевна и стала аккомпанировать.

Углаков запел хоть и не совсем обработанным, но приятным тенорком:

«Il est un petit homme,
Tout habillé de gris,
Dans Paris;

[1] Неточное название песни Беранже «Le petit homme gris» — «Подвыпивший». Перевод текста песни см. в примечании.

[2] Хорошо! *(франц.)*.

Joufflu comme une pomme,
Qui, sans un sou comptant,
Vit content,
Et dit: Moi, je m'en...
Et dit: Moi, je m'en...
Ma foi, moi, je m'en ris!
Oh qu'il est gai, qu'il est gai,
Le petit homme gris!»

Сусанна Николаевна при этом улыбнулась. Углаков, заметив это, продолжал еще с большею резвостью:

«A courir les fillettes,
A boire sans compter,
A chanter
Il s'est couvert de dettes;
Mais quant aux créanciers,
Aux huissiers,
Il dit: Moi, je m'en...
Il dit: Moi, je m'en...
Ma foi, et cetera, et cetera»...

пел Углаков вместо слов и затем снова перешел к песенке:

«Quand la goutte l'accable
Sur un lit délabré,
Le curé
De la mort et du diable
Parle à ce moribond,
Qui répond:
Ma foi, moi, je m'en...
Ma foi, moi, je m'en...
Ma foi, et cetera, et cetera»...

Слушая эти два куплета, Сусанна Николаевна имела, или, по крайней мере, старалась иметь, совершенно серьезное выражение в лице.

— Вы убедились, наконец, как я скверно пою! — обратился к ней Углаков.

— Вовсе нет!.. Мне нравится ваше пение,— возразила она,— но я желала бы, чтобы вы нам спели что-нибудь русское.

— Спойте вот это теперь! — сказала Муза Николаевна и быстро забегала своими пальчиками по фортепьяно, а также и Углаков совсем уже по-русски залился:

Ехали бояре из Нова-города,
Красная девица на улице была;
Всем нашим боярам по поклону отдала,

Одному ж боярину пониже всех,
А за то ему пониже, что удалый молодец.
Стал молодчик девицу спрашивати:
— Как тебя, девушка, по имени зовут?..

— Пощади, Углаков! — Ты в словах, а Муза в аккомпанементе бог знает как путаете!

— Не верьте! Вы отлично это пропели! — подхватила с своей стороны Сусанна Николаевна.

— Merci, madame! — произнес Углаков, расшаркавшись перед нею и пристукнувши при этом каблуками своих сапог, чем он, конечно, хотел дать комический оттенок своей благодарности; но тем не менее весьма заметно было, что похвала Сусанны Николаевны весьма приятна ему была.

— Говорят, хорошо очень идет «Аскольдова могила», и Бантышев в ней отлично поет? — спросила она затем.

— Превосходно, неподражаемо! — воскликнул Углаков.— Спел бы вам, но не решаюсь,— лучше вы его послушайте!

И затем разговор между собеседниками перешел исключительно на театр. Углаков очень живо начал описывать актеров, рассказывал про них разные анекдоты, и в этом случае больше всех выпало на долю Максиньки, который будто бы однажды горячо спорил с купцом о том, в каких отношениях, в пьесе «Горе от ума», находится Софья Павловна с Молчалиным: в близких или идеальных. Первое утверждал купец, по грубости своих понятий; но Максинька, как человек ума возвышенного, говорил, что между ними существует совершенно чистая и неземная любовь. Слышавши этот спор их, один тогдашний остряк заметил им: «Господа, если бы у Софьи Павловны с Молчалиным и было что-нибудь, то все-таки зачем же про девушку распускать такие слухи?!» — «Благородно!» — воскликнул на это громовым голосом Максинька и ударил остряка одобрительно по плечу. Хоть подобный анекдот и был несколько скабрезен, но ужасно развеселил дам. Сусанна Николаевна вообразить себе без смеху не могла, что мог затеяться такой спор, и вообще весь этот разговор о театре ей показался чрезвычайно занимательным и новым. Несмотря на свою духовность и строгую мораль, Марфина вовсе не была сухим и черствым существом. Чуткая ко всему жизненному, она никак не могла ограничиться в своих пожеланиях одной лишь сферой ма-

сонства. Между тем пробило восемь часов. Сусанне Николаевне пора было ехать домой.

— Нельзя ли тебе меня проводить? — сказала она сестре.— Наши лошади еще не пришли из деревни, а на извозчике я боюсь ехать.

— Конечно, проводим,— отвечала Муза Николаевна и велела было заложить в возок лошадей; но лакей, пошедший исполнять это приказание, возвратясь невдолге, объявил, что кучер, не спавший всю прошедшую ночь, напился и лежит без чувств.

— Как же я доберусь теперь до дому? — произнесла Сусанна Николаевна.

— Очень просто, я велю тебе взять хорошего извозчика и пошлю с тобою человека проводить тебя,— отвечала Муза Николаевна.

— Но зачем это, для чего? — проговорил каким-то трепетным голосом Углаков, слышавший совещание сестер.— У меня моя лошадь здесь со мною... Позвольте мне довезти вас до вашего дома... Надеюсь, что в этом ничего не будет неприличного?

— Ей-богу, я не знаю, как это по московским обычаям принято? — спросила сестру, видимо, недоумевавшая Сусанна Николаевна.

— По-моему, вовсе ничего нет тут неприличного... Меня из концертов часто молодые люди довозят, если Аркадий едет куда-нибудь не домой.

— В таком случае поедемте, довезите меня! — обратилась Сусанна Николаевна к Углакову, который, придя в неописанный восторг, выскочил в одном сюртуке на мороз, чтобы велеть кучеру своему подавать лошадь.

— Какой смешной Углаков! — проговорила Сусанна Николаевна, оставшись вдвоем с сестрою.

— Да, но в то же время он предобрый и премилый! — определила та.

— Это сейчас видно, что добрый,— согласилась и Сусанна Николаевна.

Углаков возвратился и объявил, что лошадь у крыльца. Сусанна Николаевна принялась облекаться в свою модную шляпку, в свои дорогие боа и салоп.

— А я тебя и не спросила еще,— сказала Муза Николаевна, укутывая сестру в передней,— получила ли ты письмо от мамаши из деревни?

— Нам Сверстовы писали, что maman чувствует себя

хорошо, совершенно покойна, и что отец Василий ей иногда читает из жития святых,— Прологи, знаешь, эти...

Но Муза Николаевна совершенно не знала, что такое Прологи.

Сестры, наконец, распрощались, и когда Сусанна Николаевна уселась с Углаковым в сани, то пристоявшийся на морозе рысак полетел стремглав. Сусанна Николаевна, очень любившая быструю езду, испытывала живое удовольствие, и выражение ее красивого лица, обрамленного пушистым боа, было веселое и спокойное; но только вдруг ее собеседник почти прошептал:

— Сусанна Николаевна, зачем вы вышли замуж за такого старика?

Такой вопрос совершенно поразил Сусанну Николаевну.

— За какого же старика? — нашлась она только спросить.

— Так неужели же ваш муж молод? — проговорил в воротник шубы Углаков.

— Для меня это все равно: молод он или не молод, но он любит меня.

— Еще бы ему не любить вас! — произнес опять в воротник своей шубы Углаков.

— Но и я его тоже люблю.

— Не верю.

— Как не верите! Разве вы знаете мои чувства?

— Не знаю, но не верю.

— Ну, так знайте же, я люблю, и люблю очень моего старого мужа!

— Тогда это или сумасшествие, или вы какая-то уж необыкновенная женщина!..

— Что ж тут необыкновенного,— я не понимаю! — возразила Сусанна Николаевна.

— Да как же?.. Люди обыкновенно любят друг друга, когда у них есть что-нибудь общее; но, я думаю, ничего не может быть общего между старепьким грибком и сильфидой.

— Общее в мыслях, во взглядах.

— Значит, и вы, как Егор Егорыч, верите в масонство? — воскликнул Углаков.

Все эти расспросы его Сусанну Николаевну очень удивили.

— Неужели, Углаков, вы не понимаете, что ваши сло-

ва чрезвычайно нескромны, и что я на них не могу отвечать?

— Виноват, если я тут в чем проговорился; но, как хотите, это вот я понимаю, что отец мой в двадцать лет еще сделался масоном, мать моя тоже масонка; они поженились друг с другом и с тех пор, как кукушки какие, кукуют одну и ту же масонскую песню; но чтобы вы... Нет, я вам не верю.

— Для меня это решительно все равно,— произнесла, уже усмехнувшись, Сусанна Николаевна,— но я вас прошу об одном: никогда больше со мной не говорить об этом.

— Я не буду, когда вы не приказываете,— проговорил покорным голсссом Углаков и, видимо, надувшись несколько на Марфину, во всю остальную дорогу ни слова больше не проговорил с нею и даже, когда она перед своим подъездом сказала ему: «merci», он ей ответил насмешливым голосом:

— Не стоит благодарности, madame.

— Но куда же вы теперь едете? — спросила его Сусанна Николаевна.

— Еду из светлого рая в многогрешный театр,— отвечал тем же тоном Углаков и уехал.

Сусанна Николаевна, улыбаясь, вошла в свою квартиру и прямо направилась к Егору Егорычу, которого она застала за книгой и в шерстяном колпаке, и при этом — скрывать нечего — он ужасно показался Сусанне Николаевне похожим на старенький, сморщенный грибок.

Не остановившись, разумеется, ни на секунду на этой мысли, она сказала ему:

— Ты знаешь, кто меня довез сюда?

Егор Егорыч вопросительно взмахнул на нее глазами.

— Молодой Углаков, сын твоего приятеля.

— А! Что ж ты не привела его ко мне?.. Я его давно не видал... Так ли он остер, как был в детстве?..

— И теперь остер, но главное — ужасно наивен: что на душе, то и на языке.

— Это качество хорошее! — заметил Егор Егорыч.

— Конечно, дурной человек не будет откровенен,— заметила Сусанна Николаевна и пошла к себе в комнату пораспустить корсет, парадное бархатное платье заменить домашним, и пока она все это совершала, в ее вооб-

ражении рисовался, как живой, шустренький Углаков с своими проницательными и насмешливыми глазками, так что Сусанне Николаевне сделалось досадно на себя. Возвратясь к мужу и стараясь думать о чем-нибудь другом, она спросила Егора Егорыча, знает ли он, что в их губернии, как и во многих, начинается голод?

— Знаю, я еще осенью распорядился заготовить для крестьян хлеба, с тем, чтобы потом выдавать его им бесплатно,— пробормотал тот.

— Ах, как ты хорошо это сделал! — похвалила его с чувством Сусанна Николаевна.

— Что ж тут особенно хорошего? Это долг мой, обязанность моя! — возразил Егор Егорыч.

III

Углаковы дали большой вечер. Собравшийся к ним люд был разнообразен: во-первых, несколько молодых дам и девиц, несколько статских молодых людей и два — три отпускных гвардейских офицера, товарищи юного Углакова. Старик Углаков, а еще более того супруга его слыли в Москве людьми умными и просвещенными, а потому их, собственно, общество по преимуществу состояло из старых масонов и из дам de lettres[1], что в переводе значило: из дам весьма скучных, значительно безобразных и — по летам своим — полустарух. Карточных игроков, разместившихся в особой отдельной комнате, было тоже немало, и посреди них виднелась заметная фигура Калмыка и напоминающая собой копну сена фигура Феодосия Гаврилыча: он играл в пикет с Лябьевым и имел более чем когда-либо бессмысленно-серьезное выражение в лице. Танцы производились в зале под игру тапера, молодой, вертлявый хозяин почти ни на шаг не отходил от m-me Марфиной, которая, говоря без лести, была красивее и даже наряднее всех прочих дам: для бала этого Сусанна Николаевна, без всякого понуждения со стороны Егора Егорыча, сделала себе новое и весьма изящное платье. Муза Николаевна на этот раз была тоже весьма интересна, и это условливалось отчасти тем, что, пользуясь вечерним освещением, она употребила против своего красноватого цвета лица некоторые легкие косметические

---

[1] литературных. (*франц.*)

средства. Общество пожилое между тем сидело в гостиной, и Егор Егорыч заметно тут первоприсутствовал; по крайней мере, хозяин, старичок очень чистенький и франтоватый, со звездой, выражал большую аттенцию к каждому слову, которое произносил Марфин. Что касается до хозяйки, то она себя держала тою же величавою дамой, какою мы видели ее в церкви Архангела Гавриила. Невдалеке от нее сидела такожде особа женского пола, маленькая, черномазенькая — особа, должно быть, пребеспокойного характера, потому что хоть и держала в своих костлявых руках работу, но беспрестанно повертывалась и прислушивалась к каждому, кто говорил, имея при этом такое выражение, которым как бы заявляла: «Ну-ко, ну, говори!.. Я вот тебя сейчас и прихлопну!» Прихлопывать ей, разумеется, не часто удавалось, но что она в душе постоянно к тому стремилась,— это несомненно! Особа эта была некая Зинаида Ираклиевна, дочь заслуженного кавказского генерала, владеющая значительным состоянием и, несмотря на свой солидный возраст, до сих пор еще не вышедшая замуж, вероятно, потому, что, как говорили некоторые насмешники, не имела никаких приятных женских признаков. В обществе,— за глаза, разумеется,— Зинаиду Ираклиевну обыкновенно называли m-lle Блоха. Такое прозвище она стяжала оттого, что будто бы Денис Давыдов, в современной песне своей, говоря: *заговорщица-блоха,* имел в виду ее. Но как бы то ни было, сия все-таки почтенная девица, лишенная утех сердца, старалась устроить себе умственную жизнь, ради чего она почти до унижения заискивала между тогдашними литераторами и между молодыми, какие тогда были налицо, учеными, которых Зинаида Ираклиевна, как бы они ни увертывались, завербовывала себе в друзья. В настоящее время жертвой ее был один молодой человек, года три перед тем проживший за границей. M-lle Блоха, познакомившись с ним, начала его приглашать к себе, всюду вывозить с собой и всем кричать, что это умнейший господин и вдобавок гегелианец. В чем собственно состоял гегелизм, Зинаида Ираклиевна весьма смутно ведала; но, тем не менее, в обществе, которое до того времени делилось на масонов и волтерианцев, начали потолковывать и о философии Гегеля, слух о чем достигнул и до Егора Егорыча с самых первых дней приезда его в Москву. Егор Егорыч знал об учении Гегеля еще менее Зинаиды Ираклиевны и помнил только имя сего ученого, о котором он слышал в бытность

свою в двадцатых годах за границей, но все-таки познакомиться с каким-нибудь гегелианцем ему очень хотелось с тою целью, чтобы повыщупать того и, если можно, то и поспорить с ним. Он переговорил об этом с m-me Углаковой, которая — благо и Пьер ее все приступал к ней затеять у них как-нибудь танцы — устроила невдолге вечер, пригласив на оный m-lle Блоху и убедительно прося ее при этом привезти с собою ее молодого друга, что та и исполнила. Гегелианец оказался скромным по виду господином, в очках, с длинными волосами и с весьма благородными манерами. Егор Егорыч устремил на него испытующий взор, но прямо разговор о Гегеле, разумеется, не мог начаться, и к нему пришли несколько окольным путем. Под звуки раздававшейся в зале музыки и при шуме шарканья танцующих m-me Углакова спросила Егора Егорыча:

— А вы вчера слушали «Божественную каплю»?

— Да,— отвечал он ей.

— Говорят, очень глубокое произведение?

— Глубокое по мысли своей, но, по-моему, сухо и непоэтично выполненное,— произнес Егор Егорыч.

— Это есть отчасти,— согласился с ним старик Углаков.

— Какая же мысль этой поэмы? — пожелала узнать m-lle Блоха, выражая в лице своем: «Ну-ко, ну, договори!»

Егор Егорыч, однако, не устрашился этого и очень спокойно, закинув только ногу под себя, принялся объяснять.

— Это — переложенное в поэму апокрифическое предание о разбойнике, который попросил деву Марию, шедшую в Египет с Иосифом и предвечным младенцем, дать каплю молока своего его умирающему с голоду ребенку. Дева Мария покормила ребенка, который впоследствии, сделавшись, подобно отцу своему, разбойником, был распят вместе со Христом на Голгофе и, умирая, произнес к собрату своему по млеку: «Помяни мя, господи, егда приидеши во царствие твое!»

— Все это, разумеется, имеет символическое значение,— заметил старик Углаков.

— Конечно,— подтвердил Егор Егорыч.— Ибо что такое явление Христа, как не возрождение ветхого райского Адама, и капля богородицы внесла в душу разбойника искру божественного огня, давшую силу ему узнать в распятом Христе вечно живущего бога... Нынче, впрочем, все

это, пожалуй, может показаться чересчур религиозным, значит, неумным.

— Почему же неумным? Бог есть разум всего, высший ум! — возразила Зинаида Ираклиевна, вероятно, при этом думавшая: «А я вот тебя немножко и прихлопнула!». В то же время она взглянула на своего молодого друга, как бы желая знать, одобряет ли он ее; но тот молчал, и можно было думать, что все эти старички с их мнениями казались ему смешны: откровенный Егор Егорыч успел, однако, вызвать его на разговор.

— Вы гегелианец? — начал он прямо.

— Гегелианец! — отвечал молодой человек, немного подумав.

— Я невежда в отношении Гегеля... С Фихте и Шеллингом я знаком немного и уважаю их, хотя я сам весь, по существу моему, мистик; но знать, говорят, все полезно... Скажите, в чем состоит сущность учения Гегеля: продолжатель ли он своих предшественников или начинатель чего-нибудь нового?..

— То и другое, я думаю.

— Но его исходная точка, по крайней мере, собственная?

— Почти совершенно собственная: его главное положение выражается в такой формуле, что все рациональное реально и все реальное рационально, и что человек должен верить в один только ум, ибо он сам есть ум!

Егора Егорыча при этом заметно покоробило.

— Все человеческое есть человеческое только посредством мысли, то есть ума,— говорил далее ученый,— и самое высшее знание — это мысль, занятая сама собой, ищущая и находящая самое себя. Она называется формальною, когда рассматривается независимо от содержания; мысль более определенная становится понятием; мысль в полной определенности есть идея, натура которой — *развиваться* и только чрез это делаться тем, что она есть. В ней надобно различать два состояния: одно, которое известно под именем расположения, способности, возможности и которое по-немецки называется an sich sein — бытием в самом себе. Второе есть действительность, вещественность, или то, что именуется бытием для себя — für sich sein.

— Значит, Гегель рассматривает мысль в совершенном отвлечении, ее только действия и пути, но где же содержание какое-нибудь?

— Содержания он и не касается... Подкладывайте под мысль какое вам угодно содержание, которое все-таки будет таково, каким понимает его мысль.

— Но неужели же ни вы, ни Гегель не знаете, или, зная, отвергаете то, что говорит Бенеке? — привел еще раз мнение своего любимого философа Егор Егорыч.— Бенеке говорит, что для ума есть черта, до которой он идет могущественно, но тут же весь и кончается, а там, дальше, за чертой, и поэзия, и бог, и религия, и это уж работа не его, а дело фантазии.

— Но что же такое и фантазия, если она хоть сколько-нибудь сознана, как не мысль?.. Вы вот изволили упомянуть о религиях,— Гегель вовсе не отделяет и не исключает религии из философии и полагает, что это два различных способа познавать одну и ту же истину. Философия есть ничто иное, как уразумеваемая религия, вера, переведенная на разум...

— Но нельзя веру перевести на разум! — воскликнул Егор Егорыч.

— Позвольте уж мне прежде докончить,— сказал ему на это скромно молодой ученый.

— Виноват, виноват, молчу и слушаю вас,— произнес Егор Егорыч, с своей стороны, с покорностью.

Молодой ученый снова продолжал:

— Гомер сказал, что все вещи имеют два названия: одно на языке богов, а другое на языке человеков. Первое выражает смысл положительного, конкретного понятия, а другое есть язык чувств, представлений, мысли, заключенной в конечные категории. Религия может существовать без философии, но философия не может быть без религии. Философия, по необходимости, по существу своему, заключает в себе религию. Еще схоластик Ансельм сказал: negligentia mihi videtur, si postquam confirmati simus in fide, non studemus, quod credimus intelligere[1].

Эту латинскую цитату молодой ученый явно произнес для произведения внешнего эффекта, так как оной никто из слушателей не понял, за исключением Егора Егорыча, который на это воскликнул:

— Нельзя этого intelligere, нельзя, а если и можно, так вот чем!.. Сердцем нашим!..— И Егор Егорыч при этом

---

[1] На мой взгляд, это — небрежность, если мы, утвердившись в вере, не стараемся понять того, во что мы верим. *(лат.)*

постучал себе пальцем в грудь.— А не этим! — прибавил он, постучав уже пальцем в лоб.

— Сердцем, я полагаю, ничего нельзя понимать,— возразил ему его оппонент,— оно может только чувствовать, то есть отвращаться от чего-либо или прилепляться к чему-либо; но сравнивать, сознавать и даже запоминать способен один только ум. Мы достаточно уже имеем чистых форм истины в религиях и мифологиях, в гностических и мистических системах философии, как древних, так и новейших. Содержание их вечно юно, и одни только формы у них стареют, и мы легко можем открыть в этих формах идею и убедиться, что философская истина не есть что-нибудь отдельное и чуждое мировой жизни, и что она в ней проявлена, по крайней мере, как распря.

— Не понимаю вас, не понимаю,— затараторил Егор Егорыч,— кроме последнего вашего слова: распря. Откуда же эта распря происходит?.. Откуда это недовольство, это как бы движение вперед?.. Неужели вы тут не чувствуете, что человек ищет свой утраченный свет, свой затемненный разум?..

— Он бы сейчас его нашел, если бы только поверил в него безусловно.

— Но отчего же тогда политики врут и на каждом шагу ошибаются, а кажется, действуют все по уму и с расчетом.

— Я не знаю, собственно, что вы разумеете под именем политиков,— возразил ему молодой человек,— но Гегель в отношении права, нравственности и государства говорит, что истина этих предметов достаточно ясно высказана в положительных законах.

— Однако наш мыслящий ум не удовлетворяется этими истинами! — перебил его Егор Егорыч.

— Он не столько не удовлетворяется, сколько стремится облечь их в умственную форму и, так сказать, оправдать их перед мыслию свободною и самодеятельною. В естественном праве Гегель требует, чтобы вместо отвлеченного способа созидать государство понимали это государство как нечто рациональное в самом себе, и отсюда его выводами были: повиновение властям, уважение к праву положительному и отвращение ко всяким насильственным и быстрым переворотам.

— Все уж это очень рационально, чересчур даже,— произнес Егор Егорыч, потрясая своей головой.

— Непременно рационально, как и должно быть все в мире, и если вы вглядитесь внимательно, то увидите, что развитие духа всего мира представляется в четырех элементах, которые имеют представителями своими Восток, Грецию, Рим и Германию. На востоке идея является в своей чистой бесконечности, как безусловная субстанция в себе, an sich, безо всякой формы, безо всякого определения, поглощающая и подавляющая все конечное, человеческое; поэтому единственная форма общества здесь есть теократия, в которой человек безусловно подчинен божеству... В Греции идея уже получает конечную форму и определение; человеческое начало выступает и выражает свободно идею в определенных прекрасных образах и созданиях, то есть для себя бытие идеи, für sich sein, в области идеального созерцания и творчества. В Риме человек, как практическая воля, осуществляет идею в практической жизни и деятельности... Он создает право, закон и всемирное государство для практического выражения абсолютной истины... В мире германском человек, как свободное лицо, осуществляет идею в ее собственной области, как безусловную свободу,— здесь является свободное государство и свободная наука, то есть чистая философия.

— Темно, темно,— повторил и на это Егор Егорыч.

— Может быть, что не совсем ясно,— не отрицал молодой ученый.— Гегель сам говорит, что философия непременно должна быть темна, и что ясность есть принадлежность мыслей низшего разряда.

Такого рода спор, вероятно, долго бы еще продолжался, если бы он не был прерван довольно странным явлением: в гостиную вдруг вошел лакей в меховой, с гербовыми пуговицами, ливрее и даже в неснятой, тоже ливрейной, меховой шапке. Он нес в руках что-то очень большое и, должно быть, весьма тяжелое, имеющее как бы форму треугольника, завернутое в толстое, зеленого цвета сукно. За этим лакеем следовала пожилая дама в платье декольте, с худой и длинной шеей, с седыми, но весьма тщательно подвитыми пуклями и с множеством брильянтовых вещей на груди и на руках. Хозяйка, увидав эту даму, почти со всех ног бросилась к ней навстречу и, пожимая обе руки той, воскликнула:

— Марья Федоровна, как я вам рада,— боже мой, как рада!

Хозяин тоже встал с своего кресла и почтительно раскланивался с Марьей Федоровной.

— Приехала, по вашему желанию, с арфой,— проговорила та, показывая рукою на внесенную лакеем вещь.

— Ах, как мы вам благодарны, несказанно благодарны! — говорили супруг и супруга Углаковы.

— Но где ж позволите мне поставить мой инструмент? — спросила Марья Федоровна, беспокойно потрясая своими седыми кудрями.

— Я думаю, около фортепьян — вы, вероятно, будете играть с аккомпанементом? — проговорила хозяйка.

— Могу и с аккомпанементом, только с очень нешумным,— объяснила Марья Федоровна.

— О, без сомнения! — воскликнула хозяйка.

— Заглушать вашу игру было бы преступлением,— присовокупил к этому старик Углаков.

Марья Федоровна после того повелительно взглянула на лакея, и тот, снова подняв свое бремя, потащил его в залу, причем от ливрейской шубы его исходил холод, а на лбу, напротив, выступала испарина. Если бы бедного служителя сего спросить в настоящие минуты, что он желает сделать с несомым им инструментом, то он наверное бы сказал: «расщепать его на мелкую лучину и в огонь!» Но арфа, наконец, уставлена была около фортепьяно. Суконный чехол был с нее снят. Тапер, сидевший до того за фортепьяно, встал и отошел в сторону. Танцы, само собою разумеется, прекратились.

— Кто ж мне будет аккомпанировать? — спросила Марья Федоровна, повертывая свою голову на худой шее и осматривая все общество.

Она, видимо, желала немедля же приступить к своим музыкальным упражнениям.

— Милая, добрая Муза Николаевна,— отнеслась хозяйка к Лябьевой,— аккомпанируйте Марье Федоровне!

Муза Николаевна повыдвинулась из толпы.

— Не соглашайтесь! — шепнул ей стоявший около молодой Углаков.— Пусть эта старая ведьма булькает одна на своих гуслях.

Муза Николаевна, конечно, не послушалась его и подошла к роялю.

— Я всегда очень дурно аккомпанирую Марье Федоровне,— произнесла она.

— Нет, нет, вы отлично аккомпанируете! — возразила та, тряхнув своими кудрями и усаживаясь на пододвинутое ей хозяином кресло.

«Буль, буль!» — заиграла она в самом деле на арфе.

— «Буль, буль!» — повторил за нею и Углаков, садясь рядом с Сусанной Николаевной.

Та, кажется, старалась не смотреть на него и не слушать его.

— Какую арию вам угодно, чтобы я аккомпанировала? — спросила Муза Николаевна.

— Я бы больше всего желала сыграть гимн солнцу пифагорейцев, который я недавно сама положила на музыку,— сказала с оттенком важности Марья Федоровна.

— Но я его не знаю,— произнесла на это скромно Муза Николаевна.

— Марья Федоровна,— воскликнул в это время вскочивший с своего места молодой Углаков, подбегая к роялю,— вы сыграйте «Вот мчится тройка удалая!», а я вам спою!

При этом возгласе сына старик Углаков вопросительно взглянул на него, а мать выразила на лице своем неудовольствие и даже испуг: она заранее предчувствовала, что Пьер ее затеял какую-нибудь проказу.

— А вы поете эту песню? — спросила Марья Федоровна, вскидывая на повесу свои сентиментальные глаза.

— Пою, и пою отлично,— отвечал тот, не задумавшись.

Тут уж m-me Углакова укоризненно покачала головою сыну; старик-отец тоже растерялся.

Ничего этого не замечавшая Марья Федоровна забулькала на арфе хорошо ей знакомую песню. Муза Николаевна стала ей слегка подыгрывать на фортепьяно, а Углаков запел. Сначала все шло как следует; бо̀льшая часть общества из гостиной и из наугольной сошлась слушать музыку и пение. Из игроков остались на своих местах только Лябьев, что-то такое задумчиво маравший на столе мелом, Феодосий Гаврилыч, обыкновенно никогда и нигде не трогавшийся с того места, которое себе избирал, и Калмык, подсевший тоже к их столу. Феодосию Гаврилычу заметно хотелось поговорить с сим последним.

— А я тебе не рассказывал, какую я умную штуку придумал? — начал он.

— Нет, не рассказывал; надеюсь, что она поумней этой дурацкой музыки, которая там раздается,— отозвался Калмык.

— За такую музыку их всех бы передушить следовало! — произнес со злостию Лябьев и нарисовал мелом на столе огромный нос.

— Поумней немножко этой музыки, поумней! — произнес самодовольно Феодосий Гаврилыч.— Ну, так вот что такое я именно придумал,— продолжал он, обращаясь к Калмыку.— Случился у меня в имениях следующий казус: на водяной мельнице плотину прорвало, а ветряные не мелют: ветров нет!

— Что ж, ты сам из себя придумал испускать оные? — заметил Калмык.

— Где ж мне испускать из себя? Я не Эол. Но слушай уж серьезно: механику ты знаешь. Ежели мы от какой-нибудь тяжести перекинем веревку через блок, то она действует вдвое... Я и придумал на место всех этих водяных и ветряных мельниц построить одну большую, которую и буду двигать тяжестью, и тяжестью даже небольшой, положим, в три пуда. Эти три пуда, перекинутые через блок, будут действовать, как шесть пудов, перекинутые еще через блок, еще более, так что на десятом, может быть, блоке составится тысячи полторы пудов: понял?

— Понял,— отвечал Калмык.

— Значит, хорошо я придумал?

— Нет, нехорошо.

— Почему?

— Потому что ты механики-то, видно, и не знаешь. У тебя мельница действительно повернется, но только один раз в день, а на этом много муки не смелешь.

— Что ты говоришь: один раз в день! — возразил, даже презрительно рассмеявшись, Феодосий Гаврилыч.— Чем ты это докажешь?

— Тем, что тяжесть, перекинутая через блок, хоть и действует сильнее, но в то же время настолько же и медленнее.

Сколь ни плохо знал механику Феодосий Гаврилыч, но справедливость мысли Калмыка понял.

— Фу ты, черт тебя возьми! Ты, как дьявол, все понимаешь,— произнес он, но в этот момент Лябьев поспешно

поднялся с своего стула и проворно вышел в залу, где произошло нечто весьма курьезное.

Углаков в конце петой им песни вдруг зачихал, причем чихнул если не в лицо, то прямо в открытую шею Марьи Федоровны, которая при этом с величием откинулась назад; но Углаков не унимался: он чихнул потом на арфу и даже несколько на платье Музы Николаевны, будучи не в состоянии удержаться от своей чихотки. Все это, разумеется, прекратило музыку и пение, и в заключение всего из наугольной Калмык захлопал и прокричал:

— Браво!

— Браво! — подхватил ему вослед и юный Углаков.

Конфузу и смущению стариков-хозяев пределов не было, а также и удивлению со стороны Марьи Федоровны.

— Как ваш сын дурно воспитан! — сказала она m-me Углаковой.

— У него, вероятно, насморк,— объяснила та, чтобы как-нибудь оправдать свое детище.

— У меня насморк, Марья Федоровна, видит бог, насморк! — вопиял, с своей стороны, юный Углаков и затем сейчас же скрылся в толпу и уселся рядом с Сусанной Николаевной.

— Что такое с вами? — спросила та.

— Да я у Федотыча, как он проходил с лимонадом, выпросил табаку, и когда Марья Федоровна разыгралась очень на своей арфе, я и нюхнул этого табаку,— ну, я вам скажу, это штука чувствительная: слон бы и тот расчихался!

Сусанна Николаевна, слушая шалуна, не могла удержаться от смеха.

Между тем Марья Федоровна, не хотевшая, к общему удовольствию, кажется, публики, продолжать своей игры на арфе, перешла в гостиную и села около Зинаиды Ираклиевны, которая не замедлила ее слегка кольнуть.

— А я и не знала, что вы арфу вашу даже кутаете, чтобы она не простудилась.

— Иначе и нельзя, а то она отсыреет и тон потеряет... Это самый, я думаю, деликатный инструмент,— отвечала простодушно Марья Федоровна, вовсе не подозревавшая яду в словах своей собеседницы, которая, впрочем, не стала с нею больше говорить и все свое внимание отнесла к спору, все еще продолжавшемуся между молодым уче-

ным и Егором Егорычем, ради чего они уселись уже вдали в уголке.

— Ведь это пантеизм, чистейший пантеизм,— полувосклицал Марфин,— а я не хочу быть пантеистической пешкой!.. Я чувствую и сознаю бога, сознаю также и себя отдельно!

— Вы потому и сознаете себя отдельно, что ваш ум может обращаться на самого себя и себя познавать! — возражал молодой гегелианец.

— Что мне в этом обращении ума на себя!.. А остальное все прекрасно и поэтому должно быть status quo?..[1] На этом, помяните мое слово, и подшибут вашего Гегеля.

— Может быть,— соглашался ученый,— но потом все-таки опять к нему возвратятся.

— Возвратятся, но уже не к нему, а скорее к английскому эмпиризму...

В эти самые минуты, чего Егор Егорыч, конечно, и не подозревал, между Сусанной Николаевной и молодым Углаковым тоже происходил довольно отвлеченный разговор. Сначала, как мы видели, Петр Александрыч все зубоскалил, но затем вдруг, как бы очнувшись, он спросил:

— Вы, Сусанна Николаевна, я думаю, совершенною дрянью считаете меня?

— С чего вы это взяли? — сказала она, вспыхнув в лице.

— С того, что я в самом деле дрянь,— отвечал он.

— Муж мой тоже, когда бывает не в духе, говорит иногда, что он дурной человек, но разве я верю ему?

— Мужу вы, может быть, не поверите, а про меня и сами такого же мнения, как я думаю о себе.

— Ну, это еще бог знает! — возразила, улыбнувшись, Сусанна Николаевна.

— Вы не шутите и не скрываете, что дурно обо мне думаете?

— Пока нисколько не думаю об вас дурно.

— Я бы и был недурной человек, если бы мне было позволено одно.

— Что именно? — спросила Сусанна Николаевна, но тут же, видимо, и испугалась своего вопроса.

— То, чтобы вы позволили мне быть влюблену в вас.

Сусанна Николаевна окончательно растерялась.

---

[1] неизменным? *(лат.)*

— О, этого я никогда вам не позволю,— сказала она, как бы и смеясь.

— Отчего? — произнес протяжно Углаков.

— Оттого, что я замужняя женщина... и зачем же мне ваша любовь?

— В таком случае я останусь дрянным человеком... и вот теперь же пойду и схвачусь с Лябьевым в банк!..

— Я не позволяю вам этого делать, потому что не желаю, чтобы Лябьев проиграл... и чтобы вы проигрывались.

— Но я вас не послушаюсь, потому что вы не позволяете мне быть в вас влюблену.

— Нет, вы послушаетесь меня!.. Иначе я с вами ни одного слова никогда не скажу.

— Вы ужасная деспотка! — проговорил Углаков и как бы невольно вздохнул.

— Может быть,— не отвергнула того и Сусанна Николаевна и, видя, что Егор Егорыч вышел из гостиной с шапкой в руке, она присовокупила:

— Мы скоро уедем; дайте мне честное слово, что вы не будете Лябьева подговаривать в карты играть!

— Извольте! — отвечал покорным тоном Углаков.

Сусанна Николаевна поблагодарила его улыбкой и подошла к сестре; та пошутила ей:

— Ты, однако, весь вечер разговаривала с этим бесенком, Углаковым.

— Уж именно бесенок! — подхватила Сусанна Николаевна и к этому ни слова больше не прибавила.

IV

С наступлением февраля неурожай прошедшего лета начинал окончательно давать себя чувствовать. Цены на хлеб поднялись в Москве вчетверо. Был составлен особый комитет для сбора пожертвований в пользу голодающих, а также для покупки и продажи хлеба хоть сколько-нибудь по сносным ценам. Члены комитета начали съезжаться каждодневно, и на этих собраниях было произнесено много теплых речей, но самое дело подвигалось медленно; подписка на пожертвования шла, в свою очередь, не обильно, а о каких-либо фактических распоряжениях касательно удешевления пищи пока и помину не было; об этом все еще спорили: одни утверждали, что надобно по-

слать закупить хлеба в такие-то местности; другие указывали на совершенно иные местности; затем возник вопрос, кого послать? Некоторые утверждали, что для этого надобно выбрать особых комиссаров и назначить им жалованье; наконец князь Индобский, тоже успевший попасть в члены комитета, предложил деньги, предназначенные для помещичьих крестьян, отдать помещикам, а раздачу вспомоществований крестьянам казенным и мещанам возложить на кого-либо из членов комитета; но когда ни одно из сих мнений его не было принято комитетом, то князь высказал свою прежнюю мысль, что так как дела откупов тесно связаны с благосостоянием народным, то не благоугодно ли будет комитету пригласить господ откупщиков, которых тогда много съехалось в Москву, и с ними посоветоваться, как и что тут лучше предпринять. Эту мысль комитет одобрил. Посланы были пригласительные письма к откупщикам. Те приехали в заседание и единогласно объявили, что полезнее бы всего было раздать деньги на руки самим голодающим; однако члены комитета, поняв заднюю мысль, руководившую сих мытарей, в глаза им объявили, что при подобном способе бо̀льшая часть денег бедняками будет употреблена не на покупку хлеба, а на водку откупщицкую. Затем, как водится, последовал спор, шум, посреди которого в залу заседания вошел самый денежный из откупщиков, Василий Иваныч Тулузов. Он направился к председателю и извинился перед тем, что опоздал несколько. Председатель, с своей стороны, счел нужным объяснить Тулузову все, что до него происходило, и вместе с тем, предложив Василию Иванычу сделать посильное приношение в пользу голодающих, просил его дать совет касательно того, как бы поскорее устроить вспомоществование бедным.

— А до какой цифры накопилась теперь пожертвованная сумма? — спросил Тулузов.

Председатель заглянул в лежавшую перед ним ведомость и произнес несколько конфузливым голосом:

— Тысяч до двадцати пяти.

— И все деньги в сборе?

— Нет, некоторая часть еще не поступила.

На губах Тулузова явно пробежала насмешливая улыбка.

— Я-с готов сделать пожертвование,— стал он громко отвечать председателю так, чтобы слышали его прочие

члены комитета,— и пожертвование не маленькое, а именно: в триста тысяч рублей.

При этом как членов комитета, так и откупщиков словно взрывом каким ошеломило. Председатель хотел было немедля же от себя и от всего комитета выразить Василию Иванычу великую благодарность, но тот легким движением руки остановил его и снова продолжал свою речь:

— Я теперь собственно потому опоздал, что был у генерал-губернатора, которому тоже объяснил о моей готовности внести на спасение от голодной смерти людей триста тысяч, а также и о том условии, которое бы я желал себе выговорить: триста тысяч я вношу на покупку хлеба с тем лишь, что самолично буду распоряжаться этими деньгами и при этом обязуюсь через две же недели в Москве и других местах, где найду нужным, открыть хлебные амбары, в которых буду продавать хлеб по ценам, не превышающим цен прежних неголодных годов.

— Но тозе какой хлеб вы будете продавать и где? — заметил один из откупщиков с такими явными следами своего жидовского происхождения, что имел даже пейсы, распространял от себя невыносимый запах чесноку и дзикал в своем произношении до омерзения.

— Хлеб мой может всегда свидетельствовать полиция, а продавать его я буду, где мне вздумается.

— Но отчего же вы не хотите ваше благодеяние совершить совместно с нашим комитетом? — сказал как бы с некоторым удивлением председатель.

— Ваше превосходительство,— отвечал ему Тулузов почтительно,— к несчастию, я знаю поговорку, что у семи нянек дитя без глазу.

— Но тогда зе ви будете продавать вас хлеб только где откупа васи, вот сто вы зтанете делать! — произнес укоризненно еврей.

— Непременно-с там буду продавать и нигде больше! — едва удостоил его ответом Тулузов.

— Но тогда зе весь народ пойдет в васи города!.. Сто зе ви сделаете с другими откупсциками: вы всех нас зарезете! — почти уже кричал жид.

— Заведите и вы у себя дешевую продажу хлеба, тогда и у вас будет народ! — отозвался с надменностью Тулузов.

— У нас зе нема денег для того! — продолжал кричать жид.

Но Тулузов, не желавший, по-видимому, тратить с ним больше слов, повернулся к нему спиной и отнесся к председателю:

— Я, ваше превосходительство, теперь приехал не испрашивать разрешения у комитета на мою операцию, которая мне уже разрешена генерал-губернатором, а только, как приказал он мне, объявить вам об этом.

— Приму к сведению! — отозвался на это сухо председатель.

Тулузов после того раскланялся со всеми и уехал.

Все члены комитета, а еще более того откупщики остались очень недовольными и смущенными: первые прямо из заседания отправились в Английский клуб, где стали рассказывать, какую штуку позволил себе сыграть с ними генерал-губернатор, и больше всех в этом случае протестовал князь Индобский.

— Помилуйте,— говорил он,— этот наш европеец, генерал-губернатор, помимо комитета входит в стачку с кабацким аферистом, который нагло является к нам и объявляет, что он прокормит Москву, а не мы!

Между откупщиками, откупщик-еврей немалое еще время возглашал, пожимая своими костлявыми плечами:

— Мы все зарезаны, зарезаны!

Откупщики из русских тоже позатуманились и после некоторого совещания между собой отправились гуртом к Тулузову, вероятно, затем, чтобы дать ему отступного и просить его отказаться от своего хлебного предприятия; но тот их не принял и через лакея сказал им, что он занят. Таким образом откупщики уехали от него с носом. Василий Иваныч, впрочем, в самом деле был занят: он в ту же ночь собрал всех своих поумней и поплутоватей целовальников и велел им со всей их накопленной выручкой ехать в разные местности России, где, по его расчету, был хлеб недорог, и закупить его весь, целиком, под задатки и контракты. Те исполнили приказание своего повелителя с замечательною скоростью и ловкостью и приторговали массу хлеба, который недели через две потянулся в Москву; а Тулузов, тем временем в ближайших окрестностях заарендовав несколько водяных и ветряных мельниц, в половине поста устроил на всех почти рынках московских лабазы и открыл в них продажу муки по ценам прежних лет. Мало того, он стал скупать в голодающих губерниях скот, который, не имея чем кормить,

крестьяне и даже помещики сбывали за бесценок. Он убивал этот скот, чтобы не тратиться на прогон и на прокорм на местах покупки, и, пользуясь зимним холодом, привозил его в Москву, в форме убоины, которую продавал по ценам более чем умеренным. Весь бедный люд, что предсказывал еврей-откупщик, хлынул на всякого рода заработки в Москву. Пьянство началось велие; откуп не только не нес убытка, а, напротив, процветал, и, по расчетам людей опытных в деле торговли, Тулузов от откупа и от продажи хлеба нажил в какие-нибудь два месяца тысяч до пятисот. Обо всем этом заговорила, разумеется, вся Москва, и даже гордо мнящий о себе и с сильно аристократической закваской Английский клуб должен был сознаться, что Тулузов в смысле коммерсанта человек гениальный. К этому присоединилось и то, что, по слухам, генерал-губернатор, зачислив Тулузова попечителем какого-то богоугодного заведения, будто бы представил его в действительные статские советники.

Пока все это творилось в мире официальном и общественном, в мире художественном тоже подготовлялось событие: предполагалось возобновить пьесу «Тридцать лет, или жизнь игрока», в которой главную роль Жоржа должен был играть Мочалов. Муза Николаевна непременно пожелала быть на сем представлении, подговорив на то и Сусанну Николаевну. Билет им в бельэтаж еще заранее достал Углаков; сверх того, по уговору, он в день представления должен был заехать к Музе Николаевне, у которой хотела быть Сусанна Николаевна, и обеих дам сопровождать в театр; но вот в сказанный день седьмой час был на исходе, а Углаков не являлся, так что дамы решились ехать одни. Публики было множество. Бельэтаж блистал туалетами дам, посреди которых, между прочим, кидалась в глаза очень растолстевшая и разряженная донельзя Екатерина Петровна Тулузова. Усы на губах ее до того уже были заметны, что она принуждена была подстригать их. Рядом с ней помещался также и супруг ее.

— Куда мог деваться этот вертопрах Углаков? — проговорила Муза Николаевна, усевшись с сестрой в ложе.

Та отрицательно пожала плечами, как бы говоря: «Я не знаю, не понимаю»,— и в то же время несколько побледнела.

Сомненья их, впрочем, разрешил вошедший в ложу несколько впопыхах Лябьев.

— Где Углаков, скажи, пожалуйста? — спросила его жена.

— Углаков дома и лежит в нервной горячке почти без памяти; я сейчас от него,— отвечал Лябьев и как-то странно при этом взглянул на Сусанну Николаевну, которая, в свою очередь, еще более побледнела.

— Ты, Муза, и вы, Сусанна Николаевна,— продолжал он,— съездите завтра к Углаковым!.. Ваше участие очень будет приятно старикам и оживит больного.

— Я непременно поеду,— сказала Муза Николаевна.

— А вы? — отнесся Лябьев к Сусанне Николаевне.

— И я, если это нужно, поеду,— произнесла та.

— Нужно-с,— повторил с каким-то особенным оттенком Лябьев и собрался уйти.

— А ты разве не будешь смотреть пьесы? — спросила Муза Николаевна.

— Нет, она слишком на мой счет написана и как будто бы для того и дается, чтобы сделать мне нравоучение... Даже ты, я думаю, ради этого пожелала быть в театре.

— Именно для этого! — подхватила с улыбкой Муза Николаевна.

— Ну, и наслаждайся, сколько тебе угодно! — проговорил явно с насмешкою Лябьев, но в то же время почти с нежностью поцеловал у жены руку и уехал.

Занавес наконец поднялся. Перед глазами зрителя игорный дом. Во втором явлении из толпы игроков выбегает в блестящем костюме маркиза обыгранный дотла Жорж де-Жермани. Бешенству его пределов нет. Он кидает на пол держимый им в руках обломок стула. В публике, узнавшей своего любимца, раздалось рукоплескание; трагик, не слыша ничего этого и проговорив несколько с старавшимся его успокоить Варнером, вместе с ним уходит со сцены, потрясая своими поднятыми вверх руками; но в воздухе театральной залы как бы еще продолжал слышаться его мелодический и проникающий каждому в душу голос. Затем Жорж де-Жермани, после перемены декорации, в доме отца своего перед венчаньем с Амалией. Он не глядит ни на публику, ни на действующих лиц. Ему стыдно взглянуть кому-либо в лицо; он чувствует, сколь недостоин быть мужем невинной, простодушной девушки. Муза Николаевна вся устремилась на

сцену; из ее с воспаленными веками глаз текли слезы; но Сусанна Николаевна сидела спокойная и бледная и даже как бы не видела, что происходит на сцене. С закрытием занавеса Муза Николаевна отвлеклась несколько от сцены и, взглянув на сестру, если не испугалась, то, по крайней мере, очень удивилась.

— Отчего ты, Сусанна, такая, точно деревянная сегодня?

— Я? — спросила словно бы проснувшаяся от сна Сусанна Николаевна.

— Да, тебя, я вижу, обеспокоила болезнь Углакова?

— Меня... обеспокоила болезнь Углакова?.. Почему ты это знаешь? — снова переспросила Сусанна Николаевна.

— Да потому, почему и ты всегда знаешь и угадываешь, что я чувствую и думаю.

— Нет, ты не знаешь, что я думаю,— произнесла протяжно Сусанна Николаевна.

— Нет, я знаю! — возразила настойчиво Муза Николаевна.— У тебя, я уверена, произошло что-нибудь с Углаковым... Муж недаром сказал, чтобы ты съездила со мной к Углаковым.

Сусанна Николаевна лгать сестре или таить что-нибудь от нее не могла.

— Если ты хочешь, то произошло,— начала она тихо,— но посуди ты мое положение: Углаков, я не спорю, очень милый, добрый, умный мальчик, и с ним всегда приятно видаться, но последнее время он вздумал ездить к нам каждый день и именно по утрам, когда Егор Егорыч ходит гулять... говорит мне, разумеется, разные разности, и хоть я в этом случае, как добрая маменька, держу его всегда в границах, однако думаю, что все-таки это может не понравиться Егору Егорычу, которому я, конечно, говорю, что у нас был Углаков; и раз я увидела, что Егор Егорыч уж и поморщился... Согласись, что мне оставалось после того делать?.. Я действительно дня два тому назад сказала Углакову, что меня стесняют его посещения по утрам, и что вечером, когда Егор Егорыч дома, напротив, мы всегда рады его видеть... Ты вообразить себе не можешь, что произошло тут с Углаковым!.. Он вдруг заплакал и, проговорив: «Ну, я теперь погиб совсем!», сейчас же уехал... Что это такое?.. Я не понимаю даже...

— Очень понятно,— произнесла с несколько лукавой улыбкой Муза Николаевна,— влюбился в тебя до безумия.

Сусанна Николаевна придала недовольное выражение своему лицу.

— Но как же влюбиться до безумия? — возразила она.— Для этого надобно иметь какой-нибудь повод и чтобы хоть сколько-нибудь на это человека поощряли.

— Ты ошибаешься! Без поощрений гораздо сильнее влюбляются! — полувоскликнула Муза Николаевна, и так как в это время занавес поднялся, то она снова обратилась на сцену, где в продолжение всего второго акта ходил и говорил своим трепетным голосом небольшого роста и с чрезвычайно подвижным лицом курчавый Жорж де-Жермани, и от впечатления его с несколько приподнятыми плечами фигуры никто не мог избавиться.

Стала прислушиваться к трагику и Сусанна Николаевна, а Екатерина Петровна Тулузова держала, не отнимая от глаз, уставленный на него лорнет и почему-то вдруг вспомнила первого своего мужа, беспутно-поэтического Валерьяна, и вместе с тем почувствовала почти омерзение к настоящему супругу, сидевшему с надутой и важной физиономией. В конце этого действия Жорж де-Жермани, обманутый злодеем Варнером, застрелил ни в чем не повинного Родольфа д'Эрикура. В публике снова поднялись неистовые аплодисменты, под шум которых Екатерина Петровна, ни слова не сказав мужу, вышла в коридор и вошла в ложу Лябьевой.

— Надеюсь, mesdames, что вы позволите мне напомнить вам о себе? А с вами мы даже родственницы! — проговорила она заискивающим тоном и при последних словах обращаясь к Сусанне Николаевне.

Обе сестры, конечно, на ее любезность ответили такою же любезностью.

— Какая чудная пьеса и какой живой человек этот Жорж де-Жермани! — продолжала Екатерина Петровна.

— Совершенно живой! — подтвердила Муза Николаевна.

— Мне больше пьесы нравится Мочалов!.. Я теперь буду ездить на каждое его представление,— заметила Сусанна Николаевна.

— Значит, мы будем с вами видеться часто; я почти каждый день бываю в театре,— подхватила Екатерина Петровна,— тут другой еще есть актер, молодой, который — вы, может быть, заметили — играет этого Родольфа д'Эрикура: у него столько души и огня!

— Фи!.. Какая это душа! — подхватила уже Муза Николаевна.— Он весь какой-то накрахмаленный и слащавый.

— Да,— подтвердила и Сусанна Николаевна.

Тулузов между тем из своей ложи внимательно прислушивался к тому, что говорили дамы: ему, кажется, хотелось бы представиться Марфиной и Лябьевой, на которых ему в начале еще спектакля указала жена, но он, при всей своей смелости, не решался этого сделать. Занавес вскоре опять поднялся. Сцена представляла лес, хижину; Жорж де-Жермани и жена его, оба уже старики, в нищенских лохмотьях. Когда Жоржу, принесшему откуда-то пищи своей голодающей семье, маленькая дочь, подавая воды, сказала: «Ах, папа, у тебя руки в крови!» — «В крови?» — воскликнул он, проливая будто бы случайно воду и обмывая ею руку. Звук голоса и выражение ужаса в лице великого трагика были таковы, что вся публика как бы слегка привстала со своих мест. Несомненно, что он всю эту толпу соединил в одном чувстве. Даже Тулузова, по-видимому, пробрало,— по крайней мере, он покраснел в лице и торопливо взглянул себе на руки, словно бы ожидая увидеть на них кровь. В последнем явлении, когда Жорж потащил Варнера в объятую огнем хижину, крича: «В ад, в ад тебя!» — Тулузов тоже беспокойно пошевелился в своем кресле и совершенно отвернулся от сцены.

На другой день, в приличный для визитов час, Муза Николаевна и Сусанна Николаевна были у Углаковых. Лябьева как вошла, так немедля же спросила встретившую их старуху Углакову:

— Петр Александрыч болен?

— Очень, очень! — отвечала та, нежно целуясь с обеими гостьями, причем Сусанна Николаевна была крайне смущена.

Между Музой Николаевной и Углаковой, несмотря на болезнь сына, началось обычное женское переливание из пустого в порожнее. Сусанна Николаевна при этом упорно молчала; вошел потом в гостиную и старичок Углаков. Он рассыпался перед гостьями в благодарностях за их посещение и в заключение с некоторою таинственностью присовокупил:

— Пьер скоро вас попросит к себе!

— А разве он проснулся? — спросила Углакова мужа.

— Проснулся и приведет только в порядок свой туалет,— отвечал он ей таинственно.

Читатель, конечно, сам догадывается, что старики Углаковы до безумия любили свое единственное детище и почти каждодневно ставились в тупик от тех нечаянностей, которые Пьер им устраивал, причем иногда мать лучше понимала, к чему стремился и что затевал сын, а иногда отец. Вошедший невдолге камердинер Пьера просил всех пожаловать к больному. Муза Николаевна сейчас же поднялась; но Сусанна Николаевна несколько медлила, так что старуха Углакова проговорила:

— Soyez aimable, venez voir notre pauvre malade![1]

Больной помещался в самой большой и теплой комнате. Когда к нему вошли, в сопровождении Углаковых, наши дамы, он, очень переменившийся и похудевший в лице, лежал покрытый по самое горло одеялом и приветливо поклонился им, приподняв немного голову с подушки. Те уселись: Муза Николаевна — совсем около кровати его, а Сусанна Николаевна — в некотором отдалении.

— Как это вам не стыдно хворать! — сказала первая из них.

— Ах, мне чрезвычайно стыдно,— отвечал Углаков,— но что ж делать: я был поражен таким сильным горем!

Муза Николаевна бросила при этом короткий взгляд на сестру, которая сидела в положении статуи.

— Вообразите вы,— продолжал Пьер плачевным голосом,— mademoiselle Блоха в нынешнем мясоеде собирается укусить смертельно друга моего, гегелианца!.. Он женится на ней!.. Бедный, бедный философ!.. Неужели и философия не спасает людей от женщин?

При такой шутке Пьера родители и гостьи расцвели, видя, что больному лучше; но Пьер и этим еще не ограничился. Он вдруг сбросил с себя одеяло, причем оказался в полной вицмундирной форме, и, вскочив, прямо подбежал к Сусанне Николаевне и воскликнул:

— Madame Марфина, je vous supplie, un petit tour de valse![2] Муза Николаевна, сыграйте нам вальс!

Сусанна Николаевна сначала была совершенно ошеломлена.

---

[1] Будьте так любезны, навестите нашего бедного больного! *(франц.)*

[2] умоляю вас, один тур вальса! *(франц.)*

— De grâce![1] — продолжал молить Углаков.

Сусанна Николаевна, как бы не отдавая себе отчета, встала и положила свою руку на плечо Углакова, как обыкновенно дамы делают это во время танцев, а Муза Николаевна села уже за фортепьяно и заиграла один из резвейших вальсов.

Углаков понесся с Сусанной Николаевной.

Старики Углаковы одновременно смеялись и удивлялись. Углаков, сделав с своей дамой тур — два, наконец почти упал на одно из кресел. Сусанна Николаевна подумала, что он и тут что-нибудь шутит, но оказалось, что молодой человек был в самом деле болен, так что старики Углаковы, с помощью даже Сусанны Николаевны, почти перетащили его на постель и уложили.

— Что это, Петр Александрыч, вы делаете? — сказала она.— Теперь я ни одному вашему слову не стану верить.

— Одному только слову моему верьте: после которого — вы помните? — тогда рассердились на меня! — воскликнул Пьер.

— Ну, извольте, я всем вашим словам поверю, только успокойтесь! — сказала настойчивым голосом Сусанна Николаевна.

— Вам поверят! — повторила за сестрой и Муза Николаевна.

Углаков покачал отрицательно головой и закрыл глаза; притворился ли он и на этот раз, или в самом деле ему было нехорошо,— сказать трудно.

Сусанна Николаевна и Муза Николаевна попросили наконец у стариков-хозяев позволения оставить больного и уехать.

Те еще раз горячо поблагодарили их и проводили до передней.

Усевшись с сестрой в сани, Сусанна Николаевна проговорила:

— Все эти Углаковы какие-то сумасшедшие!

— Нисколько не сумасшедшие! — возразила ей Муза Николаевна.

— Как не сумасшедшие? Неужели ты не видела, как я по милости твоего мужа была одурачена сегодня?

Муза Николаевна на это лукаво улыбнулась.

---

[1] Прошу вас! *(франц.)*.

— Тебя одурачило твое собственное чувство, и я радуюсь этому.

— Чему ж тут радоваться,— я не понимаю!

— Радуюсь, что нельзя же всю жизнь богу молиться и умничать, надобно же пожить когда-нибудь и для сердца.

— Но сердце мое и без того полно и живет!

— Нет,— отвергнула Муза Николаевна,— у тебя в жизни не было ни одной такой минуты, которые были у меня, когда я выходила замуж, и которые теперь иногда повторяются, несмотря на мою несчастную жизнь, и которых у Людмилы, вероятно, было еще больше.

— Ну, я таких минут счастья не желаю! — отвечала Сусанна Николаевна, хотя в голосе ее и не слышалось полной решимости.

V

Между тем, как все это происходило у Углаковых, Егор Егорыч был погружен в чтение только что полученного им письма от Сверстова, которое, как увидит читатель, было весьма серьезного содержания.

«Великий учитель! — начинал обычным своим воззванием Сверстов.— Время великого труда и пота настало для меня. Наш честнейший и благороднейший Аггей Никитич нашел при делах земского суда еще два документа, весьма важные для нашего дела: первый — увольнительное свидетельство от общества, выданное господину Тулузову, но с такой изломанной печатью и с такой неразборчивой подписью, что Аггей Никитич сделал в тамошнюю думу запрос о том, было ли выдано господину Тулузову вышереченное свидетельство, откуда ныне получил ответ, что такового увольнения никому из Тулузовых выдаваемо не было, из чего явствует, что свидетельство сие поддельное и у нас здесь, в нашей губернии, сфабрикованное. Второе: архивариус земского суда откопал в старых делах показание одного бродяги-нищего, пойманного и в суде допрашивавшегося, из какового показания видно, что сей нищий назвал себя бежавшим из Сибири вместе с другим ссыльным, который ныне служит у господина губернского предводителя Крапчика управляющим и имя коего не

Тулузов, а семинарист Воздвиженский, сосланный на поселение за кражу церковных золотых вещей, и что вот-де он вывернулся и пребывает на свободе, а что его, старика, в тюрьме держат; показанию этому, как говорит архивариус, господа члены суда не дали, однако, хода, частию из опасения господина Крапчика, который бы, вероятно, заступился за своего управителя, а частию потому, что получили с самого господина Тулузова порядочный, должно быть, магарыч, ибо неоднократно при его приезде в город у него пировали и пьянствовали. Из всего этого Вы, высокочтимый нами Егор Егорыч, узрите, что зверь обслежен со всех сторон; мы только ждем Вашего разрешения и наставления, как нам поступать далее».

Последний вопрос поставил Егора Егорыча в сильное затруднение. Он схватил себя за голову и стал, бормоча, восклицать сам с собой:

— Научить их!.. Легко сказать!.. Точно они не понимают, в какое время мы живем!.. Вон он — этот каторжник и злодей — чуть не с триумфом носится в Москве!.. Я не ангел смертоносный, посланный богом карать нечистивцев, и не могу отсечь головы всем негодяям! — Но вскоре же Егор Егорыч почувствовал и раскаяние в своем унынии.— Вздор,— продолжал он восклицать,— правда никогда не отлетает из мира; жало ее можно притупить, но нельзя оторвать; я должен и хочу совершить этот мой последний гражданский подвиг!

Предприняв такое решение, Егор Егорыч написал одним взмахом пера письмо к Сверстову:

«Разрешаю Вам и благословляю Вас действовать. Старайтесь токмо держаться в законной форме. Вы, как писали мне еще прежде, уже представили о Ваших сомнениях суду; но пусть Аггей Никитич, имея в виду то, что он сам открыл, начнет свои действия, а там на лето и я к Вам приеду на помощь. К подвигу Вашему, я уверен, Вы приступите безбоязненно; ибо оба Вы, в смысле высшей морали, люди смелые».

«Firma rupes».

Не успел еще Егор Егорыч запечатать этого письма, как к нему вошла какою-то решительною походкой только что возвратившаяся домой Сусанна Николаевна. Всем, что произошло у Углаковых, а еще более того состоянием

собственной души своей она была чрезвычайно недовольна и пришла к мужу ни много, ни мало как с намерением рассказать ему все и даже, признавшись в том, что она начинает чувствовать что-то вроде любви к Углакову, просить Егора Егорыча спасти ее от этого безумного увлечения. Какой бы кавардак мог произойти из этого, предсказать нельзя; но, к счастию, своеобычная судьба повернула ход события несколько иначе. Началось с того, что когда Сусанна Николаевна вошла к Егору Егорычу, то он, находя еще преждевременным посвящать ее в дело Тулузова, поспешил спрятать написанное им к Сверстову письмо. Сусанна Николаевна заметила это и вообразила, что уж не написал ли кто-нибудь Егору Егорычу об ее недостойном поведении. Сусанна Николаевна, как мы знаем, еще с детских лет была склонна ко всякого рода фантастическим измышлениям, и при этой мысли ею овладел почти страх перед Егором Егорычем, но она все-таки сказала ему:

— Я сейчас была с сестрой у Углаковых: у них молодой Углаков очень болен.

— Что ж мудреного? — проговорил с явным презрением Егор Егорыч.— Он тут как-то, с неделю тому назад, в Английском клубе на моих глазах пил мертвую... Мне жаль отца его, а никак уж не этого повесу.

Сусанне Николаевне против воли ее было ужасно досадно слышать такое мнение об Углакове, потом она и не верила мужу, предполагая, что тот это говорит из ревности.

Вся эта путаница ощущений до того измучила бедную женщину, что она, не сказав более ни слова мужу, ушла к себе в комнату и там легла в постель. Егор Егорыч, в свою очередь, тоже был рад уходу жены, потому что получил возможность запечатать письмо и отправить на почту.

Затем все главные события моего романа позамолкли на некоторое время, кроме разве того, что Английский клуб, к великому своему неудовольствию, окончательно узнал, что Тулузов мало что представлен в действительные статские советники, но уже и произведен в сей чин, что потом он давал обед на весь официальный и откупщицкий мир, и что за этим обедом только что птичьего молока не было; далее, что на балу генерал-губернатора Екатерина Петровна была одета богаче всех и что сам

хозяин прошел с нею полонез; последнее обстоятельство если не рассердило серьезно настоящих аристократических дам, то по крайней мере рассмешило их.

Вслед за таким величием Тулузовых вдруг в одно утро часов в одиннадцать к Марфиным приехала Екатерина Петровна и умоляла через лакея Сусанну Николаевну, чтобы та непременно ее приняла, хотя бы даже была не одета. Та, конечно, по доброте своей, не отказала ей в этой просьбе, и когда увидела Екатерину Петровну, то была несказанно поражена: визитное платье на m-me Тулузовой было надето кое-как; она, кажется, не причесалась нисколько; на подрумяненных щеках ее были заметны следы недавних слез.

— Pardon, ma chére,— начала она, целуясь с Сусанной Николаевной,— я приехала к вам не как дама света, а как ваша хорошая знакомая и наконец как родня ваша, просить вас объяснить мне...

При последних словах у Екатерины Петровны появились слезы.

— Успокойтесь, бога ради, я все вам готова объяснить, что знаю! — отвечала разжалобленная Сусанна Николаевна и решительно не могшая понять, что такое случилось с Екатериной Петровной.

— Тут, надеюсь, нас никто не услышит,— начала та,— вчерашний день муж мой получил из нашей гадкой провинции извещение, что на него там сделан какой-то совершенно глупый донос, что будто бы он беглый с каторги и что поэтому уже начато дело... Это бы все еще ничего,— но говорят, что донос этот идет от какого-то живущего у вас доктора.

— Это Сверстов, но он благороднейший человек! — воскликнула с удивлением Сусанна Николаевна.

— Однако донос не показывает его благородства; и главное, по какому поводу ему мешаться тут? А потом, самое дело повел наш тамошний долговязый дуралей-исправник, которого — все очень хорошо знают — ваш муж почти насильно навязал дворянству, и неужели же Егор Егорыч все это знает и также действует вместе с этими господами? Я скорей умру, чем поверю этому. Муж мой, конечно, смеется над этим доносом, но я, как женщина, встревожилась и приехала спросить вас, не говорил ли вам чего-нибудь об этом Егор Егорыч?

— Ни слова, ни звука,— отвечала Сусанна Николаев-

на,— он, я думаю, сам ничего не знает, потому что если бы знал что-нибудь, то непременно бы мне сказал.

— Странно! —произнесла Екатерина Петровна, пожимая плечами.— А скажите, могу я видеть Егора Егорыча и расспросить его? Он такой добрый и, я уверена, поймет мое ужасное положение.

— Если только он чувствует себя хорошо, то он, может быть, примет вас,— отвечала неуверенным тоном Сусанна Николаевна, хорошо ведая, что Егор Егорыч очень не любил Екатерины Петровны; но все-таки из сожаления к той решилась попробовать и, войдя к мужу, сказала:

— У нас Катерина Петровна; она желает тебя видеть.

— Это зачем я ей нужен? — вспылил сразу же Егор Егорыч.— Пускай видается с кем ей угодно, только не со мной!

— Но она очень испугана и расстроена... На ее мужа теперь донесли, что он беглый из Сибири... и что будто бы этот донос сделал наш Сверстов.

Услышав это, Егор Егорыч захохотал и с каким-то злым удовольствием стал потирать свои руки.

Сусанне Николаевне это не понравилось. Она никак не ожидала, чтобы Егор Егорыч был такой недобрый.

— Если я затем нужен Катерине Петровне, так очень рад ее видеть и побеседовать с нею.

— Но тебе лучше совсем не принимать ее, если ты на нее так сердит, потому что ты можешь еще больше ее огорчить,— заметила Сусанна Николаевна, уже пожалевшая, что взялась устроить это свидание.

— Я не стану ее огорчать,— возразил Егор Егорыч,— но расскажу ей некоторые подробности, которых она, вероятно, не знает, а ты сама не входи к нам!

В тоне голоса Егора Егорыча Сусанна Николаевна очень хорошо чувствовала иронию и гнев, а потому, возвратясь к Екатерине Петровне, сочла за лучшее несколько предупредить ту:

— Вы не слушайте и не принимайте к сердцу, что будет говорить вам Егор Егорыч: он нынче сделался очень раздражителен и иногда сердится на людей ни за что.

— Что ж мне на него огорчаться? Я давно знаю, как он любит петушиться... Я только буду просить его помочь

как-нибудь нам,—проговорила Екатерина Петровна и пошла к Егору Егорычу все-таки несколько сконфуженною.

Он ее, впрочем, принял, хоть и с мрачным выражением в лице, но вежливо.

— Вам Сусанна Николаевна, можеть быть, сказала причину моего визита? — начала Екатерина Петровна, усевшись и потупляя глаза.

— Сказала-с! —ответил ей Егор Егорыч резким тоном.

— И неужели же эта клевета на моего мужа могла выйти из вашего дома, от вашего врача? — спросила Екатерина Петровна.

— Вероятно, от него! —произнес Егор Егорыч, закидывая свои глаза вверх и стараясь не глядеть на Тулузову.— А почему вы думаете, что это клевета? — присовокупил он затем после короткого молчания.

— Потому что я жена Тулузова, а разве я могла бы выйти за подобного человека? — проговорила совсем растерявшаяся Екатерина Петровна.

— Это ничего не значит! — возразил Егор Егорыч, продолжая не смотреть на свою гостью.— Мало ли женщин выходят замуж, не отдавая себе отчета, за кого они идут.

— Да, это бывает, но обыкновенно ошибаются в характере человека, но чтобы не знать, кто он по происхождению своему,— это невозможно! Я готова поклясться, что муж мой не беглый,— он слишком для того умный и образованный человек.

— А разве там, откуда его считают выходцем, мало умных и образованных? Я думаю, более, чем где-либо.

— Это конечно, но он-то не оттуда.

— А откуда же? — спросил Егор Егорыч, устремляя уже свои глаза на Екатерину Петровну.

— Он?..—произнесла она и назвала небольшой город, но только совершенно не тот, который значился в документах Тулузова.

— Кто вам говорил об этом?—продолжал как бы допрос Егор Егорыч.

— Мне говорил это прежде отец мой, который, вы знаете, какой правдивый и осторожный человек был; потом говорил и муж мой! — объяснила Екатерина Петровна, все это, неизвестно для чего, выдумав от себя: о месте родины Тулузова ни он сам, ни Петр Григорьич никогда ей ничего не говорили.

— Ну-с, в таком случае вы и ваш отец обмануты. Кто

такой собственно ваш супруг, я не знаю, но мне досконально известно, что та фамилия, которую он принял на себя, принадлежала одному молодому мещанину, убитому какими-то бродягами, похитившими у него деньги и паспорт. Молодого человека этого очень хорошо знал доктор Сверстов и даже производил следствие об убийстве его, вместе с чинами полиции; но каким образом билет этого убитого мещанина очутился в руках вашего супруга, вы уж его спросите; он, конечно, объяснит вам это!

— Я и спрашивать его никогда не решусь об этом, потому что тут все неправдоподобно... Тулузов откуда-то бежал, кого-то убил и взял у убитого билет... Все это, ей-богу, похоже на какие-то бредни! — едва имела силы выговорить Екатерина Петровна.

— Следствие покажет, бредни это или нет! — возразил ей холодно Егор Егорыч.

— Но каково же всего этого дожидаться? Муж еще, может быть, спокойнее меня, потому что он хорошо знает и сумеет, конечно, доказать, что все это ложь; но что же я должна буду чувствовать, а между тем, Егор Егорыч, я дочь вашего преданного и верного друга!.. Сжальтесь вы хоть сколько-нибудь надо мною!

Сказав это, Екатерина Петровна заплакала. Егором Егорычем заметно уже начинало овладевать прирожденное ему мягкосердие.

— Я тут ни при чем!.. Господин Тулузов теперь во власти закона! — забормотал он.

— Но закон может ошибиться!.. Вспомните, Егор Егорыч, как я поступила в отношении вашего племянника, который явно хотел быть моим убийцей, потому что стрелял в меня на глазах всех; однако я прежде всего постаралась спасти его от закона и не хотела, чтобы он был под судом: я сказала, что ссора наша семейная, Валерьян виноват только против меня, и я его прощаю... Так и вы простите нас...

Егор Егорыч при этом снова злобно захохотал.

— Поэтому вы полагаете, что мое дело с Тулузовым тоже семейное? — спросил он явно гневным голосом.— И как вам не грех сравнивать Валерьяна с каким-то выходцем! Вместо того, чтобы оплакивать вашу ошибку, ваше падение, вы хотите закидать грязью хотя и безрассудного, но честного человека!..

Екатерина Петровна струсила.

— Я не хочу того! — сказала она почти униженным тоном.— Я это сказала не подумав, под влиянием ужасного страха, что неужели же мне непременно суждено быть женой человека, которого могут обвинить в убийстве.

— Но кто ж в том виноват?..— воскликнул Егор Егорыч.— Всякое безумие должно увенчиваться несчастием... Вы говорите, чтобы я простил Тулузова... Да разве против меня он виноват?.. Он виноват перед богом, перед законом, перед общежитием; если его оправдает следствие, порадуюсь за него и за вас, а если обвинят, то попечалюсь за вас, но его не пожалею!

— Его не осудят, поверьте мне! — воскликнула Екатерина Петровна.— Он меня послал к вам за тем только, чтобы попросить вас не вмешиваться в это дело и не вредить ему вашим влиянием на многих лиц.

Егор Егорыч отрицательно покачал головой.

— И на то не даю слова! — начал он.— Если ваш муж действительно окажется подорожным разбойником, убившим невооруженного человека с целью ограбления, то я весь, во всеоружии моей мести, восстану против него и советую вам также восстать против господина Тулузова, если только вы женщина правдивая. Себя вам жалеть тут нечего; пусть даже это будет вам наказанием, что тоже нелишнее.

— Ах, я и без того довольно наказана! — произнесла Екатерина Петровна и склонила голову.

Прошло несколько минут в тяжелом для обоих собеседников молчании. Екатерина Петровна наконец поднялась со стула.

— Не думала я, Егор Егорыч, что вы будете так жестокосерды ко мне! — сказала она со ртом, искаженным печалью и досадой.— Вы, конечно, мне мстите за Валерьяна, что вам, как доброму родственнику, извинительно; но вы тут в одном ошибаетесь: против Валерьяна я ни в чем не виновата, кроме любви моей к нему, а он виноват передо мной во всем!

Проговорив это, Екатерина Петровна пошла.

— Тут оба вы виноваты! — крикнул ей вслед Егор Егорыч, не поднимаясь с своего кресла.

Екатерина Петровна зашла потом, и то больше из приличия, к Сусанне Николаевне.

— Ну, что, переговорили? — спросила та озабоченным голосом.

— Да,— ответила протяжно Екатерина Петровна.

Выехав от Марфиных, она направилась не домой, а в Кремль, в один из соборов, где, не видя даже, перед каким образом, упала на колени и начала со слезами на глазах молиться. За последние два года она все чаще и все искреннее прибегала к молитве. Дело в том, что Екатерина Петровна почти насквозь начинала понимать своего супруга, а что в настоящие минуты происходило в ее душе,— и подумать страшно. Заступаясь во всей предыдущей сцене за мужа, она почти верила тому, что говорил про Тулузова Егор Егорыч, и ее кидало даже в холодный пот при мысли, что она, все-таки рожденная и воспитанная в порядочной семье, разделяла ложе и заключала в свои объятия вора, убийцу и каторжника!..

Возвратясь домой, она не зашла к мужу, несмотря на то, что собственно исполняла его поручение. Она оставалась в своей комнате, покуда к ней не пришла на помощь ее рассудочная способность, наследованная ею от отца. Любви к Тулузову Екатерина Петровна не чувствовала никакой; если бы и сослали его, то это, конечно, было бы стыдно и неловко для нее, но и только. Что касается до имущественного вопроса, то хотя Тулузов и заграбастал все деньги Петра Григорьича в свои руки, однако недвижимые имения Екатерина Петровна сумела сберечь от него и делала это таким образом, что едва он заговаривал о пользе если не продать, то, по крайней мере, заложить какую-нибудь из деревень, так как на деньги можно сделать выгодные обороты, она с ужасом восклицала: «Ах, нет, нет, покойный отец мой никогда никому не был должен, и я не хочу должать!» Сообразив все это, Екатерина Петровна определила себе свой образ действия и не сочла более нужным скрывать перед мужем свое до того таимое от него чувство. Тулузов между тем, давно уже слышавший, что жена возвратилась, и тщетно ожидая, что она придет к нему с должным донесением, потерял, наконец, терпение и сам вошел к ней.

— Ты застала Марфина? — спросил он строгим голосом, каким обыкновенно разговаривал с Екатериной Петровной, особенно с тех пор, как произведен был в действительные статские советники.

— Застала,— отвечала Екатерина Петровна, не поворачивая даже головы к мужу.

— Что ж тебе набормотал этот старый хрыч?

Екатерина Петровна при этом насмешливо улыбнулась.

— Зачем же ты тогда посылал меня к Марфину, если считаешь его только старым бормотуном? — проговорила она.

— Потому, что подобные старичишки опаснее всяких змей!.. Узнала ли ты от него что-нибудь?

— Узнала!

— Что же именно?

— Узнала, что на тебя действительно донес доктор Сверстов, который лично знал одного молодого Тулузова, что Тулузова этого кто-то убил на дороге, отняв у него большие деньги, а также и паспорт, который потом у тебя оказался и с которым ты появился в нашу губернию.

Как ни умел Василий Иваныч скрывать свои душевные ощущения, но при этом покраснел.

— Разве Тулузов один только и был на свете? — воскликнул он.— Говорила ли ты это Марфину?

— Нет, не говорила.

— Но как же главного-то не сказать!

— В голову не пришло; вообще Егор Егорыч говорит, что дело это теперь в руках правительства и что следствие раскроет тут все, что нужно!

— Я без него это знаю и по следствию, конечно, докажу, кто я и откуда. Им меня ни в чем не уличить!

Екатерина Петровна слегка пожала плечами, как бы думая: «тогда о чем же разговаривать», и вслух сказала:

— Егор Егорыч, по его словам, будет очень рад, если ты все это докажешь!

— Рад этому он не будет, это он хитрит, пусть только хоть не мешается в это дело, от которого ему не может быть ни тепло, ни холодно... Просила ты его об этом?

— Просила, но он мне сказал, что если по делу окажется, что ты убийца (на последние слова Екатерина Петровна сделала некоторое ударение), тогда он будет непременно действовать против тебя!

— На беду его, по делу этого никогда не докажется!— проговорил Тулузов, рассмеявшись.

Екатерина Петровна на это ничего не сказала.

— Все это вздор и пустяки! — продолжал тот.—На людей, начинающих возвышаться, всегда возводят множество клевет и сплетен, которые потом, как комары от холода, сразу все пропадают; главное теперь не в том; я имею к тебе еще другую, более серьезную для меня просьбу: продать

мне твою эту маленькую деревню Федюхину, в сорок или пятьдесят душ, кажется.

— Это зачем она тебе понадобилась? — спросила Екатерина Петровна недобрым голосом.

— Затем, чтобы иметь своих крепостных людей, которые гораздо вернее, усерднее и преданнее служат, да вдобавок еще и страха больше чувствуют, чем наемные.

— Но зачем я тебе буду продавать эту деревню, когда она и без того крепостная наша! — возразила тем же недобрым тоном Екатерина Петровна.

— Крепостная, но ваша, а не моя,— это большая разница, и люди это очень хорошо понимают.

Екатерина Петровна при этом злобно усмехнулась и проговорила:

— Нет, уж ты можешь покупать себе крепостных крестьян у кого тебе угодно, только не у меня... Я раз навсегда тебе сказала, что ни одной копейки не желаю более проживать из состояния покойного отца.

— Но вы и не проживете, я не дарить вас прошу мне это именье, а продать... Вы не поняли, значит, моих слов.

— И продавать не хочу ни за какие деньги! — повторяла свое Екатерина Петровна.

— Как это глупо! — воскликнул Тулузов.

— По-твоему — глупо, а по-моему—умно, и мне уж наскучило на все глядеть не своими, а твоими глазами.

Тулузов пожал плечами.

— С тобой сегодня говорить нельзя,— сказал он,— рассвирепела от болтовни Марфина, как тигрица, и кидается на всех.

— Ты-то пуще добрый! — воскликнула Екатерина Петровна.

— Хоть и не добрый, но не сумасшедший, по крайней мере! — отозвался насмешливо Тулузов и ушел от жены.

В продолжение всего остального дня супруги не видались больше. Тулузов тотчас же после объяснения с женой уехал куда-то и возвратился домой очень поздно. Екатерина же Петровна в семь часов отправилась в театр, где давали «Гамлета» и где она опять встретилась с Сусанной Николаевной и с Лябьевой, в ложе которых сидел на этот раз и молодой Углаков, не совсем еще, кажется, поправившийся после болезни.

Всею публикой, как это было и в «Жизни игрока», владел Мочалов. На Сусанну Николаевну он произвел еще

более сильное впечатление, чем в роли Жоржа де-Жермани: она, почти ни разу не отвернувшись, глядела на сцену, а когда занавес опускался, то на публику. Углаков, не удостоенный таким образом ни одним взглядом, сидел за ее стулом, как скромный школьник. Муза Николаевна тоже чрезвычайно заинтересовалась пьесой, но зато Екатерина Петровна вовсе не обращала никакого внимания на то, что происходило на сцене, и беспрестанно взглядывала на двери ложи, в которой она сидела одна-одинехонька, и только в четвертом антракте рядом с нею появился довольно приятной наружности молодой человек. Первая это заметила Муза Николаевна и, по невольному любопытству, спросила Углакова:

— Вы не знаете, кто этот господин, который сидит в ложе madame Тулузовой, этой дамы-брюнетки, через три ложи от нас?

Углаков небрежно взглянул на названную ему ложу.

— Это один из театральных жен-премьеров. Он тут на месте: madame Тулузова из самых дойных коров теперь в Москве!

Муза Николаевна слегка рассмеялась и погрозила ему пальцем, а Сусанна Николаевна как будто бы и не слыхала ничего из того, о чем они говорили.

VI

По Москве разнеслась страшная молва о том, акибы Лябьев, играя с князем Индобским в карты, рассорился с ним и убил его насмерть, и что это произошло в доме у Калмыка, который, когда следствие кончилось, сам не скрывал того и за одним из прескверных обедов, даваемых Феодосием Гаврилычем еженедельно у себя наверху близким друзьям своим, подробно рассказал, как это случилось.

— Вот-с, в этих самых стенах,—стал он повествовать,— князь Индобский подцепил нашего милого Аркашу; потом пролез ко мне в дом, как пролез и к разным нашим обжорам, коих всех очаровал тем, что умел есть и много ел, а между тем он под рукою распускал слух, что продает какое-то свое большое имение, и всюду, где только можно, затевал банк...

— Ну, да, банк, банк! От этих скороспелок все и гиб-

нут! — отозвался вдруг хозяин, боязливо взглянув на отворенную дверь, из которой он почувствовал, что тянет несколько свежий воздух.

— Гибнут только дураки от скороспелок, а умные ничего себе, живут!— возразил ему Калмык и продолжал свой рассказ: — Аркаша, оглоданный до костей своими проигрышами, вздумал на этом, таком же оглодыше, поправить свои делишки.

— Ах, барин, барин!.. Не ты бы говорил, не я бы слушала! — воскликнула вдруг восседавшая на месте хозяйки Аграфена Васильевна.— Кто больше твоего огладывал Аркашу?.. Ты вот говоришь, что он там милый и размилый, а тебе, я знаю, ничего, что он сидит теперь в тюрьме.

— Как ничего!— воскликнул в свою очередь Калмык.— Я сам чуть не угодил вместе с ним в острог попасть.

— Да тебе-то бы давно довлело там быть! — подхватила расходившаяся Аграфена Васильевна.

— Да и буду, тетенька, там. Мне даже во сне снятся не райские долины, а места более отдаленные в Сибири,— проговорил кротким голосом и, по-видимому, нисколько не рассердившийся Калмык.

— Не перебивай, Груня, и не мешай! — остановил жену Феодосий Гаврилыч.— Рассказывай мне с точностью,— отнесся он к Калмыку,— где это произошло?

— У меня на вечере; человек пятьдесят гостей было. Я, по твоему доброму совету, не играю больше в банк, а хожу только около столов и наблюдаю, чтобы в порядке все было.

— Я думаю,— не играешь! — снова отозвалась не вытерпевшая Аграфена Васильевна.

— Ей-богу, тетенька, не играю, и вот доказательство: я подошел было и сел около Аркадия, который держал банк, чтобы не задурачился он и не просмотрел бы чего...

— А пьяны они были? — спросил с некоторою таинственностью Феодосий Гаврилыч.

— Как водится, на третьем взводе оба.

— А кому из них больше везло?— интересовался с глубокомысленным видом Феодосий Гаврилыч.

— Аркадию! Бил почти все карты.

Аграфену Васильевну точно что подмывало при этом, и она беспрестанно переглядывалась то с одним, то с другим из прочих гостей.

— Но из-за чего у них произошла ссора? — снова вопросил с глубокомысленным видом Феодосий Гаврилыч.

— Из-за того, что этот затхлый князь вдруг рявкнул на всю залу: «Здесь наверняка обыгрывают, у вас баломут подтасован!» «Как баломут?» — рявкнул и Аркаша.

— Да, так вот что князь сказал, теперь я понимаю!..— произнес глубокомысленно Феодосий Гаврилыч.

— Что ж ты именно понимаешь?—спросил его насмешливо Калмык.

— То, что Лябьев обиделся и должен был выйти из себя! — сблагородничал Феодосий Гаврилыч.

— Вовсе не должен! — возразил ему с прежнею почти презрительною усмешкою Калмык.— Я бы на другой же день вызвал этого тухляка на дуэль и поучил бы его, и никакой бы истории не вышло.

— Но ты мне объясни одно,— допытывался, сохраняя свой серьезный вид, Феодосий Гаврилыч,— что подерутся за картами, этому я бывал свидетелем; но чтобы убить человека,— согласись, что странно.

— Ничего нет странного! — отозвался с некоторою запальчивостью Калмык.— Аркадий, в азарте, хватил его шандалом по голове и прямо в висок... Никто, я думаю, много после того не надышит.

— Конечно, это правда! — стал соглашаться Феодосий Гаврилыч.— Но, по городским рассказам, Индобского не то что ударил один Лябьев, а его били и другие...

— Лябьев еще живой человек, однако этого он не показывает,— возразил Калмык.

— Не показывает, как рассказывают это, по благородству души своей, и, зная, что произошло из-за него, принял все на себя.

— Мало ли в Москве наболтают,— произнес с презрением Калмык.

— Наболтать, конечно, что наболтают,—отозвался Феодосий Гаврилыч,— но все-таки князь, значит, у тебя в доме помер?

— У меня!.. Так что я должен был ехать в полицию и вызвать ту, чтобы убрали от меня эту падаль.

Когда Янгуржеев говорил это, то его лицо приняло столь неприятное и почти отвратительное выражение, что Аграфена Васильевна снова не вытерпела и повторила давно уже данное ее мужем прозвище Янгуржееву:

«Дьявол, как есть!» Калмык, поняв, что это на его счет сказано, заметил ей:

— Что вы, тетенька, меня все дьяволом браните; пожалуй, и я вас назову ведьмой.

— Э, зови меня, как хочешь! Твоя брань ни у кого на вороту не повиснет... Я людей не убивала, в карты и на разные плутни не обыгрывала, а что насчет баломута ты говоришь, так это ты, душенька, не ври, ты его подкладывал Лябьеву: это еще и прежде замечали за тобой. Аркаша, я знаю, что не делал этого, да ты-то хотел его руками жар загребать. Разве ты не играл с ним в половине, одно скажи!

— Играл! — отвечал ей Янгуржеев.

— И отчего так вдруг повезло Аркаше?

— Прошу тебя, замолчи! — снова остановил жену Феодосий Гаврилыч.—Ты в картах ничего не понимаешь: можно в них и проигрывать и выигрывать.

— Больше тебя, вислоухого, понимаю,— перебила расходившаяся вконец Аграфена Васильевна.— И я вот при этом барине тебе говорю,— продолжала она, указывая своей толстой рукой на Калмыка,— что если ты станешь еще вожжаться с ним, так я заберу всех моих ребятишек и убегу с ними в какой-нибудь табор... Будьте вы прокляты все, картежники! Всех бы я вас своими руками передушила...

— Уйми прежде твоего ребенка, который, я слышу, там плачет внизу! — сказал ей наставительно Феодосий Гаврилыч.

— Без тебя-то пуще не знают! — огрызнулась Аграфена Васильевна, и, встав из-за стола, пошла вниз.

— Как ты можешь жить с этой злой дурой? — спросил, по уходе ее, Калмык.

— Умом, братец, одним только умом и живу с ней,— объяснил самодовольно Феодосий Гаврилыч.

Калмык при этом усмехнулся, да усмехнулись, кажется, и другие гости.

Что происходило между тем у Лябьевых, а также и у Марфиных — тяжело вообразить даже. Лябьев из дому же Калмыка был арестован и посажен прямо в тюрьму. Муза Николаевна, сама не помня от кого получившая об этом уведомление, на первых порах совсем рехнулась ума; к счастию еще, что Сусанна Николаевна, на другой же день узнавшая о страшном событии, приехала к ней и пе-

ревезла ее к себе; Егор Егорыч, тоже услыхавший об этом случайно в Английском клубе, поспешил домой, и когда Сусанна Николаевна повторила ему то же самое с присовокуплением, что Музу Николаевну она перевезла к себе, похвалил ее за то и поник головой. Что Лябьев разорится окончательно, он давно ожидал, но чтобы дело дошло до убийства, того не чаял. «Бедные, бедные Рыжовы! Не суждено вам счастия, несмотря на вашу доброту и кротость!»— пробормотал он. Стоявшая около него Сусанна Николаевна глубоко вздохнула и как бы ожидала услышать слово утешения и совета. Егор Егорыч инстинктивно понял это и постарался совладеть с собой.

— Чем более непереносимые по разуму человеческому горя посылает бог людям, тем более он дает им силы выдерживать их. Ступай к сестре и ни на минуту не оставляй ее: в своей безумной печали она, пожалуй, сделает что-нибудь с собой!

— Я все время буду при ней,— проговорила Сусанна Николаевна покорно и оставила Егора Егорыча, который затем предался умному деланию, причем вдруг пред его умственным взором, как сам он потом рассказал Сусанне Николаевне, нарисовалась тихая деревенская картина с небольшой хижиной, около которой сидели Муза Николаевна и Лябьев, а также вдали виднелся хоть и бледный довольно, но все-таки узнаваемый образ Валерьяна Ченцова. Они не были с столь измученными и истерзанными лицами, какими он привык их видеть. Егор Егорыч поспешил ущипнуть себя, ради убеждения, что не спит; но видение еще продолжалось, так что он встал со стула. Тогда все исчезло, и Егор Егорыч стал видеть перед собой окно, диван и постель, и затем, начав усердно молиться, провел в том всю ночь до рассвета. В следующие затем дни к Марфиным многие приезжали, а в том числе и m-me Тулузова; но они никого не принимали, за исключением одного Углакова, привезшего Егору Егорычу письмо от отца, в котором тот, извиняясь, что по болезни сам не может навестить друга, убедительно просил Марфина взять к себе сына в качестве ординарца для исполнения поручений по разным хлопотам, могущим встретиться при настоящем их семейном горе. Егор Егорыч, не переговорив предварительно с Сусанной Николаевной, разрешил юному Углакову остаться у него. Тот, в восторге от такого позволения, уселся в маленькой зале Марфиных навытяжку, как бы в

самом деле был ординарцем Марфина, и просидел тут, ничего не делая, два дня, уезжая только куда-то на короткое время. На третий день наконец в нем случилась надобность: Сусанна Николаевна, сойдя вниз к Егору Егорычу с мезонина, где безотлучно пребывала около сестры, сказала ему, что Муза очень желает повидаться с мужем и что нельзя ли как-нибудь устроить это свидание.

— Там сидит у нас молодой Углаков, попроси его ко мне! — проговорил на это Егор Егорыч, к которому monsieur Pierre, приезжая, всегда являлся и рапортовал, что он на своем посту.

Сусанна Николаевна была крайне удивлена: она никак не ожидала, что Углаков у них; но как бы то ни было, хоть и сконфуженная несколько, вышла к нему.

— Давно ли вы у нас? — спросила она его невольно.

— Третий день! — отвечал он, вскочив со стула.

— Как третий день? — опять невольно спросила Сусанна Николаевна.

— Меня отец прислал к Егору Егорычу, что не буду ли я нужен ему,— объяснил Углаков.

Сусанна Николаевна, конечно, поняла, что это дело не отца, а самого Пьера, а потому, вспыхнув до ушей, попросила только Углакова войти к Егору Егорычу, а сама и не вошла даже вместе с ним.

— Милый юноша,— сказал Егор Егорыч Пьеру,— несчастная Лябьева желает повидаться с мужем... Я сижу совсем больной... Не можете ли вы, посоветовавшись с отцом, выхлопотать на это разрешение?

— Выхлопочу! — отвечал Углаков и, не заезжая к отцу, отправился в дом генерал-губернатора, куда приехав, он в приемной для просителей комнате объяснил на французском языке дежурному адъютанту причину своего прибытия.

Тот, без всякого предварительного доклада, провел его в кабинет генерал-губернатора, где опять-таки на безукоризненном французском языке начался между молодыми офицерами и маститым правителем Москвы оживленный разговор о том, что Лябьев вовсе не преступник, а жертва несчастного случая. Генерал-губернатор удивился, что m-me Лябьева до сих пор не видалась с мужем, причем присовокупил, что он велел даже бедному узнику с самых первых дней заключения послать фортепьяно в тюрьму. Заручившись таким мнением генерал-губернатора, Угла-

ков поскакал к обер-полицеймейстеру, который дал от себя к тюремному смотрителю записку, что m-me Лябьева может ездить в острог и пребывать там сколько ей угодно. Таким образом на следующее утро Петр Углаков должен был m-me Лябьеву и m-me Марфину провести в тюрьму; обе сестры отправились в карете, а Углаков следовал за ними в своих санях. Проехать им пришлось довольно далеко. Муза и Сусанна переживали в эти минуты хоть и одинаково печальные, но в другом отношении и разные чувствования. Муза, конечно, кроме невыносимой тоски, стремилась к одному: скорее увидеть и обнять мужа, сказать ему, что нисколько не винит его и что, чем бы ни решилась его участь, она всюду последует за ним. Сусанна Николаевна ехала тоже под влиянием главного своего желания успокоить, сколько возможно, сестру и Лябьева; но к этому как-то болезненно и вместе радостно примешивалась мысль об Углакове; что этот бедный мальчик влюблен в нее до безумия, Сусанна Николаевна, к ужасу своему, очень хорошо видела, и что сама она... Но тут столько страхов и противоречий возникало в воображении Сусанны Николаевны, что она ничего отчетливо понять не могла и дошла только до такого вывода, что была бы совершенно счастлива, если бы Углаков стал ей другом или братом, но не более... Карета, наконец, остановилась у ворот тюрьмы. Караульный офицер, по врученной ему Углаковым записке обер-полицеймейстера, велел унтер-офицеру провести его, а также и дам, во внутрь здания. Тот сначала звякнул ключами, отпирая входную калитку в железных дверях тюрьмы, а затем пошли все по двору. Муза Николаевна совершенно не видела, что было около нее, Сусанна же Николаевна старалась не видеть. При входе в самое здание, снова раздалось звяканье железа и звяканье очень громкое, так что обе дамы невольно вскинули головы. Оказалось, что с лестницы сходила целая партия скованных по рукам и ногам каторжников, предназначенных к отправке по этапу. Сопровождавший арестантов отряд отдал Углакову честь, причем тоже звякнул своими ружьями. Отовсюду между тем чувствовался запах кислой капусты и махорки. В дворянском, впрочем, отделении, куда направлялись мои посетители, воздух оказался несколько посвежее и был уже пропитан дымом Жукова табаку и сигар с примесью запаха подгорелой телятины. Вместо дневного света по коридорам горели тусклые саль-

ные свечи. Здесь Углаков спросил ходившего по коридору унтер-офицера, где нумер Лябьева. Тот подвел их. Первая рванулась в дверь Муза Николаевна. Увидав ее, Лябьев покраснел и растерялся: ему прежде всего сделалось стыдно перед ней. Но Муза бросилась к нему.

— Я знаю все, но совершенно покойна и здорова,—сказала она.

Вошедшая вслед за сестрой Сусанна Николаевна тоже старалась сохранить спокойствие.

— Егор Егорыч и я просим вас не падать духом,— произнесла она.— Бог прощает многое людям.

— Я знаю, что прощает, и нисколько не упал духом,— отвечал Лябьев.

Углаков вошел в камеру заключенного, как бы к себе в комнату; он развесил по гвоздям снятые им с дам салопы, а также и свою собственную шинель; дело в том, что Углаков у Лябьева, с первого же дня ареста того, бывал каждодневно.

Между узником и посетителями его как-то не завязывался разговор. Да и с чего его было начать? С того, что случилось? Это все знали хорошо. Высказывать бесполезные рассуждения или утешения было бы очень пошло. Но только вдруг Лябьев и Углаков услыхали в коридоре хорошо им знакомый голос Аграфены Васильевны, которая с кем-то, должно быть, вздорила и наконец брякнула:

— Как вы смеете не пускать меня? Я сенаторша!

Феодосий Гаврилыч в самом деле был хоть и не присутствовавший никогда, по причине зоба, но все-таки сенатор.

При том объявлении столь важного титула все смолкло, и Аграфена Васильевна, как бы королева-победительница, гордо вошла в нумер.

— Вот и я к тебе приехала! — сказала она, целуясь с Лябьевым.

Сусанне Николаевне и Музе Николаевне она сделала несколько церемонный реверанс. Познакомить дам Лябьев и Углаков забыли. Аграфена Васильевна уселась.

— А у тебя тут и потешка есть? — сказала она, показывая головой на фортепьяно.

— Есть,— отвечал Лябьев.

— Поигрываешь хоть маненько?

— Играю, сочинять даже начал.

— Вот это хвалю! —воскликнула Аграфена Васильевна.— А что такое измыслил?

— Оперу большую затеял. Помнишь, я тебе говорил, «Амалат-Бека».

— Ты принялся наконец за «Амалат-Бека»? — вмешалась радостно Муза Николаевна.

— Принялся, но не клеится как-то.

— Склеится, погоди маненько! Сыграй-ка что-нибудь из того, что надумал! — ободрила его Аграфена Васильевна.

— Что играть?.. Все это пока в фантазии только.

— Не ври, не ври! Знаю я тебя, играй! Себя порассей да и нас потешь!

Лябьев повернулся к фортепьяно и первоначально обратился к Углакову:

— Пьер, возьми вот эту маленькую тетрадку с окна! Это либретто, которое мне еще прошлый год сочинил Ленский, и прочти начало первого акта.

Углаков взял тетрадь и прочел:

«Татарское селение; на заднем занавесе виден гребень Кавказа; молодежь съехалась на скачку и джигитовку; на одной стороне женщины, без покрывал, в цветных чалмах, в длинных шелковых, перетянутых туниками, сорочках и в шальварах; на другой мужчины, кои должны быть в архалуках, а некоторые из них и в черных персидских чухах, обложенных галунами, и с закинутыми за плечи висячими рукавами».

На этих словах Лябьев махнул рукой Углакову, чтобы тот замолчал.

— Поет общий хор,— сказал он и начал играть, стараясь, видимо, подражать нестройному татарскому пению; но русская натура в нем взяла свое, и из-под пальцев его все больше и больше начали раздаваться задушевные русские мотивы. Как бы рассердясь за это на себя, Лябьев снова начал извлекать из фортепьяно шумные и без всякой последовательности переходящие один в другой звуки, но и то его утомило, но не удовлетворило.

— Нет, лучше сыграю лезгинку,— сказал он и на первых порах начал фантазировать нечто довольно медленное, а потом быстрое и совсем уже быстрое, как бы вихрь, и посреди этого слышались каскады сыплющихся звуков, очень напоминающих звуки медных тарелок. Все это очень

понравилось слушателям Лябьева, а также, кажется, и ему самому, так что он с некоторым довольством спросил Углакова:

— Далее, сколько я помню, по либретто дуэт между Амалат-Беком и Султан-Ахметом?

— Так! — подтвердил тот, взглянув в тетрадку.

Лябьев опять стал фантазировать, и тут у него вышло что-то очень хорошее, могущее глубоко зашевелить душу всякого человека. По чувствуемой мысли дуэта можно было понять, что тщетно злым и настойчивым басом укорял хитрый хан Амалат-Бека, называл его изменников, трусом, грозил кораном; Амалат-Бек, тенор, с ужасом отрицался от того, что ему советовал хан, и умолял не возлагать на него подобной миссии. При этом в игре Лябьева ясно слышались вопли и страдания честного человека, которого негодяй и мерзавец тащит в пропасть. Дамы и Углаков очень хорошо поняли, что художник изображает этим историю своих отношений с Янгуржеевым; но Лябьев, по-видимому, дуэтом остался недоволен: у него больше кипело в душе, чем он выразил это звуками. Перестав играть, он склонил голову; но потом вдруг приподнял ее и заиграл положенную им, когда еще он был женихом Музы Николаевны, на музыку хвалебную песнь: «Тебе бога хвалим, тебе господа исповедуем». Тогда он сочинил эту песнь, чтобы угодить Сусанне Николаевне, но теперь она пришлась по душе всем и как бы возвысила дух каждого. Аграфена Васильевна, бывшая, несмотря на свое цыганское происхождение, весьма религиозною и знавшая хорошо хвалебную песнь, начала подпевать, и ее густой контральто сразу же раздался по всему коридору. «Свят, свят, свят господь бог Саваоф, полны суть небеса и земля величества славы твоея!» — отчетливо пела она. Все почти арестанты этого этажа вышли в коридор и скучились около приотворенной несколько двери в камеру Лябьева. У многих из них появились слезы на глазах, но поспешивший в коридор смотритель, в отставном военном вицмундире и с сильно пьяной рожей, велел, во-первых, арестантам разойтись по своим местам, а потом, войдя в нумер к Лябьеву, объявил последнему, что петь в тюрьме не дозволяется.

— Почему не дозволяется?—крикнул на него Углаков.

— Это может возмутить арестантов, как и возмутило их несколько,— проговорил с важностью смотритель, вовсе

не подозревая, что у бедных узников текли слезы не из духа возмущения, а от чувства умиления.

— Вот болван-то! — проговорил почти вслух Углаков.

— Полно, Пьер! — остановил его Лябьев.— Мы не будем петь,— отнесся он к смотрителю.

— Прошу вас,— сказал тот и, идя потом по коридору, несколько раз повторил сам себе: «А с этим господином офицером, я еще посчитаюсь, посчитаюсь».

Вскоре затем посетители стали собираться; но Муза Николаевна решительно объявила, что она хочет остаться с мужем.

— Вы имеете на то право, а если вас дурак-смотритель станет беспокоить, так покажите ему вот эту записку оберполицеймейстера.

И Углаков подал сказанную записку Лябьевой, которая была в восторге от подобного разрешения. Сам же m-r Пьер рассчитывал, кажется, поехать назад в одном экипаже с Сусанной Николаевной, но та, вероятно, заранее это предчувствовавшая, немедля же, как только они вышли от Лябьева, сказала:

— Прощайте, Петр Александрыч!

— Да я к вам же еду! — возразил было тот.

— Но я еще еду не домой, и заеду в Никитский монастырь!—придумала Сусанна Николаевна и чрезвычайно проворно пошла с лестницы.

У m-r Пьера вытянулось лицо, но делать нечего; оставшись в сообществе с Аграфеной Васильевной, он пошел с ней неторопливым шагом, так как Аграфена Васильевна по тучности своей не могла быстро ходить, и когда они вышли из ворот тюрьмы, то карета Сусанны Николаевны виднелась уже далеко.

— А вы, тетенька, на извозчике разве? — спросил Углаков Аграфену Васильевну.

— На извозчике!.. Мой-то старичище забрал всех лошадей и с Калмыком уехал шестериком на петуший бой... Ишь, какие себе забавы устроивают!.. Так взяла бы да петушиными-то когтями и выцарапала им всем глаза!..

— Тогда, постойте, тетенька, я вас довезу.

— Довези!

И они уселись с большим трудом в довольно широкие сани Углакова. Аграфена Васильевна очень уж много места заняла.

— А не завернете ли вы, тетенька, со мной, по старой памяти, пофрыштикать в *Железный?*

— Могу,— отвечала Аграфена Васильевна.

Трактир, который Углаков наименовал «Железным», находился, если помнит читатель, прямо против Александровского сада и был менее посещаем, чем Московский трактир, а потому там моим посетителям отвели довольно уединенное помещение, что вряд ли Углаков и не имел главною для себя целию, так как желал поговорить с Аграфеной Васильевной по душе и наедине. Потребовали они оба не бог знает чего. Тетенька пожелала скушать подовый пирожок и сосисок под капустой и запить все сие медом, но на последнее Углаков не согласился и велел подать бутылку шампанского. Задушевный разговор между ними сейчас же начался.

— Кто это другая-то барыня была в тюрьме? — спросила Аграфена Васильевна.

— Это — сестра Лябьевой — Марфина!..— отвечал Углаков.

— Я так и чаяла!.. Барыня, я тебе скажу, того... писаная красавица!..

— Мало, что красавица... божество какое-то!

— Да...— протянула Аграфена Васильевна.— И что ж, ты за ней примахиваешь маненько, больно уж все как-то юлил около нее?

— Ах, тетенька,— воскликнул на это Углаков,— не то, что примахиваю, а так вот до сих пор, по самую макушку врезался!

— Ишь ты какой!.. Губа-то, я вижу, у тебя не дура!.. А она-то что же?.. Тоже?

— Нет, она *невнимательна.*

— Но, может, любит уж другого?

— Нет!

— А муж ведь, чай, есть у ней?

— Есть.

— Молодой?

— Старый, но умен очень.

— Ну, что умен... По-моему, знаешь, что я тебе скажу, Петруша... Барыня эта также к тебе сильно *склонна.*

— Как?—воскликнул Углаков, выпучив глаза от удивления и радости.

— Да так!.. Мы, бабы, лучше друг друга разумеем...

Почто же она, как заяц, убежала от тебя, когда мы вышли от Лябьева?

— Может быть, из отвращения ко мне! — подхватил Углаков.

— Ну да!.. Из отвращения к нему? — возразила Аграфена Васильевна.— А не из того ли лучше, что на воре-то шапка горит,— из страха за самое себя, из робости к тебе?.. Это, милый друг, я знаю по себе: нас ведь батьки и матки и весь, почесть, табор лелеют и холят, как скотину перед праздником, чтобы отдать на убой барину богатому али, пожалуй, как нынче вот стало, купцу, а мне того до смерти не хотелось, и полюбился мне тут один чиновничек молоденький; на гитаре, я тебе говорю, он играл хоть бы нашим запевалам впору и все ходил в наш, знаешь, трактир, в Грузинах... Вижу я, что больно уж он на меня пристально смотрит, и я на него смотрю... И прилепились мы таким манером друг к другу душой как ни на есть сильно, а сказать о том ни он не посмел, и я робела... Пословица-то, видно, справедлива: «тут-то много, да вон нейдет». Так мы, братик мой, и промигали наше дело.

— Поэтому, тетенька, вы думаете, что и я промигаю свое дело? — спросил стремительно Углаков.

— Ты и она, оба промигаете!.. А по нашему цыганскому рассуждению, знаешь, как это песня поется: «Лови, лови часы любви!»

— Но как их, тетенька, поймать-то?.. Поймать я не знаю как!.. Научите вы меня тому!

— Смешной ты человек!.. Научи его я?.. Коли я и сама не сумела того, что хотела... Наука тут одна: будь посмелей! Смелость города берет, не то что нашу сестру пленяет.

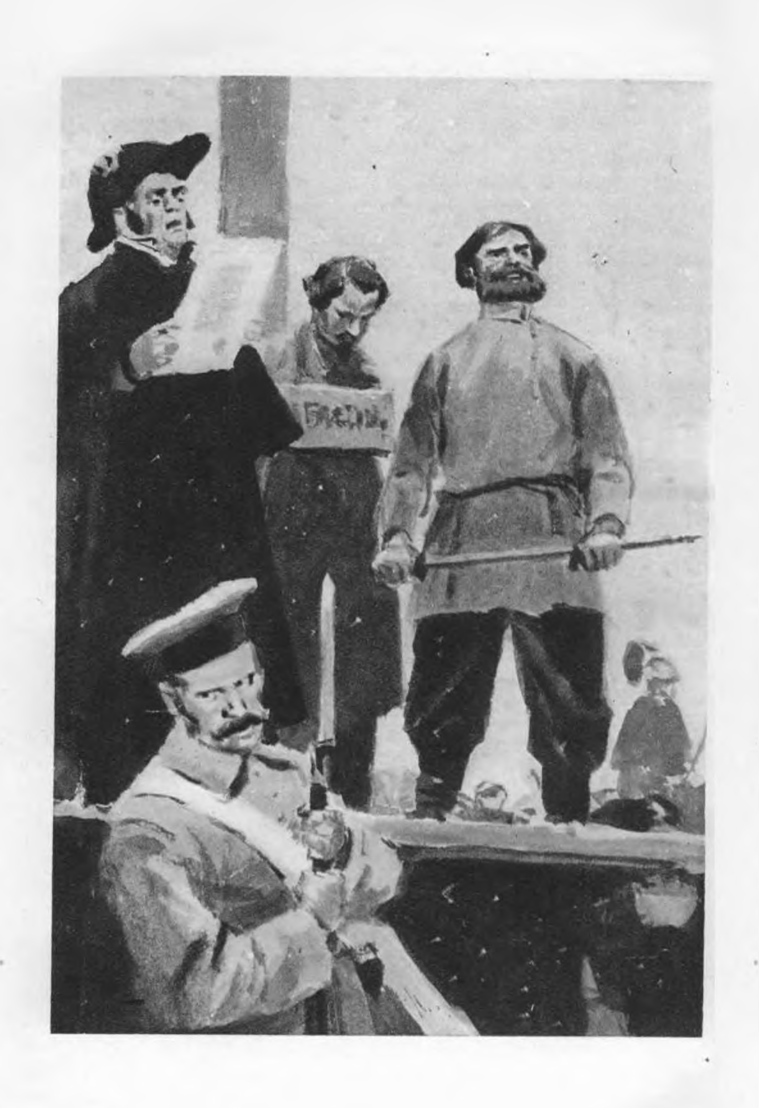
— Ну, а если Сусанна Николаевна очень за это рассердится? Что тогда?

— Это тоже, как сказать, может, рассердится, а то и нет... Старый-то муж, поди чай, надоел ей: «Старый муж, грозный муж, режь меня, бей меня, я другого люблю!»— негромко пропела Аграфена Васильевна и, допив свое шампанское, слегка ударила стаканом по столу: видно, уж и ей старый-то муж надоел сильно.

— Но из чего вы, тетенька, заключаете, что Сусанна Николаевна склонна ко мне?

— Изволь, скажу! Ты-то вот не видел, а я заметила, что она ажно в спину тебе смотрит, как ты отвернешься от





нее, а как повернулся к ней, сейчас глаза в сторону и отведет.

— Тетенька, верно ли вы это говорите? — переспросил Углаков.

— Верно! У нас, старых завистниц, на это глаз зоркий.

— Я вас, тетенька, за это обниму и зацелую до смерти.

— Целуй! До смерти-то словно не зацелуешь... Целовали меня тоже, паря, не жалеючи.

Затем они обнялись и расцеловались самым искренним образом, а потом Углаков, распив с тетенькой на радости еще полбутылочку шампанского, завез ее домой, а сам направился к Марфиным, акибы на дежурство, но в то же время с твердой решимостью добиться от Сусанны Николаевны ответа: любит ли она его сколько-нибудь, или нет.

VII

В почтительной позе и склонив несколько набок свою сухощавую голову, стоял перед Тулузовым, сидевшим величаво в богатом кабинете, дверь которого была наглухо притворена, знакомый нам маляр Савелий Власьев, муж покойной Аксюши. Лицо Савелия по-прежнему имело зеленовато-желтый цвет, но наряд его был несколько иной: вместо позолоченного перстня, на пальце красовался настоящий золотой и даже с каким-то розовым камнем; по атласному жилету проходил бисерный шнурок, и в кармане имелись часы; жидкие волосы на голове были сильно напомажены; брюки уже не спускались в сапоги, а лежали сверху сапог. Все это объяснялось тем, что Савелий Власьев в настоящее время не занимался более своим ремеслом и был чем-то вроде главного поверенного при откупе Тулузова, взяв который, Василий Иваныч сейчас же вспомнил о Савелии Власьеве, как о распорядительном, умном и плутоватом мужике. Выписав его из Петербурга в Москву, он стал его быстро возвышать и приближать к себе, как некогда и его самого возвышал Петр Григорьич. Савелий Власьев оказался главным образом очень способным устраивать и улаживать разные откупные дела с полицией, так что через какие-нибудь полгода он был на дружеской ноге со всеми почти квартальными и даже некоторыми частными. В настоящем случае Василий Иваныч и вел с ним разговор именно об этом предмете.

— Я тебе очень благодарен, Савелий Власьев,— говорил он, сохраняя свой надменный вид,— что у нас по откупу не является никаких дел.

— Зачем же и быть им? — отвечал, слегка усмехнувшись тонкими губами, Савелий Власьев.

— Да... Но целовальники, вероятно, и вещи краденые принимают,— продолжал Тулузов.

— Постоянно-с! — не потаил Савелий Власьев.

— А полиция что же?

— Полиции какое дело, когда жалоб нет, и от нас она получает, что ей следует.

— Кроме ворованных вещей, я убежден, что в кабаках опиваются часто и убийства, может быть, даже совершаются? — допытывался Василий Иваныч.

— Конечно, не без греха-с! — объяснил Савелий Власьев.

— И как же вы тут вывертываетесь?

— Что ж?.. Поманеньку вывертываемся... Разве трудно вывезти человека из кабака куда-нибудь подальше?.. Слава богу, пустырей около Москвы много.

— Вывезти, ты говоришь!.. Но в кабаке могут быть свидетели и видеть все это.

— Какие там свидетели?.. Спьяну-то другой и не видит, что вокруг его происходит, а которые потрезвей, так испугаются и разбегутся. Вон, не то что в кабаке, а в господском доме, на вечере, князя одного убили.

— Ты разве слышал это?

— Слышал-с!.. Мне тутошный квартальный надзиратель все как есть рассказал.

— Однако тот господин, который убил князя,— я его знаю: он из нашей губернии,— некто Лябьев, в тюрьме теперь сидит.

— Вольно ж ему было вовремя не позамаслить полиции... Вон хозяина, у кого это произошло, небось, не посадили.

— Да того за что же сажать?

— За то, что-с, как рассказывал мне квартальный, у них дело происходило так: князь проигрался оченно сильно, они ему и говорят: «Заплати деньги!» — «Денег, говорит, у меня нет!» — «Как, говорит, нет?» — Хозяин уж это, значит, вступился и, сцапав гостя за шиворот, стал его душить... Почесть что насмерть! Тот однакоче от него выцарапался да и закричал: «Вы мошенники, вы меня обыгра-

ли наверняка!». Тогда вот уж этот-то барин — как его? Лябьев, что ли? — и пустил в него подсвечником.

— Вздор это! — отвергнул настойчиво Тулузов.— Князя бил и убил один Лябьев, который всегда был негодяй и картежник... Впрочем, черт с ними! Мы должны думать о наших делах... Ты говоришь, что если бы что и произошло в кабаке, так бывшие тут разбегутся; но этого мало... Ты сам видишь, какие строгости нынче пошли насчет этого... Надобно, чтобы у нас были заранее готовые люди, которые бы показали все, что мы им скажем. Полагаю, что таких людей у тебя еще нет под рукой?

— Никак нет! — отвечал Савелий Власьев.

— Но приискать ты их можешь?

Савелий Власьев несколько мгновений соображал.

— Приискать, отчего же не приискать? Только осмелюсь вам доложить, как же мы их будем держать? На жалованьи? — произнес Савелий Власьев, кажется, находивший такую меру совершенно излишнею.

— На жалованьи, конечно, и пусть в кабаках даром пьют, сколько им угодно... Главное, не медли и на днях же приищи их!

— Слушаю-с! — отвечал покорно Савелий Власьев.

Он видел барина в таком беспокойном состоянии только один раз, когда тот распоряжался рассылкой целовальников для закупки хлеба, и потому употребил все старание, чтобы как можно скорее исполнить данное ему поручение. Однако прошло дня четыре, в продолжение которых Тулузов вымещал свое нетерпение и гнев на всем и на всех: он выпорол на конюшне повара за то, что тот напился пьян, сослал совсем в деревню своего камердинера с предписанием употребить его на самые черные работы; камердинера этого он застал на поцелуе с одной из горничных, которая чуть ли не была в близких отношениях к самому Василию Иванычу.

Савелий Власьев наконец предстал перед светлые очи своего господина и донес, что им отысканы нужные люди.

— Кто именно? — спросил в одно и то же время с радостью и величавым выражением в лице Тулузов.

— Да двое из них чиновники, а один отставной поручик артиллерии.

— Что они, молодые или старые?

— Какое молодые?.. Старые... Разве человек в силах и годный на что-нибудь пошел бы на то?

— Это и хорошо!.. Но теперь о тебе собственно,— начал Тулузов, и голос его принял явно уже оттенок строгости,— ты мне всем обязан: я тебя спас от Сибири; я возвел тебя в главноуправляющие по откупу, но если ты мне будешь служить не с усердием, то я с тобой строго распоряжусь и сошлю тебя туда, куда ворон костей не занашивал.

— Разве я того не понимаю-с? — произнес с чувством Савелий Власьев.— Я готов служить вам, сколько сумею.

— Дело мое, о котором я буду теперь с тобой говорить,— продолжал, уже не сидя величественно в кресле, а ходя беспокойными шагами по кабинету, Тулузов,— состоит в следующем глупом казусе: в молодости моей я имел неосторожность потерять мой паспорт... Я так испугался, оставшись без вида, что сунулся к тому, к другому моему знакомому, которые и приладили мне купить чужой паспорт на имя какого-то Тулузова... Я записался по этому виду, давал расписки, векселя, клал деньги в приказ под этим именем, тогда как моя фамилия вовсе не Тулузов, но повернуться назад было нельзя... За это сослали бы меня понимаешь?

— Поди ты, какое дело! — сказал с участием Савелий Власьев.

— Но казус-то разыгрался еще сквернее! — подхватил Тулузов.— На днях на меня сделан донос, что человек, по паспорту которого я существую на белом свете, убит кем-то на дороге.

— Господи помилуй! — проговорил уже с некоторым страхом Савелий Власьев.

— Удивительное, я тебе говорю, стечение обстоятельств!.. Объявить мне теперь, что я не Тулузов, было бы совершенным сумасшествием, потому что, рассуди сам, под этим именем я сделался дворянином, получил генеральский чин... Значит, все это должны будут с меня снять.

— Но за что же это, помилуйте?! — возразил с участием Савелий Власьев.

— Закон у нас не милует никого, и, чтобы избежать его, мне надобно во что бы то ни стало доказать, что я Тулузов, не убитый, конечно, но другой, и это можно сделать только, если я представлю свидетелей, которые под присягой покажут, что они в том городе, который я им скажу, знали моего отца, мать и даже меня в молодости... Согласны будут показать это приисканные тобою лица?

— Как бы, кажется, не согласиться! Это не весть что такое! — произнес с некоторым раздумьем Савелий Власьев.— Только сумеют ли они, ваше превосходительство,— вот что опасно... Не соврали бы чего и пустяков каких-нибудь не наговорили.

— Это можно устранить: я тебе надиктую, что они должны будут говорить, а ты им это вдолби, и пусть они стоят на одном, что знали отца моего и мать.

— Понимаю-с! — проговорил Савелий Власьев.— Но тут еще другое есть,— присовокупил он, усмехнувшись,— больно они мерзко одеты, все в лохмотьях!

— В таком случае, купи им новое платье и скажи им, чтобы они являлись в нем, когда их потребуют по какому бы то ни было нашему делу.

— Сказать им это следует, только послушаются ли они?.. Пожалуй, того и гляди, что пропьют с себя все, окаянные!— возразил Савелий Власьев.

— А если пропьют, другое им сделаешь!.. Стоит ли об этом говорить?

— Слушаю-с,— сказал на это Савелий Власьев и хотел было уже раскланяться с барином, но тот ему присовокупил:

— Если ты мне все это дело устроишь, я тебе две тысячи дам в награду.

— Благодарю-с на том! — отозвался несколько глухим голосом Савелий Власьев и ушел.

Нет никакого сомнения, что сей умный мужик, видавший на своем веку многое, понял всю суть дела и вывел такого рода заключение, что барин у него теперь совсем в лапах, и что сколько бы он потом ни стал воровать по откупу, все ему будет прощаться.

Не ограничиваясь всеми вышесказанными мерами, Тулузов на другой день поутру поехал для предварительных совещаний в частный дом к приставу. Предприняв этот визит, Василий Иваныч облекся в форменный вицмундир и в свой владимирский крест. Частный пристав, толстый и по виду очень шустрый человек, знал, разумеется, Тулузова в лицо, и, когда тот вошел, он догадался, зачем собственно этот господин прибыл, но все-таки принял сего просителя с полным уважением и предложил ему стул около служебного стола своего, покрытого измаранным красным сукном, и вообще в камере все выглядывало как-то грязновато: стоявшее на столе зерцало было без всяких следов

позолоты; лежавшие на окнах законы не имели надлежащих переплетов; стены все являлись заплеванными; даже от самого вицмундира частного пристава сильно пахнуло скипидаром, посредством которого сей мундир каждодневно обновлялся несколько.

— Я получил от вас бумагу,— начал Тулузов с обычным ему последнее время важным видом,— в которой вы требуете от меня объяснений по поводу доноса, сделанного на меня одним негодяем.

— Да, что делать?.. Извините! — отвечал частный пристав, пожимая плечами.— Служба то повелевает, а еще более того наша Управа благочиния, которая заставляет нас по необходимости делать неприятности обывателям.

— Кто ж этого не понимает?.. И я приехал не претензии вам изъявлять, а посоветоваться с вами, как с человеком опытным в подобных делах.

— Благодарю вас за доверие и сочту себя обязанным быть к вашим услугам.

— Услуга ваша будет для меня состоять в том, чтобы вы научили меня, в каком духе дать вам объяснение.

— То есть, я полагаю,— произнес решительным тоном частный пристав,— что вам лучше всего отвергнуть донос во всех пунктах и учинить во всем полное запирательство.

— Да мне запираться-то не в чем, понимаете? — возразил с некоторым негодованием и презрительно рассмеявшись Тулузов.

— Знаю-с это,—извините, что не так выразился!.. Отвергнуть весь донос,— повторил частный пристав.

— Мало, что отвергнуть,—продолжал Тулузов,—но доказать даже противное.

— А это еще лучше, если вы можете! — подхватил частный пристав.

— Могу-с! — отвечал с окончательною уже величавостью Василий Иваныч.— Я представлю вам свидетелей, которые знали меня в детстве, знали отца моего, Тулузова.

— И превосходно, отлично! — воскликнул частный пристав.— Тогда этот донос разлетится в пух и прах!

— Но вы, конечно, указанных мною свидетелей вызовете в часть и спросите? — допытывался Тулузов.

— Непременно-с! — проговорил частный пристав.

— И я просил бы вас, Иринарх Максимыч,— назвал Тулузов уже по имени частного пристава,— позволить мне быть при этом допросе.

По лицу частного пристава пробежал как бы маленький конфуз.

— По закону этого, ваше превосходительство, нельзя,— сказал он,— но, желая вам угодить, я готов это исполнить... Наша проклятая служба такова: если где не довернулся, начальство бьет, а довернулся, господа московские жители обижаются.

— Ну, это дураки какие-нибудь! — произнес, вставая, Тулузов.— Я не замедлю вам представить объяснение.

— Бога ради; мы уже подтверждение по этому делу получили! — воскликнул жалобным тоном частный пристав.

— Не замедлю-с,— повторил Тулузов и действительно не замедлил: через два же дня он лично привез объяснение частному приставу, а вместе с этим Савелий Власьев привел и приисканных им трех свидетелей, которые действительно оказались все людьми пожилыми и по платью своему имели довольно приличный вид, но физиономии у всех были весьма странные: старейший из них, видимо, бывший чиновник, так как на груди его красовалась пряжка за тридцатипятилетнюю беспорочную службу, отличался необыкновенно загорелым, сморщенным и лупившимся лицом; происходило это, вероятно, оттого, что он целые дни стоял у Иверских ворот в ожидании клиентов, с которыми и проделывал маленькие делишки; другой, более молодой и, вероятно, очень опытный в даче всякого рода свидетельских показаний, держал себя с некоторым апломбом; но жалчее обоих своих товарищей был по своей наружности отставной поручик. Он являл собою как бы ходячую водянку, которая, кажется, каждую минуту была готова брызнуть из-под его кожи; ради сокрытия того, что глаза поручика еще с раннего утра были налиты водкой, Савелий Власьев надел на него очки. Когда все сии свидетели поставлены были на должные им места, в камеру вошел заштатный священник и отобрал от свидетелей клятвенное обещание, внушительно прочитав им слова, что они ни ради дружбы, ни свойства, ни ради каких-либо выгод не будут утаивать и покажут сущую о всем правду. Во время отобрания присяги как сами свидетели, так равно и частный пристав вместе с Тулузовым и Савелием Власье-

вым имели, как водится, несколько печальные лица. Опрос потом начался с отставного поручика.

— Вы знали родителя господина Тулузова? — спросил его частный пристав.

— Знал! — нетвердо выговорил поручик.— У нас в бригаде был тоже Тулузов...

— Это к делу нейдет! — остановил его частный пристав.

— Пожалуй, что и нейдет!.. Позвольте мне сесть: у меня ноги болят!..

— Сделайте милость! — разрешил ему пристав.

Савелий Власьев поспешил пододвинуть поручику стул, на который тот и опустился.

— Я раненый... и ниоткуда никакого вспомоществования не имею...— бормотал, пожимая плечами, поручик.

— Но подтверждаете ли вы, что знали отца господина Тулузова? — повторил ему пристав.

— Утверждаю!—воскликнул громко, как бы воспрянув на мгновение, поручик.

— Тогда подпишитесь вот к этой бумаге! — сказал ему ласковым голосом пристав.

Поручик встал на ноги и долго-долго смотрел на бумагу, но вряд ли что-нибудь прочел в ней, и затем кривым почерком подмахнул: такой-то.

— Могу я теперь уйти? — спросил он.

— Можете,— разрешил ему частный.

Поручик пошел шатающейся походкой, бормоча:

— За неволю пьешь, когда никакого нет состояния, а я раненый,— служить не могу...

Тулузов за приведение такого пьяного свидетеля бросил сердитый взгляд на Савелия Власьева и обратился потом к частному приставу, показывая глазами на ушедшего поручика:

— А ведь часто бывал в доме моего покойного отца... Я его очень хорошо помню, был весьма приличный молодой человек.

— Что делать? Жизнь! — отвечал на это философским тоном частный и стал спрашивать старичка-чиновника:

— Знали вы родителя господина Тулузова?

— Знал! —отвечал плаксивым тоном старичок.

— А самого господина Тулузова, который сидит вот здесь, вы видали в доме его отца?

— Видал, батюшка!.. Вот уж я одной ногой в могиле стою, а не потаю: видал!

Тулузов при этом поспешно сказал приставу:

— Это показание вы запишите в подлинных выражениях господина Пупкина!

— Без сомнения! — подхватил тот и, повернувшись затем к старичку-чиновнику, проговорил: — Подпишитесь!

Старичок не стал даже и читать отобранного от него показания, но зато очень четким старческим почерком начертал: «Провинциальный секретарь и кавалер Антон Пупкин».

Чиновник, опытный в даче свидетельских показаний, сделал, как и следовало ожидать, более точное и подробное показание, чем его предшественники. Он утвердительно говорил, что очень хорошо знал самого господина Тулузова и его родителей, бывая в том городе, где они проживали, и что потом встречался с господином Тулузовым неоднократно в Москве, как с своим старым и добрым знакомым. Желтоватое лицо Савелия Власьева при этом блистало удовольствием. Чело Тулузова также сделалось менее пасмурно. И когда, после такого допроса, все призванные к делу лица, со включением Савелия, ушли из камеры, то пристав и Тулузов смотрели друг на друга как бы с некоторою нежностью.

— А вот вам и еще пакетик! — проговорил Василий Иваныч, подавая частному довольно туго наполненный пакет.

— Это очень приятно! — ответил тот, на ощупь узнав, сколько таилось в пакете.

Совершив это, Тулузов спросил уже снова с насупленным несколько лицом:

— А Управа благочиния этими показаниями удовлетворится?

— Полагаю, что не придерется! — отвечал с не совсем полною уверенностью частный пристав.— Но для большей безопасности похлопочите лучше и там!

— У самого председателя? — сказал Тулузов.

— Нет-с! Тот, знаете, человек военный, мало в дела входит... Надобно задобрить советника, в отделение которого поступят ваши бумаги.

— А тот какого сорта человек? — спросил Тулузов.

— Тот родом французишка какой-то!.. Сначала был учителем, а теперь вот на эту должность пробрался...

Больше всего покушать любит на чужой счет!.. Вы позовите его в Московский и угостите обедцем, он навек вашим другом станет и хоть каждый день будет ходить к вам обедать.

— О, черт бы его драл!.. Но все-таки благодарю вас за совет,— произнес Тулузов и при этом пожал руку частному приставу.

В описываемое мною время Московский трактир после трех часов пополудни решительно представлял как бы продолжение заседаний ближайших присутственных мест. За отдельными столиками обыкновенно сидели, кушали и пили разные, до шестого класса включительно, служебные лица вместе с своими просителями, кои угощали их обильно и радушно. Однажды за таковым столиком Тулузов чествовал нужного ему члена Управы. Член этот действительно был родом французик, значительно пожилой, но при этом вертлявый, в завитом парике, слегка набеленный, подрумяненный, с большим ртом, с визгливым голосом и с какой-то несносной для всех энергией, по милости которой, а также и манерами своими, он весьма напоминал скорпиона, потому что, когда к кому пристанет, так тот от него не скоро отцепится. Тулузов прежде всего старался его накормить всевозможными яствами и накатить вином. На все это член управы шел довольно податливо. К концу обеда Василий Иваныч нашел возможным приступить к необходимому для него объяснению.

— У вас скоро будет в рассмотрении мое дело,— сказал он.

— Знаю-с,— взвизгнул член Управы.

— И как же вы на него взглянете? — спросил, напротив, почти октавой Тулузов.

— Этого я не знаю-с, ибо самого дела не помню!

— Дело, в сущности, пустячное!.. Я, по моим отношениям к генерал-губернатору, мог бы совершенно затушить его ..

Тут уж член Управы обиделся.

— Нет-с, у нас генерал-губернатор не такой, чтобы тушить дела... Вы сильно ошибаетесь! — завизжал он.

— Да я и сам не хочу тушить, а желаю, напротив, чтобы оно всплыло совершенно,— возразил Тулузов.

— И всплывет-с, не беспокойтесь! Кроме того-с, в общественных местах не должно говорить о делах, а вот

лучше,— визжал член, проворно хватая со стоявшей на столе вазы фрукты и конфеты и рассовывая их по своим карманам,— лучше теперь прокатимся и заедем к одной моей знакомой даме на Сретенке и у ней переговорим обо всем.

— С великим удовольствием! — отозвался на первых порах в самом деле с удовольствием Тулузов, и затем оба они, взяв лихача-извозчика, полетели на Сретенку.

Тулузов потом возвратился домой в два часа ночи и заметно был в сильно гневном состоянии. Он тотчас же велел позвать к себе Савелия Власьева. Тот оказался дома и явился к барину.

— Сколько тебе стоили эти дурацкие свидетели? — спросил Тулузов.

— У меня счет написан-с! — отвечал Савелий Власьев и подал довольно длинное исчисление, просмотрев которое Тулузов еще более нахмурился.

— Порядочно израсходовал! — произнес он.

— Меньше никто не брал-с! — отвечал твердым голосом Савелий Власьев.

— Но всего важнее то, что они все болтали какой-то вздор, вовсе не то, что я тебе говорил.

— Разве можно было вдолбить этим дуракам?

— Да тебе бы следовало приискать мне не глупых, а умных. Теперь, пожалуй, затормозят в Управе. Я сегодня целый день провел с одним тамошним гусем. Это такая каналья, каких мир еще не производил.

— Что ж он, очень много заломил?

— И много и нахально! — продолжал Тулузов.— Мало, что сам сорвал, да еще привез меня к каким-то девицам; начал танцевать с ними; меня тоже, скотина, заставлял это делать, требуя, чтобы я угощал их и деньгами награждал...

— Ужасно нынче эти чиновники безобразничают,— заметил Савелий Власьев.

— Но я это им все припомню, только бы кончилось мое дело!.. Я расскажу об них все генерал-губернатору... Он мне поверит...

— Еще бы вам-то не поверить? Славу богу, благодетель всей Москвы! — подхватил Савелий.

— А не знаешь ли ты, барыня дома?

— Никак нет-с!

— Где ж она?

— Кучер говорил, что ему приказано карету заложить в театр-с!

— Какой теперь театр?.. В два часа ночи...

Савелий Власьев молчал. Василий Иваныч тоже некоторое время как бы нечто соображал и затем продолжал:

— Ты хоть и плохо, но все-таки исполнил мое поручение; можешь взять из откупной выручки тысячу рублей себе в награду. Вместе с тем я даю тебе другое, столь же важное для меня поручение. Расспроси ты кучера Екатерины Петровны, куда именно и в какие места он ездит по ночам с нею?

— Слушаю-с! — произнес на это Савелий Власьев.

— Но скажет ли он тебе правду? Екатерина Петровна сама его выбрала себе против воли моей. В дружбе, вероятно, с ним состоит и замасливает его.

— Не думаю-с! — возразил Савелий Власьев.— Он тоже очень жалуется на них, иззнобила она его по экому морозу совсем. Тоже вот, как он говорил, и прочие-то кучера, что стоят у театра, боже ты мой, как бранят господ!.. Хорошо еще, у которого лошади смирные, так слезть можно и погреться у этих тамошних костров, но у Катерины Петровны пара ведь не такая; строже, пожалуй, всякой купеческой.

— Ну, ты ему скажи, что пусть пока терпит все, и дай ему от меня десять рублей... Вели только, чтобы он тебе всякий раз говорил, куда он возит госпожу свою.

— Ах, батюшка Василий Иваныч! — воскликнул Савелий с каким-то грустным умилением.— Мы бы рады всей душой нашей служить вам, но нам опасно тоже... Вдруг теперь Катерина Петровна, разгневавшись, потребует, чтобы вы нас сослали на поселение, как вот тогда хотела она сослать меня с женой... А за что?.. В те поры я ни в чем не был виноват...

— Ты глуп после этого, если не понимаешь разницы! Тогда Екатерина Петровна действовала из ревности, а теперь разве она узнает о том, что вы мне говорите... Теперь какая к кому ревность?

— Да все словно бы, когда бы мы были вольные, поспокойнее бы было. Я вот так теперь перед вами, как перед богом, говорю: не жалуйте мне ваших двух тысяч награды, а сделайте меня с отцом моим вольными хлебопашцами!

— Теперь я этого еще не могу сделать, но со временем, и даже скоро, я это устрою, а теперь я тебя еще хочу немного на уздечке подержать. Понял меня?

— Понял-с!— ответил Савелий Власьев, потупляя глаза.

VIII

Наступил и май, но Марфины не уезжали в деревню. Сусанна Николаевна никак не хотела до решения участи Лябьева оставить сестру, продолжавшую жить у них в доме и обыкновенно целые дни проводившую в тюрьме у мужа. Углаков по-прежнему бывал у Марфиных каждодневно и всякий раз намеревался заговорить с Сусанной Николаевной порешительнее, но у него ни разу еще не хватило на то духу: очень уж она держала себя с ним осторожно, так что ему ни на минуту не приходилось остаться с ней вдвоем, хотя частые посещения m-r Пьера вовсе, по-видимому, не были неприятны Сусанне Николаевне. Егор же Егорыч, с своей стороны, искренно привязался к молодому шалуну, который, впрочем, надобно сказать правду, последнее время сделался гораздо степеннее, и главным образом он поражал Егора Егорыча своей необыкновенною даровитостью: он прекрасно пел; очень мило рисовал карикатуры; мастерски читал, особенно комические вещи. Того, что причиною частых посещений Углакова была Сусанна Николаевна, Егор Егорыч нисколько не подозревал, как не подозревал он некогда и Ченцова в любви к Людмиле Николаевне. В начале июня Егор Егорыч был обрадован приездом в Москву Мартына Степаныча Пилецкого, которому после двухгодичных хлопот разрешили, наконец, приехать из Петербурга в Москву к обожаемой им, но — увы! — почти умирающей Екатерине Филипповне. Мартын Степаныч известил Егора Егорыча о своем приезде письмом, в котором, тысячекратно извиняясь, что не является лично, ибо не может оставить больную ни на минуту, умолял посетить его. Егор Егорыч, без сомнения, немедля поехал. Екатерина Филипповна жила в довольно глухой местности, в собственном наследственном доме, который, впрочем, она, по переезде в Москву, сломала, к великому удовольствию своих соседей, считавших прежде всего ее самое немножко за колдунью, а потом утверждавших, что в доме ее издавна оби-

тала нечистая сила, так как в нем нередко по вечерам слышали возню и даже иногда видали как бы огонь. Вместо этого, действительно угрюмого здания Екатерина Филипповна на своем дворе, занимавшем по крайней мере десятины три пространства и усаженном красивыми, ветвистыми березками, выстроила несколько маленьких деревянных флигельков, соединившихся между собой дорожками, усыпанными песком. Все это придавало двору весьма оживленный вид и делало его как бы похожим на скит раскольничий, тем более, что во всех этих флигельках проживали какие-то все старушки, называвшие себя богаделенками Екатерины Филипповны. Сверх того, весь двор обнесен был высоким забором с единственными, всегда затворенными воротами, у калитки которых стоял привратник. Когда Егор Егорыч подъехал к дому Екатерины Филипповны, то, по просьбе этого привратника, должен был оставить экипаж на улице и пройти по двору пешком. Екатерина Филипповна жила тоже в одном из флигельков, в котором встретил Егора Егорыча почти на пороге Мартын Степаныч. В первую минуту свидания оба друга как бы не находились, о чем им заговорить, и только у обоих навернулись слезы на глазах. Мартын Степаныч начал потом первый:

— Надеюсь, что почтенная Сусанна Николаевна здорова?

— Да, здорова,— отвечал отрывисто Егор Егорыч,— но,— присовокупил он, протянув несколько,— у нас тут в семье опять натворилось.

Что именно натворилось, Егор Егорыч не дообъяснил.

— Слышал это я,— сказал Мартын Степаныч, проведя пальцем у себя за ухом, которое, кажется, еще больше оттопырилось,— но слышал также и то, что это было делом несчастного случая...

— Несчастного, но вместе с тем и безнравственного случая, который оправдывать нельзя! — возразил мрачно Егор Егорыч.

— Полагаю, что до известной степени можно оправдать...— произнес, опять проведя у себя за ухом, Мартын Степаныч,— господин Лябьев сделал это из свойственного всем благородным людям point d'honneur[1].

Егор Егорыч при этом почти вышел из себя.

— Какой у завзятых игроков может быть point d'hon-

[1] чувства чести *(франц.)*

neur?!. Вспомните, что сказано об них: «Не верю чести игрока!» Меня тут беспокоит не Лябьев... Я его жалею и уважаю за музыкальный талант, но, как человек, он для меня под сомнением, и я склоняюсь более к тому, что он дурной человек!.. Так его понял с первого свидания наш общий с вами приятель Сверстов.

— По какому же поводу?—сказал Мартын Степаныч.

— Ни по какому! В силу только своего предчувствия — pressentiment.

— Pressentiment?..— повторил Мартын Степаныч, начав уже водить, не отставая, у себя за ухом.— Pressentiment, видно, многое ведает, чего не ведает ум...

— Да,— подтвердил Егор Егорыч, — и расскажу вам тут про себя: когда я получил это страшное известие, то в тот же день, через несколько минут, имел видение.

— Видение? — спросил с одушевлением Мартын Степаныч.

— Видение, ибо оно представилось мне въявь, а не во сне!.. Я, погруженный в молитву, прямо перед глазами своими видел тихую, светлую долину и в ней с умиленными лицами Лябьева, Музу и покойного Валерьяна.

— Видение, значит, было в смысле благоприятном! — произнес, склоняя голову, Мартын Степаныч.

— Благоприятном! — повторил Егор Егорыч.

Мартын Степаныч впал на некоторое время в раздумье и потупился.

— Может быть,— заговорил он, не поднимая своего взора,— вы желали бы иметь некоторое подтверждение или отрицание вашего видения?

— Желал бы! — отвечал быстро Егор Егорыч, понявший, куда тянет Мартын Степаныч.

— В таком случае вам может пособить Екатерина Филипповна: она, особенно последнее время, более чем когда-либо, проникнута даром пророчества.

— Но разве она в состоянии меня принять? — спросил Егор Егорыч.

— Даже очень рада будет вас видеть! — подхватил Мартын Степаныч и ввел Егора Егорыча в следующую комнату, в которой Екатерина Филипповна, худая, как скелет, но с горящими глазами, в чопорном с накрахмаленными фалборами чепце и чистейшем батистовом капоте, полулежала в покойных креслах, обложенная сзади и по бокам подушками. Стены ее весьма оригинального

помещения были не оштукатурены и не оклеены ничем, а оставались просто деревянными, только гладко выстроганными, и по новизне своей издавали из себя приятный смолистый запах. В переднем углу было устроено небольшое тябло, на котором стоял тоже небольшой образ иверской божией матери, с теплившейся перед ним лампадкою. Всей этой простотой Екатерина Филипповна вряд ли не хотела подражать крестьянским избам, каковое намерение ее, однако, сразу же уничтожалось висевшей на стене прекрасной картиной Боровиковского, изображавшей бога-отца, который взирает с высоты небес на почившего сына своего: лучезарный свет и парящие в нем ангелы наполняли весь фон картины; а также мало говорила о простоте и стоявшая в углу арфа, показавшаяся Егору Егорычу по отломленной голове одного из позолоченных драконов, украшавших рамку, несколько знакомою.

— А вы еще и поигрываете? — сказал он, целуя протянутую руку больной и указывая глазами на арфу.

— Ах, нет, я никогда на арфе не играла! — отвечала Екатерина Филипповна.— Это арфа добрейшей Марии Федоровны... Она привезла ее ко мне и приезжает иногда развеселять меня своей игрой.

Егор Егорыч нахмурился: он игры на арфе Марии Федоровны, равно как и подвитых седых кудрей ее, всегда терпеть не мог.

— Егор Егорыч поражен горем! — отнесся к Екатерине Филипповне Мартын Степаныч.

— Это вы мне говорили! — сказала та.

— Но Егора Егорыча очень беспокоит участь его несчастных родных,— продолжал Мартын Степаныч,— и он уже имел видение...

— Какое? — спросила Екатерина Филипповна.

— Ободряющее и подающее надежду! — объяснил Мартын Степаныч.— Не будете ли и вы об этом иметь сна какого-нибудь?.. Вы в таком теперь близком общении с будущим людей...

— Да, в близком,— подтвердила Екатерина Филипповна.— Напишите мне, что бы вы желали знать... только своей рукой! — проговорила она Егору Егорычу.

— Потрудитесь написать! — сказал ему тоже и Мартын Степаныч, подавая со стола карандаш и бумагу.

Егор Егорыч написал своим крупным почерком то, что он желал бы знать о судьбе Лябьевых, с присовокуплением вопроса о том, как это подействует на Сусанну Николаевну.

— Положите к образу вашу записку,— сказала ему Екатерина Филипповна,— завтра Пилецкий напишет вам мой ответ, а теперь до свиданья!

Егор Егорыч поспешил раскланяться с Екатериной Филипповной и Мартыном Степанычем. По выходе из флигеля он вздумал пройтись немного по двору между пахучими березами, причем ему стали встречаться разные старушки в белых и, по покрою, как бы монашеских одеяниях, которые, истово и молча поклонившись ему, шли все по направлению к флигелю Екатерины Филипповны. Не обратив на это особенного внимания, Егор Егорыч продолжал свою прогулку и в конце двора вдруг увидал, что в калитку ворот вошла Мария Федоровна, которая, спеша и потрясая своими седыми кудрями, тоже направлялась к домику Екатерины Филипповны. Егор Егорыч, занятый своими собственными мыслями и тому не придав никакого значения, направился со двора в сад, густо заросший разными деревьями, с клумбами цветов и с немного сыроватым, но душистым воздухом, каковой он и стал жадно вдыхать в себя, почти не чувствуя, что ему приходится все ниже и ниже спускаться; наконец, сад прекратился, и перед глазами Егора Егорыча открылась идущая изгибом Москва-река с виднеющимся в полумраке наступивших сумерок Девичьим монастырем, а с другой стороны — с чернеющими Воробьевыми горами. Сад отделялся невысокой деревянной решеткой, и невдалеке была небольшая скамейка, на которой Егор Егорыч уселся и еще более погрузился в свои невеселые мысли. Ему было досадно, что он не задал Екатерине Филипповне вопроса о самом себе, так как чувствовал, что хиреет и стареет с каждым днем, и в этом случае он боялся не смерти, нет! Как искренний масон, он привык размышлять о смерти без трепета, но его заботила опять-таки Сусанна Николаевна в том отношении, что как она останется одна на свете, без него? За ее мораль и нравственную чистоту Егор Егорыч нисколько не опасался, но все-таки Сусанна Николаевна была еще молода, совершенно неопытна в жизни и, главное, как все Рыжовы, очень доверчива; между тем Егор Егорыч, при всем своем оптимизме, со-

вершенно убедился, что коварство, лживость, бесчестность и развращенность понятий растут в обществе. Под влиянием таких мыслей он поднялся со скамейки и пошел в обратный путь к своему экипажу, но когда опять очутился на дворе, то его поразили: во-первых, яркий свет в окнах комнаты, занимаемой Екатериной Филипповной, а потом раздававшаяся оттуда через отворенную форточку игра на арфе, сопровождаемая пением нескольких дребезжащих старческих голосов. Нисколько не желая соглядатайствовать, Егор Егорыч, тем не менее, взглянув в окна комнаты, заметил, что сама Екатерина Филипповна по-прежнему сидела в своем кресле, а невдалеке от нее помещалась седовласая Мария Федоровна в белой одежде и играла на арфе. Около стен же комнаты сидели старушки и даже два — три старичка, тоже в белых как бы рубахах. Между последними Егор Егорыч увидал Мартына Степаныча, также в белом халате. Картина Боровиковского видна была до мельчайших подробностей и блестела своею дорогой золотой рамой. Догадавшись, что это было радение, Егор Егорыч поспешил уйти со двора Екатерины Филипповны и поехал домой.

Здесь я должен заметить, что бессознательное беспокойство Егора Егорыча о грядущей судьбе Сусанны Николаевны оказалось в настоящие минуты почти справедливым. Дело в том, что, когда Егор Егорыч уехал к Пилецкому, Сусанна Николаевна, оставшись одна дома, была совершенно покойна, потому что Углаков был у них поутру и она очень хорошо знала, что по два раза он не ездит к ним; но тот вдруг как бы из-под земли вырос перед ней. Сусанна Николаевна удивилась, смутилась и явно выразила в лице своем неудовольствие.

— Я сейчас встретил Егора Егорыча и видел, что он едет куда-то далеко, а потому и приехал к вам,— объявил ей Углаков наивно.

— Вы ошибаетесь; муж сейчас вернется, и ваш визит покажется ему странным... Вы меня компрометируете, Углаков! — возразила ему Сусанна Николаевна.

— Нет, ничего,— произнес тот умоляющим голосом,— вы не сердитесь только и выслушайте меня... Я не волен более в себе и заклинаю вас сказать мне, любите ли вы меня хоть на каплю?..

Сусанна Николаевна сидела, отвернувшись и как бы не слушала его.

— Сусанна Николаевна,— продолжал Углаков,— ваше молчание, ваша осторожность до такой степени мучат меня, что я или убью себя, или с ума сойду.

Сусанна Николаевна и на это молчала.

— Но если уж в вас нисколько нет любви ко мне,— продолжал Углаков трепетным голосом,— то дайте мне, по крайней мере, вашу дружбу, какой наградила меня Муза Николаевна...

— Дружбу? Извольте! — почти с радостью воскликнула Сусанна Николаевна.— Я готова к вам питать ее и буду вам искренний и полезный друг... Вот вам в том рука моя!..— заключила она и, нимало не остерегаясь, сама протянула ему руку, которую Углаков схватил и начал целовать десять, двадцать, пятьдесят раз.

— Будет же, будет! — говорила ему Сусанна Николаевна, тщетно стараясь оторвать свою руку от его губ.— Идите же, наконец, вон, Углаков!.. Вы, я вижу, не стоите дружбы! — почти крикнула она на него.

Углаков оставил ее руку и в явном отчаянии опустился на одно из кресел.

— Вы правы, я не могу оставаться вашим другом! — произнес он.

— Ну, так вот видите что,— заговорила Сусанна Николаевна со свойственною ей в решительных случаях энергией,— я давно это знаю и вижу, что вы не друг мне, потому что не счастья мне хотите, а желаете, напротив, погубить меня!..

Углаков отрицательно затряс головой и откинулся на спинку кресла.

— Да, погубить,— повторила Сусанна Николаевна,— потому что, если бы я позволила себе кем-нибудь увлечься и принадлежать тому человеку, то это все равно, что он убил бы меня!.. Я, наверное, на другой же день лежала бы в гробу. Хотите вы этого достигнуть?.. Таиться теперь больше нечего: я признаюсь вам, что люблю вас, но в то же время думаю и уверена, что вы не будете столь жестоки ко мне, чтобы воспользоваться моим отчаянием!

Сколь ни восхитило Углакова такое признание Сусанны Николаевны, последние слова ее, однако, сильно ограничили его восторг.

— Значит,— проговорил он,— мне остается выбирать

одно из двух: или вашу смерть, или мою собственную, и я, конечно, предпочту последнее.

— Нет, нет, и того не делайте! — воскликнула Сусанна Николаевна.— Это тоже сведет меня в могилу и вместе с тем уморит и мужа... Но вы вот что... если уж вы такой милый и добрый, вы покиньте меня, уезжайте в Петербург, развлекитесь там!.. Полюбите другую женщину, а таких найдется много, потому что вы достойны быть любимым!

— Вы остаться даже мне около вас не позволяете? — сказал, склонив печально свою голову, Углаков.

— Не позволяю оттого, что я... вы видите, я сама не знаю, что такое я!..— ответила ему, горько усмехнувшись, Сусанна Николаевна.— Но я молю вас пощадить и пощадить меня!.. Поверьте, я не меньше вас страдаю!..

— Извольте, уеду! — произнес Углаков и, встав, почтительно поклонился Сусанне Николаевне, чтобы уйти, но она торопливо и задыхающимся голосом вскрикнула ему:

— Еще просьба!.. Прощаться не приезжайте к нам, а то я, боюсь, не выдержу себя, и это будет ужасно для Егора Егорыча.

— Не приеду, если вы не хотите того,— сказал Углаков и окончательно ушел.

По уходе его Сусанна Николаевна принялась плакать: видимо, что ею овладела невыносимая печаль.

Но что же это такое? — возможен здесь вопрос.— Сусанна Николаевна поэтому совершенно разлюбила мужа? Ответ на это более ясный читатель найдет впоследствии, а теперь достаточно сказать, что Сусанна Николаевна продолжала любить мужа, но то была любовь пассивная, основанная на уважении к уму и благородству Егора Егорыча, любовь, поддерживаемая доселе полным согласием во всевозможных взглядах; чувство же к Углакову выражало порыв молодого сердца, стремление к жизненной поэзии, искание таинственного счастия, словом, чувство чисто активное и более реальное. Когда Сусанна Николаевна увидала, что Егор Егорыч подъехал к крыльцу, она, чтобы скрыть от него свои слезы, бросилась опрометью к себе наверх и не сходила оттуда весь остальной вечер. Что касается Углакова, то он прямо от Марфиных поскакал к другу своему — Аграфене Васильевне, которую, к великому утешению своему, застал дома

тоже одну; старичище ее, как водится, уехал в Английский клуб сидеть в своем шкапу и играть в коммерческую игру. Аграфена Васильевна, по искаженному выражению лица милого ее чертенка, догадалась, что с ним что-то неладное происходит, и первое ей пришло в голову, что уж не засужден ли Лябьев.

— Ну, садись и рассказывай, что Лябьевы, все ли у них благополучно? — спросила она торопливо.

— Лябьевы... ничего, пока здоровы! — отвечал Углаков отрывисто.

— Отчего же ты такой, словно с цепи сорвался?

— Я с чего такой? — повторил Углаков.— Но вы прежде, тетенька, велите мне дать вина какого-нибудь, покрепче!

— Ну, это, дяденька, ты врешь!.. Крепкого вина я тебе не дам, а шампанским, коли хочешь, накачу.

И Аграфена Васильевна велела подать шампанского, бывшего у нее всегда в запасе для добрых приятелей, которые, надобно сказать правду, все любили выпить.

Углаков, подкрепившись вином, передал Аграфене Васильевне буквально всю предыдущую сцену с Сусанной Николаевной.

— Поди ты, какая ломака барыня-то!.. По пословице: хочется и колется... И что ж, ты уедешь?

— Уеду, тетенька, потому что все равно... Если я не уеду, она в деревню уедет, как уж сказала она мне раз.

— Это так, да! — согласилась Аграфена Васильевна.— Да и поберечь ее тебе в самотко надобно; не легко тоже, видно, ей приходится.

— Поберегу! Что бы со мной ни было, а ее я поберегу!

— Сам-то тоже не благуй очень!.. И что вы тут оба намололи,— удивительное дело! Ты убьешь себя, она умрет... Как есть вы неженки!

— Не неженки, а что, точно, очень непереносно... А что пить я стану, это будет!.. Ты так, тетенька, и знай!

— Попить, ничего, попей!.. Вино куражит человека!.. Помни одно, что вы с Сусанной Николаевной не перестарки какие, почесть еще сосунцы, а старичок ее не век же станет жить, может, скоро уберется, и женишься ты тогда на своей милой Сусаннушке, и пойдет промеж вас дело настоящее.

— Ах, тетенька, если бы это когда-нибудь случилось!.. И вдруг мне Сусанна Николаевна пропоет песенку Беранже: «Verse encore; mais pourquoi ces atours entre tes baisers et mes charmes? Romps ces noeuds, oui, romps les pour toujours, ma pudeur ne connait plus d'alarmes!» — продекламировал Углаков.

Аграфена Васильевна слушала его, улыбаясь, будучи очень довольна, что чертенок поразвеселился.

— Что ж это значит? — спросила она.

— Значит это, тетенька: «Наливай мне вина! Но зачем же эта рубашка мешает тебе целовать мои красоты? Прочь ее, и прочь навсегда! У меня уж нет более стыдливости к тебе!»

— Песня складная и ладная! — определила Аграфена Васильевна.

— Ладная! — воскликнул Углаков.— Самое хорошее тут слово — pudeur — стыдливость... К черту ее, чтобы пропала она у Сусанны Николаевны!..

— Ишь ты, что ему надобно... чтобы и не стыдились его! — произнесла Аграфена Васильевна, и, при расставаньи с чертеночком, глаза ее наполнились слезами.

На другой день часов еще в девять утра к Марфину приехал старик Углаков, встревоженный, взволнованный, и, объявив с великим горем, что вчера в ночь Пьер его вдруг, ни с того, ни с сего, ускакал в Петербург опять на службу, спросил, не может ли Егор Егорыч что-нибудь объяснить ему по этому поводу. Вероятно, старик Углаков догадывался отчасти, что Пьер его влюбился в Сусанну Николаевну. Егор Егорыч ничего, конечно, не мог объяснить ему, и когда гость от него уехал, он, сойдясь с Сусанной Николаевной и Музой Николаевной за чаем, поведал им о нечаянном отъезде молодого Углакова в Петербург и об его намерении снова поступить на службу. Сусанна Николаевна при этом постаралась выразить в лице своем маленькое удивление, хотя сама смутилась до невозможности. Муза Николаевна прежде всего взглянула на сестру. Разговор, впрочем, на том только и окончился. Муза Николаевна вскоре же уехала к мужу, а Сусанна Николаевна отправилась сначала к обедне, возвратясь оттуда, прошла к себе наверх; Егор же Егорыч все ждал письма от Пилецкого. Так прошел весь день. Понятно, что обе сестры, столь привыкшие быть между собою откровенными, не могли долго скрытничать. Муза Николаевна,

узнав от мужа в тюрьме всю историю, происшедшую между влюбленными, о чем Лябьеву рассказывал сам Углаков, заезжавший к нему прощаться, немедля же по возвращении заговорила об этом с сестрой.

— Ты удалила от себя Углакова окончательно? — начала она несколько укоризненным тоном.

— Удалила,— отвечала Сусанна Николаевна.

— И тебе не жаль его?

— Напротив, жаль и даже жаль самое себя.

— Но зачем же ты все это делаешь?

— Затем, что мне еще более обоих нас жаль моего мужа.

— После этого ты не знаешь твоего мужа! — воскликнула Муза Николаевна.— Я уверена, что если бы ты намекнула ему только на то, что ты чувствуешь теперь, так Егор Егорыч потребовал бы от тебя совершенно противного.

— Может быть,— не отвергнула Сусанна Николаевна,— но я тоже знаю, чего это будет стоить ему... Кроме того, мне моя собственная совесть никогда не позволит до такой степени сделаться порочною, как желает того Углаков.

Муза Николаевна на это пожала только плечами с удивлением и сожалением.

Пока происходила эта беседа, к Егору Егорычу одна из богаделенок Екатерины Филипповны принесла письмо от Пилецкого, которое тот нетерпеливо стал читать. Письмо Мартына Степаныча было следующее:

«Я замедлил Вам ответом, ибо Екатерина Филипповна весь сегодняшний день была столь ослабшею после вчерашнего, довольно многолюдного, у нас собрания, что вечером токмо в силах была продиктовать желаемые Вами ответы. Ответ о Лябьевых: благодарите за них бога; путь их хоть умален, но они не погибнут и в конце жизни своей возрадуются, что великим несчастием господь смирил их. Ответ о высокочтимой Сусанне Николаевне: блюдите о ней, мните о ней каждоминутно и раскройте к ней всю Вашу душевную нежность».

Прочитав эти довольно темные изречения, Егор Егорыч затрепетал, так как изречения совпадали с его собственным необъяснимым страхом, и забормотал про себя: «Что же это такое, болтовня обезумевшей старухи или

пророчество и должный удар в мою совесть? Я знаю теперь и чувствую, сколько виноват, и все оттого, что возмнил опять о себе! Все чувствуйте, как я чувствую, а не как они! Сколь ни велики мои грехи, но неужели милосердый бог назначит мне еще новое, невыносимое для меня испытание, и умру не я, а Сусанна!» При этой мысли Егор Егорыч почти обезумел: не давая себе отчета в том, что делает, он велел Антипу Ильичу позвать Сусанну Николаевну, чтобы сколь возможно откровеннее переговорить с нею. Та, в свою очередь, услыхав из кротких уст Антипа Ильича приглашение, тоже затрепетала и, едва владея собой, сошла к Егору Егорычу, который рассказал ей, как он был у пророчицы Екатерины Филипповны Татариновой, подруги Пилецкого, как задал сей последней вопросы о Лябьевых и об ней, Сусанне, а затем прочел самые ответы, из которых последний еще более смутил Сусанну Николаевну, особенно, когда Егор Егорыч воскликнул:

— Значит, я загубил тебя?

— Когда и чем ты загубил меня? — воскликнула Сусанна Николаевна.

— Тем, что ты все больна,— бормотал все Егор Егорыч.

— Нет, нет,— отвечала ему торопливо Сусанна Николаевна,— ты не думай нисколько, что я больна... Будь прежде всего покоен за меня; ты нужен еще для многих добрых дел, кроме меня...

— Я нужен для одного только дела, чтобы искупить кровь Валерьяна и обличить убийцу, возвеличенного теперь Москвой.

— Сделай это сначала, а потом я поговорю с тобой о самой себе,— продолжала как бы невольно проговорившаяся Сусанна Николаевна.

— Но что ж ты будешь говорить со мной? — снова воскликнул Егор Егорыч с беспокойством.

— Да я теперь еще и не знаю, что такое буду тебе говорить! — ответила Сусанна Николаевна и вдруг, чего она никогда прежде не делала, встала и ушла к себе наверх.

Егор Егорыч остался совсем огорченный и надломленный. Он уже понял, что у Сусанны Николаевны есть тайные и большие страдания и что он причиной сих страданий.

IX

Марфиных вновь постигнуло хоть и ожидаемое, но все-таки горе. Юлия Матвеевна, бывшая последнее время очень слаба, кончила, наконец, свою печальную жизнь, и тут неприятнее всего было, что смерть ее ускорилась по милости ее горничной, дуры Агапии, которая напугала Юлию Матвеевну. Случилось это таким образом: Сверстов и gnädige Frau, знавшие, конечно, из писем Марфиных о постигшем Лябьева несчастии, тщательно об этом, по просьбе Сусанны Николаевны, скрывали от больной; но в Кузьмищево зашла за подаянием всеобщая вестовщица, дворянка-богомолка, успевшая уже сошлендать в Москву, и первой же Агапии возвестила, что зятек Юлии Матвеевны, Лябьев, за картами убил генерала и сидит теперь за то в тюрьме. Агапия, по своей чувствительной натуре, разахалась, разревелась и, прямо бросившись к своей госпоже, прокричала ей:

— Матушка-барыня, ваш-то зять убил, слышь, человека!..

Старуха, не вполне уже все понимавшая, тут, однако, уразумела, видно, и затрепетала всем телом.

— Егорыч? — спросила она.

— Нет, матушка, другой-то, молодой... как его?.. Я и не знаю... убил, матушка, генерала.

— Лябьев? — выговорила хоть и слабым голосом, но чисто старуха.

— Оно-тка самый! — воскликнула Агапия.

— Сверстов... ну... дай! — намекала старуха.

— Да он уехал куда-то! — провопияла Агапия.

Сверстов действительно уехал, и уехал далеко, к Аггею Никитичу, для совещания с ним по делу Тулузова.

— Ну, барыню его позову, все то-тко равно! — сообразила Агапия и убежала к gnädige Frau.

— Подьте, матушка, к моей барыне! У них зятька-то в острог услали.

Gnädige Frau была ужасно этим поражена.

— Кто ж сказал об этом Юлии Матвеевне? — спросила она, проворно вставая и оставляя свою постоянную работу — вязание мужу шерстяных носков, которых он, будучи весь день на ногах, изнашивал великое множество.

— Я, матушка, им доложила, — объяснила наивно Агапия.

— Ах ты, глупая женщина! Как же ты смела это сделать, не сказав прежде мне? — вспылила gnädige Frau и поспешно прошла к Юлии Матвеевне.

— Зять... зачем... убил? — спросила ее та каким-то даже строгим голосом.

— Это все сплетни!.. Он не убивал! — стала было утешать ее gnädige Frau и между тем невольно краснела от сознания, что говорила неправду.

— Муза?.. Сусанна?..— едва выговаривала старушка.

— Муза и Сусанна Николаевна здоровы и покойны,— отвечала ей gnädige Frau.

— Егорыч где?

— В Москве, вместе с Сусанной Николаевной; он тоже покоен и здоров.

Старушка на некоторое время замолчала, и у нее только мускулы в лице подергивало.

— Крестись! — почти приказала она потом gnädige Frau, которая поняла, что больная требует от нее клятвенного подтверждения того, что она ей говорила; gnädige Frau на мгновение поколебалась, но, вспомнив, что скрывать от старушки несчастие зятя была не ее воля, а воля Сусанны Николаевны, перекрестилась.

Что-то вроде горькой улыбки отразилось на пересохших губах больной: по инстинкту матери она хорошо сознавала, что ее обманывают.

— Ничего этого не было,— старалась успокаивать старушку gnädige Frau, но, увидав стоявшую тут же, в комнате, с совершенно мокрым от слез лицом Агапию, сказала той:

— Ты уйди!

Агапия пошла было.

— Нет! — остановила ту старушка.

Агапия осталась на своем месте.

Gnädige Frau решительно не знала, что предпринять ей.

— Не хотите ли, я принесу капель, которые муж велел вам принимать и которые всегда вас так успокаивают?

— Нет,— отказалась Юлия Матвеевна, и когда gnädige Frau села было невдалеке от ее постели, она, хоть и молча, но махнула рукой.

Gnädige Frau, поняв из этого, что Юлия Матвеевна желает, чтобы она удалилась, исполнила ее желание и, выйдя в коридор, поместилась на стуле около комнаты

больной. Прошло с час времени. Юлия Матвеевна заметно начала свободнее дышать, потом вдруг указала на лежавшие в углу валяные туфли.

Агапия, несмотря на свою глупость, лучше всех понимавшая Юлию Матвеевну, подала ей эти валенки, но старуха затрясла отрицательно головой. Агапия и тут однако догадалась, чего она хотела, и принесла первоначально шерстяные чулки, в которые обула больную, а сверх их надела валенки.

— Дай тут!..— что-то такое сказала больная, но Агапия опять-таки догадалась, что Юлия Матвеевна требует салоп себе, и вынула из шкапа ваточный салоп.

— Ну! — сказала ей Юлия Матвеевна.

Агапия попыталась окутать этим салопом ноги больной, но та почти рассердилась.

— Дай, дай...— говорила она,— Егорыч... лошадь!

Агапия, подумав, что бедная старушка собиралась ехать куда-то и, испугавшись такого намерения Юлии Матвеевны, побежала сказать о том gnädige Frau.

— Как это возможно? — произнесла та с беспокойством и вошла опять в комнату больной, но Юлия Матвеевна была почти в бессознательном состоянии, и с ней уже начался предсмертный озноб: зубы ее щелкали, в лице окончательно подергивало все мускулы, наконец, стал, как говорится, и хоробрец ходить, а через несколько минут Юлии Матвеевны не стало более в живых.

Агапия, первая, ревмя заревела, заплакала вслед за тем Фаддеевна, а вместе с ней и молодые горничные. Gnädige Frau между тем послала за отцом Василием, чтобы посоветоваться с ним, как распорядиться похоронами. Отец Василий немедля же пришел по ее приглашению и был значительно выпивши. Увы! Сей умнейший и образованнейший человек опять начал сильно зашибаться хмелем. Главной причиной тому была неудача, постигшая его *«Историю масонства в России»*, которая была им окончена и которую он читал в продолжение нескольких вечеров своим кузьмищевским масонам. Все они были в восторге от глубокой учености его труда и изящества в изложении, а Егор Егорыч, сверх того, взялся напечатать эту историю в нескольких тысячах экземпляров, для чего, разумеется, потребовалось испросить разрешение; но тут-то и затормозилось дело. Напрасно Егор Егорыч, поль-

зуясь своим обширным знакомством и разослав труд отца Василия, переписанный в нескольких экземплярах, к разным властям светским и духовным, просил их содействия. Все они ответили ему без замедления и в весьма лестных выражениях отзывались о капитальности труда и о красноречии автора, но находили вместе с тем, что для обнародования подобного рода историй не пришло еще время. Таким образом, отец Василий должен был на всю остальную жизнь потерять всякую надежду заявить себя обществу в том, что составляло его главную силу и достоинство, а это было для него, как человека честолюбивого, горше смерти.

Gnädige Frau, увидав своего любимца в несколько возбужденном состоянии, в каковом он уже являлся перед ней неоднократно, очень этим огорчилась, но не подала, конечно, виду и начала с ним беседовать. Об умершей они много не разговаривали (смерть ее было такое естественное явление), а переговорили о том, как им уведомить поосторожнее Марфиных, чтобы не расстроить их очень, и придумали (мысль эта всецело принадлежит gnädige Frau) написать Антипу Ильичу и поручить ему сказать о смерти старушки Егору Егорычу, ибо gnädige Frau очень хорошо знала, какой высокодуховный человек Антип Ильич и как его слушается Егор Егорыч. Отец Василий одобрил эту мысль и перешел потом к более отвлеченному разговору.

— С давних веков,— начал он,— существует для людей вопрос: что бывает с человеком после смерти его? Вопрос этот на первый взгляд может показаться праздным, ибо каждая религия решает его по-своему; но, с другой стороны, и существенным, потому что люди до сих пор продолжают об нем беспокоиться и думать.

— Я полагаю, что они думают и беспокоятся оттого, что ищут утраченного ими райского луча. Вы сами так прекрасно говорили об этом в вашей речи на свадьбе Сусанны Николаевны.

— Я знаю, что я прекрасно говорил,— произнес отец Василий с некоторою ядовитостью (выпивши, он всегда становился желчным и начинал ко всему относиться скептически),— но это происходило в силу того закона, что мой разум и воображение приучены к этому представлению более, чем к какому-либо другому.

— Отец Василий, вы как будто бы теперь отказывае-

тесь от самого себя и от слов своих? — полувоскликнула gnädige Frau.

— Нет, я не отказываюсь ни от того, ни от другого,— произнес мрачным тоном отец Василий,— я тот же остаюсь масон и в придаток к тому — православный поп; но уразумейте меня, gnädige Frau: я *человек* и потому не вполне себе верю; не могу, например, утверждать, что исповедуемое мною вероучение непогрешимо: напротив того, я верую и, вместе с тем, ищу. Между нами, русскими, и вами, немцами, та и разница, что вы все решили и действуете; а мы, повторяю еще раз, веруем и ищем; только, к несчастию, мы же сами себе и искать-то пока не позволяем. О, это великая ирония судеб!

Gnädige Frau не совсем уразумела смысл последних слов отца Василия и отнесла это не к своей непонятливости, а к тому, что собеседник ее был немного подшофэ.

— Если вы по-прежнему остаетесь искренним масоном,— стояла она на своем,— так чего же вам искать? Масонство решило многое и, по-моему, совершенно правильно.

— Что именно-с? — спросил отец Василий опять-таки ядовитым тоном и с прибавлением *с*.

— Мы должны быть честны! — стала перечислять gnädige Frau.

— Это хорошо! — согласился отец Василий.

— Должны быть трудолюбивы,— продолжала та.

— А это еще лучше того!.. Потом-с? — выпытывал отец Василий gnädige Frau.

Но она была не из тех дам, чтобы сробеть и спасовать в области нравственных и религиозных вопросов.

— Потом,— отвечала она даже с маленьким азартом,— делать добро, любить прежде всего близких нам, любить по мере возможности и других людей; а идя этим путем, мы будем возвращать себе райский луч, который осветит нам то, что будет после смерти.

— Ну-с,— полувоскликнул на это уже отец Василий,— такого освещения сколько мне известно, не дано было еще никому, и скажу даже более того: по моим горестям и по начинающим меня от лет моих терзать телесным недугам, я ни о чем более как о смерти не размышляю, но все-таки мое воображение ничего не может мне представить определительного, и я успокоиваюсь лишь на том, во что мне предписано верить.

— И верьте!.. Это очень хорошо с вашей стороны,— произнесла gnädige Frau, как бы поучавшая отца Василия, а не он ее.

— Но сами вы чему верите? — сказал он ей с прежней ядовитостью.

— Я верю,— объяснила gnädige Frau со своей обычной точностью,— что мы, живя честно, трудолюбиво и не делая другим зла, не должны бояться смерти; это говорит мне моя религия и масонство.

— Знаю, что это говорится, но только человек-то этим весь не исчерпывается; опять привожу в доказательство себя же: мысленно я не страшусь смерти; но ее боится мой архей и заставляет меня даже вскрикивать от страха, когда меня, особенно последнее время, как-нибудь посильнее тряхнет в моей колымажке, в которой я езжу по приходу.

— Я архея не отвергаю и согласна, что он иногда в нас говорит сильнее, чем наша душа и наше сердце,— заметила gnädige Frau.

— А только то и требовалось доказать! — подхватил опять-таки с усмешечкой отец Василий и встал, чтобы отправиться домой.

К благословению его gnädige Frau, конечно, не подошла, да отец Василий и не ожидал того. Расставшись, оба беседующие невольно подумали друг о друге.

— Какого высокого ума человек и в какое страшное сомнение впадает! — сказала сама себе gnädige Frau.

Отец же Василий, идя дорогой, размышлял: «Сия дама, по своему узкому протестантизму, все решила, а Фауста-то и забыла, хоть и немка!»

И отец Василий при этом захохотал на всю улицу.

Gnädige Frau очень умно придумала написать о смерти Юлии Матвеевны Антипу Ильичу, а не Егору Егорычу, без того уже бывшему от разного рода неприятностей в сильно раздраженном состоянии. Антип Ильич, прочитав письмо gnädige Frau, написанное четким почерком отца Василия, конечно, с одной стороны, опечалился, узнав о смерти Юлии Матвеевны, но с другой — остался доволен тем доверием, которым был почтен от госпожи Сверстовой. Прежде всего он стал на довольно продолжительную молитву, а потом, улучив минуту, когда Егор Егорыч был совершенно один, вошел к нему в кабинет.

— Позвольте вас спросить,— начал он своим добрым

голосом,— когда вы имеете намерение отправиться в Кузьмищево?

— Не знаю и сам! — отвечал Егор Егорыч, несколько удивленный словами Антипа Ильича, так как сей последний никогда не делал ему подобного рода вопросов.— Ты сам видишь, как тут уехать: Муза Николаевна измучена своим несчастием; Сусанна Николаевна тоже вместе с нею мучится и, как я подозреваю, даже больна...

— Да-с,— протянул ему Антип Ильич,— Сусанну Николаевну нам надобно всем поберечь!

Егор Егорыч испугался этих слов Антипа Ильича. Ему показалось, что и он вместе с Екатериной Филипповной пророчит что-то недоброе Сусанне Николаевне.

— Разве ты замечаешь, что она действительно больна?

— Нет,— ответил опять протяжно Антип Ильич,— но оне всегда очень беспокоятся обо всем душой, а маменька их теперь в летах преклонных и тяжко больна... Все в воле божией!

Егор Егорыч уразумел, что Антип Ильич клонит разговор в совершенно другую сторону.

— Может быть, со старухой что-нибудь случилось?— спросил он полушепотом.

— Да-с,— опять протянул Антип Ильич,— господь бог призвал их в лоно свое.

— Тебе пишет об этом кто-нибудь?

— Госпожа Сверстова прислала мне письмо и приказала поосторожнее сказать вам о том.

Егора Егорыча, впрочем, это известие, по-видимому, не особенно встревожило.

— Мир праху ее!.. Конечно, жаль — пробормотал он.

— Ах, батюшка Егор Егорыч,— воскликнул на это Антип Ильич,— не печалиться, а радоваться надо за нас, стариков, когда мы путь наших испытаний оканчиваем.

— Конечно, но я боюсь, что это будет новым ударом для Музы и Сусанны.

— Им укрепиться в вере надо; укрепите их верою! — посоветовал Антип Ильич.

— Тебе пишут, когда она умерла?

— Двадцатого числа, в восемь часов вечера.

Подумав, Егор Егорыч предположил сказать сначала Музе, так как он знал, что все-таки она меньше привязана к матери, чем Сусанна; но прежде, однако, пожелал узнать мнение об этом Антипа Ильича.

— Зачем? Что тут лукавить? Дело житейское! Скажите им как только бог вам внушит! — объяснил ему тот.

— Тогда лучше скажи ты! Ты к богу ближе, чем я! — пробормотал Егор Егорыч.

— Извольте-с, скажу.

— Поди сейчас и сделай это! — решил по своей торопливости Егор Егорыч.

Антип Ильич, ничего уже более не сказав, ушел своей медленной походкой от барина.

Егор Егорыч с нервным вниманием начал прислушиваться к тому, что происходило в соседних комнатах. Он ждал, что раздадутся плач и рыдания со стороны сестер; этого, однако, не слышалось, а, напротив, скоро вошли к нему в комнату обе сестры, со слезами на глазах, но, по-видимому, сохранившие всю свою женскую твердость. Вслед за ними вошел также и Антип Ильич, лицо которого сияло полным спокойствием.

— Мамаша умерла! — начала Сусанна Николаевна первая.

— Да, вот ему пишет gnädige Frau,— указал ей Егор Егорыч на Антипа Ильича.

— А мамаша уж похоронена? — спросила того Сусанна Николаевна совсем твердым голосом.

— Не изволят-с об этом писать,— отвечал Антип Ильич.

— Тогда прикажи, пожалуйста, привести мне почтовых лошадей!.. Я сейчас же поеду похоронить мамашу...— проговорила Сусанна Николаевна.

— Нет, нет и нет! — отказал ей наотрез Егор Егорыч.

— Почему же нет? — сказала Сусанна Николаевна с удивлением.

— Оттого, что ты сама больна и расстроена!..

Сусанна Николаевна при этом как будто бы стыдливо покраснела.

— Я нисколько не больна и не расстроена,— произнесла она,— и непременно хочу ехать!

Муза Николаевна между тем, сидевшая все это время в углу и потихоньку плакавшая, вдруг при этом зарыдала.

Егор Егорыч сейчас же воспользовался этим.

— У тебя вот еще кто на руках: несчастное живое существо, а там одно тело... прах! — проговорил он.

— Ах, нет,—вскричала Муза,— пусть сестра едет!.. Я плачу о том, что сама не могу ехать с ней.

Егор Егорыч начал как бы колебаться, но его выручил и поддержал Антип Ильич.

— Мы панихиды и заупокойные обедни можем совершать и здесь по Юлии Матвеевне, она же все это будет знать и ведать. Прикажете идти позвать священников для служения панихиды?

— Да, позови! — разрешил ему Егор Егорыч.

Антип Ильич тогда обратился к Сусанне Николаевне.

— Мы, сударыня, теперь прилетим к Юлии Матвеевне на конях более быстрых, чем те, которые вы приказывали приготовить,— проговорил он ей и ушел за священниками.

Те вскоре пришли, и началось служение панихиды. Какие разнообразные чувствования волновали всех молящихся! Егор Егорыч исключительно думал о Сусанне Николаевне и беспрестанно взглядывал на нее; она хоть и не смотрела на него, но чувствовала это и была мучима тайным стыдом: при всей тяжести настоящего ее горя, она не переставала думать об Углакове. Музою же овладела главным образом мысль, что в отношении матери своей она всегда была дурной дочерью, так что иногда по целым месяцам, особенно после выхода замуж, не вспоминала даже о ней.

Сусанна Николаевна, впрочем, не оставила своей мысли ехать похоронить мать и на другой же день опять-таки приступила к Егору Егорычу с просьбой отпустить ее в Кузьмищево. Напрасно он почти с запальчивостью ей возражал:

— Это бессмыслица!.. Юлия Матвеевна, конечно, теперь похоронена... Письмо шло к нам целую неделю.

— Не похоронена,— упорно возражала Сусанна Николаевна,— gnädige Frau понимает меня и знает, как бы я желала быть на похоронах матери.

Спор такого рода, конечно, кончился бы тем, что Егор Егорыч, по своей любви к Сусанне Николаевне, уступил ей и сам даже поехал бы с ней; но вдруг, совершенно неожиданно для всех, явился прискакавший в Москву на курьерских Сверстов. Во всей его фигуре виднелось утомление, а в глазах досада; между тем он старался казаться спокойным и даже беспечным.

— Что такое? Опять еще что-нибудь случилось? — воскликнул Егор Егорыч, начинавший окончательно терять свойственное ему величие духа.

— А мать похоронена? — подхватила и Сусанна Николаевна.

— Третьего дня! — отвечал ей Сверстов.

— Зачем же вы не подождали меня? — спросила его с укором Сусанна Николаевна.

— Разлагаться очень начала... Вы, барыни, этого не понимаете... Промедли еще день, так из гроба лужи бы потекли... Как это можно?!—отвечал ей со строгостью Сверстов.

— Я ей то же говорил! — воскликнул Егор Егорыч.

Затем со стороны дам последовали вопросы: как старушка умерла, не говорила ли она чего, не завещала ли чего-нибудь?

— Умерла отлично, как следует умереть старому организму... тихо, покойно, без страданий,— выдумывал для успокоения своих друзей Сверстов.

Но тут вошел Антип Ильич и снова объявил, что начинается панихида.

Что Сверстов так неожиданно приехал, этому никто особенно не удивился: все очень хорошо знали, что он с быстротой борзой собаки имел обыкновение кидаться ко всем, кого постигло какое-либо несчастье, тем более спешил на несчастье друзей своих; но на этот раз Сверстов имел еще и другое в виду, о чем и сказал Егору Егорычу, как только остался с ним вдвоем.

— Я не говорил при Сусанне Николаевне, но я не был при смерти старушки, а находился в это время за триста верст от Кузьмищева, у Аггея Никитича.

— У Зверева? — переспросил с оттенком беспокойства Егор Егорыч.— По какому поводу?

— По такому,— отвечал Сверстов,— что он вызвал меня по делу Тулузова, по которому черт знает что творится здесь в Москве!

— Что такое? — снова спросил Егор Егорыч с возрастающим беспокойством.

— А вот что-с,— принялся объяснять Сверстов.— На посланные Аггем Никитичем господину Тулузову вопросные пункты тот учинил полное запирательство и в доказательство того, *что он Тулузов,* представил троих свидетелей, которые под присягой показали, что они всегда лично его знали под именем Тулузова, а также знали и его родителей... Хорошо?

— Хорошо! — похвалил Егор Егорыч, рассмеявшись саркастически.

— Недурно,— поддакнул Сверстов,— а потом-с к Аггею Никитичу вскоре после этой бумаги явился раз вечером на дом не то лавочник, не то чиновник, который, объяснив ему дело Тулузова до мельчайших подробностей, просил его покончить это дело, как возникшее по совершенно ложному доносу, и в конце концов предложил ему взятку в десять тысяч рублей.

— Но кто же такой был этот человек... сам Тулузов? воскликнул Егор Егорыч.

— Нет, не он. Аггей Никитич того знает; но это был черт его знает кто такой!

— А отчего же Аггей Никитич не задержал его? — возразил Егор Егорыч с раздражением.— Он должен был бы это сделать, когда тот предложил ему взятку, чтобы за то его наказать.

— Аггей Никитич наказал его, только по-своему: как человек военный, он рявкнул на него... Тот ему сгрубил что-то такое... Он повернул его да в шею, так что тот еле уплел ноги от него!

— Глупо это, глупо! — заметил Егор Егорыч.

— Вдруг не найдешься, согласитесь!..—возразил Сверстов.— И как потом докажешь, что он предлагал взятку?.. Разговор у них происходил с глазу на глаз, тем больше, что, когда я получил обо всем этом письмо от Аггея Никитича и поехал к нему, то из Москвы прислана была новая бумага в суд с требованием передать все дело Тулузова в тамошнюю Управу благочиния для дальнейшего производства по оному, так как господин Тулузов проживает в Москве постоянно, где поэтому должны производиться все дела, касающиеся его... Понимаете, какая подведена махинация?

— Понимаю!—ответил угрюмо Егор Егорыч.

— Но что ж нам остается после этого делать? — спросил Сверстов.

Егор Егорыч стал соображать.

— Я, к сожалению, с нынешним генерал-губернатором никогда не сближался, по той причине, что он искони француз и энциклопедист; я же — масон, а потому мне ехать теперь к нему и говорить об деле, совершенно меня не касающемся, странно. Но я вместе с вами поеду к моему другу Углакову, который очень хорош с князем.

— Optime! — воскликнул Сверстов, и на другой день оба друга поехали к Углакову; но, к великой досаде их, застали того почти в отчаянном состоянии.

Его Пьер, снова было поступивший на службу, вдруг заболел той же нервной горячкой, которой он болел в Москве. M-me Углакова уехала уже к сыну, чтобы быть при нем сиделкой; но, тем не менее, когда Егор Егорыч и Сверстов рассказали Углакову дело Тулузова, он объявил им, что сейчас же поедет к генерал-губернатору, причем уверял, что князь все сделает, чего требует справедливость. Покончив на этом, Егор Егорыч и Сверстов расстались с Углаковым и поехали: первый домой, а другой пересел на извозчика и отправился к Мартыну Степанычу Пилецкому, с которым Сверстов от души желал поскорее повидаться.

Сусанна Николаевна между тем, заметно поджидавшая с нетерпением мужа, сейчас же, как он приехал, спросила его:

— Ну, что у Углаковых?.. Как там идет?

— Там идет скверно,— бухнул прямо Егор Егорыч,— наш общий любимец Пьер заболел и лежит опять в горячке; мать ускакала к нему, отец сидит, как пришибленный баран, и сколь я ни люблю Пьера, но сильно подозреваю, что он пьянствовать там начал!

Сусанна Николаевна при этом побледнела только, и что она чувствовала, предоставляю судить всем молодым дамам, которые в сердцах своих таили чувствования, подобные ее чувствованиям!

X

В кофейной Печкина вечером собралось обычное общество: Максинька, гордо восседавший несколько вдали от прочих на диване, идущем по трем стенам; отставной доктор Сливцов, выгнанный из службы за то, что обыграл на бильярде два кавалерийских полка, и продолжавший затем свою профессию в Москве: в настоящем случае он играл с надсмотрщиком гражданской палаты, чиновником еще не старым, который, получив сию духовную должность, не преминул каждодневно ходить в кофейную, чтобы придать себе, как он полагал, более

светское воспитание; затем на том же диване сидел франтоватый господин, весьма мизерной наружности, но из аристократов, так как носил звание камер-юнкера, и по поводу этого камер-юнкерства рассказывалось, что когда он был облечен в это придворное звание и явился на выход при приезде императора Николая Павловича в Москву, то государь, взглянув на него, сказал с оттенком неудовольствия генерал-губернатору: «Как тебе не совестно завертывать таких червяков, как в какие-нибудь коконы, в камер-юнкерский мундир!» Вместе с этим господином приехал в кофейную также и знакомый нам молодой гегелианец, который наконец стал уж укрываться и спасаться от m-lle Блохи по трактирам. То, что он будто бы женится на ней, была чисто выдумка Углакова. Наконец, как бы для придачи большей пестроты этому разнокалиберному обществу, посреди его находился тот самый толстенький частный пристав, который опрашивал свидетелей по делу Тулузова и который, по своей вожеватости, состоял на дружеской ноге с большею частью актеров, во всякое свободное от службы время являлся в кофейную.

Разговор между собеседниками начался с того, что Максинька, не без величия, отнесся к частному приставу с вопросом:

— А что, нашего Петю... того... прихлопнут?

— За что его прихлопнут? — отвечал частный пристав, как бы не понявший вопроса Максиньки.

— Ну, там, вы сами знаете за что! — сказал Максинька и скорбно захохотал.

— Нет, ничего не будет,— успокоил его частный пристав.

— Вам известна вся эта история, про которую бог знает, что рассказывается? — спросил важным, но вместе с тем и гнусливым несколько голосом невзрачный господин.

— Известна-с, потому что я и производил это дело,— объяснил пристав.

— По-моему, вы неблагородно поступили, что позволили себе накрывать, и кого же?.. Дам! — укорил его Максинька, всегда верный своему возвышенному взгляду на женщин вообще и на благородных дам в особенности.

— А когда начальство вам приказывает играть какую-

нибудь роль, вы ослушиваетесь? — спросил его с комическою серьезностью пристав.

— Нет,— сказал протяжно Максинька.

— Ну, так и мы, полиция, не можем не слушаться закона! — объяснил ему частный пристав.

— Скажите, донос, что ли, или жалоба от кого-нибудь была об этом? — продолжал расспрашивать мизерный господин.

— Жалоба была,— начал частный пристав и вслед за тем, осмотрев всю комнату и видя, что особенно посторонних в ней никого не было, продолжал вполголоса,— господин Тулузов жаловался, предполагая в этих сборищах найти жену свою, и действительно нашел ее там.

— Но кто же с ней еще другие дамы были? — поинтересовался мизерный господин.

— Ну, это наша полицейская тайна,— возразил частный пристав,— я могу сказать одно, что все это дамы из высшего круга.

— Хороша тайна! — перебил с гневной усмешкой Максинька.— И зачем же вы про Тулузову рассказываете?

— Госпожу Тулузову я наименовал потому, что о ней и без меня всем известно.

— Я и других тоже знаю,— произнес, лукаво подмигнув, камер-юнкер.— В первую голову, тут была Н.

— Так! — подтвердил частный пристав.

— Потом Р. и Ч.

— Все так! — не отвергал частный пристав.

— А что же в этих сборищах было противозаконного? — пожелал узнать гегелианец.

Частный пристав пожал плечами и проговорил:

— Незаконного, если хотите, ничего не было, но неприлично же дамам так вести себя.

— Полиция-то пуще всего понимает приличия! — произнес опять с гневом и иронией Максинька.

— Но в чем, собственно, неприличия эти состояли? — допытывался гегелианец.— Мне рассказывали, что там накрыта была совершенно скандалезная сцена.

— Почти,— произнес с усмешкой частный пристав,— и чтобы оправдать полицию, я должен начать издалека,— года два тому назад в Лефортовской части устроился и существовал так называемый Евин клуб, куда, понимаете, не мужчины приглашали дам, а дамы мужчин, которые им нравились; клуб этот, однако, по предписанию из

Петербурга, был закрыт; но на днях господин Тулузов в прошении своем объяснил, что Евин клуб снова открылся. Согласитесь, что при такого рода обстоятельствах мы не могли бездействовать, и начальство это дело поручило мне.

— Как лицу опытному в таких делах,— не переставал язвить частного пристава Максинька.

Тот немного при этом вспыхнул в лице, но нисколько не растерялся.

— Да, Максинька, я опытен!.. Вот попадись и ты мне на любимой тобой Козихе и побуянь там, я тебя сейчас же упрячу в сибирку.

— Дудки! Пете, небось, ничего не мог сделать! — возразил Максинька и опять захохотал иронически.

— Да ведь Петя человек молодой, красивый, а ты-то что такое?

— Как я что?.. Я тоже человек!..

— Сомнительно, очень сомнительно, Максинька...— стал тоже и его доезжать частный пристав.— Помнишь ли ты, что про тебя сказал Никифоров, когда к вам затесалась на репетицию собака и стала на тебя глядеть?

— Ничего он про меня не сказал,— притворился Максинька, как будто бы в самом деле забыл.

— А вот он что сказал,— напомнил ему частный пристав, — он гладит собаку да и говорит: «Не удивляйся, Амочка, не удивляйся, это тоже человек». А уж если собака усомнилась, так нам и бог простит.

— Ври больше! — нашел только возразить на это Максинька.

— Ну, плюньте на него, рассказывайте далее!— почти приказал частному приставу невзрачный господин, видимо, заинтересованный и даже как бы обеспокоенный рассказом того.

— Далее было...— принялся повествовать частный пристав.— Я вместе с господином Тулузовым часа в два ночи отправился в указанный им дом... Прибыли мы в оный и двери нашли незапертыми... Входим и видим, что в довольно большой зале танцуют дамы в очень легоньких костюмах, да и мужчины тоже, кто без фрака, кто без мундира... Ужин и возлияния, надо полагать, были обильные... Тулузов взял жену за руки и почти насильно увел в другую комнату, а другая тут дама кинулась на меня. «Как вы смели, говорит, сюда придти?.. У нас не заговор какой-нибудь!» — «Совершенно, говорю, согласен, сударыня;

но я приехал сюда только осведомиться, так как нас известили, что в здешнем доме открылся некогда существовавший *Евин клуб*».— «Убирайтесь, говорит, к черту! Здесь никакого Евина клуба нет, а у нас афинский вечер». К ней, конечно, пристали и мужчины, которым я говорю: «Вы, господа, конечно, можете разорвать меня на кусочки, но вам же после того хуже будет!» Это бы, конечно, их не остановило; но, на счастие мое, вышел Тулузов и говорит мне: «Я не желаю вести этого дела».— «Очень хорошо, говорю, а я и пуще того не желаю!..» Так мы и разъехались.

— Госпожа Тулузова,— вмешался вдруг в разговор кончивший играть на бильярде надсмотрщик гражданской палаты,— вчера у нас совершала купчую крепость на проданное ею имение мужу своему.

— А велико ли это имение? — спросил, моргнув глазом, камер-юнкер.

— Всего одна деревня в двадцать душ,— сказал надсмотрщик.

— C'est étonnant! Qu'en pensez vous? [1]— отнесся камер-юнкер к гегелианцу и, видя, что тот не совсем уразумел его вопрос, присовокупил: — Поэтому господин Тулузов за двадцать душ простил своей жене все?..

— Бог его знает,— отозвался с презрением ученый,— но меня здесь другое интересует, почему они свое сборище назвали афинским вечером?

— О, это я могу тебе объяснить! — сказал окончательно гнусливым голосом камер-юнкер.— Название это взято у Дюма, но из какого романа — не помню, и, по-моему, эти сборища, о которых так теперь кричит благочестивая Москва, были не больше как свободные, не стесняемые светскими приличиями, развлечения молодежи. Я сам никогда не бывал на таких вечерах,— соврал, по мнению автора, невзрачный господин: он, вероятно, бывал на афинских вечерах, но только его не всегда приглашали туда за его мизерность.

— Но когда ж они происходили? По определенным дням? — стал с живостью расспрашивать молодой ученый, который, кажется, и сам бы не прочь был съездить на эти, в греческом вкусе, развлечения.

— Никаких определенных дней не было,— отвечал гну-

[1] — Это удивительно! Что вы об этом думаете? *(франц.)*

сливо камер-юнкер,— а случалось обыкновенно так, что на каком-нибудь бале, очень скучном, по обыкновению, молодые дамы сговаривались с молодыми людьми повеселей потанцевать и поужинать, и для этого они ехали в подговоренный еще прежде дом...

— Однако, позволь, мне рассказывали, что в известный час амфитрион ужина восклицал: «Couvre feus!» [1],— возразил ему молодой ученый, которому с ужасом и под величайшим секретом рассказывала это m-lle Блоха.

— Не знаю-с! — заперся мизерный камер-юнкер.

— А это, по-моему, было хорошо!—воскликнул громко Максинька, но на него никто внимания не обратил.

— Любопытно бы знать, какие, собственно, в самих-то Афинах были эти вечера? — спросил гегелианца вкрадчивым голосом частный пристав.

— То есть пиры их правильнее назвать,— сказал тот,— которым, по большей части, предшествовал обед, соответствующий римскому coena [2]; такие обеды происходили иногда и у гетер.

— А гетеры, кто такие это? — перебил молодого ученого частный пристав все с более и более возрастающим любопытством.

— Это женщины, которые продавали любовь свою за деньги, и деньги весьма большие; некоторые из них, как, например, Фрина и Аспазия, заслужили даже себе исторические имена, и первая прославилась красотой своей, а Аспазия — умом.

— Понимаю-с! — произнес, слегка мотнув головой, частный пристав.— Но вот еще осмелюсь спросить: в тот вечер, на который мы приехали с господином Тулузовым, одно меня больше всего поразило,— все дамы и кавалеры были, с позволения сказать, босиком.

— По-гречески так и следует,— объяснил, улыбнувшись, гегелианец,— греки вообще благодаря своему теплому климату очень легко одевались и ходили в сандалиях только по улицам, а когда приходили домой или даже в гости, то снимали свою обувь, и рабы немедленно обмывали им ноги благовонным вином.

— Вот как-с!.. Но все-таки, по-моему, это нехорошо,— наш сапог гораздо лучше и благороднее,— произнес част-

---

[1] «Гасите свечи!» *(франц.)*.

[2] вечерняя трапеза; *(лат.)*

ный пристав и мельком взглянул на собственный сапог, который был весьма изящен: лучший в то время сапожник жил именно в части, которою заведовал частный пристав.— У меня есть картина-с,— продолжал он,— или, точнее сказать, гравюра, очень хорошая, и на ней изображено, что греки или римляне, я уж не знаю, обедают и не сидят, знаете, по-нашему, за столом, а лежат.

— То есть возлежат,— поправил его молодой ученый.

— Но ведь тут, может быть, и начальство какое-нибудь есть; неужели же они и перед начальством возлежат? — воскликнул с полукомическим оттенком частный.

— Его все начальство-то беспокоит,— пробурчал язвительно Максинька, но на его слова опять никто не обратил внимания.

— А что греки кушали? — допытывался частный пристав.— Так же, как и мы, грешные, осетринку, севрюжинку?..

— Рыбу греки любили,— объяснил ему молодой ученый.

— И ветчину даже? — приставал частный пристав.

— Колбасы и свинина у них тоже были в большом употреблении.

— А насчет выпивки? — присовокупил частный пристав, облизнувшись слегка.

— За обедом греки совершенно не пили вина, а пир с вином у них устраивался после обеда и назывался симпозион, для распоряжения которым выбирался начальник, симпозиарх.

— Господа,— воскликнул вдруг при этом, вставая на ноги, частный пристав,— я так увлекся греческим пиром, что желаю предложить нечто вроде того всему нашему почтенному обществу!

Камер-юнкер хотя и сделал несколько насмешливую гримасу, но, однако, ничего, согласился почти первый; гегелианцу, кажется, было все равно, где бы ни убить время, чтобы только спастись от m-lle Блохи, и он лишь заметил:

— Но кого же, однако, мы выберем в симпозиархи?

— Вас, конечно! — воскликнули все в один голос.

— О, господь с вами! — произнес, как бы даже испугавшись, молодой ученый.

В этот момент вдруг встал Максинька и, выпрямясь во весь свой высокий рост, произнес могильным голосом:

— Семпиарх,— переврал он немножко,— должен быть он! — И Максинька величественно указал пальцем на частного пристава.— Он нас угощает ужином, и поэтому он и начальник.

— Вы, вы! — обратились прочие к частному приставу, который раскланялся перед обществом и произнес:

— Благодарю вас, господа, что вы приняли от меня ужин и потом почтили меня еще большей честью быть распорядителем всего ужина. Тем более для меня это лестно, что настоящее число есть день моего рождения.

Проговорив это, частный пристав ушел, чтобы войти в соглашение с приказчиком кофейной.

В сущности, частный пристав соврал, что настоящий день был днем его рождения: он только желал еще теснее сблизиться с весьма приятным ему обществом, а кроме того, у него чувствительно шевелился в кармане магарыч, полученный им с Тулузова по обоим его делам.

Максинька между тем пересел уже ближе к остальному обществу: несмотря на свою ненависть к полиции, он не мог отказать себе в удовольствии поужинать на счет частного пристава.

— Скажите, в Афинах был театр, и приезжали на эти их ужины актрисы? — спросил он гегелианца.

— Театр был, и актрисы приезжали на ужины! — отвечал тот.

— Вот оно, как мы давно существуем! — произнес самодовольно Максинька, но в это время вошел симпозиарх, а за ним половой внес несколько графинчиков водок, зернистую икру, семгу, рыжички, груздочки.

— Позвольте, господа, этого нельзя,— заметил гегелианец, указывая на водку,— греки во время еды ничего не пили.

— Что ж делать? — возразил ему частный пристав.— Мы без водочки непривычны принимать хлеб-соль; нам рюмочку—другую непременно надобно вонзить в себя, чтобы аппетитец разыгрался.

— Мы должны прежде выпить!—подтвердил Максинька, наливая себе самую огромную рюмку и цапнув ее сразу.— Фантазию это нагоняет... человек от этого умнее делается.

— Но вот рыбка наша плывет к нам,— сказал симпозиарх, указывая на полового, несшего огромную паровую стерлядь, вкусный запах которой приятно защекотал обоняние всех.

Когда сие благородное блюдо было покончено, то выгнанный из службы доктор, не уступавший в количестве выпитой водки Максиньке, произнес еще первые в продолжение целого вечера слова:

— Такие рыбы дай бог, чтобы и в Эгейском море водились!

— Там нет таких — это мне иностранцы говорили — наши рыбы лучшие в свете,— сказал ему на это негромко, как бы тайну какую, надсмотрщик палаты.

— Согласно вашим указаниям,— отнесся затем симпозиарх к молодому ученому,— я велел поросеночка изжарить; вы изволили говорить, что греки свинину кушали.

— Отлично! — одобрили частного пристава Максинька, доктор и надсмотрщик.

— Это черт знает что такое!.. Дай бог выдержать! — произнес камер-юнкер.

— Нет, ничего,— возразил ему гегелианец, сделавшийся ужасно оживленным вследствие выпитых двух— трех рюмок мадеры, которую частный пристав умел как-то незаметно подливать ему.

Поросенок с подрумяненной кожицей невдолге был подан. Симпозиарх крикнул половому:

— Madame Клико сюда на сцену!

M-me Клико, слегка подмороженная, явилась в количестве шести бутылок, ровно сколько было трапезующих, а затем, по уничтожении поросенка, начался уже настоящий симпозион.

— Греки обыкновенно,— начал поучать молодой ученый,— как народ в высокой степени культурный и изобретательный, наполняли свои вечера играми, загадками, музыкой и остротами, которые по преимуществу у них говорили так называемые паразиты, то есть люди, которым не на что самим было угощать, и они обыкновенно ходили на чужие пиры, иногда даже без зова, отплачивая за это остротами.

— Это я! — отозвался самодовольно Максинька.

— Только без остроумия! — заметил частный пристав.

— Ну, уж это не тебе судить! — возразил Максинька и отнесся к гегелианцу.— А какие это у них загадки были?

Такие же, как и у нас: когда загадаешь, так скверно выходит, а отгадаешь — ничего, хорошо?

— Какие же у нас такие загадки? — спросил его, в свою очередь, частный пристав, наперед ожидавший, что Максинька что-нибудь соврет.

— А вот такие,— отвечал Максинька,— идет свинья из Питера, вся истыкана.

— Да что ж тут гадкого?— допытывался частный пристав.

— Как же не гадко?.. Вся истыкана, а значит, это наперсток,— произнес Максинька и захохотал.

Засмеялись за ним и прочие, но не над загадкой, а над самим Максинькой: до того физиономия его была глупо-самодовольна.

— У греков, конечно, не было таких остроумных загадок! — заметил молодой ученый.— У них, например, загадывалось: какое существо, рождаясь, бывает велико, в среднем возрасте мало, когда же близится к концу, то становится опять громадным? Когда кто угадывал, того греки украшали венками, подносили ему вина; кто же не отгадывал, того заставляли выпить чашку соленой морской воды.

— Я эту загадку могу отгадать,—вызвался самонадеянно Максинька.

— Сделайте милость, тогда мы вас венчаем венком,— объявил ему гегелианец.

— Это коровье вымя! — произнес с гордостью Максинька.

— Почему? — спросили его все в один голос.

— Как почему? Потому что,— отвечал Максинька,— поутру, когда корова еще не доена, вымя у нее огромное, а как подоят в полдень, так маленькое, а к вечеру она нажрется, и у нее опять эти мамы-то сделаются большие.

Некоторым из слушателей такая отгадка Максиньки показалась правильною, но молодой ученый отвергнул ее.

— Вы ошиблись,— сказал он,— греки под этой загадкой разумели тень, которая поутру бывает велика, в полдень мала, а к вечеру снова вырастает.

— Это вот так, ближе к делу идет,— подхватил частный пристав,— и поэтому тебе, Максинька, подобает закатить соленой воды!

Но Максинька не согласился с тем и возразил:

— Это, может быть, по-гречески не так, а по-нашему, по-русски, точно то выходит, что я сказал.

— Но я вот, имея честь слушать вас,— сказал почтительно молодому ученому частный пристав,— вижу, что дам тут никаких не было.

— Напротив, всегда призывались флейтщицы, разные акробатки, которые кидали искусно обручами, танцевали между ножами...

— Как у нас в цирках это делают,— заметил частный пристав.

— Ну да!

— А в карты и на бильярде греки играли? — осмелился спросить молодого ученого надсмотрщик.

— Греки играли в кости, но более любимая их забава была игра коттабос; она представляла не что иное, как весы, к коромыслу которых на обоих концах были привешены маленькие чашечки; под чашечки эти ставили маленькие металлические фигурки. Искусство в этой игре состояло в том, чтобы играющий из кубка сумел плеснуть в одну из чашечек так, чтобы она, опускаясь, ударилась об голову стоящей под ней фигурки, а потом плеснуть в другую чашечку, чтобы та пересилила прежнюю и ударилась сама в голову своей фигурки.

— Это хорошая штука, почище будет вашего бильярда,— отнесся частный пристав к упорно молчавшему доктору.

— Не знаю-с, я не видал такой штуки,— промолвил тот нехотя: ему, кажется, грустно было, что в этот вечер он мало облупил на бильярде постоянную свою жертву — надсмотрщика.

На этом месте беседы в кофейную вошли два новые посетителя, это — начинавший уже тогда приобретать себе громкую известность Пров Михайлыч Садовский, который с наклоненною немного набок головой и с некоторой скукою в выражении лица вошел неторопливой походкой; за ним следовал другой господин, худой, в подержанном фраке, и очень напоминающий своей фигурой Дон-Кихота. При появлении этих лиц выразилось общее удовольствие; кто кричал: «Милый наш Проша!», другой: «Голубчик, Пров Михайлыч, садись, кушай!»

Товарищ его тоже был оприветствован.

— Откуда ты, небес посланник? — продекламировал тому невзрачный камер-юнкер.

— Из больницы, умер было совсем...— отвечал тот.— Вообразите, посадили меня на диету умирающих... Лежу я, голодаю, худею, наконец мне вообразилось, что я в святые попал, и говорю: «О, чудо из чудес и скандал для небес, Дьяков в раке и святитель в усах, при штанах и во фраке!»

— Браво! — закричали все на четверостишие этого господина и вслед за тем стали приставать к Прову Михайлычу, чтобы он рассказал, как купцы говорят о пьесе «Гамлет».

В ответ на это Пров Михайлыч без всякого ломания, съев и выпив малую толику, прямо начал:

— Идем, судырь ты мой, мы с Иваном Петровым мимо тиатера. Я говорю: «Иван Петров, загляни в объявленьице, Мочалов значится тут?» — «Значится-с!»—говорит.— «Захвати два билетчика!..» Пришли-с... Занавеска еще не поднималась... Ради скуки по десяточку яблочков сжевали... Наконец пошло дело настоящим манером, и какую, я тебе, братец ты мой, скажу, эти шельмы-ахтеры штуку подвели... на удивление только!.. Кажут они нам лесище густейший,— одно слово, роща целая, хоть на сруб покупай,— и выходит в эту самую рощу принец, печальный-распечальный, как бы по торговле что случилось али с хозяюшкой поразмолвился... К нему является генерал. «Ваше высочество, говорит, здесь неблагополучно!»—«Что такое?» — спрашивает принец. «Тятенька по ночам ходит!» А у принца, понимаешь, только перед тем родитель побывшился, шести недель еще не прошло. «По ночам, говорит, ходит!» — «Не может быть»,— говорит принец, и только он это слово сказал, смотрим, из-за одного пня мужичище высокий лезет!.. Ну, как есть, я тебе говорю, живой человек, только что в саване да глоткой немного поосип!..

При этом все взглянули на Максиньку, который в ответ на то гордо усмехался.

— И прямо он подходит к принцу, и начал он его костить: «Ты такой, этакий и разэтакой, мать твоя тоже такая!» Тот, братец, стоит, молчит; нельзя, хошь и мертвый, все-таки ж родитель!.. Накостивши таким манером сына своего, этот самый мертвец стукнул об пол ногой и провалился сквозь землю. Принец видит, делать нечего, идет к матери. «Маменька, говорит, так и так, тятенька по ночам ходит!» Но королева, братец ты мой,

вольным духом это приняла. «Что же, говорит, вели тятеньке кол осиновый покрепче в спину вколотить!» — «В том-то и штука, говорит, маменька, что это не поможет: тятенька-то немец!»

Все искренне засмеялись.

— Главная соль тут,— заметил молодой ученый,— что осиновый кол потому не подействует, что тятенька немец.

— Нет, не то,— возразил величаво Максинька,— главное тут, что дурак-мужик говорит, а сам ничего не понимает.

— Ты, Максинька, больше слушай, а не рассуждай,— остановил его частный пристав и, обратясь с умоляющим лицом и голосом к рассказчику, начал его упрашивать: — Голубчик Пров Михайлыч, расскажи еще про Наполеондера!

— Ну, нет, будет! — отказывался было тот.

— Расскажите, Пров Михайлыч! — подхватили прочие лица.

И Пров Михайлыч, с блеснувшими слегка небольшими его глазами, начал с тою простотою, свободою и верностью тона, каковая была ему столь присуща:

— Задумал, судырь ты мой, француз Наполеондера выкопать, а похоронен этот самый Наполеондер на острове Алене, где нет ни земли, ни воды, а только зыбь поднебесная. Но без императора всероссийского нельзя было того сделать; они и пишут государю императору нашему прошение на гербовой бумаге: «Что так, мол, и так, позвольте нам Наполеондера выкопать!» — «А мне что, говорит, плевать на то, пожалуй, выкапывайте!» Стали они рыться и видят гроб въявь, а как только к нему, он глубже в землю уходит... Бились они таким манером долгое время; хорошо, что еще на ум им пришло,— взяли наших ухтомцев, и те в пять дней, как пить дали, вырыли. Лежит, судырь ты мой, этот самый Наполеондер весь целехонек, только сапогами поизносился да волосами поистратился.

Рассказ этот так был хорошо произнесен, что даже никто не рассмеялся, а только переглянулись все между собою и как бы в удивлении пожали слегка плечами.

Под конец, впрочем, беседа была несколько омрачена печальным известием, которое принес вновь прибывший господин, с лицом отчасти польского характера, в усах, и как бы похожий на отставного военного, но на самом деле

это был один из первоклассных русских музыкальных талантов.

— Александр Сергеич, милости просим!.. Прошу вас выпить и покушать: я сегодня праздную день моего рождения! — воскликнул ему частный пристав с подобострастием.

— Нет, не хочу,— отказался Александр Сергеич,— завтра мне черт знает какая пытка предстоит.

— Что такое? — спросили его почти все с беспокойством.

— Лябьева завтра повезут на площадь лишать прав состояния,—произнес мрачным голосом Александр Сергеич.

— Стало быть, дело его решено? — сказал с участием гегельянец.

— Решено-с,— ответил Александр Сергеич, бывший, видимо, незнаком с гегельянцем,— и решено безобразнейшим образом: его ни много, ни мало приговорили на каторгу.

Общий ужас встретил этот ответ, за исключением, впрочем, камер-юнкера, который, кажется, знал это прежде и в настоящем случае довольно равнодушным тоном проговорил вполголоса гегельянцу:

— Тут больше всего жаль несчастную жену Лябьева; она идет с ним на каторгу, и, говорят, женщина больная, нервная.

Александр Сергеич между тем пересел к фортепьяно и начал играть переведенную впоследствии, а тогда еще певшуюся на французском языке песню Беранже: «В ногу, ребята, идите; полно, не вешать ружья!» В его отрывистой музыке чувствовался бой барабана, сопровождающий обыкновенно все казни. Без преувеличения можно сказать, что холодные мурашки пробегали при этом по телу всех слушателей, опять-таки за исключением того же камер-юнкера, который, встав, каким-то вялым и гнусливым голосом сказал гегельянцу:

— Я завтра тоже командирован на эту процессию; хочешь, пойдем со мной!

— Поди ты! — отозвался тот с сердцем.— По-моему, это самое безнравственное любопытство.

— Нет, ничего! — проговорил вовсе, кажется, не находивший ничего безнравственного в подобном любопытстве камер-юнкер.

XI

На другой день зимнее утро, как нарочно, оказалось светлым и тихим. По Москве раздавался благовест к обедне; прохожие благодаря свежему воздуху шли более обыкновенного оживленной и быстрой походкой; даже так называемые ваньки-извозчики ехали довольно резво; но среди такого веселого дня вдоль Волхонки, по направлению к Конной площади, как уже догадывается, вероятно, читатель, везли на позорных дрогах несчастного Лябьева в арестантской одежде, с повешенной на груди дощечкой, на которой было четко написано: *«убийца»*. За дрогами следовала целая толпа народа, в которой между сермягами и полушубками виднелось очень много дам в дорогих салопах и мужчин в щеголеватых бекешах и шубах. Ближе всех к колеснице шла или почти в бессознательном состоянии была ведена под руки Муза Николаевна Егором Егорычем и Сусанной Николаевной, которые, впрочем, и сами еле брели. Никто из них, равно как и сам преступник, а вместе с ним и все почитатели его таланта, никак не ожидали такого строгого решения, а тем более столь быстрого исполнения приговора; всеми чувствовалось, что тут чья-то неведомая рука торопила блюстителей закона. Аграфена Васильевна, вся в поту, задыхавшаяся, тоже шла невдалеке от Марфиных и всю дорогу ругала полицейских чиновников, сопровождавших процессию.

— Это вот все эти архангелы-то! — кричала она.— Черномазого, небось, не притянули — откупился; а Аркаше, может, и того сделать не на что было: все у него разные подлецы обобрали.

— Не шумите, сударыня, здесь не место выражать ваше негодование! — вздумал было ее остановить ехавший невдалеке от нее прокурор.

— А ты кто такой? — спросила его гневно Аграфена Васильевна.

— Я прокурор! — отвечал ей тот внушительно.

— А я сенаторша! — привела Аграфена Васильевна обычный свой аргумент, употребляемый ею в разных случаях жизни...

Прокурор выразил в лице своем сомнение.

— Что, не веришь?.. Поди вон, спроси мужа!.. Он тут же в карете едет!

Феодосий Гаврилыч, действительно плотнейшим образом закупоренный в своем возке, ехал четверней за про-

цессией: считая себя человеком просвещенным, он нашел нужным выразить знак участия таланту.

Прокурор между тем еще что-то такое хотел возразить Аграфене Васильевне, но его остановил сидевший с ним в одних санях знакомый нам камер-юнкер.

— Laissez la donc, cher ami, c'est une bohémienne [1],— сказал он ему.

— Et femme d'un sénateur, en vérité? [2] — спросил его прокурор.

— Si! [3] — отвечал камер-юнкер.

— Вот видишь, как залепетали сейчас! — огрызалась на них Аграфена Васильевна, а вместе с тем по ее полному лицу текли неудержимым потоком слезы.

Сам преступник сидел, понурив голову, и, только по временам поворачивая ее назад, взглядывал на жену; на тех же дрогах сидел, спустив с них ноги, палач в плисовых новых штанах, в красной рубахе и в легонькой, как бы кучерской поддевке. Рожа у него была красная, пьяная и выражала одну только какую-то чувственность. В руках он держал саблю Лябьева, когда-то служившего в гусарах. Наконец поезд достигнул Конной площади, которая и ныне некрасива, а тогда просто представляла какой-то огромный пустырь, окруженный с четырех сторон маленькими полуразвалившимися домиками; на одной стороне ее цыгане и разные русские барышники торговали лошадьми, или, скорей, невзрачными клячами. Всякий из них, продавая свою лошадь, вскакивал на нее верхом и начинал лупить ее что есть силы кнутом и ногами по бокам, заставляя нестись благим матом, а сам при этом делал вид, что будто бы едва сдерживал коня; зубоскальство и ругань при этом сыпались неумолкаемо. На другой стороне площади, точно так же не без крику и ругательств, одни продавали, а другие покупали дровни, оглобли, дуги, станки для хомутов; а посередине ее, обыкновенно по торговым дням, приводились в исполнение уголовные решения. В настоящем случае на этом месте виднелся эшафот, который окружен был цепью гарнизонных солдат, с ружьями наперевес. В цепь эту въехала колесница в сопровождении разных служебных лиц. Солдаты затем сомкнулись еще плотнее и отделили ее окончательно от прочей толпы.

---

[1] Оставьте ее, друг мой, она цыганка. *(франц.)*

[2] И действительно жена сенатора? *(франц.)*

[3] Да! *(франц.)*

На эшафот Лябьев вошел довольно твердой походкой и сам встал у позорного столба. Частный пристав стал ему читать приговор, но он его совершенно не слушал и все время искал глазами в толпе жену и Марфиных. После прочтения приговора к нему подошел священник, который сначала что-то такое тихо говорил осужденному, наконец громко, так что все слышали, произнес: «Прощаю и разрешаю тя; да простит тебе и бог твое великое прегрешение, зане велико было покаяние твое». Священника сменил палач. Тот пододвинул осужденного несколько ближе к столбу, поднял над головой его шпагу и, сломав ее, бросил на подмостки эшафота, причем уничтоженное оружие чести сильно звякнуло. Этого уж Лябьев не выдержал и пошатнулся, готовый упасть, но тот же палач с явным уважением поддержал его и бережно свел потом под руку с эшафота на землю, где осужденный был принят полицейскими чинами и повезен обратно в острог, в сопровождении, конечно, конвоя, в смоленой фуре, в которой отвозили наказываемых кнутом, а потому она была очень перепачкана кровью. Вслед за этим поездом направились первые Марфины, держа всю дорогу в своих объятиях бедную Музу Николаевну. Не отставая от них, поехали также Аграфена Васильевна и несколько мужчин разных художественных профессий: музыканты, живописцы, актеры и сверх того некоторые дамы из бомонда. Но по приезде всего этого общества в острог им объявили, что во внутренность тюрьмы, за исключением жены осужденного, никого не велено пускать. Егор Егорыч заспорил было, а вместе с ним и Аграфена Васильевна; последняя начала уже говорить весьма веские словечки; но к ним вышел невзрачный камер-юнкер и на чистом французском языке стал что-то такое объяснять Егору Егорычу, который, видимо, начал поддаваться его словам, но Аграфена Васильевна снова протестовала.

— Вы мне на своем парле-ву-франсе не болтайте, я не разумею; а скажите, пошто же нас не пускаете в тюрьму?

Камер-юнкер хотя и сухо, но вежливо ответил ей, что осужденный теперь чувствует себя очень дурно и проведен в больницу, а потому пустить к нему многих значит еще больше его расстроить. Такое объяснение показалось Аграфене Васильевне основательным: одно ей не понравилось, что все это говорил невзрачный барин, который даже бывал

у них в доме, но только всегда вместе с Калмыком; а потому, по ее мнению, он тоже был из мошенников. Когда камер-юнкер ушел от них, то Аграфена Васильевна очутилась лицом к лицу с Марфиными и с свойственной ей несдержанностью отнеслась к Егору Егорычу.

— Вы родственник Аркаше и муж этой дамы? — сказала она, показывая головой на Сусанну Николаевну.

— Муж! — пробормотал ей Егор Егорыч, терзаемый раздиравшими его душу чувствованиями и потом удивленный таким вопросом со стороны совершенно незнакомой дамы.

— Для чего же вы, батенька, так промигали и допустили надругаться над Аркашей? — принялась та допекать Егора Егорыча.

— Я не допускал и не хотел допустить,— как бы оправдывался он,— я заставил Лябьева подать на высочайшее имя прошение и не могу понять, зачем здешние власти поспешили исполнить приговор.

— Зачем поспешили?.. Куплены, видно! — объяснила Аграфена Васильевна.

— Кем?

— Тем же черномазым чертом, Калмыком,— дополнила Аграфена Васильевна.

Егор Егорыч выразил на лице своем недоумение: ни о каком Калмыке он не слыхал и подозревал в этом случае другое лицо, а именно — общего врага всей их родни Тулузова, который действительно по неудержимой, злой натуре своей, желая отомстить Марфину, обделал через того же члена Управы, французишку, что дело Лябьева, спустя три дня после решения, было приведено в исполнение.

— Хорошо, что подали,— продолжала Аграфена Васильевна.— А у меня с вами другой еще есть общий приятель, Петруша Углаков,— присовокупила она не без умысла, кажется.

— О, да! — произнес с оттенком удовольствия Егор Егорыч.

— Я ведь, батюшка, хоть по мужу-то сенаторша, а родом цыганка. Вы, я думаю, слыхали обо мне: Груня тут когда-то в Москве была? Это я! — толковала Аграфена Васильевна.

— Слышал о вас; но слыхать вас не слыхал! — отвечал ей Егор Егорыч.

— Где уж вам по нашим кабакам и трактирам нас

слушать! А вот Петруша ездит ко мне, и поем мы с ним иногда, а что мы в Аркаше-то потеряли — господи ты, боже мой!

Сусанна Николаевна, продолжавшая идти под руку с мужем, вдруг спросила несколько боязливым голосом Аграфену Васильевну:

— А вы имеете о Петре Александрыче известия: он уехал в Петербург и, говорят, болен там?

— Да то-то, что не имею,— не пишет. Может, что и умер! — отвечала та.

Сусанна Николаевна так затрепетала при этом, что Егор Егорыч, шедший с ней под руку, почувствовал это и спросил:

— Ты не утомлена ли очень?

— Да, я устала! — проговорила Сусанна Николаевна взволнованным голосом.

— Тогда поедем! — сказал Егор Егорыч и, раскланявшись с Аграфеной Васильевной, посадил жену в карету и сам сел около нее.

Сусанна Николаевна, усевшись, вдруг поспешно опустила стекло в дверце кареты и крикнула Аграфене Васильевне:

— Вы будьте так добры, как-нибудь посетите нас; мы будем вам очень рады.

— Приеду! — ответила ей с некоторым лукавством Аграфена Васильевна.

— Приезжайте, приезжайте! — крикнул тоже ей вслед Егор Егорыч.

Аграфена Васильевна и на это предложение слегка усмехнулась. Я недаром еще раньше говорил, что она была женщина, несмотря на свою грубоватую простоту, тонко понимавшая жизнь, особенно дела сердечного свойства, и ясно уразумела, что Сусанна Николаевна заискивает в ней, в надежде получать от нее сведения об Углакове, а что супруг ее хоть и умный, по слухам, мужик, но ничего того не зрит, да и ништо им, старым хрычам: не женитесь на молодых! К такого рода умозаключению Аграфена Васильевна отчасти пришла по личному опыту, так как у нее тоже был муж старше ее лет на двадцать, и она хорошо знала, каково возиться с такими старыми ошметками.

Поехав с женой, Егор Егорыч сказал ей:

— Ты, мой ангел, завези меня к Углакову! Мне нужно с ним повидаться.

Сусанна Николаевна при этом вспыхнула.

— И я желала бы с тобой заехать к Углаковым, madame Углакова, может быть, вернулась из Петербурга,— проговорила она тихим голосом.

— Но ты и без того утомлена,— возразил было ей Егор Егорыч.

— Ничего!.. Ты, конечно, недолго у них пробудешь,— заметила на это Сусанна Николаевна.

— Недолго,— отвечал Егор Егорыч и велел кучеру ехать к Углаковым.

M-me Углакова не возвращалась еще из Петербурга, и Марфины застали дома одного старика, который никак было не хотел принять Егора Егорыча с его супругою, потому что был в дезабилье; но тот насильно вошел к нему вместе с Сусанной Николаевной в кабинет, и благообразный старичок рассыпался перед ними в извинениях, что они застали его в халате, хотя халат был шелковый и франтовато сшитый. Сам он только что перед тем побрился, и лицо его, посыпанное пудрой, цвело удовольствием по той причине, что накануне им было получено письмо от жены, которая уведомляла его, что их бесценный Пьер начинает окончательно поправляться и что через несколько дней, вероятно, выедет прокатиться.

— Ну, слава богу! — воскликнул Егор Егорыч, услыхав об этом.

— Слава богу! — повторила за ним набожно и Сусанна Николаевна, слегка даже перекрестившись.

— А мы к вам прямо с печальной и безобразной процессии,— забормотал Егор Егорыч,— но не об этом пока дело: виделись ли вы с нашим вельможей и говорили ли с ним по делу Тулузова?

— Виделся и говорил, конечно,— произнес невеселым тоном Углаков.

— И что же? — перебил его нетерпеливо Егор Егорыч.

— Расскажу вам все подробно,— продолжал Углаков,— сначала я не понял, в чем тут главная пружина состоит; но вижу только, что, когда я с князем заговорил об вас, он благосклонно выслушивал и даже прямо выразился, что немного знает вас и всегда уважал...

У Егора Егорыча при этом что-то вроде презрительной усмешки пробежало по губам.

— Когда же я перешел к Тулузову и начал ему переда-

вать ваши и господина Сверстова сомнения касательно личности этого господина, князь вдруг захохотал, и захохотал, я вам говорю, гомерическим хохотом.

— А, ему это смешно! — воскликнул Егор Егорыч и, вскочив с кресел, начал быстрыми шагами ходить по комнате.— У него людей, хоть и виновных, но не преступных и не умеющих только прятать концы, ссылают на каторгу, а разбойники и убийцы настоящие пользуются почетом и возвышаются!.. Это ему даром не пройдет!.. Нет!.. Я барывался с подобными господами.

— Князь тут ни в чем не виноват, поверьте мне! — стал его убеждать Углаков.— Он человек благороднейшего сердца, но доверчив, это — правда; я потом говорил об этом же деле с управляющим его канцелярией, который родственник моей жене, и спрашивал его, откуда проистекает такая милость князя к Тулузову и за что? Тот объяснил, что князь главным образом полюбил Тулузова за ловкую хлебную операцию; а потом у него есть заступник за Тулузова, один из любимцев князя.

— Кто такой? — спросил Егор Егорыч.

Углаков при этом усмехнулся.

— Особа он пока еще неважная — член этой здешней Управы благочиния, а некогда был цирюльником князя, брил его, забавляя рассказами, за что был им определен на службу; а теперь уж коллежский асессор и скоро, говорят, будет сделан советником губернского правления... Словом, маленький Оливье нашего доброго Людовика Одиннадцатого... Этот Оливье, в присутствии нашего родственника, весьма горячо говорил князю в пользу Тулузова и обвинял вас за донос.

— Значит, князь мне меньше верит, чем этому цирюльнику? — воскликнул Егор Егорыч.

— Не то, что не верит вам,— возразил Углаков,— но полагает, что вы введены в заблуждение.

— Ну, так и черт его дери!—перебил нетерпеливо Марфин.— Я поеду в Петербург и там все разоблачу.

— И прекрасно сделаете! — одобрил его намерение Углаков.— Москва, как бы ни поднимала высоко носа, все-таки муравейник, ибо может прибыть из Петербурга какой-нибудь буйвол большой и сразу нас уничтожить.

— Следовало бы это, следовало! — горячился Егор Егорыч.— Глупый, дурацкий город! Но, к несчастию, тут вот еще что: я приехал на ваши рамена возложить новое

бремя,— съездите, бога ради, к князю и убедите его помедлить высылкой на каторгу Лябьева, ибо тот подал просьбу на высочайшее имя, и просите князя не от меня, а от себя,— вы дружественно были знакомы с Лябьевым...

— Конечно,— подхватил Углаков,— князь, наверное, это сделает, он такой человек, что на всякое доброе дело сейчас пойдет; но принять какую-нибудь против кого бы ни было строгую меру совершенно не в его характере.

— Быть таким бессмысленно-добрым так же глупо, как и быть безумно-строгим! — продолжал петушиться Егор Егорыч.— Это их узкая французская гуманитэ, при которой выходит, что она изливается только на приближенных негодяев, а все честные люди чувствуют северитэ... Прощайте!.. Поедем! — затараторил Егор Егорыч, обращаясь в одно и то же время к Углакову и к жене.

Сусанна Николаевна, встав, поспешно проговорила Углакову:

— Пожалуйста, кланяйтесь от меня супруге вашей и Петру Александрычу!.. Передайте ему, что я душевно рада его выздоровлению, и дай бог, чтобы он никогда не хворал больше!

— От меня то же самое передайте! — подхватил Егор Егорыч, уходя так быстро из кабинета, что Сусанна Николаевна едва успевала за ним следовать.

Ехав домой, Егор Егорыч всю дорогу был погружен в размышление и, видимо, что-то такое весьма серьезное обдумывал. С Сусанной Николаевной он не проговорил ни одного слова; зато, оставшись один в своем кабинете, сейчас стал писать к Аггею Никитичу письмо:

«Сверстов в Москве, мы оба бодрствуем; не выпускайте и Вы из Ваших рук выслеженного нами волка. Вам пишут из Москвы, чтобы Вы все дело передали в московскую полицию. Такое требование, по-моему, незаконно: Москва Вам не начальство. Не исполняйте сего требования или, по крайней мере, медлите Вашим ответом; я сегодня же в ночь скачу в Петербург; авось бог мне поможет повернуть все иначе, как помогал он мне многократно в битвах моих с разными злоумышленниками!»

Не отправляя, впрочем, письма сего, Егор Егорыч послал за Сверстовым, жившим весьма недалеко в одной гостинице. Доктор явился и, услыхав, где и как провел утро Егор Егорыч, стал слегка укорять его:

— Как же вам не совестно было меня не взять с собою?.. Мало ли что могло случиться, где помощь врача была бы необходима.

— Мы сами вчера только узнали об этом, а потом позабыли о вас...— бормотал Егор Егорыч.

— Но, однако, все прошло благополучно? — спросил Сверстов.

— Пока! — отвечал Егор Егорыч.— Но теперь главное... Я написал письмо к Звереву,— прочитайте его!

Сверстов прочел письмо.

— Поэтому вы едете в Питер? — воскликнул он с вспыхнувшею в глазах радостью.

— Еду!

— А я? — спросил доктор.

— И вы со мной поедете! Это необходимо! — объяснил Егор Егорыч.

— Совершенно необходимо! — подхватил с той же радостью доктор.— А Сусанна Николаевна?

— Конечно, поедет! — произнес было сначала Егор Егорыч, но, подумав немного, проговорил: — Хотя меня тут беспокоит... Она все это время на вид такая слабая; а после сегодняшней процедуры, вероятно, будет еще слабее... Я боюсь за нее!

— Да, она и меня тревожит!.. У нее такой стал дурной цвет лица, какого она никогда не имела; потом нравственно точно как бы все прячется от всех и скрывается в самое себя!

Кровь стыла в жилах Егора Егорыча при этих словах доктора, и мысль, что неужели Сусанна Николаевна умрет прежде его, точно ядовитая жаба, шевелилась в его голове.

— Тогда что же мне делать? — произнес он почти в отчаянии, разводя руками.

Сверстов задумался и, видимо, употреблял все усилия своего разума, дабы придумать, как тут лучше поступить.

— Прежде всего, по-моему,— сказал он неторопливо,— надобно спросить Сусанну Николаевну, как она себя чувствует.

— О, она, конечно, схитрит и обманет! Скажет, что ничего, совершенно здорова, и будет просить, чтобы я взял ее с собой! — воскликнул Егор Егорыч.

— Да против меня-то она не может схитрить! — воз-

разил Сверстов.— Я все-таки доктор и знаю душу и архей женщин.

— Спросим ее! — согласился Егор Егорыч, и по-прежнему к Сусанне Николаевне был послан Антип Ильич.

Сусанна Николаевна пришла.

— Ну-с, барыня моя,— начал ее допрашивать доктор,— мы с супругом вашим сегодня в ночь едем в Петербург, а вам как угодно будет: сопровождать нас или нет?

На лице Сусанны Николаевны на мгновение промелькнула радость; потом выражение этого чувства мгновенно же перешло в страх; сколь ни внимательно смотрели на нее в эти минуты Егор Егорыч и Сверстов, но решительно не поняли и не догадались, какая борьба началась в душе Сусанны Николаевны: мысль ехать в Петербург и увидеть там Углакова наполнила ее душу восторгом, а вместе с тем явилось и обычное: *но*. Углаков уже не был болен опасно, не лежал в постели, начинал даже выезжать, и что из этого произойдет, Сусанна Николаевна боялась и подумать; такого рода смутное представление возможности чего-то встало в воображении молодой женщины угрожающим чудовищем, и она проговорила:

— Я бы, конечно, не желала отпустить Егора Егорыча одного, но как я оставлю сестру, особенно в такое ужасное для нее время?

— Так, совершенно справедливо рассуждаешь! — подхватил довольным тоном Егор Егорыч.

— Так, справедливо! — повторил за ним и Сверстов.— Кроме того-с, позвольте-ка мне пульс ваш немножко исследовать!

Сусанна Николаевна подала ему свою руку. Сверстов долго и внимательно щупал ее пульс.

— Ни дать ни взять он у вас такой теперь, каким был, когда вы исповедовались у вашего ритора; но тогда ведь прошло,— бог даст, и теперь пройдет! — успокоивал ее Сверстов.— Ехать же вам, барыня, совсем нельзя! Извольте сидеть дома и ничем не волноваться!

— Я постараюсь, конечно, не волноваться,— сказала на это тихим голосом Сусанна Николаевна.

— И обо мне тоже не скучай очень! — заметил ей Егор Егорыч.

— Да, но и ты тоже не скучай обо мне! — проговорила Сусанна Николаевна, как бы даже усмехнувшись.

Трудно передать, сколько разнообразных оттенков по-

чувствовалось в этом ответе. Сусанна Николаевна как будто бы хотела тут, кроме произнесенного ею, сказать: «Ты не скучай обо мне, потому что я не стою того и даже не знаю, буду ли я сама скучать о тебе!» Все эти оттенки, разумеется, как цвета преломившегося на мгновение луча, пропали и слились потом в одном решении:

— Мне необходимо здесь остаться для сестры и для себя,— сказала Сусанна Николаевна.

Одобрив такое намерение ее, Егор Егорыч и Сверстов поджидали только возвращения из тюрьмы Музы Николаевны, чтобы узнать от нее, в каком душевном настроении находится осужденный. Муза Николаевна, однако, не вернулась домой и вечером поздно прислала острожного фельдшера, который грубоватым солдатским голосом доложил Егору Егорычу, что Муза Николаевна осталась на ночь в тюремной больнице, так как господин Лябьев сильно заболел. Сусанна Николаевна, бывшая при этом докладе фельдшера, сказала, обратясь к мужу:

— В таком случае, я ранним утром завтра поеду к сестре в тюрьму.

— Прошу тебя, прошу! — повторил Егор Егорыч, и часа через два он, улегшись вместе с Сверстовым в дорожную кибитку, скакал на почтовых в Петербург, давая на каждой станции по полтиннику ямщикам на водку с тем, чтобы они скорей его везли.

XII

Сверстов лет пятнадцать не бывал в Петербурге, и так как, несмотря на свои седины, сохранил способность воспринимать впечатления, то Северная Пальмира, сильно украсившаяся за это время, просто потрясла его, и он, наскоро побрившись, умывшись и вообще приодевшись, немедленно побежал посмотреть: на Невский проспект, на дворец, на Александровскую колонну, на набережную, на памятник Петра. Перед всеми этими дивами Петербурга Сверстов останавливался как дурак какой-нибудь, и, потрясая своей курчавой головой, восклицал сам себе: «Да, да! Растем мы, растем, и что бы там ни говорили про нас, но исполин идет быстрыми шагами!» Затем, как бы для того, чтобы еще сильнее поразить нашего патриота, мимо него стали проходить возвращавшиеся с парада

кавалергарды с своими орлами на шлемах, трехаршинные почти преображенцы, курносые и с простреленными киверами павловцы. Сверстов трепетал от восторга и начал уже декламировать стихи Пушкина:

Иль мало нас?.. Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..

Обедать потом Сверстов зашел в Палкинский трактир и, не любя, по его выражению, французских фрикасе, наелся там ветчины и осетрины.

Прямо из трактира он отправился в театр, где, как нарочно, наскочил на Каратыгина в роли Прокопа Ляпунова, который в продолжение всей пьесы говорил в духе патриотического настроения Сверстова и, между прочим, восклицал стоявшему перед ним кичливо Делагарди: «Да знает ли ваш пресловутый Запад, что если Русь поднимется, так вам почудится седое море!?» Ну, попадись в это время доктору его gnädige Frau с своим постоянно антирусским направлением, я не знаю, что бы он сделал, и не ручаюсь даже, чтобы при этом не произошло сцены самого бурного свойства, тем более, что за палкинским обедом Сверстов выпил не три обычные рюмочки, а около десяточка. Впрочем, к концу представления у него весь этот пар нравственный и физический поиспарился несколько, и Сверстов побежал в свою гостиницу к Егору Егорычу, но того еще не было дома, чему доктор был отчасти рад, так как высокочтимый учитель его, пожалуй, мог бы заметить, что ученик был немножко, как говорится, на третьем взводе. Егор Егорыч, в свою очередь, конечно, в это время занят был совершенно иным. Он, еще ехав в Петербург, все обдумывал и соображал, как ему действовать в предпринятых им на себя делах, и рассчитал, что беспокоить и вызывать на что-либо князя Александра Николаича было бы бесполезно, ибо Егор Егорыч, по переписке с некоторыми лицами, знал, что князь окончательно страдал глазами. Михаил Михайлыч Сперанский — увы! — был уже более году записан Егором Егорычем в поминальнике. Стало быть, из людей влиятельных у него только и оставался некогда бывший гроссмейстер великой провинциальной ложи Сергей Степаныч. К нему-то он и отправился.

Сергей Степаныч, заметно, обрадовался Егору Егорычу, и разговор на этот раз между ними начался не о масонстве, а о том, что наболело у Марфина на душе. Рассказав Сергею Степанычу о своей женитьбе, о всех горях своих семейных, он перешел и к общественному горю, каковым считал явление убийцы и каторжника Тулузова на горизонте величия, и просил помочь ему во всех сих делах. Сергей Степаныч сначала не понял, о ком собственно и о чем просит Егор Егорыч, так как тот стал как-то еще более бормотать и сверх того, вследствие нравственного волнения, говорил без всякой последовательности в мыслях.

— Поэтому вы прежде всего,— заговорил Сергей Степаныч с своей английской важностью,— желаете исходатайствовать смягчение участи вашего свояка, так, кажется, я назвал?

— Так, словом, Лябьев по фамилии! — отвечал Егор Егорыч.

— Фамилию его я помню и даже слыхал некоторые его музыкальные пьесы... Но, независимо от прошения его, вы утверждаете, что он убил совершенно неумышленно своего партнера?

— Это не я один, а вся Москва утверждает, и говорят, что не он собственно убил, а какой-то негодяй есть там, по прозванию Калмык, держащий у себя открытый картежный дом, который подкупил полицию и вышел сух из воды... Вообще жить становится невозможным.

— Да почему же уж так? — спросил Сергей Степаныч.

— Да потому,—крикнул Марфин,—что, во-первых, порядочным людям служить нельзя... Мы в нашей губернии выбрали одного честного человека в исправники, который теперь уличает этого негодяя Тулузова и вместе с тем каждоминутно ждет, что его выгонят из службы. Прежде, бывало, миротворили и кривили совестью ради связей, дружбы, родства,— гадко это, но все же несколько извинительно, а теперь выступила на смену тому кабацкая мощь, перед которой преклоняется чуть ли не все государство, чающее от нее своего благосостояния... И ходят ныне эти господа кабатчики, вроде Тулузова, по всей земле русской, как богатыри какие; все им прощается: бей, режь, жги, грабь... Но зато уж Лябьевы не попадайся; их за то, за что

следовало бы только на церковное покаяние послать, упрячут на каторгу!..

— О, нет! Вы очень в последнем случае ошибаетесь! — перебил Егора Егорыча довольно резко Сергей Степаныч.— Если в прошении господина Лябьева на высочайшее имя достаточно выяснено, что им совершено убийство не преднамеренно, а случайно, то я уверен, что государь значительно смягчит участь осужденного, тем более, что господин Лябьев артист, а государь ко всем художникам весьма милостив и внимателен.

— Государь, я знаю, что милостив,— закричал на это Марфин,— но, по пословице: «Царь жалует, да псарь не жалует», под ним-то стоящим милее Тулузовы и кабатчики!

В лице Сергея Степаныча при этом пробежало уже заметное неудовольствие. Егор Егорыч сколько ни горячился, но подметил это и еще сильнее закричал:

— Я не о вас, каких-нибудь десяти праведниках, говорю, благородством которых, может быть, и спасается только кормило правления! Я не историк, а только гражданин, и говорю, как бы стал говорить, если бы меня на плаху возвели, что позорно для моего отечества мало что оставлять убийц и грабителей на свободе, но, унижая и оскверняя государственные кресты и чины, украшать ими сих негодяев за какую-то акибы приносимую ими пользу.

Сколь ни прискорбно было Сергею Степанычу выслушивать все эти запальчивые обвинения Егора Егорыча, но внутренно он соглашался с ним сам, видя и чувствуя, как все более и более творят беззакония разные силы: кабацкая, интендантская, путейская...

— Касательно того,— начал он размышляющим тоном,— что Тулузов убийца и каторжник, я верю не вполне и не вижу, из чего вы это усматриваете...

— Об этом-с в нашей губернии,— принялся выпечатывать Егор Егорыч,— началось дело, и у меня в руках все копии с этого дела; только я не знаю, к кому мне обратиться.

— Конечно, к министру внутренних дел, тем более к такому министру, как нынешний; он потакать не любит.

— Такого нам и надо! Нам нельзя еще жить без дубинки Петра!.. Но я не знаком совершенно с новым министром.

— О, это все равно! — сказал Сергей Степаныч и, немного подумав, присовокупил:— Я послезавтра увижусь со Львом Алексеичем и скажу ему, что вы очень бы желали быть у него. Он, я уверен, примет вас и примет не официально, а вечером.

— Мне не одному у него нужно быть, а с моим деревенским доктором, который поднял и раскрыл дело Тулузова и который по этому делу имел даже предчувствие за несколько лет пред тем, что он и не кто другой, как он, раскроет это убийство; а потому вы мне и ему устройте свидание у министра!

— Непременно! — обещал Сергей Степаныч.

— А когда вы меня оповестите о том?

— Да всего лучше вот что,— начал Сергей Степаныч,— вы приезжайте в следующую среду в Английский клуб обедать! Там я вам и скажу, когда Лев Алексеич может вас принять, а вы между тем, может быть, встретитесь в клубе с некоторыми вашими старыми знакомыми.

— Очень рад, очень! — отозвался на это Марфин.— Ну, а как у вас в Петербурге масонство процветает? Все, я думаю, на попятный двор удрали?

— Не могу сказать, чтобы так это было. Все, кто были масонами, остались ими; но вымирают, а новых не нарождается!

— Да! — согласился с этим Егор Егорыч и присовокупил:— Хочу от вас заехать к князю Александру Николаичу.

— Это, конечно, следует вам сделать. Только князь, вероятно, вас не примет.

— Отчего?.. Неужели он так болен?

— И болен, а главное, князь теперь диктует историю собственной жизни Батеневу...

— Никите Семенычу Батеневу? — переспросил Егор Егорыч.

— Никите Семенычу! — отвечал Сергей Степаныч.— Хотя, в сущности, это вовсе не диктовка, а Батенев его расспрашивает и сам уже излагает, начертывая буквы крупно мелом на черной доске, дабы князь мог прочитать написанное.

— Это хороший выбор сделал князь! — заметил Егор Егорыч.— Образ мышления Батенева чисто мистический, но только он циничен, особенно с женщинами!

— Этого я не скажу,— возразил Сергей Степаныч,— и могу опровергнуть ваше замечание мнением самих женщин, из которых многие очень любят Никиту Семеныча; жена моя, например, утверждает, что его несколько тривиальными, а иногда даже нескромными выражениями могут возмущаться только женщины весьма глупые и пустые.

— Не знаю, чтобы это пустоту женщины свидетельствовало, а скорей показывает ее чистоту,— возразил Егор Егорыч, видимо, имевший некоторое предубеждение против Батенева: отдавая полную справедливость его уму, он в то же время подозревал в нем человека весьма хитрого, льстивого и при этом еще грубо-чувственного.

Выехав от Сергея Степаныча, он прямо направился к князю; но швейцар того печальным голосом объявил, что князь не может его принять.

— Слышал это я,— объяснил сему почтенному члену масонства Егор Егорыч,— но все-таки ты передай князю, что я в Петербурге и заезжал проведать его!

— Слушаю-с! — произнес с оттенком некоторого глубокомыслия швейцар.

В среду, в которую Егор Егорыч должен был приехать в Английский клуб обедать, он поутру получил радостное письмо от Сусанны Николаевны, которая писала, что на другой день после отъезда Егора Егорыча в Петербург к нему приезжал старик Углаков и рассказывал, что когда генерал-губернатор узнал о столь строгом решении участи Лябьева, то пришел в удивление и негодование и, вызвав к себе гражданского губернатора, намылил ему голову за то, что тот пропустил такой варварский приговор, и вместе с тем обещал ходатайствовать перед государем об уменьшении наказания несчастному Аркадию Михайлычу. Егор Егорыч, прочитав это известие, проникся таким чувством благодарности, что, не откладывая ни минуты и захватив с собою Сверстова, поехал с ним в Казанский собор отслужить благодарственный молебен за государя, за московского генерал-губернатора, за Сергея Степаныча, и сам при этом рыдал на всю церковь, до того нервы старика были уже разбиты.

В Английском клубе из числа знакомых своих Егор Егорыч встретил одного Батенева, о котором он перед тем только говорил с Сергеем Степанычем и которого Егор Егорыч почти не узнал, так как он привык видеть сего

господина всегда небрежно одетым, а тут перед ним предстал весьма моложавый мужчина в завитом парике и надушенном фраке.

— Здравствуйте, петушок! — сказал ему Батенев несколько покровительственным тоном.

Егора Егорыча немножко передернуло.

— Здравствуйте, мой милый коршун! — отвечал и он тоже покровительственно.

Батенев в самом деле своим длинным носом и проницательными глазами напоминал несколько коршуна.

— Вы были у князя? — продолжал тот.

— Был! — отвечал коротко Егор Егорыч.

— И, может быть, вы желали передать князю какую-нибудь просьбу от вас?

— Нет, не желаю! — отказался резко Егор Егорыч, которого начинал не на шутку бесить покровительственный тон Батенева, прежде обыкновенно всегда льстившего всем или смешившего публику.— И о чем мне просить князя? — продолжал он.— Общее наше дело так теперь принижено, что говорить о том грустно, тем паче, что понять нельзя, какая причина тому?

— Причина понятная! — сказал ему на это Батенев.— Вы где теперь живете?

— Я в Москве живу.

— Ну, походите в тамошний университет на лекции естественных наук и вслушайтесь внимательно, какие гигантские успехи делают науки этого рода!.. А когда ум человека столь занялся предметами мира материального, что стремится даже как бы одухотворить этот мир и в самой материи найти конечную причину, так тут всем религиям и отвлеченным философиям не поздоровится, по пословице: «Когда Ванька поет, так уж Машка молчи!»

— Но это время пройдет! — воскликнул Егор Егорыч.

— Не знаю; старуха еще надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет.

Разговор этот был прерван тем, что к Егору Егорычу подошел Сергей Степаныч.

— Лев Алексеич поручил мне пригласить вас и доктора приехать к нему в субботу вечером! — сказал он.

— Благодарю, благодарю! — забормотал Егор Егорыч.— Сегодняшний день, ей-богу, для меня какой-то особенно счастливый! — продолжал он с навернувшимися на

глазах слезами.— Поутру я получил письмо от жены...— И Егор Егорыч рассказал, что ему передала в письме Сусанна Николаевна о генерал-губернаторе.

— Это превосходно! Тогда успех почти несомненный,— подхватил Сергей Степаныч.

В это время стали садиться за стол, а после обеда Егор Егорыч тотчас уехал домой, чтобы отдохнуть от всех пережитых им, хоть и радостных, но все же волнений. Отдохнуть ему однако не удалось, потому что, войдя в свой нумер, он на столе нашел еще письмо от Сусанны Николаевны. Ожидая, что это новая печальная весть о чем-либо, он обмер от страха, который, впрочем, оказался совершенно неосновательным. Сусанна Николаевна отправила это письмо вечером того же дня, как послано было ею первое письмо. Сделала она это акибы затем, что в прежнем послании забыла исполнить поручение старика Углакова, который будто бы умолял Егора Егорыча навестить его Пьера и уведомить через Сусанну Николаевну, действительно ли тот поправляется от своей болезни. Все это, конечно, было говорено стариком Углаковым, но только не совсем так, как писала Сусанна Николаевна. Углаков выразил только желание, что не навестит ли Егор Егорыч его Пьера и не уведомит ли его хоть единою строчкою о состоянии здоровья того. Сусанна Николаевна, как мы видели, простое желание назвала мольбою; а надежду старика, что Егор Егорыч уведомит его о Пьере, она переменила на убедительную просьбу написать Сусанне Николаевне о том, как Пьер себя чувствует, и она уже от себя хотела известить беспокоящегося отца.

Для читателя, конечно, понятно, для чего были сделаны и придуманы Сусанной Николаевной сии невинные перемены, и к этому надо прибавить одно, что в промежуток времени между этими двумя письмами Сусанна Николаевна испытала мучительнейшие колебания. Начав писать первое письмо, она твердо решила не передавать Егору Егорычу желание старика Углакова, что, как мы видели, и исполнила; но, отправив письмо на почту, впала почти в отчаяние от мысли, что зачем же она лишает себя отрады получить хоть коротенькое известие о здоровье человека, который оттого, вероятно, и болен, что влюблен в нее безумно.

Ничего этого, конечно, не подозревая, Егор Егорыч в

тот же вечер поехал к Углакову. Пьер, хотя уже и одетый, лежал еще в постели. Услыхав, что приехал Марфин, он почти во все горло закричал сидевшей с ним матери:

— Maman, встретьте поскорее Егора Егорыча и спросите, с ним ли Сусанна Николаевна.

M-me Углакова грустно улыбнулась и встала было, чтобы идти навстречу гостю; но Егор Егорыч сам влетел в комнату больного.

— А Сусанна Николаевна? — обратился к тому Пьер.

— Она в Москве и обоим вам кланяется.

Пьер надулся. Он никак не ожидал, чтобы Егор Егорыч приехал без Сусанны Николаевны.

— Разве она не захотела ехать в Петербург? — спросил он.

— Не захотела, потому что ей нельзя оставить сестру, которая, как вы знаете, в страшном горе,— объяснил Егор Егорыч и начал потом подробно расспрашивать m-me Углакову, чем, собственно, был болен ее сын, и когда та сказала, что у него была нервная горячка, Егор Егорыч не поверил тому и подумал по-прежнему, что молодой повеса, вероятно, покутил сильно.

— Диету вам, мой милый, надобно держать: есть меньше, вина не пить! — сказал он, обращаясь к Пьеру.

— Ах, он теперь ничего почти не кушает и совершенно не пьет вина!

— Это раньше надобно было делать! Диета предохраняет нас от многих болезней.

Весь этот разговор Пьер слушал молча и надувшись, думая в то же время про себя: «Неужели этот старый сморчок не понимает, что я оттого именно и болен, что он живет еще на свете и не засох совсем?»

К концу визита Егор Егорыч неумышленно, конечно, но помазал елеем душу Пьера.

— Сусанна Николаевна весьма соболезнует о вашем нездоровье,— сказал он, обращаясь к нему,— я сегодня же напишу ей, каким я вас молодцом застал. А вы здесь долго еще останетесь? — отнесся он к m-me Углаковой.

— Ах, не думаю! Если выздоровление Пьера пойдет так успешно, как теперь идет, то мы через месяц же возвратимся в Москву.

— И monsieur Pierre оставляет Петербург и переедет с вами в Москву? — спросил Егор Егорыч.

— Конечно, без сомнения! — подхватила m-me Углакова.— Что ему в этом ужасном климате оставаться? Да и скучает он очень по Москве.

— Поэтому au revoir! — произнес Егор Егорыч, обращаясь к матери и к сыну, и с обычной для него быстротой исчез.

Вскоре наступившая затем суббота была знаменательным и тревожным днем для Сверстова по той причине, что ему предстояло вместе с Егором Егорычем предстать перед министром внутренних дел, а это было ему нелегко, так как, с одной стороны, он терпеть не мог всех министров, а с другой — и побаивался их, тем более, что он тут являлся как бы в качестве доносчика. Последняя мысль до такой степени обеспокоила его, что он открылся в том Егору Егорычу.

— Что за вздор? — воскликнул тот с некоторой даже запальчивостью.— Дай бог, чтобы в России побольше было таких доносчиков! Я сам тысячекратно являлся таким изветчиком и никогда не смущался тем, помня, что, делая и говоря правду, греха бояться нечего.

В приемной министра, прилегающей к его кабинету, по случаю вечернего времени никого из просителей не было и сидел только дежурный чиновник, который, вероятно, заранее получил приказание, потому что, услыхав фамилии прибывших, он без всякого доклада отворил им двери в кабинет и предложил войти туда. Те вошли — Егор Егорыч, по обыкновению, топорщась, а Сверстов — как будто бы его кто сжал и давил в тисках. За большим письменным столом они увидели министра в новом, с иголочки, вицмундире, с сильно желтоватым цветом довольно красивого, но сухого лица, на котором как бы написано было, что министр умел только повелевать и больше ничего. Увидев посетителей, он мотнул им головой и небрежно указал на два стула около стола. Егор Егорыч совершенно свободно плюхнул на свой стул, а Сверстов, проклиная свою глупую робость, едва согнул себя, чтобы сесть. Министр с первого же слова начал расспрашивать о деле и о личности Тулузова. Егор Егорыч, догадываясь, что у его сотоварища от смущения прилип язык к гортани, начал вместо него выпечатывать все, касающееся существа тулузовского дела, и только по временам обращался к Сверстову и спрашивал его:

— Так я говорю?

— Совершенно так! — подтверждал тот, мрачно смотря в пол.

Затем, после множества переходов в разговоре на разные подробности, министр прямо уже отнесся к Сверстову:

— От вас первого, как я усматриваю, подано заявление в земский суд?..

— От меня-с, потому что подозрение касательно личности господина Тулузова мне одному принадлежало, или, точнее сказать, для одного меня составляет твердое убеждение! — постарался Сверстов выразиться несколько покрасноречивее.

— А мне вы можете повторить ваше заявление? — продолжал министр совершенно сухим тоном.

— Могу, ваше превосходительство, вам, и государю, и богу повторить мой извет,—произнес с твердостью Сверстов.

— В таком случае подайте мне завтра же докладную записку!— присовокупил министр.

— Она у меня написана, ваше высокопревосходительство,— поправился в наименовании титула Сверстов и подал заранее им приготовленный, по совету Егора Егорыча, извет на Тулузова.

Министр, прочитав чрезвычайно внимательно всю бумагу от начала до конца, сказал, более обращаясь к Егору Егорычу:

— Хоть все это довольно правдоподобно, однако я должен предварительно собрать справки и теперь могу сказать лишь то, что требование московской полиции передать дело господина Тулузова к ее производству я нахожу неправильным, ибо все следствия должны быть производимы в местах первичного их возникновения, а не по месту жительства обвиняемых, и это распоряжение полиции я пресеку.

— А нам только того и нужно-с! — полувоскликнул Егор Егорыч и взглядом дал знать Сверстову, что пора раскланяться.

Когда они вышли от министра, то прежде всего, точно вырвавшись из какого-нибудь душного места, постарались вздохнуть поглубже чистым воздухом, и Егор Егорыч хотел было потом свезти доктора еще к другому важному лицу — Сергею Степанычу, но старый бурсак уперся против этого руками и ногами.

— Господь с ними, с этими сильными мира сего! Им говоришь, а они подозревают тебя и думают, что лжешь, того не понимая, что разве легко это говорить! — воскликнул он и, не сев с Егором Егорычем в сани, проворно ушел от него.

Таким образом, Марфин заехал один к Сергею Степанычу, который встретил его с сияющим от удовольствия лицом.

— Были вы у министра и получили там успех? — спросил он.

— Был и, кажется, не без успеха,— отвечал Егор Егорыч.

— А я вам приготовил еще новую радость: участь Лябьева смягчена государем; он назначен только ко временной ссылке в Тобольскую губернию.

— Благодетель вы человечества! — воскликнул Егор Егорыч и бросился обнимать Сергея Степаныча с такой быстротой, что если бы тот не поспешил наклониться, то Егор Егорыч, по своей малорослости, обнял бы его живот, а не грудь.

Нетерпение моих спутников возвратиться поскорее в Москву так было велико, что они, не медля ни минуты, отправились в обратный путь и были оба исполнены несказанного удовольствия: Сверстов от мысли, что ему больше не будет надобности являться к сильным мира сего, а Егор Егорыч предвкушал радостное свидание с Сусанной Николаевной и Лябьевыми. Что касается дела Тулузова, оставшегося в не решенном еще положении, то оно много не заботило Егора Егорыча: по бесконечной доброте своей он больше любил вершить дела добрые и милостивые, а не карательные.

XIII

Дамы, обозначенные мизерным камер-юнкером под буквами Н., Р. и Ч., которых Тулузов, равно как и супругу свою, прикрываясь полицией, застал среди их невинных развлечений, подняли против него целый поход и стали частью сами, а частью через родных своих и знакомых доводить до сведения генерал-губернатора, что нельзя же дозволять разным полудиким мужьям и полупьяным полицейским чиновникам являться на совершенно неполити-

ческие сборища и только что не палками разгонять общество, принадлежавшее к лучшему московскому кругу. Добрый властитель Москвы по поводу таких толков имел наконец серьезное объяснение с обер-полицеймейстером; причем оказалось, что обер-полицеймейстер совершенно не знал ничего этого и, возвратясь от генерал-губернатора, вызвал к себе полицеймейстера, в районе которого случилось это событие, но тот также ничего не ведал, и в конце концов обнаружилось, что все это устроил без всякого предписания со стороны начальства толстенький частный пристав, которому обер-полицеймейстер за сию проделку предложил подать в отставку; но важеватый друг актеров, однако, вывернулся: он как-то долез до генерал-губернатора, встал перед ним на колени, расплакался и повторял только: «Ваше сиятельство! Я полагал, что это Евин клуб; за Евин клуб, ваше сиятельство, я счел это... Конечно, ваше сиятельство, это была ошибка моя, но ошибка невинная!» Маститый властитель, поверив, что это в самом деле была невинная ошибка со стороны частного пристава, позволил ему остаться на службе, строго наказав ему, чтобы впредь подобных ошибок он не делал.

Вскоре после того к генерал-губернатору явился Тулузов и, вероятно, предуведомленный частным приставом, начал было говорить об этом столь близком ему деле, но властитель отклонил даже разговор об этом и выразился таким образом: «Les chevaliers aux temps les plus barbares faisaient mourir leurs femmes, poussés par la jalousie, mais ne les deshonoraient jamais en public!» [1] Тулузов не вполне, конечно, понял эту фразу, но зато совершенно уразумел, что генерал-губернатор недоволен им за его поступок с Екатериной Петровной. Но этим начавшаяся над ним невзгода еще не окончилась... здесь, впрочем, я должен вернуться несколько назад.

Застав жену на афинском вечере, Тулузов первоначально напугал ее, сказав, что она будет арестована, а потом объяснил, что ей можно откупиться от этой беды только тем, если она даст ему, Тулузову, купчую крепость на деревню Федюхино, по которой значится записанным Саве-

---

[1] «Рыцари в самые варварские времена, побуждаемые ревностью, убивали своих жен, но никогда не затрагивали их чести публично!» *(франц.)*

лий Власьев — человек весьма нужный для него в настоящее время. Екатерина Петровна, пристыженная и растерявшаяся, согласилась и на другой же день, как мы знаем, продала по купчей это именьице Тулузову, и затем супруги совершенно перестали видаться. Но так как вся Москва почти знала, что генерал-губернатор весьма милостиво взглянул на афинские сборища, то оные были возобновлены, и в них принялись участвовать прежние дамы, не выключая и Екатерины Петровны, которая, однако, к великому огорчению своему, перестала на этих сборищах встречать театрального жен-премьера, до такой степени напуганного происшедшим скандалом, что он не являлся более и на дом к Екатерине Петровне. Как бы на выручку ее из горестного одиночества на афинские сборища успел пробраться знакомый нам камер-юнкер и сразу же стал ухаживать за m-me Тулузовой. Конечно, такой мизерный господин для всякой женщины не большою был находкой; но по пословице: на безрыбье и рак рыба, сверх того, если принять в расчет собственное признание Екатерины Петровны, откровенно говорившей своим приятельницам, что она без привязанности не может жить, то весьма будет понятно, что она уступила ухаживаньям камер-юнкера и даже совершенно утешилась в потере красивого жен-премьера. Камер-юнкер, с восторгом занявший такого рода пост около m-me Тулузовой, оказался столь же, если еще не больше, трусливым по характеру, как и юный театральный любовник, так что всякий раз, когда бывал у Екатерины Петровны, то ему чудилось, что вот сойдет сейчас сверху скотина Тулузов и велит его отдуть палками. Чтобы спасти себя от подобного неприятного казуса, камер-юнкер придумал рассказывать Екатерине Петровне городские слухи, в которых будто бы все ее осуждали единогласно, что она после такого варварского с ней поступка мужа продолжает с ним жить, тем более, что она сама имеет совершенно независимое от него состояние. Сначала Екатерина Петровна возражала несколько и говорила, что разойтись с мужем вовсе не так легко, особенно с таким человеком, как Тулузов, потому что он решится на все.

— Тогда и против него надобно решиться на все! — возразил камер-юнкер.

— Но что же я ему могу сделать? — спросила Екатерина Петровна.

Камер-юнкер даже рассмеялся при таком наивном, по его мнению, вопросе ее.

— Все, что вы захотите! — воскликнул он.— Неужели вы не чувствуете, в какое время мы живем? Сколь ни грубый город Москва, но все-таки общественное мнение в подобных случаях всегда стоит за женщину.

Екатерина Петровна хоть соглашалась, что нынче действительно стали отстаивать слабых, бедных женщин, но все-таки сделать какой-нибудь решительный шаг колебалась, считая Тулузова почти не за человека, а за дьявола. Тогда камер-юнкер, как сам человек мнительный и способный придумать всевозможные опасности, навел ее за одним секретным ужином на другого рода страх.

— Наконец,— сказал он,— муж ваш, имея в виду седьмую часть вашего состояния, способен отравить вас!

Такое предположение Екатерину Петровну поразило.

— Как же он отравит меня? — спросила она.— Я никогда с ним не обедаю, ни чаю не пью вместе?

— Тем удобнее это сделать для него. Он подкупит повара и подложит вам какого-нибудь снадобья, а нынче такие яды изобретены, что на вкус не узнаешь...

— О, зачем вы меня так пугаете?! — произнесла укоризненным голосом Екатерина Петровна и для придачи себе храбрости выпила залпом стакан довольно крепкого нюи.

— Я делаю только логический вывод из того порядка вещей, каким вы обставлены... А разве вы сомневаетесь, что муж ваш способен сделать подобную вещь?

— Нет, я не то, что сомневаюсь...— произнесла Екатерина Петровна, и так как была с несколько уже отуманенной головой, то рассказала своему обожателю о подозрениях в личности Тулузова, а равно и о том, что об этом даже началось дело, от которого Тулузов до сих пор увертывается.

— Где же это дело производится? — спросил камер-юнкер с явным удовольствием: ему весьма было бы приятно поймать Тулузова по какому бы то ни было делу и упрятать его подальше.

— Не знаю! — отвечала Екатерина Петровна.

— Кто ж, по крайней мере, это дело начал и возбудил? — расспрашивал камер-юнкер.

— Это один мой родственник по первому мужу, Марфин, который давно вредит Тулузову.

— А где теперь этот родственник?

— В Москве.

— Но не можете ли вы поехать к нему и расспросить его о деле вашего мужа?

— Нет,— отвечала, отрицательно мотнув головой, Екатерина Петровна,— после истории с нашим афинским вечером Марфин, вероятно, меня не примет.

На этом кончилось совещание камер-юнкера с Екатериной Петровной, но она потом не спала всю ночь, и ей беспрестанно мерещилось, что муж ее отравит, так что на другой день, едва только Тулузов возвратился от генерал-губернатора, она послала к нему пригласить его придти к ней.

Василий Иваныч, предчувствуя заранее что-то недоброе для него, пошел на приглашение супруги неохотно. Екатерина Петровна приняла его гневно и величественно и с первого же слова сказала ему:

— После всех ваших проделок против меня вы, надеюсь, понимаете, что продолжать мне жить с вами глупо и неприлично...

Тулузова сильно покоробили эти слова.

— Какую же проделку мою вы разумеете?

— Да хоть последнюю, которою вы осрамили меня на всю Москву,— отвечала, злобно взглянув на мужа, Екатерина Петровна.

— Это, конечно, был неосторожный и необдуманный поступок с моей стороны,— отвечал он, едва выдерживая уставленный на него взгляд жены.

— А мне, напротив, он показался очень обдуманным и выгодным для вас! — подхватила, с тою же злостью рассмеявшись, Екатерина Петровна.— Я заплатила вам за него двадцатью душами, в числе которых находится любимец ваш Савелий Власьев.

Она знала через людей, что Савелий Власьев постоянно расспрашивал у всех об образе ее жизни и обо всем, конечно, докладывал барину.

— Если вам угодно, я вам заплачу за эти двадцать душ,— продолжал Тулузов, видимо, желавший на этот раз поумилостивить Екатерину Петровну.

— О, нет, зачем же? — воскликнула она.— Если бы я стала получать с вас все ваши долги мне, вам пришлось бы много заплатить; и я теперь требую от вас одного, чтобы вы мне выдали бумагу на свободное прожитие в про-

должение всей моей жизни, потому что я желаю навсегда разъехаться с вами и жить в разных домах.

Тулузов, кажется, вовсе не ожидал услышать такое решение со стороны жены.

— Но, Катерина Петровна,— произнес он почти жалобным голосом,— это будет новый скандал, за который меня и вас опять обвинят.

— Скандалов я не боюсь,— возразила она по-прежнему злобно-насмешливым тоном,— я столько их имела в жизни, как и вы, я думаю, тоже!..

— У меня не было в жизни скандалов,— имел наглость сказать Тулузов, так что Екатерина Петровна не удержалась и презрительно засмеялась при этом.— Но главное,— продолжал он,— какой мы предлог изберем для нашего разъезда? Если бы произошло это тотчас же за последним несчастным случаем, так это показалось бы понятным, но теперь, по прошествии месяца...

— Время тут ничего не значит! — перебила его Екатерина Петровна.— Сначала я была ошеломлена, не поняла хорошо; но теперь я вижу, какую вы ловушку устроили для меня вашим *неосторожным поступком.*

— Я в этом поступке моем прошу у вас прощения,— попробовал было еще раз умилостивить жену Тулузов.

— А я вас не прощаю и не извиняю,— ответила та ему,— и скажу прямо: если вам не угодно будет дать сегодня же бумагу, которую я требую от вас, то я еду к генерал-губернатору и расскажу ему всю мою жизнь с вами,— как вы развращали первого моего мужа и подставляли ему любовниц, как потом женились на мне и прибрали к себе в руки весь капитал покойного отца, и, наконец, передам ему те подозрения, которые имеет на вас Марфин и по которым подан на вас донос.

Тулузов делал неимоверные усилия над собою, чтобы скрыть свой почти ужас и проговорить:

— Ничего вам не придется этого делать. Я дам желаемую вами бумагу и хотел бы только, чтобы мы расстались по-дружески, а не врагами...

— Это я могу вам обещать,— отвечала насмешливо Екатерина Петровна,— и, с своей стороны, тоже прошу вас, чтобы вы меня после того ничем не тревожили, не посещали никогда и денег от меня больше не требовали.

— Извольте-с! — сказал Тулузов, слегка пожав плеча-

ми.— За этим вам собственно и угодно было позвать меня?

— За этим,— подтвердила Екатерина Петровна.

Тулузов поклонился ей и ушел, а вечером прислал ей вид на отдельное от него житье.

Пока все это происходило, Егор Егорыч возвратился с Сверстовым в Москву. Первое, о чем спросила его Сусанна Николаевна, это — о здоровье Пьера Углакова.

— Совершенно поправляется и скоро приедет в Москву,— отвечал Егор Егорыч.

Сусанна Николаевна, услышав это, одновременно обрадовалась и обмерла от страха, и когда потом возник вопрос о времени отправления Лябьевых в назначенное им место жительства, то она, с своей стороны, подала голос за скорейший отъезд их, потому что там они будут жить все-таки на свежем воздухе, а не в тюрьме. Под влиянием ее мнения, Егор Егорыч стал хлопотать об этом через старика Углакова, и тут же его обеспокоил вопрос, чем Лябьевы будут жить на поселении? Он сказал об этом первоначально Сусанне Николаевне, та спросила о том сестру и после разговора с ней объявила Егору Егорычу:

— Вообрази, у них есть средства! Помнишь ту подмосковную, которую мамаша так настоятельно хотела отдать Музе? Она у них сохранилась. Лябьев, проиграв все свое состояние, никак не хотел продать этого имения и даже выкупил его, а кроме того, если мы отдадим ту часть, которая досталась мне после мамаши, они будут совершенно обеспечены.

— Превосходно, превосходно! — восклицал на все это Егор Егорыч.— Я буду управлять этим имением и буду высылать им деньги, а там они и сами возвратятся скоро в Москву.

Отправка Лябьева назначена была весьма скоро после того, и им даже дозволено было ехать в своем экипаже вслед за конвоем. Об их прощании с родственниками и друзьями говорить, конечно, нечего. Ради характеристики этого прощания, можно сказать только, что оно было короткое и совершенно молчаливое; одна только Аграфена Васильевна разревелась и все кричала своему обожаемому Аркаше:

— Ты смотри же, там в Сибири сочини еще *соловья!*

В самый день отъезда Лябьевых Сусанна Николаевна

сказала мужу, что она непременно желает послезавтра же уехать в деревню, да и доктор Сверстов, сильно соскучившись по своей gnädige Frau, подговаривал к тому Егора Егорыча, так что тот, не имея ничего против скорого отъезда, согласился на то.

Екатерина Петровна между тем разъехалась с мужем и наняла себе квартиру на сколь возможно отдаленной от дома Тулузова улице.

Тулузов, с которым она даже не простилась, после объяснения с нею, видимо, был в каком-то афрапированном состоянии и все совещался с Савелием Власьевым, перед сметкой и умом которого он заметно начал пасовать, и когда Савелий (это было на второй день переезда Екатерины Петровны на новую квартиру) пришел к нему с обычным докладом по делам откупа, Тулузов сказал ему:

— Катерина Петровна не будет больше жить со мною, и потому в ее отделение я перевожу главную контору мою; кроме того, и ты можешь поместиться там с твоей семьей.

Савелий перед тем только женился на весьма хорошенькой особе, которая была из мещанского звания и с весьма порядочным приданым. За предложенную ему квартиру он небольшим поклоном поблагодарил своего господина.

— А что, скажи, Лябьева сослали? — спросил тот.

— Отправили-с, но только не в каторгу, а на поселенье,— объяснил Савелий.

— Почему ж так? — воскликнул Тулузов с неудовольствием.

— Мне наш частный пристав передавал, что сам государь повелел господина Лябьева только выслать на жительство в Тобольскую губернию.

Такое известие взбесило Тулузова, и он почуял в нем дурное предзнаменование для себя.

— Кто ж ему это выхлопотал? — отнесся он как-то уж строго к Савелию.

— Частный пристав сказывал, что господин Марфин хлопотал по этому делу очень много.

— А эта гадина еще здесь?

— Никак нет-с, уехал в имение свое; я нарочно заходил к ним на квартиру справляться, но никого там не нашел, и дверь заколочена.

— Для нас очень хорошо и полезно, что черт его унес... Ну, а дела моего еще не прислали сюда?

— Никак нет-с, не шлют!

— Но как же они смеют это делать?.. Значит, тебе опять надобно ехать туда.

Савелий при этом приказании вспыхнул в лице.

— Ехать-с, Василий Иваныч, я готов, но пользы от того не будет никакой! — возразил он.— Тамошний господин исправник недаром Зверевым прозывается, как есть зверь лютый... Изобьет меня еще раз, тем и кончится... Нельзя ли вам как-нибудь у генерал-губернатора, что ли, или у тамошнего губернатора похлопотать?

— Нигде я не могу хлопотать, понимаешь ли? Меня судьба лупит со всех сторон! — воскликнул Тулузов.

— Это точно, что с кажинным человеком бывает... Вот тоже один из свидетелей наших ужасно как начинает безобразничать.

— Кто такой? — спросил Тулузов с более и более возрастающим гневом.

— Все тот же безобразный поручик... требует себе денег, да и баста...

— Ему давали уж денег, и сколько раз после того!— кричал Тулузов.

— А он еще хочет, и если, говорит, вы не дадите, так я пойду и скажу, что дал фальшивое показание.

Тулузов при этом окончательно вышел из себя.

— Так зачем же ты, каналья этакая, меня с такими негодяями свел?.. Я не с них, а с тебя спрошу,— ты мой крепостной,— и изволь с ними улаживать!

Тут, в свою очередь, Савелий обозлился.

— Улаживать с ним можно только одним — дать ему денег.

— Ну, так ты и давай из своего кармана. Довольно ты их у меня наворовал.

— Да ведь это что же-с?.. И другие, может, еще больше меня воровали...

Тулузов, поняв, на чей счет это было сказано, бросился было бить Савелия, но тот движением руки остановил его.

— Не смейте меня пальцем тронуть! Не вы мне, а я вам нужен! — проговорил он.

— Никто мне не нужен! — ревел на весь дом Тулузов.— Я убью тебя здесь же на месте, как собаку!

— Нет, не убьете! Вы людей убивали, когда в бедности были, а теперь побережете себя,— возразил, каким-то дьявольским смехом усмехнувшись, Савелий и затем пошел.

— Я тебя завтра же на каторгу сошлю! — кричал ему вслед Тулузов.

— Не сошлете! — отозвался опять с тем же демонским смехом Савелий.

XIV

Савелий Власьев не ошибся, говоря, что барин не сошлет его; напротив, Василий Иваныч на другой же день, ранним утром, позвал его к себе и сказал ему довольно ласковым голосом:

— Тебе глупо было вчера так грубить мне!

— Да это простите, виноват! Обидно тоже немного показалось,— слегка извинился Савелий Власьев.

— Ну, и этому негодяю поручику дай немного денег! — продолжал Тулузов.

— Непременно-с надобно дать! Он уверяет, что никаких средств не имеет, на что существовать.

— Я готов ему помочь; но все-таки надобно, чтобы предел был этой помощи,— заметил Тулузов.

— Предел будет-с; решись только дело в вашу пользу, мы ему сейчас в шею дадим, да еще и самого к суду притянем,— умно сообразил Савелий Власьев.

— И нужно будет это сделать непременно,— подхватил Тулузов,— но ты сегодня же и дай ему!

— Сегодня, если только найду; а то его, дьявола, иной раз и не сыщешь,— объяснил Савелий.

— Где ж он, собственно, живет? — спросил Тулузов.

— Это трудно сказать, где он живет; день пребывает около Иверских ворот, а ночи по кабакам шляется или посещает разных метресс своих, которые его не прогоняют.

— Ну, а другие свидетели ничего не говорят?

— Из других старичок-чиновник помер; замерз ли он, окаянный, или удар с ним был,— неизвестно.

— А другой, молодой?

— Тот ведь-с человек умный и понимает, что я ему в те поры заплатил дороже супротив других!.. Но тоже раз сказал было мне, что прибавочку, хоть небольшую, желал бы получить. Я говорю, что вы получите и большую при-

бавочку, когда дело моего господина кончится. Он на том теперь и успокоился, ждет.

Объяснив все это барину, Савелий Власьев поспешил на розыск пьяного поручика, и он это делал не столько для Тулузова, сколько для себя, так как сам мог быть уличен в подговоре свидетелей. Произведенный, однако, им розыск поручика по всем притонам того оказался на этот раз безуспешным. Тщетно Савелий Власьев расспрашивал достойных друзей поручика, где тот обретается,— никто из них не мог ему объяснить этого; а между тем поручик, никак не ожидавший, что его ищут для выдачи ему денег, и пьяный, как всегда, стоял в настоящие минуты в приемной генерал-губернатора с целью раскаяться перед тем и сделать донос на Тулузова. Обирай заявления у просителей и опрашивай их какой-нибудь другой чиновник, а не знакомый нам камер-юнкер, то поручик за свой безобразно пьяный вид, вероятно, был бы прогнан; но мизерный камер-юнкер, влекомый каким-то тайным предчувствием, подошел к нему первому.

— Вы имеете надобность до князя? — спросил он.

— Имею!..— отвечал нетвердым голосом поручик.— Я пришел с жалобой на... фу ты, какого важного барина... Тулузова и на подлеца его Савку — управляющего.

При имени Тулузова камер-юнкер впился в поручика и готов был почти обнять его, сколь тот ни гадок был.

— Чем именно обидел вас господин Тулузов? — сказал он, внимательнейшим образом наклонив ухо к поручику, чтобы слушать его.

— Чем он может меня обидеть?.. Я сам его обижу!..— воскликнул тот с гонором, а затем, вряд ли спьяну не приняв камер-юнкера, совершавшего служебные отправления в своем галунном мундире, за самого генерал-губернатора, продолжал более униженным тоном: — Я, ваше сиятельство, офицер русской службы, но пришел в бедность... Что ж делать?.. И сколько времени теперь без одежды и пищи... et comprenez vous, je mange ce que les chiens ne mangeraient pas[1]... а это тяжело, генерал, тяжело...

И при этом у бедного поручика по его опухшей щеке скатилась уж слеза. Камер-юнкер выразил некоторое участие к нему.

— Вы успокойтесь и объясните, что же собственно сделал вам неприятного господин Тулузов?

---

[1] и, понимаете, я ем то, чего не стали бы есть собаки... *(франц.)*

— Он...— начал нескладно объяснять поручик.— У меня, ваше сиятельство, перед тем, может, дня два куска хлеба во рту не бывало, а он говорит через своего Савку... «Я, говорит, дам тебе сто рублей, покажи только, что меня знаешь, и был мне друг!..» А какой я ему друг?.. Что он говорит?.. Но тоже голод, ваше сиятельство... Иные от того людей режут, а я что ж?.. Признаюсь в том... «Хорошо, говорю, покажу, давай только деньги!..»

— Господа, прошу прислушаться к словам господина поручика! — обратился камер-юнкер к другим просителям, из коих одни смутились, что попали в свидетели, а другие ничего, и даже как бы обрадовались, так что одна довольно старая салопница, должно быть, из просвирен, звонким голосом произнесла:

— Как, сударь, не слыхать?.. Слышим, не глухие...

— И что же вы показали?..— отнесся потом камер-юнкер к поручику.

У того от переживаемых волнений окончательно прилила кровь к голове.

— Не помню, пьян очень был... Кажется, сказал, что служил с ним...

— Но в самом деле вы не служили с ним? — расспрашивал камер-юнкер.

— Как же я служил с ним,— возразил с гневом поручик,— когда у нас в бригаде офицеры были все благороднейшие люди!.. А тут что ж?.. Кушать хотелось... Ничего с тем не поделаешь..

— Конечно,— согласился камер-юнкер; потом, вежливо попросив поручика подождать его тут и вместе с тем мигнув стоявшему в приемной жандарму, чтобы тот не выпускал сего просителя, проворно пошел по лестнице наверх, виляя своим раззолоченным задом.

Шел камер-юнкер собственно в канцелярию для совещаний с управляющим оной и застал также у него одного молодого адъютанта, весьма любимого князем. Когда он им рассказал свой разговор с поручиком, то управляющий на это промолчал, но адъютант засмеялся и, воскликнув: «Что за вздор такой!», побежал посмотреть на поручика, после чего, возвратясь, еще более смеялся и говорил:

— Это какой-то совсем пьяный... Он и со мной полез было целоваться и кричит: «Вы военный, и я военный!».

— Но как же, однако, с ним быть?.. Докладывать мне об этом князю или нет?

— Конечно, нет! — воскликнул адъютант, думавший, что князь по-прежнему расположен к Тулузову, но управляющий, все время глядевший в развернутую перед ним какую-то министерскую бумагу, сказал камер-юнкеру:

— Я полагаю, вам следует взять от поручика письменное заявление о том, что он вам говорил.

— Я и то уже сказал прочим просителям: «Прошу прислушать, господа!» — объяснил камер-юнкер.

— Тогда потрудитесь все это оформить и составьте на законном основании постановление! — посоветовал ему управляющий.

Камер-юнкер поспешил сойти вниз и в какие-нибудь четверть часа сделал все нужное. Возвратясь к управляющему с бумагой, он спросил его:

— Вы доложите князю или я?

— Я-с,— отвечал управляющий, несколько ревнивый в этих случаях и старавшийся обо всем всегда докладывать князю сам. Просмотрев составленную камер-юнкером бумагу, он встал с своего кресла, и здесь следовало бы описать его наружность, но, ей-богу, во всей фигуре управляющего не было ничего особенного, и он отчасти походил на сенаторского правителя Звездкина, так как подобно тому происходил из духовного звания, с таким лишь различием, что тот был петербуржец, а сей правитель дел — москвич и, в силу московских обычаев, хотя и был выбрит, но не совсем чисто; бакенбарды имел далеко не так тщательно расчесанные, какими они были у Звездкина; об ленте сей правитель дел, кажется, еще и не помышлял и имел только Владимира на шее, который он носил не на белье, а на атласном жилете, доверху застегнутом. Захватив с собою постановление камер-юнкера, также и министерскую бумагу, управляющий пошел, причем начал ступать ногами как-то вкривь и вкось. Словом, обнаружил в себе мужчину нескладного и неотесанного, но при всем том имел вид умный. Направился первоначально управляющий в залу, где, увидя приехавшего с обычным докладом обер-полицеймейстера, начал ему что-то такое шептать, в ответ на что обер-полицеймейстер, пожимая плечами, украшенными густыми генеральскими эполетами, произнес не без смущения:

— Это бог знает что такое!..

— Да,— подтвердил и управляющий,— ни один еще министр, как нынешний, не позволял себе писать такие бумаги князю!.. Смотрите,— присовокупил он, показывая на несколько строчек министерской бумаги, в которых значилось: «Находя требование московской полиции о высылке к ее производству дела о господине Тулузове совершенно незаконным, я вместе с сим предложил местному губернатору не передавать сказанного дела в Москву и производить оное во вверенной ему губернии».

— По этой бумаге вы и идете докладывать? — спросил невеселым голосом обер-полицеймейстер.

— По этой и вот еще по какой,— объяснил управляющий и дал обер-полицеймейстеру прочесть составленный камер-юнкером акт, прочитав который обер-полицеймейстер грустно улыбнулся и проговорил:

— Это новое еще будет обвинение на полицию?

— Новое,—подтвердил управляющий и ушел в кабинет князя, где оставался весьма продолжительное время.

Для уяснения хода событий надобно сказать, что добрый и старый генерал-губернатор отчасти по болезни своей, а еще более того по крайней распущенности, которую он допустил в отношении служебного персонала своего, предполагался в Петербурге, как говорится, к сломке, что очень хорошо знали ближайшие его подчиненные и поэтому постоянно имели печальный и грустный вид.

Выйдя из кабинета, управляющий снова отнесся к обер-полицеймейстеру:

— Князь поручил вам поручика, сделавшего извет, арестовать при одном из частных домов, а требование московской полиции об отправке к ней дела Тулузова, как незаконное, предлагает вам прекратить.

— Да черт с ним, с этим делом! Я и не знал даже о существовании такого требования,— проговорил обер-полицеймейстер и уехал исполнять полученные им приказания.

Таким образом, пьяный поручик, рывший для другого яму, сам прежде попал в оную и прямо из дома генерал-губернатора был отведен в одну из частей, где его поместили довольно удобно в особой комнате и с матрацем на кровати.

— Благодарю, благодарю! — говорил при этом поручик.— Я знал это прежде и рад тому... По крайней мере, мне здесь тепло, и кормить меня будут...

Накормить его, конечно, накормили, но поручику хотелось бы водочки или, по крайней мере, пивца выпить, но ни того, ни другого достать ему было неоткуда, несмотря на видимое сочувствие будочников, которые совершенно понимали такое его желание, и бедный поручик приготовлялся было снять с себя сапоги и послать их заложить в кабак, чтобы выручить на них хоть косушку; но в часть заехал, прямо от генерал-губернатора и не успев еще с себя снять своего блестящего мундира, невзрачный камер-юнкер. Узнав о страданиях поручика, он дал от себя старшему бутарю пять рублей с приказанием, чтобы тот покупал для арестанта каждый день понемногу водки и вообще не давал бы ему очень скучать своим положением. Сколько обрадовались поручик и бутари сей манне, спавшей на них с небес, описать невозможно, и к вечеру же как сам узник, так и два стража его были мертвецки пьяны.

Из частного дома камер-юнкер все в том же своем красивом мундире поехал к Екатерине Петровне. Он с умыслом хотел ей показаться в придворной форме, дабы еще более привязать ее сердце к себе, и придуманный им способ, кажется, ему до некоторой степени удался, потому что Екатерина Петровна, только что севшая в это время за обед, увидав его, воскликнула:

— Боже мой, что это такое?.. Какой вы сегодня интересный, и откуда это вы?

— Прямо со службы и привез вам новость,— отвечал, целуя ее руку, камер-юнкер.

— Но, прежде чем рассказывать вашу новость, извольте садиться обедать, хотя обед у меня скромный, вдовий; но любимое, впрочем, вами шато-д'икем есть. Я сама его, по вашему совету, стала пить вместо красного вина. Прибор сюда и свежую бутылку д'икему! — добавила она лакею.

Камер-юнкер, сев за стол, расстегнул свой блестящий кокон, причем оказалось, что под мундиром на нем был надет безукоризненной чистоты из толстого английского пике белый жилет.

Обед свой Екатерина Петровна напрасно назвала скромным. Он, во-первых, начался раковым супом с осетровыми хрящиками из молодых живых осетров, к которому поданы были пирожки с вязигой и налимьими печенками, а затем пошло в том же изысканном тоне, и только

надобно заметить, что все блюда были, по случаю первой недели великого поста, рыбные. Дамы того времени, сколько бы ни позволяли себе резвостей в известном отношении, посты, однако, соблюдали и вообще были богомольны, так что про Екатерину Петровну театральный жен-премьер рассказывал, что когда она с ним проезжала мимо Иверской, то, пользуясь закрытым экипажем, одной рукой обнимала его, а другой крестилась.

— Ну-с, теперь вы можете рассказывать вашу новость,— объявила она, заметив, что камер-юнкер удовлетворил первому чувству голода.

— Новость эта...— начал он,— но я боюсь, чтобы она не расстроила вашего аппетита...

— Почему она расстроит? — спросила Екатерина Петровна, не зная, как принять слова своего гостя, за шутку или за серьезное.

— Потому что она касается вашего мужа,— отвечал камер-юнкер.

— Разве он еще что-нибудь против меня затевает? — проговорила торопливо Екатерина Петровна.

— Нисколько!—поспешил ее успокоить камер-юнкер.— Совершенно наоборот: ему нечто угрожает.

— Что такое? — поинтересовалась Екатерина Петровна уж только из любопытства.

— А такое, что он,— принялся рассказывать камер-юнкер,— по своему делу подобрал было каких-то ложных свидетелей, из числа которых один пьяный отставной поручик сегодня заявил генерал-губернатору, что он был уговорен и подкуплен вашим мужем показать, что он когда-то знал господина Тулузова и знал под этой самой фамилией.

Екатерина Петровна, если только помнит читатель, понимала в служебных делах более, чем другие дамы ее времени.

— Скажите, пожалуйста,— произнесла она протяжно,— это, однако, очень важное обвинение на Тулузова.

— Весьма, и если только его будут судить настоящим образом, так он, пожалуй, по Владимирке укатит.

— То есть туда, в Сибирь? — спросила Екатерина Петровна, махнув рукой на восток.

— Туда, и тогда вы действительно останетесь вдовой.

— Почему же я тогда вдовой останусь? — воскликнула Екатерина Петровна.

— Вследствие того, что Тулузов, вероятно, будет лишен всех прав состояния; значит, и брак ваш нарушится.

— Да, вот что!.. Но, впрочем, для меня это все равно; у меня никаких браков ни с мужем и ни с кем бы ни было не будет больше в жизни.

— Это ради чего? — спросил камер-юнкер.

— Ради того,—сказала Екатерина Петровна,— что теперь я уже хорошо знаю мужчин и шейку свою под их ярмо больше подставлять не хочу.

Камер-юнкера, по-видимому, при этом немного передернуло, что, впрочем, он постарался скрыть и продолжал:

— Для Тулузова хуже всего то, что он — я не знаю, известно ли вам это,— держался на высоте своего странного величия исключительно благосклонностию к нему нашего добрейшего и благороднейшего князя, который, наконец, понял его и, как мне рассказывал управляющий канцелярией, приказал дело господина Тулузова, которое хотели было выцарапать из ваших мест, не требовать, потому что князю даже от министра по этому делу последовало весьма колкого свойства предложение.

— Да, действительно, это новость весьма неожиданная,— произнесла Екатерина Петровна,— но она нисколько не расстроила моего аппетита и не могла его расстроить.

— Вы это правду говорите? — спросил ее камер-юнкер, устремляя нежно-масленый взгляд на Екатерину Петровну.

— Совершенную правду! — воскликнула она, кидая, в свою очередь, на него свой жгучий взор.

Это они говорили, уже переходя из столовой в гостиную, в которой стоял самый покойный и манящий к себе турецкий диван, на каковой хозяйка и гость опустились, или, точнее сказать, полуприлегли, и камер-юнкер обнял было тучный стан Екатерины Петровны, чтобы приблизить к себе ее набеленное лицо и напечатлеть на нем поцелуй, но Екатерина Петровна, услыхав в это мгновение какой-то шум в зале, поспешила отстраниться от своего собеседника и даже пересесть на другой диван, а камер-юнкер, думая, что это сам Тулузов идет, побледнел и в струнку вытянулся на диване; но вошел пока еще только лакей и доложил Екатерине Петровне, что какой-то молодой господин по фамилии Углаков желает ее видеть.

— Но кто он такой?.. Я его не знаю... Connaissez vous ce monsieur? [1] — отнеслась она к камер-юнкеру.

— Mais oui!.. [2] Разве вы не знакомы еще с monsieur Углаковым?.. C'est l'enfant terrible de Moscou [3].

— В таком случае я не приму его; я боюсь нынче всяких enfants terribles.

— Нет, примите! — возразил ей камер-юнкер.— Это добрейший и прелестный мальчик.

Екатерина Петровна разрешила лакею принять нежданного гостя.

Пьер почти вбежал в гостиную Екатерины Петровны. Он был еще в военном вицмундире и худ донельзя.

— Pardon, madame, что я вас беспокою...— заговорил он и, тут же увидав камер-юнкера и наскоро проговорив ему: — Здравствуй! — снова обратился к Екатерине Петровне: — У меня есть к вам, madame Тулузова, большая просьба: я вчера только возвратился в Москву и ищу одних моих знакомых,— vous les connaissez,[4]—Марфины?..

— Да, знаю,— отвечала Екатерина Петровна.

— Ах, как я счастлив! Где они, скажите?.. Я сегодня заезжал к ним на квартиру, но там их я не нашел и никого, чтобы добиться, куда они уехали; потом заехал к одной моей знакомой сенаторше, Аграфене Васильевне, и та мне сказала, что она не знает даже об отъезде Марфиных.

— Они, может быть, уехали в Петербург,— проговорила Екатерина Петровна.

— Нет, не в Петербург! — воскликнул, топнув даже ногой, Углаков.— Я сам только что из Петербурга и там бы разыскал их на дне морском.

— В таком случае они, вероятно, уехали в именье свое,— объяснила Екатерина Петровна.

— А в какое именье, как это угадать? У них, по словам моего отца, много имений! — говорил почти с отчаянием Углаков.

— Если они уехали, так, конечно, в главное свое имение, в Кузьмищево,— объяснила Екатерина Петровна.

— А вы знаете, где это Кузьмищево? — спросил Углаков.

---

[1] Знаете вы этого господина? *(франц.)*

[2] Ну, конечно! *(франц.)*

[3] Это баловень всей Москвы. *(франц.)*

[4] вы их знаете, *(франц.)*

— Как же мне не знать, когда я несколько раз бывала в нем!

Адрес дайте мне, chère madame!.. Умоляю вас, адрес! — вопиял Углаков.

— Сию минуту! — отвечала Екатерина Петровна с участием и, пойдя к себе в будуар, написала Углакову подробный и точный адрес Кузьмищева.

— Merci, madame, merci! — воскликнул Углаков и, поцеловав с чувством у Екатерины Петровны руку, а также мотнув приветливо головой камер-юнкеру, уехал.

— Действительно, enfant terrible,— сказала Екатерина Петровна, оставшись опять вдвоем с камер-юнкером,— но мне удивительно, почему он так беспокоится о Марфиных?..

— А вы и того не знаете? — произнес как бы с укором камер-юнкер, шлявшийся обыкновенно всюду и все знавший.— Он в связи с madame Марфиной.

— Вот как! — проговорила Екатерина Петровна, почему-то обрадовавшись сообщенной ей новости.— Муж, вероятно, оттого так поспешно и увез ее в деревню?

— Разумеется! — подтвердил камер-юнкер.

Бедная и неповинная Сусанна Николаевна, чувствовала ли она, что говорили про нее нечистые уста молвы!

XV

Егор Егорыч, как малый ребенок, восхищался всем по возвращении в свое Кузьмищево, тем более, что в природе сильно начинала чувствоваться весна. Он, несмотря на распутицу, по нескольку раз в день выезжал кататься по полям; велел разгрести и усыпать песком в саду главную дорожку, причем даже сам работал: очень уж Егор Егорыч сильно надышался в Москве всякого рода ядовитыми миазмами, нравственными и физическими! Gnädige Frau тоже была весьма рада и счастлива тем, что к ней возвратился муж, а потом, радуясь также и приезду Марфиных, она, с сияющим от удовольствия лицом, говорила всей прислуге: «Наконец Кузьмищево начинает походить на прежнее Кузьмищево!». При этом gnädige Frau одним только была смущаема, что ее прелестная Сусанна Николаевна совершенно не походила на прежнюю Сусанну Николаевну; не то чтобы она на вид была больна или скучна, но казалась какою-то апатичною, точно будто бы ни

до чего ей дела не было и ничто ее не занимало. Gnädige Frau пробовала несколько раз начинать с нею беседу о масонстве, о котором они прежде обыкновенно проговаривали целые вечера; Сусанна Николаевна, однако, обнаруживала полное равнодушие и отвечала только: «Да, нет, конечно». Gnädige Frau, наконец, так все это обеспокоило, что она принялась мужа расспрашивать, замечает он или нет такую перемену в Сусанне Николаевне.

— Замечаю,— отвечал тот.

— Какая же, ты думаешь, причина тому?

— Очень понятная причина! — воскликнул Сверстов.— Все эти Рыжовы, сколько я теперь слышу об них и узнаю, какие-то до глупости нежные существа. Сусанна Николаевна теперь горюет об умершей матери и, кроме того, болеет за свою несчастную сестру — Музу Николаевну.

— Нет! — не согласилась gnädige Frau.

— Но потом и телесно она, вероятно, порасстроилась...— объяснял доктор.— Людям, непривычным прожить около двух лет в столице безвыездно, нельзя без дурных последствий. Я месяц какой-нибудь пробыл там, так начал чувствовать каждый вечер лихорадку.

— Нет, и это не то! — снова отвергнула gnädige Frau.

— А по-твоему, какая же причина? — спросил уже доктор.

— Я не знаю и думаю, что это скорее нравственное нездоровье... У Сусанны Николаевны душа и сердце болят.

Доктор при этом, как бы кое-что сообразив, несколько лукаво улыбнулся.

— Может быть, ты подозреваешь, что не уязвлена ли наша барынька стрелами амура? — проговорил он.

— О, нет, нет! — воскликнула gnädige Frau, как бы испугавшаяся даже такого предположения мужа.— И я желаю знать одно, не видал ли ты у Марфиных какого-нибудь ученого или сектанта?

— Решительно не видал,— отвечал Сверстов,— хотя, может быть, есть у них такие, и очень вероятно, что в единого из сих втюрилась Сусанна Николаевна, ибо что там ни говорите, а Егор Егорыч старше своей супруги на тридцать лет!

— Ты меня совершенно не понимаешь! — перебила мужа с явным неудовольствием gnädige Frau.— Я подозреваю только, не повлиял ли на Сусанну Николаевну кто-

нибудь из ученых и не отвратил ли ее от масонства; вот что мучит ее теперь...

Сверстов при этом развел только в недоумении руками.

Пока происходил у них этот спор, Егор Егорыч в отличнейшем расположении духа и с палкою в руке шел по замерзшей дорожке к отцу Василию для передачи ему весьма радостного известия. Дело в том состояло, что Сверстов когда приехал в Москву, то по строгому наказу от супруги рассказал Егору Егорычу под величайшим секретом, что отец Василий, огорченный неудачею, которая постигла его историю масонства, начал опять пить. Егора Егорыча до глубины души это опечалило, и он, желая хоть чем-нибудь утешить отца Василия, еще из Москвы при красноречивом и длинном письме послал преосвященному Евгению сказанную историю, прося просвещенного пастыря прочесть оную sine ira et studio [1], а свое мнение сообщить при личном свидании, когда Егор Егорыч явится к нему сам по возвращении из Москвы. Подготовив таким образом почву, Егор Егорыч, приехав в свой родной губернский город, в тот же день полетел в Крестовоздвиженский монастырь. Преосвященный, благословляя и пожимая руку Егора Егорыча, с первых же слов сказал ему:

— Как я вам благодарен, что вы познакомили меня с прекрасным произведением отца Василия, тем более, что он, как узнаю я по его фамилии, товарищ мне по академии.

— Так вы и поймите, владыко! — подхватил Егор Егорыч.— Вы теперь в почестях великих, а он — бедный протопоп, живущий у меня на руге...

И затем Егор Егорыч со свойственной ему энергией принялся в ярких красках описывать многострадальную, по его выражению, жизнь отца Василия.

— Но как же ему давно было не обратиться ко мне? — сказал с некоторым укором преосвященный.

— Не смел, потому что масон.

— Все-таки странно! — произнес владыко, и при этом у него на губах пробежала такая усмешка, которою он как бы дополнял: «Что такое ныне значит масонство?.. Пустая фраза без всякого содержания!». Но вслух он проговорил: — Хоть отец Василий и не хотел обратиться ко

---

[1] без гнева и предубеждения, *(лат.)*

мне, но прошу вас заверить его, что я, из уважения к его учености, а также в память нашего товарищества, считаю непременным долгом для себя повысить его.

По приезде в Кузьмищево Егор Егорыч ничего не сказал об этом свидании с архиереем ни у себя в семье, ни отцу Василию из опасения, что из всех этих обещаний владыки, пожалуй, ничего не выйдет; но Евгений, однако, исполнил, что сказал, и Егор Егорыч получил от него письмо, которым преосвященный просил от его имени предложить отцу Василию место ключаря при кафедральном губернском соборе, а также и должность профессора церковной истории в семинарии.

Такого-то рода письмецо Егор Егорыч нес в настоящую минуту к отцу Василию, которого, к великому горю своему и досаде, застал заметно выпившим; кроме того, он увидел на столе графин с водкой, какие-то зеленоватые грузди и безобразнейший, до половины уже съеденный пирог, на каковые предметы отец Василий, испуганный появлением Егора Егорыча, указывал жене глазами; но та, не находя, по-видимому, в сих предметах ничего предосудительного, сначала не понимала его. Вообще мать-протопопица была женщина глупая и неряшливая, что еще более усиливало тяготу жизни отца Василия; как бы то ни было, впрочем, она уразумела, наконец, чего от нее требует муж, и убрала со стола водку и другие съедомые предметы. Егор Егорыч в первую минуту подумывал дать нотацию отцу Василию за малодушие и распущенность, что он и сделал бы, если бы не было тут налицо матери-протопопицы, которой Егор Егорыч всегда не любил, а потому он ограничился тем, что придал лицу своему мрачный вид, и сказал:

— Я пришел к вам, отец Василий, дабы признаться, что я, по поводу вашей истории русского масонства, обещая для вас журавля в небе, не дал даже синицы в руки; но теперь, кажется, изловил ее отчасти, и случилось это следующим образом: ехав из Москвы сюда, я был у преосвященного Евгения и, рассказав ему о вашем положении, в коем вы очутились после варварского поступка с вами цензуры, узнал от него, что преосвященный — товарищ ваш по академии, и, как результат всего этого, сегодня получил от владыки письмо, которое не угодно ли будет вам прочесть.

Отец Василий, все еще не могший оправиться от смущения, принял письмо от Егора Егорыча дрожащей рукой;

когда же он стал пробегать его, то хотя рука еще сильней задрожала, но в то же время красноватое лицо его просияло радостью, и из воспаленных несколько глаз видимо потекли слезы умиления.

— Это не то, что синица, но сам журавль,—проговорил он трепетным от волнения голосом.

— Поэтому вы довольны и примете предложение преосвященного? — спросил Егор Егорыч.

— Господи, как же не принять! — сказал отец Василий, разводя руками.— Я последнее время никогда даже не мечтал о таком счастии для себя и завтра поеду ко владыке представиться ему и поблагодарить его. Мы точно что с ним товарищи по академии, но всегда как-то чуждались друг друга и расходились в наших взглядах...

— Позвольте! — остановил его на этих словах Егор Егорыч.— И я вам скажу, на чем вы расходились: вы были идеалист, а он — эмпирик.

— Так! — подтвердил отец Василий, как бы сразу отрезвленный счастливым оборотом в своей судьбе.

— Только одно условие! — начал затем Егор Егорыч.— Вы поезжайте и переселяйтесь в губернский город; несмотря на то, вы остаетесь моим священником на руге у меня, и я буду высылать вам все деревенские запасы из хлеба и живности.

— Ничего мне, Егор Егорыч, не надобно. Я без того много пользовался вашими благодеяниями; не лишите меня только дружбы вашей, а больше того мне ничего не нужно.

— Дружба дружбой, а служба службой! Я вам запасы буду высылать, а вы оставайтесь до конца дней моих моим духовным отцом и исповедником.

— А это вот дороже для меня всего! — проговорил с чувством отец Василий, и так как Егор Егорыч поднимался с своего места, то и он не преминул встать.

— Но я тоже останусь вашим,— как это назвать? — надзирателем,— забормотал Егор Егорыч и, принимая от отца Василия благословение, шепнул ему: — Водочки прошу вас больше не кушать!

— Не буду, не буду! — шепнул и ему, с своей стороны, отец Василий.

Вслед за тем Егор Егорыч ушел от него, а отец Василий направился в свою небольшую библиотеку и заперся там из опасения, чтобы к нему не пришла мать-протопопица с

своими глупыми расспросами. На другой день он уехал в губернский город для представления к владыке, который его весьма любезно принял и долго беседовал с ним о масонстве, причем отец Василий подробно развил перед ним мнение, на которое он намекал в своей речи, сказанной при венчании Егора Егорыча, о том, что грехопадение Адама началось с момента усыпления его, так как в этом случае он подчинился желаниям своего тела. Выслушав это, владыко слегка улыбнулся и проговорил:

— Это очень остроумно, но не знаю, верно ли.

В ответ на это отец Василий придал такое выражение своему лицу, которое как бы говорило: «Да и я не уверен, что так». Особы духовные, как это известно, втайне гораздо большие скептики, чем миряне.

Через месяц после своего представления архиерею отец Василий совершал уже литургию в губернском соборе и всем молящимся чрезвычайно понравился своей осанистой фигурой и величавым служением. Лекции в семинарии он равным образом начал читать с большим успехом, и, пока все это происходило, наступил май месяц, не только что теплый, но даже жаркий, так что деревья уж распустились в полный лист. В комнатах оставаться было душно и скучно, и все обитатели кузьмищевского дома целый день проводили на балконе, причем были облечены в елико возможно легкие одежды. Доктор, например, имел на себе какую-то матросскую блузу; но и ту бы он, по его словам, с великою радостью сбросил с себя, если бы только не было дам; Егор Егорыч такожде носил совершенно летние сюртучок и брюки, и вообще в последнее время он как-то стал более обыкновенного франтить и наделал себе в Москве великое множество всякого платья, летнего и зимнего. Сусанна Николаевна хоть и была в простом домашнем пеньюаре, но, боже мой, как она, говоря без преувеличения, блистала красотой и молодостью посреди своих собеседников. Это была молодая, в полном цвете лилия среди сморщенных тюльпанов. Что касается до ее душевного настроения, то она казалась как бы несколько поспокойнее и повеселее.

В один из таких жарких дней кузьмищевское общество сидело на садовой террасе за обедом, при котором, как водится, прислуживал и Антип Ильич, ничего, впрочем, не подававший, а только внимательно наблюдавший, не нужно ли чего-нибудь собственно Егору Егорычу. В на-

стоящее время он увидел, что одна молодая горничная из гостиной звала его рукой к себе. Антип Ильич вышел к ней и спросил, что ей надобно.

— Письмо с почты привезли к барину,— сказала та, подавая и самое письмо, которое Антип Ильич, положив на имеющийся для того особый серебряный подносик, почтительно подал Егору Егорычу. Тот, как всегда он это делал, нервно и торопливо распечатал письмо и, пробежав первые строки, обратился к Сверстову:

— Поздравляю вас и себя! Это письмо от старика Углакова. Он пишет, что московский генерал-губернатор, по требованию исправника Зверева, препроводил к нему с жандармом Тулузова для дачи показания по делу и для бытия на очных ставках.

— Ура, виват! — воскликнул доктор и протянул руку к не убранному еще со стола графину с водкой, налил из него порядочную рюмку и выпил ее.— Но ведь, Егор Егорыч, мне надобно сейчас же ехать к Аггею Никитичу для нравственной поддержки,— присовокупил он.

— Непременно! После обеда же берите лошадей и поезжайте! — разрешил ему Егор Егорыч, и начал читать письмо далее, окончив которое, он отнесся к Сусанне Николаевне: — А это до нас с тобой касается.

— Что такое? — спросила та встревоженным голосом.

— Пустяки, конечно! — сказал Егор Егорыч.— Александр Яковлич пишет, что нежно любимый им Пьер возвратился в Москву и страдает грудью, а еще более того меланхолией, и что врачи ему предписывают провести нынешнее лето непременно в деревне, но их усадьба с весьма дурным климатом; да и живя в сообществе одной только матери, Пьер, конечно, будет скучать, а потому Александр Яковлич просит, не позволим ли мы его милому повесе приехать к нам погостить месяца на два, что, конечно, мы позволим ему с великою готовностью.

Сусанна Николаевна ничего на это не возразила и только в продолжение всего остального обеда не прикоснулась уже ни к одному блюду.

Gnädige Frau, а также и Сверстов, это заметили и, предчувствуя, что тут что-то такое скрывается, по окончании обеда, переглянувшись друг с другом, ушли к себе наверх под тем предлогом, что Сверстову надобно было собираться в дорогу, а gnädige Frau, конечно, в этом случае должна была помогать ему. Егор Егорыч пошел,

по обыкновению, в свой кабинет, а Сусанна Николаевна пошла тоже за ним.

— Я полагаю,— начала она, облизывая беспрестанно свои хорошенькие пересыхающие губки,— что будет неловко и невозможно даже пригласить Углакова к нам в деревню.

— Почему? — спросил Егор Егорыч, видимо, встревоженный этими словами жены.

— Потому что я еще женщина молодая, а Углаков такой повеса, что бог знает что про меня могут сказать...

— Кто ж может сказать? Здесь и сказать даже некому! — возразил Егор Егорыч прежним встревоженным тоном.— Но ты, может быть, имеешь какой-нибудь другой более серьезный повод не желать его приезда сюда?

Для Сусанны Николаевны настала страшная и решительная минута. Сказать правду Егору Егорычу она боялась, и не за себя,— нет,— а за него; но промолчать было невозможно.

— Имею! — проговорила она глухим голосом.

— Какой? — спросил Егор Егорыч тоже глухим голосом.

— Углаков мне объяснялся в любви! — произнесла Сусанна Николаевна, потупляя в землю глаза.

— И тебя то пугает, что он, вероятно, и здесь... здесь повторит это... свое объяснение? — бормотал Егор Егорыч.

— Непременно повторит! — подтвердила Сусанна Николаевна.

Егор Егорыч при этом беспокойно пошевелился в своем кресле.

— Что мужчина объясняется в любви замужней женщине — это еще небольшая беда, если только в ней самой есть противодействие к тому, но...— и, произнеся это *но,* Егор Егорыч на мгновение приостановился, как бы желая собраться с духом,— но когда и она тоже носит в душе элемент симпатии к нему, то...— тут уж Егор Егорыч остановился на *то:* — то ей остается одно: или победить себя и вырвать из души свою склонность, или, что гораздо естественнее, идти без оглядки, куда влечется она своим чувством.

— Я хочу победить себя! — почти воскликнула Сусанна Николаевна, обрадовавшись, что Егор Егорыч как бы

подсказал ей фразу, определяющую то, что она твердо решилась делать.

— Позволь! — остановил ее Егор Егорыч, видимо, хотевший не уступать в благородном сподвижничестве.— Принимая какое-нибудь бремя на себя, надобно сообразить, достанет ли в нас силы нести его, и почти безошибочно можно сказать, что нет, не достанет, и что скорее оно придавит и уморит нас, как это случилось с Людмилой Николаевной, с которой я не допущу тебя нести общую участь, и с настоящей минуты прошу тебя идти туда, куда влекут твои пожеланья... Наш брак есть брак духа, и потому ничего от того не утрачивается.

— О нет,— произнесла со стоном Сусанна Николаевна,— я ничего не желаю кроме того, чтобы быть вам женой верной, и, видит бог, ни в чем еще перед вами не виновна.

— Верю! — сказал с торжественностью Егор Егорыч.— Но все-таки повторяю тебе: испытай себя, соразмерный ли своим силам берешь ты подвиг!

— Соразмерный, успокойтесь! Я сама очень хорошо понимаю, что Углаков мальчик еще, что я не должна и не могу его полюбить; но тут, я уверена в том, дьявол меня смущает, от которого умоляю вас, Егор Егорыч, спасите меня!

Проговорив это, Сусанна Николаевна упала перед мужем на колени и склонила к нему свою голову. Егор Егорыч поцеловал ее с нежностью в темя и проговорил опять-таки величавым тоном:

— Молись и вместе с тем призови в помощь к молитве разум твой! Сейчас ты очень разумную вещь сказала, что Углаков тебе не пара и не стоит твоей любви; ты женщина серьезно-мыслящая, а он — ветреный и увлекающийся мальчишка.

— Все это я знаю очень хорошо,— произнесла Сусанна Николаевна, поднявшись с колен и опускаясь на прежнее свое место.

Супруги некоторое время молчали, и каждый из них находился под гнетом своих собственных тяжелых мыслей.

— Однако, как же мне отвечать Углакову? — заговорил первый Егор Егорыч, слегка как бы при этом усмехнувшись.

— Ах, я вам надиктую! Позвольте, пожалуйста, мне это! — проговорила нервным и торопливым голосом Сусанна Николаевна.

— Диктуй! — не возбранил ей с той же горькой усмешкой Егор Егорыч.

Сусанна Николаевна торопливо и нескладно начала диктовать:

«Милостивый государь, Александр Яковлевич! Сколько бы нам ни приятно было видеть у нас Вашего доброго Пьера, но, к нашему горю, мы не можем этого сделать, потому что нынешним летом уезжаем за границу...»

На этих словах Егор Егорыч остановился писать.

— Но я тогда солгу Углакову! — сказал он.

— Нет, Егор Егорыч, вы не солжете, потому что я прошу, умоляю вас уехать куда-нибудь из Кузьмищева... ну, хоть на Кавказ, что ли .. Все, вон, туда ездят... или за границу...

— Уж лучше за границу,— решил Егор Егорыч и дописал письмо, как продиктовала ему Сусанна Николаевна, которая, впрочем, потом сама прочла письмо, как бы желая удостовериться, не изменил ли чего-нибудь Егор Егорыч в главном значении письма; однако там было написано только то, что она желала. Егор Егорыч, запечатав письмо, вручил его Сусанне Николаевне, сказав с прежней грустной усмешкой:

— Сама можешь и отправить!

— Хорошо, merci! — поблагодарила она его.

Сколь ни мирно и ни дружески кончилось, как мы видели, такое роковое объяснение супругов, тем не менее оно кинуло их в неизмеримый омут страданий. Егор Егорыч понял, что Сусанна Николаевна, при всей своей духовной высоте, все-таки женщина молодая, а между тем до этого он считал ее почти безтелесной. Сусанна Николаевна мучилась, в свою очередь, от мысли, что какой пустой и ничтожной женщиной она должна теперь казаться Егору Егорычу. По наружности, впрочем, в Кузьмищеве на другой же день пошло все по-старому, кроме того разве, что Сверстов еще в шесть часов утра ускакал в город к Аггею Никитичу. Обыкновенно хозяева и gnädige Frau все почти время проводили в спальне у Егора Егорыча, и разговор у них, по-видимому, шел довольно оживленный, но в то

же время все беседующие чувствовали, что все это были одни только слова, слова и слова, говоримые из приличия и совершенно не выражавшие того, что внутри думалось и чувствовалось.

Таким образом, в одну из сих бесед Сусанна Николаевна, в присутствии Егора Егорыча, но только вряд ли с ведома его, сказала:

— А я, gnädige Frau, поздравьте меня, скоро уезжаю с Егором Егорычем за границу.

— Я поздравить вас готова, но я никак того не ожидала,— проговорила та, удивленная таким известием.

— Это нам обоим необходимо! — подхватила настойчивым голосом Сусанна Николаевна, взглядывая мельком на Егора Егорыча, сидевшего с нахмуренным лицом.

— Ее и мое здоровье требуют того,— пробормотал он.

— Буду скучать от разлуки с вами и завидовать вам,— сказала gnädige Frau.

— Но вы уж бывали за границей, а я еще нет! — воскликнула опять каким-то неестественно-веселым голосом Сусанна Николаевна.— И мне ужасно хочется сделать это путешествие.

Егор Егорыч при этом не проговорил уже ни слова.

Доктор через неделю какую-нибудь прискакал обратно из своей поездки, и так как он приехал в Кузьмищево поздно ночью, когда все спали, то и побеседовал только с gnädige Frau.

— Ну, что вы там наделали? — спросила она, отыскав предварительно в буфете для супруга ужин с присоединением графинчика водки.

— О, мы с Аггеем Никитичем натворили чудес много! — отвечал Сверстов, ероша свою курчавую голову.— Во-первых, Тулузова посадили в тюрьму...

Gnädige Frau выразила в лице своем некоторое недоумение.

— Значит, он в самом деле виновным оказывается?— заметила она, опасаясь, не через край ли хватил тут Аггей Никитич.

— Как есть приперт вилами со всех сторон: прежде всего, сам сбивается в показаниях; потом его уличает на всех пунктах какой-то пьяный поручик, которого нарочно привезли из Москвы; затем Тулузов впал в противоречие с главным пособником в деле, управляющим своим, которого Аггей Никитич тоже упрятал в тюрьму.

В лице у gnädige Frau все-таки выразилось несколько оробелое недоумение.

— Но я надеюсь, что высшее начальство все ваши действия одобрит,— сказала она.

— Еще бы! — подхватил Сверстов.— Губернатор под рукою велел передать Аггею Никитичу, что министр конфиденциально предложил ему действовать в этом деле с неуклонною строгостью.

— Да, тогда другое дело! — произнесла успокоенным голосом gnädige Frau.— А у нас здесь тоже есть неожиданность: Егор Егорыч и Сусанна Николаевна уезжают за границу.

— Вот тебе на! — воскликнул доктор с некоторым испугом.— Что это значит и зачем?

— Говорят, что оба больны и ждали только тебя, чтобы с тобою посоветоваться, куда им именно ехать.

— А я почему знаю куда?.. Для меня эта госпожа Европа совершенно неведома!.. И для какого черта в нее ездить! — проговорил доктор с досадой.

— Ну, этого ты не говори! В Европу ездить приятно и полезно. Я сама это на себе испытала!.. Но тут другое... и я, пожалуй, согласна с твоим предположением.

— Касательно амура? — спросил Сверстов.

— Да,— подтвердила gnädige Frau, всегда обыкновенно медленнее мужа и не сразу понимавшая вещи.

— Но к кому же? — поинтересовался тот.

— Вероятно,— начала gnädige Frau, произнося слова секретнейшим шепотом,— ты помнишь, что Егор Егорыч, читая письмо Углакова, упоминал о каком-то Пьере...

— Так, так, так!..— затараторил Сверстов.— Вот где раки зимуют!

— Но, конечно, если тут и любовь, то в самом благородном смысле,— поспешила добавить gnädige Frau

— Разумеется! — не отвергнул Сверстов и затем, вздохнув, проговорил: — Что делать? Закон природы, иже не прейдеши!

ПРИМЕЧАНИЯ

МАСОНЫ

Впервые напечатан в журнале «Огонек» за 1880 год (№№ 1—6 и 8—43).

Начало работы над «Масонами» относится к концу 1878 года, но замысел романа возник, по-видимому, задолго до этого времени. 10 декабря 1878 года Писемский сообщил переводчику своих произведений на французский язык В. Дерели: «Начавшаяся уже зима у нас несколько облегчила мои недуги, что и дало мне возможность приняться за мое дело, которое я уже предначертал себе давно, но принялся за него последнее только время, а именно: написать большой роман под названием «Масон». В настоящее время их нет в России ни одного, но в моем еще детстве и даже отрочестве я лично знал их многих, из которых некоторые были весьма близкими нам родственниками; но этого знакомства, конечно, было недостаточно, чтобы приняться за роман... В настоящее время в разных наших книгохранилищах стеклось множество материалов о русских масонах, бывших по преимуществу мартинистами; их ритуалы, речи, работы, сочинения... всем этим я теперь напитываюсь и насасываюсь, а вместе, хоть и медленно, подвигаю и самый роман мой» [1].

Личные воспоминания писателя о масонах-родственниках, среди которых выделялся его двоюродный дядя Ю. Н. Бартенев, сыграли, конечно, в процессе создания романа свою роль, но замысел романа возник не только на основе личных воспоминаний. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Писемский вплоть до 70-х годов не попытался воспользоваться в своем творчестве этими семейными преданиями и впечатлениями.

Замысел романа о масонстве как некоем положительном начале общественной жизни 20—30-х годов был отражением глубокой неудовлетворенности современной действительностью, в которой Писемский так и не сумел увидеть сил, способных противостоять засилью денежного мешка. Этот разлад с прогрессивными кругами своего времени и был основной причиной обращения Писемского к эпохе, более отдаленной, чем 40-е годы, которые много раз привлека-

[1] Письма, стр. 398.

ли его творческое внимание. Писемскому казалось, что в 20—30-е годы общественная обстановка в России была более здоровой, чем в последующие десятилетия. Еще в конце 1874 года, то есть за четыре года до начала работы над «Масонами», Писемский, поблагодарив П. В. Анненкова за его книгу «Пушкин в александровскую эпоху», заметил: «Я прочел ее с несказанным удовольствием. Все взятое вами время, по-моему, очерчено с величайшей справедливостью и полным пониманием, и, прочитав ваши сказания о сем времени, я невольно воскликнул: а все-таки это время было лучше нашего: оно было и умнее, и честнее, и, пожалуй, образованнее»[1].

Необходимо, однако, иметь в виду, что в «сказаниях» Анненкова о времени с 1812 по 1825 год на первый план выдвинуто не движение дворянских революционеров, которых биограф Пушкина характеризовал как молодых шалунов, увлекшихся модными политическими теориями, а деятельность так называемого просвещенного дворянства и якобы либеральная политика правительства Александра I. Это позволяет составить представление о том, какие черты избранной эпохи казались Писемскому наиболее положительными.

Действие романа начинается в 1835 году, но в экспозиционных отступлениях то и дело речь идет об Отечественной войне 1812 года и последующем времени. Достаточно сказать, что центральный герой романа, Егор Егорыч Марфин,— участник Отечественной войны и почти все его масонские и просто дружеские связи установились или во время войны, или вскоре после нее. Его молодость и молодость его единомышленников и друзей прошла в годы возникновения декабристского движения. И, тем не менее, об этом историческом факте в романе, по существу, не упоминается, хотя в 70-х годах это уже не запрещалось, и у самого Писемского, в его «Мещанах», прямо говорилось о связи взглядов молодого Бегушева с благородными традициями декабристов. Это умолчание не было следствием отхода Писемского от общественной проблематики, скорее всего оно было результатом пересмотра взглядов писателя на общественную ценность различных идейных течений прошлого, которое еще напоминало о себе и в действительности 70-х годов.

В романе много говорится об истории масонства, подробно, хотя и не без иронии, описываются масонские обряды, но в центре внимания писателя не эта сторона масонского движения. В письме к В. Дерели от 25 января 1879 года имеется такое рассуждение: «Наши собственно масоны были мартинисты... но с вашими (то есть французскими.— *М. Е.)* мартинистами разнились. И вот, сколько я мог извлечь из чтения разных переписок между масонами, посланий ихних, речей, то разница эта состояла в том, что к масонскому мистическому учению последователей С. Мартена они присоединяли еще учение и правила наших аскетов, основателей нашего пустынножительства, и зато менее вдавались в мистическую сторону»[2]. Внимание Писемского привлекало не столько масонское учение само по себе, сколько общественная активность «искренних» масонов вроде Марфина или Сверстова. В этом отношении характерно следующее признание Писемского: «Время, взятое мною, весьма любопытно. Я масонов лично знал еще в моей юности и знал их, конечно, с чисто внешней стороны, а теперь, войдя в их внутренний мир, убеждаюсь,

[1] Письма, стр. 276.
[2] Письма, стр. 401—402.

что по большей части это были весьма просвещенные и честные люди и в нравственном отношении стоявшие гораздо выше так называемых тогда волтерианцев, которые были просто грубые развратники»[1].

Необходимо, однако, иметь в виду, что эти строки написаны в июне 1879 года, когда была закончена еще только первая часть романа. В процессе дальнейшей работы над романом это категорическое мнение, по-видимому, изменилось. По крайней мере, противопоставление масонов вольтерьянцам в романе, по существу, не отразилось. Да и само масонство в целом представлено в романе не в таком положительном свете, как оно характеризовано в только что цитированном письме. Такие деятельные масоны, как Марфин и Сверстов, представляли собою лишь немногочисленное меньшинство в масонстве. Причем Сверстов, один из самых симпатичных Писемскому героев романа, был весьма далек от масонской ортодоксальности. Большинство масонов в изображении Писемского состояло или из циничных стяжателей и карьеристов вроде губернского предводителя Крапчика, или равнодушных ко всему на свете мистиков, участников кликушеских собраний у Татариновой (Пилецкий, князь Голицын).

Целый ряд признаков позволяет отнести «Масонов» к жанру исторического романа. В романе изображены некоторые сановники, видные масоны, деятели литературы и искусства той эпохи под их собственными именами (М. М. Сперанский, А. Н. Голицын, Сергей Степанович Ланской, М. Пилецкий, П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, П. М. Садовский и др.). Однако в своем повествовании Писемский то и дело допускает смещение хронологических границ. В образе Лябьева, например, по признанию самого Писемского, изображен композитор Алябьев, но его процесс, который в романе отнесен к 30-м годам, на самом деле имел место в конце 20-х годов.

«Масоны» были приняты холодно как критикой почти всех направлений, так и большинством читателей того времени. И причины этой холодности заключались не только в предубеждении против Писемского, которое, конечно, сказалось на оценке «Масонов», но и в самом романе.

Лишь в некоторых образах романа, таких, как Крапчик, его дочь Катрин, Тулузов, видно еще свойственное Писемскому в период расцвета его таланта умение создавать жизненно убедительные фигуры. Что же касается тех образов, в которых, по замыслу Писемского, должно было в той или иной мере отразиться положительное начало изображаемой эпохи, то, за небольшими исключениями, в них чувствуется та самая «усталость», на которую в последние годы жизни он так часто жаловался. Многие из этих персонажей введены в роман как будто бы только с чисто иллюстративной целью и отличаются друг от друга едва ли не одними только именами и чином (Сергей Степанович, Батенев, старый Углаков). Наконец, в персонажах, наиболее Писемскому симпатичных, явно видны черты идилличности, авторского умиления, хотя время от времени и приглушаемого легкой иронией.

Последний роман Писемского убедительно свидетельствует о том, что отход художника от современности, неумение видеть в ней

[1] Письма, стр. 409.

ее живых, прогрессивных сил неизбежно ведут к ослаблению его творчества.

В настоящем издании воспроизводится текст прижизненного отдельного издания 1880—1881 гг.

М. П. ЕРЕМИН.

Стр. 5. *...большую комету.*—Речь идет о комете Галлея, периодичность которой была открыта знаменитым астрономом Эдмундом Галлеем (1656—1742) в 1682 г. До этого появление кометы Галлея было отмечено в 1531 и 1607 гг.

Стр. 6. *Тамбурмажор* — старший барабанщик.

Жантильом — от франц. gentilhomme — дворянин.

Стр. 7. *Фемида* (древнегреч. миф.) — богиня правосудия.

Стр. 13. *Лопухин* Иван Владимирович (1756—1816) — писатель-мистик и судебный деятель.

Стр. 31. *Калиостро* Алессандро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) — знаменитый авантюрист.

Стр. 32. *Иллюминаты* — последователи религиозно-мистического учения Адама Вейсгаупта (1748—1830), основавшего тайное общество в 1776 г.

Стр. 40. *Ирмос* — вид богослужебной песни.

Стр. 73. *Сен-Мартен* (1743—1803) — французский философ-мистик. Основное его сочинение — «О заблуждениях и о истине» — было напечатано в 1785 году.

Стр. 76. *Шикознейший* — шикарнейший, отличнейший.

Стр. 81. *Голицын* Александр Николаевич (1773—1844) — князь, влиятельный государственный деятель эпохи императора Александра I.

Стр. 82. *Хлыстовщина* — мистическая секта, распространившаяся в России в XVII веке.

Скопчество — религиозная секта, особенное распространение получившая в России во второй половине XVIII века.

...князь Изяслав (1024—1078) — великий князь киевский, сын Ярослава Мудрого.

Стр. 83. *Данила* Филиппов (ум. в 1700 г.) — основатель хлыстовской секты.

...патриарх Никон — в миру Никита Минов (1605—1681), выдающийся русский религиозный деятель.

Стр. 88. *...граф Милорадович* Михаил Андреевич (1771—1825) — с.-петербургский генерал-губернатор, убитый декабристом П. Г. Каховским.

Стр. 99. *Юнг* Эдуард (1683—1765) — английский поэт, автор известной поэмы «Жалобы или Ночные думы» («Ночи»).

Стр. 102. *Иоанн Лествичник* (ум. в 649 или 650 г.) — греческий религиозный писатель, автор «Лествицы».

Нил Сорский (ок. 1433—1508) — русский публицист и церковно-политический деятель, глава «Заволжских старцев».

Стр. 103. *Будда* Гаутам (VI—V век до н. э.) — основатель буддийской религии.

Стр. 111. *...приказ общественного призрения* — одно из губернских учреждений, введенных в 1775 году, имевшее многообразные функции, в том числе и прием вкладов на хранение.

Стр. 118. *...под Красным.*— Сражение под Красным между армиями Кутузова и Наполеона произошло 3—6 ноября 1812 года.

Стр. 137. *Сераль* — дворец и входящий в него гарем в восточных странах.

Стр. 147. *Меншиков* Александр Данилович (1673—1729) — один из сподвижников Петра I.

Стр. 156. *Бантышев* Александр Олимпиевич (1804—1860) — оперный певец (тенор) и композитор.

Стр. 160. *...открылась турецкая кампания* — подразумевается русско-турецкая война 1828—1829 гг.

Стр. 172. *Маврокордато* Александр (1791—1865)— греческий патриот, организатор восстания в Миссолонги (1821).

Стр. 175. *«Сын Отечества»* — журнал, издававшийся с 1812 года Н. И. Гречем (1787—1867).

Стр. 179. *Доминикино*, собственно Доменико Цампьери (1581—1641),— итальянский живописец и архитектор.

Стр. 180. *Воробьев* Максим Никифорович (1787—1855) —русский художник.

Боровиковский Владимир Лукич (1757—1825) — русский портретист.

Корреджио — Корреджо, настоящее имя — Антонио Аллегри (около 1489 или 1494—1534) — итальянский живописец.

Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — русский художник.

Стр. 182. *Дмитрий Николаевич* — Блудов (1785—1864), государственный деятель, с 1832 года управлявший министерством внутренних дел.

Стр. 184. *Министр юстиции* — Дмитрий Васильевич Дашков (1784—1839), известный также своей литературной деятельностью.

Братья Чернецовы, Григорий и Никанор Григорьевичи (1802—1865 и 1805—1879),— известные художники.

Свиньин Павел Петрович (1788—1839) — романист, художник, журналист, в 1818 году основавший знаменитый впоследствии журнал «Отечественные записки», тесть Писемского.

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт, впервые выступивший в печати осенью 1835 года и сразу же приобретший широкую известность.

Стр. 185. *Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878)—поэт и критик.

Стр. 186. *Попов* Василий Михайлович (ум. в 1842 г.) — сектант, директор Особенной канцелярии А. Н. Голицына.

Фотий... очень болен.— Архимандрит Фотий (в миру Петр Никитич Спасский), реакционный церковный деятель. Умер 26 февраля 1838 года.

...оставить министерство духовных дел...— А. Н. Голицын оставил министерство народного просвещения, одно время объединенное с министерством духовных дел, в 1824 году.

...о книге Госнера.— Речь идет о сочинении католического священника-мистика Иоанна Госснера (1773—1858) «Дух жизни и учения Иисуса», изданном в Петербурге в 1823—1824 годах.

Стр. 187. *Аракчеев* Алексей Андреевич (1769—1834)—временщик, обладавший в конце царствования Александра I почти неограниченной властью.

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — министр народного просвещения с 1833 года.

Шишков Александр Семенович (1754—1841) — адмирал, писа-

тель, президент Российской академии, министр народного просвещения с 1824 по 1828 год.

...митрополит Серафим (в миру Стефан Васильевич Глаголевский, 1763—1843) — видный церковный деятель, боровшийся с мистическими течениями в русской религиозной мысли.

Стр. 189. *Бенеке* Фридрих-Эдуард (1798—1854) — немецкий философ.

Стр. 191. *...напечатанный свод законов.*— Подготовленный под руководством М. М. Сперанского «Свод законов Российской империи» вышел в свет в 1833 году.

Стр. 193. *Иоанн Предтеча,* называемый чаще Крестителем,— герой евангельских легенд.

Стр. 196. *Пилецкий* — Мартин Степанович Пилецкий-Урбанович (1780—1859), мистик, последователь Е. Ф. Татариновой, с 1819 по 1825 год состоял директором Института слепых.

Стр. 198. *Борис* — Годунов (около 1551—1605), русский царь с 1598 года.

Стр. 200. *...мой перевод.*— Речь идет о переводе приписываемого перу Фомы Кемпийского (Гемеркена, 1379—1471) сочинения «Подражание Христу», вышедшем в 1819 году и выдержавшем ряд изданий.

Стр. 207. *Хименес* Франциско (1436—1517) — испанский государственный деятель, с 1507 года кардинал и великий инквизитор.

св. Бернард Клервосский (1090—1153) — деятель католической церкви аскетического направления.

св. Людовик — король Франции в 1226—1270 годах, известный под именем Людовика IX.

св. Альфред.— Речь идет о короле англосаксов Альфреде Великом (848—901).

Поздеев Иосиф Алексеевич (ум. в 1811 г.) — полковник, известный в свое время масон.

Ключарев Федор Петрович (1754—1822) — драматург и мистик, с 1816 года сенатор. В 1812 году, состоя московским почт-директором, был арестован и сослан.

Стр. 214. *Аттенция* — от франц. attention — внимание, предупредительность

Стр. 223. *«Сионский вестник»* — журнал, издававшийся русским мистиком А. Ф. Лабзиным в 1806 и 1817—1818 годах.

Стр. 231. *Соломон* — царь израильский в 1020—980 годах до нашей эры.

Стр. 237. *Иисус Навин* — вождь израильский, герой библейской книги, носящей его имя.

Стр. 242. *Квакеры* — одна из протестантских сект, возникшая в Англии в середине XVII века.

Стр. 244. *Апулей* (II век) — римский писатель, автор знаменитого романа «Золотой осел» («Метаморфозы»).

Стр. 258. *Бем* Яков (1575—1624) — немецкий философ-мистик.

Стр. 280. *Боккачио* — Боккаччо Джованни (1313—1375) — итальянский писатель-гуманист, автор «Декамерона».

Стр. 296. *...базильянский монастырь.*— Речь идет об одном из возникших в XVII веке монастырей греко-униатского вероисповедания.

Стр. 300. *Людовик XI* — французский король в 1461—1483 годах.

Ла Балю (1421—1490) — министр и кардинал Людовика XI.

Стр. 380. *Глинка* Сергей Николаевич (1776—1847) — журналист, драматург и писатель.

Стр. 423. *Ленский* Дмитрий Тимофеевич, настоящая фамилия Воробьев (1805—1860),— актер и драматург-водевилист.

Стр. 424. *Садовский* Пров Михайлович (1818—1872) — русский актер, приятель Писемского.

Стр. 442. *Каратыгин* Петр Андреевич (1805—1879) — актер и водевилист.

Стр. 446—447. *Il est un petit homme*..— песня французского поэта-демократа Пьера-Жана Беранже (1780—1857) «Подвыпивший». Ниже приводится перевод этой песни В. Курочкина, который назвал ее «Как яблочко, румян».

Как яблочко, румян,
Одет весьма беспечно,
Не то чтоб очень пьян,
А весел бесконечно.
Есть деньги — прокутит,
Нет денег — обойдется,
Да как еще смеется!
«Да ну их!..» — говорит.
«Да ну их!..» — говорит.
«Вот,— говорит,— потеха!
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру от смеха!..»

Шатаясь по ночам
Да тратясь на девчонок,
Он, кажется, к долгам
Привык еще с пеленок.
Полиция грозит,
В тюрьму упрятать хочет,
А он-то все хохочет...
«Да ну их!..» — говорит.
«Да ну их!..» — говорит.
«Вот,— говорит,— потеха!
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру от смеха!..»

Собрался умирать,
Параличом разбитый;
На ветхую кровать
Садится поп маститый
И бедному сулит
Чертей и ад кромешный...
А он-то, многогрешный,
«Да ну их!..» — говорит.
«Да ну их!..» — говорит.
«Вот,— говорит,— потеха!
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру...
Ей-ей, умру от смеха!..»

Стр. 448 *«Аскольдова могила»*—опера А. Н. Верстовского (1799—1862).

Стр. 453. *Давыдов* Денис Васильевич (1784—1839) — поэт, инициатор партизанской войны против армии Наполеона.

Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих (1770—1831) — великий немецкий философ.

Стр. 454. *«Божественная капля».* — Здесь подразумевается пространная мистическая поэма Ф. Н. Глинки, изданная в Берлине в 1861 году под названием «Таинственная капля».

Стр. 455. *Фихте* Иоганн-Готлиб (1762—1814) — немецкий философ и публицист.

Шеллинг Фридрих-Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ, оказавший заметное влияние на развитие русской философской мысли, особенно в 20-е годы.

Стр. 456. *Ансельм* Кентерберийский (1033—1109) — английский мыслитель и церковный деятель.

Стр. 461. *Эол* (древнегреч. миф.) — властитель ветров.

Стр. 468. *«Тридцать лет или жизнь игрока»* — драма в трех действиях французских драматургов Виктора Дюканжа (1783—1833) и Дино.

Стр. 547. *Александр Сергеич* — Даргомыжский (1813—1869).

Стр. 555. *Северитэ* — франц. sévérité — строгость, суровость.

Стр. 559. *Иль мало нас?..* — строки из стихотворения Пушкина «Клеветникам России», написанного в связи с польским восстанием 1830—1831 гг.

Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853) — трагик, актер Александринского театра.

Ляпунов Прокопий Петрович (ум. в 1611 г.) — сподвижник Болотникова в крестьянском восстании начала XVII века, в дальнейшем изменивший ему.

Стр. 562. *Лев Алексеевич* — Перовский (1792—1856), министр внутренних дел.

А. П. МОГИЛЯНСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

МАСОНЫ

Роман в пяти частях

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ.

Собрание сочинений
в 9 томах. Том 8.

Оформление художника
Г. Фишера.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 21/IV 1959 г.
Тираж 236 000 экз. Изд № 754. Зак. 411.
Форм. бум. $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бум. лист. 9,5.
Печ. л. 31,16 + 4 вкл. (0,41 п. л.).
Уч. изд. л. 34,81.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.